Борис Горбатов

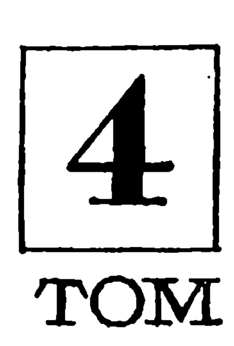
4



БИБЛИОТЕКА
«ОГОНЕК»



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ТОМ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 7
Гор 67

Составление и общая редакция
А. В. Терновского

Иллюстрации художника
О. К. Вуколова

Гор $\frac{4702010200-1728}{080(02)-88}$ 1728 — 88



РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ

ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА

1

Жили два товарища. Одного звали Виктором, другого Андреем. В 1930 году им обоим вместе было тридцать пять лет.

— Уже лист желтеет! — с досадой сказал Виктор и показал на Псёл: кленовые листья плыли по реке.— Пора и решаться, брат!

Андрей только молча пожал плечами.

Они оба долго и с завистью глядели, как плывет по реке, покачиваясь и кружась, желтый лапчатый кленовый лист — все вниз, все вниз, к морю. Он плывет, а они все сидят на месте.

Они были ровесники, жили на одной улице, в школе сидели за одной партой. У них были общие учебники, общие голуби, общие мечты. Им и в голову не пришло бы, что дороги у них могут быть разные.

— Нет, надо ехать, ехать! — говорили они друг другу каждое утро и каждый вечер. А все не трогались с места.

Они жили в Чибиряках, маленьком городке на Псле. Тут они родились — Виктор в беленькой хатке под узорчатой черепицей, Андрей — в голубенькой под зеленой железной крышей. Тут выросли. По этой траве бегали. На эти звезды заглядывались. И вот решили покинуть все — все и навсегда.

— Отчего ты не хочешь в военные моряки, Андрей? — сердито спросил Виктор.— Моряк, брат, в океане плавает!

Они никогда не видели океана, ни даже моря, ни большой реки, ни большого города. Четырехэтажный дом они видели только в кино.

Все свои семнадцать с половиною лет они прожили здесь, на этой улице; вот она вся — плетень к плетню. Она вся заросла сорной травою: лебедой и бурьяном. Сухая серебристая пыль струится от лебеды.

Никогда по этой улице не проезжала машина, даже возы тут поскрипывают редко: шлях далеко. И следы колес тут никогда не уходят в далекую даль, а круто заворачивают во дворы, словно все дороги мира ведут к клуням и кончаются у амбаров.

— А то можно и на подводную лодку угадать,— сказал Виктор.— Очень просто. Мы парни здоровые. Ну, Андрей?

Вся улица, где они родились, была в садах, палисадниках и огородах: и сады тут были богатые, тяжелые от плодов, и плетни исправные, и огороды — любовно взлелеянные, прополотые и выхоженные, и мальва под окном — пышнотелая, мясистая, розовощекая, как красивая и гордая деревенская девушка на выданье. А хатки тут совсем терялись среди пышной и щедрой зелени. Хаты стояли вразброс, кое-как, словно главным на этой улице и в этой жизни были не хаты, а сады и огороды. И хаты здесь были маленькие, подслеповатые, мазаные и все одинаковые, только шапки на них были разные: редко — железные, чаще — черепичные, а больше всего было соломенных, по-казацки подстриженных в кружок или в скобку или покрытых седым и трухлявым очеретом. На таких крышах любят гнездиться аисты. Говорят, аист — к счастью. И много аистов жило на этой улице. По вечерам они, как часовые, выстраивались на своих крышах и так стояли, поджав одну ногу, строгие и важные, оберегали счастье, которое они принесли людям.

— Ни! — тихо сказал Андрей.— Я в моряки не хочу!

— Так чего же ты хочешь, Андрей! — в досаде закричал Виктор.

Отца у Виктора не было. Его отец лежал в сквере в центре Чибиряк, в братской могиле. Он был большевиком. И почти каждое воскресенье, возвращаясь с базара, мать Виктора приносила на могилу маленький венок из цветов и, всплакнув по привычке, осторожно клала венок к подножью памятника. Могила была общая, брат-

ская, и это всегда конфузило мать Виктора. Даже после смерти муж не принадлежал ей — лежал с товарищами.

Она была женщина простая и добрая. Раньше робко любила мужа и боялась его, сейчас любила сына и тоже его боялась. Он рос своевольным, сильным, порывистым — в отца. И мать уже догадывалась, что ему нелюбо и душно в ее гнезде. Скоро он улетит. Она уже вышивала ему рушники и сорочки на дорогу и плакала над ними.

— Может, учиться поехать, а? — робко сказал Андрей.— В райкоме путевок много.

— Учиться? — фыркнул Виктор.— Мало ты штанов за партой протер!.. Ну, не хочешь в моряки — ну, давай в летную школу.

У Андрея были и отец и мать. Отец работал машинистом на паровой мельнице, и в детстве он казался Андрюше чародеем. Среди всех обсыпанных мукою рабочих на мельнице он один был черный, от него одного исходил сладкий, нездешний запах нефти и машинного масла, ему одному подчинялось чудо — двигатель. Андрей гордился отцом и втихомолку жалел его.

Отец Андрея любил рассказывать о своем прошлом, он умел хорошо рассказывать. Его истории всегда начинались так: «А было это еще до того, как я женился». Его молодость прошумела в странствиях и приключениях. Он плавал на пароходах, служил на железной дороге, бывал во многих городах и портах. Он всегда был «при машине». Керосиновый движок направлял его хлопотливую жизнь. Потом отец внезапно женился и осел тут. Его истории так и кончались: «Ну, а потом я женился». Дальше рассказывать было нечего и неинтересно.

И Андрею казалось, что он понимает отца,— отец несчастен. Иногда хотелось подойти к нему и сказать просто, сочувственно: «А давай-ка сорвемся отсюда, отец. А? Ты, я, Виктор — котомки за спину и айда!» Но он не делал этого. Мать крик подымет! Матери он побаивался. Он говорил ей «вы», а отцу — «ты».

А у отца Андрея не было несчастного вида. Он всегда и над всеми посмеивался: над собой, над женой, над соседями, посмеивался беззлобно, добро и лениво. Люди его любили.

Придя с работы, умывшись и пообедав, он уходил обычно в палисадник или огород и бродил там среди грядок. Этот зеленый мир не принадлежал ему, в нем царствовала жена, но отец Андрея, как и всякий рабочий человек, страстно любил зелень. Он любил сидеть на корточках среди грядок и, не уставая, удивляться, следить, как за чудом, за ростом рассады, слушать музыку травы и жизни в траве, дышать запахами влажной земли и цветов... Была особенная тишина в этом зеленом мире, на этой улице и в его собственном доме. В этой тишине неслышно и незримо созревала, умирала и опять рождалась жизнь: лопались почки на вербе; полз по ниткам к крыше крученый панын и раскрывал навстречу солнцу свои синие с желтыми разводами граммофонные трубы и призывно трубил в них; на земляном полу в хате сладко и беззвучно умирали душистые травы; по вечерам в палисаднике вдруг мощно расцветали скромные матиолы, и их властный запах все покрывал в мире и смешивался с добрым запахом махорки на меду — любимым табаком отца Андрея. И это было счастье.

Андрей, конечно, и подозревать не мог, что эта тишина и есть счастье отца. Счастье, что есть работа и добрый, честный хлеб, и в хате прохладный полумрак от прикрытых ставен, и хата своя, и на ночь можно запереть ставни болтами, и тишина над миром, и в тишине этой растут дети, из рассады вызревают помидоры, и крученый паныч трубит в свои граммофонные трубы радостную хвалу жизни. Это было счастьем, хоть аисты и не гнездятся на железных крышах.

А несчастьем для отца и матери Андрея, и для матери Виктора, и для многих людей на этой улице было бы покинуть все это выстраданное и насиженное ради неверных и утомительных странствий по чужим местам и чужим людям.

Так что ж оно такое — счастье?! Андрей и Виктор ужаснулись бы, узнав, что они приговорены жить, стареть и умирать в Чибиряках, на родной улице. Нет, нет, где угодно, только не здесь! Тогда пусть хоть Нежин, соседний и такой захолустный Нежин, с его мукомольным техникумом — только не Чибиряки. Для мальчиков сейчас — «жить» означало — «двигаться». В сем-

надцать лет еще не умеют любить родной город, не примечательный ничем, кроме того, что вы в нем родились. Это приходит потом, как и любовь к старенькой, доброй, малограмотной маме в ветхой холщовой запаске.

— Нет! — решительно и зло сказал Виктор.— Ей-богу, уже пора прийти к какому-нибудь знаменателю, Андрей. Время ж уходит...

Да, время уходит. Оно проплывает, как вода в Псле, исчезает неведомо куда. Каждый прошедший день — уже пропащий день. Нет, надо ехать.

Раньше, в детстве, эта круча над Пслом казалась мальчикам концом реального, знакомого мира. Там, за рекой, был уже мир фантастический: сине-желтый. Не по-здешнему был синим лес там, синим — небо над ним, желтым — песок, золотою — пшеница. Там среди медно-желтых сосен синел курган-могильник; в нем догнивали кости не то запорожцев, не то шведов. Мальчики тогда еще не умели плавать.

Но потом они плавать научились и переплыли Псёл, и увидели, что мир здесь, как и в Чибиряках, обыкновенный. И лес здесь не синий, а, как везде, зеленый, и в лесу этом прохладно, темно и сыро, пахнет грибами и стоячей водой, и небо над лесом, как и над Чибиряками, давно знакомое, и хатки в деревнях такие же, как и на их улице, только победнее. А на могильнике мужики пьют водку, закусывают огурцами и рассказывают друг другу разные истории, печальные или похабные.

Нет, ехать надо дальше, дальше — за Псёл. В мир большой и действительно фантастичный.

Да, надо ехать. Это решено. Что ж, так и просидеть всю жизнь за закрытыми ставнями? Ползти по нитке, как крученый паныч? Жить и умереть в родном палисаднике, как эти глупые и самодовольные мальвы? Их по-украински называют «рожи». Краснорожие, кичливые мальвы,— нет, надо ехать, ехать! Пух с тополей кружит над городом и зовет в дорогу. Волна на Псле нетерпеливо стучит в дубовый човен.

Да, надо ехать. Они говорили это себе триста раз на день, а все не трогались с места...

Они не могли выбрать дорогу.

Отец Андрея в молодости дороги не выбирал. Случайно оказался он при машине, и керосиновый движок

потащил его за собой. Спокон веков уезжали в жизнь мальчики из Чибиряк, но никогда и никто из них не выбирал себе сам дорогу. Решал случай. Отец, уходя на промысел, брал с собой сына топтать исхоженную дедами дорожку, родственник вспоминал далекого племянника из Чибиряк и вызывал к себе, чтобы пристроить. И мальчики из Чибиряк становились слесарями, штукатурами, половыми в трактире или конюшенными мальчиками на ипподроме не потому, что они так выбрали, а потому, что так нужда решила. Так вышло, и некого было проклинать, не на кого было плакаться, оставалось только тянуть да тянуть лямку.

Но Андрей и Виктор могли выбирать. Перед ними вдруг распахнулось множество дорог. Они могли выбирать любую. Им повезло, они родились вовремя.

То был тысяча девятьсот тридцатый год — год великого разбега. Страна изготовилась для рывка в будущее. В один день ломалось и с грохотом рушилось учиненное веками. Великая и кровавая война шла на старых межах; класс, подрубленный под корень, уходил из истории, огрызаясь, отстреливаясь, и комсомольцы, ровесники Андрея, бесстрашно ходили на аванпостах под дулом кулацкого обреза. Двух из них на днях привезли в сосновых гробах в Чибиряки и положили в сквере рядом с отцом Виктора.

Великое нетерпение вдруг охватило людей. Человеческая жизнь показалась им слишком короткой, чтобы успеть совершить все, что они задумали, и увидеть свою мечту воплощенной. И они стали торопить время. Они хотели прожить пять лет в четыре, в три; они заставляли машины вертеться быстрей, быстрей, бетон застывать скорей, скорей, землю родить щедрей и чаще.

Вдруг почувствовали люди человечью силу свою, мощь своих рук и коллективных усилий. Все стало возможным: покорение пустынь и перековка людей, осушение болот и переделка мира. Уже заканчивался Турксиб и зачинался Беломорский канал. Покорялась Арктика, и ждала топора колымская тайга. Арматурщики Сталинграда, закончив свое дело на Тракторном, долгими эшелонами уходили на восток, в Магнитную степь, о которой было известно, что она пустынная, рыжая, злая и что ветры над нею свистят свирепо.

Над страною в те годы стоял неумолчный скрип колес. Все сдвинулось, стронулось, все было в дороге, все двигалось, ехало, плыло, брело, и вагон в пустыре становился вокзалом, брезентовая палатка — домом, землянки — городом. Это были временные города и временные вокзалы, и люди здесь были временно,— кочующие люди с инструментом за спиною,— вечным было то, что они делали. То были дни великих, мучительных и радостных потрясений и свершений, волны их доходили и до Чибиряк.

Вся страна мечтала,— как же было не мечтать мальчикам из Чибиряк? Вся страна бредила темпами, просторами, дорогами, котлованами и экскаваторами; вся страна была в пути, в движении,— как же было не тянуться вдаль и нашим мальчикам?

Надо было только среди тысяч чужих дорог найти и выбрать свою, единственную, но верную.

«Красивую»,— как говорил Виктор; «правильную»,— как говорил Андрей.

В том году необычайно высокой стала цена человека. Люди нужны были везде: школам и новостройкам, городам и пустыням. Цены не было человеческим рукам, даже неумелым. Обучали быстро. Стоило только сказать: хочу, желаю!

Но ни Андрей, ни Виктор еще не знали, чего они хотят.

Они лежали на теплом песке у Псла, смотрели, как плывет по реке желтый лист, как отцветает камыш, и, зарыв по локоть руки в песок и гальку, в тысячный раз перебирали дороги и профессии. Они сами не знали, чего хотят. Их мечты были туманны и противоречивы. Сегодня они вновь воодушевлялись тем, что вчера уже отвергли. И, поиграв этой мечтой днем, к вечеру без жалости ее отшвыривали или расходились, рассорившись, чтобы утром вновь помириться и вновь искать. В детстве мечты у них были согласные, дружные, они привыкли мечтать вместе и о том, как вместе будут жить. Но то была игра в мечту, сейчас пришло время мечту сделать жизнью. Они и не подозревали, что невозможно теперь выбрать одну дорогу, равно любезную обоим, они и не знали, насколько разные они люди и судьбы им суждены разные. Они и не догадывались, что стоят уже на перекрестке.

«А если в агрономы, а?» — начинал робко Андрей, но Виктор тотчас же возражал: «Меня к земле не тянет. Давай лучше в водолазы».— «А что, если в лесной техникум?» — «В лес? С волками жить? Та это ж тоска, брате!» — «Нет, в лесу хорошо. Тихо. Из леса, знаешь, скрипки делают. Я читал. Называется резонансный лес».— «Ты тишины ищешь, Андрей,— возмущался Виктор,— а сейчас время громкое. Какой тут, к черту, техникум! Давай прямо на стройку, в степь, а?.. Верхолазами — красота!»

Так они спорили каждый день. Не зная толком ни одной профессии, они беспощадно критиковали все. Они рассуждали о жизни с наивной мудростью юности, которая думает, что все знает, раз прочла две умные книги, и все может, раз этого хочет. Они отшвыривали одну профессию за другой, словно галькой играли. Все камешки круглые, все блестящие и все не дороги — с легким сердцем можно любой запустить в реку, забавляясь кругами на воде.

И не было ни одной профессии, подходящей обоим.

В биографиях замечательных людей они читали, что те чуть ли не с младенчества предчувствуют свое призвание и затем всю жизнь следуют ему.

Но Андрей и Виктор были обыкновенными провинциальными хлопчиками, и никаких за ними талантов не замечалось, и в школе они учились средне, ни к какому предмету не чувствуя особенной нежности.

А если уж правду сказать, и мечты их были невысокого роста. Не собирались они стать знаменитыми. Не мечтали о почестях и славе. Им хотелось только найти себе по душе место в жизни, в самой гуще ее, на главном направлении, как сказали бы теперь послевоенные мальчики.

Мечты к обыкновенным мальчикам обычно приходят из книг, из рассказов отца или учителя или в наши дни — с экрана. Но в 1930 году романтичнее всяких книг и фантастичнее любых фильмов были газеты. Книги еще не успели описать и песни не успели еще воспеть то, что было фантастичнее всяких легенд и вымыслов: жизнь, творимую руками людей тридцатого года. Для мальчиков из Чибиряк даже объявление в «Комсомольской правде» под рубрикой «Куда пойти учиться» зву-

чали тревожной музыкой. И если они читали описание боев на КВЖД, им уже хотелось стать пограничниками, а если сообщалось о походе «Седова» к Северной земле — моряками или полярниками. И они пошли бы вслед за геологами на Урал, где только что открыли советский калий, о чем сообщалось сегодня, если бы на следующий день не узнали из газет о первом полете советского дирижабля над Москвой. Их мотало от мечты к мечте: все было заманчиво, и все сразу же тускнело перед новым видением.

Напрасно обижался на них секретарь комсомольской ячейки, которому уже надоело предлагать им на выбор путевки в техникумы и маршруты на новостройки.

— Та что вы, як женихи, все приглядываетесь? — досадовал он.— Берите любое. Нигде не пропадете.

Он не понимал, что они и впрямь были женихами — сватались к жизни. И боялись ошибиться в выборе. В семнадцать лет кажется, что выбираешь раз и навсегда, на всю жизнь. Семнадцатилетние люди — очень серьезные люди.

И напрасно секретарь ячейки соблазнял их «условиями» и льготами. Нет, ни сытой жизни, ни богатства, ни покоя, ни карьеры, ни даже славы не искали они. Они знали: пойдут работать — будет зарплата, станут учиться — получат стипендию. Они не были избалованы. Их не испугали бы ни нужда, ни лишения. Снежная яма полярника или дырявая палатка геолога казалась им куда заманчивее, чем любой загородный дворец; пропахший дымом солдатский кондёр в котелке над костром — вкуснее любых ресторанных яств. Это-то им было ясно. Неясно было — что же все-таки лучше: снежная яма полярника или дырявая палатка геолога?

А они всем ребячьим сердцем своим предчувствовали, что есть где-то их собственная доля, их судьба, их удача. Надо только найти ее, и неизвестно было, где искать,— на воде или под водой, в облаках или на земле, в каракумских песках или в далекой Арктике.

И только под землей никогда — в мечтах своих не искали они своей доли...

Они были простые, славные и честные ребята, с глазами жадными и любопытными, с понятиями о мире туманными и бескорыстными, с мечтами смутными и бес-

покойными, с душой, широко открытой добру,— и я очень хочу, чтобы вы полюбили их, как я их люблю, и пошли вместе со мной и с ними до конца этой книги, рассказывающей об их судьбе.

2

И еще один день прошел, и два, и неделя, а они все не трогались с места. Простодушные петухи удивленным «кукареку» будили их на заре: «кукареку», вы еще тут, ребята?

Отец Андрея насмешливо поглядывал на сына. Он все понимал и ни во что не хотел вмешиваться. Молодость сама выбирает дороги, советов она не терпит. Он и не знал бы, что посоветовать сыну. «Сиди дома? Вот тебе моя хата в наследство? Если крышу починить да покрасить — совсем новая?» Но он мог предложить сыну только хату — жизнь предлагала ему целый мир.

И все-таки было любопытно поглядеть, что выберет сын.

«Беда, не гораздый он! — с сожалением думал об Андрее отец.— Не моторный, ох не моторный!»

Досадно: тихим, молчаливым, даже робким рос сын. Не было в нем современной бойкости, развязности, дерзкой отваги; смущался на людях, краснел при девушках. Он далеко не пойдет!

«Так все и будет за Виктором тянуться,— с горькой насмешливостью думал отец.— Виктор бедовый!»

А ребята все искали свою дорогу. Они бродили по городу, как по перрону вокзала, нетерпеливо скучая. Они уже были не здешние, проезжие люди; вот ударит третий звонок — и они уедут. Они уж простились со всем, с чем следовало проститься, и отодрали от сердца все дорогое и милое, что надо было отодрать. И поезда то и дело проходили мимо них, дразня огнями, а их поезда все не было.

Теперь Виктор захотел стать киноартистом. Где-то услышал он, что есть такой институт, в Москве: не нужно ни экзаменов, ни путевок туда, надо только иметь красивую морду, и из тебя артиста сделают. Он был красивый парень и знал это. У него было гибкое и упругое тело, глаза, полыхающие черным пламенем, дерзкий, разбойничий рот. Он имел привычку поджимать и при-

кусывать нижнюю губу, так и казалось, что вот он свистнет. Мальчишки дразнили его цыганом, девчата из-за плетней поглядывали с нежным страхом. Его-то примут в артисты.

Но что тут делать с Андреем? Куда девать его разлапистую, медлительную походку, соломенные волосы и этот простодушный вихор над лбом? Разве в комики?

«Ну, там видно будет!» — решал Виктор. Он не любил думать о препятствиях, когда чего-либо страстно хотел. Препятствия раздражали его, он просто от них отмахивался. Он всегда загорался от одной искры, так же быстро он и остывал. У него был темперамент кузнеца, а не токаря.

— Москва, брате, столица... кино... а?..— растроганно бредил он.— А може, талант у нас? Може, это и есть то самое?

Андрей слушал молча. Он никогда не спорил с Виктором, он и не умел спорить. Терпеливо выслушивал буйные фантазии товарища. Молчал. Как будто соглашался даже. А потом тихо, словно извиняясь, бормотал:

— Ни. Не хóчу.

И сразу подрубал мечту под корень.

Виктор приходил в ярость.

— Та будь ты проклят, Андрий, чого ж ты хочешь? — чуть не плача, кричал он.

А Андрей так же молча, только чуть наклонив голову и сбычась, выслушивал брань товарища и снова говорил свое, тихо и упрямо:

— Ни. Не хóчу.

Уже тянуло от воды сентябрьским холодком, за рекою желтели рощи, желтые листья проступали сразу, и вдруг, в одну ночь, как морщинки на лице засидевшейся в невестах девки, наступала осень; в отвергнутых мальчиками техникумах начались занятия; и раките над Пслом надоело оплакивать отъезд ребят; стали желтеть и ее листья.

Однажды мальчики не пошли на Псёл. Осточертело смотреть, как, торопясь, пробегает мимо них река, будто есть у нее какая-то важная цель впереди, а до бездельных мальчишек на берегу ей нет и дела.

Мальчики пошли за город, на шлях. Там, на выходе из Чибиряк, дремал старый курган, седой от серебри-

стой полыни. Мальчики взобрались на вершину и легли в траву.

Хорошо было лежать на вершине кургана, дремотно. Земля была прохладная, покойная, а трава сухая и теплая, нагретая щедрым на прощанье сентябрьским солнцем. Полынь переливалась под ветром и ходила сизоватыми волнами, словно баюкала ребят. Говорят, раньше степные орлы любили залетать сюда, на курган; теперь тут и кобчика не увидишь. Только в траве, если поискать, можно найти лошадиный череп и кости: дорога внизу совсем недавно была чумацким шляхом.

Она и сейчас ползет и вьется по-чумацки — петлями. Она, как и Псёл, плывет куда-то вдаль, и возы на ней, как лодки, и пешеходы, как пловцы, и пыль, как волны.

Андрею не захотелось смотреть на дорогу, он повернулся, лег на спину. Стал смотреть в небо.

Но и по небу, торопясь, бежали беспокойные облака; было в движении и небо: в нем всякую минуту что-то менялось, и тогда Андрей еще раз повернулся и уткнулся лицом в землю. Так будет лучше.

От полыни исходил горьковатый и спокойный запах смерти, так пахнет на кладбище и в церкви, когда отпевают и кадят ладаном. «Отчего полынь всегда пахнет могилою? — рассеянно подумал Андрей.— Или то, мабудь, могила пахнет полынью?» Он растер между ладонями лепестки полыни и понюхал руки. «А может, никуда и не надо ехать? — вдруг подумал он.— Оставаться дома. Пойти к отцу на мельницу. Говорят, через год и в Чибиряках начнутся стройки. Электрическую станцию будут ставить. Может, остаться?» И он снова задумчиво понюхал, как пахнет полынь.

А Виктор смотрел только на шлях. Странно молчаливым был Виктор в это утро, с товарищем не перекинулся и словом. Лежал и смотрел на дорогу. И все было прекрасно на ней: и пыль, и скрип возов, и запахи бензина, овечьей отары и конского навоза. Виктору казалось, что он чует эти запахи даже здесь, на вершине. А запаха полыни он и не слышал.

Длинноногие, сухощавые и, как истинные пешеходы, густо покрытые пылью, бежали вдоль дороги тополя и скрывались за горизонтом. Передние из них уже, должно быть, подходят к Полтаве. «А в Полтаве,— думал

Виктор,— можно сесть на поезд и тогда — куда хочешь, в Москву, на Кавказ или на Тихий океан». Ну, не станешь артистом — можно летчиком, или грузчиком, или даже босяком, как у Максима Горького, бродягой, вольной птицей.

Он и это предлагал однажды Андрею. И Андрей, как всегда, молча выслушал, а потом только спросил недоуменно: «А с учетом как?» — «С каким учетом?» — не понял Виктор. «С комсомольским. Где на учет будем вставать?»

Нет, так никогда не вырвешься из Чибиряк! Здесь все держит: мать, Андрей, комсомол, каждый знакомый камень на дороге. Так никогда не вырвешься! А надо просто — вот сбежать сейчас с кургана и, не оглядываясь, не прощаясь ни с кем, не раздумывая, зашагать рядом с тополями — все равно куда, все равно зачем, только б идти, а не лежать в кладбищенской полыни.

Он сказал вдруг негромко и не глядя на Андрея, словно думая про себя, но вслух:

— А может, врозь?

— Что? — отозвался Андрей. Он не понял и виновато улыбнулся. Ему показалось, что Виктор что-то долго ему говорил, а он вздремнул, убаюканный полынью, и не слышал.

— Я говорю,— повторил Виктор,— может, попробовать врозь? Каждый как сам хочет.

Он сказал это, стараясь не глядеть на товарища. И подождал немного. Вот Андрей сейчас вскочит, бросится к нему, крикнет: не бросай меня, брате, давай куда хочешь — только вместе...

Но Андрей молчал.

И тогда Виктор снова заговорил, он молчать больше не мог. Вот сентябрь на дворе, сказал он с досадой, и осень, и многие ребята давно уехали, простые ребята, не хитрые, не переборчивые, как Андрей, а мы все сидим в Чибиряках, золотой кареты ждем, счастья на блюдечке, и в том один Андрей виноват, ему все не подходит; кабы не он, то Виктор давно б уже был в Москве, в киноинституте. Почему он должен от своей мечты отказываться, хотя бы и ради товарища?

Он говорил, все более и более распаляясь. И, сгоряча бросая слова в лицо товарищу, сам знал, что слова

эти несправедливые и обидные и говорить их не надо, нельзя, стыдно, но сдержаться уже не мог. Запыленные тополя бежали вниз, вдоль шляха, в Полтаву; ветер раскачивал зеленые котомки за их спиной.

А Андрей все молчал.

Он лежал, уткнувшись лицом в траву, и не шевелился. Он и понять не мог, как все случилось. Вот была дружба, и общие мечты, и ребячьи нерушимые клятвы, и свои звезды над головой — Млечный Путь, знакомый, как дорога на Псёл. Как же теперь? Как же теперь будет? Виктор прав. Он смелый, ловкий, расторопный. Он и один не пропадет. Что ему Андрей? Только лишняя ноша.

А как же дружба? Вот так и дружба — до перекрестка. И Андрею вдруг захотелось заплакать.

Бог весть чем могла бы кончиться эта ссора. Уж очень хрупка, нежна и незрела детская дружба. Может быть, наутро они просто помирились бы, уступили друг другу и выбрали бы, наконец, дорогу, подходящую обоим. А может быть, так и расстались бы навсегда, разъехались, и судьбы их тогда сложились бы по-разному, независимо одна от другой. И много лет спустя, если б встретились, удивились бы, что могли когда-то мечтать об одной дороге, а может быть, и пожалели, что общей дороги не нашли. Все могло быть после этого утра на кургане, когда Виктор, оборвав себя на полуслове, вдруг убежал один, а Андрей остался лежать в полыни, но вечером их обоих неожиданно вызвали в райком комсомола.

Они пришли туда врозь, там встретились.

В райкоме толпилось много комсомольцев, никто не знал, зачем их вызвали.

— Может быть, война? — предположил кто-то, и все засмеялись. Хотя, возможно, и война. Все жили тогда предчувствием войны.

Наконец, пришел секретарь райкома Пащенко, как всегда озабоченный и взъерошенный. Этот голубоглавый юноша в сорочке, вышитой синими васильками, всегда жил в состоянии боевой тревоги. И простую фразу: «Товарищи, надо исправно платить членские взносы»,— произносил так, словно звал на фронт. Чувством ответ-

ственности он был наделен в изобилии, чувства юмора не имел совсем.

Он постучал карандашом о графин и, не дожидаясь, пока все рассядутся и стихнут, закричал:

— Товарищи! В Донбассе — прорыв! — и перевел дух.

Это было совсем неожиданно. Никто ничего не понял.

Чей-то девичий голосок простодушно спросил: «Ребята, а где это Донбасс?» На девочку зашикали. Пащенко еще раз тревожно и с силой крикнул: «Прорыв в Донбассе, товарищи!» — и неизвестный Донбасс вдруг придвинулся к Андрею, стал рядом, косматый, дымный и почему-то растерзанный. Гудки над ним метались и кричали всполошенно и вразнобой, как галки осенью. Вот и все, что мог вообразить о Донбассе Андрей: дым, гудки, серый дождь. Он и догадаться не мог, какое же это отношение имеет к нему, к Андрею.

А Виктор жадно прислушивался. «Прорыв!» — он любил такие слова. Вот сейчас Пащенко скомандует: «Вперед, ребята! На штурм! На смерть!» И они пойдут. Пойдут! Виктор не знал еще, какого подвига ждет от них Пащенко: как и Андрей, он смутно представлял себе неизвестный Донбасс и еще более смутно «прорыв в Донбассе». «Прорыв» было тогда еще новым словом в Чибиряках. Но неизъяснимое чувство восторга уже охватило и подняло Виктора, совсем как год назад, когда тот же Пащенко и так же встревоженно закричал им: «Товарищи, конфликт на КВЖД!» Как и все мы, Виктор принадлежал к романтическому поколению.

Теперь Пащенко говорил о пятилетке. Его голос то и дело взвивался — спокойно он говорить не мог. У него была симпатичная, истинно комсомольская черта: все принимать близко к сердцу. Для него не было далеких стран и чужих дел. Все было свое, кровное: и хлебозаготовки в Сибири, и урожай хлопка в Узбекистане, и казнь коммунистов в Италии. Разгром стачки рурских горняков он переживал, как личную драму.

Он говорил сбивчиво, но безостановочно. Слова находились сами, может быть и не те, какие были ему нужны, но он все слова окрашивал своею страстью, и

с ними свершалось чудо: неуклюжие слова хорошели, мертвые становились живыми.

Когда у Пащенко пересыхало горло, он торопливо глотал воду из стакана с таким видом, словно в стакане был крутой кипяток, и сразу же, даже губ не вытерев, продолжал говорить дальше.

«Хорошо говорит! И не остановится ни разу! — с восхищением подумал Андрей и вздохнул.— Я б не смог так. Я б, если б заставили выступить, испугался бы... да убежал». И, как утром, вдруг опять неожиданно подумал он, что никуда не надо ехать. Остаться здесь. Поучиться у Пащенко, в комсомоле. Самому стать таким, как Пащенко.

Пащенко вдруг оборвал свою речь на высокой ноте и сказал уже обыкновенным тоном:

— А сейчас я оглашу вам решение райкома,— и стал шарить в своих многочисленных карманах: портфеля он принципиально не имел.

Виктор следил за ним нетерпеливым взглядом; вот сейчас объяснится, наконец, какого подвига ждут от них: он готов на любой. Но Пащенко долго не мог найти нужной бумажки, он вытаскивал из карманов все не то, вдруг вытащил серебряную шоколадную обертку — он любил сладкое — и страшно смутился, а все засмеялись. Но Виктор не улыбнулся даже, он ничего смешного и не заметил, он был сейчас в состоянии восторженно-жертвенном, и самое меньшее, чего он ждал от Пащенко,— приказа идти на костер.

И вдруг он услышал:

— Чибирякский райком комсомола приветствует инициативу москвичей и ленинградцев, и, со своей стороны, решает послать в счет тридцати тысяч на постоянную работу на шахты Донбасса десять лучших комсомольцев, членов чибирякской организации ЛКСМ, а именно: Абросимова Виктора, Борисенко Митрофана, Воронько Андрея...

Андрей удивился, услышав свое имя: ему казалось, что в райкоме его и не знают вовсе, о нем и не вспомнят. И вдруг его назвали среди десяти лучших. Он покраснел.

«Вспомнили-таки!»

Но это чувство радостного смущения тут же рассеялось. Он понял, что значит список десяти. «Значит, в шахтеры нас? В шахтеры?» — сообразил он и растерянно оглянулся вокруг себя. Сам того не подозревая, он искал Виктора.

Они сидели врозь — утром поссорились, но тут сразу же нашли друг друга глазами. Оба почувствовали, что сейчас и, может быть, навсегда решается их судьба. Лицо Андрея выражало растерянность, лицо Виктора — обиду.

Да, обиду. У него даже губы дрожали по-детски обиженно. Словно Пащенко обманул его и зло над ним насмеялся. Куда угодно можно было двинуть Виктора — в небеса и на море, под воду и за Полярный круг. Но в шахту? Просто в шахтеры? Еще минуту назад был готов он на любой подвиг, даже на смерть,— он и сейчас готов. Но где же подвиг? Просто в шахтеры. И он чуть не вскочил с места. Чуть не закричал в слезах: «Не хочу! Не имеете права!»

Пащенко вовремя заметил лицо Виктора. Оно удивило и даже обидело секретаря. Нет, не таких глаз ожидал он в ответ на свою пламенную речь.

Он сказал сухо:

— Впрочем, если кто не хочет, может отказаться... Дело добровольное.

3

В эту осень и я задумался над своей судьбой. Надо было выбирать дорогу и мне.

Срок моей службы в армии кончился. Я сдал экзамены и получил звание командира взвода. Теперь в моей воле было и оставаться в армии и уходить в запас. Я не знал, на что решиться.

Мне было двадцать три года, но, как все ребята моего поколения, я все начал рано: мечтать, работать, жить. Иногда мне казалось, что я уже прожил жизнь большую и трудную, а иногда — что еще и не жил вовсе.

С малых лет мечтал я стать писателем. Мальчишкой писал стихи, печатал их в комсомольской газете «Молодой шахтер», очень гордился ими и подписывал своим

полным именем: Сергей Бажанов. Но однажды меня вызвали в губком комсомола и посоветовали стихи полным именем не подписывать.

— Твои стихи очень плохие,— спокойно объяснил мне секретарь губкома.— Если ты станешь всамделишным писателем, тебе будет стыдно за них. Подписывай только хорошие стихи.

Но мне все стихи тогда казались хорошими, я обиделся.

Потом, в восемнадцать лет, я сам понял, что никакой я не поэт, и стихи писать бросил. Стал работать в газете.

В полку меня почему-то сразу окрестили «писателем».

Маленький и бравый командир моей роты сказал мне как-то в той характерной, отрывистой командирской манере, с какой, бывало, проводил занятия в роте или «вправлял мозги» на вечерней поверке.

— Вся рота,— сказал он.— Так? Очень. Гордится. Понятно? Что в нашей первой роте — писатель. Так? Служит. Очень! — и зачем-то приложил два пальца к козырьку фуражки, словно отдавая честь. Потом взглянул на мои бурые сапоги и в том же тоне закончил: — А сапоги — вымыть. И вычистить. Быстро. Стыд. Понятно? — И я весело побежал к ручью мыть сапоги.

Служить в армию я поехал охотно и радостно; кто был комсомольцем — меня поймет. Мы недаром были шефами червонного казачества и военно-морского флота. Правда, я просился в кавалерию, а попал в горную пехоту, но зато — на границу. Правда, не на дальневосточную границу, а на турецкую, но зато — горы. И пока наша веселая теплушка новобранцев, словно лодка, плыла, покачиваясь, по воронежским, украинским и кубанским пшеничным полям, я успел намечтать с десяток книг — в каждой были горы, чеченцы и подвиги на границе. Вы не забыли, что мне тогда и двадцати двух лет не было? Жизнь казалась мне только занятной темой для ненаписанных книг.

В полку нас сразу же взяли, как выразился старшина, в «сурьезные руки»: таков уж был стиль пограничного полка. До романтики было далеко, дело началось со стрижки и заправки.

— По порядку номеров рассчитайсь! — скомандовал старшина.

— Двадцать седьмой! — не своим голосом крикнул я. Все вокруг засмеялись, а я вдруг почувствовал, что вот оно — свершилось. Теперь я только — двадцать седьмой, стриженый, с оттопыренными ушами. Еще вчера, в штатском пальто, я как-то отличался от остальных. Сейчас великий демократизм военной гимнастерки всех уравнял. Теперь я только единица из тысячи.

И чтобы даже носок моего рыжего армейского сапога не выскочил из линии других рыжих носков, старшина скомандовал: «Равняйсь!» Он шел потом вдоль шеренги, как плотник, на ходу подстругивая рубанком шершавую доску. Из разнообразных человеческих тел он стал лепить идеальную прямую и скоро подчинил ей и живот моего соседа справа и могучие плечи моего соседа слева.

Потом он скомандовал: «Направо-о!» — и шеренга, как ладный механизм, повернулась направо; я был только винтиком в нем. Потом старшина скомандовал: «Марш!» — и стоногое тело двинулось, и мои ноги тоже. Когда я сбился с ноги, старшина сердито закричал: «Эй! В седьмом ряду взять ногу!» — и я торопливо поправился.

Мы шли через каменистый плац, и попадавшиеся нам навстречу командиры добродушно-насмешливо смотрели на новобранцев. Кто из них угадает, что в седьмом ряду слева марширует «писатель»? Командиры привычным глазом прикидывали только, достаточно ли однообразно колышутся ряды.

Вот тогда-то все и произошло. Мещанин, которого я доселе и не подозревал в себе, вдруг взбунтовался. «Не хочу! — закричал он во мне со страшным гневом.— Не хочу подчиняться армейской арифметике и геометрии! Не хочу делиться на два, на четыре, на восемь! Не хочу жить по команде и сигналам. Не желаю, чтобы меня будили, когда я еще хочу спать, вели обедать, когда я еще не голоден. Почему я должен подчиняться моему косноязычному отделкому? Он беспартийный даже!»

Теперь смешно и стыдно вспомнить, а тогда мещанин меня одолел. Я шагал в строю с таким видом, точно меня обидели. Точно учинили надо мною чудовищную несправедливость, а исправить ее некому, да и поздно.

Не знаю, чем бы этот «бунт» кончился, но пришел политрук в роту и объявил, что вечером — полковое партийное собрание...

С тех пор много лет прошло, а я то собрание помню.

Вы, конечно, испытывали это: всякий раз, отправляясь на партийное собрание, волнуешься по-новому, будто впервой идешь. Чувствуешь потребность пообчиститься, подтянуться, внутренно *прибраться*. Остаются позади мелкие каждодневные дрязги: свое собственное, маленькое, частное делается совсем уж незначительным и никчемным перед тем большим и общим, ради чего ты на собрание и идешь.

Помню всякие собрания: и торжественные, и деловые, и веселые, и яростно-злые, когда до хрипоты в глотке дрались мы, бывало, с уклонистами всяких мастей; вчерашний друг оказывался сегодня врагом; нам пришлось научиться беспощадности.

Помню долгие — до зари — собрания по «персональным делам»; на весах партийной чести взвешивалась вина товарища, его достоинства и заблуждения. Мы хотели быть справедливыми. Мы судили не торопясь. Тогда каждый становился и психологом и врачом. Голосуя приговор, мы смотрели виновному прямо в лицо.

Помню собрания вдали от большой родины, от Большой земли: где-нибудь на зимовке, или в полярной экспедиции, или в плавании; мы любили заканчивать эти собрания «Интернационалом». Он у полюса особенно хорошо звучит.

Помню собрания перед боем, в лесу, в горах, просто в траншеях. И одно собрание помню после боя. Это было на Карельском перешейке, зимой на Вуоксивирта — реке, скованной льдом; там дрогнул наш полк, побежал, и мы, коммунисты, не сумели остановить его.

Я это собрание помню. Даже те из нас, кто был в окровавленных повязках, потупившись, смотрели в снег; была вина и на них — вина за всех.

Прямо с этого собрания полк снова пошел в бой.

И еще я партийные собрания помню,— на них мне доводилось бывать только гостем. Была вокруг чужая земля, и чужое небо, и чужие — не похожие на наши —

сосны, и речи звучали на чужом языке, и даже сидели люди на собрании не по-нашему — японцы, например, прямо на полу, на «татами», поджав ноги. Но и без переводчика мне были понятны их речи, я их душой понимал. Мы все тут были люди одной веры, одной партии.

Думаю, что нет и никогда не было в мире собраний скромнее и проще наших. Отчего ж так волнуют именно они? Что за чудесная в них сила? Отчего после них и в огонь, и в бой, и на смерть пойдешь, не дрогнув,— как ходили отцы на кронштадтский лед в двадцать первом, как мы на штурм Берлина в сорок пятом!

Только мы сами знаем, в чем секрет этой силы.

Наши секретари редко баюкают нас утешительными речами. Как бы много и хорошо мы ни работали, им все мало. Оттого чаще всех других слов на собрании звучит требовательное слово «должен!» Мы слышим в нем не свист хлыста,— мы все пришли в партию добровольно,— а песнь трубы, сигнал к бою.

Сидят на собрании рядом, плечо к плечу, генерал и солдат, слесарь и министр — члены одной партии; крутое слово «должен!» касается каждого и всех.

Здесь никто и никогда не скажет: мы сделали — теперь отдохнем, мы победили — теперь насладимся. «Должен!» — поет труба. Да, мы должны свершить все, что нам предназначено.

Оттого и запомнились мне все партийные собрания — все, все, сколько их было в моей жизни,— что каждое из них врубилось в мою память и в мою жизнь как новая ступенька бесконечной лестницы. Я иду по ней рядом с товарищами, все вверх, вверх, в гору, к сияющей вершине, теперь уже видимой ясно.

Такой ступенькой было для меня и первое партийное собрание в полку.

Я шел туда, нянча свою «обиду». Теперь уж не помню, что собирался я сделать,— кажется, выступить с речью, да с такой, чтобы все ахнули, и устыдились: вот какого «орла» не заметили среди серых шинелей. Но, попав в привычную, свойскую, немного шумную, немного взволнованную атмосферу партийного собрания, я как-

то нечаянно-негаданно всю свою «обиду» растерял; она растаяла, как ледышка, принесенная в теплую комнату.

Командир полка делал доклад о задачах боевой подготовки: «мы должны сделать то-то и то-то»; и, слушая его, я понял, что это и я — «должен». Снова испытывал я знакомое с детства радостное чувство слияния «я» и «мы». И был счастлив этим чувством.

Мне и десяти лет не было, когда случилась революция. Мне едва двенадцать пробило, когда я робко постучался в двери укома комсомола: меня не приняли, но и не прогнали. Из таких же, как я, недомерков сколотили «детскую коммунистическую группу при комсомоле» — я был счастлив и горд. Нас шутя называли «хвостом комсы», я не обижался. Только мечтал поскорее стать «комсой». Мне было четырнадцать, когда, наконец, приняли меня в комсомол, и девятнадцать, когда я стал коммунистом. Беспартийным я не был никогда.

Как же я мог «взбунтоваться» против дисциплины, я, выросший с детства в коллективе, в строю? Мне было стыдно. И я на всю жизнь запомнил это партийное собрание.

И вот окончился срок моей армейской службы.

Я сдал экзамены и получил звание командира взвода. Теперь я сам должен был решать свою судьбу и выбирать себе дорогу.

Вечером того дня, когда был официально объявлен приказ о нашем производстве в командиры, ко мне подошел командир второй роты Авсеенко. Насмешливо щуря свои и без того маленькие, хитрые и блестящие глаза, он поздравил меня и протянул подарок — два малиновых кубика.

— Спасибо! — смутился я и хотел сунуть подарок в карман.

Но Авсеенко закричал, смеясь:

— Нет, нет. Так не пойдет! Придется водрузить знаки на петлицы. Или кубика тебе мало? — вдруг коварно спросил он, прицепляя знаки.— Впрочем, и Лев Толстой был всего подпоручиком. Зато, говорят, отлично стрелял и знал баллистику.

Это был огонь в мою сторону: баллистика была моим слабым местом.

— Ну, а теперь гляди! — сказал Авсеенко и потянул меня к зеркалу в ленинском уголке.— Хорош! А?

Было странно видеть командирские знаки на моей гимнастерке. Это была гимнастерка заслуженная, солдатская; срок ее носки окончился вместе со сроком моей армейской службы. Перед экзаменами я сам тщательно выстирал ее в Куре. Но неистребимо чернел на плече знак ружейного ремня, на локтях остались следы «ползания по-пластунски»... О, колючки высоты 537,5, пыль и соль Кобулетского лагеря, ночи у костров высокогорных экспедиций — вы навсегда отпечатались на моей гимнастерке! Было грустно думать, что теперь придется расстаться с ней.

— Гимнастерку мы тебе закажем завтра же у моего портного,— продолжал тараторить Авсеенко.— Хорошо шьет, каналья, с шиком! И недорого. Ну, года два покомандуешь взводом, потом дадут тебе роту, а там — батальон, полк, дивизию...

Я не слушал его больше. Смотрел в зеркало на курносого парня в солдатской гимнастерке и думал: а может быть, в самом деле остаться?

Вечером мы с Авсеенко и еще тремя знакомыми командирами сидели в духане и «вэбрызгивали» мое производство. Как всегда на Кавказе, пили только вино, не водку, и, как везде, где вина много, пили мало.

Авсеенко и тут донимал меня. Он был старше меня всего лет на пять. Но именно эти пять лет разницы позволяли ему,— пусть мальчишкой, но все же участвовать в гражданской войне, а я опоздал, о чем и жалел горько и долго, может быть всегда.

Он был отличный офицер, холостяк, острослов и щеголь. На экзаменах я пуще всего боялся его языка. Он носил военную форму с тем небрежным изяществом, какое только кадровым командирам дается; его мягкие сапоги были без каблуков, гимнастерка сшита на кавказский манер, буденовка, ни на чью другую в полку не похожая, напоминала не то французское военное кепи, не то шишак древнерусского витязя. Впрочем, эта авсеен-

ковская буденовка возмущала меня: из нее словно выветрился романтический дух Первой Конной.

— Конечно,— разглагольствовал он, щуря свои хитрые, насмешливые глазки,— конечно, некоторым военным звание командира взвода кажется невысоким званием. Хорошо! Ну, тогда мы на литературные ранги переведем. Если Горький — командарм литературы, кто же ты будешь? Отделенный?

— Ездовой...— ответил я.

— Не спорю. Тебе видней. А тут, во взводе, под твоей командой — сорок штыков, сорок людей. Сорок че-ло-ве-ков!

— И четыре ручных пулемета,— вставил Стаховский, помначштаба.

— Ну, сколько, скажем, бывает в романе активных действующих лиц? — продолжал Авсеенко.— Двадцать, тридцать, пятьдесят?..

— Меньше,— буркнул я.

— Видишь. И всех их автор сам выдумал, и с каждым из них может сам расправиться, как захочет, и умертвить и вычеркнуть. А тут — тут в твоей руке сорок живых людей. И у каждого — характер. Не тобой выдуманный. И хотят они жить по-своему, не по твоей указке. И ты не смеешь,— слышишь, не смеешь! — ни одного из них ни потерять, ни вычеркнуть. И даже за смерть каждого из них, пусть в бою, ты, командир, головой отвечаешь! И всех этих солдат, живых и разных, ты обязан своей воле подчинить, иначе ты не командир, а... писарь!

— Верно! Ах, как верно, Саша! — в восторге закричал Стаховский.— Вот говорят: лямка, лямка, солдатская лямка. А ведь это поэзия, если вдуматься!..— И он потянулся с бокалом к Авсеенко.— Люблю, Саша, хорошо ты это сказал...

— Д-да...— задумчиво отозвался вечный комвзвода полковой школы Власов, которого в отличие от другого Власова, женатого, все в полку — даже солдаты — просто звали «Яшей-холостяком».— Вот тысячи стриженых ребят прошли через мои руки. А я каждого помню...

— Ты гордись, гордись! — закричал мне Стаховский, тыча толстым пальцем в малиновый кубик на моей

петлице.— Ты чувствуй! Тебе этот кубарь легко достался. А нам, брат...

— Теперь и ромб получить недолго! — засмеялся молоденький Федорчук.— И у юристов — ромбы, и у канцеляристов — ромбы.

— По занимаемой должности,— объяснил Стаховский.— Не по выслуге лет, а по занимаемой должности.— Как и все настоящие служаки, он терпеть не мог «скороспелок». «Ну что ж! — усмехнулся он.— Как говорится: дайте ему «ромбу», да не давайте роту. С ромбом ничего не сделается, а роту погубит!

— Давай выпьем, Сергей! — сказал Авсеенко мне вдруг очень сердечно.— За тебя выпьем! — Мы чокнулись.— Конечно, ты сам хозяин своей судьбы. Что можем мы предложить тебе? Скромное место в полку да нашу дружбу. Не много. Но вот что я тебе скажу, Сергей: оставайся! Оставайся в полку! В армии не стыдно быть даже ездовым. А в литературе быть ездовым — стыдно, нельзя.— Он посмотрел мне прямо в глаза и опять чокнулся.— Оставайся, Сергей! Сорок живых человек лучше сорока книжных, вымученных!

— А мы вам поможем! — застенчиво сказал Федорчук, тоже подходя с бокалом, чтобы чокнуться.

— Поможем! Почему не помочь? — зашумел и Власов.— Я с тобой каждое занятие наперед отработаю...

— И если надо уставчики, конспектики, пожалуйста! — подхватил Стаховский.— Замечательные у меня конспектики есть...

А я стоял растроганный, чокался с этими славными людьми и думал: а может быть, и в самом деле остаться?

— Подумай! — сказал мне командир полка, добрейший Павел Филиппович.— Мы тебя не торопим. Сам и решай! Хочешь оставаться в армии — милости просим. Дадим тебе взвод. А не хочешь — иди становись писателем.

И, уже провожая меня к двери, спросил, деликатно понижая голос до шепота:

— А ты как сам чувствуешь: талант в тебе есть?

Три дня было дано мне на то, чтобы выбрать себе дорогу. Я бродил по горам и думал.

Мы стояли на турецкой границе, в городке с превосходным именем Ахалцых, что значит — Новая крепость. Здесь действительно была крепость и в ней казармы. Когда-то в этих казармах квартировал Тенгинский полк. В витрине городского фотографа Балтурмянца («фирма существует с 1877 года») еще желтели портреты господ офицеров-тенгинцев, и среди них — фотографии полкового батюшки, мужика рыжего и сытого, с крестом, орденами и шашкой.

В Тенгинском полку, как известно, служил когда-то Лермонтов. Я не знаю, бывал ли он в Ахалцыхе, жил ли в крепости. Но тогда мне очень хотелось, чтобы жил.

Чтобы жил и бродил здесь, как я сейчас брожу, и глядел в раздумье на эти серо-зеленые холмы, на горы, на яблоневые сады и заросшие травою кровли.

К вечеру я возвращался в полк. Здесь все было знакомо и любо мне. Все люди — от командира полка до Гриши Одинокого, вольнонаемного «виртуоза на балалайке», неизвестно когда и как прибившегося к полковому клубу, да так навсегда и приросшего к нему; все здания — от знаменитой вышки, где под караулом, в сером чехле, хранилась святыня полка — знамя,— до конюшни хозроты. Здесь в стойле вечно дремал жеребец Ворон, мой нежный и некрасивый друг.

Он действительно был нескладен, этот огромный битюг, с тонкой, как у гадюки, шеей. Но сорок дней и сорок ночей горного похода мы прошли с ним вместе. Разве это забудешь?

Помню ночь над Коблиан-чаем... В ту ночь в полку никто не спал. Мы стояли — с артиллерией и обозами — на узкой горной тропе над пропастью и ждали зари. Было холодно. Внизу на камнях билась в пене река. Стоило сделать один неверный шаг — и загремишь в пропасть. В том походе полк потерял много коней: мой равнодушный, задумчивый Ворон вывез! Я бы мог и дальше продолжать ездить на нем. Если стать командиром пулеметного взвода,— лошадь положена.

Может, остаться?

Может быть, все-таки остаться? Я думал об этом все дни напролет. Будет жизнь трудная, беспокойная, гарнизонная. Ученья, походы, инспекторские смотры, поощрения и нагоняи. И маленькие города на границе, где

выстрел в ночи — быт, а приезд бригады артистов — событие. И праздники, когда по прекрасной полковой традиции жены командиров в белых фартучках ухаживают в столовой за бойцами: подают обед солдатам, сладкий плов с изюмом и домашний хлебный бабушкин квас.

И будут будни, много будней. Волнение из-за каждого ЧП[1]: из-за недочищенного Ивановым пулемета, из-за вши, с ужасом обнаруженной санитаром в койке Петрова, из-за самовольной отлучки Сидорова, красавца и футболиста.

И будут ломкие ночи с наганом под подушкой на случай тревоги. И хрусткие, морозные утра в горах, когда в «обстановке, приближенной к боевой», карабкаешься по скалам, воображая себя Суворовым в Альпах. И летние зачетные стрельбы, когда лежишь со своим взводом на линии огня и стараешься казаться спокойным, и чувствуешь животом землю — сырую, добрую, пахнущую мятой,— и прижимаешься к ней плотнее, чтоб найти в ней силу и опору для удачного выстрела. Трепещет алый флажок на вышке: огонь! Разбуженные выстрелами горы отвечают долгим эхом. Тонко и насмешливо поет труба: «По-пади! По-пади!» И так хочется попасть!

И будет много молодого счастья и удали в этой жизни, и теплой, мужской дружбы, и поэзии, и прелести, и борьбы...

Может, остаться? А как же ненаписанные книги? И неисхоженные маршруты? И прежние мечты? И в моих ушах вдруг начинали звучать другие голоса, еще смутные и неясные; словно то шумели ветры далеких странствий и заманивали, заманивали меня... Куда?

И я уходил в горы или по узким и кривым уличкам сбегал в город, в самый центр его, толкался там, прислушиваясь к гортанному говору.

Толпились на базаре горцы. Картинно подбоченясь, проезжал верхом усатый курд в рваном бешмете, с длинным старинным кинжалом в серебре. Медленно пробирался сквозь толпу задумчивый горец в коричневом башлыке, закутанном вокруг головы чалмою, в тумба-

---

[1] Чрезвычайное происшествие.

нах грубой шерсти с огромным курдюком сзади, в теплых чулках, спрятанных в мелкие легкие яманы. Он вел в поводу ишака; на нем колыхалась величавая и толстая жена, с головы до ног закрытая тонкой белой шелковой шалью. Бренчали монисты, звякала уздечка, колыхались жирные крутые бока женщины.

Над базаром клубились густые запахи пищи: теплого овечьего сыра, козьего молока, жирной баранины, лука, пресного лавашного теста, сушеной рыбы, знаменитых ахалцыхских яблок. Терпко пахло лошадиным потом и дымом. С дверей мясных лавок свисали распятые окровавленные бараньи туши. Над раскаленными камнями очагов на длинных железных цепях качались задымленные чугунные посудины. Скрипели цепи; казалось, вот-вот сорвется посудина с якорей и отплывет в дальнее плавание.

И все звенело, стучало, шумело, кричало и торговалось вокруг. Двери лавчонок и мастерских были распахнуты настежь, серебрянщики, жестянщики, седельщики, цирюльники, красильщики, канительщики, столяры, кузнецы, сапожники работали на глазах всей улицы, товар выходил горячим из-под их умелых рук.

Седельщики мастерили знаменитые кавказские седла с серебряными насечками, с накладками из оленьей кости: кинжалы наперекрест. Канительщики тянули на ручном станке золотую и серебряную канитель, мохнатую бахрому, пеструю мишуру, шнурки. Чемоданщики делали огромные сундуки, расписанные яркими красками и разводами, ларцы с секретами, шкатулки с металлическими наугольниками. Молодые парни — сапожники — быстро и лихо шили мягкие чусты из серого брезента с толстой подошвой из старой автомобильной покрышки: автобусы и автомобили были тут теперь так же обычны, как и скрипучие арбы. Кузнецы держались ближе к базару, оружейники — ближе к горам: впрочем, в последнее время они больше чинили примусы и велосипеды, чем ружья.

И совсем уж особо жили аристократы ахалцыхского ремесленного мира — золотых и серебряных дел мастера. Они и работали и жили в своих саклях из серого, неотесанного камня, с железными решетками на окнах — память об армяно-тюркской резне. Тощие, чахоточные,

молчаливые, в узких очках на самом кончике синего в черных точках носа, они трудились над медными узорчатыми поясами, брошками, безделушками из тусклого фальшивого серебра; настоящие золотые вещи мастерились тайно и бережно, ниточка к ниточке создавался сложный орнамент, хитрые узоры, ажурное кружево из податливого металла. Их редким ремеслом был славен город.

А я? Только шел сквозь этот озабоченный, трудящийся мир. Сам я еще не выбрал профессии себе по душе.

Однажды я ушел совсем далеко к Куре. Здесь, на берегу, я провел почти весь день.

Мутная, желтая, всклокоченная река быстро проносилась мимо. Ей было некогда; она тоже работала — несла плоты.

Широко расставив ноги и навалившись на длинные шесты, стояли на бревнах плотовщики, мокрые с головы до ног; старик был у правúла. Он был бос, его узкие у щиколотки шаровары раздувались на бедрах, как парус на ветру.

— Гауптхильды! — кричал он то и дело.— Берегись!

Плоты неслись между камней, рискуя каждую минуту разбиться.

— Гауптхильды! — кричал старик и вдруг наваливался всей грудью на правúло. Он свое дело знал. Все люди вокруг меня знали свое дело.

И опять я услышал, как зашумели в моих ушах ветры далеких странствий.

Было бы славно вот так нестись по Куре, в брызгах воды, рискуя каждую минуту потонуть или разбиться о камни...

Я молод, здоров, все дороги мира распахнуты передо мной. Я могу остаться в армии. Могу уйти в плавание. Могу отпроситься в авиацию. Могу вернуться домой, в Донбасс. Я все могу. Надо только выбрать. Скорее же выбирай по душе дорогу, Сережа Бажанов, парень двадцати трех лет. Пора!

А по Куре все идут и идут плоты. И старик у правúла тревожно кричит то и дело:

— Гауптхильды! — что означает: «Берегись!»

— Впрочем, если кто не хочет, может и отказаться! — сухо сказал Пащенко и в упор посмотрел на ребят.

Андрей и Виктор молчали.

Конечно, можно и отказаться. Можно встать и прямо объявить: «Ни. Я не хóчу!» Или схитрить: «Я б поехал, да мама больная... старая... одна».

Отказаться можно, да как жить потом, если уже в семнадцать лет сдрейфил, испугался, на первый же зов комсомола ответил отказом?

Ребята, ровесники мои, кто из вас не переживал этого гордого чувства: «Я мобилизован партией!» Не завербован, не нанят, а мобилизован!

Мы ходили и в счет тысячи, и в счет двадцати пяти тысяч, и во флот, и в деревню, и в лес. Нас «бросали» и на хлеб, и на дрова, и на транспорт. У иного вся биография состоит из одних мобилизаций, и это биография нашей родины, география ее магистральных дорог. Мы умели собирать сундучки быстро. Мы к любому климату приживались. Везде мы были свои.

Андрей тихо поднял голову и негромко сказал:

— Нет, мы согласны!

И, сказавши, сам удивился, что так сказал, и понял, что сказать иначе было нельзя.

Долговязый Пащенко восхищенно всплеснул руками, а потом поднял их высоко над головой и первый стал аплодировать.

А Андрей стоял растерянный и смущенный, сам не понимая, отчего все аплодируют ему, и не чувствуя еще, что это первая великая минута его жизни; он будет вспоминать ее потом часто и по-разному.

Потом были речи, и внезапно возбудившийся Виктор пламенно кричал, что если родине нужны шахтеры, то, пожалуйста, он идет добровольно. Говорили все мобилизованные, кроме Андрея; еще раз выступал Пащенко, а потом всем собранием, взволнованные и разгоряченные, вывалились на улицу, пошли по городу провожать героев по домам.

Шли в обнимку, с песнями, по пятеро в ряд, прямо по средине улицы, как в девятнадцатом году ходили. И, доведя героя дня до ворот его дома, прощались долго и

шумно, хором кричали здравицу, пускали «ракету» — ведь еще вчера все были пионерами; а одна девчина — та самая, которая спросила: «А где это Донбасс, ребята?» — даже поцеловала Андрея при всех, от всего сердца, и он смутился, а все захохотали. Это была великая минута и в их жизни, она запомнилась, стала датой. «Это было тогда, когда мы провожали наших комсомольцев на шахты». Потом проводы стали частыми. Родина требовала — мальчики из Чибиряк уходили в большую жизнь: на учебу, на новостройки, в армию. Их провожали всей организацией, как провожали Виктора и Андрея.

Оставшись один у своей калитки, Андрей не сразу прошел в дом. Он еще постоял под тихими вербами в палисаднике, послушал вечернюю песнь матиол. «Вот и свершилось! Значит, в шахтеры». И на душе вдруг стало легко и покойно. Выбор сделан. А там — видно будет!

Он вошел в дом и сказал отцу:

— Послезавтра мы уезжаем.— Помолчал и прибавил: — На шахты.

Отец удивленно вскинул на него глаза.

— Куда? Это что же, Виктор твой придумал? — гневно спросил он.

— Ни. Комсомол мобилизовал.

— А-а! — Отец встал и заходил по комнате.

— А может, еще отказаться не поздно? — нерешительно спросил он.— Похлопотать?

— Нет. Нельзя.

Они опять помолчали оба.

— Так это ж ненадолго, сынок, а? — спросил, наконец, отец.— На месяц, может, на три?

— Того не знаю...

Отец вернулся к верстаку и снова взялся за прерванную работу — мастерил дочке куклу: он все умел.

— А я-то думал,— сказал он, виновато усмехаясь,— ты учиться поедешь. Пока есть у меня сила-возможность... Ну, ничего! — И он низко склонился над чурбашкой: стал рисовать глаза.

И Виктор, придя домой, сразу же сказал матери, что уезжает на шахты.

— Ой, лышенько! — всплеснула руками мать.

Но Виктор строго и резко остановил ее:

— Мобилизация, мама.

Она услышала в этих словах знакомую нотку и притихла. Вот так, бывало, и отец Виктора на все ее бабьи вздохи и слезы одним только словом ответит: революция. Или мобилизация. Приказ ревкома.

Она подавила вздох. С ревкомом спорить нельзя. И, пряча от Виктора свои тихие слезы, сразу же стала собирать его в дорогу.

Весь следующий день был в суматохе, волнении, сборах, печении пышек на дорогу. Только мельком, в райкоме комсомола, виделись Андрей и Виктор.

А вечером нечаянно встретились у палисадников. Молча, не сговариваясь, пошли они к Пслу. Вчерашняя ссора была забыта, о ней оба и не вспоминали ни разу. Какая тут ссора! Теперь им долго идти вместе, может быть, всегда.

Они вышли на Псёл и долго молча смотрели на реку. Они прощались не только с ней: прощались с детством. Оно было хорошее, привольное, богатое. Спасибо тебе, река, спасибо вам, родные поля, родной город! Теперь у ребят начиналась трудовая жизнь. Они и то начинали ее поздно. Отец Андрея свой первый кусок хлеба заработал в десять лет.

— Говорят, на шахте страшно! — тихо сказал Андрей.— Лошади, и те слепнут.

— Это брехня!

— Нет. Так и живут в шахте — слепые.

Тихо плескалась река, стучала в дубовый човен.

— Я, как приеду на шахту,— хвастливо сказал Виктор,— сразу же стану ударником. Пусть знают, какие мы есть! — И он озорно потянулся всем своим гибким телом.

— И еще говорят,— сказал опять Андрей,— газов в шахте много. Спичку чиркнешь — и взрыв.

— И ты уж сдрейфил? — презрительно усмехнулся Виктор.

— Я? — спокойно переспросил Андрей.— Я — нет.

Уже совсем стемнело. Надо было возвращаться домой. Виктор отломил ветку ракиты и бросил в воду.

— Плыви!

И они оба долго, затаив дыхание, смотрели, как плы-

вет по темной воде ветка; нет, не тонет! — вот она совсем скрылась в темноте.

— А такой реки там не будет! — вздохнув, сказал Андрей и вдруг почувствовал, как что-то сжало его горло.

— Э, баба! — сердито сплюнув, выругался Виктор и пошел прочь.

Рано утром следующего дня мобилизованные комсомольцы тронулись в путь. Их провожал оркестр. Подвода с сундучками ушла вперед. Сами ребята решили шагать до станции пешком — всего семь километров, а провожающих — вся комсомолия города.

Оркестр дошел до кургана, сыграл на прощание веселый марш. В последний раз оглянулись ребята на родной город и увидели: крыши, крыши, крыши и на залитых солнцем крышах желтые тыквы.

Так и запомнилось навсегда: золотые тыквы на родных черепичных крышах...

И вот уже шагают рядом с ребятами по чумацкому шляху длинноногие тополя. И вот уж — бегут в окне вагона... Тополевый край, Украина!

В Полтаве чибирякцев посадили в специальный эшелон. Здесь уже были киевляне, черниговцы, житомирцы, полтавчане; на каждой станции подсаживались все новые и новые партии: появились сумские комсомольцы, потом харьковчане; словно весь комсомол поднялся на уголь, двинулся в путь. Андрей уже знал, что едут они с Виктором в счет тридцати тысяч.

— Тридцать тысяч! — восхищался Виктор.— Это ж армия!

Знакомились быстро. Ехали весело, шумно, с песнями. Удивлялись, глядя в окна вагона, что степь тут такая же, как и у них, в Чибиряках, и поля такие же — уже скошенные, с золотыми курганами-скирдами, и такие же беленькие и голубенькие хатки, с расписными ставнями, и журавли над криницами, и тополя опять.

И даже когда вбежал, наконец, веселый эшелон на донецкую землю — ничего не изменилось. Та же полынная степь, те же тополя, те же хатки-мазанки...

— Та нет, это не Донбасс! — разочарованно вскричал Виктор.— Не может это быть Донбасс.

Но проводники подтвердили: Донбасс. Красный Лиман, Яма, Артемовск.

И только за Никитовкой к вечеру тревожно запламенели стекла. Ребята бросились к окнам. Нет, это не пожар и не закат.

Так впервые явился ребятам Донбасс во всей своей красе и силе: в грохоте и пламени, в тучах черного густого дыма над тушильными башнями, в багровых отсветах доменных плавок, с огнями, загадочно мерцающими на шлаковых отвалах, с синими кострами на глеевых горах; с горьким запахом угля и едко-сладким — тушеного кокса; с беспокойными запахами газа, серы, железа и колчедана, тлеющего на терриконах; с дыханием трудным, тяжким, прерывистым, словно все воздуходувки, компрессоры и паросиловые станции не могли вдунуть достаточно воздуха в его богатырские железные легкие, и он сопел, пыхтел, дышал тяжко и со свистом...

Таким явился ребятам Донбасс в ночи — многотрубный, величественный, косматый и непонятный...

«Здесь нам работать... И жить»,— думали мальчики с восторгом и страхом. И все смотрели да смотрели в окна вагона, как мимо, медленно покачиваясь, проплывал Донбасс...

5

Но они не скоро стали шахтерами. Сперва они были гости. Их встречали оркестрами и речами. Местные комсомольские руководители суетились вокруг них. Было видно — они боятся, что новичкам тут не понравится.

Один из них, удивительно похожий на Пащенко, все извинялся на каждом шагу: за дым, за пыль, за то, что зелени мало...

— Конечно, трудно будет, пока привыкнете,— говорил он.

— А вы привыкли? — спросил его Виктор.

— Я? — он улыбнулся.— Я родился тут.

— Ну и как здесь, хорошо?

— Мне хорошо! — Потом, точно сам проверяя, правду ли сказал, оглянулся вокруг: его глаза потеплели и стали еще более синими.— Во-он там,— показал он,— наша хатка. Где акация.

Поселили ребят в общежитии.

— Тумбочек пока нет,— объяснил комендант,— но выписаны. А также будут цветы в кадках, культурно.

Андрей выбрал две койки — себе и Виктору. Повесил фотографии. Их было всего три: семья Воронько в полном составе, с грудной Наталкой у матери на руках; пионерский лагерный сбор на Псле; Андрюшин выпуск Чибирякской семилетки. Больше карточек не было; в сущности, и эти три полностью исчерпывали всю биографию Андрея.

Потом он повесил над карточками рушник с алыми петухами — мать вышила на дорогу — и почувствовал, что устроился. У Виктора никаких карточек с собою не было.

Весь вечер в общежитие приходили люди, знакомые и незнакомые. Справлялись, хорошо ли устроились ребята, не нужно ли чего. Пришел большой, грузный человек с наголо бритой головой и начальническим басом.

— Завшахтой! — шепотом сказал ребятам комендант и побежал навстречу гостю.

Скоро бас начальника загремел во всех углах.

— Да что тумбочки, тумбочки! Ты мне сушилку покажи. Сушилка есть?

— А зачем сушилка? — негромко спросил Андрей у комсомольца, похожего на Пащенко.

— Сушилка? А чтоб спецовку сушить, портянки...

— В дождливую погоду?

Завшахтой и комендант услышали и засмеялись.

— В шахте, милок, всегда дождь! — сказал комендант.

— Почему всегда? — встревожился комсомолец, похожий на Пащенко.— Бывают и сухие забои... И вообще,— метнул он на коменданта сердитый взгляд,— вы, дядя Онисим, лучше б оставили свою пропаганду. Только людей смущаете...

— Да что они, барышни, что ли! — загремел завшахтой.— Одеколончиком на них прыскать? Им надо правду сразу говорить. Вы комсомольцы? — крикнул он ребятам.

— Комсомольцы,— нестройно ответило несколько голосов.

— Зачем сюда ехали, знаете?

— Догадываемся! — сказал уже один Виктор.

— Ну, вот то-то! — И завшахтой гулко расхохотался. Он был краснощекий и смешливый человек.

И от этих весело сказанных слов у Андрея тревожно екнуло сердце: значит, действительно будет трудно!

А Виктору слова завшахтой понравились.

— А когда мы в шахту полезем? — озорно крикнул он.— Что нас как экскурсию водят? Тоска!

— А в шахту, брат, не лазят,— ответил завшахтой.— Это к бабе на печь залезть можно. А в шахту, приятель, едут.

— Ну, так поедем когда? — не унимался Виктор.

— Скоро. Ишь бедовый какой! — засмеялся завшахтой и вдруг притянул Виктора к себе, обнял.— Ну, если все у вас огольцы такие, тогда живем, живем, брат! Ничего!

Вместе с ним из общежития ушли и все гости. Комсомольцы остались одни. Разбрелись по койкам. Андрей достал из сундучка детскую сопилочку и стал тоскливо свистеть в нее.

На душе у него было смутно, тревожно. Он и сам не знал отчего. Плохого они еще не видели. Встретили их ласково, хорошо. Может, и шахта не такая уж страшная? А на душе все-таки было недобро. «Заплакали козаченьки в турецкой неволе»,— сама собой высвистывала сопилочка; Андрей и не думал о том, что играет. Думалось о доме, о шахте, о том, что вот куда далеко-о заехали они, письмо и то не скоро придет. «А в шахте всегда дождь!» — вспомнилось вдруг.

Подсел Виктор, ласково обнял товарища.

— Ты чего зажурился, козак? — весело спросил он.

— Ой, погано, Витя, на душе погано-о...— тихо признался Андрей.— Хмарно.

— Та ну? — удивился Виктор.— Чего?

— Боюсь...

— Ох, и баба ж ты! — засмеялся Виктор.— «Боюсь!» — передразнил он.— Та ты что, в лес попал? К волкам? А по мне, так хорошо тут, весело. И люди тут хорошие.

С охапкой травы вошел Братченко, русый хлопчик из Кобеляк. Он ходил в степь, нарвал травы и теперь рассказывал:

— Степь тут хорошая, как у нас. Только мало ее. Крутом шахты. И степь дымом пахнет.

Он разбросал траву по полу, и в общежитии сразу запахло родным домом — чебрецом, мятою и полынью.

И от этого стало еще тоскливей.

— А давайте споем, хлопцы! — предложил кто-то. И запел. Песню подхватили. И поплыла она над шахтой, как над Пслом, над Ворсклой, над Днепром...

На песню пришел комендант, дядя Онисим. Стал у притолоки, заслушался.

— Хорошо поете! — сказал он, наконец.— Вы какие будете, курские?

— Нет! — ответило ему несколько голосов.— Всякие.

— А-а! А я думал, курские. Раньше все курские да орловские в Донбасс шли.

— А вы, дядя, были в шахте? — робко спросил Андрей.

— Кто — я? — обернулся к нему комендант.— От спросил! От вопрос задал! Та я тридцать лет в шахте, та я...— он даже задохнулся от ярости.

— Так чего ж вас сюда поставили?

— От и я говорю: чего? Бутенко все. Предшахткома наш, беспокойная его душа. У него проценты не сходятся, а дядя Онисим отвечай. Он ко мне другой год подъезжает: надо тебя, дядя, выдвинуть, неудобно выходит, старый шахтер, а... Та куда же ты меня, говорю, выдвинешь, если я малограмотный? Вот он и придумал...

— А что, в шахте лучше? — спросил кто-то.

— Ясно, лучше. Безопаснее. Тут, скажем, крыша потечет или эти, будь они прокляты, тумбочки — сейчас дядю Онисима к начальству, к прокурору, туда, сюда... А в шахте безопаснее. Я крепильщик! — сказал он с такой гордостью, будто крепильщик — это генерал.— Нет, вы лучше спойте, ребята!

Комсомольцы запели. Дядя Онисим присел на табуретку, стал слушать. Когда песня кончилась, он ничего не говорил, не просил еще петь, а только крякал, вытирал слезы и опять, подперев руками седую голову, был готов слушать. И они лились, эти бесконечные украинские песни, печальные и жалобные, и в них душа плыла

и пела. И такое было в этих песнях чудодейственное свойство, что самые жалостливые не расстраивали, а утешали человека, словно всю тоску его песня брала на себя и развеивала по белу свету...

— Да, хорошо поете! — сказал, наконец, дядя Онисим. Вздохнул, вытер слезы и встал.— А шахтеров из вас не будет, нет!

Это было так неожиданно, что все расхохотались.

— Да отчего ж, дядя Онисим? — смеясь, закричал Виктор.

— Не будет. Нет! — махнул рукой старик.

— Да отчего?!

— Не на той каше вы выросли. Вот что!

— Что? Что?

— Вы ж, я вас знаю, гарбузячью кашу кушали. Маменькины сыночки! Вы ж на третьей упряжке деру дадите... Я ж вас знаю!

— А не дадим, не дадим! — раздались возмущенные голоса.

— Та дадите! — презрительно отмахнулся старик.— Мы ж таких бачили! От говорят, прорыв, прорыв... а отчего прорыв? Оттого и прорыв, от таких шахтеров. Мы,— вдруг ударил он себя в грудь,— мы и в двадцать первом прорыву не знали. Лебеду ели, а прорыва не было. Работали. Давали уголек. А теперь, боже ж ты мой, что с Донбассом сделали? Ну, проходной двор, чисто проходной двор! Какие вы шахтеры? Покрутитесь тут на шахте — и лататы!

Он говорил это так горячо и убежденно, что все стихли, не нашлись, что ответить.

Только один парень, все время молчавший, хмурый и длиннорукий,— его фамилия была Светличный, из Харькова,— подошел к коменданту и спросил негромко, но строго:

— Ты зачем, старик, каркаешь, людей смущаешь?

— Я не каркаю,— отмахнулся от него комендант,— я душою болею.

— А душой болеешь, так не каркай! — Он внушительно посмотрел на старика и обернулся ко всем: — Эй, ребята! Вот старик говорит: сбежим мы? Как скажете?

— Время покажет! — крикнул кто-то.

— Разные тут были,— сказал дядя Онисим.— И вольные и вербованные. Вот раскулаченные сейчас поперли в Донбасс за длинным рублем.

— Он нас с раскулаченными сравнивает,— сдержанно продолжал Светличный.— Ну, так как скажете?

— А может, набить ему морду? — спросил кто-то из дальнего угла.— Может, он сам кулацкий агент?

— Ты то пойми, старик,— выскочил вперед горячий Мальченко,— мы комсомольцы. Комсомольцы мы!

— Бывали и комсомольцы...

— Да ты какое имеешь право так о нас понимать? — вдруг взвизгнул Виктор и чуть не с кулаками подбежал к коменданту.— Ты кто? Нет, ты скажи — ты кто есть?

Теперь загалдели все. Повскакали с коек. Подступили к старику. Но Светличный одним властным жестом остановил всех. В нем сразу почуяли ребята вожака; уже потом узналось, что был он секретарем райкома и сам вызвался ехать в Донбасс. «Если агитировать — так примером»,— сказал он будто при этом.

Он был старше и выше всех ростом. Длиннорукий, лобастый, с хмурыми мохнатыми бровями и колючими недобрыми глазами, он был страшным в эту минуту, хоть и казался спокойнее всех.

— Так вот ты как нас встретил! — тихо сказал он старику.— Вот они, твои тумбочки...

— Так ты то рассуди,— растерянно пробормотал комендант, тоже почуявший власть в этом парне.— Нам-то, кадровикам, ведь обидно это пешее хождение наблюдать. Одеял не напасешься — тянут! Да хоть бы и по вашему, по крестьянскому делу взять,— хорошо ль, когда через твой, скажем, баз или огород всякий прохожий идет, и скотина, и худоба, и коза?..

— А может, в самом деле,— вдруг сказал Светличный, обернувшись к ребятам,— может, в самом деле есть тут такие, что уж собрались бежать? А? — Он строго посмотрел на всех, и под его колючими глазами все сразу съежились.

— Ну, что? — продолжал он.— Так выходи, прямо скажи... Не поздно еще... Ну? Ты? — ткнул он вдруг пальцем в сторону Братченко,— тот даже попятился.

— Что ты, что ты! — взмолился он.

— Или ты? — ткнул он в Андрея.— Ну, кто? Ты?

Ты? Ты? — его палец словно протыкал каждого.— Нету таких? Так я голову оторву, если будет!..— прошипел он и повернулся к коменданту.— Вот, старик, среди нас бегунов нету.

— Дай-то бог! — покачал головой дядя Онисим.

Андрей долго не мог уснуть в эту ночь. Все ворочался на узкой своей койке. Сегодняшний день напугал его: все эти разговоры, намеки, шутки; и то, что все боялись за них, что они убегут; и дядя Онисим; и дыхание близкой и страшной — теперь он уже доподлинно это знал — страшной шахты; и всего более — колючий палец Светличного.

Андрей не собирался бежать. Он и сам знал, что бежать и стыдно и нельзя. До той минуты у него даже и мысли о бегстве не было. Он и сейчас никуда не убежит; сам ведь сказал тогда на собрании в Чибиряках: «Нет, мы согласны!»

Но ведь недаром же так грозил пальцем Светличный, так сомневался дядя Онисим. Значит, на шахте и в самом деле страшно? Как же быть теперь?

«Я буду исполнять все, как надо,— клялся себе Андрей.— Я всех буду слушаться. Я все стерплю и не убегу. Кабы только духу хватило...»

И он с надеждой подумал о Викторе. Если что — Виктор выручит, поддержит! Виктор — смелый, отчаянный, геройский парень. Виктор — парень чудесный! У него и на двоих духу хватит!

— Витя, Виктор! — шепотом позвал он.

Но тот уже давно и безмятежно спал. Если и снилась ему шахта, так веселая, розовая, вся залитая рябым солнцем. Виктор даже улыбался и щурился во сне, будто по его лицу шаловливо бродили солнечные зайчики...

6

Только на четвертый день комсомольцам сказали, что завтра они поедут в шахту. Андрей побледнел, Виктор обрадовался.

До сих пор их водили по поверхности: показали ко-

пер, подъемную машину, надшахтное здание, сортировку, скрипучую эстакаду, нарядную, ламповую, даже баню — общую и техническую.

Но Виктор на все это смотрел равнодушно, чуть-чуть брезгливо. Ему нетерпеливо хотелось в шахту, или, как он теперь говорил, под землю.

— Под землей будем работать! — хвалился он Андрею.— Чувствуешь? Под землей! — Для него это теперь звучало так же, как «под водой» или «в облаках». Он считал шахтеров людьми особенной профессии, как летчиков, водолазов или пожарных.

— Тут под землей тоже стихия! — восклицал он.— Тут только рисковые люди могут работать!

И он с восторгом глядел на шахтеров.

Они подымались на-гора́, как черти из преисподней: мокрые, черные. Они шли по поселку той особой, развалистой, лениво-небрежной походкой, какой всегда идет домой независимый мастеровой человек, всласть поработавший и понимающий свое законное право на отдых, на суетливое внимание жены, на миску жирного борща и добрую стопку водки.

Некоторые из них несли на плече, на топоре полено; это тоже было стародавнее право шахтера. Одна стойка из крепежного леса принадлежала ему: чтобы согреть воду дома и помыться. Уже давно была на шахте отличная баня, а право осталось. Впрочем, иные и сейчас любят помыться дома.

Они шли по поселку, нисколько не стесняясь того, что грязные и чумазые, и даже гордясь этим. Это уголь — а не грязь — лежал на их лицах, благородный уголь, самое чистое, что есть на свете: шахтер даже раны заживляет углем. В этом угле они рубились весь день, дышали им, жили им, давали на-гора́ — все для вас, люди на поверхности, чтобы вам теплее жилось на холодной, неуютной земле.

От вечного ползания и ерзания по углю шахтерская спецовка быстро превращалась в лохмотья, но то были самые живописные лохмотья в мире. Жирная, мягкая, бархатистая угольная пыль лежала на них. И шахтер нес эти лохмотья так, словно то был черный бархат. Так казалось Виктору, когда он с восхищением глядел на этих чумазых людей.

— Ты смотри на них, смотри! — шептал он Андрею.— На глаза смотри! Ишь блестят! В шахте, брат, не всякий может работать. В шахте можно только храброму.

И действительно, оттого что на черном лице белели только оскаленные зубы да белки глаз, казалось, что все шахтеры глядят дерзко, отважно, озорно, даже девчата.

— Рисковые люди! — восхищался Виктор.— Каждый день со смертью в жмурки играют!

Все зависит от того, какими глазами глядеть; Андрей смотрел на тех же шахтеров, что Виктор, и видел: просто идут с работы хорошие, усталые люди, им поесть хочется, посидеть в палисаднике под акацией, покурить в холодке... Они чем-то очень были похожи на Андрюшиного отца.

Вечером в общежитии только и было разговоров, что о завтрашнем спуске в шахту. Принесли и роздали ребятам новенькие брезентовые шахтерки, чуни, портянки... Дядя Онисим был уже тут. Объяснял название каждой вещи, давал советы, рассказывал всякие истории. Он помолодел с комсомольцами, ожил; в его россказнях причудливо смешивалось полезное с фантастическим.

— Главное, в шахте голову береги, ребята! — поучал он.— Не держи голову-то высоко, как раз лоб об верхняк расколешь. Шахта любит, чтобы ей кланялись, кормилице...— Он иначе и не называл ее, как матушкой да кормилицей; для него шахта была живым существом; это она любит, а того не любит.— А чтоб курить, и нини! И спички дома забудь. Она этого баловства не терпит. Наша «Крутая Мария» — шахта сурьезная, газовая...

— А что, взрывы часто бывают? — жадно спросил Виктор.

— Да нет, бог милует! Иногда где выпалит, да это так...— старик засмеялся.— Это Шубин пугает...

— Шубин? Это кто ж Шубин?

— Шубин? — засмеялся комендант.— Как тебе сказать?.. Брехня, конечно. Старики выдумали. Будто бродит по шахтам такое существо. Шубин называется, шахтеров пугает. В дальних выработках он проживает или в брошенных... Ну, кому встретится — тому, значит. скоро амба: завалит!

— Это что ж, бог такой шахтерский, что ли?

— Разное про него болтали...— уклончиво ответил старик.— Будто был шахтер такой в стародавнее время, по фамилии Шубин. Ну, и будто хозяин-то шахты и невзлюбил его за характер. Больно смелый шахтер был, характерный. Ну и стал его хозяин утеснять. И так утесняет и этак. Ну, проще сказать, эксплуатирует человека, и все! А хозяин-то был немец. Тут прежде все хозяева немцы были, бельгийцы або французы... Иностранный капитал. Ну и так это немец нашего Шубина прижал, что совсем шахтер с круга сошел: запил. И в куражном виде раз имел с хозяином такой разговор: «Ты, говорит, по какому праву нашу кровь шахтерскую пьешь?» А тот кричит: «Я хозяин! Я что хочу, то и делаю!» — «Ах, хозяин? — говорит Шубин.— Ну, так я тебе покажу, кто тут на самом-то деле хозяин!» И исчез он тут. Кто говорит — сам помер, а кто — будто полез пьяный в шахту и взрыв сделал. Всею шахту взорвал. И себя. Ну только вскорости объявился Шубин: там его видели, там... И где появится — сразу там взрывы, завалы, выбухи, наводнения... Это,— дядя Онисим значительно поднял палец перед собой,— это Шубин показывал, кто тут на самом-то деле хозяин! — Он засмеялся и от удовольствия даже головой покрутил.

— Ну, а теперь что же, бродит Шубин по шахтам? — шепотом спросил Виктор: он уже в Шубина верил.

— Теперь? — дядя Онисим хитро прищурился и подмигнул.— Ну, а как в семнадцатом хозяев-то прогнали, так и Шубин исчез. Значит, кончил свою упряжку. С тех пор и не видали.

— Вот черти! — засмеялся Мальченко.— У людей мифы как мифы: лешие, водяные, духи леса, воды, огня. А у них — пьяный шахтер!

— Нет, тут не пьяный шахтер,— сказал Светличный; он всю историю внимательно выслушал.— Ну, а ты, дядя, сам-то веришь в Шубина?

— Я? От спросил! — обиделся комендант.— Я и в бога-то не сильно верю, не то что в Шубина. Я не серый...

— А с Шубиным тебе-то самому встречаться не доводилось? — не смутившись, продолжал Светличный.

— И опять-таки глупый разговор! — рассвирепел старик.— Так как же я мог его встретить, как я и сейчас живой? Кто встретит — тому, значит, скоро амба! Конец!

— Ну вот,— усмехнулся Светличный,— а говоришь — не веришь...

Все расхохотались, поняв маневр Светличного.

Дядя Онисим молча встал и, ни на кого не глядя, вышел из комнаты.

— Обиделся!..— прошептал Виктор и вдруг, горячо сорвавшись с места, побежал за стариком.

В этот вечер долго не ложились спать. Братченко опять принес из степи траву, молча разбросал по полу и лег на свою койку. Ничком.

«Значит, и он боится шахты!» — догадался Андрей. Хотел подойти к нему, заговорить, утешить — и передумал: у самого на сердце неспокойно.

Песен в этот вечер не играли. Виктор притащил все-таки дядю Онисима обратно. Светличный извинился перед ним при всех.

— Я не серчаю! — важно сказал комендант и через минуту уже рассказывал свои истории. Но Андрей не слушал. Лежал на койке и думал: «Значит, завтра!»

Утром комсомольцы сразу же оделись в шахтерки и чуни и стали непохожими на себя. Шахтерки были новенькие, не надеванные ни разу; от них еще пахло сыростью склада. В них было неудобно и неуютно, словно сшиты они были не из брезента, а из древесной коры. Только Виктор говорил, что ему в шахтерке и хорошо и ладно; с еще большей радостью он влез бы в скафандр. Кепку он сразу же надел козырьком назад — подсмотрел у лесогонов; его и без того дерзкое, разбойное лицо стало совсем озорным.

За ребятами пришел десятник-старик. Посмотрел, почему-то вздохнул и махнул рукой:

— Ну, пошли.

Они потянулись за ним, как цыплята за наседкой, через весь рудник. «Теперь этой дорогой будем каждое утро ходить! — подумал Андрей.— Теперь это наша дорога...» Ему казалось, что все на них смотрят насмешливо.

— Ишь, чистенькие какие, хорошенькие! — сказала им вслед баба у «фонтана».

Десятник привел ребят в ламповую. Гуськом, один за другим, подходили к окошку комсомольцы, называли свое имя и получали лампу. Лампочки уже были заправлены и горели. Днем, на солнце, их свет казался жалким, робким и ненужным. «Ну что такая коптилочка может?» — со страхом подумал Андрей.

— Все получили лампы? — спросил десятник. Он был озабочен и неразговорчив, не то что дядя Онисим.— Вы глядите! — строго сказал он.— В шахте от меня не отставать! Еще потеряетесь, бог вас знает! — Он сурово посмотрел на всех и сказал: — Ну, пошли!

Они пошли за ним через весь двор; потом стали подыматься куда-то вверх по крытой галерее. Здесь было полутемно. На оконных стеклах толстым слоем лежала угольная пыль. Угольная пыль была и на стенах, и на полу, и уже — и на лицах ребят; Андрей почувствовал ее даже на зубах.

У ствола им пришлось подождать немного: клеть была внизу в шахте. Здесь, в надшахтном здании, возилось несколько девчат-откатчиц. Они с любопытством и без стеснения рассматривали новичков и пересмеивались на их счет между собою. Шахтерские девчата — девчата смелые, разбитные, особенно когда их несколько. Виктор подмигнул им, они засмеялись.

Подошла клеть. С силой лязгнуло железо, так что Андрей даже вздрогнул. Рукоятчица, здоровая рябая баба, вытолкнула из клети вагонетку с углем. На ней мелом крупно было написано: «Привет, Нюра!»

— Эй, Нюрка! — закричала рукоятчица.— Получай письмецо! Заказное! — и толкнула вагончик. Он дрожа покатился по рельсам.

Откатчицы захохотали, а одна из них, вероятно, Нюрка, смутившись, приняла вагонетку.

— Да ну его, надоел! — сказала она и, тряхнув головой, покатила вагончик дальше, на сортировку.

Десятник подошел к рукоятчице.

— Ты вот что,— озабоченно сказал он,— ты дай сигнал: осторожнее. Видишь,— метнул он лампочкой в сторону ребят,— кого везу.

— А что им сделается? — засмеялась рукоятчица.—

Ишь они какие! Их с ветерком надо. Вы, ребята, неженатые?

Но все-таки дала сигнал, какой требовал десятник: четыре удара о железо — осторожнее, гости!

Эти четыре удара прозвучали в ушах Андрея, как погребальный звон. Побелел не он один, совсем белым стал Братченко. И заметив это, одна откатчица рассмеялась и лукаво запела:

Шахтер в шахту опустилси-и-и,
С белым светом распростилси-и-и...

— Ну, ты,— погрозил ей десятник лампочкой.— Входи, ребята!

Они вошли в клеть, как входят в холодную воду.

— Плотней, плотней! — командовал десятник. Наконец, он и сам вошел.— С богом!

Клеть дернулась и полетела вниз. Сразу стало сыро. Откуда-то побежала вода. Андрей почувствовал тонкую струйку за шиворотом, скользкую и проворную, как змейка. «В шахте всегда дождь»,— вспомнил он.

Клеть быстро падала куда-то во тьму.

— Ой, страшно! — озоруя, взвизгнул Виктор.— Ой, ужас! — Все невольно улыбнулись, даже Андрей.— Путешествие в центр земли, сочинение Жюля Верна...

— Сорок лет так путешествую,— вдруг сказал десятник.— Ничего, привыкнете!

— Я уже привык! — сразу же отозвался Виктор.

А клеть все падала и падала; казалось, этому конца не будет. И куда-то далеко-далеко уплывало от Андрея все, чем жил он до сей минуты: и тихие Чибиряки, золотые тыквы на крышах, и детство, и отец на корточках возле грядок, будто этого и не было никогда. И не будет, нет, теперь уж никогда не будет!

Откуда-то вырвался вдруг яркий свет, клеть стукнулась и остановилась.

— Приехали!

Андрей первым выпрыгнул из клети — и попал под ливень. Так его встретила шахта. Смущенно отряхиваясь, он отошел от ствола; дальше было сухо.

— Ну вот,— сказал десятник с неожиданной в нем теплотой,— вот и наше подземное царство. А? — И ти-

хо, по-стариковски засмеялся. Он был сейчас совсем иной, чем на поверхности. Тут он был дома. Ему хотелось, чтоб и озорникам тут понравилось.

Он сказал почти заискивающе:

— Шахта у нас красавица, хоть и старушка. Ровесница моя!

Андрей еще раньше заметил, что старики всегда говорят о своей шахте ласково. Любовь ли тут, или суеверие, только они никогда ее не ругают, хоть немало у каждого и ссадин и рубцов от кормилицы. Вот и вчера вздыхал дядя Онисим: «Ох, и иссушила ж она меня, матушка, все соки выпила, голубонька!» Ребята знали уже, что дядю Онисима «выдвинули» оттого, что в шахте ему больше работать нельзя. У него острый антракоз — горняцкая болезнь. «У меня в каждом легком по вагонетке угля!» — грустно хвастался он и тосковал по шахте.

Итак, вот она — шахта, о которой столько думалось все эти дни и ночи! Андрей огляделся. На рудничном дворе было шумно, оживленно, светло. У ствола, прямо под ливнем, работала молоденькая стволовая. В своем резиновом плаще и в большой черной блестящей от воды шляпе она казалась похожей на моряка в шторм: мокрые плиты под ней были ее палубой. Девка была красивая и проворная; не один Андрей засмотрелся на нее.

Откуда-то из тьмы шахты с дребезгом и грохотом вынеслась «партия». Чубатый коногон лихо свистнул и соскочил с вагончика.

— Эй, Люба! — весело крикнул он.— Примай партию, крошка моя!

Андрей тихонько подошел к лошади. Она стояла, понурив голову, и, видно, уже дремала, чуть похрапывая. Он осторожно потрепал ее гриву. Ему вдруг захотелось припасть к ее шее и спросить тихонько, в самое ухо: «Ну, как тебе живется тут? Не обижают? А я, понимаешь, мобилизованный...» Он опять ласково потрепал рукой по ее шее. Она подняла к нему морду и взглянула добрыми, умными и кроткими глазами. Лошадь была зрячая.

И сразу все ночные и дневные страхи его разлетелись, развеялись, будто все в том-то и заключалось, что лошадь зрячая. Он засмеялся и уже другими глазами

взглянул на окружающий его мир. Действительно, подземное царство! Низкие, пещерные своды, огни, люди в балахонах с капюшонами, похожие на гномов,— все фантастично и красиво. Да, красиво! — удивился он сам.

— Ну, пошли! — сказал, наконец, десятник.— Только от меня, чур, не отставать!

И он пошел вперед легкой походкой горняка, неслышно ступая на носки, чуть ссутулясь и втянув голову в плечи. А за ним, спотыкаясь и путаясь, как слепые беспомощные котята, потянулись все. Они еще и лампочек-то держать в руках не умели: свет падал куда-то назад, а не вперед.

Потом они привыкли к темноте и стали различать предметы. Увидели колею, канавку, в которой тихо журчала подземная вода, стены из бревен, бревенчатый потолок...

Они шли штреком. И то, что показалось им потолком и стенами, было только крепью, делом рук дяди Онисима или его товарищей. И случись старина тут, он уж объяснил бы ребятам, что крепили тут, как обычно, неполным дверным окладом: вот этот верхний столб потолка — «верхняк», или «матка», эти боковые — «стойки», а был бы еще нижний столб, уж он был бы «лежан», или «порог», и тогда дверной оклад был бы полный. И стойки ставили тут трапецией: видишь — внизу шире, а кверху — у́же; и замок делали прочно, в лапу; и на этой-то крепи все держится, вся земная толща, и кабы не было дяди Онисима, все б тут к черту рухнуло и завалилось...

Но Виктор и не стал бы слушать его сейчас. Он шел по шахте, как очарованный. И его пылкому воображению представлялось уже, что попал он в подземный дворец или в старинный рыцарский замок. Колоннады, колоннады, колоннады вокруг и длинный строй парадно распахнутых настежь дверей. А он идет этой анфиладой. Шахтер Виктор Первый, и под светом его лампочки расступаются перед ним арки и неслышно, незримо, как в сказке, все распахиваются и распахиваются двери.

— Грибами пахнет...— вдруг раздался рядом голос Андрея.

Виктор очнулся.

— Что?

— Грибами пахнет...— удивленно повторил Андрей.

— Это плесень пахнет,— отозвался из темноты, как всегда резкий, голос Светличного.

— Нет, грибами! — упрямо повторил Андрей.

Как и Виктор, как, вероятно, и все ребята, внезапно притихшие в шахте, Андрей чувствовал, что из реального мира, в котором он до сих пор жил, он попал сейчас в мир сказки.

Ему казалось, что вокруг них лес. Не обыкновенный лес, не такой, что синеет за Пслом, а лес волшебный; смутно припоминалось Андрею, что уж он когда то, давным-давно слышал о нем. В детстве, что ли? От бабушки?

В этом подземном лесу нет на деревьях ни ветвей, ни листьев, ни шуршания папоротников под ногами, ни шорохов травы, ни птиц. Не шелохнутся здесь голые стволы, нет на них ни гнезд, ни даже коры.

Это уснувший, окаменевший, заколдованный лес. И течет в нем подземная Река Жизни; кто искупается в ней — будет жить вечно.

Чем они были при жизни, эти голые стволы? Деревом, человеком, великаном? В этом очарованном лесу все необычно. Здесь бродить интересно и чуть-чуть страшно.

— Эй, голову береги! — закричал впереди десятник.

Андрей вовремя втянул голову в плечи: перед ним висела переломленная балка. Она болталась, как перебитая рука великана, а за ней дальше еще и еще свисали сломанные бревна, словно была здесь недавно битва, словно могучий бурелом прошелся тут по лесу.

— Это отчего же? — спросил из тьмы чей-то испуганный голос; Андрею показалось — голос Братченко.

— Жмет! — коротко объяснил десятник.— Давит!

И все сразу поняли, что́ «жмет», и притихли.

«Жмет» земля (шахтер сказал бы: порода)! Жмет сверху, давит с боков; Андрей заметил, что кое-где и боковые стойки выдавились из общего строя крепи, припали, как раненые, на одно колено. А за ними грозно и тускло уже поблескивала пустая порода.

И Андрею вдруг ясно представилось положение, в котором они очутились. Они были глубоко-глубоко под землей. Маленькая горсточка беспомощных ребятишек

да хиленький старичок с ними. Они шли по пустынному ходку, людьми же прорубленному прямо в земной толще. Ничего вокруг нет, кроме таких же ходков-просек. А над ними нависла вся огромная масса разбуженной и рассерженной земли. Маленький человек бесцеремонно вполз сюда, в это подземное царство, нарушил вековой покой этих могучих пластов, вмешался в плавное течение этих каменных рек — да что им стоит раздавить его, как козявку? Разве сдержат эти жалкие сосновые стойки их могучий напор? И Андрею стало немного жутковато.

Десятник вдруг остановился и обернулся к комсомольцам.

— А вы, часом, не устали, ребята? — благодушно спросил он.

Новички сразу же сбились вокруг него, как вокруг пастуха стадо.

— Немного есть...— сознался Светличный.

— А тогда и отдохнуть можно! — сказал старик и первый присел по-забойщицки на корточки. Ребята просто повалились наземь. Земля была сырая, влажная.

— Да, ремонтировать, ремонтировать этот ходок надо! — кряхтя, сказал десятник и постучал лампочкой о стойку; посыпалась желтая труха.— Вот и сосна, а слаба! Не выдерживают они здешнего климата: гниют.— Он опять постучал по стойкам, как настройщик по клавишам: звук был больной, глухой, и обернулся к ребятам.— А я,— вдруг сказал он, хитро щурясь,— я вот сорок лет в шахте, а ничего. Живу! — И он даже хлопнул себя по коленкам.

— И не гниете? — смеясь, подхватил Виктор.

— И не гнию! — радостно взвизгнул старик.

Все засмеялись, Андрей тоже.

— Человек не сосна! — смеясь, сказал десятник.— Человек, он все может, на то он и человек! Вы только по-первах носа не вешайте, ребятки, советую я вам. По-первах все трудно, даже водку пить.

«Человек все может! Ой, как же это хорошо, как верно сказано! — обрадовался Андрей.— Человек, он всюду пройдет, и ничего-то ему не страшно. А как же я? — вдруг растерянно подумал он и вспомнил все свои

страхи.— И что я за человек такой, всего-то боюсь?..» — рассердился он сам на себя.

Они шли уже долго, очень долго, все какими-то ходками, штреками, просеками, и казалось, конца не будет их путешествию в центр земли. Было пустынно вокруг них, люди встречались редко, блеснет где-то в стороне одинокий желтый волчий глазок лампочки и исчезнет. Это ремонтный рабочий возится у путей, или сидит, скучая, у вентиляционной двери девушка. Ребята пройдут мимо нее; с шумом, похожим на выстрел пушки, хлопнут двери — и опять пустыня и тишина...

Комсомольцы не видели еще ни одного человека, работающего в угле, да и угля еще не видели: только матовый купол кровли над головой да сосновые стойки вокруг, словно и впрямь брели они не по шахте, а по лесу.

Стояла здесь какая-то особенная тишина, такой и в лесу нет: ни шорохов, ни ветерка. Только тихонько и сухо потрескивают сосновые стойки да где-то шепчется вода.

Эта тишина была приятна Андрею: в ней хорошо думалось. Он всегда любил тишину, а Виктору эта тишина была непереносна. Ему уж прискучил парад распахнутых дверей. Ему хотелось поскорей бы добраться туда, где битва; где рубятся в угле шахтеры, взрывают динамитом пласты, стоят лицом к лицу со смертью.

Он невольно спросил:

— А что, доберемся ли мы когда-нибудь до тех мест, где уголь рубают?

— Доберемся, сынок! — бодро отозвался десятник и объяснил, словно извиняясь: — Старушка шахта-то; выработки тут дальние.

— А если выработки дальние,— сердито сказал Светличный,— так людей надо подвозить? Ведь это сколько золотого рабочего времени и сил теряет попусту шахтер, пока доберется до забоя.

— Что же, трамвай пустить? — ехидно спросил десятник.

Все засмеялись.

— Трамвай не трамвай,— не смутился Светличный,— а подвозить людей надо. Оттого и в прорыве вы. Вот гляжу,— с досадой сказал он,— кругом кустарщи-

на, каменный век. Работают, как при царе Горохе. Совсем механизации не видать...— И он презрительно сплюнул.

— А-а, механизация!..— неожиданно тоненько и зло протянул десятник. И даже остановился. Его лицо стало обиженным и маленьким, как у ребенка.— Вот,— сказал он, ни к кому не обращаясь,— вот выдумали словечко и играются им. А машину выдумать-то не могут! Нет, ты машину выдумай! — яростно замахал он лампочкой прямо перед лицом Светличного.— Ты такую машину выдумай, чтоб сама она тут по всем ходкам да закоулкам ползала бы, сама уголь искала, сама б за кровлей следила, за газом, сама б уголь рубала, да погружала б, да давала на-гора́,— вот тогда нас, стариков, можно и помелом отселева, прочь.— Он, видно, не со Светличным спорил; он с кем-то старый спор вел.

— Машину всякую придумать можно! — пробурчал Светличный.

— Э, нет, брат, врешь! — крикнул старик.— Врешь! Шахта — не завод! — с азартом воскликнул он.— Тут условия не те! Тут машина не пойдет, врешь! Тут ударит она не туда — и завал; искру случайно даст — и взрыв газа. Нет,— зло засмеялся он,— ты нам сюда такую машину давай, чтоб у нее и осторожность была, и понятие, и уши, чтоб слышать, как крепь-то скрипит, и нос...

— А для этого человек есть — управлять машиной.

— А-а! Человек! — торжествующе хихикнул старик.— Не могешь, значит, без человека? То-то! — Он махнул лампочкой, будто взял уже верх в споре, и спокойно закончил: — Нет, это все от лени у вас, молодежь. Ленив больно народ стал.— Он засмеялся.— Все ему желательно, чтобы за него дядя работал или машина, а уж он бы покуривал подле нее. А в шахте этот номер не пройдет, не-ет! Тут, брат, все надо горбом да на коленках.

Светличный больше не возражал старику. Не потому, догадался Андрей, что ответить нечем, а просто, что́ слова попусту толочь? Болтовней дела не исправишь. Вот обживется Светличный здесь, думал Андрей, приглядится, да и возьмет всех под ребра. Уж он такой!

Теперь, бредя по штреку, он думал о Светличном.

У Андрея с детства была привычка: обо всем, что увидел он или услышал, потом думать в одиночестве, про себя. В нем всегда происходила никому не видимая внутренняя работа, словно вертелись там медленные жернова и перемалывали, перетирали впечатления дня — туго, долго, мучительно, но зато до конца. Сейчас его удивило не то, что сказал Светличный о механизации. Поразило, что Светличный вообще так смело пошел на спор. И о чем же? О шахте! А ведь он, как и Андрей, был в шахте впервые и видел только то, что и Андрей видел. Но Андрею казалось, что все, как в этой шахте было, так и вообще на каждой шахте должно быть, и иначе быть и не может. Значит, так уж на шахтах принято, считал он.

А Светличный и слов-то таких терпеть не мог: положено, заведено, принято; они приводили его в ярость. Он принадлежал к беспокойной породе людей-плотников; таким людям все хочется немедленно исправить, починить, переделать. Не сломать, а именно *переделать*. Попади такой на луну, он и там сразу же пойдет с топориком: а нельзя ли эти лунные кратеры починить и переделать, чтобы и тут появилась жизнь?

Люди этой породы всегда и удивляли и восхищали Андрея; он им завидовал, сам он был, увы, не такой! Но его всегда смутно тянуло к ним: в Чибиряках — к Пащенко, здесь — к Светличному.

Обычно это были люди партийные. У этих цепких ребят была счастливая способность сразу схватывать все: и детали и суть. Они как-то сразу входили в курс дела. Они все принимали близко к сердцу. Они всегда и везде чувствовали себя хозяевами. И хотя Андрея и пугали насупленные брови Светличного и его колючие глаза, но он всей душой уже тянулся к нему. В восемнадцать лет невозможно жить без идеала.

В одном Светличный был уже наверняка прав; шахтеров надо подвозить к рабочему месту, это Андрей теперь и сам видел. Они еще и до забоев не дошли, а уже сил нету. Мучительно ныло все тело, особенно спина; уже давно ребята шли согнувшись, сложившись вдвое, как перочинные ножички,— кровля нависала совсем низко. Стало труднее дышать, да и нечем — горько-кислый воздух только больно царапал глотку, его хотелось

скорее выплюнуть прочь, а другого не было (Андрей не знал, что они идут сейчас вентиляционным штреком, по которому уходит из шахты струя отработанного воздуха). Больно колотилось сердце — это впервые в жизни Андрей услышал его.

А по лицу не катился, а полз тяжелый, липкий и грязный пот, застилал глаза, капал в рот — соленый, и Андрей то и дело вытирал его рукавом колючей брезентовой шахтерки.

«Только бы не упасть, не отстать, стыдно! — думал он на ходу.— Далеко ли еще? Ой, не дойду!»

«В шахте, милок, всему надо учиться сызнова, как ребенку, даже ходить!» — вспомнил он слова дяди Онисима.— Ой, научусь ли я? Привыкну ли?» И опять зацарапали душу сомнения и страхи: да когда же он избавится от них?

— Вот и пришли! — раздался где-то далеко впереди голос десятника.

Действительно, где-то там, во тьме, уже были видны огни. Еще несколько шагов — и Андрей тоже вошел в широкий, просторный штрек.

Ну, вот! Здесь были люди, движение, жизнь. И свежий воздух. Андрей жадно сделал несколько нетерпеливых глотков и чуть не захмелел: какой же это вкусный, сладкий, пьяный воздух, такого и в степи нет.

— Вот и Дальний Запад, ребятки! — почти торжественно объявил десятник.

На его сухоньком лице не было ни росинки пота. Он, видно, и не устал ничуть.

— Мы сейчас в лаву полезем? — спросил Виктор.

— Полезем благословясь,— благодушно сказал десятник.— Вам сегодня все посмотреть предусмотрено. А уж завтра — и в упряжку. Пора! Пятый день уж рудничный хлеб кушаете...

— Мы свой хлеб отработаем! — обиженно сказал Виктор.

— А я не с попреком, я к слову...— объяснил десятник.— Ну-с, все налицо? — спросил он, окидывая взглядом горсточку новичков.— Никто не отстал? Добре! Теперь мы, благословясь, в лаву полезем, ребятки. Лава — это место, где добывается ископаемое, то есть уголь. Состоит из линии забоев. В этой лаве, куда мы

полезем, забоев — десять. Пласт, как вам уж объясняли небось,— круто падающий. Забои расположены уступами. Ну, да вы все это на практике увидите, в лаве. Мы-то ее промеж себя полем зовем,— усмехнулся он.— Да-а... Полем, полюшком. Чай, и мы не под землей-то родились! — сказал он с каким-то вызовом.— Живали и мы на земле. В крестьянстве. Вот и полюшко. Хоть и не пашем мы, а все-таки... память. Как в песне поется:

Шахтер пашенки не пашет,
Косы в руки не берет,
Чуть настанет воскресенье...

— «Он к шинкарочке идет!..» Знаем мы эту песню! — фыркнул Светличный.

— А что же? — обиделся старик.— Из песни слов не выкинешь...

— Слова что! А шинкарочку выкинуть надо бы!..

Все засмеялись.

— Да уже выкинули, выкинули! — засмеялся и десятник.— Теперь непьющие мы, новобытные. В новом быте живем, горло квасом полощем. Ну, смешки в сторону, полезли, что ли?

— Да куда лезть-то! — воскликнул Мальченко.

— А сюда! — кратко объяснил десятник, показывая на какую-то щель в породе. Затем он прицепил лампочку крючком к куртке, чтобы руки были свободны (все ребята машинально сделали то же), стал на четвереньки и, крикнув: — Ну, с богом! — первым нырнул в дыру.

Все поползли за ним.

7

«Вот она где начинается, шахта-то!» — догадался Андрей. Он полз во тьме, ничего не видя, не понимая, извиваясь всем телом, как червяк, и больно стукаясь то коленками о какие-то стойки, то головой о совсем низкую кровлю. А впереди и сзади него, так же стукаясь, пыхтя и сопя, ползли все. И Андрей невольно подумал, что вот так же, как они в пласт, вползает, вероятно, и червяк в древесину дуба, через выточенный им же самим и для себя «ходок», еле заметный человеку. Думает

ли при этом червяк, что это он покорил дерево, что он царь природы?

«Да нет, червяк ничего не думает! А человек не червяк. Человек все может!» — «А ползем, как черви».— «Ну и пусть! Это оттого, что тут механизации настоящей нет. Вот возьмется за них Светличный!» — «Да какая ж машина сюда сможет вползти? Тут и человеку-то тесно!» — «Машину всякую можно придумать».— «Да кто ж придумает? Небось пытались уже».— «А может, это я, я придумаю!» — вдруг в запале сказал себе он и сам поразился этой мысли.

Он даже остановился на секунду, перестал ползти. Ах, как бы это было славно, как хорошо, кабы именно он придумал эту машину! Только бы придумать, а уж люди подхватят, сделают, да и Светличный поможет. Эта мысль восхитила его; и ползти даже легче стало; будто и щель раздвинулась и кровля стала выше, обернулась небом.

Но тотчас же и вечный червячок пробудился в нем.

«Да где ж тебе придумать? Ты и не инженер вовсе!» — с сомнением пискнул червяк. «Ну и что ж! Инженером можно стать»,— возразил в нем человек. «Так для этого ж учиться надо много, где тебе!» — точил червяк. «И буду! И буду! И буду учиться!»

«Буду!» — Он с яростью полз теперь во тьме. Нет, он не убежит отсюда! Он останется. Он все в шахте узнает. Его не испугаешь, нет!

А потом он поедет учиться... Он человек, а не червяк.

Это опять была великая минута в жизни Андрея, а он ее опять не заметил. Он подумал только: «Надо сегодня же все Виктору рассказать. У Виктора голова-то посильнее моей. Вместе план составим, как нам жить и учиться». Парень тысяча девятьсот тридцатого года, он понимал, что без плана нельзя.

А Виктор полз где-то далеко впереди. Даже не полз, а плыл, как плывет опытный пловец в новой, незнакомой еще речке. И все было интересно ему: чем ниже кровля — тем и лучше; чем опаснее — тем и веселее. «Вот рассказать в Чибиряках, как тут уголь добывают — ахнут!» — с восторгом думал он. Вот он завтра сам пойдет уголь рубать, уж он всем покажет! Размах-

нется обушком — улица; повернется — переулочек. Он парень сильный, ловкий; он и сейчас лучше всех ползет; и устал он в шахте меньше всех. Он себя покажет!

Его удивляло только, что и тут, в лаве, нет людей.

— Это что,— громко спросил он,— мы лавой уж ползем?

— Нет,— отозвался где-то рядом десятник.— Это гезенок. А вот сейчас и лава. Давай сюда!

Виктор быстро подполз к нему, и они оба стали махать лампочками, собирая ребят. Наконец, все собрались, сопя и тяжело дыша.

— Сюда давай! — тотчас же скомандовал десятник и опять пополз куда-то в сторону. Скоро оттуда донесся его бойкий стариковский голосок: — Вот и лава!

Он подождал, пока все подползут к нему.

— Все тут? — торжественно спросил он.— Ну, смотрите,— вот и полюшко наше, шахтерское наше раздолье...— и он высоко поднял лампочку. Виктор сделал то же, а за ним и все.

И ребята увидели уголь.

Свет лампочек дробился и дрожал на нем, на его блестящей поверхности, как на воде, и казалось — это река течет, медленная, черная, блестящая, играет под светом веселыми струйками, а потом вдруг круто падает куда-то вниз, куда и заглянуть страшно.

— Мощный пласт, хороший...— любовно сказал десятник и, отодрав угольную крошку, медленно и со смаком растер ее между пальцами: так и мужик свою землицу ласкает.— Жирный пласт. Называется — Аршинка. Значит, в нем аршин, от почвы до кровли...

«В этом аршине и работают люди!» — подумал Андрей и заглянул вниз. Он увидел ровный ряд круглых столбиков, подпирающих кровлю; и в каждом столбике тоже аршин! Дальше все терялось во мгле, свет лампочек туда не достигал. Где-то справа настойчиво и размеренно поклевывал обушок, долбил уголь. «Как дятел!» — подумал Андрей.

Итак, вот что такое лава, шахтерское раздольишко: длинная щель, где, скорчившись в своих уступах, рубают забойщики уголь, бесконечный ряд стоек, подпирающих кровлю, река угля, медленно сползающая вниз; и от земли до неба — один аршин.

«Значит, тут и мы будем теперь работать! — подумал Андрей.— Что ж, ничего, можно работать и здесь». Теперь, когда забрезжил перед ним еще смутный, но заманчивый свет далекой мечты, ему уж ничто не казалось страшным!

— Значит так, ребята! — сказал десятник.— Сейчас мы полезем лавой. Механизация тут будет такая: садись на то, на чем завсегда сидишь, и ползи ногами вперед. Да смелей ползи! Не бойся! Не сорвешься! Руками за стойки хватайся, а ногами нижние стойки нащупывай... Понятно? Теперь в каждом уступе буду я вас по парочке оставлять. Вы посидите, приглядывайтесь, как шахтеры работают, привыкайте... А потом, обратным ходом, я вас всех и соберу... Ясна вам картина-то? — Он подождал немного и взмахнул лампочкой.— Ну, с богом! Поехали!

И они действительно поехали, покатились вниз, как, бывало, катились в детстве с ледяной горки, без салазок... Это было даже весело и немного жутко: стремительно неслись они вниз, только стойки руками перещупывали. Виктор въехал кому-то ботинками в шею, тот сердито крикнул: «Эй, осторожнее, черт!», но тотчас же сам и захохотал: наехал на товарища.

— Теперь вправо, вправо бери! — донесся снизу голос десятника.

Ребята взяли вправо, на свет, и очутились в забое.

Зацепленная за обапол лампочка нехотя освещала уступ. Здесь работал молоденький и тоненький парень, кучерявый, вероятно русый или даже рыжий, сейчас это было невозможно разобрать. Он рубал уголь стоя, зацепившись как-то очень ловко, по-обезьяньи, ногами за стойки: казалось, что он висит на трапеции, как артист в цирке. Его белая майка совсем почернела от угольной пыли, пота. Он работал красиво, это даже ребятам было видно; его гибкое, тонкое, почти девичье тело двигалось ловко, порывисто, умно — мускулы так и играли!

— Футболист! — с ласковой усмешкой сказал десятник, сам заглядевшийся на красивую работу.— Здорово, Митя! Бог в помощь!

— Спасибо, Афанасий Петрович! — отозвался Ми-

тя, не прекращая работы.— Только я и без бога могу. А вот без порожняка никак невозможно...

— А что, нет порожняка?

— Да-али... А все утро стояли, хоть плачь!

— Д-да... дела-а! — сочувственно вздохнул десятник.— А я тебе, Митя, гостей привел. Тоже — ваш брат, комсомолы.

Митя с любопытством посмотрел на ребят и перестал работать.

— Ну, здравствуйте, товарищи! — сказал он гостеприимно, как добрый хозяин.— Милости просим! Ну, как вам тут?

— Я тебе двоих оставлю,— сказал десятник.— Ты им покажи, как и что. Эй, кто хочет?

Вызвался Братченко, он совсем уже обессилел; на него было жалко смотреть. С ним вместе остался и Мальченко.

— Ты подожди, Митя, рубать-то, пока мы пролезем,— попросил десятник.— Я тебе тогда снизу крикну. Ну, поехали.

И ребята опять покатились вниз, до следующего уступа.

Андрей и Виктор остались в третьем уступе — почти в самом конце лавы (счет шел снизу вверх). Здесь работал пожилой забойщик с рыхлым, почти бабьим лицом, на котором редкими кустиками неохотно росли волосы. Он сидел грузно, неуклюже, не по-шахтерски, и, растопырив ноги и кряхтя, отдирал обушком уголь от кровли. На ребят он сначала не обратил никакого внимания.

Только когда десятник ушел, попросив его, как и Митю, не рубать, пока не проползут, он, зевая, отложил обушок в сторону и спросил неожиданно тонким для такого грузного мужика и чуть гнусавым голосом:

— Вы откуда же взялись, ребята? А?

— А мы комсомольцы,—охотно ответил Виктор. У него уже была наготове целая тысяча вопросов к забойщику; хотелось тут же и позволения попросить самому рубануть разок-другой обушком.

— И что это вам дома не сидится-то? — лениво спросил забойщик.— Что, дома худо, что ль?

— Нет, отчего ж? — недоуменно отозвался Виктор.

— Хозяйство-то хоть хорошее у вас? Коровенка есть?

— Да мы не деревенские. Мы из города.

— А? — Он тупо посмотрел на них.— А зачем же из города-то?

— Комсомольцы мы...

— А-а! — прогундосил он.— Это бывает.— Он опять зевнул. Потом потянулся всем телом, крякнул и лег на спину.

У Виктора сразу пропала охота задавать ему вопросы. Скучая, смотрели мальчики на забойщика: он одет был, как и все шахтеры, в спецовку, только на голове у него была круглая, теплая и потертая барашковая шапка — такие татары носят.

— Э-эй, Свиридов, давай, можно! — донесся снизу сигнал десятника.

Но Свиридов не шелохнулся. Он продолжал лежать и тупо, не мигая, смотрел в кровлю,— так чабаны в степи лежат на солнцепеке и глядят в небо. Вдруг он беззвучно рассмеялся. Ребята удивленно посмотрели на него: его дряблое бабье лицо прыгало и дрожало, как студень: вот оно сейчас и совсем потечет.

— А то и такие чудаки есть,— сквозь смех еле выдавил он,— которые сюда за длинным рублем едут. Ай, чудаки, вот уж чудаки-то! — И он опять подавился смехом.

«Так вот он о чем думал, глядя в кровлю!» — усмехнулся Андрей.

— Вот он, длинный-то рубль...— тыча пальцем в пласт, взвизгнул Свиридов.— Он длинный, да поди-ка, утяни его, ах, чудаки! — Он вдруг перестал смеяться и взялся за обушок.— Вы кто? — спросил он.— Комсомольцы? То-то мне! — Он строго погрозил им обушком и ударил в пласт.

Ребята стали молча следить за его работой. Свиридов рубал уголь не как Митя; в его работе не было ни артистичности, ни красоты; он кряхтел, то и дело поплевывал на руки, искоса поглядывая на ребят, рубал с надсадой. И уголь у него не отваливался крупными глыбами, как у Мити, а крошился, тек жидкой струйкой.

Вдруг он остановился и прислушался к чему-то.

— Тсс! — сказал он шепотом.— Слышите? — На

его лице изобразилась тревога.— Слышите?— спросил он, глядя на мальчиков как-то странно, боком.

— Не-ет...— нерешительно протянули ребята.

— А вы ухом слушайте! Трещит?

Они прислушались: действительно, что-то тихонько и сухо потрескивало вокруг.

— Это лава играет...— сказал Свиридов и опять боком, искоса посмотрел на ребят.— Ой, беда, ребята! Беда!

— А что? — шепотом спросил Виктор.— Может завалить?

— Вполне свободно.— Он опять прислушался.— Вот тут трещит! — ткнул он обушком в кровлю прямо у ребят над головой. Оттуда тотчас же что-то отвалилось.

— Сыплется уже! — сказал Свиридов.— Надо лаву спасать, ребята!

— Как же ее спасать? — пролепетал Виктор.

— Ты кто? — строго спросил Свиридов.— Комсомолец? Ну, то-то! — Он опять прислушался, потом сказал: — Я, ребята, сейчас за крепильщиком побегу, а вы подоприте кровлю.

— Как подпереть?

— А вот так!— Свиридов стал на четвереньки, упираясь руками о стойки, и спиною подпер кровлю.— Сможете так?

— Мы попробуем...— неуверенно сказал Андрей.

— А не убоитесь?

— Мы с ним ничего не боимся! — хвастливо сказал Виктор. Он вдруг повеселел.— Вы идите, дядя,— засуетился он.— А за нас не бойтесь, мы и не такое можем! — и он решительно подпер спиной кровлю.

— Ну вот, молодцы, герои! Ей-право, молодцы!..— Он посмотрел, как они, уже оба, стоят на четвереньках, подпирая корж.— А я сейчас... в момент. Нет, молодцы ж! Об этом беспременно в газетах напишут! — и он торопливо пополз вниз.

Ребята остались одни. Некоторое время они молчали. Плотнее прижимались спинами к холодному и скользкому коржу. Потом Виктор пришептал:

— Слышишь?

— Да-а...— тоже шепотом ответил Андрей.

Им показалось, что трещать стало сильнее. Теперь, когда, затаив дыхание, они чутко прислушивались к тишине, они услышали все самые затаенные шорохи и вздохи шахты. Лава уже не играла, она пела на все лады.

Странное дело, мальчики совсем не испытывали страха. Теперь, когда стояли они лицом к лицу с настоящей опасностью, они ничего не боялись. Они даже и не думали о себе, застыв в неуклюжих и некрасивых позах. Успеет ли Свиридов. Спасут ли лаву?

И если в Викторе еще бродили смутные мысли о геройстве их поступка — «вся шахта узнает... а может, и в газетах напишут... а если придавит — так похоронят, как героев, с музыкой...»,— то Андрей ни о чем подобном и не думал. Стоя на четвереньках, он впервые за эти дни почувствовал себя человеком: он не боялся, он был спокоен, он делал нужное шахте дело, он был доволен.

Только спина уже ныла и затекали ноги.

— Что-то долго он ходит! — сказал Виктор. Он нетерпеливо и неосторожно повел спиной, и от кровли тотчас же отвалился кусок присухи.

— Осторожней, ты! — зашипел на него Андрей, и Виктор опять замер.

Бесконечно, томительно долго текло время. Не забыл ли о них Свиридов? Сам спасся, а про лаву забыл...

И вдруг они услышали шум внизу. Они прислушались: это ползли люди. Уже слышны были голоса; вот где-то во тьме блеснул глазок лампочки... Вот еще... Вот ближе...

Первым появился в забое Свиридов. Он осветил ребят светом своей лампочки и ликующе закричал:

— Держат!

Отовсюду подползали люди...

— Держат! — опять закричал Свиридов, и долго сдерживаемый хохот вдруг, как вопль, вырвался из его груди.— Держат! Ой, смерть моя, ой, шахтеры,— задом кровлю держат!

Ему ответил яростный взрыв хохота. Казалось, от этого регота многих могучих глоток лава задрожала и закачалась; вот рухнет кровля, так бережно оберегае-

мая нашими мальчиками. И ребята невольно попятились, защищаясь от этого хлесткого и злого, как ливень, смеха. Они уже догадались, что их разыграли.

А к ним все ближе и ближе подступали хохочущие люди, каждому хотелось самому разглядеть героев лавы, которые... хо-хо-хо! — задом кровлю держат. Со всех сторон окружали ребят желтые, волчьи глаза лампочек, словно настигала их стая волков. Лиц не было видно,— только рты, разверзшиеся в хохоте, как пасти... Стало страшно...

И вдруг чей-то сильный, властный голос перекрыл хохот и шум:

— А ну, прекратить! Прекратить, говорю я вам! — сердито крикнул он.— Барбосы вы, совести в вас нет! Вы над кем смеетесь, сукины вы сыны?!

— Да ты что, Прокоп Максимыч! — еще трясясь от смеха, пискнул Свиридов.— Это ж новичкам крещение, святое крещение, святая купель...

— А, так это ты, Свиридов, твоя работа? — обрушился на него Прокоп Максимович.— Сам-то давно ль не новичок? Ишь кулацкое отродье, и откуда только вас черти понанесли сюда! Ты погоди мне!

— Да ты что, Прокоп Максимыч, ты что, бог с тобой! — уже испуганно забормотал Свиридов.

— Тебе кусок хлеба тут дали, ты и — нишкни! И залезь в нору, чтоб тебя слышно не было. А ты вот что! Ну погоди! — погрозил он ему лампочкой.— А вы тоже хороши! — обратился он уже ко всем.— Обрадовались. И ты тут, Логунов? Ай-я-яй, самостоятельный вроде человек...

— Да ты погоди, ты постой, чего в самом-то деле!..— раздались смущенные голоса.— Шутка ведь это, шутейное дело...

— Шутейное?!— подхватил Прокоп Максимович.— А ты вот на них погляди, на новичков... Каковы им шуточки? — Он подполз вдруг к ребятам; они увидели усатое, свирепое на вид лицо шахтера; он грузно присел около них на корточки и осветил их лампочкой.— Детвора еще! — сказал он с неожиданной в нем нежностью.— Комсомольцы?

Ребята молча кивнули в ответ.

— Ну ничего, ничего, ребята! — ласково сказал он и обернулся ко всем.— Вот вы кого обидели! Комсомольцев! А? Хорошо?

Все смущенно молчали.

— То-то! — внушительно сказал Прокоп Максимович.— И чтоб впредь никто, ни пальцем, ни-ни! А не то! — Он гневно раздул усы.— Ну, да вы меня знаете! — Он усмехнулся и опять обратился к ребятам: — Если обижать будут, вы мне скажите. Визитных карточек у нас не водится, так вы так запомните: Прокоп Лесняк. Тут все знают. Фамилия известная, шахтерская...— Он засмеялся.— А теперь давайте я вас в штрек сведу... Нечего вам тут больше делать! А ну, посторонись-ка, народ!

Все поспешно уступили ему дорогу, и он пополз вниз по лаве с удивительной для такого огромного и грузного тела ловкостью; ребята — за ним.

В штреке он их оставил.

— У меня еще пол-упряжки,— объяснил он.— А вы тут посидите, в холодочке. Я десятнику-то скажу...— Он похлопал Виктора по плечу и смущенно прибавил:— А на народ наш не обижайтесь, народ — ничего, хороший. Это Свиридов все. Да и серость... В забое-то скучно, в одиночку...

Он ушел, а они «спасибо» ему не сказали. Они ни слова еще не произнесли с тех пор, как вернулся Свиридов. В их ушах еще звенел хохот шахтеров...

Они не могли сейчас сидеть «в холодочке» и, не сговариваясь, молча побрели вдоль по штреку куда глаза глядят, шлепая по воде. Они шли долго и молча, каждый думая про себя, но оба — об одном.

— Теперь все смеяться над нами будут! — наконец, горько прошептал Виктор.— Долго теперь над нами смеяться будут.

И Андрею пришлось его утешать:

— Никто не будет смеяться, Витя, что ты! Им дядя Прокоп не даст, вот увидишь! — Он обнял приятеля за плечи и стал горячо шептать: — Этот Свиридов, он, видишь, кулак, ты ведь сам слышал. Мы еще покажем ему, вот погоди!

Сзади них уже давно нарастал и нарастал дальний гром, он становился все ближе и ближе, а они и не слы-

шали. И только когда где-то уже совсем близко раздался дикий, пронзительно-резкий свист, они обернулись и увидели: на них несется «партия». Уже было слышно, как хрипит лошадь, как что-то кричит им коногон.

И тогда они заметались между рельсами, не зная, что делать, куда спрятаться... И вдруг побежали по штреку. Побежали что есть сил.

— Скорей, Витя, скорей! — торопил Андрюша. Но их уже настигал резкий, как свист хлыста, коногонский свист, и только тогда догадались они, что надо просто сбежать с рельсов и прижаться к стойкам. Они так и сделали, и мимо них с грохотом пронеслась «партия». Чубатый коногон невольно захохотал, увидев бледных, перепуганных насмерть ребят, судорожно прижавшихся к стене.

Его хохот еще долго звучал под сводами шахты, наконец стих. И тогда ребята услышали смех совсем рядом — тихий, тоненький, какой-то восторженно-радостный и оттого еще более обидный.

Они обернулись — смеялась девушка. Они увидели ее сразу. Ее нельзя было не увидеть: она вся светилась. На ней было семь или восемь шахтерских лампочек; они висели у нее на поясе, болтались в руках, одна даже была на спине.

Девочка смеялась над ребятами: она видела, как они удирали.

— Ой, как зайцы, как зайцы косые! — в восторге выкрикивала она.

Ребята мрачно пошли на нее.

— Ты чего ржешь? — хмуро спросил Виктор.

Но девчонка только пуще залилась. Лампочки затряслись на ней, как бубенцы.

— А может, тебе морду набить, чтобы ты стихла? — предложил Андрей, и оба друга схватили ее за руки.

Она не стала ни вырываться, ни звать на помощь, ни визжать. Она только любопытными глазенками посмотрела на ребят: неужто побьют, посмеют? А ну, как это будет?

Виктор легонько толкнул ее от себя.

— И связываться не стоит, дура-а! Смотри, в другой раз не попадайся!

Она засмеялась.

— Зайцы, зайцы косые! — запела она. Но они уже пошли прочь. Как ни странно, а хоть и не отвели они душу, не избили девчонку — одну за всех,— а им стало легче. Этот день пройдет и забудется; им еще жить и жить! Ну и пусть смеются, а все-таки они не убоялись остаться одни в лаве, когда Свиридов ушел!

Они знали теперь, что в шахте, как и в жизни, есть и трудности, и радости, и хорошие люди, и злые...

8

В ту же ночь с шахты убежал Братченко. Об этом узнали только утром, когда все проснулись. Койка Братченко была не смята, на подушке лежал комсомольский билет. Не было ни письма, ни записки — только комсомольский билет на подушке. Но и так все было понятно.

Комсомольцы собрались вокруг койки. Они стояли молча, будто тут на койке лежал покойник.

«Вот и первый!» — тревожно подумал Андрей.

Светличный взял билет с подушки и медленно вслух прочел: «Братченко Григорий Антонович».

— Запомним! — жестко сказал он.— Братченко Григорий Антонович,— и вдруг с силой швырнул билет на койку.— Подлец ты, Братченко Григорий Антонович!

— Он от воздуха затосковал,— смущенно сказал Мальченко, в эти дни подружившийся с Братченко, их койки были рядом.— Все на воздух обижался. Он на свежем воздухе вырос, в степи. А тут на шахте...

— А мы что же, в пещерах жили? — зло перебил его Светличный.— Нам небось тоже свежий воздух люб. А не бегаем. Нет, видно, легко ему билет достался, легко и кинул. Только врет! Ничего,— погрозился он.— Теперь ему нигде свежим воздухом не дышать! Для него теперь везде воздух отравленным будет. Иуда!

— Надо в его организацию сообщить,— предложил Глеб Васильчиков, парень из Харькова.

— В газеты надо написать, вот что! — крикнул Виктор.— Пусть все знают!

Ребята зашумели.

— И в газеты и в ЦК комсомола.

— А если матери его написать: вот какой у вас, тетенька, сын подлец, а?

— Мать здесь при чем?
— А пускай воспитывает лучше! Не растит подлецов!
— Смалодушничал он, может, еще сам вернется,— раздался чей-то неуверенный голос.
— Вернется. Жди! — захохотал Виктор.— Такие не вертаются!
Светличный молчал. По привычке он еще вслушивался в то, как «народ шумит»,— хорошо шумит, искренне! — а думал о себе. Он не мог понять поступка Братченко: билетом не швыряются. Он не мог понять и того, как можно убежать с шахты: с поста не бегают. Да и куда? Разве от себя, от своей совести убежишь?
Но невольно подумал он, что сейчас он мог бы быть не здесь, а в Харькове. В Харькове — весело. Он уехал как раз перед пленумом. Поговаривали, что его хотят вторым секретарем горкома... Многие удивились, когда узнали, что он сам вызвался ехать на уголь.
Но его никто не удерживал, не посмел удержать: он ехал по мобилизации. Это святое дело.
Был ли это только порыв, горячая минута? Собрание, правда, было жарким... И он, конечно, поддался настроению. Сейчас у койки Братченко он проверял себя.
Он вдруг вспомнил всех харьковских комитетчиков. Некоторые из них пришли в комитет с завода, другие — прямо со школьной скамьи; этих он всегда называл «гимназерами». Гимназеры как-то удивительно быстро старели, становились важными и солидными. Он представил себе их здесь, в общежитии, на шахте,— и засмеялся. Нет, он поступил правильно, верно. Нельзя все других агитировать, других посылать. Надо сначала самому хлебнуть жизни, а потом... Но что с ним будет потом, он и сам не знал. Да и рано было об этом задумываться!
Он заметил, что «народ» притих и смотрит на него: ждут, что он решит. Они уж без собрания избрали его своим вожаком. Он рассердился. Зачем ему это бремя? Он сюда не в комитет приехал, а в забой. Нет уж, увольте! Тут свои комитетчики есть.
Но он сам знал, что непременно влезет, вмешается во все. Не может он не вмешаться, не такая натура! Да

и что, в самом-то деле, прятаться он сюда приехал, что ли? Он воевать приехал. Еще разобраться надо, отчего у них тут прорыв, отчего тут с шахты люди бегают...

Он сказал:

— Можно и в ЦК и в газеты написать! — Сделал паузу. Потом посмотрел на всех своими колючими глазами и прибавил: — А главное, пусть каждый у себя на носу запишет. Да зарубит! Ну, кто теперь следующий? — Он давно заметил, что Андрей молчит, и уткнулся прямо в него.— Ты теперь, Воронько?

— Я не убегу...— хмуро ответил Андрей.

— Кто тебя знает! — усмехнулся Светличный, но усмешка вдруг вышла у него доброй.— Вот что, ребята! — тепло сказал он.— Надо нам, наконец, подружиться...

Вошел взволнованный Стружников, секретарь комсомольского комитета шахты. Он уже знал о происшествии.

— Как же это вы не углядели, ребята? — прямо с порога крикнул он.

— В чужую душу не влезешь! — виновато пробурчал Мальченко.

— Значит, нет у вас настоящей комсомольской дружбы! — сказал секретарь.— Друг друга не знаете...

— Организации у нас и то еще настоящей нет...— отозвался Светличный.

— И в самом деле! — вскричал Виктор.— Как-то беспартийно мы живем.

— Организация на шахте есть,— обиженно сказал секретарь,— зачем держитесь особо? Надо вам скорее с нашим народом смешаться. Мы на вас сильно рассчитываем,— и он посмотрел на Светличного.

— Работать нам скорей надо! — закричал Виктор.— Что нас все как экскурсию водят! Сбежишь с тоски...

— Верно! — поддержал и Светличный.— Канителимся долго...

— Сегодня к вам придут и разобьют по профессиям,— пообещал Стружников.— А завтра уж и в шахту!

— Только я в забойщики! — торопливо выкрикнул Виктор.— Никуда больше не хочу.

Все зашумели вокруг секретаря, о Братченко и забыли. Его билет так и остался сиротливо лежать на подушке.

Уже уходя, Стружников забрал его с собой.

Виктор попросился в забойщики, потому что слышал, что это самая почетная профессия на шахте. Его просьбу уважили, он был парень сильный, рослый. Не желая отставать от приятеля, попросился в забойщики и Андрей. Им пообещали, что завтра же их свезут в шахту и приставят к мастерам учениками.

— Поучитесь немного обушком-то владеть, а там и сами план получите.

— А учиться долго? — спросил Андрей.

— Да оно-то долго, да теперь долго нельзя. Прорыв! — ответили ему.— Не хватает забойщиков. Нет, вам учиться долго нельзя.

— А нам и не надо долго,— засмеялся Виктор.

Назавтра они были уже на наряде. Виктор попал в ученики к Мите Закорко, кучерявому пареньку, которого они уже видели в первый раз в шахте. На свету он действительно оказался рыжим.

— Вот тебе, Митя, ученик! — сказал начальник участка, представляя Закорко Виктора, и усмехнулся.— Тоже, видать, такой же, как ты, артист. Поладите! — Начальник участка считал себя психологом.

Андрей достался пожилому, молчаливому забойщику Антипову.

— А это тебе ученик, Антипов! — сказал начальник участка.

— А, ну пускай... ничего... можно...— равнодушно промямлил Антипов.

— Значит, ты его поучи, как обушок держать, как зубки заправлять, как рубать уголь...

— А чего ж... можно... конечно... Ну-ну!..— И Антипов молча пошел из нарядной. Андрей за ним.

Так же молча пришли они в забой.

Антипов привычно, по-хозяйски стал устраиваться в уступе, готовиться к работе: повесил лампочку, положил поудобнее мешочек с зубками, проверил, на месте ли лес.

Потом сел, посмотрел на ученика и почесал в затылке. Вот что с этим предметом делать, он и не знал.

— Значит... э...— нерешительно сказал он,— это уголь... а это обушок... опять же зубки...

— Понимаю,— прошептал Андрей.

— Д-да... Конечно... хитрость не велика... Ну-ну!.. Чего ж еще тебе?.. А? — Он вопросительно посмотрел на него.

— А я не знаю..— смутился Андрей.

— Да-да... история... а мне работать надо... видишь, как оно, дело-то!..

— А вы работайте! А я погляжу.

— Во-во! — обрадовался Антипов.— А ты погляди! Я-то... языком не того... не очень... Я уж тебе... обушком покажу...

И он стал рубать уголь, а Андрей смотреть.

За обедом он встретился с Виктором. Виктор был недоволен.

— Что в самом-то деле! — возмущался он.— Отдали меня в ученики к мальчишке. Только фасон ломает, себя показывает, а толку — грош.

Оказывается, они сразу же переругались. У обоих характер был петушиный. «Артист» стал выхваляться, Виктор его круто обрезал.

— Так и проругались всю упряжку! — мрачно заключил Виктор.— Ну, а твой как?

— Мой — ничего! — вздохнул Андрей. Потом вспомнил, как работал Антипов, и прибавил: — Нет, мне с моим хорошо!

Он и в самом деле скоро полюбил своего учителя. Антипов оказался мужиком добрым, хоть и молчаливым. Объяснить он Андрею действительно ничего не умел, а работал хорошо, старательно.

И, глядя на него, Андрей уже многому научился, и прежде всего — порядку в забое.

— Это дом... дом мой... тут живу...— по-своему, косноязычно объяснял Антипов.— А там,— показывал он вверх, на-гора́,— там хата... там сплю... Только!

Поведал он Андрею и свой заветный секрет — как затачивать зубки. Тут он даже воодушевился, видно, это и знал хорошо и любил.

Глядя на него, научился Андрей и крепить и теперь часто сам крепил за Антиповым: забойщик раза два проверил его крепь и больше проверять не стал.

А как рубать уголь — этого он Андрею объяснить не умел.

— Рубай... вот... Вот так рубай... ну...

Но уголь не давался Андрею. Он рубал что было мочи; гекая, со всей силой ударял обушком по углю, будто топором по дереву, а толку не было: уголь крошился, отваливался неохотно.

Андрей приглядывался к учителю, он хотел подсмотреть, в чем же он, этот заветный секрет мастера. И уловить не мог. Антипов рубал неторопливо, казалось, вполсилы, а уголь тек да тек из-под обушка ровной, веселой струйкой или вдруг отваливался большой глыбой и с грохотом падал вниз.

Однажды Андрею показалось было, что дело у него пошло. Он увлекся, разгорячился — уголь потек! Самозабвенно рубал он и рубал, вспотел даже и вдруг услышал над ухом резкое, отрывистое:

— Брось!

Он оглянулся: перед ним был Прокоп Максимович.

— Брось! — брезгливо приказал он.— Чего зубок зря тупить! — И Андрей растерянно опустил обушок.

— А теперь смотри сюда! — скомандовал Прокоп Максимович и поднес свою лампочку к пласту (к «груди забоя», как говорят шахтеры).— Ну? Что ты тут видишь?

— Уголь...— неуверенно пробормотал Андрей.

— Уголь! — усмехнулся мастер.— А в угле что? Ну, внимательнее смотри!

Андрей всмотрелся: он увидел тонкие жилки, прожилки, трещинки в пласту, сложный рисунок морщинок, словно он смотрел на лоб старого, умного и хорошо прожившего свой век человека.

— Ну? Что видишь?

— Жилки вижу... трещинки...

— А ты гляди теперь, как эти трещинки идут. Ну? Видишь?

Андрей видел, что все трещинки идут в одном направлении; они словно сливаются вместе и образуют тоненькую, едва заметную глазу струйку.

— Это струя,— объяснил Прокоп Максимович.— Ученые называют: кливаж. Вот ты по кливажу-то и клюй обушком. А то что вслепую махаешься! С умом

обушком-то бей, с понятием — уголь сам-от и посыплется. Что ж ты ему этого не объяснил? — с укоризной сказал он Антипову.

— А того... конечно... вроде говорил я... а? Да какой я... профессор! — махнул Антипов рукой.

— А по этому делу мы с тобой — профессора, других нету,— гордо сказал мастер и повернулся к Андрею.— Вот так и работай, сынок! А я тебя еще навещу.

— Конечно...— сконфуженно промямлил Антипов, когда Прокоп Максимович ушел,— он мужик мудрый... партейный... не мы... И — профессор!.. Это уж того... это так...

Андрей попробовал теперь рубать по кливажу. Сперва не ладилось — струя все ускользала, терялась. Он гонялся за нею, как за ящерицей, пытаясь прищемить ее хвост обушком; она юлила, хитрила, не давалась. Потом мало-помалу он научился прослеживать ее и не терять, рубать стало легче. Он обрадовался. Слышит ли Виктор, как он лихо рубает уголь?

Виктор был где-то тут же, в лаве, двумя уступами выше. Но встречались они только после работы.

С Виктором было худо. По его просьбе дали ему другого учителя — шахтера серьезного и знающего. Но и с ним Виктор не поладил. Объяснения слушал он нетерпеливо, даже почему-то обиженно, а когда сам брался за обушок, у него ничего не получалось.

— А ты по кливажу попробуй! — посоветовал Андрей.— По кливажу — легче!

Но дело было не в кливаже, все было в характере Виктора. Уж такой у него был характер! Он умел хорошо делать только то, что любил, а любил только то, что ему легко давалось.

Так было и в школе, так было и в детстве. Он научился плавать как-то нечаянно, само собой, будто он просто в реке родился, и плавал отлично, лучше всех ребятишек. И он проводил все дни на реке, устраивал состязания, заплывы и, побеждая всех, был и счастлив и горд. А лыжи ему сразу не дались. Он дважды осрамился при всех и тотчас же лыжи забросил.

Он привык и любил быть везде первым парнем, а если не первым — так уж тогда никаким.

Если б уголь сразу дался ему в руки, если б с первых же дней пошла по шахте слава о Викторе, как о лучшем среди новичков,— он полюбил бы и шахту и ремесло забойщика. И уж тогда не было б на шахте парня старательнее и ревностнее его. Он горы бы своротил!

Но, уголь не дался в руки, и шахта сразу опостылела Виктору. Он шел теперь в забой, как на дыбу: опять будет сердито выговаривать ему учитель, опять будет посмеиваться десятник и коситься Светличный, вновь избранный комсорг участка; у самого Светличного, говорят, хорошо идут дела в забое.

Виктору надо было бы немедля отпроситься из забойщиков в коногоны; у него и характер-то был коногонский, лихой; на всей шахте не было бы коногона отчаяннее. Но он сам не догадался, а никто не посоветовал. Да и стыдно было бы: ведь сам просился в забойщики.

И он уныло тянул лямку в забое.

Он опустился, затосковал. По вечерам молча валялся на койке. От лихого Виктора не осталось и следа. Вид у него теперь был ожесточенный и жалкий.

— Эх, не повезло нам, Андрюша! — горько плакался он приятелю.— Не угадали! Нам бы на новостройку, в Магнитную степь! Какие бы дела делали!

— Так ведь поначалу везде трудно...— робко возразил Андрей.

— А я разве трудностей боюсь? Что ж, ты меня не знаешь? Я, брат, труда не боюсь. А только там — красивый труд, а тут! — и он презрительно махнул рукою. Он совсем забыл, что всего десять дней назад говорил другое. Но он умел быстро забывать.

— Мой отец говорил: всякий труд — красивый,— пробормотал Андрей.

— А он был в шахте, твой отец? — набросился Виктор.— От, бачишь! А мы с тобой были. Понюхали, почем фунт лиха. Вот сегодня мой учил меня, как законуриваться. Законуриваться,— едко скривил он рот.— И слово-то какое! Будто мы собаки... Так и будешь тут всю жизнь — в конуре...

И Андрей не знал, чем помочь другу. Ему самому тоже было тяжело, но он уже видел просвет впереди.

Теперь только держаться кливажа! Он благодарно вспомнил Прокопа Максимовича.

— Ты б с Прокопом Максимовичем посоветовался,— нерешительно предложил он.

— А что мне с ним советоваться! — пожал плечами Виктор.— Я не больной, а он не доктор...

— Он профессор! Он, брат, все понимает. И к тому же партийный. Давай пойдем к нему домой. В гости.

— В гости! — усмехнулся Виктор.— Звали тебя туда, что ли?

— Звали. Сам звал.

— Когда ж это?

— А сегодня. Он нас уже другой раз приглашает...

Виктор с сомнением посмотрел на приятеля: не врет? Но приглашение польстило ему. Значит, не совсем уж он последний человек на шахте, раз зовет его в гости сам мастер угля Прокоп Максимович Лесняк.

Но ответил он небрежно, словно нехотя:

— Ну что ж! В выходной можно и пойти...

9

В выходной день оба тщательно вымылись и приоделись. Каждый достал из своего сундучка лучшее, что у него было: Виктор — почти новенький костюмчик из темно-синего шевиота, сорочку с вышитой крестиками грудью и фуражку-капитанку с большим черным лакированным козырьком; Андрей — косоворотку, вышитую голубыми васильками, крученый поясок с кистями, пиджак, совсем новый, подаренный отцом на дорогу; брюки он заправил в хорошие хромовые сапоги.

Тумбочки в общежитии еще не появились, но зеркало было. Оба выглядели, как женихи. Только под глазами уже синела неотмытая кромочка угля — глаза казались подведенными.

Дом Прокопа Максимовича они нашли сразу: мастера в поселке все знали.

Это был домик маленький, аккуратный и весь белый, даже крыша на нем была белая, этернитовая. Никто не любит так белый цвет, как шахтеры, и никто так не любит зелень. Андрей невольно вздохнул, заметив тоненькие ниточки, протянувшиеся от земли до крыши веран-

ды: крученый паныч уже завял. Но астры еще цвели почти у самого крыльца, а на акациях еще болтались гроздья сморщившихся желтых листьев — до первого осеннего ветра.

Было как-то по-хорошему грустно в этом маленьком, уже тронутом осенью саду. Стояла особенная, ленивая тишина воскресного полдня; ставни на окнах были полупритворены. И, глядя на них, представлялось сразу, что в домике прохладно, сумеречно и чисто, пахнет яблоками, ванилью и воскресными пирогами и живут здесь простые, хорошие люди, живут мирно, трудолюбиво и счастливо.

Ребята постояли немного у калитки. Калитка была простодушно распахнута, но они не решались войти. Им казалось, что так будет... некрасиво. Они ведь не просто пришли, а в гости. Надо постучать или еще лучше — позвонить. Но ни стучать, ни звонить было не во что.

Они церемонно поеживались в своих парадных костюмах, не знали, что делать. Вдруг они заметили, что от погреба к дому бежит девушка в ситцевом платьице, с кувшином.

— Будьте добры, гражданочка!..— вежливо позвал ее Виктор.

Девушка подошла к палисаднику, и ребята почти с ужасом узнали в ней ту самую девчонку, что так безжалостно смеялась над ними в шахте, когда они бежали от коногона...

Потом они изредка встречали ее в шахте, но всегда поспешно сторонились, а она, узнав их, смеялась вслед. Они не знали, ни чья она, ни где живет, ни как ее зовут. Знали только, что работает она ламповосом и шахтеры прозвали ее Светиком; она действительно, точно свет, появлялась в забое, чтобы дать шахтеру новую лампу вместо его потухшей.

Сейчас она была чистенькая, беленькая и — хорошенькая в своем ситцевом платьице, бледно-розовом с цветочками. Но они ее сразу узнали.

И она узнала их.

— А вы что же тут делаете? — подозрительно спросила она, глядя на них через палисадник.

— А ты что тут делаешь? — рассердился Виктор.

— Я? Вот новости! — засмеялась она.— Я тут живу. А вам чего надо?

— Мы не к вам...— поспешно сказал Андрей.— Мы в гости.

— А это ты меня в шахте прибить хотел? — угрожающе обернулась она к нему и вдруг, совсем как шахтерский мальчишка, завизжала: — А ну, вдарь, вдарь! Ну?

— Мы не драться... мы в гости...— пролепетал Андрей.

— Таким гостям — поворот от ворот. Ну, убирайтесь, пока целы! — закричала она.— А то... вот! — и она, хохоча, плеснула на них квасом из кувшина. Хорошо, что Виктор вовремя отскочил, не то пропал бы его парадный костюм.

— Ты осторожней, дура! — сердито вскрикнул он.

— Проваливайте, проваливайте! Давай полный ход от ворот! — И она, вложив по-коногонски два пальца в рот, лихо свистнула.

— А вот мы не уйдем! — вдруг озлился Андрей. Его трудно было разозлить, но девчонка сумела. Теперь никакая сила не заставила бы его сдвинуться с места. Он был упрям. И тот, кто знал его, догадался бы, заметив, как потемнели его глаза и сдвинулись брови, как по-бычьи подалась вперед голова, что теперь его трогать не надо, он все равно будет поступать по-своему.

Но девчонка не знала этого.

— А вот я сейчас собак спущу! — сказала она и громко позвала: — Эй, Полкан, Трезор!

Но тут появился сам хозяин Прокоп Максимович. Он вышел на крыльцо и крикнул:

— Эй! Что за шум, а драки нету?

— Драка сейчас будет! — отозвалась девчонка.

— Здравствуйте, Прокоп Максимович! — сказал Андрей и снял кепку.

— А-а, вот это кто! Пожалуйте, пожалуйте! — И мастер, радушно протянув руки, пошел им навстречу.— Ты что ж моих гостей конфузишь?—на ходу упрекнул он дочь.

— Такие гости, что собачьи кости...— немедленно огрызнулась та.

— Цыц, коза! Здравствуйте, молодые люди! — мастер потряс ребятам руки.— Прошу, прошу!..

Они пошли за ним.

— Сердитая она у вас! — хмуро сказал Андрей, все еще косясь на девчонку.— Вы ее на цепи держите. На людей кидается.

— А я ее скоро на цепь-то прикую: замуж выдам,— пошутил хозяин и ввел гостей в дом.

Там, неожиданно для них, оказалось большое общество. Собирались обедать. Ребята смущенно замерли на пороге.

— Вы входите, входите! — засмеялся хозяин.— Стесняться нечего! Все свои. Это фамилия моя да родня, все шахтеры. А это,— представил он Андрея и Виктора,— комсомольцы, к нам на подмогу приехали. Прошу любить да жаловать! Вы курские, что ли? — спросил он ребят. Почему-то все их здесь считали курскими.

— Полтавские...

— Вот и хорошо! — благодушно сказал хозяин.— Прошу покорно садиться. Сейчас мать наша выйдет, мы и закусим.

Мальчики сели на указанные им места. Они чувствовали себя неловко: большое общество совсем смутило их. И фуражки... Они не знали, куда их деть, мяли в руках на коленях.

Они никого, кроме хозяина и дочки, не знали. Здесь собрались все пожилые люди; только паренек со смешными веснушками на носу и зачесанными назад волосами был их ровесником. Он сидел в стороне и небрежно щипал струны гитары.

С дымящейся кастрюлей в руках легко и быстро вошла женщина, еще не старая на вид и худенькая, как девочка.

— А вот и хозяйка моя! — провозгласил Прокоп Максимович.— Настасья Макаровна. Народный комиссар нашей кухни.

Настасья Макаровна усмехнулась,— глаза у нее были насмешливые и быстрые, как у дочери,— и, поставив кастрюлю, подошла к ребятам.

— Здравствуйте, очень рады! — певуче произнесла она.— А фуражки ваши позвольте-ка сюда...

Они растерянно отдали ей фуражки. Она взяла их и унесла; двигалась она проворно, но не кругло, как пожилые бабы, а как бы легкими, стремительными толчками.

«Видно, откатчицей была!» — невольно подумал Андрей. Он уже давно заметил, что на шахте толстых баб не бывает. Тут у всех женщин фигуры молодые, стройные, а лица старые, старше своих лет. Отчего это, он и сам не знал, но объяснял, как и все, что здесь видел, одним словом: шахта. Это от шахты.

— Ну, что ж! — сказал хозяин.— Борщ на столе, пора и за ложки!

— Это мы могем! — засмеялся маленький и сухонький старичок с добродушно-ехидным лицом и прической ежиком.— Нам все едино, что работать, что хлебать. Нам абы гроши да харчи хороши.

Все, смеясь, пошли к столу, стали шумно рассаживаться.

— Вы сюда, сюда, пожалуйста! — указал хозяин место мальчикам поближе к себе.

— А где же мама? — громко спросил высокий, как и хозяин, но не в пример ему хмурый и молчаливый шахтер лет сорока пяти, с синими рябинами на лице.

— Мама сейчас придут,— торопливо ответила Настасья Макаровна и обернулась.— А вот и мама!

В комнату неслышно вошла очень высокая, прямая и совсем седая старуха. Все молча встали. Она низко поклонилась гостям.

— Кушайте на доброе здоровье! — хрипловатым приятным голосом произнесла она и пошла на свое место.

Она шла без палки, не горбясь, бодрой и легкой походкой, удивительной для ее семидесяти пяти лет. Она совсем не была похожа на тех маленьких, суетливых и расслабленных старушек, каких привык видеть Андрей дома, в Чибиряках.

Что-то гордое и независимое было в этой мужественной старухе, в ее прямой, не умеющей гнуться спине, в ее смелом, открытом, почти мужском мускулистом лице, в ее глазах, не потухших и мудрых.

Такие любят говорить про себя: «Я никогда из чужих рук хлеба не ела, я все своим горбом». Но трудовая жизнь не сгорбила, а даже выпрямила ее, научила встречать невзгоды грудью, никого и ничего не бояться, ни от кого не зависеть и верить только в свои руки.

И, глядя на нее, можно было понять и объяснить

всех здесь собравшихся, отчего они такие и как такими стали, отчего в этом маленьком домике под этернитовой крышей — покой, дружба и счастье.

— Это наша мама! — очень почтительно и как-то растроганно сказал Прокоп Максимович.— Мне и Ивану — родная, а всем тут на шахте — названная. Вы кого угодно спросите про Евдокию Петровну,— прибавил он не без гордости,— каждый скажет: это шахтерская мать.

— Много их у меня... шалопутов...— усмехнулась слегка смущенная мать.

— Старуха знаменитая! — шепнул мальчикам старичок с ежиком, оказавшийся за столом их соседом.— Она и про пятый год рассказать может — участвовала!

— Сейчас мама гостит у нас! — сказал Прокоп Максимович.— Это она по шахтам ездит, всем своим детям смотр делает.

— И делаю! — засмеялась старуха.— Это моя последняя вам ревизия. Вот всех объеду — и помру.

— Что вы, Евдокия Петровна! — воскликнул старичок с ежиком.— Вам еще жить да жить!

— Нет. Помру. Поработала — пора!

— Что, аль болеете?

— Болеть не выучилась. А... пора.

— Мы, мама, вам про смерть и думать запрещаем! — сказал Прокоп Максимович.— Нельзя вам помирать, слишком много сирот оставите. Вот и этих,— показал он на Андрея и Виктора,— прошу во внучата взять, приласкать...

— А-а, очень приятно, молодые люди! — ласково закивала им старуха.— Как звать-то?..

— Меня — Андреем.

— Я — Виктор...

— Молоденькие! — улыбнулась она.— Здешние?

— Нет, из Полтавы они,— сказал Прокоп Максимович.

— А-а! — покачала она белой головой.— Скушновато вам небось на чужой сторонушке? Без матери-то каково?

— Нет, ничего! — браво отозвался Виктор.— Мы не маленькие.

— К нам почаще заходите, милости просим! Мой-то Прокоп гостей любит. Говорливый он! — Все засмея-

лись. Она испуганно оглянулась на сына.— Что, аль опять я не так сказала?

— Так, мама, так! — смеясь, ответил тот.— Говорливый я, поговорить люблю. Отчего и не поговорить, коли есть о чем?

— Артист! — ехидно вставил старичок с ежиком.— Он не только заговорит, он еще и спектакли вам покажет! — сказал он мальчикам.— Он у нас на все — богатырь!

— А что ж не пьет никто? — вдруг всполошился хозяин.— Неужто подносить? Ну, измельчал народ, мама, пожалуюсь я вам, измельчал. Помните, как прежде-то пили? — сказал он, наливая из графинчика водку.

— Ты бы что хорошее вспомнил! — отозвалась мать.— А про это...

— Не-ет, хорошо пили, дружно, артельно... все пропивали до последних портков, аккуратно! — усмехнулся он.— Земляночку-то нашу помните, мама? Как не пить! А вы,— обратился он к ребятам,— пьете?

— Не пробовали еще...— сознался Андрей и вдруг густо покраснел, словно в чем-то стыдном признался. Светик немедленно прыснула.

— А я пью! — храбро сказал Виктор и протянул рюмку. Прокоп Максимович чуть насмешливо взглянул на него, но ничего не сказал и налил полную.

— Эх, и не пил бы, да дуже просят,— крякнул Прохор, широкоплечий, рыжеватый, с вьющимися на кончиках молодецкими усами сосед Андрея.

Все засмеялись:

— И отчего это,— продолжал он, рассматривая рюмку на свет,— отчего о нас такая слава по свету идет, будто все шахтеры — пьяницы? А есть и такие, что больше нас пьют...

— Ну, больше тебя-то вряд ли кто! — поджимая губы, сказала его жена.

— Женам сегодня слово не даю! — закричал весело хозяин.— Пейте и ешьте, дорогие гости, что народный комиссар приготовил. А больше у нас ничего нет. Все на столе, не взыщите!

Было Андрею как-то по-особенному душевно тепло в этом доме, среди этих добрых людей. «Какие они все простые, хорошие, веселые! — восторженно думал он.—

И нами, мальчишками, не побрезговали. Принимают, как взрослых. Это оттого,— догадался он,— что мы теперь тоже шахтеры, уголь рубаем. Значит, выходит — товарищи». И он невольно почувствовал гордость оттого, что он с Прокопом Максимовичем — товарищи, в одной лаве работают.

И Виктор здесь душевно обмяк, отошел. После второй рюмки он почувствовал себя развязнее; ему не терпелось вмешаться в общий разговор и тоже сказать что-нибудь свое — хорошее и умное. Только Светик, сидевшая напротив, еще смущала его; она то и дело поглядывала из-за своей тарелки и тихонько смеялась: особенно когда он пил и после этого кашлял.

— А что, молодые люди,— вдруг обратился к нему, хитро щурясь, старичок с ежиком,— все спросить вас хочу, вы уж извините. Вы как же к нам на шахту попали? Своей охоткой или как?

— Мы по мобилизации,— объяснил Виктор.

— А-а! — засмеялся старичок мелким, дробным смехом.— Значит, сами не думали-то в шахтеры?

— По правде сказать — нет! — засмеялся и Виктор.— У нас, признаться, другие мечты были! — значительно прибавил он и посмотрел на дочь хозяина.

— Небось в летчики? — насмешливо спросила Настасья Макаровна.— Теперь вся молодежь с ума сошла: в летчики хочет. Вот и наш тоже...— кивнула она на сына. Тот смутился и покраснел.

— Нет! — развязно возразил Виктор; он уже чувствовал себя здесь, как дома.— Андрей вот в лесники собирался. Он у нас тишину любит, лес...— кольнул он приятеля.

— А Виктор — в артисты! — дал сдачи Андрей. Все засмеялись, Светик — громче всех.

— Ну, что ж, я и не скрываю,— с достоинством произнес Виктор.— Я, собственно, в киноартисты хотел,— сказал он, небрежно играя пустой рюмкой.— Призвание такое в душе чувствую. Да,— вздохнул он,— мечтали-то мы высоко, а угадали в шахтеры! Законурились! — с презрительным смехом закончил он.

— Что?! — тихо, каким-то свистящим шепотом спросил Прокоп Максимович. Его лицо вдруг покрылось бурыми пятнами. Он медленно поднялся со своего места—

все сразу затихли, почуяв недоброе,— и вдруг с силой ударил кулаком по столу так, что все задребезжало.

— Вон! — взревел он, не помня себя.— Вон! Вон из моего дома! Вон!

— Что ты, что ты, Прокоп? Опомнись! — потянула его за рукав жена, но унять его было уже невозможно.

— Вон! — крикнул он еще раз. И Виктор послушно поднялся с места. Он еще сам не знал, что натворил, чем обидел хозяина, но уже готов был провалиться сквозь землю или бежать, бежать скорее... куда-нибудь.— Значит, высоко вы мечтали, а мы низко живем? — крикнул Прокоп Максимович.— Низкие мы, выходит, люди, в углу возимся?

— Сядь, Прокоп! — властно приказала мать, и он дернулся, но сел.— Что ж ты на дите кричишь? — спокойно сказала она.— Его учить надо.

— Да, я... я и не хотел ничего... такого...— жалобно пробормотал Виктор, готовый заплакать.

— Ты, брат, не меня обидел! — сказал, уже успокаиваясь, Прокоп Максимович.— Ты вот кого обидел — шахтерскую нашу мать. Ты кто? Ты сам-то кто есть?

— Я... я никто еще...— пролепетал совсем уничтоженный Виктор.

— То-то что никто! — строго сказал мастер.— Никакого инструмента еще в руках не держал, никакого ремесла не знаешь. Куска хлеба и то, поди, самостоятельно еще не заработал. Отец твой кто?

— У него нет отца...— пришел на помощь другу Андрей.— Его отца белые зарубили. Он большевик был.

— А-а? — удивился Прокоп Максимович, будто у Виктора и не мог быть такой отец.— Ну, а дед твой кто?

— Я деда не знаю...— пробормотал Виктор и подумал с тоской: «Ох, убежать бы скорей от стыда!..»

— Вот! Своего роду-племени не знаешь! — довольно усмехнулся мастер.— Аристократ! Ну, а мы низкие, мы свой род хорошо помним. Дашка! — громко крикнул он через весь стол дочери.

— Ну, сейчас спектакль будет,— хихикнул Макар Васильевич, старичок с ежиком, и радостно потер руки.

— Дашка!

— Я тут, папа,— отозвалась Светик.

«Значит, ее Дашей зовут»,— подумал Андрей.

— Кто твой отец, Даша? — строго, словно на экзамене, спросил Прокоп Максимович.

— Мой отец есть потомственный шахтер-забойщик,— звонко, как молитву, отбарабанила Даша.

— Так. А дядья твои кто?

— И дядья мои чистых кровей шахтеры.

— Ну, а дед твой кто был?

— И мой дед был шахтер. Погиб при взрыве газа.

— Царство ему небесное,— вздохнула жена Прохора,— хороший был человек.

Но Евдокия Петровна сидела как каменная. Так она, говорят, и смерть мужа встретила, не заплакала.

— Ну, а прадед твой кто же был? — вскричал Прокоп Максимович,— мой, значит, дед?

— Прадед тоже был шахтер.

— Верно! — закричал хозяин.— Он сюда пришел — тут голая степь была, волки бегали... Трехаршинный был мужик, волка руками душил... А прапрадед твой, Даша, берет свой корень из крестьян Орловской губернии Мценского уезда... Но ту родословную я не считаю! — махнул он рукой.— То — крестьянство, то — другой счет! Вот,— торжествующе посмотрел он на Виктора,— вот мы какого роду-племени. Мы хоть не аристократы, а свой корень помним! Нами эти шахты пробиты, мы этой степи жизнь дали — наша фамилия! Вот как!

— Да и наша фамилия... тоже... не первый тут день! — проворчал задетый Макар Васильевич.— Чай, тридцатый номер мой-то дед вместе с твоим проходили...

— А я, папаша, и не спорю! — согласился хозяин.— В одной они артели были. Небось через стряпуху мы с вами давно родственники!

— Кабы была на земле справедливость,— сказал Прохор, играя усами,— так не по хозяйским дочкам шахты бы назывались Мариями да Альбертинами, а по именам шахтеров, кто те шахты проходил. Хоть по твоему деду, Прокоп Максимович...

— И назовут! И назовут! — убежденно закричал мастер.— ВЦИК указ сделает — и назовут! Мы хоть и низкие, по-твоему, люди,— обратился он опять к Виктору, тот даже на стуле заерзал,— а и большие люди

к нам свое ухо преклоняют, прислушиваются... Да вот! — вспомнил он. — Жена! А кто это у нас недавно в гостях был! Еще на том месте сидел, где я сейчас сижу?

— Да будет тебе, хвастун! — смеясь, отмахнулась от него Настасья Макаровна.

— Нет, ты скажи, кто?

— Вячеслав Михайлович Молотов был, — трубно выпалил сын хозяина. И смутился.

— Да. Сам Вячеслав Михайлович, — с тихой гордостью подтвердил хозяин. — Вот кто. Не посчитал нас низкими людьми, приехал. Из Москвы приехал, из самого Кремля, во-от с какой высоты, да на шахту... Здесь сидел, — показал он на свое место, — беседовал с нами.

— Большие люди часто у нас бывают, обижаться не можем! — сказал кум Прохор.

Макар Васильевич вдруг залился тихим, радостным смехом.

— Ты чего? — удивился Прохор.

— Нет, пускай он... Прокоп-то... — сквозь смех еле выдавил Макар Васильевич, — пусть расскажет... как это он одному большому человеку... спектакль сделал.

— Что-то не помню я... — смутился хозяин.

— Как не помнишь? Вся шахта помнит. Приехал как-то к нам на «Крутую Марию» большой человек, — обратился Макар Васильевич уже прямо к мальчикам. — Ну, и с места в карьер — в шахту.

— А, вот ты про что! — покрутил головою Прокоп Максимович и усмехнулся.

— Да-а... И как раз к Прокопу в забой. Ну, в шахте не видно, какой человек, тем более он в спецовке, но слух-то уж по всем лавам прошел, у нас это быстро! Да и сразу видать — не здешний человек, большой. Ты ведь знал это, доподлинно знал? — спросил он хозяина.

— Ну, знал! Что ж с того! — засмеялся тот.

— Ну, вот! Сидят они, значит, в забое, беседуют. То да се, да как добыча, да почему механизации мало. Ну, так часа полтора побеседовали. Стали прощаться, а Прокоп и скажи: «Вот, говорит, товарищ, мы с вами полтора часа пробеседовали, а я тем временем угля-то не рубал. Так как же мне теперь с нормой? Я свою норму отродясь выполняю». — «А я, — говорит большой человек и смеется, — я скажу, чтоб учли, что беседовали

мы».— «А вы,— говорит Прокоп,— кто будете?» — «А я, говорит, буду народный комиссар». И фамилию называет. «А! — спокойненько говорит наш Прокоп.— Очень приятно! А я буду забойщик Лесняк Прокоп Максимович. Будем знакомы!» — и ручку ему. Так друг дружке руки-то пожали, будто большими приятелями сделались...

Все засмеялись.

— А что ж! — подхватил Прокоп Максимович.— У него своя служба, у меня своя. Он большой человек, да и я не маленький! Я уголь даю!

— Вот, видали! — всплеснул руками Макар Васильевич и засмеялся.— Он и Вячеславу Михайловичу тоже сразу же: мы, говорит, с вами старые друзья!

— Э, нет! — горячо возразил хозяин и даже взволновался.— Это вы, папаша, зря! Не мог я такого сказать. Я себя помню. А что знакомы мы давно, это я Вячеславу Михайловичу доподлинно сказал, не отрицаю. Знакомы ведь, Иван? — обратился он к своему молчаливому брату.

— Знакомы! — коротко подтвердил тот.

— Это в двадцатом году было, так, что ли?

— В двадцатом. Осенью.

— Да, верно! Мы, видишь ли,— неожиданно мирно обратился он к Виктору,— как раз с Иваном с фронта пришли. Да... А шахта стоит затопленная, и никто качать не разрешает: нет на это средств — и все! Мы и туда, и сюда, и в Совнарком, и в Цепекапе [1],— мы его цоб-цобе называли, для легкости,— усмехнулся он.— Нигде нам согласия нет. Вот и придумали мы с меньшим братом, с Иваном, податься в губком партии. Так я рассказываю, Иван?

— Так...

— Вот заявляемся мы в губком. Спрашиваем секретаря. И выходит к нам... Ну? — вдруг весело посмотрел он на ребят.— Ну, кто тогда был секретарем губкома партии? А? Не знаете?

— Не знаем...— смутился Андрей.

— Вот. Не знаете вы, ребята, истории большевистской партии, хоть и комсомольцы... Это нехорошо! —

[1] Центральное правление каменноугольной промышленности.

покачал он головой.— Однако выходит к нам человек роста среднего, сложения крепкого, крутого. Молотов Вячеслав Михайлович. Так я рассказываю, Иван?

— Так...

— Вот про эту встречу я и припомнил Вячеславу Михайловичу, когда он у нас в гостях был,— засмеялся Прокоп Максимович.— Говорю: «А мы ведь шахту-то откачали тогда, Вячеслав Михайлович, с вашей-то помощью!» А он мне: «Откачали, говорит, это хорошо. А теперь ее омолодить придется».— «Как, говорю, старух-то омоложать? Не слыхали про это. Да она и так, не сомневайтесь, говорю, проскрипит еще, даст уголек-то!» — «А нам, говорит, этого угля мало. Нам надо, чтобы она вдвое больше давала. Сможет?» — «Нет, говорю, не сможет старуха».— «А надо! Нам теперь много угля требуется, мы большую стройку затеяли». Вот и загадал он мне загадку-то, а?

— Он и отгадку дал! — внушительно сказал Прохор.

— Да. Дал и отгадку. «Вы, спрашивает, чем уголь рубаете? Обушком?» — «Обушком, чем же его еще брать?» — «Отсталая ваша техника,— говорит.— Надо машиной уголь рубать или отбойным молотком. С обушковым Донбассом, говорит, пора уже кончать. Реконструировать надо шахты и новые строить». Да-а, большие он тогда перед нами горизонты-то раскрыл!..

— А Афанасий Петрович говорит,— нерешительно вставил Андрей,— машина в шахте не пойдет.

— Это какой же Афанасий Петрович? — нахмурил брови мастер.— А! Десятник ваш! Так он же баптист! Баптист, как же! — расхохотался он.— В штунду ходит. Он и ко мне, в семнадцатом году, когда мы на тридцатом номере революцию делали, тоже с советом пришел. «Не насильничай, говорит, Прокоп! Не твори насилия, побойся бога!» А я ему отвечаю: «Я не то что бога, я и господина пристава Каюду не боюсь, вчера его под арест взял!» — Все захохотали.— Нет, вы его по этому делу, ребятки, не слушайте! Он старых взглядов человек, у него глаза на затылке, назад смотрят.

— А механизацию надо начинать с откатки! — неожиданно сказала Светик.

Все обернулись на нее, но она не смутилась,— видно, привыкла быть в семье баловнем и общей любимицей.

— Это кто же там высказывается? — усмехнулся хозяин.— Голос слышу, а от стола не видать.

— Это я высказываюсь, папа,— смело сказала Даша.— Я про откатку...

— А вот я давно до тебя добираюсь — не доберусь! — сказал отец, стараясь спрятать усмешку в усы.—Тебе кто позволил опять в шахту пойти?

— Я сама...

— Ну погоди, коза, вот гости уйдут! Видали экземпляр?— развел он руками.— Люди скажут: вот старый Прокоп дочку не может прокормить да выучить, в шахту ее погнал. А кто ее гонит-то!.. Чтоб я тебя больше в шахте не видел, слышь ты! — уже строго прикрикнул он на дочь.

— Так я семилетку кончила. Куда ж мне теперь? В контору, что ли? — презрительно тряхнула она кудряшками.— Вот еще!

— В техникум иди! На курсы! Дальше учись, пока я жив. Вот и этот,— сердито кивнул он на сына,— футболист! Тоже на учебу не погонишь. И что это за молодежь растет! — горестно воскликнул он.— Да кабы мне в их годы сказали только: учись, Прокоп! Так я б, боже ж ты мой!..

— Я, папа, давно у вас в летную школу прошусь! — с упреком сказал сын.— Вот при всех скажу!..— и голос его задрожал.

— В летную! — раздраженно воскликнул отец.— Летунов и без тебя много в Донбассе: летают с шахты на шахту, как саранча. А инженеров — не видать! А нам инженеры нужны! —горячо сказал он.—На Казимире-то Савельиче далеко не уедешь!

— Да уж... Казимир Савельич!— засмеялся Макар Васильевич.

— Казимир Савельич — это тип! — объявил Прохор.— Я и то думаю, уж не шахтинец ли он? А? Скрывшийся?

— Вот!— укоризненно сказал сыну Прокоп Максимович.— Слышишь? А откудова ж новые инженеры возьмутся, когда у наших детей — ветер в голове, учиться не хотят?

— Казимир Савельич — старого закала инженер! —

хихикая, сказал Макар Васильевич.— Беспокоиться он не любит.

— Он и то жалуется, что в шахту часто ездить приходится,— сказал Прохор.— Раньше-то, говорит, главный раз в месяц в шахту ездил, а то и раз в три месяца, и ничего, говорит, работали!

— Не лю-убит! — засмеялся Макар Васильевич.

— А нам такие нужны, чтобы шахту любили! — крикнул хозяин и даже ладонью по столу ударил.— Чтоб болели за шахту. Свои нужны, нашей кости... не барчуки...

— Легкое слово сказал: свои! — воскликнул Макар Васильевич.— Инженер — не гриб, от одного дождя не вырастет!

— А я про что же? Вот пускай и учится молодежь. Возможность есть. А как выучится, Казимиров-то Савельичей — в сторону, пусть не путаются...

— Да и заведующего заодно,— буркнул Иван.

— Да, заведующий у нас не того, не вышел! — согласился Макар Васильевич.— Шуму от него, верно, много, а толку...— он махнул рукой.

— Необразованный! — кратко сказал Иван.

— И откуда взялся только? — удивился Прохор.— Он, говорят, и не шахтер.

— А ты, Прокоп, Егора Трофимова-то помнишь? — вдруг, улыбаясь, спросил Макар Васильевич.

— Как же, как же!

И все старики вдруг заулыбались тепло и радостно, улыбнулась и Евдокия Петровна. Видно, дорог был им этот человек, если даже воспоминание о нем почтили они тихой и светлой минутой задумчивого молчания. А может быть, просто вздохнули о молодости?

— Это кто же был такой? — робко спросил Андрей.

— Егор-то? — засмеялся хозяин.— Э, брат, о нем сразу и не расскажешь! Да и что про Егора всухую? — вдруг весело вскричал он.— Выпьем за него, что ли?

— Дай ему бог здоровья и многие годы!..— сказал, подымая свою рюмку, Макар Васильевич.— Он ведь тоже, как и мы, грешные, не любил выпить. Живой он еще?

— А что ему делается! Он всех переживет! Большой сейчас человек по углю.

— А чудак! — засмеялся Макар Васильевич.— Помню, объявился он в двадцать первом году на шахте и сейчас же шахтеров собрал. «Ну вот, говорит, барбосы, я теперь ваш красный директор шахты». Ну, все смеются, конечно. Чудно! Егорку-то все знали. Наш. Здешний.

— По первоначалу некоторым действительно в удивление было: свой шахтер — и вдруг директор! А тут как раз Егор себе выезд завел. Вы фаэтон-то его помните, папаша?

— Как же! — захохотал тот.— Пара вороных. И кучер с бородою.

— Да-а! — заблестев глазами, продолжал Прокоп Максимович.— Ну, шахтеры и говорят: забурел наш Егорка. Совсем буржуй стал. Дошло и до него. «Ладно,—говорит он,— покажу я вам фаэтон!» А тогда такой порядок был: деньги для получки в городе получали, а ехать за ними обязательно должен был сам директор с кассиром. Вот пришло время получки, берет Егор Трофимович кассира,— старичок у нас был кассир, вскоре помер,— да и отправляется с ним в город... пешком. Да, пешком! — воскликнул он и засмеялся.— Ну, день проходит, второй. Ни Егора, ни получки. Стали наведываться в контору шахтеры. «Где Егор?» — «В город пошел».— «Как пошел? У него фаэтон есть».— «Нет, не знаю,— говорит бухгалтер,— пешком с кассиром пошли».— Прокоп Максимович сделал паузу, как опытный рассказчик.— Две недели он так-то ходил, все его ждали!—с эффектом сказал он.—Нашел себе в городе дело, не иначе! Наконец, является. Ну, все к нему. «Ты что же так долго, Егор?» — «А не ближний свет, отвечает, пешком — двадцать верст».— «Да ты б на фаэтоне поехал!» — «Нет, говорит, ну его с фаэтоном-то! Еще забуреешь. Я, говорит, теперь всегда пешком буду». Ну, тут уж все взмолились: «Да мы тебе, говорят, черт, сложимся, аэроплан купим, только не томи ты нас!» — «А! — говорит.— Поняли, зачем директору фаэтон нужен?!»

Все расхохотались.

— Чудак был! — нежно повторил Макар Васильевич.— А простой, свойский. Уж он со всяким шахтером и водку выпьет и в кумовья пойдет. А на работе —

не-ет, на работе он волк. Боялись его. Да и то сказать — шахту он знал так, как другой инженер не знает.

— А как бастовали-то, помнишь? — вдруг сказал Иван. Видно, воспоминания разворошили и его. Он словно оттаял.

— А-а! — засмеялся Прокоп Максимович.— Было и это. Как же! Забастовали, догадались. Вы, ребята,— неожиданно обратился он к Андрею,— небось и забастовки-то никогда не видели?

— Нет... где же?

— Да. И не увидите теперь! Разве что за границей! А мы до семнадцатого бастовали часто. Как же! Да-а... А тут, в двадцать втором, наши забастовать догадались. При своей-то власти! Уж не помню, чего требовали. Конечно, трудно тогда было. Разруха. А ни хлеба, а ни картошки... Вот и забастовали. Собрались у конторы, сидят, на солнышке греются, а в шахту не идут. И коноводом у них — Кваша, вредный такой был старик! Ну, мы, значит, всей ячейкой пришли к ним: объясняем, уговариваем, срамим. Ничего не действует! Да и сами-то мы, по тем порам, малограмотными были. Больше на совесть напирали. А Егора Трофимовича нет! Он в городе по делам. Вот беда какая.

Он посмотрел на ребят, потом усмехнулся.

— Наконец, приехал Егор. Докладывают ему: так и так, мол,— забастовка. «Ладно! — говорит.— Я сейчас сам к ним приду!» Ну, выходят, значит, ребята к забастовщикам, объявляют: не расходитесь, мол, подождите, сейчас с вами разговор будет. «А что,— спрашивает Кваша,— Егор, что ль, приехал?» — «Приехал. Сейчас сам придет». Постоял-постоял Кваша, в затылке почесал, потом говорит своим: «А ну, давай-ка лучше в шахту, ребята! Егор приехал. Что с ним, с чертом, связываться!» Ну, Егор Трофимович на крыльцо вышел, а забастовщиков нет. Все уж в шахте работают!

— Боялись его! — сказал Макар Васильевич.— Не власти его боялись, а личности. И языка тоже! Ух, и язык был — нож! А сам он, сам — никого не боялся.

— А меня боялся! — сказала вдруг Евдокия Петровна.

— Да-а! — удивленно подтвердил, подумав, Макар Васильевич.— Ее, верно, боялся.

— И сейчас боится! — прибавила Евдокия Петровна и засмеялась.

Андрей посмотрел на нее с уважением и некоторой робостью: он ее уже тоже боялся. Боялся, а чувствовал: случись беда, горе, к ней надо идти за советом, будто в ней одной — вся мудрость житейская и вся правда шахтерская; она худое не присоветует.

Она сидела за этим столом, как патриарх, прямая, молчаливая, строгая; ей семьдесят пять лет; самой старой донецкой шахте меньше. Она пришла с отцом сюда в степь, когда тут ничего не было, волки бегали. Сколько же всякого — и красивого, и худого, а больше всего горького и страшного — видели ее мудрые, приметливые глаза?

Вот сидит она сейчас за этим столом, строгая, но ласковая, гордая своими детьми и внуками. Слушает ли она, о чем дети шумят? Или о своем думает? О чем?

Ему захотелось вдруг встать перед ней на колени, тихо попросить: благословите, бабушка, на шахтерскую жизнь! Теперь твердо знал он, что шахтером станет.

Он и сам не понял, как это вышло и откуда отвага в нем явилась, что он действительно встал — не на колени, правда, а во весь рост, когда все сидели,— и сказал дрожащим от волнения, не своим голосом:

— Я... я... сказать хочу...

И только когда вдруг все стихли и с любопытством уставились на него, понял он, что́ произошло, и растерялся, забыл, что хотел сказать и зачем поднялся.

— Говори, говори! — весело закричал ему хозяин.
— Что же ты? Говори!

А он стоял как потерянный и не знал, что сказать, что сделать.

Все невольно засмеялись, глядя на его смущенное, красное от испуга лицо, и только она одна, бабушка, не улыбалась даже. А смотрела на него покойно и ласково, будто говорила: что же ты, мы все поймем,— скажи!

И он выдавил из себя слова, не те, разумеется, что так задушевно пели в нем, а совсем другие — жалкие и беспомощные, не умеющие выразить то, что он сейчас чувствовал.

— Я о бабушке... то есть об Евдокии Петровне... Чтоб все выпили за нее... то есть за ее здоровье...

— Ура-а! — зычно закричал хозяин и вдруг встал, подбежал к Андрею, схватил его в свои богатырские лапы и расцеловал.— Молодец! — горячо дыша в самое ухо Андрея, прошептал он.— Дорого ты сказал! Дорого! — Потом, все еще держа юношу за плечи, он повернулся к старухе и крикнул: — Так берем, мама, этого шахтарчонка во внуки?

Все захлопали, закричали; мужчины с рюмками в руках пошли к Евдокии Петровне — чокнуться.

— Семеро нас, мамо, осталось от отца,— сказал Иван.— Всех вы, мамо, выкормили, людьми сделали. Низкий поклон вам!

— Спасибо, спасибо вам, детки! — отвечала смущенная и растерянная старуха.— И я с вами до хороших дней дожила. И тебе спасибо, Андрюшенька! Первый раз вижу тебя, а — родной. Спасибо тебе! И всем добрым людям — спасибо! — Она поклонилась.— Не забываете старуху, мне это лестно. Вот теперь заплакать бы,— сказала она совсем неожиданно,— да беда: плакать я не выучилась. Али заплакать, что ль, Настя? — крикнула она невестке.

— Так ведь в радости вроде не плачут, мама! — смеясь, ответила та.

— Ну, а с горя я и сроду не плакала!

После обеда хозяин сам пошел провожать ребят. С Андреем он был особенно ласков, но и на Виктора уже не хмурился, был приветлив и с ним.

— Вы заходите ко мне, ребятки,— говорил он, идя с ними по двору.— Как вздумается, так и заходите! Эк, денек хорош! — прищурился он на солнце.— Последний. Осенью у нас —нехорошо. Дожди замучат.

Он подошел с ними к калитке и остановился.

— Хорошая у вас улица, зеленая...— сказал Андрей.— Липы какие!

— Сами садили,— ответил мастер.— Нам ведь здесь — жить! Вон-он там, где плетень, видите — там тесть мой живет. Вы как раз под его огородом и работаете...

— То есть как? — не понял Андрей.

— А так! Наша лава как раз так и проходит... под

его огородом. А вон туда — пласт «Мазурка» пойдет. А коренной штрек — тут вот...— Он чертил рукою в воздухе, и Андрей изумленно следил за его пальцем, словно то была волшебная палочка: перед нею недра распахивались.— Да-а! А как бы вы думали? Двухэтажный у шахтера дом... Хоромы! Значит, там внизу я работаю, рабочий кабинет там мой, а тут — отдыхаю, водку с друзьями пью.— Он засмеялся.— Ну, заходите! Дорогу теперь знаете. А Дашку я на цепь прикую. Так что без опаски заходите! — и он протянул приятелям руки.

— Вы меня простите, Прокоп Максимович! — вдруг сказал Виктор: он все время хотел это сказать и волновался.— Я тогда за столом глупость сказал, обидел вас... вы простите. Я как дурак...

— Да нет, нет, что ты! — сердечно перебил его забойщик.—Я уж и забыл!

— А я не забуду... я теперь — никогда...

Андрей удивленно взглянул на друга; в первый раз слышал он, чтобы Виктор сам винился; но он ничего не сказал.

Они простились с Прокопом Максимовичем и пошли домой. Некоторое время шли молча.

— Ты хорошо сказал... про бабушку...— вдруг тихо произнес Виктор.— А я свинья!

— Что ты, что ты, Витя!

— Нет, ты молчи. Я сам знаю. Свинья.— И он мрачно пошел вперед, уже не глядя в сторону товарища.

10

«Шахтер, дай до́бычь!» — такой плакат висел теперь напротив койки Виктора. Просыпаясь, он замечал его раньше, чем свет в окне. Знакомые слова сами бросались в глаза. Они гудели в его ушах, как и будивший его гудок «Крутой Марии». Иногда они даже снились. Он вставал. Так начинался день.

Торопясь, шел он знакомой дорогой на шахту. На стенах домов, на заборах висели такие же плакаты. «Шахтер, страна ждет от тебя угля!» — кричала надпись на проходных воротах.

«Как до́бычь?» — спрашивал он, встречая у клети

ребят из ночной смены. «Как до́бычь?» — спрашивали его самого, когда он подымался на-гора́. «Как до́бычь?» — этим жила вся шахта. Об этом справлялись из горкома; об этом звонили из центра; о до́быче кричали каждое утро газеты. Шахтерские жены обсуждали вчерашнюю до́бычу в очередях у водоразборных колонок.

В те дни, когда шахта выполняла план, высоко над копром зажигалась маленькая алая звездочка. Это был праздник. И отставной шахтер дядя Онисим приказывал чисто вымыть полы в общежитии и позволял себе четвертинку. Но такие дни выпадали редко, совсем редко — шахта была в прорыве. «Прорыв» — это слово стало таким же ходким, как и «до́бычь». Увы, они шли в паре, как заморенные клячи.

— Мы задолжали стране огромное количество угля! — с горьким стыдом восклицал на собраниях Прокоп Максимович.— А? Красиво это? И кому задолжали? Стране! И сколько? Восемнадцать тысяч тонн! А я сроду гривенника никому должен не был, вот пусть соседи скажут!..

Только один человек на шахте не признавал прорыва и вслух об этом говорил — главный инженер Казимир Савельевич.

— Откуда прорыв? — брезгливо морщил он свой оседланный золотым пенсне нос.— Работаем, как всегда работали. Ни завалов нет, ни нарушения кровли, ни иных происшествий чрезвычайного характера.

— Но план, Казимир Савельевич, план-то!..

— Значит, в бумаге у вас прорыв,— сердито отвечал он.— Прорыв вашего бумажного плана. Зачем же вы такие планы сочиняете, которые выполнить невозможно? — ехидно спрашивал он.

У него были последователи, сторонники тайные и явные; сам бритоголовый заведующий шахтой в глубине души был с ним, хоть и кричал на собраниях, брызгаясь слюной: «Костьми ляжем, а план выполним!» И уже кипела на шахте яростная война защитников плана с его противниками.

Война бушевала и на соседних шахтах, и во всем Донбассе, во всей стране,— в городе и в деревне,— война нового с косным, старым. Разбитое в деревне кулачье

появилось теперь на шахтах: Свиридов был еще самым тихим из них. Они пришли сюда не зализывать раны, а драться снова: пустынные штреки шахты казались им подходящим полем боя. Враждебно косились они на все; в каждом механизме уже видели врага; это был тот же трактор, который выкорчевал их из милых, лампадным маслом пропахших гнезд. И они ломали машины; тупо, злобно и в одиночку, друг друга боясь, вредили; сеяли вздорные слухи. Обреченные на смерть, они только огрызались да кусались, и иногда — больно; остановить наступление нового они уже не могли.

А между обоими лагерями, путаясь и мешаясь, слонялся по Донбассу всякий случайный, пестрый, разнообразный люд. Были тут и кулаки, и рабочие, и профессиональные «летуны», босяки; и крестьяне, мечтающие найти такую шахту, где уголь — помягче, а заработки — побольше; и воры, бежавшие из мест заключения, даже монахи из закрывшихся за оскудением монастырей. Были тут и совсем темные личности, непонятные, безликие; эти не любили расспросов, зато сами расспрашивали много.

Весь этот стихийный, произвольный и многотысячный поток заливал шахты, лихорадил их, превращал в проходной двор. Неожиданно приходили люди, неожиданно, никому не сказав ни слова, уходили; и начальник участка никогда не знал, сколько у него сегодня шахтеров пойдет в «упряжку». Эти люди приносили на шахту и нравы постоялого двора: им ничто здесь не было дорого, они ни за что не отвечали, ничего не любили. Они слонялись по руднику, пили, буянили, дрались ножами, играли «в три листика» на базаре, торговали полученной вчера спецовкой и одеялами из шахтерского общежития, потом вдруг «снимались» с места и перекочевывали на другую шахту, чтобы и там пить, скандалить в общежитии и торговать ворованным.

Под землей они работали неохотно и плохо, зато давали прекрасную возможность заведующему шахтой восклицать на собраниях:

— Чего ж вы хотите, товарищи! Текучка, проходной двор, настоящих кадров мало! — и, потирая бритую лысину, сокрушаться: — Эх, кабы кадры, кадры нам!

Оттого-то так любовно и радостно встретили кадро-

вые шахтеры мобилизованных комсомольцев; в них чаяли найти не смену, а подмогу; надеялись, что они омолодят Донбасс, внесут в борьбу комсомольский задор, революционный пыл молодости. Большие надежды были на комсомольцев у таких «стариков», как Прокоп Максимович,— было бы стыдно эти надежды не оправдать!

Это отлично чувствовал Федор Светличный, оттого так и «болел душою». Каждый бежавший с шахты комсомолец был не просто дезертиром: он становился изменником, перебежавшим в лагерь врага. Каждый плохо работающий в забое парень был уже не просто лодырем, он становился предателем, подводившим всех. Сотни глаз — и дружеских и вражьих — следили теперь за комсомольцами.

— Мы на линии огня, ребята! — твердил каждый день Светличный своим товарищам.— В наступление пошла наша партия! — И он рассказывал о том, что происходит в стране.

Андрей особенно ревностно слушал Светличного. Впервые в жизни почувствовал себя Андрей в строю — в большом и общем строю. От Белого моря до Черного пошли в наступление цепи; он был в одной из них. Его место — забой, обушок — оружие. Ученичество кончилось для него и для Виктора и неожиданно и слишком рано: шахта нуждалась в забойщиках. Оба приятеля получили в самостоятельное владение уступы, каждому из них ежедневно давали задание на наряде. В общем плане шахты их доля была мизерно малой, но Андрей и этим гордился.

— Ты знаешь, какой план дали шахте? — говорил он приятелю.— Ох, большой план! Прокоп Максимович говорит: трудно нам будет этот план поднять с нашими порядками...

Но Виктор не знал нового плана шахты. Его и не интересовал этот план. Его ничто сейчас не занимало, только — собственная норма, только то, что он сам должен дать.

Его мир как-то странно сузился. В сущности, всем его миром теперь был один его уступ. В этом мире он жил, работал, думал. Это был крохотный мир — один аршин в высоту, один уступ в длину, но даже и этот

мирок он не мог победить, он, мечтавший когда-то завоевать целый мир!

После того памятного воскресенья у Прокопа Максимовича Виктор сказал себе: я должен стать шахтером! Нравится, не нравится — должен! Не бежать же с шахты в самом деле!

Сперва он горячо взялся за дело. Он был еще учеником тогда. Стал прислушиваться к учителю; сбил в кровь руки, пытаясь овладеть обушком.

Но уголь упорно не давался ему, и он отстал. Теперь ему приходилось убеждать себя работать.

— Это необходимо, необходимо, необходимо! — твердил он себе. Необходимо трудиться. Без труда все равно нельзя жить, невозможно. Конечно, он мог бы работать на Магнитке, или в Сталинграде на Тракторном, или даже плавать на китобойце в Охотском море... Но так вышло, что попал он в шахту. Пусть! Значит, надо трудиться в шахте.— Надо рубать уголь, будь он проклят! Надо, надо, надо! — говорил он себе. И рубал... Рубал, скорчившись, обливаясь потом, задыхаясь от терпкой угольной пыли и чуть не плача... Рубал, а все не мог вырубить норму.

Все мечты его свелись теперь к одному: вырубить сменную норму. Митя Закорко легко вырубал две.

Имя Мити Закорко сейчас гремело на шахте. Это был тот самый Митя-футболист, первый учитель Виктора, с которым он сразу не поладил. Сейчас Митя имел право посмеиваться над Виктором. Вчера он вполз к нему в уступ и сказал насмешливо:

— Эй, Виктор! Я две нормы сделал, могу взять тебя на буксир. Подмогну, а?

Но Виктор и не гнался за Митиными рекордами, он уж о славе и не думал. Ему бы только вырубить норму в смену и потом прийти в общежитие и швырнуть Светличному в лицо, прямо в лицо:

— Я норму сделал. Ну?

Он знал, что Светличный и не заметит дерзкого тона, а радостно вскрикнет:

— Молодец! — и схватит за плечи.— А не врешь?

Но он ни разу еще не вырубил норму...

Он приходил домой усталый и сразу валился на койку. Вокруг него шумели ребята — собирались в

клуб, в кино; он лежал и тупо смотрел в потолок. Даже с Андреем он разговаривал теперь неохотно.

Андрей тоже пока норму не выполнял. Он трудился усердно, шахта полюбилась ему — ее мудрая тишина и задумчивое одиночество забоя,— он нашел уже радость в молчаливом, не видном людям труде шахтера, но он был медлителен, неповоротлив, неуклюж; он никак не мог управиться с нормой.

Он и сам не замечал, куда убегает время; оно словно между пальцев у него текло. Он научился у Антипова обстоятельности и аккуратности в работе; сноровку мастера он перенять не успел.

Андрей и по природе своей был тяжеловесен и не быстр, в школе его недаром прозвали «тюленем»; он ворочался в норе забоя медленно, туго, посапывая, как тюлень, только к концу упряжки удавалось ему разойтись и размяться, да поздно: нормы не было.

Пристыженный, понуро подымался он на-гора́. Он тоже страдал, как и Виктор, от своей неудачи, но по-своему. Винил он только себя. Какими глазами посмотрит он теперь на Прокопа Максимовича и Светличного? Но Прокоп Максимович еще утешит: ну что ж! Не сразу. Научишься! Светличный же ничего не прощал.

Он и не умел прощать. На все «не могу» и «невозможно» он отвечал кратко:

— А почему я могу?

Он никогда не требовал от людей того, чего не мог бы потребовать от самого себя. Но он никогда и не спрашивал с людей меньше, чем спросил бы с себя: словно все люди должны были мочь то, что он может!

Отчего Андрей так боялся Светличного? Светличный не был ни начальником, ни даже бригадиром. Но он был комсоргом, то есть больше чем властью — совестью.

Как собственная совесть, беспощадно спрашивал он Андрея: ну, как до́бычь? И Андрей молча, виновато опускал голову.

— Эх, ты! — презрительно махал рукой Светличный.— Только людей подводишь!

На это нечего было ответить. И он, и Виктор, и Мальченко, и Глеб Васильчиков, парень из Харькова,

действительно подводили всех,— всю комсомольскую лаву.

Комсомольская лава была детищем Светличного. Это он настоял на том, чтоб комсомольцам дали отдельную лаву — поле, где они смогли б показать себя, ни за чью спину не прячась. Поддержавший Светличного Стружников предложил, чтоб работали в этой лаве не только мобилизованные, а и местные комсомольцы. Это было разумно: среди местных комсомольцев были настоящие мастера. Так родилась комсомольская лава. Митя Закорко был ее гордостью. Виктор — ее позором.

Как бы ни «законуривался» в своем мирке Виктор, как бы ни сопел в забое Андрей,— они были видны всем: их дела были на доске соревнования у самого входа на шахту. Люди могли видеть: эти комсомольцы работают плохо.

— Позор! — хмурясь, вздыхал Стружников.— Хоть с шахты беги!

По вечерам Светличный «исповедовал» ребят. Он подсаживался на койку к Виктору и начинал донимать его:

— Тебе что мешает работать? Ты скажи! В чем причина?

— Отстань! — тихо просил Виктор.

— Не отстану, ишь нервный! Должна же быть причина! — допытывался Светличный.

— Отстань! Уйди!

— И что ты за человек — не пойму! Ты хоть то понимаешь, что по твоей милости мы и семидесяти процентов не выполняем?

— Тебе процент важен! — горько усмехался Виктор.— А человек?

— Да, процент! — спокойно отвечал Светличный.— Процент — он и есть показатель человека. Вот Митя Закорко, он две нормы дает. Он и выходит двухсотпроцентный парень, он трех таких, как ты, стоит. А ты какой — семидесятипроцентный, недоделанный? Эх, ты!— Он махал рукой и шел к Андрею, Васильчикову, Мальченко: «исповедовать» тех.

— Я по вашу душу пришел,— говорил он.— Ненавидите меня, а? Ну-ну! А вы другого комсорга изберите, подобрее.

— Нет, мы тобой довольны,— заискивающе отвечал Васильчиков.

— А я тобой — нет. Как норма?

— Так разве же я не хочу? Я б всей душой... Так если не могу я?..

— А почему я могу. Почему Осадчий может? Почему Очеретин может?

В самом деле, почему Очеретин может? Очеретин — это было особенно удивительно.

Сережка Очеретин был вертлявый, конопатый, скоморошьего типа парень; в нем все как-то непристойно подмигивало, не только глаза и лицо, а и плечи, и руки, и бедра. Такого на каждой деревенской вечерке встретишь, их призвание — потешать людей. Всерьез их никто не берет.

— Я, ребята, хулиган! — отрекомендовался он сразу же, еще в эшелоне. И, сияя, посмотрел на всех своими синими, лучистыми глазами. В те редкие минуты, когда он не подмигивал, оказывалось, что у него хорошие, чистые глаза цвета синего неба.

Но тут он опять подмигнул:

— Из-за меня, ребята, целый пленум два дня заседал,— хвастливо сказал он.— Да-а! Целых два дня! Чи меня исключать, чи куда на перевоспитание отдать. А потом догадались: сдали в шахтеры.

Всю дорогу он рассказывал о своих успехах на вечерницах, о том, сколько женских сердец разбил. Все видели: врет парень! Но он врал артистично, красиво и как-то очень добродушно, не требуя себе веры и не обижаясь, когда ему в глаза говорили, что он заврался.

— Ну и вру! — соглашался он.— А ты зачем же слушаешь? Значит, я хорошо вру. Я, может, писателем собираюсь стать. А? Что?

Все потешались над ним, а когда он уж очень надоедал своей болтовней, просто говорили ему: «Уйди, Сережка! Надоел!» И он уходил.

Всерьез его и тут никто не брал. Только Светличный озабоченно следил за ним: «Этот сбежит первый!»

Но он не сбежал, а как-то, даже раньше всех других, вошел в частную жизнь рудника, обзавелся приятелями, хвастался даже, что и девчат имеет знакомых. Дважды

приходил он в общежитие поздно и навеселе. Когда Светличный стал распекать его за это, он кротко все выслушал и вздохнул:

— Правильно объясняешь! Хулиган я. Так и наш секретарь выговаривал, бывало.— Потом с любопытством посмотрел на комсорга.— Теперь исключать будете, чи как?

Когда ребят распределяли по профессиям, на Очеретине споткнулись.

— Ну, а этого вертлявого куда? В коногоны или в лесогоны?

— В ветрогоны его,— сострил Мальченко.

Определили Очеретина в лесогоны, но через несколько дней он сам уже как-то перевелся в забойщики.

— В забое, ребяты, заработки лучше! — объяснил он, подмигивая.— Я как первую получку получу, кашне себе куплю. Шелковое, с кисточками. И калоши. Сроду я в калошах не ходил, интересно!

Ребят, убегавших с шахты, он искренне не мог понять.

— И куды бегут? В деревню! Вот новости! Так разве ж можно деревню с шахтой сравнить? На шахте ж культура! Кино каждый день, и в воскресенье футбол. От чудаки!

Разумеется, никто ему не поверил, когда он объявил однажды, что сегодня он норму вырубил.

Все засмеялись только.

— Ох, и здоров же ты врать, Сережка!

И он сам засмеялся. Подмигнул. А потом стал врать про свой роман с ламповщицей Настей.

— Ужасный роман получается, ребяты. У Настьки жених во флоте...

А норму он действительно выполнил. И на следующий день тоже. И на третий день опять. В комсомольскую лаву он пришел уже как надежный забойщик.

Теперь по вечерам в общежитии он хвастался тем, сколько заработал и что купит на эти деньги.

— Я, ребяты, себе костюм куплю, чистой шерсти, и туфли «Скороход». А Насте, так и быть, джемпер подарю, шелковый. Пусть пользуется...— Недавний батрачонок и сирота, отродясь целой десятки в руках не державший, он словно опьянел сейчас от возможности

покупать все, чего душа хочет; в своих мечтах он уже накупил больше, чем заработал.— А еще я гитару себе куплю или велосипед. Буду на шахту на своем велосипеде ездить, как буржуй... Красота, ребяты!

— Рвач ты, Сережка, вот ты кто! — зло сказал ему однажды Глеб Васильчиков, сам ни разу еще не выполнивший норму.

Очеретин опешил.

— Кто я? — спросил он, часто моргая своими белыми ресницами.

— Рвач ты. Душонка кулацкая,— повторил Васильчиков.

И Сережка, еще ни разу в своей жизни ни на кого не обидевшийся и привыкший ко всяким поносным словам, вдруг почувствовал себя оскорбленным.

— Отчего же я рвач, Светличный, а? — жалобно обратился он к комсоргу.— Ну, хулиган я, это да, не отрицаю. А зачем же рвач? Я ни у кого не ворую...

— Ты что про Сережку сказал? — тихо спросил Светличный Васильчикова, и брови его сдвинулись вдруг к переносице.

— Рвач он. Видишь — он за длинным рублем сюда приехал...

— А ты приехал зачем?

— Я? Я по сознанию...— важно ответил Глеб.

— Значит, ты сознательно свою норму не выполняешь? — спросил Светличный.

— Это... это ни при чем здесь...

— Нет, при чем. Грош цена твоему сознанию, когда за ним дела нет. Болтун ты... сознательный пустозвон, вот кто! А Сережка,— сказал он громко, чтобы все слышали,— Сережка — молодец! Он смело может всякому в глаза смотреть: за ним долга нет. Он свой уголь дает. А деньги он заработал честно.

— Честно, честно, вот именно!..— обрадовался Сережка и подмигнул, сразу развеселившись.

На другой день после этого разговора его имя впервые появилось на красной доске. Указал на это Очеретину Андрей, сам Сережка и не заметил бы.

— Вот, читай! — сказал Андрей без зависти.— С. И. Очеретин.

Сережка тупо посмотрел на доску и испугался.

— Это кто же С. И. Очеретин? Зачем? — спросил он растерянно.

— А это ты и есть.

— Чудно! — недоверчиво протянул он и еще раз прочел надпись.— А откуда ж они узнали, что я Иванович?

— В документах прочли. Ну, пойдем, похвастаешься в общежитии.

Но Очеретина теперь невозможно было оторвать от доски.

— Так это я и есть? — осклабился он и вдруг во все горло захохотал.— Правильно! С. И.! Как в аптеке! Постой! — испугался он.— А может, это ошибка? Не я? А? Как думаешь? Может, завтра сотрут?

— Если плохо станешь работать,— сотрут.

— Ну да... Конечно... А так... не имеют права стереть?

— Нет. Ну, идем же!

Они пошли, но Сережка еще долго оборачивался на доску.

Вечером ему торжественно вручили красную книжку. В общежитие пришел фотограф с магнием фотографировать ударников. Когда очередь дошла до Сережки, все ожидали, что он выкинет какую-нибудь штуку. Он действительно подмигнул ребятам и, вихляясь, сел в кресло, но тотчас же и растерялся. «Эта карточка на доске будет висеть! — вспомнил он и даже вспотел.— Это уж не шутки!» Таким он и получился на фотографии — растерянно-испуганным, с петушиным хохолком на лбу.

— Как фамилия? — спросил равнодушно фотограф.

— Сергей Иванович Очеретин,— чужим голосом ответил Сережка. Он был явно не в своей колее. Старая, скоморошья линия поведения была уже невозможна для С. И. Очеретина, новая линия не находилась.

Несколько дней он бродил как неприкаянный, потом пришел к Светличному.

— Я сегодня сто двадцать процентов дал,— сказал он угрюмо. И посмотрел на комсорга.

— Хорошо! Молодец! — обрадованно ответил тот.

— Да,— помялся Сережка.— А теперь что?..— спросил он.

— Теперь? — засмеялся Светличный.— Теперь — полтораста давай.

— Хорошо. Дам полтораста.

Он потоптался на месте, потом вздохнул.

— А имею я право Митю Закорко вызвать? — вдруг спросил он.

— Отчего же? Только он две нормы дает.

— Хорошо. Две дам.

Он опять потоптался, потом, не глядя на Светличного, сказал:

— А выпивать я теперь, значит, не имею права... поскольку ударник?

— Нет, отчего же! Если в меру — можно.

— А за это не вычеркнут?

— Если в меру — нет,— засмеялся комсорг.

— Ну-ну! — пробурчал Сережка и вдруг радостно, ото всей души расхохотался.— Чудно-о! Если в наш район про меня написать, не поверят, ну, ей-богу, не поверят! — Он хотел подмигнуть, как бывало, но это у него теперь не получилось.— Ну, до свидания пока! — солидно сказал он и вышел.

Светличный ласково посмотрел ему вслед.

— Ишь ты! — усмехнулся он и покрутил головой.

Весь этот день он был в празднично-радостном настроении. Вспоминал Сережку. Как он, хмыкая носом и топчась, выспрашивал себе новую цель: а теперь что? «Это в нем человек проснулся! И какой человек! Гордый, с чувством собственной силы и достоинства».

«Но это не я в нем разбудил! — честно признавался себе Светличный.— Я его и не приметил. Это шахта разбудила, труд. Как же мне теперь разбудить огонек в Викторе Абросимове, в Мальченко, в Васильчикове? Нет, плохо я работаю, плохо. Надо мне серьезно взяться за них».

И он «брался» за отстающих, стыдил, ставил Сережку в пример, «накачивал». Он и сам еще был молод и неопытен, он думал, что стоит «накачать» человека,— и он полетит, как воздушный шар. Сложная наука воспитания человеческого характера была еще неведома ему; он просто и не умел разбираться в душевных тонкостях и настроениях ребят.

Он злился, кричал на них, срамил на собраниях,— помочь им он еще и сам не умел. Особенно Виктору.

А Виктору надо было помочь. С ним было совсем плохо.

11

Однажды утром Виктора разбудило какое-то странное дребезжание — нет, жужжание — оконных стекол. Он проснулся, вскочил, прислушался. Стекла жужжали. Казалось, тысячи звонких пчел бились в окна, требуя, чтобы их впустили...

— А-а! — с тоской догадался Виктор.— Зовет уже! — И вдруг почувствовал, что сегодня он никак не сможет заставить себя встать и пойти на шахту. Да и не хочет!

Он опустил голову на подушку — подушка была добрая, родная,— но глаз не закрыл. Перед его койкой по-прежнему висел плакат: «Шахтер, дай до́бычь!» Как всегда, слова сразу же бросались на Виктора, едва только он неосторожно повел головой. Сейчас эти слова были неприятны ему. Особенно второе, требовательное: дай!

— А я не хочу! — сказал Виктор и, натянув одеяло на уши, шумно повернулся на левый бок.

Стекла продолжали дрожать и тренькать. Это только спросонья могло показаться парню, что они жужжат. Они просто звенели, сотрясаемые необыкновенным хором гудков, никогда еще не бывшим таким согласным и дружным, как в это утро. Обычно гудки возникали поодиночке, отставая друг от друга на пять, десять, даже пятнадцать минут. А сегодня они взревели все вдруг, разом, словно сговорились растормошить Виктора.

Он спрятал голову в подушку. Не хочу! Не хочу вставать!

Но над ним уже наклонялся Андрей.

— Эй, вставай, вставай, Витя. Вставай, братику! Пора! — говорил он, бережно, но настойчиво расталкивая товарища, казавшегося ему спящим.— Вставай! Слышишь — гудки...

Виктору пришлось приподняться.

— Что это они сегодня взбесились? — недовольно пробурчал он, еще не решив, что делать — притвориться ли больным, или сказать прямо и дерзко: не желаю больше! — У, черт, как воют! — поежился он и не встал.

— Та я думаю, что то просто к празднику часы везде поставили по радио,— вот гудки и заревели разом,— объяснил Андрей.— А ты вставай, вставай, Витя! — умоляюще прибавил он.— Ну, что же ты, ей-богу! Ну, нельзя ж!

«Да, да, завтра праздник, седьмое ноября,— вспомнил Виктор.— Как же я не подумал об этом? Придется, значит, вставать. Ничего не поделаешь».

Он нехотя отбросил одеяло и стал одеваться. Андрей торопил его:

— Быстрей, Витя, быстрей!

Виктор вяло подчинялся. Своей воли у него уже не было. Послушно потащился за товарищем в умывалку, в сушилку, в столовую...

Из столовой, как всегда, вышли гурьбой, во главе со Светличным, и гурьбой же пошли к шахте. Когда-то, в первые дни, Виктору нравилось и наблюдать и самому участвовать в этом торжественном утреннем шествии на работу. В этот ранний час никого, кроме шахтеров, нет на улицах поселка, как на поле боя нет никого, кроме воинов. Зато шахтеры — везде. Со всех сторон сходятся они к шахте. Гуськом, по бесчисленным тропинкам идут они через степь; спускаются с холмов, переходят балки, где в одиночку, где группками, кто — торопливым шагом, кто — даже бегом; но все это по-утреннему молча, даже как-то сурово, торжественно; громких голосов нет, разговоров и смеха не слышно, только изредка раздаются возгласы приветствий — как перекличка часовых в тумане... Чем ближе к поселку, тем все больше густеют шахтерские цепи; в светло-розовой дымке утра обушки кажутся Виктору боевыми секирами, огни лампочек — факелами, не раздутыми до поры... Что-то грозно-воинственное есть в этом движении черных людских толп через степь, может быть оттого, что все движутся в одном направлении, словно связанные общим тайным согласием, единой волей и одной целью. Здесь, как в армии, нет случайных, посторонних людей; есть незнакомые, но нет чужих; все

люди разные, но все шахтеры. Через час все это дружное войско будет уже рубиться под землей.

А пока оно властно захватывает улицы поселка. На всех перекрестках присоединяются к нему новые отряды вооруженных людей; из всех переулков, дворов и палисадников выходят и вливаются в молчаливый поток вооруженные люди, и у всех у них общее оружие — топор или обушок, и единая воинская форма — черный шахтерский «бархат».

Об одном только горевал тогда Виктор, что и сам он и его товарищи еще не выглядят настоящими шахтерами. Всякий сразу заметит это, только глянув на их новенькие, чистенькие спецовки, на их робкий, цыплячий вид...

Сейчас горевать было не о чем. Уже никто не отличил бы наших ребят от заправских шахтеров. Они чувствовали себя на руднике как дома. Они смело шагали по улице. Их спецовки давно уж не были ни новенькими, ни чистенькими, они повидали виды, от них крепко пахло углем и шахтой, как от шинели бывалого солдата пахнет порохом и окопом... Единственное, что выделяло ребят в общем молчаливом потоке,— это звонкая резвость их голосов.

Они шли по улице, весело болтая на ходу.

— А я умою сегодня Митю Закорко! — хвастался Сережка Очеретин.— Я его перекрою, вот плюньте мне в глаза, если совру...

— Да, это хорошо б, кабы удалось встретить праздник каким-нибудь рекордом! — отозвался Светличный.

— Меня, ребята, лес держит! — сказал Осадчий.— Черт его знает что у нас с лесом. Ты б на это обратил внимание, Светличный!

— Лес действительно не стандартный,— вставил Андрей и вздохнул.— Много времени зря уходит на подгонку...

Виктор не участвовал в разговоре. И не хотел и не мог. Что сказал бы он ребятам? Они говорили только о шахте, все время о шахте. Они уже ею жили. Она сделалась главным делом их жизни. Для них шахтерский труд стал уже радостью, для него еще был постылой необходимостью. Черт его знает отчего так неудачно вышло у него? Может, перевестись на другую шахту да там

попроситься в коногоны? Все-таки коногонить веселее, чем рубать уголь. А еще лучше — поступить бы в кавалерийскую школу. И на границу. Куда-нибудь далеко-далеко, на самый Дальний Восток. В тайгу. Ловить диверсантов.

Ему никто не мешал мечтать и строить любые воздушные замки. Ребята словно забыли о его существовании, хоть он и шел рядом. Даже Андрей, увлеченный беседой со Светличным, не трогал его. И когда Виктор остался, наконец, один в своем уступе, он был не более одинок, чем все утро на людях, на поверхности.

Он даже обрадовался этому одиночеству в первый раз в своей ребячьей жизни.

Работать ему не хотелось. Он, правда, заправил зубок, повертел обушок в руках, но тотчас же и отложил в сторону. Он еще успеет сбить руки в кровь. Все равно норму не вырубишь. А чуть больше половины или чуть меньше — какая разница!

Да, хорошо б в кавалерийскую школу!.. Или в дальнее-дальнее плавание. Плыть себе под парусами по всем морям и океанам и горюшка не знать. Он лег, подложил руки под голову и стал глядеть в кровлю. В ее матовом зеркале можно было, как на экране, увидеть все, о чем думаешь. Конечно, далекое плавание — это глупая детская мечта. Этого никогда не будет. И под парусами теперь никто не плавает. Но тайга — это возможно. Ну, пусть не пограничный отряд, пусть новостройка. Сейчас начато много строек в тайге... Говорят, в тайге, как и в шахте, нет неба. Его там из-за деревьев не видно. Но в тайге не так черно, как тут. Там все зелено, зелено, зелено... И хвоей пахнет... Кедр... Это та же сосна, но больше...

Незаметно он уснул. Но приснилась ему не тайга и не граница, а какая-то совсем необычайная, незнакомая жаркая страна с высоким-высоким небом. И в этом небе, одновременно похожем на голубой Псёл, все время беспечно кувыркался и плыл Виктор, размахивая руками, как крыльями. И не было ничего счастливее этого парения.

Его растолкал десятник.

— Ну вот, полюбуйтесь! — с отчаянием вскричал он.— Вот какие у нас ударники! Как хотите, това-

рищ Ворожцов, а никаких больше сил моих с ними нету!..

— Да-а...— хмуро сказал человек, которого десятник назвал Ворожцовым.— Добрые люди к празднику с достижениями идут. А у нас вот какое достижение!..— Он поднес свою лампочку прямо к носу Виктора и осветил его лицо.— Ты чей будешь? Кто? Как фамилия? — строго спросил он.

Но оглушенный Виктор ничего не смог ему ответить. Он сам еще не понимал, что с ним стряслось. Что тут произошло? Откуда взялись в его уступе эти двое? Кто они?

— Абросимов его фамилия! — сердито ответил за Виктора десятник.— Комсомолец.

— Комсомолец? — недоверчиво переспросил Ворожцов.— Совсем плохо. Сон на посту... да... За это, брат, в армии — расстрел.— Он опустил лампочку и коротко приказал: — Давай работай! Потом поговорим с тобой.

Виктор поспешно схватил обушок. Ворожцов некоторое время молча смотрел, как он неумело, но яростно рубает уголь, потом, ничего не сказав, покинул забой. Только по его уходе Виктор вспомнил, что Ворожцов — это новый секретарь шахтпарткома. Значит, вот кто нашел его спящим в уступе... Впрочем, теперь уже все равно — хуже, чем есть, не будет.

К концу смены, как всегда, приполз Андрей. Он работал в верхнем уступе.

— Ну, как дела, Виктор? — нетерпеливо спросил он.— Вырубил норму?

Виктор ничего не ответил.

— Неужели не вырубил? — ужаснулся Андрей.— Как же ты, брат, а? — Он с сочувствием посмотрел на товарища.— Ведь такой день завтра. А я вырубил! — На его лице появилась застенчивая и счастливая улыбка. Ему хотелось во всех подробностях рассказать о своей удаче. Но он понял, что сейчас это будет неприятно Виктору.

— Ну, ничего! — сказал он, желая утешить приятеля.— Ты только духом не падай! В следующий раз вырубишь. Знаешь, это вполне возможное дело... Только захотеть...

Но сочувствие товарища только разозлило Виктора. Не нуждается он ни в снисхождении, ни в утешении! Он с досадою закричал:

— Я б и сам вполне свободно вырубил норму. Ты не думай! Только я болен. Болен! Слышишь? У меня все нутро болит! — чуть не со слезами вскричал он.— Все болит! Тут я прилег немного... понимаешь? А Ворожцов подумал: сплю...

— Так что же ты... Что же ты утром молчал, Витя? — встревоженно воскликнул Андрей и, схватив лампочку, торопливо придвинулся поближе к товарищу.— Может, тебе и в шахту не надо было ехать? Плохо тебе сейчас, да? Плохо? — Он поднес лампочку к лицу совсем так, как недавно Ворожцов: лицо Виктора было красным.

— Ничего я не болен,— хрипло сказал Виктор.— Я просто спал в забое. Спал, как сукин сын.— Он схватил инструмент и, не глядя на Андрея, быстро пополз из лавы.

Окончательно сбитый с толку, Андрей пополз за ним. Он только одно понимал в эту минуту: приятелю плохо, очень плохо, а он не знает, чем ему помочь.

На рудничном дворе они встретили Светличного. Тот уже знал о том, что случилось с Виктором в забое.

— Опять ты отличился, Абросимов! — с досадой сказал он Виктору.— Ты что это, нарочно делаешь, что ли? Нет, ты скажи мне, что ты хочешь доказать? И кому?

— Да он болен, болен...— поспешно вмешался Андрей.— Федя, ты ж посмотри на него — он совсем больной.

— Болен? — недоверчиво спросил Светличный и внимательно посмотрел на Виктора.— Непохоже что-то... Ну, ладно! Успеем еще поговорить. А теперь — пошли получать зарплату. Может, с получкой и болезнь пройдет.

— Немного-то нам получать придется,— сконфуженно сказал Андрей.

— Как работали, так и получите.

Но, видно, совсем плохо работали оба приятеля, даже кассир удивился и насмешливо покрутил головой.

— Значит, здоровье свое бережете, молодой чело-

век? — сказал он, вручая Виктору деньги.— Ну-ну! Здоровье, конечно, всего важней.

Виктор смял бумажки в руке и ничего не ответил.

А как гордо мечтал он еще недавно о первых заработках! Твердо определил, что пошлет большую сумму матери в Чибиряки. «Вот, мол, мама, знайте, что сын ваш уже стал на ноги. Теперь не журитесь, мама!» Но, видно, долго еще придется маме ждать подарка от непутевого сына. Того, что заработали они с Андреем, и на еду не хватит. Как будут они жить до новой получки? Брать взаймы у богатых товарищей? Как странно переменились эти старые категории: богатый — бедный, Сережка Очеретин — богач, потому что хорошо работает, а Виктор Абросимов — бедняк, потому что спит в забое. И никто не должен жалеть его, бедняка. И бедностью этой нельзя гордиться. Постыдная бедность. Позорная бедность. Он сам сейчас стыдится ее.

Вечером в клубе состоялось рабочее собрание. Виктору пришлось пойти, на этом настоял неумолимый Светличный. Комсорг даже сел рядом с Виктором, словно боялся, что тот убежит. Но Виктору и бежать-то было некуда. Разве что провалиться сквозь землю. Он понимал, что не зря привел его на собрание Светличный. Значит, приуготовлено здесь, на собрании, что-то специально для него, для Виктора. Но что? Это не может быть ничем хорошим — хорошего Виктор не заслужил. Значит, что-то тяжко позорное, худое. И, видно, очень худое, если Светличный предполагал, что Виктор не вытерпит, сбежит. Но что, что это? И когда и как это будет?

Этого можно было ждать всякую минуту. С той самой поры, как поднялся на трибуну секретарь шахтпарткома Ворожцов, живой свидетель того, что случилось с Виктором в забое, Виктор уже покоя не знал. Он с трепетом слушал доклад секретаря и, замирая, ждал, что вот сейчас, через секунду, слетят с уст Ворожцова роковые слова и навсегда запятнают бедное имя Виктора Абросимова. Но Ворожцов имени Виктора не назвал.

Потом чествовали лучшую бригаду забойщиков — бригаду Прокопа Максимовича Лесняка, вручали ей красное знамя, и Виктор смотрел, как бережно и с достоинством принимал старый Лесняк знамя из рук

секретаря и потом нес знамя через весь зал, держа прямо перед собой вытянутыми руками, уважительно и нежно. И Виктор машинально хлопал и старику, и знамени, потому что хлопали все — весь зал.

Затем стали чествовать лучших ударников, и на сцену, среди других, вышли сконфуженный Осадчий, совершенно растерявшийся от счастья Сережка Очеретин и огненно-рыжий, чисто вымытый и приодевшийся Митя Закорко. И опять Виктор машинально хлопал вместе со всеми и глядел, как моргает белесыми ресницами Сережка и как развязно, без капли смущения, словно артист, кланяется народу Митя Закорко, прижимая левую руку к сердцу. И так велико было сейчас расстояние от сияющей вершины славы, на которой были и Митя, и Сережка, и Володя Осадчий, до дна пропасти, в которой барахтался сам Виктор, что он даже не посмел позавидовать товарищам. Они были недосягаемы. Виктор мог только хлопать им. И он хлопал. И при этом думал: «Ну, а когда же мой черед? И что это будет, что, что?»

Наконец, стихли аплодисменты, и Ворожцов сказал уже совсем другим, чужим голосом:

— Ну, а теперь воздадим по заслугам и тем, кто хуже всех работал! — И взял какой-то список со стола.

И сразу все переменилось в зале. Только что это собрание было таким добрым, таким благодушным, даже ласковым; люди так весело и добросердечно хлопали героям, смеялись от всей души. А сейчас собрание притихло и как бы нахмурилось, и Виктор понял, что это пришел его черед. Он торопливо облизал губы, горло пересохло.

Ворожцов назвал первое имя. Оно было незнакомо Виктору, но собранию известно.

Сразу раздались голоса:

— На сцену его! На сцену!

— Прогульщик известный!

— На сцену!

— Пусть перед людьми встанет!

— Пусть народу глаза покажет!

И, странное дело, прогульщик прошел на сцену. Спотыкаясь и пряча от всех глаза, шел он по проходу, красный, взъерошенный, сразу ставший жалконьким

и маленьким, шел под свист всего зала, под насмешливые хлопки и крики. Но все-таки шел! Если б приказал ему взойти на помост Ворожцов, если б этого потребовало начальство,— он стал бы протестовать и не подчинился бы ни за что. Но против собрания своих рабочих товарищей, против их приговора он пойти не посмел. Только руки сконфуженно и виновато протянул к ним, когда уже взошел на сцену: мол, пожалейте, братцы, не сильно срамите-то!

И вслед за ним пошли на помост все, кого называл Ворожцов: бракоделы, летуны, лодыри, прогульщики, «сборная команда чемпионов прорыва», как уж кто-то из зала окрестил их. Собрание всех их наказывало по-своему, по-рабочему: не штрафами, не взысканиями, а самым страшным, чем может наказывать трудящийся человек лодыря: презрением.

Наконец, пришел черед Виктора.

— Я не пойду! — глухо сказал он, когда услышал свое имя, и умоляюще посмотрел на Светличного.

— Надо идти,— печально ответил тот, и Виктор, сгорбясь, стал подыматься с места.

— Ничего, ничего! — дружески шепнул ему Светличный.— Иди. Ничего. Надо.

Виктор пошел. Светличный провожал его взглядом. Ему видна была только спина Виктора. Но и этого было достаточно. Светличный знал уже, что никогда не забудет этой спины. «А я ничем не помог ему! — вдруг впервые горько упрекнул он себя.— Только поносил, срамил, ругал. Ни разу я с ним по-человечески не поговорил. Ключа к его душе не нашел. Я в сущности не знаю даже, какой он парень. И вот он идет на помост... А я сижу — и спокойно гляжу на это. И никто меня, комсорга, за это не казнит. А он идет один... Все смотрят на него... Ну, подыми же голову, Витя! Подыми!» И когда взошел Виктор на помост, он уже был для Светличного самым дорогим, самым близким человеком на земле,— человеком, за которого надо бороться.

Но Виктор не знал этого. Он не видел ни Светличного, ни Андрея, вообще никого в отдельности из людей в зале. Он видел только: много глаз смотрят на него, и ему было страшно посмотреть в эти глаза. Страшно смотреть в глаза народу, когда ты виноват перед ним.

Он опустил голову. Но прямо перед ним, в первом ряду, сидела старуха в буденовке, и ее не увидеть он не мог. Она смотрела на Виктора в упор строгим, недобрым взглядом, словно пронизывала насквозь. «Отчего она так смотрит на меня? Что я ей сделал?» — испугался Виктор. А старуха все продолжала смотреть на него. И все в ней — от костлявых пальцев до острого шпиля буденовки — было колючим и непримиримым. Она не знала Виктора. Но она на каждого из «сборной команды» смотрела таким же взглядом. Для нее все они были на одно лицо — виновники позора «Крутой Марии». Зачем они пришли к ним на шахту, эти чужие люди без стыда и совести? Позорить нас? Им наше недорого. Они тут ни крови не проливали, ни слез, ни пота. Они за длинным рублем сюда приехали, а мы за «Крутую Марию» жизни не жалеем. Они вот спят в забоях, бессовестные люди,— а наши вечным сном успокоились в братской могиле у шахты. И мой Никифор среди них.

И старуха с горючей ненавистью смотрела на Виктора.

Ворожцов вызвал последнего из списка:

— Свиридов! — объявил он.— Известен вам такой человек?

— Знаем, знаем его! — раздались голоса.— Рвач!

— На сцену его!

— Да зачем этого на сцену? — с сомнением возразил чей-то хриплый, простуженный голос.— Этот все одно не застесняется. Стыда в нем нет.

— Все равно на сцену, на сцену!

И Виктор с ужасом увидел, что к нему на сцену идет Свиридов, тот самый Свиридов, который так обидно разыграл его и Андрея в лаве. Он был все в той же круглой потертой барашковой шапке, в сером воротнике, в ватных штанах, на его горле болтался пестрый мохнатый шарф, на ногах были валенки с калошами, словно Свиридову было очень холодно на этой земле, и он всего себя укутал войлоком и ватой. Но на сцену он шел действительно без всякого смущения, даже как-то весело, развязно, на ходу подмигивая знакомым, а взойдя на помост, приятельски подмигнул Виктору и даже игриво толкнул его локтем в бок. И это было последним

и самым страшным унижением Виктора в этот вечер. Итак, вот до чего он докатился: он был в одной сборной команде со Свиридовым, под одним флагом...

12

Ему и восемнадцати лет не было. В сущности он был еще очень желторотый молодой человек. То, что случилось с ним на шахте, было всего-навсего житейским испытанием, не больше, его ошибки были первыми ошибками юноши, критика на собрании — первой суровой критикой в его жизни. Просто жизнь оказалась сложнее, грубее и строже, чем об этом мечталось на розовом песке у Псла. И главное — требовательней. Она все могла дать молодому человеку в награду за его труд, а даром ничего не давала.

Но Виктору, со свойственной ему пылкостью и беспорядочностью воображения, все теперь представлялось в густочерном свете, как раньше в светло-розовом, он все преувеличивал и считал себя глубоко и непоправимо несчастным, чуть не конченным человеком в восемнадцать лет.

Ему казалось, что на шахте все сейчас только и думают, что о его позоре, что теперь всегда и везде будут встречать его со смехом и свистом, что он навеки заклеймен печатью «сборной команды», что даже ребята, и те уже брезгливо отвернулись от него, не хотят водить с ним компанию. Он забыл, что сам же первый убежал от них после собрания и нарочно пришел в общежитие, когда все уже спали. Только Андрей и Светличный тревожно ждали его. Но и от них он торопливо отделался пустыми словами, юркнул в постель.

А уснуть не мог. Он, видно, простудился в этот вечер, когда без цели и смысла бродил под дождем по поселку. Утром он не смог пойти на октябрьскую демонстрацию.

Он лежал один в пустынном общежитии и думал о своей судьбе.

Сквозь стекла струился тощий, осенний свет. Косо падал дождь над шахтой. За окном виднелся копер, звезда над ним не горела. Только тонкая ленточка бледно-желтого дыма развевалась над кочегаркой, как знамя.

Раньше Виктор всегда нетерпеливо ждал октябрьских дней. Заранее сговаривался с товарищами: всем выйти в юнгштурмовках. Это придавало мальчикам воинский вид. Туго затягивали они ремни и портупеи. Девчонок беспощадно гнали в хвост колонны. Мальчики сурово смыкали ряды. Тревожно бил барабан. «Марш!» — звонким, срывающимся, ликующим голосом кричал секретарь ячейки и вел ребят на площадь, как на баррикаду.

Их ячейка считалась самой голосистой в городе. Комсомолец-учитель, недавно приехавший из Москвы, научил ребят песням, никому в Чибиряках не известным. Они пели «Бандьера росса» по-итальянски и «Красный Веддинг» по-немецки и гордились, что знают эти песни. Все детство и юность Виктора прошли под знаком песен борьбы, подполья и баррикад. Эти песни учили его жить, чувствовать, думать. И он знал уже, что вся-то наша жизнь есть борьба, и чуял, как веют над ним вихри враждебные, и готов был стоять насмерть под натиском пьяных наемных солдат, и понимал, что иного нет у нас пути, в руках у нас — винтовка; а остановка, отдых, покой — только в Мировой Коммуне.

В этих песнях для Виктора был образно сформулирован весь кодекс чести коммунара; и доведись Виктору попасть под вражьи пули — он уж знал бы, как держаться: стоял бы, бровью не дрогнув, и умер бы с песней на устах.

Но среди всех песен, что легким горлом пели он и его товарищи на демонстрациях, и на собраниях в ожидании председательского звонка, и по вечерам в клубе, и ночью на тихих улицах Чибиряк,— ни одной песни не было о труде, о шахте, о пятилетке. Тогда еще не были сложены эти песни, а может быть, Виктор их просто не знал. И не было такой песни, что научила бы его тому, что сейчас делать.

Нет, он не мог пойти на демонстрацию рядом со Светличным, Очеретиным, Митей Закорко; нельзя ему идти, стыдно; и петь ему теперь нельзя; и на шахту он завтра не пойдет; и на рудничную улицу никогда больше не выйдет, не посмеет выйти...

Но и лежать он больше не может. Он встал, оделся,

подошел к окну. Дождь все падал и падал... Он, как коногонский кнут, хлестал рудничную улицу, и та вся съежилась под его ударами и почернела. Была похожа она сейчас на мрачный и узкий штрек старой шахты. Так же низко висела над ней кровля осеннего темного неба; так же хлюпала вода и ползла по стенам грязными подтеками; лежала на всем мокрая, липкая угольная пыль; и дождь был черный, и земля — черная; и голые, бурые тополя вдоль улицы казались не деревьями, а стойками органной крепи; и колеи были засыпаны черно-рыжей жужелицей, как подъездные пути; и не было ни ветра, ни запахов трав, ни дыхания степи, а только уголь и дым да едкий запашок серного колчедана с террикона...

«Даже дождь тут пахнет не дождем, а шахтой!» — тоскливо подумал Виктор и пошел к другому окну.

Но и в этом окне была шахта. Над нею нахохлился мокрый, хмурый копер, и на его вершине монотонно-медленно вертелось колесо подъемной машины.

«Никогда я не привыкну тут!» — мрачно подумал Виктор.— Только зря пропаду!»

Эх, если б можно было начать жизнь сначала! Сначала и на новом месте! Как бы замечательно работал он на новом месте! Все равно где, только бы далеко-далеко отсюда, там, где никто и никогда не узнает о его позоре, не напомнит, не усмехнется. Как бы он замечательно работал там! Он бы начал все сначала, ни одной ошибки бы не повторил, сперва скромно учился бы у мастеров, а потом и сам стал мастером. Только бы позволили ему начать все сначала и на новом месте. Он не знал еще, что жизнь не беговая дорожка стадиона, где после неудачного старта можно вернуться на линию и начать бег сызнова, по пистолетному сигналу. В жизни приходится стартовать именно с того места, где споткнулся или упал, если уж упал.

Он опять прилег на койку. Его знобило. Он натянул одеяло. «А на шахте я не могу больше, как хотите!» Без славы еще можно прожить,— как жить с худой славой?

Пришли ребята с демонстрации — мокрые, счастливые... Пустыня, в которой лежал дотоле Виктор, вдруг заселилась голосами, смехом, жизнью, беготней.

Подошел к койке Андрей, участливо посмотрел на друга.

— Ну как, легче?

— Нет.

У Виктора действительно началась лихорадка. В эту ночь он плохо спал; тревожно метался на горячей постели, рвал с себя одеяло, бредил... Смутно вспоминал он потом чью-то прохладную ладонь на лбу, обрывки видений, отзвуки голосов... Пьяный Шубин в шахтерке из рваной рогожи куда-то звал его, тащил и все подмигивал, как Очеретин: «Я, брат, бог, меня все боятся, со мной не пропадешь!»

— Надо доктора позвать! — вдруг услышал он над собой знакомый голос.

Он очнулся. Было утро. Вокруг койки собралась вся смена: ребята были уже в шахтерках.

— Мы сейчас к тебе доктора позовем! — повторил Светличный, и его голос прозвучал участливо, дружески.

Виктор увидел встревоженное лицо Андрея, испуганное — дяди Онисима; ему стало неловко, досадно, он вдруг рассердился: что они в самом деле! Я же еще не умер!

— Мне... доктора... не надо! — прохрипел он.— Не надо! — И приподнялся на локтях, злой и взъерошенный.

Светличный снова посмотрел на него, на этот раз долгим-долгим взглядом. Но ничего не сказал, молча отошел. Остался один Андрей. Он беспомощно топтался на месте, не зная, чем помочь другу.

— Отчего же ты не хочешь доктора, Витя, а? — умоляющим голосом спрашивал он.— Мы ж хорошего доктора найдем, не сомневайся!

— Мне... доктор не поможет...

— Як же не поможет? Он же доктор, учился этому...

— Отстань! — тихо попросил Виктор, и Андрей смолк.

Растерянно топтался он у койки, переступая с ноги на ногу,— топтуном его еще мать прозвала,— потом побежал куда-то, принес кувшин с водой, поставил на табуретку подле кровати Виктора.

— Может, тебе пить захочется...

Ему вдруг захотелось приласкать товарища,— никого на этой шахте не было для него дороже,— но он не знал, как это делается. Не целоваться же! В их давней и крепкой дружбе нежностей никогда не было. Они стыдились нежностей, они не девочки.

Между тем во второй раз, и уже настойчиво, сердито, гудел гудок «Крутой Марии», требовал Андрея в «упряжку». Андрей еще раз посмотрел на товарища и, словно извиняясь, сказал:

— Так я пойду, Витя, а?..— Он подождал ответа и, не дождавшись, убежал.

Виктор остался один. И обрадовался, что остался один. Присутствие ребят раздражало его. Они, правда, ни словом, ни взглядом не напоминали ему о том, что произошло. «Проявляли чуткость», словно сговорившись. Но их молчание было еще оскорбительней. Лучше бы уж ругали в открытую, как он сам себя ругает, только бы не молчали! И не прятали бы от него своих насмешливых или сочувственных глаз. Их все равно не спрячешь! С той минуты, как взошел Виктор на помост, глаза товарищей стали ему страшнее любых, пусть самых резких и беспощадных слов.

Неожиданно пришел врач, добрый разговорчивый старичок.

— А ну, покажитесь-ка, молодой человек, что тут у вас? — Он стал внимательно выслушивать больного.— Так, так, чудесно, хорошо!..— весело приговаривал он при этом.— А ну, дышите! — Виктор послушно исполнял все, что требовал доктор: высовывал язык, дышал и не дышал, а сам все время думал: «Был ли доктор на собрании? Знает ли? Отчего об этом молчит, не спрашивает? Или тоже проявляет чуткость?»

— Ну-с, ничего опасного! — объявил, наконец, доктор.— Грипп. Самый вульгарный грипп. Ничего более.— Потом шутливо похлопал больного по плечу.— Все-таки полежать придется денек-другой. Что? Не хочется? В ваши годы и я терпеть не мог лежать. Впрочем, и теперь не люблю! — Он выписал бюллетень, прописал лекарство и ушел. Эх, если б мог он прописать Виктору перемену климата!

Днем зашел дядя Онисим, комендант, зашел специально проведать больного.

— То ничего, ничего! Пройдет! — сказал он.— У меня у самого в каждом легком по вагонетке угля, а дышу! И хорошо, замечательно дышу. Это через то, что я углем дышу. Оно ж, як голубиное дыхание,— естество!..

Он хотел развеселить болящего, с тем и пришел. Стал рассказывать всякие басни про шахту. Ни про что другое он и не мог бы рассказывать, потому что ничего другого и не знал. Всю свою жизнь провел он под землей; на поверхности только отсыпался.

— Это с того у тебя приключилось,— неожиданно сказал он,— что ты ж некрещеный.

— Что?..— рассеянно переспросил Виктор.

— Некрещеный! Раньше бывало, як новичок в шахту едет, ему обязательно скажут: ты ж, хлопче, не забудь в шахте под благословение подойти, не то пропадешь! Завалит тебя или так убьет... «А к кому ж, спрашивает, подойти? Разве ж на шахте поп есть?» «А как же! Без попа нигде нельзя. Есть специально шахтерский поп. Отец Спиридон. У ствола стоит. К нему и подходи». А у нас действительно стволовой был Спиридон. Мужик бородатый, видный. Ну, дадут ему сигнал, что новичок едет,— он уже готов. Новичок из клети вылезет, оглянется, видит — действительно стоит Спиридон. Стволовые и тогда балахоны носили, с капюшоном, как и сейчас. Верно, на монаха смахивает, и борода — чистый поп. Новичок шапочку скинет, да и к ручке, робя... «Благослови, отец Спиридон!» А тот, сукин сын, ведерко возьмет — специально имел! — да мокрым помелом и благословит: «Благословляю тебя, раб божий, в шахте ишачить, на хозяина горб гнуть! Аминь!» Вот як бувало...— И он засмеялся.

Виктор бледно улыбнулся тоже.

— От! — продолжал старик.— От як бувало... А вы... вы ж шахты так и не бачили. Э, ни! Разве ж теперь шахта? Теперь — курорт!.. Добрее стала шахта к человеку,— а ни завалов, а ни выпалов. И работа легче. Ты скажи, пожалуйста,— удивился он,— все человеку мало! От теперь на машину все переложить хотят. Только и слышно кругом: механизация та механизация... Ой, предчувствую я,— заведут-таки моду, чтобы в белых перчатках уголек рубать.

Но Виктор уже не слушал его. С тоской думал он,

что завтра, послезавтра снова придется лезть в шахту, законуриваться, долбить уголь, толкаться боками о породу, головою о кровлю, как птица в клетке.

— Так не понравилось тебе у нас? — тихо и словно невзначай спросил дядя Онисим. Он давно уж сидел молча и смотрел на Виктора внимательно и печально.

— Да, не понравилось.

— Ну-ну! — обиженно покачал старик головой. Потом встал и сказал с сердцем: — Эх, не видали вы горя, привередники, маменькины сынки! Легкого вы пуха люди...тьфу! — И ушел рассерженный.

Обед Виктору принесла уборщица тетя Нюша. Он съел его равнодушно, без аппетита, даже не заметив, что́ ест.

В это время вернулись ребята с шахты. Они вошли, продолжая горячий спор, возникший, вероятно, еще под землей.

— А я ж вам говорю — это переворот! — страстно кричал черноокий Осадчий.— Это ж революция! Вот пусть Светличный скажет.

— Переворот твоего воображения...— насмешливо возражал Глеб Васильчиков.— А на деле — пшик! Пшикнул — и скис.

— Так это ж только начало! Ты то пойми — начало! Аэроплан тоже не сразу полетел!..

— Вот сравнил! Аэроплан и... отбойный молоток.

— А отчего ж не сравнивать? — запальчиво спросил Осадчий.

— А оттого, что аэроплан — машина, а отбойный молоток...

— А отбойный молоток?

— А отбойный молоток так... инструмент... да к тому же не-со-вер-шенный.

Виктор не стал даже прислушиваться к спору; то, о чем они спорили, было далеко-далеко от него...

— Ой, Витя! — сказал, подходя к его койке, Андрей; он тоже был, как и все, возбужден.— Жаль, болен ты... А то б...

— А что? — вяло спросил Виктор.

— Мы сегодня отбойный молоток видели! Дядя Прокоп принес...

— А-а!...— равнодушно отозвался Виктор.

Но Глеб Васильчиков был уже тут как тут.

— А отчего ж тогда твой дядя Прокоп и обушок с собой в лаву взял? — ехидно спросил он Андрея.— Нет, это ж зрелище!.. Работать хотят отбойным молотком, а обушок тут же рядом лежит. Это все равно, как если б сели в автомобиль, а телегу рядом пустили.

— Действительно...— смущенно сознался Андрей,— обушок пока... тоже...

— Так это ж начало! — заорал Осадчий и подбежал к койке Виктора. Теперь тут собрались все спорщики.

— Понимаешь, Виктор,— торопливо, боясь, что Васильчиков его тут же и перебьет, сказал Осадчий,— тут все дело в воздухе. Когда воздух есть, так молоток этот, як часы... Обушку за ним,— та куда там, действительно як телеге за паровозом. Ну, а когда воздуху нема или слабый воздух...

— Вот тогда обушок! — перебил Васильчиков и засмеялся.

— Так что ж ты хочешь, раз это — пневматика?..

— Тебе б понравилось, Витя...— робко сказал Андрей,— и все лицо его осветилось тихой радостью.— Ей-богу!.. Ой, как же я рад! — вдруг засмеялся он.— Теперь и работать легче будет... не то что обушком...

— А обушку что же, значит, совсем каюк? — тихо спросил Сережка Очеретин. Он все время растерянно прислушивался к спору.

— Каюк, каюк! Аминь! Точка! — загремел Осадчий.— И со святыми упоко-о-ой!

— Ну, это еще тетушка надвое сказала,— немедленно возразил Васильчиков.— Вот твой дядя Прокоп всего час работал, а все остальное время — обушком...— Спорил он, впрочем, только потому, что не спорить не мог. Если б все были против молотка, он бы так же страстно защищал его, как сейчас страстно ругал.

— Скорпион ты! — с досадой сказал ему Мальченко, и Васильчиков радостно захохотал, словно заслужил похвалу.

— От, значит, какая выходит история! — грустно вздохнул Очеретин и часто-часто замигал своими белыми ресницами.

— А ты не журись, не журись, Серега!..— сказал

подошедший Светличный.— Ты на отбойном молотке еще хлеще себя покажешь!

— Нет! — уныло ответил Очеретин.— То техника. То, мабуть, я не смогу. То для образованных...— И он опять громко вздохнул, уже представив себе, как стирают его имя — С. И. Очеретин — с красной доски.

Но тут Васильчиков, как молодой петушок, налетел на Светличного. Он даже очки свои снял, «чтоб не забрызгались», как острили ребята, намекая на его манеру обильно брызгаться слюной в пылу спора.

— Да неужели ты,— наседал он на Светличного,— ты, умный, с понятием человек, веришь в эту железку с дутым воздухом? Разве ж это серьезная машина? И ты веришь?

— Верю...— ответил Светличный и трижды перекрестился широким, размашистым крестом. Все засмеялись.— А ты, козаче, не веруешь?

— Нет! Не верю...

— Ну, тогда — геть с нашего куреня!

— Геть! — ликуя, заревел Осадчий, и все с хохотом схватили под руки Васильчикова.

— Да бросьте вы,— отбивался тот,— вот дуроломы! Да я сам за механизацию... Только я за серьезные машины, а не за железку...

— Ага! — закричал Светличный.— А вот эта железка и потребует теперь для себя серьезных машин. Теперь конякой уголь не увезти, теперь электровозы надо. В общем,— закончил Светличный,— как сказал наш донбасский поэт Павел Беспощадный:

Он идет, этот сильный век,
Слышу грохот и лязг его брони.
На всю шахту один человек
Будет, будто шутя, коногонить.

Так, что ли, Виктор? — вдруг неожиданно обратился он к Абросимову.

— Что?.. Вероятно, так! — вяло ответил Виктор.

«Да что это с ним?» — удивился Светличный. Он никогда еще не видел Виктора таким вялым, безразличным, безжизненным. Окоченел он, что ли? Было б куда лучше, если б парень бесновался, огрызался, даже злобился. Странное оцепенение Виктора испугало его. «Значит, крепко подшибла его эта история!» И Свет-

личный решил, что должен, наконец, по душам объясниться с Виктором. Он и так слишком долго откладывал этот разговор.

Он дождался вечера и, когда все ребята пошли в клуб, на собрание, задержался у койки Виктора.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он, присаживаясь.

— Хорошо.

— Можно с тобой говорить?

— О чем?

— О тебе.

Виктор подумал немного и равнодушно ответил:

— Давай.

— Ты веришь, что я тебе друг?

— Ну, допустим.

— Нет, ты скажи прямо, веришь или нет?

Виктор вдруг порывисто приподнялся с койки и схватил Светличного за руки.

— А ты на самом деле друг? — спросил он.

— Ну, конечно!

— Так если друг... отпусти меня! Отпусти! — жарко прошептал он.

— Куда отпустить? — не понял Светличный.

— Отпусти, Светличный! Не вышло у меня на шахте... Осрамился я. Сам виноват. Знаю. Винюсь. А ты отпусти!

— Да куда же, куда?..

— Я ж не на легкую жизнь прошусь! — продолжал шептать Виктор, все еще держа руку Светличного в горячей своей.— Та пошли меня, куда хочешь. На Камчатку. На Сахалин. К чертям в зубы. Лес валить, тайгу рубить, что хочешь... Я докажу там, какой я парень есть на самом деле. Вам же и райком про меня потом напишет... Отпусти!

— Но как же я могу тебя отпустить, Виктор? — слабо улыбнувшись, спросил Светличный.

— Не можешь?

— Нет у меня такой власти. Кто ж может солдата с поля боя отпустить? А мы, брат, с тобой солдаты...

— Значит, не можешь? — еще раз спросил Виктор и выпустил руку Светличного из своей.



«ДОНБАСС»
(Книга первая. Жили два товарища)



«ДОНБАСС»
(Книга первая. Жили два товарища)

— Да и зачем? Ты и здесь, Витя, прекрасно будешь работать. Послушай, давай, как взрослые, говорить,— ласково улыбаясь, начал Светличный, но Виктор перебил его.

— А не можешь — так не трогай! Слышишь, не трогай! Не говори! — исступленно закричал он.

— Да ты успокойся, Виктор! Что в самом-то деле!— нахмурив брови, сказал Светличный.

— Не трожь! — еще раз крикнул Виктор и с шумом отвернулся к стене.

Светличному пришлось уйти. Недовольный и собой и Виктором, он пошел на собрание, решив, что поговорит еще раз с парнем, когда тот выздоровеет.

А Виктор сразу же после ухода Светличного вскочил и поспешно стал одеваться. Он и сам еще смутно понимал, что делает. Он знал только, что ни минуты больше не может остаться тут. Жизнь надо начинать сначала и на новом месте.

Значит, бежать? Бежать с шахты? Он остановился в испуге посреди комнаты. Живо представилось ему, как собираются вокруг его опустевшей койки комсомольцы; долго и молча смотрят на постель; кто-нибудь зло сплюнет; Светличный презрительно сдвинет густые брови и скажет сквозь зубы: «Подлец!»,— а Андрей еще ниже опустит голову. Бедный Андрей, он, может быть, даже слезу прольет над ним, как над покойником; Виктор и будет тогда покойником; жирной, черной чертой вычеркнут его имя из комсомольских списков; и среди живых ему, дезертиру, уж нигде не будет места,— нигде и никогда.

Но тотчас же представилась ему и другая картина. Виктор всегда мыслил картинами. Представилось, как придется через два дня снова идти на шахту. Снова входить в нарядную. Там будут все, кто был на собрании. Они узнают его... Деликатничать они не станут. Сразу подымут на смех. Будут показывать пальцами. А Свиридов обязательно и нарочно подойдет к нему, как к приятелю, при всех и что-нибудь скажет, чтоб все слышали: мол, ничего, не порть себе здоровье! Гляди на меня!..

Он поспешно схватил сундучок. Нет, надо бежать, бежать!... А там будь что будет!.. «Я ж не в Чиби-

ряки убегу. Не к маме. Не на легкую жизнь. Я в тайгу пойду! Я там так буду работать, что все аж ахнут! Я там такое сделаю, что мне все простят». Беспорядочно швырял он в сундучок вещи. «Не забыл ли чего? А, все равно!» Только бы скорей уж оторваться от этого пола, пуститься в путь... «Надо б записку оставить...» «А зачем? — тут же спросил он себя.— Что я в ней напишу? Я и сам знаю — сейчас мне оправдания нет».

«Ну и пусть я сегодня подлец,— стиснув зубы, подумал он,— зато завтра...»

Он схватил сундучок и бегом бросился к дверям.

«Эй, Виктор, остановись! Что ж ты с собой делаешь?!» — подумал он уже в дверях. Но только махнул рукой и — как с обрыва в реку — головой вперед бросился на улицу...

13

Уже стемнело.

Дождя не было. И первые ноябрьские заморозки уже стали осторожно сколачивать хрупкие ледовые плоты на лужицах и озерках; в тишине рудничного вечера было слышно, как звонко постукивает, смерзаясь, молодой ледок, словно то стучат тонкие молоточки.

Не разбирая дороги, с хрустом ломая ледяную корку, разбрызгивая грязь и черную дождевую воду, бежал Виктор через поселок, бежал что было духу, словно гнались за ним и люди и призраки.

Между тем никто и ничто не подстерегало его в кривых и узких тупичках и переулках: ни знакомые — их у него в поселке было мало, ни воспоминания — а их совсем почти не было. Он был новый, пришлый и еще чужой здесь человек; недавно пришел, не зацепился душой за шахту и вот — уходит. Убегает прочь.

Ну и с богом! — насмешливо провожала его шахта.— И с богом! Мы и без тебя проживем! И без тебя так же будет ровно дышать силовая, и вертеться колесо на копре, и скользить канат вверх-вниз; и будут со свистом и грохотом мчаться «партии» по штреку, и, весело постукивая на стыках, бежать вагончики по дощатой эстакаде; и будут все расти и расти ввысь сизые терриконы — пирамиды шахтерского труда. Не много и добы-

чи ты давал, парень, только зря занимал место в забое. Мы и без тебя отлично проживем. А вот ты-то как?!

Но Виктор уже не мог остановиться.

Беглым шагом пересек он поселок и, только когда вышел на шоссе, перевел дух. Ну, вот. Теперь три километра до вокзала — все. Завтра он уже будет далеко.

Он огляделся. Вокруг него, на шоссе, не было так пустынно, как ему сперва показалось. И тут, и там, и впереди него, и сзади брели в тумане люди, так же, как и он, с сундучками или с мешками за спиною; ветер доносил их хриплые голоса, топот их шагов. Виктор догадался — это летуны. Это было неприятно ему. «Еще, чего доброго, и меня за летуна примут». И тут же подумал с горечью: « А кто ж ты теперь такой? Терпи!»

Еще там, в поселке, никто не мог бы угадать в нем дезертира. Даже сундучок не был уликой; можно было подумать, что просто идет человек в баню...

Но тут, на привокзальном шоссе, все очевидно! Теперь не отодрать, не обособить Виктора от этой темной толпы. Тут все одного поля ягоды, все — бродяги, перекати-поле, люди без роду и племени, без стыда и совести, без любви и правды... В них все фальшиво: и паспорта, и имена, и души.

И вот теперь и он среди них. Он их попутчик. Он им принадлежит, их темному, безродному, цыганскому племени, и не только на этот короткий путь до вокзала, а надолго, может быть, на всю жизнь. Что из того, что в боковом кармане его пиджака аккуратно лежит его подлинный, нефальшивый комсомольский билет, который он из трусости — да, да, из трусости! — не кинул на подушку, убегая с шахты? Он никому не посмеет его предъявить. Да он уж и права на него больше не имеет! «Комсомольцы не бегают!» Теперь он должен скрывать, что был когда-то комсомольцем. Скрывать, что удрал с шахты. Все про себя скрывать. И жить под тяжестью тайны, фальшивой жизнью среди чистых, незапятнанных людей. Да разве ж такой жизнью можно жить?!

Снова послышались шаги сзади, кто-то тяжело дышал, настигая Виктора. Виктор глубже втянул голову в плечи, приподнял воротник пальто.

С ним поравнялся человек в старенькой шинельке без петлиц и в кожаной фуражке. Виктор украдкой посмотрел на него — человек был ему совсем незнаком. Он облегченно вздохнул. Поднял голову. Теперь можно идти спокойнее. Они шли рядом, искоса поглядывая друг на друга. Человек в шинельке тоже был с сундучком — летун, вероятно. Свой.

«Свой? — возмутилось все в Викторе.— Нет, я не такой, как они!» — «А какой же?»

Человек в шинельке вдруг издал резкий, пронзительный звук,— так цапли кричат на болоте. Виктор испуганно оглянулся: что это с ним? Плачет? Он всмотрелся: нет, смеется! Какой странный, злой смех...

— Вы что? — невольно спросил он.

Человек опять засмеялся своим странным, колючим смехом.

— Черт от ладана бегает...— сказал он.— А вы от чего?

— Кто, я? — растерялся Виктор.

— Все! — И он показал на дорогу. Там в тумане брели неясные, смутные фигуры, не люди — призраки.— Я б их всех собрал в кучу и головой в шурф. Разве ж с такими социализм построишь?

Виктор не отозвался.

— Саранча...— сказал человек в шинельке.— Чисто саранча... И откуда только взялось? Сроду такого не было... А вам стыдно! — неожиданно повернулся он к Виктору.— Комсомолец, небось?

— Да-а... Но...

— Стыдно! — сердито сказал шахтер— Эти пускай! Кулачье. Грызуны. Им сам бог ихний велел. А вам стыдно.

— Но я... не шахтер! — чуть не плача от стыда и отчаянья, закричал Виктор.— С чего вы взяли? Я... случайно... Я у товарища был... в гостях...— Он видел, что человек не верит ему, смотрит на него искоса и подозрительно. Неужели теперь все всю жизнь будут на него так смотреть? — Я... в гостях был... А сам я в городе работаю...— торопливо бормотал он.— Ей-богу!.. Хотите, я вам документы покажу? Честное слово!

«Зачем же еще честное слово дал? — тут же рассердился он на себя.— Окончательно становлюсь скотиной!»

Но ему так хотелось, чтобы поверил ему хоть этот незнакомый, странный человек в старой шинельке и кожаной фуражке.

— А-а! — протянул, наконец, тот.— Ну, тогда извините...— Он слабо улыбнулся и объяснил: — Душа болит на такое смотреть. Я б их всех, бродяг, головою в шурф!.. Самый это ненавистный мне человек — бродяга. Вы с «Марии» идете?

— Да-а... да... с «Марии».

— Не видал я вас на «Марии».

— Я же говорю, в гостях был... Недолго...— обрадованно затараторил Виктор.— Там товарищ у меня... Андрей... А сам я в городе живу... Разве б я позволил себе... убежать? — сказал он, по-детски краснея и сам чувствуя, что краснеет, и злясь на это.

— Ну да! — благодушно сказал шахтер.— А то показалось мне, что где-то я вас видел... Бывает!

На шоссе появились фонари. Вокзал был уже близко.

Человек в шинельке бросил косой взгляд на попутчика,— Виктор теперь не ежился, не прятался, старался открыто смотреть, прямо в глаза,— и повторил:

— Да, бывает!.. Вот теперь я вспомнил: я тебя на собрании видел.

— Что?..— испуганно остановился Виктор.

Человек в шинельке подошел к нему вплотную, взял за борт куртки и сказал шепотом, дыша прямо в лицо:

— Теперь удираешь, сволочь?.

— А ты... а ты?..— разозлился Виктор.— Ты ж тоже с сундучком... Ты тоже...

— Я в армию, на сборы!.— сказал шахтер и брезгливо оттолкнул от себя Виктора.

И Виктору пришлось бежать от этого человека в шинели.

14

Запыхавшись, вбежал он в вокзал и направился прямо к кассе. Скорей бы поезд!.. Скорей бы уж уехать отсюда прочь. Но касса была еще закрыта, а в справоч-

ном бюро ему сказали, что поезд на юг будет через час, а поезд на север только ночью. «Если не запоздает!» — равнодушно прибавила девушка.

Он отошел от окошка. Он твердо решил, что поедет на север. Не на юг, на легкую жизнь, и не в Чибиряки к маме, а на север, на самый дальний север, так далеко, как только возможно заехать. Там, в сибирских просторах, он завоюет себе и оправдание и прощение.

Но поезд на север будет только ночью, если не запоздает. А здесь, на вокзале, его всякую минуту могут увидеть и узнать. Опять придется встретиться с шахтером в старой шинели. Каждый взгляд, каким окидывают сейчас его и его сундучок люди на вокзале,— как плевок в лицо.

«А поезд на юг будет через час»,— вспомнил он.

Может быть, поехать на юг? На Кавказ? К морю? На минуту он почувствовал себя счастливым и свободным. Он может поехать, куда хочет. Он был, как птенец, впервые свободно захлопавший крыльями и почувствовавший, что даны ему эти крылья для полета. Вот стоит он сейчас на перроне маленькой станции в степи, а весь мир лежит перед ним. Захочу — и завтра у моих ног зашумит теплое, ласковое море. Захочу — и будут горы.

Но поедет он все-таки на север, только на север. Пусть никто и никогда не сможет швырнуть ему в лицо, что бежал он с шахты ради легкой жизни.

Он поедет на север, хоть бы поезд и опоздал на сутки!

Однако незачем толкаться в здании вокзала или — у всех на виду — на перроне.

Он вышел на площадь. Был тот ноябрьский вечер в Донбассе, когда небо низко-низко спускается к земле, и нет уже ни земли, ни неба, а только туманная, сырая мгла; в ней тревожно перекликаются паровозные гудки и людские голоса; звуки бродят в тумане, а огни — неподвижны; и степь еще пахнет мертвой травой и вчерашним дождем — последними запахами осени.

Еще не холодно, но свежо, и земля, скованная ранними непрочными заморозками, лежит, оцепенев в предчувствии первого снега, и жадно ждет его, как летом дождя.

В такие вечера самый сладостный запах на земле — запах жилья и дымка из трубы над хатой. В такие вечера семейные шахтеры любят сидеть дома и пить водку с друзьями. Хозяйки то и дело бегают в погребок за огурцами и соленой капустой; огурцы еще не досолились, и если так пойдет дело — им досолиться не удастся.

В такие вечера каждый человек на земле обязательно подумает об угле; уголь — это тепло, и даже мысль о нем согревает душу. Надо запастись углем на зиму, и в такие вечера все селекторы, телефоны и телеграфные аппараты заняты только им, углем.

В такие вечера приятно чувствовать себя шахтером. Хорошо, вырубив свою норму угля, выйти на-гора́ и помыться парной водой в горячей бане и, смело глядя людям в глаза, пойти через весь поселок домой. В такие вечера обязательно надо иметь свой дом, свою семью и спокойную, чистую душу...

Но у Виктора нет дома. Вот сидит он на своем сундучке на площади у вокзала. Даже птицы уже закончили свой осенний перелет, он только его начинает. Что ждет его? Что будет с ним? Он сейчас, как перекати-поле...

Стало холодно. Если придется продавать пиджак и куртку, как же сумеет он добраться до цели? Он почувствовал вдруг, что голоден. Сейчас хорошо бы стакан горячего чаю. Он вспомнил, что здесь же, на площади, неподалеку от сквера, есть закусочная. Ее легко найти по шуму и песням, что и сейчас доносятся оттуда. Подхватив свой сундучок, он пошел.

У закусочной стояла негустая, но веселая толпа. Виктор хотел было пройти мимо, но, невольно прислушавшись, остановился.

В центре толпы посиневший от холода босяк в тряпье и шахтерских чунях выстукивал деревянными ложками нехитрую мелодию, приплясывал и сыпал частушками-скороговорками; толпа встречала их хохотом и подхватывала припев.

До Виктора доносились только обрывки.

Шуба рвана, без кармана,
Без подборов сапоги...—

сыпал ложечник.

А дальше шло уж что-то густое, непристойное, что тонуло в хохоте и в восторженном взвизге толпы и сразу же, как лаком, покрывалось припевом:

Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..

Ну что ж, и это развлечение! Поезд придет нескоро, даже если и не опоздает, а чаю можно напиться и позже. И Виктор затесался в толпу.

Там нарыты ямы-норы,
Где работают шахтеры...—

старался ложечник, и толпа подхватывала припев:

Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..

и прихлопывала в такт ладошками, почти заглушая сухую дробь деревянных ложек. А ложечник все приплясывал, пытаясь выбить чунями чечетку, словно хотел высечь искры из мерзлой земли, и все тряпье его сотрясалось на нем, и тряслись синие от холода губы и щеки.

Прощай, шахта и Донбасс,
Не увидишь больше нас!

— Ой, чешет! — восторженно взвизгнул босяк рядом с Виктором и самозабвенно подхватил припев:

Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..

А ложечник, ободренный успехом и уже немного согревшийся, «чесал» дальше:

Прогуляем — сколько знаем,
Прокутим — сколько хотим.
А завтра рано, чуть светочек,
Из Донбасса улетим.

Да что ж это? Куда попал Виктор? Зачем затесался в эту грязную толпу? Босяки, рвань, золотая рота, бродяги, вся накипь, выброшенная прочь с шахты, не принявшей их в свои чистые недра,— что делать ему здесь, среди них?.. Он решил немедленно же уйти прочь

и даже сделал движение, но ложечник уже заметил его, такого не похожего на всех, еще чистенького и аккуратного, еще отмеченного печатью комсомольской ячейки — сотрется она не скоро,— и подмигнул ему, подошел ближе и стал прямо перед ним, дергаясь всем своим тряпьем.

— С посвящением и приветом! — гнусаво крикнул он Виктору.— Персонально вам, молодой человек!..

И вдруг рассыпал яростную дробь ложек:

Рябина цветет, осыпается,
Комсомольцы из Донбасса разбегаются...

— О-о-о! — восхищенно взревела толпа.

Теперь все смотрели на Виктора. Кто-то панибратски хлопнул его рукой по плечу. Кто-то крикнул: «Эй, птаха, держи голову выше!» — и опять радостно загоготали сиплые, простуженные глотки.

Виктор рванулся из толпы, но десятки рук ухватили его за куртку и сундучок и не пускали... «Эй, хлопче, куда же ты? Мы ж еще с тобой потанцюем!..»

— Пусти! — не помня себя, дурным голосом закричал Виктор и рванулся. Его выпустили, так страшен был его напор. Расталкивая людей перед собою, он побежал, сам не зная куда...

А вслед ему еще долго неслись крики и хохот и насмешливое, густое, стадное:

Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..

Он вернулся на вокзал. Куда ж еще ему было идти? Уже смутно чувствовал он, что, бежав с шахты, сделал ошибку, чудовищную и непоправимую, сам, собственной рукой пустил свою жизнь под откос. Но теперь возвращаться вспять было уже поздно.

«Отчего же поздно? — вдруг спросил он себя.— Еще никто ничего не знает. Скажу — ходил пройтись...» — «А сундучок?» Да, сундучок... с сундучком гулять не ходят. Значит, придется *все* рассказать и Андрею... и Светличному... всем. Будут смеяться. Нет, хуже, будут «окружать заботой» раскаявшегося грешника... Будут долго припоминать ему эту ночь, побег и возвращение. И следить за ним, как бы не повторилось...

«Нет, вертаться нельзя! — угрюмо подумал он.— Надо ехать... А там — будь что будет!» Он упрямо сдвинул брови: брови были отцовские, крылатые, смелые. Но отец сроду ни от кого не бегал.

Поезд на юг уже ушел. С ним уехал, вероятно, и шахтер в старой шинели. Его нигде не было видно. Виктор опять подошел к справочному бюро. Да, поезд на север опаздывает.

— А может, в пути нагонит? — нерешительно спросил Виктор.

— Возможно, нагонит,— равнодушно согласилась девушка.

Виктор прошел в зал ожидания, отыскал свободный уголок, поставил сундучок на пол и сел на него. Здесь, в углу, было полутемно; если закрыть лицо воротником куртки, никто его не заметит. Он так и сделал.

Он очень устал и душою и телом. Только сейчас почувствовал он, как смертельно устал. Он закрыл глаза и хотел было вздремнуть немного. Но вдруг что-то испугало его. Что?

Он не стал даже раздумывать над этим; им уже бесконтрольно владел инстинкт затравленного зайца и, повинуясь ему, он бросился бежать.

Ему послышалось, что кто-то окликнул его по имени; он не оглянулся. Какая-то дверь оказалась на пути, он с силой рванул ее — стекла задребезжали — и выбежал прочь.

Оказывается, он попал на перрон. Все равно. Он перевел дух. За ним следили! Он почувствовал это не сознанием, а кожей. Его спина *физически* слышала шаги сзади, торопливые и настойчивые. Он опять побежал.

— Виктор! — уже явственно донеслось к нему из тьмы.

Не останавливаясь и не оглядываясь, побежал он через железнодорожные пути и вдруг уткнулся в товарный состав Он заметался. Куда теперь?

И тогда пришла простая и счастливая мысль. Ему не нужно ждать поезда на север. Вот этот состав с углем, он уж, конечно, пойдет на север. Паровоз был под парами, подле него суетилась бригада. Вероятно, эшелон

скоро тронется в путь. Надо только сейчас же забраться сюда, пока его не настигли. А к утру он уже будет далеко! Главное, далеко от этой проклятой станции, где все его знают, все за ним следят.

Он ухватился за борт платформы.

— Виктор! — опять услышал он голос из тьмы.

Кажется, голос знакомый. Или померещилось? Все равно, медлить теперь нельзя. Он забросил сундучок на платформу и, подтянувшись на руках, влез и сам.

На платформе лежал уголь, и, когда Виктор животом упал на мокрые холодные груды, на минуту почудилось ему, что он снова в забое. Неповторимо пахнет уголь! Виктор вдруг подумал, что, может статься, груды, на которых он сейчас лежит, добыты им, им самим,— ведь это, наверняка, уголь «Крутой Марии». Может быть, это его уголь. Хватит ли всего угля, что нарубал за свою недолгую шахтерскую жизнь Виктор Абросимов, на одну паровозную топку в дальнем пути на север? Пожалуй, не хватит!

Легкая дрожь прошла по всем суставам поезда; как кости, хрустнули и заскрипели вагоны и платформы. «Потягивается! — радостно подумал Виктор.— Сейчас тронемся!» И ему впервые за все это время стало легко и покойно.

Какой-то человек, пыхтя и сопя, взбирался к Виктору на платформу. Виктор замер, всем телом приник к углю, даже затаил дыхание. Человек влез и тоже плюхнулся на уголь, рядом.

В ту же минуту поезд еще раз дернулся — и пошел!.. Сначала медленно, словно пробуя, ощупывая путь, потом все быстрей и быстрей застучали колеса. Резкий сквознячок просвистел над платформой. Виктор поежился. Холодно. «Если засну — замерзну».

— Виктор? — тихо спросил человек рядом.

Виктор вздрогнул. Его первым движением было схватить сундучок и прыгать! Но поезд теперь шел полным ходом, только телеграфные столбы мелькали.

— Виктор! — еще раз позвал человек рядом, и Виктор с ужасом узнал знакомый голос.

— Это ты, Андрей?

15

Я, конечно, не мог знать тогда, осенью тридцатого года, что поезда, который вез меня из армии домой в Донбасс, и опаздывал, выбившись где-то между Прохладной и Ростовом из графика, так нетерпеливо ждет на маленькой станции в степи некий молодой человек по имени Виктор Абросимов.

Тогда совсем не знал я этого парня. И даже имени его никогда не слышал. И не думал я и не гадал, что когда-нибудь войдет он в мою жизнь.

Проклиная и поезд, и машиниста, и все железнодорожное начальство на свете, стоял я в тамбуре вагона — в купе уже не сиделось — и тоже ждал, ждал страстно, нетерпеливо, влюбленно,— ждал встречи. И не с друзьями — их я обниму только завтра — и даже не с матерью, а с ним — с суровым и нежным другом моего детства и моей озорной юности — с Донбассом.

Там я родился и вырос. Там съел первый кусок хлеба, заработанный собственными руками. Там, неожиданно для себя, сложил первые стихи и убежал с ними далеко в степь и на кургане, плача от гордости и счастья, читал их сам себе, а ветер уносил слова.

Там впервые поцеловал я девушку. У нее были каштановые волосы, золотистые на концах. Всю ночь просидели мы с ней на кургане; ее губы пахли полынью, и сладостно-горькими и жуткими были наши поцелуи; казалось, все звезды над степью видят их и не одобряют.

Но старый курган был за нас и за нашу любовь, и отрадно было лежать в его душистом чебреце и полыни, и слышать, как жарко и томно дышит добрая земля, и, пьянея от запахов трав, земли и ветра, без конца говорить о любви и о будущем. В ту ночь все казалось возможным и близким, даже звезды в небе.

Так просидели мы до зари, пока гудок «Крутой Марии», вдруг властно прокатившийся над степью, не вспугнул нас и не напомнил, что, кроме поцелуев, есть еще жизнь, и труд, и доска табельщика у проходных ворот. Взявшись за руки, сбежали мы с кургана и у самого поселка расстались, смущенные и счастливые, не смея глядеть в глаза друг другу...

Теперь эта девушка забыла меня — недаром ее губы пахли полынью. Говорят, она вышла или собирается выйти замуж за другого. Вероятно, я сейчас ее и не встречу.

Зато на курган я и теперь смогу взойти. И с него опять откроется мне мой родной край, всеми трубами будет меня приветствовать. Старый, преданный друг! Он, как мать, никогда от тебя не откажется, никогда тебя не обманет.

И я трепетно готовился к встрече с ним, как к встрече с матерью. Какой он сейчас? Изменился ли? Постарел?

Да нет! Говорят, помолодел. Все письма из дому, получаемые мною в полк, и начинались и кончались так: «Ты теперь Донбасса не узнаешь!»

«Приезжай скорей, Серега! — писал мне товарищ.— Ты Донбасса не узнаешь. Началось такое, такое, что и не описать. Революция, брат, великая революция в Донбассе. Обушковому Донбассу приходит конец. На крутых пластах появляются отбойные молотки — ты и не знаешь, что это такое! — на пологих — новых врубовые машины. Коногонам скоро точка, о них только песня останется на память. Теперь на откатке будут электровозы. Новая техника потребует новых людей. Нет, ты приезжай, Сергей, все увидишь своими глазами».

Я читал и перечитывал эти письма, они звучали для меня как музыка. Даже когда товарищ писал о трудностях,— а о них он писал много и зло,— о нехватке продовольствия, о вредителях и «проходном дворе», о тупицах, которых давно пора выгнать,— даже эти злые строки были для меня как музыка, как музыка боя...

«Да-а...— думал я с невольной завистью,— вот где подлинная жизнь, вот где интересно...»

Мать тоже писала мне, что Донбасса я теперь не узнаю. Было странно читать эти строки в ее милых, знакомых письмах, обычно наполненных тихими семейными новостями и поклонами от родственников. Но, оказывается, как смущенно призналась она в последнем письме, моя мать теперь «общественница».

«Наши бабы,— писала она,— взялись теперь за поселок. Ну и я, старая дура, с ними! Так что я теперь — общественница, ты не смейся! Тут кругом, сынок, такая

стройка, такая стройка начинается! — словно оправдываясь, объясняла она.— Никак невозможно от людей отставать. А для шахтеров теперь коттеджи строят»,— она так и писала: «коттеджи», а не домики, не бараки, не казармы; значит, и это чужое слово теперь прочно вошло в шахтерский быт. «Аккуратненькие такие коттеджи. Чистенькие. На две квартирки. И кухня отдельная. И даже ванна есть».

И даже ванна есть...

И мне вспомнились наши Собачевки и Шанхаи, и Копай-города... И землянки с мокрой подушкой в окне. И кособокие «каютки», более тесные, чем забой, и такие же темные, грязные и сырые. И шахтерские казармы с нарами в три этажа. Старый, неприютный Донбасс! Здесь люди рождались, чтоб скорее стать в упряжку, и жили, пока не падали, задавленные лямкой. Они спали, где придется, и ели, что случится, и, случайно полюбив друг друга, сходились в семью, чтобы родить новых людей для «упряжки». Собачевка — страшное это было слово, но еще более страшная жизнь скрывалась за ним! С этой собачьей жизнью шахтеры тринадцать лет назад покончили. Теперь пришел конец и Собачевке.

А меня нет в Донбассе в такие дни!

Но самую важную и для нее, видно, самую дорогую новость мать припасла под конец.

«А на Главной улице, Сереженька,— писала она, и я чувствовал, что при этом рука ее дрожала,— разбиты теперь клумбы, и там будут живые розы, мы сами сажали».

Розы на шахте!.. Моя мать всегда любила розы, это я с детства помню. Выкроив из получки пятачок, она покупала их в воскресенье на рудничном базаре и, стыдясь, приносила домой. Розы были большие, как лопухи, и ярко-алые, и жили они долго, очень долго. Всю зиму пылились они над зеркальцем в углу и над фотографиями на стене. Они никогда не умирали, потому что уже были мертвые, бумажные. Но других роз я в детстве никогда не видел и безмятежно считал, что все розы такие: холодные, шершавые и без запаха. Я их не любил.

Да, в нашем детстве цветов не было. Ни цветов, ни зелени, ни реки. Только горькая полынная степь, да курганы, да лысые холмы рыжей обнаженной глины...

Есть такой рудник в Донбассе — Лысая Гора. Я был там когда-то, один раз в жизни, и всего два часа, но запомнил на всю жизнь.

Я попал туда в жаркий воскресный полдень, когда сухим зноем пылают и степь и небо, а воздух недвижим, и солнце беспощадно, и нет человеку места на земле...

В такие дни шахтеры не любят вылезать на-гора́ из прохладной шахты, остаются там.

Ни одного деревца не было на этой лысой, совершенно лысой горе, ни куста зелени, ни травы, ни бурьяна или чертополоха. Только буро-красная, вытоптанная сапогами и растрескавшаяся от зноя глина под ногой; трещины в ней казались кровавыми.

А на самой вершине горы вразброс, там и сям, вытянулись длинные серые бараки. Подле них не было ни заборов, ни палисадников, ни огородов, ни сараев, никаких человеческих признаков жилья и семейного домашнего счастья, словно в этих домах люди не жили, а только спали, а проснувшись, поскорее уходили отсюда прочь.

Даже отхожие места здесь не прятались стыдливо по-за домами, а стояли прямо на дороге, на юру. Их двери были распахнуты настежь, и оттуда на весь рудник разило горячей и душной вонью.

Да, страшной была эта Лысая Гора. Я прошел через весь рудник и, уже спускаясь с горы, вдруг увидел воду. Это была не река, не озеро, не пруд, не ставок. Просто большая, очень большая лужа или канава, наполненная, вероятно, шахтной водой. И в ней лежали люди: взрослые, дети... Они не плавали — плавать тут было негде — и не плескались, не мылись даже, а просто лежали в воде, тихо и счастливо наслаждаясь прохладой...

Теперь, вспоминая Лысую Гору, я понимаю, что, родись я на ней, я бы и ее любил, как сейчас люблю «Марию», и Лысую Гору считал бы самым дорогим мне местом на земле. Потому что я здесь родился. Потому что родину любят не за розы.

Говорят, любить — значит со всем смириться, все принять и все простить.

Но странной, беспокойной любовью любим мы, советские люди, свою землю. Любим, а ни с чем мирить-

ся не хотим: ни с Собачевками, ни с Лысой Горой. Любим, а терпеть Собачевку не желаем.

Мы любим родину верной и требовательной любовью сына. И каждая ее улыбка — счастье, и каждая ее морщинка — горе. Никогда и никому не позволим мы надругаться над нею, но над каждым ее изъяном горько плачем сами. А потом — поплюем на руки и возьмем инструмент, вот изъяна и нет!

И хочется нам, чтобы была она вечно молодой и прекрасной, чтобы хорошела и цвела, очищаясь и молодея. Чтобы была она всех в мире краше, и могущественней, и счастливей. И для этого стоит и трудиться, и жить, и даже жизнь отдать без вздоха...

И мне захотелось вдруг сейчас же, немедленно перенестись в Донбасс, чтобы своими глазами увидеть, как цветут розы на Лысой Горе, как исчезают Собачевки и возникают новые города и врубовая машина хозяйкой входит в лаву.

Эти письма разрешили мучительные мои сомнения о том, что мне с собой делать. Теперь я знал.

В тот же вечер я пришел к командиру полка.

— А! — приветствовал он меня, как всегда чуть-чуть насмешливо.— Ну, что скажешь?

Я сказал, что получил письмо из дому.

— Да? — нахмурился он.— Матушка больна? Ну, езжай, езжай!..

Он подумал, что я нашел-таки повод уехать из армии.

Я засмеялся.

— Нет, матушка здорова. Она теперь розы сажает.

И я рассказал ему, что мне пишут из Донбасса...

Он просиял. Стал расспрашивать. Жадно заинтересованный, он засыпал меня целым ворохом вопросов. «А ты сам-то раньше эти машины видел? Ну как, сильно?»

— Да-а...— сказал он, наконец, и улыбнулся своей теплой, доброй улыбкой.— Ну что ж, поезжай! Напиши хорошую книгу о Донбассе, а мы почитаем.

— А я, Павел Филиппович, не собираюсь книги писать...

Он удивленно посмотрел на меня.

— А что ж ты собираешься делать в Донбассе?

— Не знаю...— беспечно ответил я.— Может, в шахту пойду...

— Зачем?

— Как зачем?

— Ты разве горный инженер?

— Нет.

— Техник, механик?

— Н-нет... Да какое это значение имеет, Павел Филиппович? Я просто в шахту пойду.

Он не ответил. Пожевал сухие губы — сердится! Потом, не глядя на меня, произнес:

— Да-а... Плохо мы тебя военному делу учили. Плохо!

Я растерялся.

— Что вы, Павел Филиппович?

— Целый год учили,— свирепо рявкнул он,— не выучили! Взаимодействия не знаешь, в родах оружия не разбираешься. Плохо! Из гаубиц не стреляют по самолетам, пистолетом не пытаются сокрушить дот, а в конном строю с клинками не атакуют танков. Ты про это слышал?..

— Слышал.

— А ты кто? — вдруг строго спросил он.— Какое оружие? Гаубица ты, пистолет, клинок? То-то,— сказал он, успокаиваясь, как всегда, сразу.— Ты сначала разберись, какое ты оружие. А потом применяй себя. Строго применяй! Слышишь?

Скоро мне пришлось вспомнить этот разговор.

...И вот в последний раз стоим мы в строю на плацу перед полковой школой. Прощаемся с полковым знаменем, с командирами и товарищами, с высотою 537,5, синеющей за казармами, с нашей веселой военной молодостью — это не повторится!

И вот — колонною по четыре — проходим в последний раз через Ахалцых, и люди с тротуаров кричат нам вслед дружески и сердечно:

— Швидобит, швидобит, товарищи! До свиданья!

И девушки машут платками... Сколько раненых сердец остается в этом яблоневом городке у границы!

И вот уж мчит нас поезд вдоль быстрой Куры; пахнет рекою и лесом, дымом костров на берегу и теплым овечьим сыром; и бьют о стекла вагона тяжелые ветви кипариса; и осенним пожаром пылают горы — среди багряного листопада голые тоненькие стволы молодых дубков, как нежные струйки дыма; и нет ничего прекраснее, роскошнее и изобильнее на свете, чем земли Грузии в осень. Но я покидаю эту пряную красоту ради голых холмов Донбасса — и не жалею.

Поезд мчит нас — сотню стриженых ребят, отпускников — через Кавказ, Кубань, Дон, каждого навстречу своей судьбе. У каждого свои планы, надежды, мечты. Иногда мы разговариваем о них, спорим до хрипоты в глотке. Двадцать два года каждому, для нас — все возможно, все доступно, самая дерзкая мечта может обернуться явью.

Но никому из нас не дано заглянуть вперед и до конца угадать свою судьбу, хотя судьба каждого уже заложена в нем; она — в его руках, в его стриженой голове, в его сердце — добром или холодном.

На больших станциях, а иногда и на полустанках наши вагоны подвергались атакам красноречивых мужчин в дождевых плащах, сапогах и с брезентовыми портфелями под мышкой. Самые предприимчивые из них подсаживались к нам в вагон и ехали до следующей большой станции.

Это были вербовщики. В те памятные дни тридцатого года они были всюду. Где-нибудь в знойном Сальске соблазняли они молодых ребят прелестями Сибири и Колымы, в станице Невинномысской искали охочих людей для Магнитки и Днепростроя. Им нужны были люди всякой квалификации и даже без всякой квалификации; они клялись, что на их стройке в три недели человека обучают золотому ремеслу. Люди, люди — люди были самым драгоценным капиталом в эти дни великой всенародной стройки, и вербовщики искали людей, как старатель ищет золото,— страстно и всюду.

Вагоны с отпускниками были для них золотыми россыпями. С жадностью ощупывали они глазами этих здоровых, крепких и умелых ребят. Тут, среди армейских гимнастерок, можно было найти мастеров какого угодно дела.

Мы и сами это знали. Смеясь, говаривали мы, что если бы наш вагон вдруг невиданным ураганом занесло куда-нибудь на необитаемый остров, мы и там не пропали бы. Среди нас были механики и земледельцы, зоотехники и хлебопеки, строители и кожевники, металлурги и каменотесы, и даже один зубной врач — Волков-второй.

Забравшись к нам в вагон, вербовщик обычно начинал беседу невинным вопросом:

— А вы далеко ли едете, ребята?

— В Москву! — хором отвечала теплушка, хотя едва ли треть ее действительно ехала в Москву.

— Ну? — насмешливо щурился вербовщик.— И что это вам даст? — Потом делал недолгую паузу и торжественно вопрошал: — А слыхали ли вы, ребята, про Хибиногоры? А? Нет. Ну так слушайте!

И он начинал рассказывать о Хибинах.

Ей-богу, они были поэтами — эти краснолицые, обветренные ловцы душ в рыжих дождевых плащах ! Какие грандиозные картины разворачивали они перед нами! И часто случалось, что тот или другой из нашей сотни не выдерживал и тут же подписывал контракт.

Подвергался атакам и я.

— А вы, молодой человек, извиняюсь, кто будете? — подсаживался ко мне вербовщик.— Случаем, не теплотехник?

— Нет, я не теплотехник...

— Жаль... Дефицитная квалификация... Ну, ничего! Может, вы механик, монтажник, электрик?

— Нет.

— Или бухгалтер, плановик, счетовод? Дозарезу нужны хорошие бухгалтеры.

— Нет, я не бухгалтер.

— Тогда угадываю — инструктор физкультуры! Я сразу оценил! Знаете, давно ищу хорошего инструктора для нашей площадки... Ну, по рукам?!

Но я не был ни инструктором физкультуры, ни даже сносным спортсменом. Вербовщик напрасно польстил мне. Не был я ни коксовиком, ни медником, ни педагогом, ни агрономом — «агрономы дозарезу нужны! — шепнул мне вербовщик.— Хотим овощи разводить в Заполярье!»,— ни радистом, ни мыловаром... Никем я не

был. И мне вспомнились вдруг строгие слова моего командира полка: «А ты сам кто, какое оружие?»

— Так, может, тогда учиться согласитесь? — наседал вербовщик.— Имеем курсы, техникум, учебный комбинат. Хорошая стипендия, общежитие.

Учиться? А чему учиться, какому ремеслу, какому роду оружия?

Опять вспомнились мне слова командира полка: «А что ты, собственно, собираешься делать в Донбассе?» В самом деле, что я намерен там делать? Читая письма из дому, я хотел только одного — быть там и *видеть*. Своими глазами увидеть революцию в Донбассе.

Но нельзя же в самом деле здоровому парню двадцати трех лет только ходить, да смотреть, да восхищаться работой других,— надо и самому работать? Где? Кем? Пойти в шахту, что ли?..

Чем ближе подъезжали мы к Донбассу, тем все более одолевали меня эти мысли: «Э, там видно будет!» — пробовал я отмахнуться от них — и отмахнуться не мог.

Уже где-то в Ростовской области в наш вагон сел новый человек. С виду он совсем не был похож на вербовщика: для этого он был слишком тучен. Все вербовщики, каких доводилось видеть,— тощие, беспокойные, подвижные — их, как волка, кормят ноги.

Этот же человек был медлителен и тучен. Войдя в вагон, он сразу же плюхнулся на лавку подле меня, снял белый полотняный картуз и, пыхтя, стал вытирать мокрую лысину. Потом распахнул плащ, пиджак, ворот украинской вышитой сорочки, вытер платком могучую красную шею и вздохнул:

— Ф-фу, жара! — хотя за окном были осень и дождь.

Мы разговорились. Он оказался директором совхоза. «От мой совхоз. Гигант!» — показал он не без гордости в окно. Он ехал теперь в областной центр по делу.

— Та прочув я,— объяснил он, раздувая густые пшеничные усы,— прочув, что едут отпускники. От я и зайшов к вам... Чи не найду тут хочь якогось... хочь завалященького зоотехника. Га? — И он маленькими хитрыми глазками сразу окинул нас всех.

Вот так, вероятно, забегает он «ненароком» и на чужой склад, или на базу, или в железнодорожный пакгауз и, хитро щуря свои острые, хозяйские глазки, высматривает какой-нибудь «завалященький» движок, или шестерню, или бочку с драгоценным горючим и, вцепившись в них мертвой хваткой, тащит к себе.

— А вы, часом, не зоотехник? — тотчас же вцепился он и в меня.

— Нет.

— А кто же вы будете?

Проклятый вопрос! Который раз уж задают его мне. Как могу я сказать ему, кто я буду, когда я сам не знаю, кто я?

— Он у нас писатель! — вдруг, смеясь, сказал Паша Жихарев; до сих пор ребята меня не выдавали.

— Та ну! — удивился директор и недоверчиво посмотрел на меня.— Невжели правда?

— Правда, правда...— закричало сразу несколько голосов. Я смутился.

— Голуба моя! — вдруг в непонятном волнении и даже в восторге вскочил директор и схватил меня за плечи, словно боялся, что я убегу или что меня другие директора перехватят.— Так я ж... так я ж, голуба ты моя, я ж тебя аж три месяца ищу... Та невже ж в самом деле писатель? — обернулся он к ребятам, недоверчиво щурясь, но уже не выпуская меня из своих цепких рук.

— Какой я писатель! Что мне у вас делать?

— Как шо?.. От тоби здрасте!.. Многотиражку делать, нашу газету. Таки дали нам газету!.. Та машину я достав, шрифт достав, наборщика в Ростове найшов, а редактора... Таки есть у меня... такий завалященький... ну, не писатель! Слухай, голуба моя! — опять вцепился он в меня.— Ей-богу, поедем! Я ж тебя чистым салом та молоком буду кормить.. Совхоз же богатый, гигант!..

— Да зачем вам газета?

— Як зачем? — даже обиделся он.— Слава богу, не в Туретчине живем! Газета у нас — це ж великий двигатель. Показывает передовиков, подтягивает отстающих, а як же! Я хоть и мужик, и степняк, и хозяйственник, а тоже понимаю... Печать — це великая сила! Так поедем?

— Нет. Я домой еду, в Донбасс.

В Ростове мы расстались с директором. Он все жалел, что не хочу я с ним ехать в совхоз, звал приехать хоть в гости — летом, на травку. Я пообещал.

Была уже ночь. Поезд сильно опаздывал. Я вышел в тамбур покурить. В темном окне бежали тихие степи.

Через час, через два я увижу Донбасс. Еще раньше, чем увижу,— услышу, почую его ноздрями, как лошадь за версту чует запах родной конюшни; мне кажется, что я уже слышу запах тлеющего угля, но это, вероятно, от паровозной топки.

Завтра я уже буду на шахте.

Да, я не гаубица, не мортира, не танк; может быть, никогда не удастся мне выпалить в мир большой, настоящей книгой. Но разве не могу я овладеть легким скорострельным пулеметом журналиста? Честное слово, это тоже хорошее оружие!

Закинув свой пулемет за плечи, смогу я тогда бродить по всей необъятной нашей земле, где захочу. И я увижу все! Все. Все, что может увидеть человек с жадными, влюбленными в жизнь глазами: и как впервые запрыгает, застрекочет на груди забоя отбойный молоток, и как последний коногон, отчаянно свистнув на прощанье, забросит в бутовую свой старый и уже бесполезный кнут...

16

— Так это ты, Андрей? — тоскливо сказал Виктор.— Зачем?

И вспомнилось ему, как всего два месяца назад, по той же дороге ехали они, веселые, комсомольским эшелоном. На каждой станции их встречали цветами и музыкой; девушки в белых платьях посылали улыбки, а иногда — когда эшелон уже трогался — и поцелуи. А они с Андреем стояли, обнявшись, у окна и смотрели, как, то пламенея, то застилаясь легкой синей дымкой, разворачивается перед ними Донбасс; и мечтали о большой и счастливой жизни здесь; и верили, что эта жизнь будет. Отчего ей не быть? Тогда они были добровольцами, героями...

— Мы пришли с собрания...— сбивчиво рассказывал Андрей.— А тебя нет... И ребята говорят: может, он пройтиться пошел... А Светличный...

— Что Светличный? — глухо спросил Виктор.

— Нет, он ничего... Только сказал: нет, вряд ли! А я подывився под койку... а сундучка нема... И я догадался... О, ой, Виктор, как же мне страшно стало? Як же ты?! И я теперь как же — один?!

Да. Та же дорога, и рельсы те же, и опять Андрей рядом. И так же, где-то за балкой, пламенеет небо, и кучерявится дым, и мокрые хлопья пара оседают на лицо и плечи. А под животом все совается и совается уголь, словно Виктор с Андреем лежат не на железнодорожной платформе, а на рештаке. И железная лента трясет и подбрасывает их, как пустую породу, и безжалостно выносит вон — из лавы, из шахты, из Донбасса, из жизни... Куда, зачем?

— Зачем ты это сделал, Виктор? — с тихим укором спросил Андрей.

«А ты, ты зачем?» — хотел было зло закричать Виктор в ответ. Но не закричал, а только упал лицом вниз, на холодные, уже покрывшиеся инеем груды угля и просвистел сквозь зубы:

— Сволочи мы... сволочи...— словно только сейчас во всей своей страшной правде представилось ему его падение. А мимо них все бежали и бежали телеграфные столбы, провода, фонари на стрелках; и каждый верстовой столб, точно осиновый кол, сам вколачивался в душу.

Вдруг Виктор стремительно вскочил на ноги и схватил сундучок. Поезд, замедляя ход, подходил к станции.

— Ну! — свирепо крикнул Виктор товарищу.— Прыгай! — И, ничего не сказав больше, спрыгнул с платформы в темень, Андрей — за ним.

Они упали на мягкий, но мокрый гравий. Эшелон медленно прополз мимо них. Фонарь на последней площадке подмигнул и растаял в тумане.

— Ты цел? — спросил Виктор.

— Вроде цел,— отозвался Андрей и подошел к товарищу.

— Ну, так пошли! — скомандовал Виктор, подымаясь на ноги. Он не сказал куда, а Андрей не спросил. И так было ясно, куда идти; у них был только один путь — назад, на «Крутую Марию»...

— А где ж твой сундучок? — спросил Виктор.— На платформе забыл, эх ты, шляпа!..

— А я... я без вещей...— растерянно признался Андрей.— Вещи там... в общежитии остались.

Виктор пристально посмотрел на товарища. Вдруг захотелось ему подойти к Андрею и обнять его. Но он не сделал этого, не сумел сделать. Он только мотнул головой и сдавленным голосом сказал:

— Ну, пошли!

И они пошли...

Они не знали, что от станции, где они спрыгнули с эшелона, есть прямая степная дорога на «Марию»; поэтому просто пошли назад по шпалам.

Они шли молча. В ночной тишине гулко отдавались их шаги.

Вдруг Андрей радостно засмеялся.

— А я знал, знал! — смеясь, воскликнул он.— Знал, что ты все-таки окончательно не убежишь. Не такой ты парень! Да, Виктор?

Виктор не отозвался.

А Андрей не мог сейчас идти молча. Ему хотелось говорить, говорить, смеяться, болтать, петь. Сколько пережил он за эту ночь! Во всю свою жизнь не переживал столько.

Когда увидел он, что нет под койкой знакомого сундучка Виктора, когда догадался, что тот бежал, просто бежал с шахты, словно был это не Виктор — гордость Андреевой души, а какой-нибудь гад Братченко; когда понял он, что навеки потерял друга и остался на шахте один, совсем один,— ему стало так тяжело, так невыносимо тяжело, что хоть в петлю!

Сам себя не помня, выбежал он тогда из общежития и побежал на вокзал. Он решил найти друга, остановить его, уговорить, умолить вернуться. Он был уверен — Виктор вернется.

Он боялся только, что не найдет Виктора на вокзале, уже не застанет его. Он так обрадовался, увидев товарища в дальнем углу пассажирского зала, что невольно закричал и разбудил его. Он побежал потом за ним на перрон и дальше — к товарному составу. Теперь он знал, что уже не упустит.

— Слушай! — сказал он вдруг.— Если к рассвету придем, так никто, ни одна душа не узнает, что с нами

было, ты не сомневайся!..— Он знал, что именно об этом все время мрачно думает Виктор.

— Нет! — жестко мотнул тот головой.— Я Светличному все сам расскажу.

— Да-а?..— растерянно пробормотал Андрей.— Ну, пусть! Если кто смеяться станет, так я так ему морду набью...

— Пусть смеются, все равно...

— Нет, я смеяться не дам! — проворчал Андрей. Угрожающе сдвинул брови и сбычился.

Некоторое время приятели шли молча...

— Дай теперь я понесу сундучок, Витя...— сказал Андрей.

— Нет, ничего. Я сам...

— А то понесу, а?..

Но Виктор не отозвался, и они опять пошли дальше молча.

— А помнишь Псёл, Витя, а? — вдруг сказал Андрей и тихо, радостно засмеялся.— Вот река! Тут такой и нету...

— Д-да...

— Он теперь уже замерз небось...

— Нет, рано еще...

— А чего ж рано? Скоро замерзнет... А тебе не холодно, Витя? А то...

— Нет, ничего...

— Я сейчас про Псёл вспомнил, и так хорошо стало... А помнишь Фросю Вовк из седьмого «А»? Вот здорово на коньках каталась!

— Да.

— Лучше всех девчонок. Она только с тобой и любила кататься... А давай ей письмо напишем, а?

— Зачем?

— А так! Живы, мол, здоровы, вспомнили про тебя... И с шахтерским приветом известные вам Виктор и Андрей... А?

— Очень ей интересен твой шахтерский привет!

— А что? И очень даже.

— Она все считала, что я непременно летчиком стану,— усмехнулся Виктор.— Знаешь, мы с нею один раз даже поцеловались.

— Да ну?! Я и не знал...

— На лодке. Это почти нечаянно вышло... А потом мы сюда уехали.

— Ну и что ж, что шахтеры? — горячо сказал Андрей.— А что шахтер — это позор, что ли?

— Я ничего не говорю...

— Шахтер, может, для людей поважнее летчика будет! — волнуясь, продолжал Андрей.— Шахтер подземное солнце на-гора̀ достает. Если хочешь знать, так уголь — это, брат, человеческое солнце: и светит, и греет, и энергию дает...

— Д-да...— протянул Виктор, думая о своем, и криво усмехнулся.— В летчики я не вышел, а в летуны... чуть-чуть не угадал.

— А ты не думай об этом! — умоляюще закричал Андрей и даже остановился.— Я тебя, как друга, прошу: ты об этом больше не думай!

— Как же не думать, Андрюша? — просто и грустно сказал Виктор.

— Не думай! Вот поверь мне... Витя... да теперь ты такое, такое в шахте покажешь! Нет, ты постой, ты со мной не спорь,— торопливо проговорил он, боясь, что приятель его перебьет.— Знаешь, я как увидел отбойный молоток, я, ей-богу, сейчас же про тебя подумал. Ведь отбойный молоток, это какая машина? Это как раз для тебя машина. Она проворного человека требует. Грамотного. Молодого. Моторного. Нет, ты постой!.. Слушай, ведь на «Марии» никто, ни одна душа еще на отбойном не работает... Понятия никто не имеет. Один дядя Прокоп. Ты же первым станешь, Витя!.. Ты ж им такое, такое покажешь!..

— Ты расскажи про отбойный молоток подробнее...— тихо попросил Виктор.

— Рассказать? — обрадовался Андрей.— Это... это ж як пулемет, тебе понравится... Это ж такая сила, разве ж можно с обушком равнять? Так и трясет... Это в нем сжатый воздух...

И он, торопясь и захлебываясь, стал рассказывать про отбойный молоток.

Только к рассвету пришли они на «Крутую Марию». На косогоре остановились, чтобы передохнуть, посмотрели вниз, на шахту, и не узнали ее.

За ночь пал на поселок первый иней и все чудодейственно преобразил и принарядил. Словно легкая и трепетная венчальная фата опустилась на шахту, и та заневестилась, похорошела. Иней лежал на деревьях, на крышах, на трубах, на терриконе,— старый террикон стал похожим на снежный Эльбрус.

А из-за копра уже подымалось молодое солнце, лучи его весело и проворно побежали по земле, все на своем пути преобразуя. Запылало надшахтное здание; в стеклах ламповой брызнули и заиграли разноцветные искры; иней на крышах стал розовым и кремовым, а на терриконе — темно-фиолетовым, почти вишневым.

А там, куда еще не проникли солнечные разведчики, все утопало в синей предрассветной дымке. Там еще трепетали и боролись за жизнь ночные тени, отползали в овраги и балки и клубились туманами...

Но уже просыпалась жизнь в поселке: кричали петухи, хлопали, отворяясь, ставни — и первые дымки, выпорхнувшие из труб над хатами, уже окрашивались солнцем в радостный розовый цвет. И, словно объявляя, что день настал, встрепенулся железный петух шахтеров — гудок «Марии» — и раскатился над степью...

А ребята все стояли на косогоре и восхищенно смотрели вниз на розовую шахту — они и не знали, что может она быть такой красивой.

И всего лучше на ней был копер. В этом чудесном утреннем превращении он один остался самим собой, не нуждаясь в прикрасах, ни на что другое не похожий, гордый своей собственной железной красотой. Его ажурный силуэт четко и строго вырисовывался в пламенеющем небе; его шкивы уверенно вертелись в вышине, а канаты трудолюбиво сновали вверх-вниз, вверх-вниз, не зная ни устали, ни покоя... Копер был прекрасен той мудрой простотой человеческого сооружения, равной которой в природе ничего нет.

— Смотри! — вдруг взволнованно прошептал Виктор.— Нет, ты на копер посмотри. Видишь?

Теперь и Андрей увидел то, что взволновало товарища; над копром, над самой вершиной его и скромно и горделиво алела маленькая звездочка. Значит, шахта вчера выполнила, наконец, свой суточный план.

— А мы бегаем!..— невольно вырвалось у Андрея.

— Больше мы бегать не будем,— строго сказал Виктор,— больше мы никогда не побежим, слышь, Андрей?

— Да, Витя...

— Никогда! — повторил Виктор.— А сейчас мы не просто на шахту придем с позором. А мы вот что сделаем. Мы с тобой законтрактуемся за шахтой до конца пятилетки. Слышишь, Андрей? А всех ребят вызовем. А бегать больше мы не будем. Никогда! — глядя на шахту, опять повторил Виктор, и слова его прозвучали, как клятва.

17

Уже светало, когда наш эшелон прибыл, наконец, в Донбасс. Я простился с товарищами и нетерпеливо выскочил из вагона. Теперь я был дома.

Ну, здравствуй, Донбасс, здравствуй, родной край! Резкий, пронзительный ветер ударил мне в лицо. Я усмехнулся: «Неласково же ты встречаешь сына!»

Но и в этом холодном, истинно донецком, степном ветре были теплые и с детства знакомые запахи жженого угля, заводского дыма, жизни; даже в самые лютые морозы эти запахи согревают, если не тело, так душу.

Я закинул вещевой мешок за плечо и пошел на «Крутую Марию».

Знаю, донецкая степь многим людям покажется и серой и убогой, особенно сейчас, в осень, когда полынь пожухла, а земля скована заморозками. А для меня нет ничего прекраснее, чем эта степь, даже в осень. И не только потому, что я в ней родился, а и потому, что знаю такие ее прелести, каких нигде на земле не найдешь.

Нет спору, трогательно хорош тихий сельский пейзаж: небыстрая речка, а за ней золотое пшеничное поле, и лесок, и колокольня с вечерним звоном. Есть что-то мирное и умильное в этом пейзаже. Хорошо лежать на песке у воды да глядеть, как неторопливо скользит река в извечных берегах. Душа отдыхает... И легко тебе, и сладко, и по-хорошему немножко грустно, и никуда тебя отсюда не тянет... Да и куда может потянуть? Здесь все вокруг давным-давно известно: пшеничное поле до самого горизонта, а за ним опять поля, да ти-

хие нивы, да перелесок, да маленькая деревенька над оврагом или над той же речкой...

Мне куда больше по сердцу тревожный пейзаж Донбасса; он словно создан для мечтателей.

Вот стою я на дороге в степи, а окрест меня, куда ни глянь, волнуется и шумит жизнь. Вся степь населена людьми. На всех ее холмах, во всех ее ярах и балках — жизнь, трепетная, непонятная, незнакомая... Что это дымит там, за холмом, на западе?.. Словно многотрубный корабль... Завод? Какой? Как вырос? А там — на востоке — что за синие горы, что за новые копры? Что там? Какие люди живут там, откуда они пришли, что делают, чем мучатся, чего хотят, что любят? А там — на юге — как красиво разбежался вверх по горе новый белокаменный поселок. Постой! Я узнаю это место. Это же Стенькин хутор. Да когда же успел он обернуться городом?

Каждый шаг по степи полон радостных открытий и откровений. Каждый дымок на горизонте — новая загадка, новая тайна. И хочется идти и идти через эту степь, входить в ее бесчисленные города и поселки, останавливать незнакомых людей на дороге и жадно расспрашивать, выведывать, узнавать... Потому что самое интересное и самое красивое на земле — человек.

Человек! Тем и дорог моему сердцу донецкий пейзаж, что создан он человеческими руками. Да, природа обидела, обидела мой родной край, не дала ему ни вольных рек, ни зеленых лесов, ни медвяных трав. Но человек не захотел помириться на скудных дарах природы. Он сам стал богом и создал себе в степи и леса, и реки, и горы. Оттого-то в Донбассе не говорят «роща», а говорят «посадка», не говорят «озеро», а говорят «водоем». Даже самый большой и самый красивый лес здесь — Велико-Анадольский — весь насажен руками человека.

Эти синие горы на горизонте — их создал не бог и не геологический переворот. Их — лопата за лопатой — выбросил из-под земли на-гора̀ человек и сложил в пирамиды. Это зарево над степью — не зарница, не солнце; это человек выпустил плавку из доменной печи и властно размахнулся на полнеба. А вон сказочным, неземным, голубым светом затрепетала даль — как краси-

во! Нет, это не звезда покатилась по небосводу, это человек, электросварщик, трудится на новостройке. А там — смотри, смотри! — что за разноцветный мост картинно изогнулся в небе? Нет, это не радуга, и не хвост блестящей кометы, и не северное сияние. Это идет из печи добела раскаленный коксовый пирог и, ломаясь на рампе, излучает все цвета спектра — нет на земле зрелища прекраснее и фантастичнее этого!

Вся степь и живет и дышит трудом человека. Она вся опоясана электрическими огнями, все небо — в кудрявых облаках фабричного пара: и нежный и голубоватый дым, волнуясь, подымается из сотен труб, сложенных руками человека.

Да, не травой, не медовым клевером пахнет сейчас донецкая степь — крепким человечьим потом. Ну что ж! Хороший запах! Слава, слава Человеку Труда, его могучим мудрым рукам, его неукротимому сердцу!

Взволнованный, подходил я к «Крутой Марии». Еще один, последний косогор, а за ним уже — поселок.

На косогоре, спиной ко мне, стояли двое юношей и смотрели на шахту.

— Здравствуйте,— сказал я, поровнявшись с ними, и остановился.

Они искоса посмотрели на меня и неохотно ответили:

— Здравствуйте.

— На «Марию» идете?

— Да-а...— не сразу произнес один из них.— На «Марию».

В его руках я заметил сундучок.

— Приехали на шахту работать? — догадался я.

— Н-нет... Мы здешние.

Я удивленно посмотрел на сундучок, потом опять на ребят. Мне показалось, что они смутились. Но неудобно было расспрашивать их, хоть и хотелось.

— Ну что ж! — весело сказал я.— Значит, мы попутчики!

Они поколебались немного, затем тот из них, что был с сундучком, решительно сказал:

— Пойдемте...

И мы зашагали рядом.

КНИГА ВТОРАЯ

«КРУТАЯ МАРИЯ»

1

Вот так мы и познакомились: я и мальчики с «Крутой Марии». Нечаянно встретившись ранним ноябрьским утром 1930 года у шахты, на косогоре, мы потом пошли вместе в поселок, и один из ребят, тот, что был с сундучком (его звали Виктором), поддавшись минутному порыву, рассказал мне историю своего бегства и возвращения.

Он рассказывал, ничего не тая и себя не жалея. Ему, видно, не терпелось поскорее чистосердечно и всенародно покаяться и тем очиститься. Он боялся только, что я стану посмеиваться над ним; рассказывая, он то и дело бросал на меня недоверчивые, то почти враждебные, то по-детски умоляющие взгляды; я запомнил его глаза — черные, смелые, с желтым огоньком в зрачках...

— А теперь,— сказал он, тряхнув головой,— мы с товарищем решили, что никуда не уйдем с шахты! — И он с вызовом посмотрел на меня: что, мол, не верите?

Нет, я верил. Я так и сказал им: верю! — и они ответили мне благодарным взглядом.

У шахты мы расстались. Я пожелал ребятам «мягкого угля и крепкой кровли» — как обычно желают шахтерам, пожал обоим руки и пошел к своим.

Больше мы не виделись.

Я пробыл несколько дней на «Крутой Марии», потом на других шахтах и, наконец, уехал в Москву.

Там и я нашел себе дорогу по сердцу: стал журналистом, корреспондентом центральной газеты.

Редактору никогда не приходилось долго уговаривать меня на дальнюю поездку; достаточно было просто

подвести к большой карте на стене и ткнуть карандашом в любую точку.

— Ну, Бажанов? — посмеиваясь, спрашивал он.— А если сюда, разве не интересно?

Еще бы не интересно! Начинались тридцатые годы, годы Великой Стройки, чудесных дел и удивительных людей. Репортерская заметка становилась страницей летописи. Сперва маршруты моих странствий ограничивались Донбассом и югом страны, потом потянуло на север. Говорят, Урал — родной брат Донбассу. Я должен был знать свою родню.

И я узнал и полюбил уральские шиханы, сибирские гольцы, дальневосточные безлесные сопки. Я познакомился и близко сошелся с уральскими мастерами и кузнецкими металлургами; я видел, как добывают уголь, соль, руду, калий, бокситы, золото — рассыпное и рудное; как варят сталь и тянут трубы; как в Златоустье куют кавалерийский клинок, а в Каслях старики отливают статуэтки из чугуна — оленя с ветвистыми рогами на крутой скале или Дон Кихота на тощем, тоже чугунном коне.

Навсегда запомнились мне штурмовые ночи на Магнитке, и авралы на Коксохиме, и битвы «батальонов энтузиастов» с вечномерзлой землей. То были дни не только Великого Сева, но и Первой Жатвы. Сроки сбывались. Люди уже начинали пожинать первые плоды своих усилий. Мечта становилась явью, замысел — плотью, чертеж на синей кальке — живым городом во вчерашней пустыне.

Пуск каждого нового агрегата сам собою превращался во всеобщее торжество; каждый раз это было, как рождение сына-первенца; рядом с родителями — инженерами и мастерами — стояли мы — журналисты, свидетели, а наших известий нетерпеливо ждала вся охваченная стройкой страна.

Мне посчастливилось быть на многих таких «крестинах». Я видел, как застывал бетон днепростроевской «гребенки» и как убирались леса с новых зданий в Комсомольске-на-Амуре, и как катилась первая болванка по роликам блюминга в Макеевке и первый автомобиль по шоссе из Магадана, и как пошли на-гора̀ первые вагонетки голубого сильвинита из соликамской шахты.



«ДОНБАСС»
(Книга первая. Жили два товарища)



«ДОНБАСС»
(Книга первая. Жили два товарища)

Я помню первый дымок над первой домной Магнитки; он был уже не бело-розовый, как в дни сушки, а бледно-желтый — настоящий рабочий, производственный дым,— от него уже пахло рудой и коксом. И сотни людей следили, как распластывается этот дымок в небе над горой Магнитной, и молчали: не было таких слов, какие могли бы достойно выразить их чувства. И у меня их не было...

Но чаще всего редактор посылал меня в дальнюю дорогу не ради рождения домны, а ради рождения человека, героя. Я находил этого человека где-нибудь на дне котлована, или на плотине (от резиновых сапог до брезентовой шляпы всего забрызганного хлопьями бетона), или у горна печи. И писал о нем. А тут же, вокруг моего героя и по дороге к нему или от него, всюду и везде — на воздушных перекрестках, в новых, еще не оштукатуренных гостиницах, на пустырях, в товарном вагоне, временно заменяющем вокзал на новой линии, в общежитии паровозных бригад или в глинобитных бараках — все время встречались сотни других, удивительных и не «указанных» редакцией героев; их имена еще никому не были известны, но о каждом из них уже хотелось писать. Мне вообще не приходилось встречать людей неинтересных: кто трудится, тому всегда есть о чем порассказать.

По-моему, именно в эти тридцатые годы уже стал явственно обозначаться характер нового человека на земле — советского человека, строителя социализма.

При этом все, что было драгоценно в русском характере, расцвело невиданно щедро и урожайно, а что было чуждого — от рабского прошлого, от идиотизма подневольной жизни, от власти кабака и тьмы — стало, шелушась, отлетать и пропадать, как струпья со здорового тела. И уже родились новые, советские чувства, и первым из них — чувство хозяина.

Чувство хозяина! Словно вся родина была теперь как один общий, мой и наш, дом, еще не достроенный, еще как следует не обжитый, но просторный, светлый и радостный и, главное, до слез родной и дорогой. И для того чтобы его достроить, да прибрать, да принарядить — нельзя теперь ничего жалеть: ни сил, ни жизни, и все можно претерпеть. То были трудные годы, и

со стороны казалось: немыслимы, не под силу человеческому существу этакие мечты и планы, этакие дела и сроки.

Но советскому человеку чудеса были с руки.

— Все могу! — гордо сказал он на весь мир.— Такое могу, что никто иной в мире не может! — И Громов полетел дальше всех, а Коккинаки — выше всех людей на земле; и с невиданной высоты ринулся вниз с парашютом Евдокимов; и туркменские конники на своих скакунах дошли от Ашхабада до Москвы, а из Москвы пошли в Кара-Кумы автомобили...

Что это было? Разинув рот, глазели иноземцы на чудо рождения нового мира и нового человека. Что это было?! Одни в недоумении разводили руками: славянская, непонятная душа! Другие, похитрее, объясняли все русской удалью, даже русским озорством. И всем этим прорицателям было невдомек, что это еще только разворачивается во всю свою мощь талантливый народ-хозяин; встрепенулись и взыграли в нем разбуженные подспудные богатырские силы; еще только забили живой водой родники народных талантов, а конца им нет и не будет, и коли есть у человечества светлое будущее, то — вот оно, родилось здесь.

У этого будущего были враги — давние и новые, большие и малые. Помню страшную январскую ночь на Зугрэсе — ночь аварии. Мы вбежали в цех и увидели лед на мертвом теле сожженного мотора — это была диверсия. Помню, вошел тогда в цех и один чужой, нерусский человек. Он был высок и худ, и звали его не товарищ, а мистер. Мистер Торнтон, фирма «Метро-Виккерс», Англия. Я не запомнил всех подробностей его истинно брезгливого и надменного лица; запомнил я плоскогубцы. Он держал их в руке и то и дело пощелкивал ими.

— О, теперь пуск нет скоро! — грустно покачивал он головой, а плоскогубцы в его руках весело щелкали.

Так впервые увидел я врага с плоскогубцами в руках, как видел раньше врага с кулацким обрезом под мышкой, а потом — врага с автоматом наперевес, и врага с вечным золотым пером и фотоаппаратом «контакс» через плечо, и врага в безукоризненном дипломатическом фраке. О, сколько врагов завывало и беснова-

лось вокруг нашей стройки, они и сейчас не перевелись! Дипломаты хотели задушить нас санитарным кордоном и блокадой, кулаки думали взять голодом, троцкисты — злодейским выстрелом из-за угла, иноземные писаки — клеветой; брызжа бешеными чернилами, сочиняли они о нас всякие небылицы, обзывали дорогие наши мечты сумасшедшим бредом и предсказывали крах пятилетки.

А мой народ, посмеиваясь над этими «пророчествами» и не боясь угроз, клал да клал кирпич к кирпичу; не давая себе ни отдыха, ни привала, шел своим великим путем к коммунизму.

Да, крылатые это были дни! Мудрено ль, что и мне не сиделось спокойно на месте? В те дни как раз начиналось наступление большевиков на Арктику. Я получил командировку редакции, купил себе оленьи пимы и пушистый малахай — и вот уже стоял на заснеженном аэродроме, готовый к «великим подвигам» и «великой славе».

Дядя Вася, полярный летчик, с которым я должен был лететь, встретил меня неласково, я не мог понять отчего — я перед ним еще ни в чем не провинился. Только потом, когда мы сдружились, он, глядя мне прямо в лицо своими чистыми, голубыми глазами, все бесхитростно объяснил:

— Я бы мог взять вместо тебя девяносто килограммов горючего!

Сейчас из Москвы на Диксон летают в любое время года, и днем и ночью, тратя на полет всего несколько часов. А тогда, шестнадцать лет назад, то был необычайный рейс: он продолжался месяц. И я узнал, что такое зимний перелет, и встречный ветер, и арктический мороз, когда даже одеколон замерзает в кабине; и вынужденная посадка на пустынном мысе, где учишься главной добродетели полярника — терпению; и буря в Дудинке; и наледь на Игарской протоке,— целый день мы артельно, веревками вытаскивали самолет из снежной каши, а потом триста игарских осоавиахимовцев маршировали, утрамбовывая площадку для взлета...

И я увидел: до чего же велика и причудливо-прекрасна наша родина! Проплыли под крылом самолета степи, горы, тайга, лесотундра, тундра,— и вот уже поет

мотор над скованным льдами горлом Енисейского залива, и все вокруг голубовато-бело и необычно, даже неправдоподобно, и это уже — Арктика!

Арктика! Вот такой виделась мне она из окон моей московской квартиры: белое безмолвие, одинокие избушки под снегом, долгие оленьи обозы да непонятные, суровые бородатые люди в мехах и коже, с ножом на поясе и винтовкою за плечами.

Сперва все сбывалось: были и снежные просторы, и голубые торосы, и тишина, и собачьи упряжки — и цугом и веером,— и на Диксоне нас встречали бородатые люди в кухлянках с капюшонами, и у многих из них на поясе действительно болтался охотничий нож с черенком из моржовой кости. А в кают-компании зимовки нас ждали бифштексы из медвежатины и нарезанная тоненькими ломтиками строганина из сырой замороженной рыбы, и спирт в большой баклаге, и противоцинготный экстракт из клюквы, такой кислый, что его иначе, как «окся-кокся», не звали. А на стене на почетном месте висел обломок авиационного винта, и через окно был виден старый диксоновский маяк — обледенелая деревянная вышка с зеленым колоколом. Я на все смотрел жадными, ненасытными глазами.

Но вот после первых тостов разговорились мы с зимовщиками о самом главном — об их жизни, и я вдруг с удивлением услышал знакомые речи и знакомые слова: план, соревнование, ударники... И тотчас же нас потащили и повезли — на собаках, цугом! — смотреть стройку: порт, линию причалов, угольную базу, радиоцентр, радиомаяк.

Люди показывали нам дела своих рук со знакомой уже мне тихой гордостью строителей, и я, улыбаясь, ждал, что и здесь, как на Урале или в Сибири, услышу обычное:

— Еще полгода назад тут ничего не было!

И вдруг я услышал такое, чего ни на Урале, ни в Сибири не слыхивал:

— Еще четыре месяца назад все это было под водой! — И нам рассказали историю радиоцентра на Диксоне.

Это случилось осенней ночью. Нежданно-негаданно налетел свирепый норд-вест и затопил у мыса Кречат-

ник баржу: на ней и был весь радиоцентр в ящиках. Строители видели, как погружается в пучину студеного моря их радиоцентр, ради которого, собственно, они и приехали сюда, на край света. Ну что ж! Их вины тут не было. Стихия! В бухте Диксон еще стояли корабли — можно было сесть и уехать восвояси. Можно было и не ехать! Просто остаться «зимовать», получать полярную зарплату и ничего не делать.

Но ни о том, ни о другом у людей на берегу даже мысли не было. Кончилось оцепенение первых минут, и все вдруг молча ринулись в ледяную воду. Все: и строители, и водолазы, и радисты, даже старичок врач, даже кухарка; прибежали ребята из порта и тоже бросились в море. Они все были хозяева, иного хозяина у них не было.

Много часов работали они в воде, пока последний ящик не был вырван, выхвачен из проклятой пасти моря. И тогда на берегу люди стали разбивать топорами ящики и спасать нежную радиоаппаратуру от ржавчины, как спасли ее от воды. Они все разобрали до винтика, все перетерли, все смазали маслом.

Все эти дни жили они под дождем и ветром в холщовых палатках на берегу, не зная ни отдыха, ни сна, ни горячей пищи, и только когда кончили, подумали, что теперь надо бы отдохнуть. Хорошо б отдохнуть теперь в тепле! Но отдыхать было некогда: надо строить. И они безропотно взялись за топоры и пилы.

Вечером мы сидели в уютной кают-компании на Новом Диксоне и тихо беседовали. О Большой земле. О Москве. О новом метро. Об отмене карточной системы. О театрах. О Качалове. О футболе. О том, что — верно ли? — Охотный ряд теперь не узнать. О карнавале в Парке культуры и отдыха. О новом кинофильме и песенке Лебедева-Кумача — надо бы ее разучить! Словом, обо всем, о чем могут говорить советские люди, даже если они встречаются на 73-м градусе северной широты.

А одна из зимовщиц ошеломила меня совсем неожиданным вопросом:

— Скажите, товарищ Бажанов, а что сейчас носят женщины на Большой земле?

Все засмеялись. Но она нисколько не смутилась, а только покраснела с досады и упрямо повторила:

— Нет, вы скажите! Какая сейчас мода? — И женщины за ее спиной поддержали ее нешумным хором.

Я растерялся.

— Не знаю,— пробормотал я. Действительно, ей-богу же, не знал, не имел об этом никакого понятия...

Но надо было отвечать. Я решил вспомнить, как одеты знакомые мне москвички. Сразу представилась Москва, ее улицы, толпы на них... Вдруг вспомнились знакомые парашютистки (не один я увлекался ими!): они носили синие комбинезоны с серебристыми «молниями» и кокетливые черные береты. Но это, кажется, не то, чего ждет от меня модница с 73-й северной параллели.

Вспомнились девчата с шахт метро. Они действительно были тогда царицами московских улиц. Как гордо шагали они по Москве в своих широкополых брезентовых шляпах, в резиновых сапогах, забрызганных бетоном и глиной, независимо заложив руки в карманы своих ватных брюк!

Вспомнилась самая красивая девушка столицы: ее пронесли первого мая через Красную площадь на огромном шаре. Она была в алой майке и трусах. Припоминались политотдельские девчата в желтых бараньих кожушках, туго перетянутых ремнями; трактористки в огромных щегольских рукавицах-крагах; знатные колхозницы, приезжавшие на слет в Москву. Обычно они были в темно-синих пиджачках мужского покроя и в ярких шелковых платках с бахромой.

Вспомнились девушки, каких я видел в театрах, в кафе, в парках: они одевались красиво, изящно, женственно, но каждая по-своему! А мода, черт подери, какая же мода царила у нас в Москве?!

Не помню, что я ответил тогда зимовщицам, что-то бессвязное и невразумительное, а сказать мне хотелось так: «Милые модницы! Я не знаю, какая сейчас мода в Москве, какой длины допускаются юбки и какой конструкции шляпки. Но не горюйте! Честное слово, даже здесь, на краю света, вы не отстанете от советской моды! И если вы появитесь в столице вот такими, как вы есть,— в меховых сапогах, расшитых бисером, в ватных штанах и оленьих малицах,— женщины Москвы с вос-

хищением и даже с завистью будут глядеть на вас и на ваш наряд».

Дядя Вася улетел, а я остался зимовать. Зимовка была дружная, веселая. Здесь, у самого Ледовитого моря, мы не чувствовали себя ни затерянными, ни забытыми. Большая советская земля была и далеко и близко. Каждый день мы слышали ее голос. Мы тоже жили в ее атмосфере, в ее воздухе, мы были вместе с ней в ее полете к звездам!

Когда случалась буря или «магнитные возмущения», я обычно просто прикладывал ухо к репродуктору — или репродуктор к уху — и слушал не радиопередачу (ее совсем не было слышно), а свист эфира, бурю мировых пространств, и в ней какой-то далекий-далекий, размеренный и мягкий стук, словно то стучало большое и доброе сердце родины.

Однажды — это было в мае, и слышимость была чудесная, а за окном розовыми горами лежал снег, осиянный незатухающим уже солнцем,— мы услышали речь Сталина.

Речь Сталина — всегда праздник для советских людей. А эта была таким торжественным гимном человеку, что каждый из нас вдруг почувствовал себя необыкновенно гордо! Это ведь и о нас было сказано, что «из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди...»

Весь вечер в кают-компании толпились, дымя трубками, взволнованные и оживленные люди: радисты, радиотехники, строители, механики, водолазы — те самые кадры, о которых так тепло сказал Сталин, что они решают все! Люди шумели, спорили, горячились... Как всегда после сталинских слов, надо было и жить и работать иначе, чем раньше,— лучше, чище, вдохновеннее...

— Теперь беспокойно надо жить, товарищи! — восклицал радиотехник Володя, парень с рыжими пушистыми «арктическими» бакенбардами.— Какая техника дана нам в руки, ребята, какая техника! Нансену и Амундсену такая и не снилась!

Хорошее, творческое беспокойство действительно охватило всю нашу зимовку; каждый захотел работать еще лучше. Скоро и у нас появились люди, знаменитые на всю Арктику.

Именно в эти же тридцатые годы впервые появилось в советском словаре понятие «знатный человек». Слова были старые, а понятие — новое, совсем новое, как новой, невиданной в истории человечества была и сама наша советская «знать».

В эту трудовую знать нельзя было вползти ни по протекции, ни по заслугам отцов, ни по счастливой случайности рождения. Слава перестала быть уделом избранных натур — завоевать ее мог каждый. Ее хватало на всех.

Впервые в истории человек «выбивался в люди», в знать, никого не давя, не подличая, не пресмыкаясь, а только трудясь, но трудясь честно и вдохновенно, в благородном соревновании с товарищами. И именитость ему не давалась навечно: вчерашнего героя забывали тотчас же, как только начинал он работать худо,— он уже не был ударником. Ударник — то было самое знаменитое и самое почетное звание в тридцатых годах; прославленных летчиков и полярных капитанов тоже называли ударниками. Но уже предчувствовалось, что скоро, вот-вот появится, должно появиться новое слово и новое имя, и оно заменит старое и обозначит собой новое явление и уже новую ступень.

Разумеется, я и не думал и мечтать даже не мог о том, что это имя явится впервые именно у меня на родине, в Донбассе, и будет оно — имя простого шахтера. Но жадно ловил я в эфире каждый звук о Донбассе. Опять туда, туда тянулась моя душа, туда летели и думы мои и сердце... Какая же колдовская сила в нем, в этом дымном, неприютном крае, чем приворожил он меня, чем к себе тянет?! Но, видно, суждено мне весь свой век тосковать в разлуке с ним, нетерпеливо к нему стремиться, и опять покидать его, и опять к нему возвращаться...

В августе закончилась наша зимовка. Пришли пароходы, привезли смену.

В последний раз собрались мы за общим столом. Смена произошла на ходу — так сменяются часовые. Прежний зимовщик снял спецовку, новый надел и подставил сильную спину грузам. Прежний механик слез с трактора, вытер руки паклей, новый сел на его место и поехал. Стали на вахту радисты, метеорологи, гидро-

логи, и новый аэролог уже запустил в небо свой пронизанный солнцем шар-пилот.

Две смены встали за общим столом. Два коллектива. Две зимовки. Из рук в руки бережно передается советский флаг. Старый начальник поднимает бокал и желает новой смене счастливой зимовки. Новый начальник чокается и отвечает: вам — счастливого отдыха!

В последний раз гудит пароходный гудок. Прощай, Арктика! Здравствуй, Большая земля!

...Только отчего же, когда стали таять в тумане черные скалы острова, вдруг странной болью сжало горло? Значит, и здесь, на этих скалах, остался клочок сердца. Теперь будет тянуть и сюда...

В Москве на вокзале меня встречали мои товарищи-журналисты. Шумной ватагой ринулись они ко мне, уже на ходу раскрывая объятия. Но, увидев меня, тут же и отступились. Я не оправдал их ожиданий. Я их разочаровал. Они приехали встречать подвижника, постника, арктического великомученика, а встретили поздоровевшего и раздобревшего парня, поперек себя шире.

Они были так озадачены, что долго не могли решиться предложить мне купленную заботливо и заранее путевку на курорт.

Однако на курорт я поехал, но пробыл там недолго.

Пришла телеграмма из редакции, и все во мне перевернулось: «Немедленно вылетай в Донбасс. Там начались чудесные дела. Рекомендую шахту «Крутая Мария».

Наутро я уже сидел в самолете. Было 2 сентября 1935 года.

После долгой разлуки я вновь возвращался домой Какие же чудесные дела начались там? Что увижу я? Кого встречу?

И мне вдруг вспомнилось далекое-далекое ноябрьское утро тридцатого года, дорога на «Крутую Марию», и косогор, и розовая заря над шахтой, и два мальчика... Как звали их? Что сталось с ними? Остались ли они, как клялись, на шахте, или бежали, и поток житейский унес их с собой прочь, как горная река уносит валуны и камни, шлифует, трет, бьет их и, наконец, вышвыривает где-нибудь на отмель?

Кажется, одного из ребят звали Виктором...

2

Жарким июньским полднем шли по рудничной улице два товарища; одного звали Виктор Абросимов, другого — Андрей Воронько. В июне 1935 года им обоим вместе было уже сорок пять лет.

— Вот и акация отцвела! — весело сказал Виктор. — Пора уж и в Чибиряки, друже!

Они каждую весну ездили в отпуск в Чибиряки. Они ждали этих дней всю долгую забойщицкую зиму. Мечтали о них. Заранее радовались встрече с родными, со школьными товарищами, с Пслом — тихой рекой их детства. «Хорошо у нас на Псле! — растроганно вспоминали они.— Нет, правда, хорошо!» И каждый раз, уезжая в Чибиряки, они прощались с шахтой так, словно отплывали куда-то далеко-далеко в иной мир, в мир безмятежного детства...

Но родные старились, друзья детства разлетались из Чибиряк по белу свету, знакомые девчата выходили замуж, и только Псёл, как всегда, неслышно катил свои волны, терпеливо выслушивал и признания и мечты и уносил их вниз, к морю... Добрая река — Псёл! Впрочем, в прошлом году друзья пробыли в Чибиряках только неделю — соскучились и вернулись домой.

Домой — это означало теперь на «Крутую Марию», на шахту. В конце концов настоящий дом у человека не там, где он отдыхает, а там, где он трудится.

Теперь они чувствовали себя дома только здесь, на «Крутой Марии», и нигде больше. Здесь были их интересы, их работа, их настоящие товарищи, соперники и враги. Здесь все их знали. Они шли по улице, то и дело здороваясь с прохожими и отвечая на поклоны. Они стали заправскими шахтерами, мастерами угля. Их пожелтевшие от времени и дождей портреты уже давно висели на доске почета у проходных ворот.

Они жили все в том же «общежитии дяди Онисима», но в отдельной комнате на двоих. У них все было общее, и если б один из них вздумал жениться — им нелегко было бы разделить надвое все их добро: книги, мебель, посуду и патефон.

Но о женитьбе они еще и не думали.

— Я б в этом году на курорт поехал...— задумчиво сказал Андрей.— К морю...

Виктор только засмеялся в ответ. Ну что ж! К морю так к морю! Они могут поехать, куда захотят. Им охотно дадут путевки. А нет — купим! Вчерашняя получка еще вся целиком лежала в кармане; Виктору казалось, что они с приятелем могут купить весь мир.

Они шли по улице без цели, вразвалку, и не гуляя и не торопясь. Лениво перебрасывались шутками с прохожими, курили, не вынимая рук из карманов, а только перекатывая папиросу языком из одного уголка рта в другой.

Оба были в одинаковых темно-синих праздничных костюмах, кепках-капитанках с лакированным козырьком и в рубашках зефир без воротничков. Да и в самом деле, на кой черт им эти воротнички-удавы? Здесь, на рудничной улице, они все равно дома. Их и так знают! Все девчата на шахте скажут, какие у Виктора галстуки: он любит пестрые, яркие — красные с синим горошком или светло-табачные с искрой. А Андрей и вовсе галстуков не носит, они ему не идут, стесняют его; он любит вышитые сорочки. Но сегодня он тоже надел рубашку зефир, без воротничка, но с болтающейся запонкой. В этом и был их шик — небрежный шик озорных, неженатых парней-шахтеров: им все можно!

— Ишь женихи скаженные! — сказала вслед им пожилая баба у колодца.

Они услышали и громко на всю улицу захохотали.

Они были молодые, свободные, здоровые парни. Смутно чуяли они в себе огромную, тревожную и наивную душевную силу; они не могли израсходовать ее всю в забое, и она томила их... Было предчувствие, что ждет их обоих большая дорога и необыкновенная судьба, но они не знали какая и угадать не могли. Так бывало всякий раз в воскресенье, в свободный день. Проснувшись, они уже не знали, куда девать себя и свою богатырскую силушку, и она бродила в них, как хмель, и тревожно играла в жилах. И они сами не знали, что станут делать с собой через час,— пойдут ли слушать лекцию, или пить пиво... Но им обоим хотелось, чтоб в это утро случилось с ними, наконец, что-нибудь не-

обыкновенное и непременно красивое и благородное, потому что навстречу красивому и доброму были распахнуты их души.

Заложив руки в карманы, шли они, чуть покачиваясь на ходу, по улице, и жужелица похрустывала под их ногами, а в карманах позвякивала серебряная мелочь. Было жарко, и от раскаленного зноем террикона, как от огромной печи, текли в поселок неспешными волнами струи жара и едкие запахи серы: то тлел колчедан на глеевой горе.

Нечаянно для самих себя ребята очутились на базаре. Здесь было еще жарче, и лошади у колхозных возов понуро дремали, сонно отгоняя хвостом жирных, ленивых базарных мух. Разморенные жарой, молчали продавцы; покупателей было мало. Был уже полдень, и базар дотлевал, как брошенный костер, который зажгли для дела, а потом ушли и забыли погасить.

Ребята лениво пошли меж рядов, и опять у Виктора было гордое сознание, что он может купить любую вещь, и поэтому покупать ничего не хотелось.

— Продаю счастье! — вдруг услышали они за спиной равнодушный голос и, обернувшись, увидели человека в помятой зеленой цыганской шляпе со шнурком вместо ленты; на плече его сидел старый сердитый попугай.

— Продаю счастье! — лениво повторил человек в зеленой шляпе и покосился на молодых шахтеров. Это был не цыган, а русский старый человек с добрыми и грустными глазами и отвислыми усами, весь какой-то помятый и облезлый, как и его птица.

— Счастье продаете? — усмехнувшись, спросил Виктор.

— Продаю,— спокойно ответил человек с попугаем, словно он продавал спички.— Купите.

— А зачем нам счастье? — засмеялся Андрей.

— Нет, постой! — остановил его Виктор, озорно блеснув глазами.— Ты погоди! А в чем же оно заключается, ваше счастье? — спросил он продавца.

— А вот попка вытащит, вы и узнаете...

— А вы сами не знаете?

— Как я могу знать? — пожал плечами продавец счастья.— Мне это знать не положено.

— Что же, выходит, попка умнее вас?

— Попка? Нет! Он дурак. Как может птица быть умней человека? — вдруг обиделся он.— Это вы против бога говорите. Нельзя!

— А вы и в бога верите? — усмехнулся Андрей.

— Ну, не бог... природа... наука... все едино! — уныло разъяснял продавец. Его тоже разморили жара и сонная тоска потухающего базара. А может быть, он был просто голоден.— Счастье. Судьба.

— Интересно! — расхохотался Виктор.— А ну, продайте-ка на пятак счастьица...

Продавец снял попугая с плеча и подставил ему ящичек с билетиками.

— Попка, попочка! — ласково сказал он сердитой птице.— Вытащи-ка счастье молодому человеку.

Попугай зло клюнул в ящик и вытащил билет. Виктор прочел: «Вы родились под знаком Зодиака. Вас ждет неожиданное счастье, но бойтесь зеленого глаза и плохого соседа».

— Так! Ясно! — захохотал Виктор.

— Купите и вы, молодой человек! — обратился продавец к Андрею.

Попка опять сердито клюнул и вытащил билетик. Андрей, невольно волнуясь, развернул желтую бумажку, словно в ней действительно было предугадано, что ждет его в этой жизни, и прочел: «Вы родились под знаком Зодиака. Вас ждет неожиданное счастье, но бойтесь зеленого глаза и плохого соседа».

— Это что же? — рассердился Андрей.— Выходит, все билетики одинаковые?

— Нет...— смущенно пролепетал продавец.— Бывают разные...Какая судьба...

— Это судьба у нас с тобой одинаковая! — смеясь, вскричал Виктор и хлопнул приятеля по плечу.

Но честный Андрей разозлился не на шутку.Теперь было стыдно за секундное волнение, когда разворачивал билетик, и обидно, что над ним так подшутили дурацкая птица попугай и этот старый плут в зеленой цыганской шляпе.

— Дурак ваш попка! — сердито сказал он.— И вы, хоть старый человек, а обманщик... В милицию надо за такие дела...

Продавец счастья уныло слушал его, не пытаясь ни спорить, ни бежать. Вероятно, его много били в жизни,— он был философ.

— Ты не горячись, Андрей, стой! — сказал Виктор.— Я конкретно желаю про наше с тобой счастье выяснить. Почем весь ящичек? — спросил он вдруг продавца.

Тот растерянно посмотрел на него.

— Чего?!

— Знаешь, кто ты таков есть? — рассмеявшись, сказал Виктор.— Ты живой пережиток капитализма в сознании людей. Понятно? Ну, вот!.. А я желаю все твои билетики оптом купить, весь опиум сразу.

— Так ведь тут же разные предсказания, вам все не подойдет,— запинаясь, начал продавец счастья и от волнения даже шляпу снял, обнаружив седую плешивую голову.— Пять рублей! — вдруг сказал он и покраснел.— Ну, три давайте!..— И он, как попугай крылом, махнул зеленой шляпой.

Виктор, ухмыляясь, дал ему три рубля и высыпал все билетики в свою кепку-капитанку.

— Ну вот! — довольно сказал он, тряся кепку с билетиками.— Теперь я буду торговать счастьем.

Дурачась, двинулся он вперед, выкрикивая на ходу: «Продаю счастье, продаю счастье!» Но базар уже опустел; только на запоздалом возу, застрявшем среди площади, встрепенулась молодуха, стала тормошить мужа:

— Петро, а Петро! Ты чув? Щось продают. Может, нужное?

Но Петро только лениво отмахнулся в ответ:

— Та нет! То агитация! — Он, видно, принял Виктора и Андрея за затейников из Дворца культуры.

Виктору стало скучно. Опять не знал он, что делать, куда девать себя в это нерабочее утро.

— Пойдем пива выпьем, что ли? — неуверенно предложил он.

— Нет. Неохота,— отозвался Андрей.— Пойдем лучше на вокзал. А?

— Ну что ж!

И они пошли на вокзал.

3

Они шли старой, знакомой дорогой. Когда-то этой дорогой бежал Виктор с шахты, и верный Андрей пошел тогда вслед за товарищем, чтобы вернуть его. Страшная это была ночь! Но сейчас они и не вспомнили о ней.

— Смотри! — сказал Андрей.— А трамвай уже почти готов. Вот смеялись, смеялись над горкомхозом, а смотри-ка!

Виктор рассеянно взглянул на трамвайную линию — действительно, все готово!

— Да...— сказал он.— Это хорошо!.. Большое удобство людям.

Он все еще держал в руках капитанку с билетиками. Наконец, сам заметил это и расхохотался.

— Ну, а с этим что делать?

— А выбросить! — посоветовал Андрей.

— Нельзя! — серьезно возразил Виктор.— Три рубля плачено.

Он встряхнул кепку и вдруг решил так и надеть ее прямо с билетиками на голову.

— Ну, Андрей, а какое у тебя мнение насчет счастья?..

— Та отстань ты, пожалуйста!..

— Нет, ты скажи!.. С марксистской точки зрения...

— Ну, счастье и счастье...

— А все-таки?

— Ну, это,— Андрей с усилием выдавливал из себя слова,— это, по-моему... как тебе сказать... ну, исполнение всех моих желаний, что ли...

— А какие твои желания?

— Ну, работать хорошо... и в дальнейшем расти на работе... Та отстань ты, ей-богу!

— Д-да...— усмехнулся Виктор.— Ну, работа работой, это хорошо!.. А для себя?

— Что для себя?..

— Ну, для себя что?..

— А я, что ж, на чужого дядю работаю? Чудак ты, Виктор!

— Да... Верно,— согласился Виктор.— Но вот ты

говоришь: счастье! А слава? Разве счастье не в славе? Ты о славе мечтал, Андрей?

— О чем? — удивился тот.

— Ну, например, о славе!..

— Мы не летчики!

— А все-таки?

— Чудак ты, Виктор! — пожал плечами Андрей.— Какая ж может быть у шахтера слава! Наша с тобой слава под землей ходит, ей на люди и выходить-то неудобно. Она ж чумазая, черная...

— Д-да... Конечно, какая это слава? — опять согласился Виктор.— Вот наши с тобой портреты который год висят, а где нас, кроме «Марии», знают?..

— Главное, чтоб совесть перед людьми была чистая,— назидательно сказал Андрей,— а слава — бог с ней!..

— Ну, а любовь?

— Любовь?..

— Ну, хотя бы любовь...

— Любовь...— задумчиво повторил Андрей.— Любовь — это да... Это, говорят, счастье...

— А ты откуда знаешь?..

— Так я ж сказал: говорят...

— Ой, Андрей! — лукаво засмеялся Виктор.— Подозреваю я, что ты влюблен.

— Я?! В кого?!

— А это тебе видней, в кого...

— Та, ей-богу ж, Виктор... Та провалиться мне на месте...— заволновался Андрей.

— Ладно, ладно! Выдавай свой секрет.

— Та какие ж у меня от тебя секреты?

— Черт тебя разберет. Ты хитрый!

— Я?!

— Ты.

— Я?! — Андрей чуть не заплакал от обиды.— Бессовестный ты! — сказал он дрожащим голосом.— Если ты на Веру намекаешь, так я ж тут при чем?

— А кто ж при чем? — посмеивался Виктор.

— Я ж ею ни капельки не интересуюсь...

— Развратный ты человек, Андрей! — смеясь, сказал Виктор.— Вскрутил девочке голову, а теперь — в кусты...

— Так когда же я ей вскрутил? — взмолился совсем расстроенный Андрей.— Я ж с нею и слова не сказал ни разу. И не целовались мы никогда...

— Ладно, ладно! — поддразнивал Виктор, зная, что попадает в больное место. Андрей нежданно-негаданно, себе на беду, покорил хрупкое сердечко Веры, дочери старика соседа. Он долго даже не подозревал об этом, а когда ему сказали ребята, вспыхнул, покраснел и разозлился на «кучерявую дуру», как он ее тут же назвал. Скромный и честный, он не мог не почувствовать, как легла теперь на его душу ответственность за эту чужую, ненужную ему любовь. И не знал, что делать.

— А вот я ее оттягаю за косы,— мрачно сказал он,— сразу вся дурь пройдет.

Они уже подходили к вокзалу.

— Где тебе! — смеясь, сказал Виктор.— Вот увидишь, она еще тебя на себе женит.

— Та ни в жизнь! — вскричал в ужасе Андрей и испуганно оглянулся.

— Женит, женит! Пойдем лучше, пока ты еще холост, в буфет, пива выпьем. А то потом жена не даст.

Они зашли в буфет и спросили пива. На вокзале было оживленно — ждали скорого Москва — Минеральные Воды.

— Поедем на Минеральные Воды, Андрей, а?..

— Нет. Я к морю хочу,— задумчиво отозвался тот, вытирая с губ пену.

— Ну, к морю так к морю. Все одно минеральные воды не полезны для шахтерских желудков. Я так считаю, а?..

Наконец, пришел скорый. Ребята вышли на перрон. Поезд стоял здесь всего минуту. Они проводили его спокойным, чуть-чуть насмешливым взглядом, без тоски и зависти. В чем дело? Они и сами могли поехать на курорт в Минеральные Воды! Но Андрей хочет к морю.

Поезд прошел, оставив за собой облако пара и дыма, и перрон опустел. Только одна девушка, вероятно пассажирка скорого, осталась на перроне. Она стояла спиной к ребятам, стройная, молодая, в строгом черном костюмчике; пикейный беленький воротничок кокетливо высовывался из-под пиджачка.

— Э-э! — восхищенно прошептал Виктор.— Обратите внимание! — Он подмигнул приятелю и вдруг беглым шагом подошел к девушке. Андрей за ним.

— Поднесем, барышня? — крикнул на ходу Виктор, подражая носильщикам.

Девушка обернулась и радостно вскрикнула:

— Виктор!

Он остолбенел.

— Даша, ты? — не то удивленно, не то разочарованно произнес он. Так это только Даша, дочь дяди Прокопа! Но как она изменилась! Действительно, стала городской барышней, совсем киноактриса, красивая, стройная — и чужая. И все-таки это только Даша — девчонка, которую они когда-то чуть не оттаскали за косы в полутемном штреке.

А она стояла перед ними веселая, возбужденная, даже уши от волнения порозовели, и улыбалась обоим. Так всегда бывает, когда после долгой разлуки возвращаешься домой, к родным местам; первый встретившийся знакомый кажется тебе самым родным, самым близким человеком на земле.

— Какие вы оба здоровые стали, черти! — говорила она, тряся их руки.

— А ты? Совсем дама!

Они говорили теперь наперебой, почти не слушая друг друга. Только Андрей молчал, он вдруг оробел.

— Так ты на каникулы?

— Ой, так соскучилась!

— А мы и не думали, не гадали. И дядя Прокоп ничего...

— Я так соскучилась, так соскучилась...

— Ты б хоть телеграммой предупредила...

— А зачем? Я взрослая! И потом, я думала — трамвай...

— Трамвай скоро пустят! — сказал вдруг низким басом Андрей и смутился. Он был совсем подавлен. Нет, это не Даша, какую некогда знал он смешной, чумазой девчонкой-ламповосом, с русыми тощими косичками. Теперь это барышня, студентка Горного института. Вот какой у нее крутой и высокий лоб! Андрею казалось, что никогда еще не видел он девушек с таким умным лбом. А глаза?! И глядит она смело, открыто,

весело, прямо в лицо человеку, не то что та «кучерявая дура». Нет, никогда еще не встречал Андрей столь прелестной и столь недоступной девушки, как эта Даша. Он смотрел на нее исподлобья, украдкой, но уже не отрываясь. И сам на себя злился, что смотрит: «вот уставился, как баран на новые ворота», а не смотреть не мог. «Светик!» — вдруг вспомнил он, как звали ее шахтеры когда-то.

— Что ж мы стоим тут, як дурни на свадьбе? — спохватился Виктор. Он взял чемодан Даши и приподнял его: чемодан был нелегкий.— Ого! — сказал он.— Меньше як за трояк не понесу!

Он чувствовал себя с Дашей так же легко и свободно, как с любой рудничной девушкой. В конце концов это ведь только Даша, вот и носик у нее смешной, курносый, и веснушки, и волосы растрепались из-под берета, и вообще ничего особенного, просто милая, хорошенькая девочка, он и не таких видал!

— Ну, пошли, что ли! — громко сказал он.— По дороге чи навпростец?

Решили идти «навпростец», через степь в Гремячую балку,— так ближе, а тропинки все известны наперечет. Сразу же и двинулись, и Даша, уже на ходу, нетерпеливо стала расспрашивать, что нового на «Крутой Марии», какие новости. Новости? Виктор только удивленно пожал плечами. Какие ж могут быть новости на шахте! Работаем...

— Сейчас мы на новом горизонте работаем,— сказал он.— На горизонте шестьсот сорок. Недавно подготовили.

— Знаю,— отозвалась Даша.— Мой батя тоже там.

— Как же! Он як раз у нас начальником участка.

— А что батя? Постарел? Да? Сильно постарел?

— Так как же он может постареть? — удивился и даже обиделся Виктор.— Нет, постареть он никак не может! — прибавил он с суровой нежностью, с какой всегда говорил о старике, о своем учителе.

— Все-таки! — озабоченно вздохнула Даша.— Ему как-никак уже пятьдесят семь...

— Он нас сам пригласил к себе на участок работать,— гордо сказал Виктор.— Правда ж, Андрей?

— Правда...— пробурчал тот.

— Ну, а еще что нового? — спросила Даша.
— Ну, новую подъемную машину установили.
— Мощную?
— Та хватает! Абы было чего качать...
— А с добычей как?
— План выполняем...
— И звезда горит?
— Та горит!
— Еще вентилятор у нас теперь новый...— негромко напомнил Андрей.
— Да! — засмеялся Виктор.— Поставили-таки. Там такая музыка! Оркестр.
— Осевой вентилятор? — заинтересовалась Даша.
— Та какой же еще, осевой!.. Там така музыка!.. Его за шахтой поставили, в Шубинском лесу. Он за сто верст воет, як домовой. Вот послушай. Мабуть, и тут слышно.
Они остановились и прислушались. Вокруг них все гудело, пело и выло на все лады. Где-то лязгало железо, ухал паровой молот, можно было различить и резкий, крикливый голос станционной «кукушки» и стрекот электросварочного аппарата, но все эти разнообразные звуки все же сливались в один басовитый, многотонный и общий гул, и в нем невозможно было разыскать и выделить ровное, заунывное гудение вентилятора «Крутой Марии».
— Нет, тихо. Не слыхать,— с сожалением сказал Виктор. Ему и в самом деле казалось, что над степью висит нерушимая тишина: к обычному же привокзальному и рудничному гулу он давным-давно привык и просто не замечал его, не слышал.
Андрей взвалил Дашин чемодан на плечо. Двинулись. И Даша снова начала жадно выспрашивать новости.
— А правда, что вентиляционный ствол проходить начали? — спросила она.
— Та начали понемногу...
— А где, где?..— встрепенулась Даша. Она интересовалась этим не только как студентка Горного института. Она с детства привыкла жить жизнью шахты. И с детства же привыкла радоваться при словах «новая проходка».

Вообще новостей на «Крутой Марии» оказалось неожиданно много, особенно когда стали перебирать людей: кто умер, кто уехал, кто пошел на выдвижение, а кто и загремел вниз, а этот женился, а другого взяли в армию, а тот справил себе собственный домик в три окна и даже корову купил...

— А вы не женились, ребята? — лукаво спросила Даша.

— Для нас еще невесты не родились! — гордо ответил Виктор.— А ты?

— Я? Вот еще глупости!

— А то в Москве женихов много. За артиста хочешь пойти?

— Почему ж за артиста? — удивилась Даша.

— Та вы все ж с ума по артистам сходите и карточки собираете! — презрительно сплюнул Виктор.— Я ж вас знаю! Много у тебя карточек?

— А вот ни одной нет!..

— И правильно! Разве ж артист тебя возьмет? Ты ж у нас курносая да конопатая...— Виктор всегда так ухаживал за девушками, и чем больше девушка ему нравилась, тем больше дерзостей и грубостей он ей говорил. Но Даша нисколько не обиделась на него, только презрительно хмыкнула,— она эту манеру коногонского «кавалерничанья» знала!

— Ничего,— сказала она, беспечно тряхнув головой.— Найдутся такие, которые и конопатую засватают.

— Вполне возможно! — подхватил Виктор.— Как говорится, на всякую кривую невесту есть свой слепой жених.

Они спустились уже в Гремячую балку и шли по тропинке среди зеленой веселой ольхи и молодого орешника...

— А что Митя Закорко еще тут, на шахте? — будто невзначай спросила Даша.

— Тут! А куда ж он денется? — отозвался Виктор и тотчас же подозрительно остановился.— А тебе Митя зачем?

— А он писал мне, что будто берут его во флот.

— А-а! — с неожиданной для самого себя и непонятной ревностью воскликнул Виктор.— Так вы в переписке?

— Ну и что с того? — чуть смутилась Даша, но тотчас же гордо вскинула голову и прямо в глаза посмотрела Виктору.

— Ну, не знал я, что ты в Митю Закорко влюблена! — усмехнулся он.— Что ж, Митя хлопец хоть куда. Только рыжий.

— Да ты знаешь ли, какой Митя парень? — вдруг горячо сказала Даша.— Ты по виду не суди. Он всю семью кормит и тянет. А знаешь, какая у них семья? Мал мала меньше. А отца нет...

— Ладно, ладно! — обиженно проворчал Виктор. Он терпеть не мог, когда при нем кого-нибудь хвалили, тем более Митю Закорко, вечного соперника.— Целуйся со своим Митенькой, не прекословлю.— И он замолчал, надувшись.

Молчал и Андрей. Он совсем вспотел под своей ношей, но виду не подавал. Чемодан был тяжелый, парни несли его по очереди. Но Андрей неохотно уступал очередь товарищу: если б ему позволили, он и Дашу понес бы на руках в поселок.

Но Даша уже заметила, что парень устал.

— Давай я теперь понесу! — предложила она и взялась за чемодан.

— Что вы, что вы! — вскричал Андрей, сам не замечая, что называет Дашу на «вы».— Как можно? — Он рывком переложил чемодан с плеча на спину, согнулся и побежал вперед, словно боялся, что у него отнимут драгоценную ношу.

Виктор уже заметил это «вы» и тотчас же подхватил его.

— Что вы, товарищ горный инженер? — с усмешкой сказал он Даше.— Не извольте беспокоиться, товарищ горный инженер! Чего вам утруждаться? Он мужик черный, шахтер, мурло — он и донесет! Эй, ты, ходу! — крикнул он приятелю и, вложив пальцы в рот, дико, по-коногонски свистнул.

— Как хотите! — презрительно пожала Даша плечами.— Кавалерничаете? А я б и сама донесла... Подумаешь!

— Да нет, что вы, товарищ горный инженер. Зачем же? — продолжал ломаться Виктор.— Вы ж, простите за выражение, девушка. Существо хрупкое, душистое,

як монпасье... Ручки у вас тоненькие, ледащенькие; косички, як мышиные хвостики. Та куда вам в шахту! Вас и Митенька не пустит...

Даша не выдержала и рассердилась.

— Ну ты, легче! — сказала она в сердцах.— Ты-то сам кто? На шахте без году неделя, а туда же!.. А я родилась тут,— гордо сказала она.— Я еще помню, ты, как заяц, бегал по штреку...

— Ка-ак? — с хорошо разыгранным удивлением вскричал Виктор.— Так вы здешняя?! А я-то, дурень, думал... Так ты шахтерка?! Тю! — И он, вполне довольный собой, свистнул. Андрею внезапно захотелось поставить чемодан наземь и в первый раз в жизни от всей души избить друга.

Но Виктор, уже считавший, что спектакль удачно закончен, снял свою капитанку, чтобы вытереть потный лоб, и из кепки, как желтые бабочки, полетели билетики.

— Счастье, счастье летит! — закричал он.— Эй, держи! Лови счастье! — и сам стал ловить листки на лету.— Даша! Хочешь свою судьбу узнать? — весело обратился он к девушке.— Ну, Даша?

— Отстань! — отмахнулась от него еще сердитая Даша.— Ты меня лучше не затрагивай!

— Ты чего? — искренно удивился он.— Обиделась?

Он сказал это так простодушно, что Даша невольно засмеялась. Действительно, на кого обижаться-то?

— Ну, давай свое счастье! — снисходительно сказала она.— Эх, ты...

Виктор засуетился.

— Эй, попка, попочка! — подмигнул он Андрею.— А ну, вытащи-ка милой барышне ихнее счастье... Самое наилучшее...

— Нет, нет, я сама! — живо сказала Даша.— Какой рукой брать, левой? — и она взяла билетик левой рукой.

— Вслух, вслух читай!— нетерпеливо закричал Виктор.—Так не годится.

— Боже, глупость какая! — передернула плечиками Даша, прочитав билетик.— Ну, изволь! «Вы родились под знаком Козерога. Вас ожидает удача во всем, кроме семейного счастья. Остерегайтесь черных глаз. Окон-

чательное счастье найдете с серыми». Вот чепуха-то.— И она, сердито скомкав бумажку, швырнула ее в траву.

Виктор расхохотался.

— Ты не расстраивайся, Даша, береги здоровье! Ну, что такое семейное счастье? Трын-трава! Ты и старой девой проживешь, вполне свободно...

— Я не расстраиваюсь, вот еще!..— фыркнула Даша.— Кто это сказал, что я хочу замуж? Еще попадется такой охломон...— Она посмотрела на Виктора и вдруг вскрикнула.

— Что ты? — испугался Андрей.

А она только показывала пальцем на Виктора и хохотала; смех у нее был звонкий, мальчишеский, во все горло; так коногоны хохочут в шахте — кровля дрожит; горожане так смеяться не умеют! И Андрей радостно засмеялся вслед за нею, сам еще не зная, чему смеется.

— Смотри, смотри!..— восклицала она сквозь смех и все показывая пальцем на Виктора.— Вот они, черные глаза!.. Ой, страшно!..

Виктор смутился.

— Ну и что ж, что черные? — пробормотал он.— Вот ерунда какая!

Теперь он рассердился. Он не любил, когда смеялись над его внешностью или костюмом. Он считал себя красивым парнем и гордился этим. Особенно глазами. Их действительно боялись рудничные девчата. «Огненные у меня глаза!» — любил по-мальчишески думать про себя Виктор.

— Эй, черноглазый! Куда же ты? — крикнула Даша и насмешливо запела: — «Очи черные, очи страстные... Как боюсь я вас, в мой последний час...»

Он вдруг круто обернулся к ней.

— А то не боишься? — хрипло спросил он, прищуриваясь.— Будто?

— Видали мы таких! — немедленно ответила ему со смехом Даша. Она ничьих глаз не боялась. Она была истая шахтерка и дочь шахтера, девчонка смелая, независимая, гордая; она часто повторяла любимую поговорку отца: «У шахтера спина гнется только под пластом, а перед людьми никогда не гнется!»

— Ну-ну, посмотрим! — протянул Виктор и недобро усмехнулся.— Подумаешь — цаца московская!

Но тут вдруг Андрей рывком свалил чемодан с плеча наземь и подвинул его Виктору.

— Неси! — хрипло приказал он.

— Что? — не понял тот.

— Неси, черт! — яростно заорал Андрей, да так, что даже Даша вздрогнула.

Никого на свете не боялся Виктор, сам первый драчун, а кроткого и смирного друга своего боялся. Он уже знал, что бывают такие минуты, когда Андрея лучше не трогать. Послушно взял он чемодан на плечо и молча пошел вперед. Удивленная Даша чуть ли не со страхом уставилась на Андрея. «Да он бешеный какой-то!» — испуганно подумала она. Но ничего не сказала. Ей еще трудно было разобраться в характерах обоих своих неожиданных «кавалеров» и в их странной дружбе.

Да и разбираться-то было некогда! Они уже входили в поселок, и от шахты, садов и огородов уже пахнуло на Дашу знакомым и милым дыханием, той странной смесью запахов зелени и гари, жилья и степи, разгоряченной земли и тихого, стоячего ставка, сожженной зноем травы и влажного пара над кочегаркой, жужелицы и полыни, пыли на дороге и бесстрашных цветов в палисадниках, дикой маслины в балке, чебреца на кладбище, угля, курившегося на сортировке,— тем неповторимым, терпким и для чужого непривычным букетом, какой только шахте одной присущ, а для каждого шахтера только одно и означает: запах родного дома.

Дома... «Вот я и дома! Дома!» — и удивляясь, и ликуя, и чуть не плача от радости и умиления, думала Даша. И уже не шла, а бежала по улицам. Вот школа, где когда-то, да нет, совсем недавно училась она. Вот парк. Сейчас будет сухая, неглубокая балка... вон она... и тропинка вот... И крутая круча над яром. Милая круча — Гималаи детства!.. Теперь — Собачевка. Постой, где же она? Собачевки нет. Как же? Но это после, после... Вот зеленая Конторская улица, директорский сад... Потом — улица Ударников, беленькие каменные домики, все одинаковые, с палисадниками, и анютины глазки, и гвоздики, и ночные фиалки — шахтерская услада. И вот, наконец, вот — как стучит сердце! — вот знакомая калитка... Дома!

Даша остановилась.

— Ну, спасибо вам, ребятки, что помогли! — торопливо сказала она, протягивая обе руки своим кавалерам.

— Ну, что ты, что ты, пожалуйста! — галантно ответил Виктор и задержал Дашину руку в своей.— Когда ж мы увидимся теперь, Дашок?

— Увидимся.

— Нет, так нельзя! Ты свидание назначь. Как полагается.

— Хорошо. Послезавтра.

— Та ну? Где? — обрадовался Виктор.

— В шахте.

— Э, нет! — засмеялся Виктор.— Моя любовь облаков требует! Ей под землей тесно...— И он легонько, но уверенно обнял девушку за талию.— Так как же, а?..

Даша проворно выскользнула из его рук и побежала к калитке. Но вдруг что-то вспомнила, остановилась. Вытащила портмоне из кармана.

— Получите! — сказала она, протягивая Виктору трехрублевку.— Сдачи не надо.

— Это что, зачем? — опешил тот.

— А как уславливались! До свиданья, ребята! — и, звонко расхохотавшись, скрылась за калиткой.

А Виктор так и остался с трехрублевкой в руке...

4

Впрочем, что касается Виктора, то на следующее утро он ни разу и не вспомнил о Даше. Правда, в забое он вообще редко думал о постороннем. Еще по дороге на шахту, в клети, даже в штреке он мог и шутить и балагурить с товарищами; тут он еще был тем бедовым Виктором, каким его все на шахте знали. В забое же он сразу становился другим. Сжатый воздух, с силой попав в его отбойный молоток, словно перетряхивал и самого Виктора. Он делался и суровее и старше.

— Дядя Виктор! Лес на месте,— докладывал ученик, щуплый, мечтательный Паша Степанчиков.

— Хорошо,— отрывисто бросал мастер. Цеплял лампочку за обапол. Оглядывался.— А воздух? — строго спрашивал он.

Он приступал к работе с такой жадностью, словно изголодался по ней, словно жизнь вне забоя была ненастоящей, зряшной, пустопорожней жизнью, а настоящая жизнь только тут, в уступе; вот он до нее, наконец, дорвался и теперь надо жадно хватать ее и пить, пить, пить досыта...

Резким движением присоединял он молоток к шлангу, нетерпеливо открывал кран воздушной магистрали, словно и воздух этот был нужен не молотку, а ему самому, словно ему без этого воздуха дышать нечем. Беспокойно ощупывал он пальцами резину шланга и чуял, как упругой походкой бежал воздух — точно горячая кровь по жилам,— как мгновенно густела и твердела под рукой резина, наливалась неукротимой силой... И вот вздрогнул, наконец, молоток, ожил, стал живым и нетерпеливым; он уже сам тащит Виктора за собою к углю, на битву. И вместе с ним, послушный его властному зову, врывается, разъярясь, шахтер в вековые недра — и рушит, и рушит, и рушит...

Отбойный молоток никогда не был для Виктора только орудием труда, простым инструментом, который кормит шахтера. Для Виктора его молоток был почти живым, почти человеческим существом, как конь для коногона, собака для охотника, лодка для рыбака.

Впервые Виктор увидел отбойный молоток пять лет назад. Тотчас же после возвращения на «Крутую Марию» Андрей торжественно, как на смотрины, привел его в уступ к дяде Прокопу. Андрей волновался — ему очень хотелось, чтоб молоток понравился товарищу.

— Можно вашу технику посмотреть, а, Прокоп Максимович? — попросил он, и забойщик охотно позволил: он любил показывать свою «технику». Сам он крепил сейчас.

Молоток лежал в сторонке. Прежде всего он показался Виктору нисколько не похожим на молоток,— от обыкновенного молотка в нем действительно ничего не было, скорей был он похож на бур или даже на легкий пулемет. Он вообще больше казался оружием, чем инструментом. Виктор взял его в руки: молоток был тяжелый, куда тяжелей обушка, но это Виктору даже понравилось. Понравилось и то, что, несмотря на угольную пыль в забое, молоток был чист; Виктор погладил

ладонью металл раз и другой — пальцам было приятно...

Вдруг молоток, как живой, подпрыгнул в его руках — это дядя Прокоп незаметно включил воздух, а Виктор как раз нажал на рукоятку, и его встряхнуло и затрясло...

— Что, выходит, конь-то мой с норовом, брыкается? — довольно засмеялся дядя Прокоп, видя, как вырывается отбойный молоток из рук Виктора. Парень еле удерживает его, но не сдается, еще сильнее жмет на рукоятку.— Ну, ничего, ничего! Коня всякого оседлать можно.

А у Виктора в самом деле было сейчас такое чувство, словно он держит под уздцы горячего жеребца, а тот рвется из рук и злобно фыркает. И захотелось железной рукой обуздать непокорного строптивца да вскочить на него и, дико гикнув, понестись, как ветер.

— Дядя Прокоп! — сказал Виктор, опуская молоток.— Возьмите меня в ученики. Ладно?

— В ученики? — удивился мастер.— Да ты ж, говорят, учиться не любишь. Гордый.

— Возьмите! — снова тихо попросил Виктор.

Так появился «университет» дяди Прокопа, сразу вызвавший много и разговоров и толков на шахте.

— Ты что ж, помесячно со своих студентов берешь али поурочно? — спросил Прокопа его тесть, ядовитый старичок Макар Васильевич, когда они семейно ужинали вечером под воскресенье.

Прокоп только добродушно засмеялся в ответ.

— Та невжели ж даром? —изумился тесть.— Ну и ну! Значит, за спасибо стараешься?

— Мне и спасиба не надо.

— И не жди! Молодежь, она, брат, на спасибо забывчивая. У тебя же выучился, да тебя ж и обгонит, да еще срамить будет...

— Ну и пусть обгоняет! — беспечно сказал Прокоп, вытряхивая трубку.— Мой ли уголек, его ли — он ведь в одну топку идет! Так, что ли, тестюшка?

Хуже было бы, что заниматься со своими «студентами» дядя Прокоп мог только урывками, невзначай — работали в разных уступах. Но тут в дело вмешался секретарь партийной организации шахты Ворожцов.

В те поры на «Крутую Марию» чуть не ежедневно прибывала новая техника. То компрессор, то партия новеньких отбойных молотков, то электровоз. Одна за другой переходили на механизированную добычу угля лавы «Крутой Марии». До зарезу требовались забойщики, владеющие отбойными молотками. Их не было. Надо было срочно подготовить. И по совету Ворожцова дядю Прокопа временно назначили инструктором: ему дали пятерых ребят в науку, среди них и Виктора и Андрея. Днем они проходили практику в забое, под руководством дяди Прокопа, вечером — теорию, на курсах, которые тоже были организованы по совету Ворожцова. Тут изучали материальную часть молотка, правила ухода за механизмами, общие основы горного дела — в общем то, что скоро стали называть техминимумом горняка.

Как и Андрей, Виктор исправно посещал курсы, но куда с большей охотой проходил «практику» у дяди Прокопа. Ему хотелось поскорее овладеть отбойным молотком и стать самостоятельным забойщиком. Сперва не ладилось, но теперь не от недостатка усердия, а скорее от избытка его, от нетерпения. Что было силы наваливался он всем телом на молоток, загонял пику под самую пружину, стараясь поглубже впиться в пласт, чтоб сразу отвалить глыбищу угля и удивить инструктора; но глыба не отваливалась, а пика ломалась или увязала так, что Виктор еле вытаскивал ее.

А дядя Прокоп смотрел и посмеивался.

— Жадничаешь? Животом хочешь взять? А технику, брат, животом не возьмешь. Ее умом надо.

Виктору он ничего не прощал.

— Что это у тебя молоток сегодня хворый, еле дышит? — насмешливо спрашивал он, бывало.— Заболел, что ли?..

— Думаю, воздуху маловато.

— А-а! Вот оно что!.. А у тебя, значит, все в исправности?..

— Все...— отвечал Виктор, но нерешительно, осторожно.

— А ну, дай сюда молоток! Посмотрим. Та-ак... Пика болтается. И футорка, видишь, грязная. Не любишь ты, брат, свою технику!

— Как не люблю!.. Да я...

— Значит, не той любовью любишь, не хозяйской. Вот,— спокойно продолжал осматривать молоток дядя Прокоп,— и масла не залил. Масленка-то при себе?

— Тут...— сконфуженно протягивал масленку Виктор.

— Да-а... Не заботливая твоя любовь. А работу от молотка требуешь. А какое ж ты имеешь право требовать-то? А? Прав у тебя нет, нету!..— Он промывал футорку, смазывал молоток, продувал его сжатым воздухом, и с молотком свершалось чудо: он словно оживал и молодел и вместо семисот ударов в минуту готов был дать всю тысячу.— Гляди! И воздух появился! — насмешливо удивлялся мастер.— А ты говорил: воздух плохой. Эх ты, забойщик! На, бери-ка!..

Виктор послушно брал молоток из его рук.

— Что? Обижаешься на меня? — свирепо раздувая усы, спрашивал Прокоп Максимович.— Га? Ну, говори? Я ж тебя знаю.

— Нет...— бормотал пристыженный Виктор.— Спасибо вам, Прокоп Максимович...

И он действительно не обижался на учителя, что было вовсе уж непохоже на Виктора и удивляло всех. Он только иногда жаловался Светличному, с которым все-таки подружился:

— Не любит меня наш старик. Ох, люто не любит! — И вздыхал: — Он Андрея любит...

А Светличный только смеялся в ответ:

— Ну, балованный же ты хлопец, Витька! Привык, чтоб тебя ни за что любили. Любовь заслужить надо.

— Так я ж стараюсь,— уныло отвечал Виктор.

Он старался. И иногда ему удавалось целую упряжку проработать, не получив выговора, но и не получив похвалы. При дяде Прокопе он старался работать ровно, припоминая все уроки и наставления; он мог так работать и час и два, но потом все-таки увлекался, загорался охотничьим азартом, жаждой добытчика; казалось, вот-вот теперь все наладилось, все могу, молоток в порядке, уголь подается, струя видна. Он лихо вонзал пику в пласт, в самое сердце кливажа, потом делал резкий поворот молотком в сторону, чтоб отвалить глыбу,— и пика с треском ломалась.

И тотчас же над ухом раздавался знакомый насмешливый басок:

— Та-ак! Готово?

— Та что ж делать, если пики такие!..— в сердцах вскрикивал Виктор.— Сталь слабая.

— То характер у тебя слабый! — сердито отвечал учитель.— Не забойщицкий у тебя характер: терпения нет.— И он, как умел, обуздывал не в меру горячий нрав ученика, говоря при этом: «Сперва человеком стань! Будешь человеком — сделаешься и забойщиком». Так умный взводный командир борется со слабостями стрелка: в «моргуне» — парне, испуганно мигающем перед выстрелом, старается победить трусость, а у «дергуна», нетерпеливо дергающего спусковой крючок, воспитывает выдержку и хладнокровие.

Виктор был «дергун». И дядя Прокоп знал это. Да и сам Виктор знал и проклинал свой злосчастный норов. Он понимал теперь, что уголь ни «животом», ни удалью не возьмешь. Он уже не раз видел: у иных богатырей уголек капает тощей, жиденькой струйкой, а у щуплого, но ловкого Мити Закорко валится водопадом. Но Митя Закорко с детства шахтер, сын и внук шахтеров, он уголь понимает. Значит, есть тут свои загадки, соображал Виктор, и ему нетерпеливо хотелось в эти тайны проникнуть.

Однажды дядя Прокоп сам открыл ему один из своих забойщицких секретов, открыл без всякой торжественности и загадочности: он охотно, походя дарил ребятам тайны своего ремесла. «Секрет» заключался в том, что рубку угля в уступе дядя Прокоп всегда начинал с «подбойки» (а не с зарубки кутка). Вырубал в нижней части пласта узенькую щель. А крепежные стойки ставил не вплотную к груди забоя, а чуть отступив — на ладонь, не больше.

— Соображаешь, зачем? — спросил он Виктора.

— Да-а... То есть нет. Не соображаю,— сознался ученик.

— А ты гляди! Вот я подрубил щель под пластом. Значит, что я этим сделал? А лишил уголек опоры на почву, вот что! Так? Стало быть, и уголь податливей, сговорчивей сделается, ему, брат, деваться некуда. А тут еще кровля на него сверху давит как раз в том

месте, где мне надо рубать. Я-то ведь стойки не вплотную поставил. Значит, дал кровле полную свободу давить. Вот она для меня и старается: давит! — хитро подмигнул он.— Соображаешь? Вот возьми молоток, попробуй.

Рубать действительно стало куда легче, и Виктор с удивлением это почувствовал. Уголь стал «сговорчивее» — отваливался охотно. А когда Виктор уверенно пошел по «струе», то и просто хлынул лавиной, как у Мити Закорко.

— Здорово! — в восторге закричал Виктор.— Та, ей-богу ж, здорово!

Он ликовал. И не оттого даже, что рубать стало легче и уголь сыпался весело, шумно, празднично, и пика не ломалась и не увязала, а оттого, что вдруг в новом неожиданном свете представилась Виктору его профессия, невольно избранная им на всю жизнь, и в ней, в этом тяжком и на первый взгляд тупом, однообразном ремесле забойщика теперь открылось столько нового, неизвестного, остро-любопытного, замысловатого, даже загадочного, что дух захватывало. «Так вот оно что! — возбужденно думал Виктор, продолжая меж тем с азартом рубать уголь.— Так секреты на самом-то деле есть? Я ж так и знал!»

А ведь всеми этими тайнами и чудесами Виктор может теперь свободно овладеть! Можно выведать их у знающих людей, у того же дяди Прокопа — старик с охотой откроет. Можно и самому о многом догадаться, стоит только с умом рассмотреть пласт, в котором работаешь, дознаться, как он складывается, как течет и отчего так течет, а не иначе. Можно изучить все капризы и причуды кровли, повадку почвы... Многое можно!

«Я ж парень грамотный! И не вовсе ж таки дурень! Да и дядя Прокоп поможет». И он с нежностью и благодарностью посмотрел на старика.

А тот только лукаво ухмылялся в усы. Он был доволен. И в этот день Виктора не ругал. Но и не похвалил ни разу. Он вообще считал, что Виктора хвалить вредно.

Только однажды, уже много времени спустя, он изменил этому правилу. Невольно залюбовавшись дейст-

вительно красивой работой Виктора в уступе, он не выдержал, крякнул и сказал удивленно:

— Смотри! А из нашего Витьки-то, кажись, получается толк, скажи-ко!..— Но в те поры Виктор уже не был его учеником, а сам стал знаменитым шахтером, а отбойный молоток умел разбирать и собирать с такой автоматической быстротой и четкостью, с какой на смотру, на глазах начальства, лихой пулеметчик разбирает и собирает замок станкового пулемета. Быстрее Виктора на «Крутой Марии» этого никто делать не умел, даже Митя Закорко. Люди нарочно захаживали на курсы посмотреть искусство Виктора. И удивлялись. Пришла слава. Правда, не широкая, не громкая слава, местного, районного значения, как бывает местный дождь, но все-таки слава.

В те дни как раз завязывалось соревнование между Виктором и Митей Закорко, знаменитое соревнование, затянувшееся на долгие годы и, оттого, что оба соперника были парни молодые и ярые, сразу принявшее характер острой, почти спортивной борьбы. Вся шахта следила за этим поединком, равнодушных не было. Даже дядя Прокоп, как ни старался, как ни твердил свое излюбленное: «В одну топку уголек-то идет, в одну!» — не смог остаться безучастным и даже беспристрастным зрителем. Как-никак, Виктор был его ученик, а Митю Закорко учил старик Треухов, Митин дядя по матери,— отца у Мити не было, его завалило в забое еще в 1923 году.

Это соревнование захватило Виктора всего, целиком и надолго. Начавшись в забое, оно тотчас же перекинулось и в рудничный клуб, где оба — и Виктор и Митя — играли в драмкружке, и в комсомольскую политшколу, и на стадион, и даже на танцевальную площадку. Как боевые петухи, носились оба, один — пламенно-рыжий, другой — черный, трясли чубами и старались переплясать друг друга... А однажды даже поспорили при всем народе: кто кого перепьет, и быстро напились оба.

А время меж тем незаметно шло да шло. Пробежал год, потом второй... Незаметно стали наши мальчики женихами, робкие ученики сделались завзятыми шахтерами. Как-то само собой перезнакомились они со всеми

людьми на шахте, а со многими и сдружились, и теперь было куда ходить в гости по вечерам. И так же само собой, хоть и не сразу, признали их старики «Крутой Марии» и поверили, что эти хлопцы с шахты уже не уйдут, и стали считать их своими коренными, кадровыми, словно они и родились здесь, на Собачевке. И старухи забеспокоились, подыскивая им невест. А в парикмахерской, в столовой и даже в клубном буфете открыли ребятам кредит до получки. И за «столом ударника» в рудничной столовой были у них теперь свои, постоянные места. И когда в шахткоме распределяли талоны на промтовары или добавочные пайки, про них обязательно вспоминали. И ребята сами понимали теперь свои права и, не стесняясь, добивались их, особенно Виктор — его уже побаивались в конторе и связываться с ним не любили. И так же незаметно, но уверенно и прочно вошли наши ребята в постоянное, надежное рабочее ядро шахты и стали, как и дядя Прокоп, с насмешливым презрением смотреть на «протоплазму» — на летунов и сезонников, и болеть за славу «Крутой Марии», и жить ее жизнью, и теперь не вспоминали они так часто, как прежде, про Псёл и Чибиряки, и называли себя не полтавчанами, а донбассовцами, и гордились тем, что они донбассовцы, шахтеры, люди боевого фронта первой сталинской пятилетки.

В каждом из них произошли великие перемены с тех пор, как они приехали сюда, на «Крутую Марию», но сами ребята почти не замечали их, или, вернее, о них не думали. Они не думали о них потому, что перемены эти свершились не сразу, не вдруг, а постепенно, незаметно, капля за каплей, каждый день и в суете ежедневных дел и забот... Запомнились же внезапные события: отъезд товарища, чья-нибудь женитьба или смерть.

Так поистине великим событием в жизни ребят из «общежития дяди Онисима» была неожиданная женитьба Сережки Очеретина. Он сам объявил о ней товарищам в таких выражениях:

— Каюк, ребята, свободному орлу Сережке Очеретину! Поминай как звали. Женюсь!

— Да ну? — ахнули все.— На ком же?

Но Сережка только безнадежно махнул рукой, и все

поняли, что женится он на Насте, с которой был у него долгий, и по его словам, жестокий роман. Ребята знали эту Настю из ламповой, девку могучую и злую в работе, ее и начальство побаивалось.

— Ну, возьмет теперь тебя Настя в свои руки! — сочувственно сказал Виктор.— Возьмет!

— Возьмет,— печально согласился Сережка.

— Да зачем тебе жениться-то так рано? Она, что ли, требует?

— Она,— вздохнул Сережка и поник кудрявой головой. А все вокруг невольно засмеялись.

По сему случаю был устроен мальчишник. Ребята выложили на стол все, что осталось у них от пайка, и пир вышел хоть небогатый, а дружный. Сережка сначала горестно плакался на свою судьбу, а потом вдруг заважничал и под конец даже сказал товарищам:

— Печально мне глядеть, ребята, на вашу одинокую жизнь! — Обвел взглядом железные солдатские койки и прибавил: — Уюта нет...

Все так и грохнули: это Сережка-то, пастушонок, затосковал об уюте! Но он нисколько не смутился, а стал еще более важным и сказал:

— Значит, так, ребята: как обставимся мы с моей Настей в нашем домике, так милости просим в гости, без всякого!

Утром в воскресенье Настя сама пришла за ним в общежитие и, не обращая никакого внимания на насмешливые взгляды ребят, увела Сережку навсегда к себе. Ушли они в обнимку, причем сундучок Сережкин несла Настя. Ребята даже удивились: до чего ж она нежна и тиха с Сережкой...

— А может, у них, ребята, и в самом деле большая любовь? — задумчиво произнес Мальченко и почему-то вздохнул.

Затем вскоре женился Осадчий и тоже ушел из общежития. Женился он на молоденькой и хорошенькой фельдшерице с соседней шахты и сам перевелся туда: у жены был маленький домик, доставшийся ей от покойного отца — маркшейдера.

Грустно было ребятам расставаться с Володькой Осадчим — его все любили. Но дядя Онисим в утешение сказал:

— Ничего, ничего, хлопцы! Женитьба, я так считаю, это есть наилучшее закрепление кадров. Чи не так? Як бы моя воля, так я б всех вас тут на донбассовках пережених, чтоб не бегали...

— А если кто женится да донбассовку с собой увезет? — лукаво спросил Светличный.

— А за это расстрел! Расстрел на месте! — свирепо ответил дядя Онисим.

Уехал с шахты Глеб Васильчиков, парень с Харькова. Его отпустили по состоянию здоровья,— так смущенно объяснил он ребятам. Те ни единого слова не сказали в ответ, только молча, насмешливо следили, как, мелко суетясь, укладывает Васильчиков свои вещи в чемодан и торопится, чтоб поскорей кончить тяжелую сцену.

Провожать его никто не пошел.

А однажды вечером объявил о своем отъезде и Светличный. Он пришел в общежитие необычно возбужденный, праздничный и весело закричал чуть ли не с порога:

— Ну, ребята! Придется вам нового комсорга себе выбирать. Еду учиться! — И он потряс путевкой над головой.

Вероятно, ожидал он шумных поздравлений, дружеских пожеланий, расспросов, всего, чего угодно, только не того, что произошло: ребята молчали. Вся комсомольская лава была тут, в большой, сумеречной, похожей на воинскую казарму комнате. И эта лава молчала. Светличный удивленно посмотрел на ребят, потом нахмурился.

Разгорелся спор. Виктор доказывал, что отъезд Светличного — пусть хоть на учебу! — есть замаскированная форма бегства с шахты.

— Сейчас главное — уголь! Свое образование можно получить и потом!— горячился он, невольно вспоминая свою клятву на косогоре. И все были на стороне Виктора и уже отчужденно, почти враждебно смотрели на своего бывшего комсорга.

А тот и не оправдывался.

— Правильно! — насмешливо сказал он, когда Виктор выкричался.— В аккурат то же самое и Казимир

Савельевич думает, наш малоуважаемый, полукрасный спец...

— А при чем тут Казимир Савельевич? — опешил Виктор.

— А при том, что он тоже так рассуждает: вы, мол, шахтеры, черная кость, уголь рубайте, а я, старый инженер, белая косточка, буду вами руководить и свою политику на шахте делать, какую захочу. И вы мне еще долго в ножки будете кланяться, поскольку вы техники дела не знаете.

— А мы можем и без Казимира Савельевича уголь рубать! — возбужденно выкрикнул Виктор.

— Можешь? — прищурился Светличный.

— Можем!

— И горными работами руководить можешь?

Виктор промолчал.

— И геологию знаешь? И теорию проветривания? — Светличный подождал ответа, потом презрительно махнул рукой.— Эх, ты! Рубака! Нет, довольно! Пора уж действительно нам свою собственную интеллигенцию иметь.

— А-а! — злорадно закричал Виктор, будто этих слов только и ждал.— В интеллигенцию лезешь?

— Лезу! — спокойно ответил Светличный.— Изо всех сил лезу! И вас заставлю карабкаться, черти вы окаянные! Вы как понимаете слова товарища Сталина, что большевики должны овладеть техникой и стать специалистами? А? Или вас эти слова не касаются?

— А уголь? Кто ж уголь будет рубать? — непримиримо крикнул Мальченко.

Это был страстный, молодой, даже мальчишеский спор, и уже не о Федьке Светличном, не о его судьбе, а о судьбе всего нашего поколения. И спор этот уже был решен жизнью: правда была на стороне Светличного, и он это знал.

На прощанье он все-таки обнял Виктора, притянул его лохматую голову к своей и шепнул на ухо:

— Люблю я тебя, чертушка! И жду на рабфаке.

А через год, осенью 1932 года, уехали на учебу непримиримый Мальченко и с ним еще трое парней с «Крутой Марии». Андрей и Виктор провожали их.

А когда поезд канул в ночную тьму, долго задумчиво смотрели вслед.

Потом Андрей осторожно спросил:

— Ну, а теперь какое будет твое мнение, Виктор?

— Насчет чего?

— Ну, например, насчет учебы?

— А хорошее...— лениво пожал плечами Виктор.— А что?..

— Нет, ничего... Ну, все-таки?

Но в те поры в самом разгаре было соревнование между Виктором и Митей Закорко — уехать с шахты Виктор и не мог и не хотел. А весной тридцать третьего Андрей и сам не посмел заикнуться об отъезде на учебу; минувшей зимой Донбасс круто попятился назад.

То была на редкость лютая зима, с заносами, морозами, буранами и такими свирепыми, колючими ветрами, каких даже ко всему привычная донецкая степь не помнила. Были дни, когда на терриконах невозможно было не только работать, но даже стоять; неумолимо секло ледяным ветром, люди замерзали. На подъездных путях в глубоких сугробах стыли составы с крепежным лесом. Все дороги были забиты окоченевшими эшелонами угля. «Крутую Марию» словно отрезало от внешнего мира.

А шахта задыхалась от недостачи леса. Не хватало и порожняка. Не было воздуха. В устье ствола появился лед: затруднилась работа подъема. Каждый день случались аварии то на компрессоре, то на воздухопроводе, то в кочегарке. Но в этом уже не были виноваты ни заносы, ни холода.

Как всегда бывает в такие дни, вдруг обнажились и проступили наружу, как чирьи, все болячки шахты. Обнаружилось, что на «Крутой Марии» хозяина нет. Или, вернее, что хозяев слишком много. В рудничной конторе суетилось и толкалось великое множество людей. Все они были небритые, все озабоченные, все простуженные, с косматыми шарфами, кое-как замотанными на шее, и все сипло кричали по телефону, приказывали, оправдывались, клялись, умоляли, грозили, но в шахту за недосугом не ехали и делу помочь не могли и не умели.

Виктор остро, и за себя и за шахту, переживал трудности этой зимы. Теперь не могло утешить его то,

что и Мите Закорко было не легче. Вместе с Митей шумели они в подземной конурке заведующего участком: «Да до каких же пор будут безобразия с воздухом?» Воздушные магистрали были в плачевном состоянии; изо всех щелей, вентилей и соединительных муфт со свистом зря уходил сжатый воздух. Он, как пар, шипел повсюду в штреках, едва ли десятая доля его попадала в отбойные молотки: дряблый, расслабленный, жидкий, он только беспомощно хлюпал в шланге, как вода,— никакой силой он уже не был. И бывалые шахтеры невесело шутили: «На воздух надейся, а сам не плошай!» — и вместе с отбойным молотком брали в забой и дедовский обушок. А люди, которым доверено было внедрять на шахте механизацию, делали это неумело и неохотно. Их уже называли на шахте — «антимеханизаторами», и на беспорядочных, внезапно возникающих на наряде митингах горячий Володя Стружников, комсомольский секретарь, требовал поднять против них «ярость масс».

Эта ярость клокотала и в Викторе и по-своему, не так бурно, зато более сосредоточенно — и в Андрее. Это была ярость против всего, что вредило и мешало «Крутой Марии», а стало быть, вредило и мешало и им, Андрею Воронько и Виктору Абросимову. И они после работы, в тех же шахтерских чунях и рукавицах, только заменив каски теплыми шапками-ушанками, шли вместе со всеми рудничными комсомольцами на расчистку подъездных путей от заносов. Они бесстрашно ходили в бесконечные рейды легкой кавалерии, в дозоры и патрули механизации, на авралы и штурмы,— в те дни в ходу был военный язык,— сами вызывались охотниками в заградительные пикеты и по ночам останавливали на дорогах и вокзалах дезертиров и уговаривали их вернуться на шахту: в ту пору летуны и прогульщики были главными врагами «Крутой Марии», и если б дали Виктору права и волю, он каждому из них перегрыз бы горло. Тучи их всю зиму бродили по донецкой степи, между шахтами. Они бродили, сами не зная, чего хотят и чего ищут, но везде получали продовольственные карточки, спецовку и жилье... А весной, когда с Орловщины, Смоленщины, Брянщины, Полтавщины принеслись в Донбасс стоустые слухи о невиданном

укреплении колхозов, летуны разом отхлынули в деревню, шахты обезлюдели, и кадровикам,— а значит, и Андрею и Виктору,— пришлось работать каждому за десятерых...

— Ох, не знает центр про наши дела, не знает! — качая головой, говорил дядя Прокоп.— Конечно, контора пишет — на бумаге все гладко. Бумага иной раз и солнце заслонить может.

Но девятого апреля на «Крутой Марии» стало известно, что вчера Центральный Комитет партии и Совет Народных Комиссаров приняли, за подписями Сталина и Молотова, специальное постановление о работе угольной промышленности Донбасса. Это постановление прочел на наряде новый секретарь шахтпарткома: Ворожцова уже не было на шахте.

— «Совнарком Союза и ЦК ВКП(б),— медленно начал читать секретарь, и все люди в нарядной притихли, а глуховатый крепильщик Кандыбин протискался вперед и сел на пол прямо перед секретарем.— Совнарком Союза и ЦК ВКП(б),— читал секретарь,— устанавливают, что, несмотря на непрерывный рост технической вооруженности Донбасса и улучшение рабочего снабжения, план добычи не только не выполняется и добыча угля не только не возросла, а наоборот, упала... СНК Союза и ЦК ВКП(б) считают, что главной причиной этого позорного движения назад является все еще не изжитый, окончательно обанкротившийся канцелярско-бюрократический метод руководства угольной промышленностью...»

— Верно! — вздохнул кто-то за спиной Виктора. Но Виктор не обернулся. Он внимательно слушал. Сперва с удивлением: «Смотри-ка, да ведь это про нашу «Крутую Марию» написано!» Потом с радостью: «А-а, так, значит, там, наверху, все известно? Это хорошо, что известно!» Затем встревоженно: «Но как же выкарабкаться, как выкарабкаться-то?» И, наконец, с восторгом, когда тем же суровым и ясным языком постановление продиктовало, как Донбассу выйти из позорного прорыва.

Да, те, кто подписал это постановление, хорошо знали, что творилось на шахтах Донбасса в эту тревожную зиму! Знали куда больше, чем знал об этом Вик-

тор Абросимов, шахтер «Крутой Марии». А главное, видели и указывали причины и корни прорыва. Бывало, замаявшись в бесконечной возне с неисправными шлангами, в руготне со слесарями и механиками, в мелких стычках с десятниками и начальниками, Виктор в отчаянии восклицал: «Кругом безобразие, а концов не найдешь!» «А тут,— думал он, слушая постановление правительства,— нашли-таки концы!» Нашли и указали виновников, поименно назвали их антимеханизаторами и чинушами, которые «не поняли этого коренного изменения в условиях добычи угля при ее механизации и продолжают рассматривать шахту как место работы простых землекопов, тогда как шахта превратилась уже в настоящий завод со сложными механизмами...»

«Да, крепко припечатано!» — с восторгом думал Виктор, слушая крутые слова постановления о виновниках беспримерной текучести в Донбассе, когда «значительная часть рабочих и служащих, если не большинство, не столько работает, сколько бродит «без устали» от шахты к шахте, из шахты в деревню, из деревни в шахту, взваливая всю тяжесть работы по добыче угля на наиболее честных и постоянных рабочих и служащих угольного Донбасса». Постановление требовало положить этому конец, навести порядок на шахте, чтоб появился на ней один, но настоящий хозяин, ликвидировать уравниловку в системе заработной платы, сосредоточить на шахтах лучших хозяйственников и инженеров, перебросив их из аппаратов трестов и учреждений в шахты, поднять среди рабочих новую волну социалистического соревнования и ударничества и добиться полного выполнения плана добычи угля.

— Ну, ребята,— громко сказал старик Треухов, учитель Мити Закорко, когда секретарь дочитал до конца,— теперь не журись! Сам товарищ Сталин взялся за наши дела — значит, порядок будет! — Как всегда, старик сказал за всех то, что все чувствовали...

Через несколько дней в Сталино открылась Вседонецкая конференция шахтеров-ударников. Делегатами от «Крутой Марии» поехали Прокоп Максимович Лесняк, Митя Закорко и Виктор. Впервые был Виктор на таком почетном слете. В местной газете писали, что тут

собралась вся шахтерская гвардия, весь цвет угольного Донбасса. Виктору это было лестно читать. «Значит, и я теперь отношусь к гвардии»,— с гордостью подумал он. Дядя Прокоп показывал ему и Мите известных в Донбассе людей: заведующих шахтами, инженеров, забойщиков, проходчиков, знаменитую Королеву, активистку движения жен шахтеров. Королева была худенькая, маленькая старушка, в длинной черной юбке, в сапогах и в платочке, повязанном у горла. С виду она ничем не была примечательна и держалась среди делегатов тихо, по-бабьи жалась к стенам и колоннам.

— А ты Королиху послушай, как она выступать будет! — усмехнувшись, сказал Виктору дядя Прокоп.— Гроза, а не баба! Всем тут достанется от нее, не сомневайся: и наркомам и стрелочникам.— И вдруг вздохнул: — Вот и мать моя, покойница, такая же была бесстрашная.

Прошел Никита Изотов, высокий, плечистый, осанистый. Виктор узнал его и почтительно посторонился, дал дорогу. А потом долго смотрел вслед, как идет Изотов через весь зал по проходу, уверенно, словно по ходку родной шахты. К нему тотчас же бросились какие-то люди, может быть корреспонденты, может быть служащие треста, и стали что-то торопливо и вразнобой говорить ему, а он, заложив руки за ремень своей полувоенной гимнастерки, спокойно и терпеливо слушал их, возвышаясь над всеми целой головой, русой, коротко остриженной сзади. «Да, вот кто настоящая шахтерская гвардия!» — с невольной завистью подумал Виктор.

На конференцию от Центрального Комитета партии приехал Лазарь Моисеевич Каганович. Делегаты тепло встретили его, когда он появился в президиуме. Виктор видел Кагановича впервые. И было лестно, что такой человек приехал к ним на конференцию, и немного неловко перед ним, что приехал он в то время, когда в доме, в Донбассе, беспорядок.

Это чувство неловкости испытывал и Прокоп Максимович Лесняк. «Да-а... Некрасиво мы выглядим в нашем нонешнем-то положении! — бормотал он.— Ох, некрасиво!» То же чувствовали многие делегаты, особенно старики. Один из них, сухонький, жилистый, «жвавый»,

как говорят в Донбассе, подошел в перерыве к дяде Прокопу и, не поздоровавшись, сказал:

— Вот оно какие дела-то, куманек! Как говорится, всем сестрам по серьгам! — и сконфуженно вытер лысину платком. Лысина была синяя; это уголь светился под кожей. «Значит, в крепкий взрыв или завал попал он когда-то, бедолага!» — сообразил Виктор.

— Какая работа, такая и награда! — мрачнея, ответил дядя Прокоп.

— Да, заслужили, заслужили, дожили! — вздохнул сухонький старичок.— Всегда Донбасс запевалою был, а нонче...

— Ну, это временное явление,— сказал дядя Прокоп, и все вместе они двинулись к выходу.

Виктор думал, что дядя Прокоп и сухонький старичок давние приятели, и только по дороге в столовую, где кормили делегатов, с удивлением узнал, что старики в первый раз видят друг друга. Тут же и познакомились. Сухонький старичок оказался Колесниковым, забойщиком с «Юного коммунара». Виктор слыхивал про него: славился он тем, что, как и дядя Прокоп, любил обучать новичков забойщицкому искусству. Об этом писалось в газетах.

По дороге дядя Прокоп неожиданно и без причины раскричался на Митю Закорко. Вся вина Мити была в том, что задержался он у киоска, где продавалась газированная вода,— заговорился с хорошенькой продавщицей. В столовую дядя Прокоп пришел совсем мрачным, даже есть не стал.

— Вы что ж не кушаете, Прокоп Максимович? — робко спросил Митя, чувствующий себя без вины виноватым.— Харч хороший.

— А ты заслужил этот харч?

— А отчего ж? — обиделся Митя.— Я ударник, я свое сполняю...

— Вот! — с горечью сказал Прокоп Максимович Колесникову.—Видишь, какая у них, у молодых, совесть!

— Ну, ничего!..— снисходительно отозвался Колесников.— Народ молодой, балованный...

— Не балованный, а бессовестный,— проворчал дядя Прокоп.— Ни совести у них нет, ни стыда, ни па-

мяти. А мы, старики, свою донбасскую славу помним! Оттого и стыдно нам сейчас...

С этим он и выступил на конференции. Взойдя на трибуну, он долго молчал, насупив брови, потом негромко сказал:

— Стыдно! — посмотрел в притихший зал и еще раз повторил: — Стыдно! — Видно, это одно слово, одно это чувство и нес он на трибуну.— Стыдно! — в третий раз и уже очень громко, с силой произнес он, и Виктору даже издали показалось, будто слезы блеснули на глазах старика.— Для нас, шахтеров, ничего не жалеет правительство! — продолжал Прокоп Максимович.— Килограмм хлеба получаем мы в такое трудное с продовольствием время. Килограмм! Никакой другой рабочий столько не получает. Только мы, шахтеры. А как мы оправдываем этот дорогой килограмм? А? Стыдно! — Он вдруг повернулся лицом к президиуму.— Так и товарищу Сталину передайте, Лазарь Моисеевич, мол горняки сами понимают: стыдно!

— Передам! — сказал Каганович.

Собирался выступить и Виктор. Нервно делал заметки в блокноте, но слова еще не просил: ждал, слушал. Дали слово Никите Изотову. Он, видно, привык уже выступать перед людьми. Уверенно вышел, положил локти на трибуну, потом подался всем большим своим телом вперед и сказал:

— Давайте поговорим откровенно. Я старый горняк, и вы старые горняки. Мы поймем друг друга.— И он начал откровенный разговор о том, почему отстает Донбасс.

А за ним так же откровенно и по-хозяйски говорили другие. Очень бойко, смело выступил тихонький старичок Колесников. Виктор даже удивился. Горячо говорил Саша Степаненко, ученик Изотова, комсомолец. Попросила слова и старуха Королева. Она вышла в своем бабьем платочке, на трибуну не взошла, а стала подле, только левой рукой взялась за край трибуны. Говорила она без всяких записей и бумажек, и говорила не запинаясь, певучим своим, неожиданно звонким голосом, а правой рукой, ребром ладони, все время однообразно рубила воздух, словно шинковала капусту.

Большую речь произнес на конференции Лазарь

Моисеевич. И из этой речи особенно запомнились Виктору слова: «Передовые люди Донбасса, храбрецы, герои угля, не сумели еще повести за собой остальную шахтерскую массу. Ваша задача, товарищи ударники, заключается в том, чтобы стать организаторами и повести за собой всех, кто отстает». Виктор много думал над этими словами. Хотел даже выступить, взять на себя перед всеми какое-нибудь лихое обязательство, какого никто другой тут еще не брал, но ничего особенного не придумал и слова не взял, а потом, когда конференция уже окончилась, жалел об этом.

Домой делегаты «Крутой Марии» возвращались в самом приподнятом настроении, даже дядя Прокоп повеселел.

— Ничего-о! — говорил он, бодро покручивая усы.— Сейчас Донбасс в унижении, будет опять в славе. Мы, шахтеры, такой народ — для нас в хвосте места нету. А вы что же не выступили, ребята, а? Оробели? — добродушно спросил он.

— А я в забое поговорю. Угольком! — лихо ответил Митя Закорко.— Вот и Виктора вызываю. Идет, что ли, Виктор?

— Идет! — отозвался Виктор.— Только я такое условие предлагаю: не кто больше угля вырубит, а кто больше учеников выучит.

— То есть как это? — озадачился Закорко.

Но дядя Прокоп понял и пришел в восторг.

— А что ж, верно, верно! Берись за это дело, Виктор! — подхватил он и, не выдержав, самодовольно засмеялся.— Это уж будут тогда вроде как мои внуки...

Дома делегатам пришлось выступить перед шахтерами. Свою речь Виктор начал так:

— Я, как делегат Вседонецкой конференции шахтеров-ударников...— Но сказал он это без всякой тени хвастовства, и не для хвастовства эти слова были сказаны. Тут же на митинге он взял на себя обязательство: выучить пять забойщиков. И Митю Закорко вызвал.

Сразу же после конференции на «Крутой Марии» произошли большие перемены. Прибыл новый заведующий шахтой, грузный, большой, молчаливый человек. О нем дядя Прокоп почтительно отозвался: «Старый

горняк!» Скоро все на шахте стали звать заведующего Дедом. Приехал и новый главный инженер, Петр Фомич Глушков, человек тоже старый, а инженер сравнительно молодой. Дела на «Крутой Марии» пошли веселее. Вновь загорелась звезда над копром: включить рубильник было доверено лучшему забойщику шахты Виктору Абросимову. К тому времени он уже был коммунистом. Год назад, в Международный юношеский день, комсомольская организация передала Андрея и Виктора в партию.

Рекомендацию обоим дал Прокоп Максимович Лесняк. Дал с той торжественной суровостью, какая этому случаю приличествует, но только старым коммунистам ведома. «Вы смотрите! — казалось, говорил весь его строгий и парадный вид, когда, надев очки в тусклой серебряной оправе, подписывал он бумагу.— Смотрите, в какую партию я вас ввожу. Чувствуете? Ну, то-то!»

Приняли ребят единогласно, но переволновались они немало, особенно когда Виктор стал откровенно рассказывать историю бегства. А после собрания, притихшие, шли по темной улице домой и молчали, каждый по-своему переживая это самое великое событие в их жизни.

— Ну, а дальше как теперь жить будем? — наконец, тихо спросил Андрей.

— А работать! — отозвался Виктор.— Раньше рубали мы уголь по-комсомольски, теперь по-партийному надо рубать.

— А с учебой как? Не поедем?

— С учебой успеется.

— Тогда давай хоть в вечерний техникум запишемся.

— Ну, давай! — не раздумывая, согласился Виктор.

Он согласился только потому, что этого Андрей хотел. А сам он в те поры и не собирался стать инженером или техником. Зачем? Ему и в забое хорошо. И с каждым днем все веселей и лучше. Однако, подчиняясь Андрею, он стал ходить по вечерам в техникум. Сперва скучал, потом привык. Но жил он, всей душой жил только в своем уступе.

За эти пять лет на «Крутой Марии» прожил он большую забойщицкую жизнь. Доводилось ему рубать

уголек и крепкий, и мягкий, и «фиялку», как называют шахтеры мокрый, тяжелый пласт. Работал он и на аршинной «Аршинке», и на «Девятке», и на твердом «Алмазе», и на капризной, словно танцующей «Мазурке», и на хитром, увертливом «Никаноре», и на «Куцем» пласту, и на «Соленом», и на «Вонючем», прозванном так оттого, что тут уголь едко пахнет сероводородом, и на «Известнячке», где кровля хорошая, прочная, и шахтеры там работать любят, и на «Берале», где кровля слабая... Сколько километров прошел он со своим отбойным молотком за эти пять лет под землей? Сколько тысяч тонн угля выдал на-гора́?

В лето 1935 года он работал на новом горизонте 640, в третьей восточной лаве, у дяди Прокопа...

5

Паша Степанчиков, ученик Виктора, любил хвалиться перед ребятишками своей улицы.

— Вы хоть знаете, ребята, у кого я работаю? У самого Абросимова, Виктора Федоровича. От як! А вы знаете, как дядя Виктор уголь рубает? Як Буденный шашкой! А знаете, какой у него кулак! А-а! У него кулак — могила, смертью пахнет. Его на шахте все боятся, а он никого, даже Деда... От у кого я работаю!

В уступе он влюбленными глазами следил за работой своего учителя.

— Ой, дядя Виктор! — восхищенно шептал он.— Ой, як же ж вы здорово уголь рубаете!.. От я видел в цирке, как там на рапирах бились,— так куды там, у вас красивше!

Виктор слышал это и усмехался. Он любил, когда люди его хвалили, даже если это и Паша Степанчиков. Он и сам чуял в себе сейчас богатырские силы. Вот сбылось: размахнулся — улица, повернулся — переулочек. Когда-то он мог только мечтать об этом. Сейчас он легко давал две нормы в упряжку. Он бы мог давать и больше, с досадой подумал он, если б было где развернуться. Ему уже стало тесно в этом карликовом уступе. Что ему жалкие восемь метров? Вот и до полудня еще далеко, а он уже прошел их, дальше идти некуда.

— Ну что, Пашка? — сказал он, выключая молоток. — Конец свадьбе? — Он посмотрел, как летели вниз последние глыбы угля, потом заложил руки за голову, потянулся всем телом и сказал уже скучным голосом:

— Ну давай крепить, что ли.

Крепить он не любил. Он считал это не забойщицким, а подсобным, плотничьим делом. Какого черта должен он подбивать колышки под кровлю? И молоток полсмены лежит без дела.

Он сказал вдруг неожиданно для самого себя:

— Я б один мог пройти всю лаву...

Он сказал это сгоряча, со злости, оттого, что хмельно бродила в нем неистраченная забойщицкая удаль. Но увидел тень сомнения на лице своего верного ученика и нахмурился.

— Ты что, Пашка, не веришь? — грозно спросил он.

Пашка не верил. Он во все поверил бы, в любой подвиг своего героя, даже самый фантастический. Поверил бы в то, что дядя Виктор один, левой рукой раскидал в драке целую сотню шахтеров. Поверил бы, что в дальних выработках, куда Пашка Степанчиков и нос сунуть боится, дядя Виктор встретил самого Шубина и в единоборстве победил его. В любую сказку, в любую небывальщину свято поверил бы бедный Пашка Степанчиков. Но он был шахтерский мальчонка, внук и сын шахтера, и он не мог поверить в то, что дядя Виктор — даже дядя Виктор! — один за смену пройдет всю лаву — восемьдесят метров.

Он смущенно залепетал:

— Ой, дядя Виктор!.. Так это ж никак невозможно такое подобное... Вы як хочете...

— Ладно! — строго остановил его Виктор. — Крепи давай! — Сейчас он снова был весь в работе.

Еще два часа оставалось до конца смены, а Виктору больше нечего было делать в уступе.

— Ну, Пашка, — сказал он, усмехнувшись, — твое счастье, что попал ты к такому забойщику, как я. Можешь теперь свободно ехать на-горá да гулять, — твое счастье. А я к Андрею заверну.

Он собрал инструменты, сложил их в сумку и пополз в уступ к Андрею. Тот еще крепил. Виктор мол-

ча лег в сторонке, прямо на уголь. Отчего вдруг стало ему так невесело? Скучно, что ли?

Тихо потюкивал топорик — это Андрей подбивал обаполы под нависший корж. Андрей тоже скоро кончит урок, и тогда уж им обоим нечего будет делать в лаве. Придется ехать на-гора́. Ну что ж, это хорошо, в бане толкотни не будет. Они свой дневной урок выполнили. С честью. Перевыполнили даже. Не стыдно людям в глаза глядеть... А выехать на-гора́ почему-то стыдно!

«Да мы-то тут при чем? — словно оправдываясь перед кем-то, подумал Виктор.— Вы нам ходу дайте, ходу!»

Он лег на спину и широко разбросал руки. Хорошо! Что ни говори, хорошо! Уголь прохладный, влажный, можно вообразить, что лежишь ночью в степи на сырой траве или на мокром песке у Псла... И тогда кровля над головой представится тебе темным-темным небом, а свет шахтерской лампочки, зацепленной за обапол,— светом далекой звезды. Когда-нибудь люди будут летать на звезды! Если б Виктор попал в летчики, он обязательно определился бы в межпланетную авиацию. Такой нет еще? Ну, будет! А сейчас ему, как шахтеру, больше пристало стремиться не ввысь, а вглубь. Хорошо б пробить такую шахту, чтоб до самого центра земли!.. Говорят, там одна расплавленная лава. Интересно... Когда-нибудь люди всего достигнут: и звезд, и центра земли, и полного счастья. Это будет, вероятно, уже при мировом коммунизме. «Интересно, чи доживем мы с Андреем до этого? Ну хоть не до всемирного, а до первоначального?»

— Коммунизм! — проворчал он.— А пока два здоровых бугая себе ладу найти не могут. И в штреках грязь... И пути неисправны...

— Что? — откликнулся Андрей.

— Ничего... Это я к слову...

Нет, лучше не думать об этом! «Да что в самом деле? — рассердился он сам на себя.— Чего я себе голову морочу? Начальство не думает, а я что ж?.. Что мне, больше всех надо? Я шахтер, я про шахтерское думать должен — про баню та про борщ...» Но он уже не мог не думать о главном...

Андрей кончил крепить и с сожалением отложил топор в сторону.

— Эх! — сказал он, потягиваясь.— А я разошелся только...

Он работал не так споро, как Виктор, но и ему было тесно в уступе, и он легко давал полторы-две нормы, упирался в «край» и кончал работу задолго до гудка.

— На-гора́ поедем, что ли? — нерешительно спросил он и стал собирать инструмент. У него была такая же сумка, как и у Виктора. Вера сшила и подарила обоим. Укладывая инструмент в сумку, Андрей всякий раз вспоминал Веру и всегда с досадой. «И чего только пристает, ей-богу? Я-то тут при чем?» Но сумку не выбрасывал.

— Так на-гора́ что ли? — снова спросил он.

— Можно и на-гора́...— не сразу ответил Виктор.— Слушай, Андрей,— вдруг сказал он,— а ты б мог один всю лаву согнать за смену?

— Один? — удивился Андрей.— Та нет, конечно, не смог бы...

— Нет, ты стой! Ты подожди!.. Ну, а если б, скажем, лес заранее доставить, разложить по уступам, воздуху вдоволь, все приготовить, тогда как, управился бы?..

Андрей подумал немного.

— Не! — покачал головой.— Вряд ли! — Он засмеялся.— Ох, и фантазер ты, Витька!..— И уже обычным тоном спросил: — Десятника будем ждать или нет?..

Но десятник Макивчук сам пришел в эту минуту.

— Уже кончили? — удивился он, как удивлялся каждый день. И это удивление, и подобострастная его улыбка, и шуточки — все было фальшивым, как и сам Макивчук, темный человек.

Он стал замерять выработанное.

— Орлы, ну чисто орлы! — воскликнул он, записывая итог в свою клеенчатую книжечку.— И куда вы только деньги деваете, хлопцы! Вроде и не пьете?

— Ты б, чем наши деньги считать, лучше б уступ дал подлиннее,— сердито сказал Виктор.— Видишь, ходу нам нет!..

— Так вам только дай ход, в Госбанке червонцев для вас не напасешься,— отшутился десятник.— Та неужели вам и так денег мало?

— Деньги, деньги...— пробурчал Виктор.— Копеечная твоя душа... Неужели только деньги и главное?..

— А як же? — на этот раз искренно удивился Макивчук.— Деньги — все!

Он вопросительно посмотрел на ребят и вздохнул. Уже давно хотел он предложить им «комбинацию»: он бы приписывал им добычу, а деньги делились бы. Хлопцы — ударники, лишняя тонна никого не удивит. Но он все не решался. «Они ж, черти, партийные. Завзятые. Еще донесут!» Он опять вздохнул и молча уполз из уступа.

Виктор посмотрел ему вслед.

— Деньги! — с горечью сказал он и даже сплюнул.— Вот так станешь за шахту душой болеть, а такие скажут: «за длинным рублем гонишься».

— Так он же петлюровец, чего ты хочешь?

— А чего таких в шахтах держат? Разве ж им в шахте место?..

Они спустились в штрек и тут встретились с Прокопом Максимовичем, начальником участка.

— А-а! — радостно приветствовал их старик.— Уже управились? Вот молодцы!.. Кабы все такие, как вы, шахтеры были б, ого-го! Куда там!.. А то и такие есть, что и норму не выполняют.

— А вы таких гоните к черту! — сказал Виктор.— А нам с Андреем по два уступа дайте. Мы управимся.

— Да... да... Я и то думаю... Вы ж у нас моторные! — он ласково глядел на бравых хлопцев.— А давно ль, как слепые котята, тыкались в шахте? Говорят, ты, Виктор, и в бане быстрей всех управляешься. Верно?

— Верно! У меня, дядя Прокоп, руки длинные...

— Ишь ты!— удивился старик.

— Так дадите по два уступа?

— А может, вас на проходку поставить? Штрек у меня как раз отстает. Совсем меня этот штрек замучил.

— Та мы ж не проходчики! Вы нам в забое простор дайте!

— Им, видите, больше всех надо,— ехидно сказал подошедший Макивчук.— Жадный народ! И чего только жадничают, удивительно!

— А мы не конешники! — гордо ответил Виктор.— И жадность наша твоему понятию недоступная.

— Ишь ты! — фыркнул десятник.

— А вот именно!

«Конешниками» в дни карточной системы на «Крутой Марии» прозвали лодырей, которые вырубали не больше «коня» — одну крепь. Им и не надо было больше: выход на работу все равно записывали, а стало быть, и продовольственные карточки выдавали, как рабочим. А много ль нужно было денег, чтоб выкупить паек? Потом, когда открылись на шахте коммерческие магазины, «конешники» чуть оживились. Стали рубать угля побольше, приговаривая при этом: «Эх, а это на пол-литра, а это на колбасу!» Но Виктор и в те поры рубал уголь не за паек и не ради денег.

— Жадность! — пробурчал он, привычно шагая во тьме.— Вот как некоторые понимают ударников...

— А ко мне дочь приехала! — неожиданно сказал дядя Прокоп.— Да, как же! Даша.

— Так мы же ее уже видели! — вырвалось у Андрея.

— А? Ну да, да... Она говорила. Вы б зашли к нам, ребята, вечерком, а? — пригласил Прокоп Максимович.— Все ж таки из Москвы. Студентка!

— Ладно,— небрежно отозвался Виктор,— как-нибудь зайдем...

Они простились со стариком и поехали на-горá. В бане действительно было еще пусто...

Вечером Андрей, словно невзначай, спросил товарища:

— Так что... к дяде Прокопу пойдем? — он не посмел сказать: к Даше.

— Нет, ну ее к черту! — сказал Виктор.— Она ломака...

— Отчего ж это ломака? — обиделся Андрей.

— А так... Воображения у нее много. Я таких терпеть не могу! Я не люблю, чтоб девка мною командовала. Я, брат, сам командовать люблю.

— Зачем? — тихо спросил Андрей.

— Что зачем! — поразился Виктор.— А так! Раз

ты девка — будь девкой. А парень — парнем. Я так понимаю. Я покорных девок люблю, тихих, смирных. А ты?

— Не знаю...— не сразу ответил Андрей.

Но к дяде Прокопу в этот вечер они не пошли...

6

Они остались в общежитии. Лежали на койках. Скучали. Даже Вере обрадовались, когда она пришла. Она сначала робко постучалась, потом заглянула в комнату.

— Я на минутку! — сразу же сказала она, вся пламенея от смущения.— Вы не спите? Извините, пожалуйста. Товарищ Нещеретный велел напомнить, что завтра производственное совещание...— Бедняжке было все трудней и трудней придумывать новые поводы для посещений.

— Заходите, Вера! — ласково позвал ее Виктор.— Та ничего, ничего, заходите. Он сегодня не кусается.

Она зашла. Села на краешек стула у самого входа, готовая каждую секунду вспорхнуть и улететь. Украдкой посмотрела на Андрея: нет, он ничего, не сердится. Она немного успокоилась и улыбнулась. У нее была светлая, тихая и радостная улыбка; она любила улыбаться, смеяться она не умела.

Отчего Андрей невзлюбил ее? Она была чистенькая, беленькая, хорошенькая девочка — такая беленькая, что карие глаза казались на ее лице чужими. Эти глаза только и были примечательны в ней. Никакой другой резкой характерной черты в ней не было — все мягко, все округло, чуть-чуть расплывчато даже... Созрев, она обещала стать полной. Она была не красивая, но «аккуратненькая». От нее уютно пахло душистым яичным мылом.

И в ее наряде не было ничего яркого, пестрого, ни одной кокетливой мелочишки: ни бантика, ни ленточки, ни букетика. Она даже не носила, как все комсомолки на шахте, красной косынки, а всегда — беленький платочек. И в этом беленьком платочке на золотых, пшеничного цвета волосах, в простенькой белой блузке и холщовой юбке была очень похожа на полевую ромашку.

Ее можно было не заметить, пройти мимо, но, заметив, уже нельзя не улыбнуться ей,— такая она милая и ласковая. В ней все доверчиво тянулось навстречу людям, как все в подсолнечнике тянется навстречу солнцу. Ее любили бабы, жалели старухи, пожилые шахтеры сразу же говорили ей «дочка».

У молодых парней она успеха не имела. Она не была ни резвушкой, ни хохотуньей, ни проказницей; ни развязности в ней, ни бойкости. Но и тихим омутом она не была. В ней вообще не было ничего затаенного, темного, смутного или беспокойного. Она вся была простодушно открыта людям, и ее внутренний девичий мирок был прост, ясен и удивительно светел.

Она рано стала хозяйкой при овдовевшем отце и вела свое хозяйство с мудростью женщины и беззаботностью шахтерской девочки. Она трудилась целый день — то в конторе, то дома: на кухне или на огороде. Когда никто не слышал ее, она тихонько пела.

По вечерам она читала отцу газету и терпеливо слушала, как он рассуждает о международных событиях. Она умела слушать. Она была в курсе всех дел на шахте, и хотя никогда сама не работала под землей и даже ни разу там не побывала, она тоже, как все рудничные люди, жила добычей, переживала прорывы, радовалась звезде над копром. Она была дочь шахтера и обещала стать хорошей женой шахтеру. Но Андрей не любил ее и боялся её любви.

— Ну как дела, дочка, контора пишет? — весело спросил Виктор, когда Вера устроилась на краешке стула. Он всегда называл ее дочкой. Он относился к ней снисходительно-ласково, как к маленькой; ему была симпатична эта тихая, добрая девочка, а ее смешная любовь к товарищу искренно его потешала.

— Контора пишет, приказчик еле дышит! — ответила, как всегда, Вера, и через минуту они уже тихо и дружно болтали о пустяках.

Андрей молча лежал на койке и листал книгу. Он совсем не хотел обижать Веру. Если б не ее дурацкая влюбленность, он бы тоже сейчас, как Виктор, задушевно болтал с нею. Но эта досадная любовь и стесняла и злила его. Особенно сейчас. Слушая Верин тихий, почти глухой голос, он невольно вспоминал другой —

звонкий, веселый, смелый, и жалел, что не пошли они с Виктором к дяде Прокопу в гости, в его тихий, счастливый домик под этернитовой крышей.

Вошел дядя Онисим, как всегда не постучавшись.

— Электричество действует? — строго спросил он, чтоб показать, что пришел не зря, и, не дожидаясь ответа, важно сел.

Он был по-прежнему комендантом общежития, но уже пообвык в этой должности и исправлял ее торжественно и многозначительно. Сквозь его общежитие и теперь текли да текли люди. Но дядя Онисим привык к этой вечной перемене лиц и даже скучал, когда в общежитии было тихо. По-прежнему потешал он новичков побасенками и всякой небывальщиной, пичкал их советами и наставлениями, и для многих молодых горняков рассказы дяди Онисима были первым шахтерским университетом. «Мы все прошли академию дяди Онисима!» — говаривал, бывало, Светличный.

Гордостью этой «академии», тихой гордостью души дяди Онисима, были Андрей и Виктор. Он всерьез считал их своими воспитанниками. Он любил их ревнивой, скаредной любовью одинокого старика и скрывал, что любит. Иногда он по-старому принимался поучать их, а потом вдруг спохватывался, что учить-то их теперь не приходится, да и чему может он научить их? И времена другие, и шахта другая. Самому впору у молодежи учиться. Но он не хотел сдаваться. Он хорохорился. Он не отрицал ни механизацию, ни новшества на шахте, как то делали иные упрямые старики, он только отбирал их от молодежи себе, своему поколению, он их новшествами не признавал.

— Это и при нас было! — говаривал он.— Не вами задумано, не вами и кончится!

— И электровозы были? — невинно спрашивал Виктор.

— А что электровозы? От сказал!.. Вы, што ль, электричество выдумали? У нас и не такое бывало!..

— А какое?..

— А такое,— сердился старик,— що ты и не бачив! У нас, як хочешь знать, даже в трактире машина была. Музыку играла. Сама. А на ярмарках механическую барышню показывали... Так та даже вальс плясала...

— Та не может быть! — восклицал Виктор и, не выдержав, хохотал.

Эта тема всякий раз подымалась с приходом дяди Онисима, словно сходились два поколения шахтеров, старое и молодое, на полюбовный бой, где старость доказывала, что она молода, а молодость, что она опытна.

Разгорелся этот спор и сейчас. Только сегодня дядя Онисим пришел во всеоружии. Это видно было по тому, как озорно и молодо блестели его глаза.

— А что,— спросил он будто невзначай,— все спросить хочу: что, врубовки еще существуют?..

— На пологих пластах существуют... А что?

— Та ну? — удивился старик, хитро прищуриваясь и покачивая головой.— Ай-я-яй! Скажи, пожалуйста!.. А я все думал, что вы новенькое придумали, свое...

— А это что ж, старенькое?

— Та порядочно-таки... При нас выдумано.

— Какие ж это врубовки у вас были? — пренебрежительно сказал Виктор, задетый, однако, за живое.— Небось деревянные?

— Зачем? Настоящие врубовки. Як водится,— спокойно, торжествуя, ответил дядя Онисим.— Постой, от я тебе один факт расскажу. Вы слухайте!..— обратился он ко всем, обсосал усы, потом вытер их и начал: — А было это в тысяча девятьсот двадцать первом году. Заведующим у нас был...

— Егор Трофимович,— подсказал Андрей.

— А ты откуда знаешь? — удивился дядя Онисим.

— Так все ж ваши истории одинаково начинаются...

— Да? — Старик был озадачен. Потом подумал, подумал и объяснил, улыбнувшись: — А это потому, что я ж вам одни чистые факты рассказываю. Вы слухайте... Та-ак... И вот пришла весна, а шахтеры не едут в шахту. Не едут, тай все! Егор Трофимович и спрашивает меня: «Гей, Онисим, а чого ж эти барбосы в шахту не едут?» А я говорю: «Оттого, что весна, Егор Трофимович, народ на огороды пошел, грядки копает».— «Грядки? Так они ж шахтеры, какого им черта надо землю пахать?» А тогда голодная весна была, снабжение — никакое. Ну, народ сам себя спасает, не надеется, огородничает. Да-а... А в шахте прорыв. Стали тут руководители думку думать, что б оно такое ум-

ное выдумать, и придумали. «А давай, говорят, мы им в три дня все ихнии огороды перекопаем, пущай потом в шахту едут и ни о чем не думают». И вспахали! А чем бы, ты думал, а? — прищурил он левый глаз.

— Ну, тракторами, вероятно...

— Тю! — засмеялся старик.— Тогда о тракторах и понятия не было.— Он выждал паузу, потом вдруг хлопнул себя по коленкам и, привскакивая, как мячик, ликующе закричал: — Врубовками вспахали! Слышь ты? Врубовками!..

— Как же так, врубовками? — удивился Виктор.

— А так. Насобирали где-то врубовок... ну, лядащеньких таких... какие в те времена были... Ну, приспособили их, плуги прицепили, наладили — и вспахали!

— Да быть этого не может! — смеясь, вскричал Андрей.— Как же так, врубовками?

Но в это время широко распахнулась дверь, и в ней появилась высокая фигура в сером плаще и кепке, надвинутой на самый нос. Она появилась так внезапно, так неожиданно, что Верочка даже вскрикнула и закрыла лицо руками. Ей показалось, что в комнату влетела большая беспокойная серая птица.

— Смотри! — удивленно закричал Виктор.— Светличный! Ты?

— Нет. Не я,— спокойно ответил Светличный и поставил свой чемодан на пол.— Здравствуйте, дядя Онисим! А вы все еще тут, ребята? — спросил он, снимая плащ и вешая его на гвоздь у двери.— Пора уже вешалки завести, дядя Онисим!

— От! Приехала-таки моя самокритика! — засмеялся комендант.— Да ты хочь покажись: какой ты? — Он легонько покружил парня и оттолкнул от себя.— Скелет! На поправку приехал?

— Нет. На практику.

Они все были обрадованы и даже растроганы неожиданной встречей, но ни поцелуев, ни объятий, ни даже шумных, восторженных восклицаний не было, словно и долгой разлуки не было. Шахтер и радость, и опасность, и даже самую смерть — все встречает грубоватой шуткой, и только.

Верочка, смущенная появлением Светличного, хотела незаметно скрыться: она боялась быть лишней при

встрече друзей. Она уже юркнула к двери, но тут ее остановил дядя Онисим:

— Э, нет! Стоп, дочка!.. Дело есть.— Он обернулся ко всем и грозно скомандовал, так, словно был комендантом не общежития, а крепости или гарнизона. За эти пять лет старик уже вошел во вкус своей «власти».— Значит, так, хлопцы, команда будет такая: всем смирно сидеть на месте и ждать. А мы — мигом! А ну, дочка, шагом марш за мной! — И он шумно вышел.

— Бушует старик!— усмехнулся ему вслед Светличный.— А клопов он вывел? — Светличный присел на койку к Андрею, и тому показалось, что вообще никакой разлуки не было: снова с ними их старый комсорг. Сейчас он сурово спросит: «А как у тебя дело с нормой, товарищ? Выполнил?» Но теперь Андрею этот вопрос не страшен!

Но Светличный спросил:

— Так вы все еще тут, ребята?

— А где ж нам быть?

— А я думал — вы поумнели. Учиться пошли.

— Не всем же учиться! — насмешливо сказал Виктор.— Кому-то надо и уголек добывать. А ты, Федор, действительно интеллигентом стал. Ишь какой дохлый! Очки еще не носишь? А шляпу?

— Сам ты шляпа! Я тебя в тридцатый раз спрашиваю: почему не учишься?

— Куда нам! Мы люди темные!

— Да учимся же и мы,— вмешался Андрей.— Зачем зря говорить? В вечернем техникуме учимся.

— А-а! Поумнели-таки,— обрадовался Светличный.— Ну, рассказывайте, как живете, что делаете...

Вернулись дядя Онисим и Вера. Принесли вина, закуску. Дядя Онисим сразу же засуетился у стола.

— Эй, Вера, дочка! — командовал он.— Давай чистую скатерть! Цветы давай! Какой гость у нас! Дорогой гость! — Он умильно посмотрел на Светличного и всплеснул руками.— Смотри! Вернулся-таки! — воскликнул он, словно только теперь дошло до его сознания, что Светличный вернулся.— А? На шахту вернулся! Ну, дорогой!..

— А куда ж мне еще деваться, дядя Онисим? — засмеялся Светличный.

— Некуда! Верно! Ах, золотые твои слова, умница! Нам от шахты, ребята, ни шагу! А она наша и кормилица и поилица,— привычной скороговоркой произнес он, но голос его стал почтительно-нежным, как всегда, когда говорил он о шахте.— Выпьем за нее, деточки! — попросил он.— Уважительно выпьем!

Они чокнулись и выпили. Вере тоже налили, она закраснелась вся, но не посмела отказаться и чуть пригубила.

— Ну, как там город Сталино? Живет? — спросил дядя Онисим, нюхая черную корочку.— Я ж его еще Юзовкой помню...

— Не узнаешь ты Юзовку, дядя Онисим! Уже не Юзовка — столица!

— Да-а? Ишь ты!.. Люди стареют, а города молодеют, как это теперь понимать, а? — Он засмеялся.

— А у вас как дела? — в свою очередь, спросил Светличный.— Слыхал: гремит наша «Мария»!

— Еще как! — воскликнул дядя Онисим.— Звезда над копром у нас теперь не потухает!

— Гремим! — сказал Виктор.— Как пустая бочка.— Он взял огурец и, разрезав его пополам, стал круто солить.— Так и гремим! — повторил он уже сердито.

Светличный внимательно посмотрел на него. Сколько лет они не виделись? Четыре года. Говорят, при встрече старые друзья прежде всего ищут в товарище прежние, дорогие черты, то, что и было любимо. Это неверно. Первый при встрече взгляд всегда острый и недоверчивый: а ну, что нового появилось в моем друге? Да и друг ли он еще? А уж потом с восторгом или сожалением узнают старые черты в новом, чужом человеке.

Светличный весь вечер придирчиво приглядывался к Виктору и Андрею. Прищурив глаза и обхватив длинными руками колено, чуть покачиваясь, он смотрел и слушал, как раскрываются перед ним ребята — туго, со скрипом, будто нехотя, и не хотел торопить их. Он узнавал в Викторе старую и милую ему горячность, резкость, а в Андрее знакомое медлительное упорство и этот смешной соломенный хохолок над упрямым лбом!.. Он узнавал их и не узнавал. Как они выросли! Уже не те робкие ребята, что были пять лет назад. И походка

стала тверже. Тяжело ступают по половицам, стон стоит в ветхом общежитии дяди Онисима от их шагов. И глаза прищурились; больше нет в них ребячьего удивления, есть опыт. Да и то сказать — пять лет в темном забое при свете блендочки,— тут любые глаза станут мудрыми, как у совы. Да, выросли, выросли, черти! Возмужали! И, кажется, поумнели, а?..

— Виктор то имел в виду,— медленно объяснил Андрей, шагая по комнате,— что могла бы наша шахта лучше работать.— Он остановился перед Светличным и пожаловался: — Тесно нам в забое...

— Вполсилы люди работают! Это тебе понятно, Федор? — перебил Виктор.

— Уступы короткие. Какой же это уступ — восемь метров? Разойтись негде,— продолжал Андрей.— И опять же, воздух...

— Стой, Андрей! Дай я ему объясню!..

Вера тихонько выскользнула из-за стола. Ей не хотелось уходить, но и мешать встрече друзей и их беседе она боялась. Однако она не ушла, а только незаметно пересела на стул подле койки Андрея и занялась делом: стала чинить рабочую куртку Андрея. К тому, о чем шумели ребята, она не прислушивалась. Мужчины спорят о своем, о мужском, а она делает свое — женское. И ей хорошо! Всегда бы так!

А Светличный всерьез заинтересовался тем, о чем говорил Виктор. Перестал иронически щуриться. Уже не улыбался, хмурился. Слушал не перебивая. Он вдруг почувствовал зависть к ребятам. От их рассказов пахнуло на него знакомым запахом жизни и шахты. А он эти четыре года, как школьник, просидел за партой!

Он сказал, вставая:

— Так за чем же дело стало, ребята? Чего вы хнычете? Ломайте!

— Чего ломать? — опешил Виктор.

— А все! Старые порядки. Старые предрассудки. Старые нормы и условия труда. Все ломайте к чертовой матери!

— Э-эй! Ты, хлопче, поосторожней, поаккуратнее! — посоветовал дядя Онисим. Он таких речей не любил.

Светличный засмеялся:

— Нет, нет... Давай уж без всякой осторожности! По-шахтерски давай: все под корень. И — к чертовой бабушке! — Теперь ему хотелось дразнить дядю Онисима, подзадоривать ребят. Как замечательно все сложилось! Он приехал сюда на практику, а попадает в самую гущу драки. Опять драка — хорошо! Опять борьба. Вечная борьба нового со старым. Родная стихия. Он подумал, что без этого тугого, порохового воздуха боя ему и жить было бы невозможно.

Он спросил:

— А вы с кем-нибудь уже делились своими идеями, хлопцы?

— Та нет... С кем же? — отмахнулся Виктор.

— Зря. Кто у вас начальник участка?

— Прокоп Максимович. Дядя Прокоп,— ответил Андрей.

— А-а! Хорошо. Умный мужик. Смелый. А завшахтою Дед?

— Дед. Кто же еще?

— А главный инженер кто? — Светличный уже чувствовал себя на поле боя. Ему надо было знать дислокацию сил, состояние артиллерии, тылов, резервов. Он должен был угадать возможных противников и неожиданных друзей.— А парторг кто? — спросил он.

— Нечаенко Николай Остапович...

— Новый, не знаю его... Из шахтеров? Деловой? С Дедом ладит? На драку пойдет? Боевой?

Андрей ответил не сразу. Ему еще никогда не приходилось думать о парторге: какой он? Как никогда не приходилось думать о Деде, о главном инженере шахты, об управляющем трестом: а они какие?

— Нечаенко Николай Остапович? — задумчиво переспросил он.— Он хороший человек...

— Хороший человек — понятие беспартийное...— засмеялся Светличный.

Андрей опять немного подумал, потом покачал головой.

— Нет,— сказал он.— Раз человек хороший, так он нашей партии.

7

Уже давно прошло то время, когда Андрей полагал, что шахта, как и мир, устроена идеально, а порядок в ней — вечен и непогрешим. Теперь он знал, что и в шахте, как и в мире, все не только меняется, но и должно меняться к лучшему. Таков уж закон жизни, закон движения.

Эти перемены всегда несет с собой человек, люди. Те беспокойные, хлопотливые, вечно и всем недовольные, неудовлетворенные, одержимые жаждой все переделывать да перестраивать люди, которых называют революционерами, передовиками или новаторами. Сам Андрей, к сожалению, еще не чувствовал себя таким человеком. Но хотел им быть.

В то жаркое лето обоих товарищей впервые стало томить чувство великого беспокойства. До сих пор их жизнь текла, как мирный ручей — с камня на камень, один день, как другой; они были довольны этим мирным течением и не пытались изменить его.

А сейчас стало им в этих берегах тесно. Как ручей весной, набухая от вешних талых вод, вдруг начинает буйно метаться и разливаться по равнине, так заметались и наши ребята, чуя, как распирают их неведомые вешние силы, желания и страсти, как в каждой жилке ходит и гудит горячая, тревожная кровь... Но если Виктора томил главным образом избыток мускульной силы,— всю целиком он не мог истратить ее ни в забое, ни на гулянке, ни в бешеном плясе на шахтерской «улице»,— то в Андрее пробуждались и властно заявляли о себе силы душевные. Приезд Светличного только ускорил их созревание,— так майский дождь убыстряет рост пшеницы.

Виктор, тот только об одном мечтал: чтоб дали ему всю лаву, где мог бы он хоть раз разгуляться на воле и показать себя. Уж он такой бы рекорд двинул, что и самому Никите Изотову впору! Он верил в свои силы, в свою сноровку, в свое шахтерское счастье.

А Андрей знал, что затея Виктора — удалая мечта, не больше. «Еще будь лава прямой,— рассуждал Андрей,— тогда бы куда ни шло! А то восемь уступов, значит восемь раз зарубать кутки, восемь раз законури-

ваться... Да потом еще крепить за собой всю лаву... Ну, разок можно блеснуть, показать рекорд! А каждый день — это не выйдет. Значит,— продолжал размышлять он,— тут одной удалью не возьмешь. Тут умом надо. А что, если спрямить лаву? Что, если иначе организовать труд забойщика? Что, если сломать весь порядок в шахте?»

Теперь Андрей часто думал об этом и в забое и дома. Незаметно для него самого это стало теперь делом его жизни. Он знал, что и Виктор, и Светличный, и дядя Прокоп, и Даша — они и ее посвятили в свои мысли,— а может быть, и еще шахтеры по всей стране думают о том же. Для этих дум как раз приспело время.

По вечерам в тихом домике Прокопа Максимовича Лесняка шумели долгие споры.

Виктор горячился:

— Что судить да чертить? Вы мне лаву дайте, я вам на практике докажу! Вы, Прокоп Максимович, начальник участка, от вас зависит...

Но старик только недоверчиво качал головой:

— Эй, не справишься, парень! Эй, осрамишься!..

— Я? Я-то?..— задыхался Виктор.— Да я...— У него даже слов не хватило, и он в беспомощной ярости озирался вокруг: да неужто никто, никто не верит ему, его рукам, его умению?

Странное дело, одна только Даша была на его стороне. Она верила. Но как раз ее поддержке Виктор и не был рад. Он все боялся, как бы вдруг эта поддержка не обернулась хитрой насмешкой.

А Даша верила искренно. Не в Виктора — она попрежнему относилась к нему чуть-чуть насмешливо,— а в его идею. И ей уже чудилось, как это все будет: длинная, бесконечно длинная лава, как степь, и угольные искры, как капли росы под солнцем... И идет по этому раздолью один-одинешенек статный добрый молодец, может быть даже и Виктор, ей все равно, и бесстрашно рубает и косит уголь, как косарь в песне... Только звон стоит! Ну разве это не красиво? Разве это не весело? Она сама пошла бы на этот рекорд, если б ее пустили...

Ах, отчего в самом деле не родилась она мальчишкой? Она была бы лихим шахтером! Она шахту любит.

Пусть это непонятно иным ее московским знакомым, а это так. Они в толк не возьмут, как можно любить подземелье, а ей непонятно, как это можно не любить.

Она выросла в советской шахте, иной не знала. И шахта никогда не была для нее черной каторгой, а всегда вторым домом, сперва — таинственным, а потом — родным; старым, добрым, милым домом, где живут и работают отец, дядя и соседи. В детстве она любила рыть норы в песке, играть «в шахту» с мальчиками. Так же играючись, пошла она и работать. Ее поставили ламποносом — ей эта игра понравилась. Ей нравилось являться, как луч света, в темный забой с долгожданной лампочкой для забойщика. Ей нравилось, что шахтеры зовут ее Светиком. Ей все в шахте нравилось: и низкие своды, и ропот подземных ручьев, и звон капели, и резкий ветер на «свежей струе», и, главное, этот таинственный лабиринт ходов, галерей и просек, в котором она привыкла бесстрашно бродить. Она ничего не боялась. Даже в те детские годы, когда у каждого ребенка сказка перемешивается с жизнью, она уже знала, что в шахте нет ни волшебников, ни духов, ни гномов, ни эльфов, а есть дядя Степан, запальщик, и дядя Трофим, бурильщик. Но на поверхности и дядя Трофим и дядя Степан только тихие, добрые соседи. Там, в шахте, они, как и ее отец, становились всемогущими великанами, чернобородыми и многорукими. Ведь именно они, понимала Даша, и есть настоящие волшебники, обычно добрые, а иногда, когда напьются, и злые.

Потом Даша выросла, сама стала работать в шахте, теперь училась. Сейчас каждый таинственный ходок в шахте, каждый самый потаенный закоулок обозначились для нее техническими терминами, даже воздух шахты, ее дыхание, ее испарения, ее летучие газы — все легко и просто уложилось в точные формулы. А детское, поэтическое отношение к шахте, как к сказке, все-таки осталось навсегда! И об этом никто даже подумать не мог бы, глядя на Дашину крепко сбитую, крутую, подбористую фигуру в лихих сапожках со стальными подковками. С детства все привыкли считать Дашутку сорванцом, сорвиголовой, мальчишкой. Она умела свистать по-коногонски, была скора и на язык и на руку, маль-

чишкам спуску не давала, вечно ходила в синяках и царапинах.

— Отчего ты боишься, папа? — бесстрашно наступала она теперь на отца, словно от него одного зависело, быть рекорду Виктора или нет.— Эх, какой ты, папа... нерешительный...

— Да ты погоди, погоди, очень я тебя прошу! — морщился Прокоп Максимович.— Ты-то здесь при чем? Хоть ты не вмешивайся, когда люди о деле говорят.— Но в душе он был рад, что она вмешивается в шахтерские дела. Да и как ей быть в стороне? Будущий инженер. Моя дочь!.. И он счастливым взглядом ласкал статную фигуру дочки.

А она, зная это, не унималась.

— Я считаю,— звонко восклицала она (и Андрей откровенно, обо всем на свете забыв, любовался ею),— я считаю, что дело это вполне реально. И не только один Виктор может дать рекорд. И другие найдутся. Вот хоть Митю Закорко взять... Или Андрей. Ты ведь смог бы, Андрей, а?..

Он едва ли слышал ее вопрос. Он просто любовался ею, ее смелым, разгоряченным в споре лицом. «Какая ж она хорошая! Лучше никого на свете нет!» Он не мог бы сказать сейчас, что в ней особенно красиво: глаза или губы; ни одной черточки врозь он не видел, потому что и любил он в ней (а он уже любил, хоть и никому не признался бы в этом) не глаза и не губы, а всю ее за то, что она такая! В этой любви еще не было ни желания, ни страсти, а только необыкновенная и какая-то почтительная, пугливая нежность, но и эта нежность уже кружила его бедную голову.

А она ждала.

— Ведь правда, Андрюша, да? — ласково, но уже нетерпеливо переспросила она.

— Что правда? — очнулся он.

Все засмеялись, а Светличный лукаво прищурился.

— Я говорю,— сказала Даша, сердито хмуря брови,— что ты тоже смог бы, как и Виктор, дать этот рекорд. Правда ведь?..

— Нет,— тихо ответил он.— Я не берусь...— Он смущенно развел руками и тотчас же нагнул голову, го-

товый покорно встретить любую Дашину насмешку. Но он не мог соврать ей.

— Вот видишь, видишь! — обрадовался дядя Прокоп.— А я что же говорю?

Даша недовольно отвернулась от Андрея, но при этом ничего не сказала. Как это ни странно, а она побаивалась этого тихого парня и втайне уважала его.

— Во-от! — довольно сказал Прокоп Максимович.— Вот как умные-то говорят... Не берусь. И верно! Восемь уступов — восемь кутков...

— А что, если спрямить лаву? — предложил Светличный. В нем, как во всяком испытанном вожаке, смелость всегда шла рядом с осторожностью. Уже три недели прошло с тех пор, как он приехал на «Крутую Марию» и стал работать помощником у дяди Прокопа на участке; он пригляделся, продумал многое, но атаку еще не трубил.

— Ладно! — пожал плечами Виктор.— Давайте прямую, давайте с уступами... Мне все едино... Я за себя отвечаю.

Теперь все смотрели на дядю Прокопа, а он думал, нервно теребя усы.

— Д-да...— сказал он, наконец.— Для Виктора это резон. Так может выйти...

— И выйдет! — ликуя, закричала Даша.

— Д-да... Только надо не об одном Викторе думать, а о шахте.

— А что ж, плохо будет шахте, если я один за восьмерых сработаю? — горячо сказал Виктор и даже обиделся.

— Не плохо. Отчего ж плохо? Хорошо!

— Ну?

— Ну, нашумим, не спорю!.. А дальше что? Ну, ты сработаешь один за восьмерых... Пускай и Андрей... и Митя Закорко... Как раз трое вас, орлов! Только боюсь, даже вам не под силу будет каждый день всю лаву в одиночку обрабатывать. Люди ведь — не машины!.. Для рекорда — хорошо, а для каждой упряжки — трудно. Что же выйдет тогда, ты по-государственному разочти, не горячась?.. В прямой лаве-то, без уступов, других забойщиков уже не посадишь... Так? И придется тебе, Виктор, иной день и пол-лавы проходить в смену, а то

и меньше того. Вот и сядет тогда наша шахта на мель, и выйдет ей не слава и не прибыль, а чистый конфуз! Так, что ли? Вот как я по-стариковски-то рассуждаю. Может, у вас по-комсомольски иначе выйдет? — прибавил он, усмехаясь и оглядывая всех, особенно дочку, насмешливым взглядом.

Все смущенно молчали. Виктор хотел что-то возразить сгоряча, но Светличный остановил его:

— Нет, ты постой! Погоди!.. Что же вы предлагаете, Прокоп Максимович? — спросил он спокойно.

— А что ж тут можно? — развел руками старик.— Удлинить уступы... Иного ничего не придумаю!

— Так в этом уступе, как ни удлиняй, мне все одно не развернуться! — вскричал Виктор.— Какой же там может быть знаменитый рекорд?

— А тебе что нужно: рекорд или уголь? — спросил строго дядя Прокоп.

— Слава ему нужна! — сказал Светличный.

— Не мне слава, всей шахте слава,— пробурчал Виктор.— Что мне-то в славе? А только скучно мне... И слушать-то вас скучно! — он досадливо махнул рукой и отошел к окну, стал смотреть в сад. С тополей уже летел беспокойный пух...

— А ты как полагаешь, сынок? — ласково обратился дядя Прокоп к Андрею, своему любимцу.

— Я? — вздрогнул Андрей.— А я думаю...

8

Он действительно думал. Никогда не вмешивался в спор. Молчал, слушал и думал. И здесь, и в общежитии, и в забое. В забое — больше всего. В шахте хорошо думается. Вероятно, нет рабочего человека многодумнее, чем шахтер. Шахтеры все философы да мечтатели!

— Высоко вы заноситесь, ребята! — сказал как-то дядя Онисим, послушав речи Светличного.— Ишь, государством ворочает! Раньше на этакое шахтер и не отваживался. А и мы, бывало, тоже мечтали...— грустно ухмыльнулся он.— Как же!.. О пьяной субботе мечтали... Або там о пестрой корове, чи о синем зайце.

И, присев на койку к Андрею, он стал рассказывать про шахтерские мечты:

— У каждого своя мечта была, особенная. Без мечты в шахте как же? Темно! Иной всю неделю колотится-колотится, изо всех сил старается, на-гора́ не едет, в шахте спит, только б побольше заработать!.. А в субботу выедет на-гора̀, получку получит — и прямо в лавку. Купит там себе все честь по чести, на все деньги: сапоги бутылками, або пиджак, а то еще рубаху алую с «разговорами» или с петухами. Ну, оденется, пройдется по Конторской улице — раз, другой, третий, погарцует перед народом, покуражится — и в кабак. Только его до понедельника и видели! Все с себя пропьет: и сапоги, и пиджак, и рубаху... даже крест нательный. Ну, а в понедельник — опять в лямку, снова до пьяной субботы! Эх! — махнул он рукой.— А были и такие, что вовсе не пили. Эти о пестрой корове мечтали...

Мечта о пестрой корове тоже была почти реальной. Пеструю корову можно было запросто приглядеть на любой ярмарке. Ее можно было даже купить, только бы деньги! И не один сезонник — орловец, могилевец или курянин — всю зиму колотился, сбивал грош к грошу, и если не срывался весной и не пропивал все в кабаке,— что чаще всего и случалось! — то в конце концов приводил к себе в деревню корову.

Мечта о синем зайце была фантастичнее. Синего зайца никто не видел. Но старики твердо знали: живет этот вольный зверек в заброшенных выработках. Только не всякому дано его встретить: трус не дойдет, глупый не увидит. Но придет такое время, когда синий заяц сам покажется людям: всем — и смелым и робким. Тогда и воцарятся на земле правда и справедливость, а шахта перестанет быть каторгой.

— А неужели,— простодушно спросил Андрей,— неужели никого не было, кто мечтал бы, как добычу поднять, как дело усовершенствовать?

— А зачем? — удивился дядя Онисим.— Кому на пользу? Бельгийцу-хозяину, немцу-директору? Нет! Каждый о своей пользе старался.— Он подумал немного и прибавил: — Да и прогрессивки тогда никакой не было.

Андрей думал не о своей, а о всеобщей пользе. Законурившись и сложившись в три погибели под низкой кровлей, в узкой щели забоя, глубоко под землей, без

солнца и неба, думал шахтер Андрей Воронько о родине, о государстве, о месте шахтера на земле... Отчего раньше никогда не приходили к нему такие думы? Крыльев не было. Дела не знал. Сам был, как слепой щенок в шахте. А теперь... Теперь нет для него в шахте ни тайн, ни темных углов. Теперь он тут хозяин. И по-хозяйски видит: а и плохо же я хозяйничаю! Можно больше взять. Можно лучше работать. Можно иначе организовать труд.

Ему уже смутно мерещилось, как это надо сделать. Это было еще не решение, только мечта. Он никому и не открывал ее до поры до времени.

«Надо бы с Дашей посоветоваться...— иногда думал он.— Как ей покажется? Она ведь ученая...» Но посоветоваться с ней он хотел не потому, что она «ученая», а потому, что теперь без Даши не было у него ни мысли, ни желания, ни поступка. Все теперь относилось к ней, все было с ней связано.

Думал ли он о родине — он и о Даше думал: ведь это и ее родина. Мечтал ли о будущем шахты, города, государства, опять выходило так, что это он о своем и о Дашином будущем мечтает, и даже — тут он невольно краснел — о будущем... их детей. Все сплеталось в единый, тугой узел: Даша, любовь, шахта, государство, Виктор, дружба, успех, которого надо добиться ради родины и ради Даши,— и все вместе это и была жизнь, какою он теперь жил.

Как раньше невозможной и немыслимой для него была бы жизнь без Виктора, так теперь невозможно и немыслимо стало ему жить и без Виктора и без Даши.

Даша всегда была с ним: и в его мыслях и в его снах. Даже работая, он не забывал о ней. Она являлась к нему в забой не как небесное видение, а как веселый Светик с шахтерской лампочкой в руке. По-хозяйски располагалась она в его одиноком уступе. Здесь она была дома. И от ее незримого присутствия ему было легче и работать, и думать, и жить...

Иногда, увлекшись рубкой угля, он на минуту забывал о ней. И тогда она сама властно напоминала о себе, вдруг возникала где-нибудь в волнистом течении пласта, или в струе, или в матовом зеркале кровли над головой и лукаво улыбалась, и он в ответ виновато улы-

бался тоже и снова начинал с ней свой безмолвный и бесконечный задушевный разговор о любви, о жизни, о счастье и будущем, как он его понимал. И представлялся ему тихий, добрый, дружный лад их жизни, трудовой и скромный. У них обязательно будет свой беленький домик с этернитовой крышей, такой, как у Прокопа Максимовича, и в палисаднике анютины глазки, махровая гвоздика и астры осенью... Андрей, конечно, станет учиться, чтоб не отстать от ученой Даши. Будут вместе читать и спорить. Но они никогда и никуда не уедут с шахты, да и некуда им ехать, они горняки. А по вечерам будет к ним приходить в гости Виктор. Он тоже женится, поставит свой домик рядом, и каждый вечер будут они большой семьей сходиться в саду под акацией для мирного чаепития и согласной, душевной беседы...

В этих простых, незатейливых мечтах было для Андрея столько неизъяснимой прелести, столько несбыточного счастья, что голова шла кругом...

Чаще всего ему казалось, однако, что этого никогда не будет; не может этого быть, в отчаянии думал он: слишком уж это было бы хорошо для такого нескладного парня, как он! Разве Даша полюбит такого?

Но иногда, особенно когда рушились под его молотком могучие глыбы угля и приходило радостное сознание своей силы и значения в мире, он становился храбрым и начинал верить, что все сбудется и Даша переступит порог его беленького домика под этернитовой крышей.

Ей, однако, он еще ни разу не сказал о своей любви. Тысячи невысказанных любовных слов так и остались немотствовать в душе Андрея. Да их и нельзя было выговорить — они не существовали в языке, они выговаривались взглядами. Андрей продолжал любить втайне и думал, что это и для всех — тайна. Он и не знал, бедняга, что уже давно ни для кого тут секрета нет, даже для самой Даши.

«Вот поставим мы с Виктором рекорд,— решил он,— тогда ей и признаюсь».

Он и сам не смог бы толком объяснить, какая связь существует между признанием и рекордом. Но смутно предчувствовал он, что связь эта есть и что после ре-

корда вся жизнь — и его и Виктора — станет иною.

Между тем до рекорда было еще далеко. По-прежнему собирались все у Прокопа Максимовича, судили, рядили, спорили, а к решению прийти не могли. Андрей, как всегда, молчал.

Однажды Виктор не выдержал и взорвался:

— Да до каких же пор будем мы вола вертеть? Вы мне прямо скажите: поддерживаете вы меня или нет?

— А ты не горячись! — посоветовал Светличный.— Дело не шуточное.

— Боитесь?

— Боюсь.

— А раз боишься, так отступись. В сторону! А мне не мешай. Я один пойду, на свой страх...

— А если сорвешься?

— Вам что за беда! Мой риск, мой и позор.

— Э, нет! — сказал Светличный.— Ты сдуру сорвешься, а идею хорошую погубишь.

— Так идея-то моя!..— закричал Виктор.

— Нет, врешь. Уже не твоя — наша.

— Так что ж мне теперь делать, а? — в отчаянии воскликнул Виктор.— И связали вы меня, и подрезали, и пикнуть даже не даете. Ты хоть то пойми, что не могу я теперь по-старому работать. Не могу! Тоска и стыд!..

— Очень мы это хорошо понимаем, сынок! — сочувственно вздохнул дядя Прокоп.— Вот и ищем выхода. Идея у тебя богатая, а осуществить ее невозможно.

— Нет, возможно,— вдруг тихо сказал Андрей.

Он сказал это ровным, обыкновенным голосом, сам не подозревая, какая взрывчатая сила была в этих простых словах, какое новое, великое дело они зачинали.

Потом, много лет спустя, когда этот вечер стал уже для них только историческим эпизодом, не больше, они не сумели даже вспомнить, как все было. Кажется, удрученный Виктор просто не расслышал слов Андрея. Светличный удивленно взглянул на него, но ничего не сказал, не спросил, а дядя Прокоп даже поморщился.

— Эх, Андрей! — с досадой сказал он.— Что говоришь! Ведь сам давеча...

— Нет, возможно! — упрямо повторил Андрей и покраснел.— Надо только вот что, надо труд разделить.

Его опять не поняли. Он, запинаясь, объяснил:

— Понимаешь, пусть забойщик только рубает уголь, а крепят за ним пускай крепильщики...

— Как?! — ахнул Светличный.

Это было так неожиданно и так просто, так замечательно просто, что именно поэтому никому из них до Андрея и не пришло в голову. Они и сейчас не сразу взяли в толк его идею, хоть и была она совсем проста. Но она одним взмахом сметала давно заведенный порядок вещей, а к этому не вдруг привыкнешь. Спокон веков забойщик и рубал уголь и крепил за собою. Для шахтера это было таким же естественным законопорядком, как для крестьянина то, что поле надо сперва вспахать, а потом уже засеять. И вдруг является парень, Андрей, не ученый, не инженер, и одним словом обрушивает естественный порядок. Как тут не ахнуть!

Предложи Андрей нечто совсем фантастическое, несбыточное, и тогда это не так бы всех поразило: против совсем неизвестного куда легче в бой идти, чем против давно заведенного. Даже самый пустой фантазер может высидеть у себя в кабинете «новую», «философскую» систему или новую, ни для кого не обязательную религию; для этого смелости не надо! Но только подлинный революционер находит в себе мужество восстать против проклятого «так заведено», против самой страшной силы на земле — силы привычки.

Эта сила привычки была так велика, что даже дядя Прокоп, смелый, мудрый горняк, не сразу взял в толк мысль Андрея.

— Нет, ты погоди, постой! — пробормотал он.— Как же так? А управление кровлей? А потом, как же с заработком? Что же, поровну делить, а? — Это были все пустяковые возражения, и он сам тут же отшвыривал их. Но он искал их и цеплялся за них, чтобы хоть самому себе объяснить: отчего же раньше никто не додумался до таких простых мудрых вещей, до каких так легко дошел этот мальчишка, Андрюшка, его названый сын и выученик?

И вдруг неожиданно, перебив самого себя на полуслове, он закричал:

— А ведь верно, верно! Все верно! — И в полном восторге пошел обнимать Андрея.

Вокруг смущенного Андрея теперь столпились все.

— Да нет! Правда ли? Возможно ль то, что предлагает Андрей? — восклицала Даша, с надеждой заглядывая то в лицо отца, то в глаза Андрея.

— Возможно! Все возможно! — шумел больше всех обрадованный Виктор.— Ну, теперь только ходу, ходу нам дайте! Э-эх! — И он высоко поднимал над головой свои могучие кулаки и тряс ими, словно уже шел на рекорд.

— А Дед? — неожиданно спросил Светличный.

Но и это не потушило общего восторга.

— Что Дед? Что нам Дед? — задорно крикнул Виктор.— Нас теперь и Дед не остановит.

— Конечно, загадочный мужик Дед, от него всего ожидай! — сказал Прокоп Максимович.— Но умный... Вообще в шахтпартком следовало бы за поддержкой сперва пойти, да беда — Нечаенко в отпуску...

— А к Нещеретному и идти не стоит! — махнул рукой Виктор.— Этот не решит.

— Ну что ж, пойдем к Деду!

В этот вечер в тихом домике дяди Прокопа был праздник. Словно все уже свершилось. Словно благословил уже Дед ребят на рекорд. Словно и рекорд уже был поставлен, и от этого всем людям стало лучше жить на земле. Словно сбылись уже все надежды и все мечты: Светличного о новой шахте, Виктора о славе, Андрея о любви и вечном счастье с Дашенькой...

9

Дедом все в поселке звали заведующего шахтой «Крутая Мария» и за глаза иначе никак не звали. Между тем настоящее его имя было — Дядок, Глеб Игнатович. Именно Игнатович, а не Игнатьевич, на этом он настаивал. Всякий раз, когда именовали его неправильно, он терпеливо поправлял, никогда, однако, не сердясь при этом.

Он был родом белорус, Витебской области, Городковского района. Родные места он покинул давным-давно, еще мальчуганом, и с тех пор на родине больше не

бывал, да и не собирался туда. Но он всегда называл себя белорусом, очень гордился этим, носил сорочки, вышитые витебским крестиком, картошку называл бульбой и любил ее во всех видах, а в его речи и до сих пор слышалось мягкое цокание, особенно если он волновался

Когда на шахту прибывала очередная партия земляков, он немедленно находил ее. Являлся в казарму, сразу спрашивал, нет ли городковских, витебских — городковские обязательно случались,— и потом долго расспрашивал их о своих родных (их осталось мало) и о знакомых (а их было много, все перебывали у Деда на шахте). Затем он требовал водки и бульбу, истово пил, никогда не пьянея, и, опершись сизым крутым подбородком о свою знаменитую суковатую палку, с которой даже в лаве не расставался, слушал протяжные песни родины...

«Марией» он управлял два года и управлял хорошо. При нем слово «прорыв» забылось. Он был дельным и строгим хозяином, дотошно знал горное искусство, начальство его уважало и даже побаивалось: планы ему всегда давали посильные.

Однако секрет его удач был не в этом. В те годы текучка еще лихорадила шахты. Здесь, как в море, бушевали ежедневные приливы и отливы. Но в отличие от законов моря тут никаких законов не было, даже сезонных. Никогда нельзя было угадать, куда подует ветер, что будет завтра, сколько людей выйдет в упряжку, сколько совсем уйдет с шахты.

Трепала текучка и шахту Деда, но зато недостатка в рабочей силе он не знал никогда. Его выручали белорусы.

Не только в Городковском районе, но и далеко за пределами его, по всем белорусским селам гуляла легенда о Деде, о добром земляке — хозяине шахты, негордом, приветливом и свойском. «Эй, иди к Глебу — будешь с хлебом! — говаривали старики отходники.— Где Глеб, там и хлеб. У Деда, как у Христа за пазухой,— и тепло и мило». И земляки в белых свитках и кислых овчинах валом валили на шахту к Деду, он принимал всех.

Он был добрый и простой человек, шахтеры его любили. Жил он скромно и одиноко — жена давно умерла,

взрослые дети разъехались, и в его казенном, конторском доме было пусто и холодно; он только спал там, жил же он на людях: в шахте, в конторе, в общежитиях. Он был почетным гостем на всех званых обедах, посаженым отцом на всех шахтерских свадьбах, кумом на всех крестинах. Поп мог и быть и не быть — ни свадьба, ни крестины от этого не расстраивались, а без Деда не бывало на шахте ни крестин, ни свадьбы.

Когда большой, грузный, уже по-старчески обрюзгший, но все еще величавый, шел он, тяжко опираясь на палку, по улицам поселка, словно по штрекам шахты, хозяином, все встречные торопливо снимали перед ним шапки и кланялись. Не улыбаясь, он молча кивал в ответ. Он вообще улыбался редко. Он никогда не говаривал ласковых слов людям, не шутил, не балагурил с шахтерами, не похлопывал по плечу, не называл их «ребятами» или «орлами». Панибратства он не терпел и не допускал.

Но не только каждого шахтера в поселке — каждую шахтерскую женку, всю рудничную детвору знал он по имени, знал, чей это замурзанный мальчишка роется в песке, чья это тоненькая девочка с алым бантиком в тощей косичке бежит с большим бидоном за керосином в лавку. Он знал все и про всех потому, что только этим и жил он, да и жил-то только ради этого, ради этих людей. Его не зря величали Дедом. Его уважали и боялись не как начальника,— шахтеры никого не боятся! — а именно как Деда. Так в старых крестьянских семьях чтут своих патриархов, уже почти не слезающих с печки, но по-прежнему властных, непогрешимых и мудрых.

Дед и был таким патриархом в большой семье шахтеров и, как родной отец, любил своих чумазых детей, любил по-своему, угрюмой, строгой и бережной любовью.

Когда год назад произошла на «Марии» катастрофа — взрыв газа в восточной лаве — и семнадцать шахтеров погибли в шахте, Дед не стал прятаться от осиротевших семей, от их горя и их ярости, а сам пошел к ним. Пошел не затем, чтобы утешить вдов — этого он

и не умел,— а чтоб посоветовать им или даже приказать, как жить дальше.

— Ты плачь, плачь! — говорил он, заметив, как при его появлении испуганно смолкала баба и принималась торопливо утирать глаза фартуком.— Плачь, как не плакать? — Он усаживался на табурет, ставил меж колен палку, потом трубно сморкался в большой клетчатый платок и продолжал ровным, спокойным голосом: — Такого мужа, как Антон, тебе, кума, теперь не найти! Хороший был мужик, старательный, непьющий...

Он словно нарочно бередил свежую рану. Вдова заливалась слезами; уцепившись за ее подол, принимались реветь дети, а Дед невозмутимо сидел среди них, тихо качал седой головой и говорил негромко и наставительно:

— Да, Дуня, такое твое вдовье дело — плачь! Деньгами тебе государство поможет, опять же углем и так далее. Не пропадешь!.. Теперь, замуж будешь выходить — не осудим. Ты это знай.

— Что вы, батюшка, Глеб Игнатович? — возмущенно вскидывалась вдова.— О том ли мне думать?..

— А ты не спорь, Дуня, не спорь! Я лучше знаю. Детишкам твоим отец нужен. Вон они какие махонькие!..— Он притягивал к себе самого крохотного из детворы и продолжал: — Замуж соберешься — посоветуйся со мной. Та-ак!.. За молодого не выходи. Это не надо. Сурьезного себе мужика возьми, самостоятельного. Ты меня слушаешь?

— Слушаю, Глеб Игнатович. Зачем только и говорите вы такое, слушать нехорошо...

— А ты слушай! Я дело говорю. Суть главное. То-то!.. Лучше всего выходи за вдового. Вот за Севастьянова, за Герасима. Ничего мужик, работящий, к детям ласковый... Так-то, кума! — говорил он, уже вставая.— Жить надо!.. А я к тебе еще наведаюсь...

И он шел в следующий дом, навстречу новым слезам и новому горю. И там так же невозмутимо и с виду равнодушно слушал вопли баб, причитания старух и рев детей и не останавливал их, а давал им выплакаться. А потом вместо жалких слов утешения принимался толковать о земных делах, о том, как теперь жить и что делать.

— Ты теперь, Мотя, получишь за мужа большую сумму от государства. Слышишь? Так ты эти деньги не трать, не форси. Не твои деньги — ихние! — показывал он на ребят.— Ты деньги на книжку положи. А я проверю. Слышишь?

— Слышу, Глеб Игнатович,— угрюмо отвечала вдова.

— Ну, вот! — кивал он головой.— И хорошо!.. Злая ты баба, кума, но теперь это ничего, это можно. Теперь тебе с твоей злостью даже легче жить будет. Та-ак!.. А если о замужестве мечтаешь,— неожиданно прибавлял он,— так ты это брось!.. Тебя замуж никто не возьмет. Ты не Дуня.

— Я и не собираюсь. Один был муж, да и того вы убили...

— Не я убил — газ.

— А мне все едино! Убили, а мне теперь с сиротами горе мыкать.

— А кому ж? Ты их народила, тебе и воспитывать. Ты то пойми, кума,— твоя бабья жизнь теперь кончилась. Теперь для детей жить надо. А про свое счастье — забыть.— Как всегда, он говорил прямые, жесткие слова, без околичностей и прикрас, и они, как всякая правда, действовали вернее и надежнее, чем фальшь.— В детях теперь твое счастье, кума!..— продолжал он.— Вот Васятку вашего я в забой переведу, там заработки лучше, а он уже парень большой. Петьку тоже пора пристроить...

— Не пущу в шахту, не дам! — дико взвизгивала Матрена.— Не дам! — И, как разъяренная квочка, заслоняла детвору всем своим телом.

— Э, пустые твои слова, баба! — морщился Дед.— Куда ж шахтеру, кроме шахты? Жить надо, кума, а не верещать зря. То-то! Я твоего Петьку к камеронам поставлю, пусть учится. А Анютка пускай в школу ходит, как ходила. А потом и остальную мелкоту определим, как следует быть. Так, значит! — И он, тяжело опираясь на палку, поднимался и шел в следующий дом.

Таков был Глеб Игнатович Дядок, Дед, заведующий шахтой «Крутая Мария», к которому Андрей и Виктор собрались нести свою заветную мечту о рекорде.

Дед назначил им быть в конторе вечером, в пять часов.

За час до срока в домике Прокопа Максимовича Лесняка встретились все участники «заговора»: надо было решить, кто да кто пойдет к Деду.

— Вам с Виктором надо идти! — сказал Андрею дядя Прокоп.— Вы застрельщики.

— Боюсь, мальчишки мы для него...— смущенно сказал Андрей.— Дед нам не поверит. Я хотел вас просить, Прокоп Максимович.

— А что ж? Я пойду! — согласился старик.— Дед меня знает.

— А хорошо б Светличный еще...— робко прибавил Андрей.

Светличный засмеялся:

— Все орудия сразу в бой?

— Да видишь ли, говорить я не мастер,— словно оправдываясь, объяснил Андрей.— И Виктор горяч... А ты, Федя, ты ж у нас известный политик...— И он преданными глазами посмотрел на друга.

— Все пойдем! — смеясь, сказал дядя Прокоп.— Навалимся на Деда — ему и не выкрутиться!.. Мы его в кольцо возьмем!..— И он пошел переодеваться.

Виктор и Светличный остались в домике допивать холодное пиво, а Андрей и Даша вышли в садик. Даша заметила, что у Андрея еле приметно дрожат напряженные скулы — он стиснул зубы и губы сжал, левая щека чуть подрагивала.

— Ты что, волнуешься? — удивилась она.

— Волнуюсь! — сознался Андрей. Он не мог объяснить ей, что́ для него этот рекорд... Но и молчать он больше не мог.— Если Дед разрешит рекорд... и рекорд выйдет... я... я тогда тебе кое-что скажу, Дашенька...— прошептал он, думая, что говорит загадочно.

— Да ну? — усмехнулась она.— Ну, буду ждать!

Она знала, о чем он хочет сказать ей,— о своей любви. Ну что ж, он может это сделать и потом, как и сейчас. Все равно она про эту любовь знает. Она подумала, что если б вдруг признался ей в любви ну, скажем, Светличный, она смутилась бы, а если б Виктор — даже рассердилась... А Андрея она могла слушать спокойно.

Нет, ей было приятно, ей было очень приятно, что вот ее любят и что любит Андрей — очень хороший и славный парень. Ей было необыкновенно радостно от горделивого сознания, что ее, девчонку, уже, оказывается, можно любить и любить так горячо и преданно, как Андрей. «Если я прикажу ему: бросайся в шурф, Андрюша! — он кинется. Ей-богу, кинется, прямо головой вниз!»

«Как это славно, когда тебя так любят!» — счастливо думала она. Дотоле еще никто не любил ее и не говорил о любви. С Митей Закорко они были просто друзьями с детства. Андрей был первым, кто полюбил ее как девушку. И она была благодарна ему за это и уже сама любила его за любовь.

Но любила ли? Ей было приятно, легко, даже весело с ним, хоть он всегда молчал и только, волнуясь, ломал спички. Зато он умел восхищенно слушать ее болтовню и удивляться ее уму, ее знаниям, ее доброму характеру. И она сама вдруг начинала чувствовать себя и умней, и добрей, и старше; она росла в собственных глазах, видя свое отражение в его глазах влюбленного. И это было захватывающе приятно!

Но она никогда не скучала, если его долго не было, думала о нем редко и спокойно, не краснела при его появлении, не металась в тоске, отлично спала в самые лунные ночи и с прежним шахтерским аппетитом садилась за обеденный стол. Нет, в книгах иначе писали про любовь. Но, может быть, книги врали?

Наконец, появился Прокоп Максимович. Он оделся в свой парадный костюм, словно шел на праздник.

— Трогаем, хлопцы? — бодро крикнул он и первый двинулся вперед.

Даша проводила их до калитки, потом долго смотрела вслед. Андрей обернулся, она приветливо махнула ему платком; в эту минуту она действительно любила.

10

В конторе, кроме Деда, находился еще главный инженер шахты Петр Фомич Глушков, человек с седыми лохматыми бровями и живыми черными мальчишескими глазами. Когда-то эти глаза, вероятно, искрились сме-

хом, острой мыслью, жизнью; теперь они только тревожно бегали. Странные это были глаза! Они не потускнели, не потеряли ни прежней живости, ни даже блеска, но теперь это был блеск тревоги и живость паники. Петр Фомич был человек, однажды сильно испугавшийся, да так навсегда и застывший в своем испуге.

Год тому назад случилась катастрофа на «Марии». Никто, ни один человек не обвинял в ней Петра Фомича, никто даже упрека ему не бросил. Несчастная случайность катастрофы была слишком очевидной для всех, кроме самого Петра Фомича. Он уже сам не знал, виновен он или нет. Может быть, все-таки он чего-то не предусмотрел, не вспомнил, не принял каких-то необходимых мер? Он стал мнительным, осторожным, пугливым, недоверчивым к людям и мелочно-придирчивым к себе.

Он теперь уже не столько работал, сколько оправдывался. Отдавая распоряжения по шахте, он тут же мысленно приводил все объяснения и оправдания в свою защиту, все параграфы законов и положений. Он словно все время был под следствием сам у себя. И главной его заботой стало огородить себя бумажками и инструкциями, оправдательными документами и оговорками; он жил теперь за частоколом спасительных параграфов.

Ни Петр Фомич, ни Дед не знали, зачем напросились к ним на прием Андрей и Виктор. Но оба, не сговариваясь, чуяли, что речь тут пойдет не об обычных шахтерских просьбах, а о чем-то куда более важном. И Петр Фомич уже заранее нервничал и заранее ощетинивался против всего, что собирались предлагать ребята, а они, несомненно, собирались предложить что-то новое и, стало быть, небезопасное.

Дед же, как всегда, был непроницаем. Он медленно поднял голову, когда ввалились в кабинет ребята во главе с Прокопом Максимовичем, и поморщился:

— Что-то больно много вас...

— Дело большое! — разводя руками и благодушно улыбаясь, ответил Прокоп Максимович.

— И все по одному делу?

— Все.

— Ну-ну! — проворчал Дед.— Садитесь. Слушаю.— И закрыл глаза.

Андрей умоляюще посмотрел на Светличного.

— Начинай ты, Федор!..— прошептал он.

Светличный пожал плечами и начал.

Он начал прямо с того, что положение на шахте нетерпимое (услышав это, Петр Фомич в испуге даже подскочил с места), что забойщики и их отбойные молотки используются вполсилы, что в уступах тесно, развернуться негде («Людям в глаза стыдно смотреть!» — перебил его Виктор), что передовые шахтеры давно уже болеют этими мыслями и думают, как улучшить дело, как брать угля больше («Так, так, так!..» — шептал Андрей), и что вот в результате долгих раздумий нашли шахтеры Андрей Воронько и Виктор Абросимов выход из положения и...

— Какой же? Какой выход? — нетерпеливо закричал Петр Фомич и почувствовал, как нервная судорога уже стягивает кожу у него на лбу и на лысине.

Дед невозмутимо молчал. Казалось, он и не слушал вовсе, дремал. Его глаза по-прежнему были прикрыты тяжелыми веками.

— Какой выход? — усмехнулся Светличный.— А вот...— И он просто и кратко изложил проект Андрея и Виктора: дать забойщику всю лаву, а труд разделить.

— Но это нельзя... нельзя... невозможно! — вскричал Петр Фомич.— Это... не предусмотрено. И притом опасно!.. В смысле управления кровлей... И как вы можете говорить: нетерпимое положение на шахте? А план? Мы же систематически выполняем план, даже перевыполняем на один-два процента... Вот цифры, извольте, поглядите... Будьте добры!..— Он разволновался, расстроился; в Светличном и Викторе он теперь видел не просто беспокойных людей, а грозных обвинителей. Болезненно морщась, он ждал, что вот сейчас кто-нибудь из них — молодых, беспощадных — бросит ему в лицо обвинения.

А Дед молчал.

— Да вы не волнуйтесь, Петр Фомич! — улыбаясь, вмешался дядя Прокоп.— Вы разберитесь. Я и сам поперван растерялся. И те же доводы привел: кровля, зарплата, обычаи... А разобрался...

— Нет, нет, и не говорите! — испуганно замахал на него руками Петр Фомич.— Вы просто не все учли, не-

додумали... Вот хоть взять инструкцию по технике безопасности... вот последний циркуляр наркомата,— он стал судорожно разворачивать какие-то папки.— Или правила ведения горных работ... Это в любом учебнике...— Он вспоминал все эти книги, циркуляры и параграфы затем, чтобы успокоить себя, но, вспомнив их, окончательно сам себя запугал и закричал, испугавшись: — Нет, нет, я категорически, категорически против... То, что вы предлагаете, немыслимо, невозможно... не выйдет!

— Нет, отчего же? — раздался вдруг негромкий голос Деда.— Это возможно.

Андрей обрадованно повернулся к нему.

— Да? Правда ж? — благодарно воскликнул он и подумал: «Какой же хороший человек Дед!»

— Вполне возможно. Отчего ж? — равнодушно подтвердил Дед и поднял сонные глаза на Андрея.— Все у вас? — спросил он.

— Да-а... Это — все.

— Гм... Ну-ну! Хорошо. Тогда, что ж, бувайте здоровы! — неожиданно сказал он, мотнув головой, и придвинул к себе бумаги. Разговор был окончен.

Андрей растерялся.

— А... а рекорд? — ничего не понимая, спросил он.

— А про рекорд забудь — строго сказал Дед.— Забудь! Слышишь? — приказал он. И опять углубился в бумаги.

Но тут уже Виктор взорвался.

— То есть как же забудь? Нет. Стой! Мы про это забыть не можем!.. Вот это где у нас! — крикнул он и гулко ударил себя кулаком в грудь.

— А я говорю: забудь! — не повышая голоса, но властно и с силой повторил Дед.— Понял? Не будет у меня на шахте рекордов. Пока я жив — не будет!

— А ты легче, Игнатович, легче!..— возмутился и дядя Прокоп.— Ты не забывай себя. Зачем же так? Мы к тебе не с просьбой пришли. Мы, если хочешь знать, мы требовать пришли. Не один ты на шахте хозяин. Мы, брат, все хозяева.

— Плохой же ты хозяин, кум! — сердито скривился Дед.— Хороший хозяин — тот даже о своей собаке думает. А ты... ты разве о людях подумал? Эх, ты! —

с горечью сказал он.— Стыдно! Стыдно, старик! Ну, пускай они,— презрительно мотнул он головой на ребят.— Они молодые, им прославиться надо, выскочить... А ведь ты старый горняк. Ты б хоть о товарищах подумал.

— А о ком же я думаю? — растерялся старик.— Неужели о себе? — Он ничего не понимал.

И ребята не понимали. «Да что ж мы плохого сделали? — встревоженно спросил себя Андрей.— Мы ж не для себя... Мы же для шахты... для всеобщей пользы?!»

Кажется, только один Светличный тонким чутьем политика разнюхал, в чем тут дело. Он усмехнулся и осторожно, как-то вкрадчиво даже, спросил:

— Рекордов боитесь, Глеб Игнатович?

Дед сразу же поднял на него глаза. Светличный ему не нравился. Он уже слышал о нем, что беспокойного нрава человек, всех на шахте критикует. «Видать, молодой, да ранний!..— недоброжелательно подумал он о Светличном.— Студент. Карьеру делает. Все они нонче такие. Грамотеи. Умники. Критиканы!..»

Он насупился.

— Я, сынок, ничего не боюсь,— сказал он угрюмо.— Стар я бояться.

Но Светличный словно не слышал этого.

— Боитесь, что после рекорда вам план повысят? — опять невинно, даже как бы сочувствуя Деду, спросил он.

— И этого не боюсь. У нас начальники умные. Не мальчишки.

— А главное, боитесь, что нормы повысят? Так, что ли?

— Я о людях думаю...— нетерпеливо махнул рукою Дед, желая прекратить допрос.

— А о государстве? — тихо спросил Светличный.

— А государство,— раздражаясь и повышая голос, ответил Дед,— это и есть мы — рабочие люди, шахтеры.

— Верно. Значит, будет богаче государство, будем богаче и мы, шахтеры?

— Да... Будут богаче шахтеры — будет богаче государство.

— А вы что же думаете, после рекорда станут шахтеры беднее?

Теперь и дядя Прокоп, и Андрей, и Виктор поняли, наконец, в чем дело.

— Ах, Глеб Игнатович, Глеб Игнатович! — обрадованно воскликнул дядя Прокоп, и у него на сердце стало легко и весело, словно тяжкий камень свалился.— Вот о чем ты беспокоишься, добрая душа! Так мы и это подсчитали, ты не сомневайся! Куда как вырастут заработки шахтеров после рекорда! Ведь больше угля дашь — больше и получишь...

— Кто получит? — рассердился Дед.— Этот вот...— мотнул он головой на Виктора,— да этот...— мотнул головой на Андрея,— да еще три-четыре таких же молодых, ловких... А остальные? А все?

— А кто ж остальным мешает хорошо работать? — искренно удивился Андрей.— При нашем методе всем работать легче.

— Вы б, товарищ заведующий, не на отстающих, а на передовиков равнялись бы. Передовиков бы поддерживали...— с обидой сказал Виктор.

— А что вас поддерживать? Вы и так вон какие зубастые! Кто вас обидит? А слабых да сирых, кроме меня, защитить некому.

— А ведь это хвостизм, Глеб Игнатович! — мягко сказал Светличный и пристально посмотрел на Деда.

И тогда, может быть за долгие годы впервые, вдруг взорвался Дед. Он вскочил с места и с дикой силой грохнул волосатым кулачищем по столу.

— А-а! Хвостизм? — прохрипел он.— Готов уж ярлык? Ты, видать, скорый на такие дела...— крикнул он, с ненавистью глядя на Светличного.

Его шея побагровела, да так страшно, что Петр Фомич испугался: вот сейчас хватит старика удар.

— Что вы, Глеб Игнатович! — метнулся он к нему. Но Дед грубо оттолкнул его, он теперь никого не видел, кроме Светличного.

— Хвостизм? — прорычал он.— Ах, ты, ты!..— ему не хватало ни слов, ни воздуха. Он задыхался. Так вот в чем обвинили его теперь! В том, что он о своих детях, о шахтерах печется? Да! Пекусь! Зато не о себе.

«Мне для себя ничего не надо. Ни каменных палат, ни длинных рублей, ни карьеры, слышь ты, студент?» Он в одной комнате живет. Он все свои деньги раздает

людям. Он ничего с собой в могилу не унесет, не бойсь!.. Ни одна чужая копейка еще никогда не прилипала к его рукам. Все им — шахтерне, землякам, детям. А государство? «Э! — рассуждал он.— Государство наше богатое, не оскудеет».

Государство... Погруженный в мелочные заботы о своей шахте, о своих шахтерах, он редко размышлял о нем. Государство представлялось ему огромным золотым мешком; раньше этот мешок принадлежал капиталистам, сейчас принадлежит рабочим. Ради этого и революцию делали, и кровь проливали, и сам Дед свою кровь пролил. И сейчас он, как умеет, служит государству. Ведь не для себя ж он уголь-то добывает! Не хозяйчик же он в самом деле и не приказчик хозяина!..

Но в глубине своей заскорузлой души, сам того не сознавая, понимал он себя не человеком, поставленным от государства управлять государственной шахтой, а как бы артельным старостой, выборным от рабочих. И, как настоящий староста, норовил он ловко обойти все другие артели и побольше урвать из государственного мешка для своей.

Ему казалось, что именно за это и любят его шахтеры. Не зря же величают и отцом и благодетелем! И он гордился и дорожил этой любовью больше, чем любовью начальства. Пуще всего на свете боялся он, чтоб не упрекнули его в том, что он забурел, зажрался, оторвался от своих. Оттого-то и жил он в одинокой, пустой комнате, и от положенного ему конторского выезда отказался — ходил пешком, и на курорты не ездил, и премии делил поровну между всеми: каждому по крохе, забывая только самого себя...

Однажды, заметив это, заезжий пропагандист из центра полюбопытствовал: «А как вы представляете себе социализм, Глеб Игнатович?» Дед растерялся. Он редко рассуждал на столь отвлеченные темы. Он был малообразованный человек, практик, не инженер; он хорошо знал старую шахту,— но только ее и знал.

«Э...— пробормотал он.— Я как думаю, а?.. Социализм — это чтоб по справедливости... всем, значит, поровну...» — «То есть отдай голому последнюю рубашку? Так, что ли?» — «Вроде так...— пожал плечами Дед.— Нечего в рубахе-то щеголять, когда голый рядом».—

«Д-да...— засмеялся пропагандист.— В общем получается у вас социализм нищих. Не равенство, а уравниловка. Нет, Глеб Игнатович, не так!» И он терпеливо, как школьнику, стал разъяснять ему, как строится социализм в нашей стране и как затем, на базе всеобщего изобилия, будет построен и коммунизм. Дед слушал его молча, не возражал и не перебивал, только недоверчиво качал головой и про себя думал: «Ох, книжники-златоусты! А мы, грешные, на земле живем, в навозе пачкаемся». И хотя и он, как и пропагандист, свято верил в победу коммунизма на земле и за это даже кровь свою пролил, но казался ему коммунизм красивой, справедливой, но такой далекой мечтой, что о ней в практической жизни пожилому человеку и думать как-то совестно.

Ему и невдомек было, что живой коммунизм уже сидел перед ним в образе этих молодых ребят-новаторов, а он гнал его прочь из своего кабинета, да еще обижался, когда за это объявили его хвостистом.

Он вдруг устало и грузно опустился на стул. Сейчас он чувствовал себя только очень обиженным и старым.

Он сказал, ни на кого не глядя:

— Уходите... Все уходите... домой...

Ребята торопливо схватились за кепки, им самим не терпелось поскорее уйти. Уж больно страшно было глядеть на багрово-черную шею Деда и слышать, как он хрипит и задыхается.

Но тут вдруг поднялся оскорбленный Прокоп Максимович. Ни налитая кровью шея Деда, ни его гнев, ни его власть не испугали его. Он выпрямился во весь рост и сказал с обидой, но и с достоинством:

— Хорошо. Пусть будет так. Но точку на этом разговоре я не ставлю. И с тем до свиданья. А продолжим мы наш разговор, товарищ Дядок,— прибавил он, чуть повышая голос,— на партийном собрании. Как коммунисты будем говорить. Потому разговор наш не простой. Идем, хлопцы! — крикнул он и вышел, сильно хлопнув дверью.

11

Даша нетерпеливо ждала возвращения «делегации» от Деда. Несколько раз выбегала к калитке, смотрела на дорогу. В сумерках каждый прохожий кажется тем,

кого ждешь; каждая новая ошибка приносит уже не разочарование, а тревогу.

«Что ж они так долго у Деда? — беспокойно думала Даша.— К добру это или к худу? Неужели Дед не согласится? Что же будет тогда?» «А ничего не будет!— думала она уже через минуту.— Будут работать, как раньше работали, только и всего!» Но она знала, что «как раньше» уже не будет, не может быть, а *как* теперь будет — не знала и потому металась.

Она одна была со своей тревогой, одна во всем поселке. Никто на шахте не знал, зачем пошли к Деду закоперщики; никто об этом и не думал. И не гадал никто, что в эту минуту, может статься, решается рабочая судьба каждого.

Поселок жил своей обычной жизнью, сумерничал. Наступал тот тихий вечерний час, когда люди, вернувшись с работы, думают уже только о себе и о своем,— час позднего шахтерского обеда и послеобеденного отдыха. Все собираются вместе под акацией. Набегавшиеся за день дети послушно и устало приникают к мамкиным коленям. Сонная Жучка забивается в свою нору под крыльцом. Куры прячутся в сарайчике. Все прибивается к своему затону.

С холмов в поселок возвращается шумное козье стадо — крупный рогатый скот шахтеров. Козочки, дробно стуча копытами, резво, как школьницы после уроков, разбегаются по своим дворам и сразу из безыменной и бессловесной скотины превращаются в милых Манек, Дусек, Белянок — любимых подруг шахтерской детворы. Даша видела, как в соседний двор верхом на Маньке-козе торжественно въезжала Манька-девочка; рядом, осторожно придерживая ребенка за плечи, шел отец. И все были счастливы: и ликующая девочка, и сытая козочка, а больше всех отец, усатый проходчик из знаменитой бригады Федорова. Но сейчас он был не проходчик, и не шахтер, и не знаменитый ударник,— он был просто счастливый отец.

В этот час во всем поселке дружно закипают самовары, словно в сотнях маленьких доменных печей поспела плавка. Самоварный дымок низко-низко плывет над плетнями и палисадниками, и сладкий запах древесного угля напоминает шахтерам не забои, где целый день ру-

бились они в каменном угле, а детство: лес, костры в ночном, туманы над рекой... В этот час в каждом, даже самом оседлом шахтере вдруг просыпается позавчерашний крестьянин или даже внук крестьянина. Властно тянет к земле. На этот случай у шахтера есть огород, или клумба с цветами, или просто узенькая полоска вскопанной земли вокруг хаты. И дотемна ползают по грядкам пожилые забойщики, крепильщики и машинисты, сосут погасшие трубки, возятся около кустиков, дышат младенческими запахами рассады и в этом находят свой отдых...

В этот час незримо, неслышно и вдруг расцветает у порога ночная фиалка. Могучий аромат ее внезапно разносится над поселком, все покрывая собой. Он, как сигнал, как звук боевой трубы, стучится в окна общежитий и бараков и всех приводит в смятение. Девчата откатчицы, сортировщицы и плитовые начинают метаться по комнатам. Они уже сняли свои шахтерские робы — жесткие куртки и брезентовые штаны — и превратились в обыкновенных девушек — тоненьких и беленьких, нетерпеливо готовых к счастью. Теперь они носятся по коридорам, наскоро гладят в сушилках свои ленточки, бантики, блузки, «плоются» единственными на все общежитие щипцами или раскаленным гвоздем и выпархивают легкими стайками из общежития: идут «страдать» на Конторскую улицу, как еще недавно ходили «страдать» на колхозную леваду...

Словом, все в поселке в этот заветный час думают о себе и о своем: мечтают о счастье, ищут его, находят, теряют, вновь надеются найти... И сколько людей, столько и вариаций счастья.

Только одна Даша стоит у калитки и думает в этот час не о себе, а об отце и ребятах, которые тоже пошли к Деду не ради своей, а ради всеобщей выгоды.

Она ждет, нервничает и, наконец, начинает злиться на самое себя: «Да что в самом-то деле, чего я-то беспокоюсь. Что мне в их рекорде? У меня у самой — тяжелая зима впереди. Я скоро уеду».

Но она не могла уже не думать о деле, ради которого пошли к Деду отец и товарищи, не могла не волноваться за исход его. И если б все люди в поселке знали, что делают сейчас у Деда закоперщики, что предлагают,

за что дерутся,— они тоже забросили б свои огороды и своих коз и все свои маленькие, частные дела и заботы и стояли бы, как Даша, у калиток, нетерпеливо ожидая возвращения ходоков.

Наконец, пришел отец — один. Даша радостно бросилась к нему навстречу, но отец как-то испуганно отстранил ее от себя, словно боялся расспросов, потом с досадой махнул рукой и вошел в дом. Даша поняла: у Деда ничего не вышло.

На минуту она растерялась. «Что же теперь будет?»

И вдруг рассердилась, не на тупого Деда, а на ребят. «Эх, шляпы! Не могли толком доказать! — презрительно думала она.— Ах, отчего я сама не пошла? Уж я бы!..» Злая, она вошла в дом. Отец что-то сердито кричал в кухне. Потом выскочил оттуда, схватил кепку и ушел из дому.

— Бешеный!..— печально улыбаясь, сказала ему вслед мать.— Словно я виновата...— Она зябко закуталась в белый оренбургский платок и прибавила с бабьей насмешливой покорностью: — У мужиков всегда так: на шахте у них аукнется, а на кухне у нас откликнется... Будем одни пить чай, доченька? — спросила она, вздохнув.

Но Даша тоже не могла теперь сидеть дома.

— Я пойду, мама,— сказала она решительно.

— Куда? — удивилась мать.

— Пойду на люди.

Она набросила косынку на плечи и выскочила на улицу... «Пойду на люди» — этим точно определялось то, что нужно было сейчас делать; она понимала отца: дома оставаться невозможно.

Она пришла в клуб. Там сегодня было весело и шумно, затевались танцы. Подлетел Митя Закорко, курчавый, озорной, в алой майке. Топнул перед Дашей ножкой, схватил, закружил. Даже показалось, что она внезапно попала в костер — на Мите все пылало, все пламенело: майка, золотисто-рыжая шевелюра, щеки, глаза... Даша еле вырвалась из его жарких рук, еле спаслась от этой бешеной шахтерской пляски без музыки и лада. Митя хохотал. Ни Андрея, ни Виктора, ни Светличного в клубе не было.

Даша пошла в шахтпартком. Ни здесь, ни в партка-

бинете ребят не было тоже. Не было их в комсомольском комитете, и в шахткоме, и на Конторской улице, и в летнем саду в кино...

Только сейчас, после долгого кружения по улицам поселка, Даша, наконец, призналась себе, что ищет ребят. «Зачем? А чтоб отругать их... Сказать им, что они шляпы! Ух, и задам же я им перцу!»—говорила она себе. Но чем дольше искала и не находила их, тем больше тревожилась, и если б сейчас нечаянно встретила — бросилась бы им на шею. А уж потом... Ну, потом стала бы и ругать. За то, что ее с собой к Деду не взяли, за то, что все дело провалили... шляпы!

«Где ж они прячутся? — металась она.— Неужели дома сидят?» Ей вдруг представилось, как молча, друг на друга не глядя, бродят ребята по своей одинокой берлоге, тычутся в углы, надсадно курят, молчат и в этом унылом кладбищенском молчании хоронят свои мечты: Виктор — о славе, Андрей — о любви, Светличный — о великом почине.

«А вот приду, растормошу их... скажу, что нечего нос вешать. Еще ничего не потеряно»,— думала она, уже направляясь к общежитию, где жили ребята. Она никогда не бывала у них, но общежитие это знала. «Завтра же потащу их к Деду, в горком, в трест. Не может такое дело пропасть зря! Не может!» Она уже не шла, а бежала по улице. Ну вот — они отчаялись, опустили руки, теперь она сама за все возьмется, все сама устроит... Будь она парнем, черт возьми, она и рекорд сама бы поставила!

— Где Андрей Воронько живет? — налетела она на сторожиху, дремавшую в коридоре подле еще теплого «титана».

Старуха показала.

Даша с треском рванула дверь, вбежала в комнату и остановилась. Ребят не было здесь.

Она растерялась. Так ясно представляла она эту минуту, как влетит в мрачную, накуренную берлогу, словно свежий ветер с гор, словно Светик в тьму забоя, и крикнет с порога: «Эй, свистать всех наверх, ребята!» — и вдруг никого нет. Пусто.

Впрочем, какая-то девушка смущенно поднялась ей навстречу. Девушка была незнакомая — беленькая и то-

ненькая, в легкой сиреневой блузке. «Странно, что глаза у нее карие,— бегло подумала Даша.— Ей полагаются синие...»

— Здравствуйте! — запинаясь, сказала она.— А... никого нет?

— Нету...— смутилась и девушка.— Я сама... тоже... случайно...— и вся залилась краской.

«Как же она здесь? — подумала Даша, не зная, что теперь делать: уходить или оставаться ждать.— А ребята, где же они все-таки? Неужто что-нибудь с ними стряслось?..»

— Вы не знаете,— спросила она,— они так и не приходили? — ее голос невольно дрогнул.

Кареглазая девушка побледнела.

— Нет. А что-нибудь случилось?..— спросила она, замирая от страха.

«Да ведь это Вера! — догадалась Даша.— Это Вера, моя «соперница». Она вспомнила, как подтрунивал Виктор над Андреем, и усмехнулась. Так вот она какая, эта Вера! Ну что ж, славная девушка и хорошенькая... Она еще раз посмотрела на Веру. Девушка, волнуясь, стояла перед нею и в тревоге прижимала к груди какую-то вышитую сорочку — дотоле она держала ее в руках. «Вероятно, Андрею сорочку вышивает. Так она действительно его любит? И этот букет цветов на тумбочке — это тоже от нее...»

— Нет. Я думаю, что с ними ничего не случилось,— сказала Даша.— Может, мне сесть? — Теперь ей уже не хотелось уходить.

— Ах, простите ради бога! — спохватилась Вера.— Вот сюда, пожалуйста.— Она подвинула стул.

— А разве вам Андрей ничего не говорил о том, что они идут к Деду?

— К кому? Нет, ничего не говорил...

«А он ее нисколько не любит! — подумала Даша.— Она, наверно, и про рекорд ничего не знает». Но это было почему-то приятно Даше.

— А вы, вероятно, Даша Лесняк? — вдруг тихо спросила Вера.

— Да...— удивилась Даша.— Разве вы меня знаете?

— Нет... но я так думаю...— смутилась Вера.

— Вам Андрей обо мне рассказывал, что ли? — усмехнулась Даша. И рассердилась. Вот еще новости! А девочка небось ревнует и мучается. Да берите, берите, хоть сейчас возьмите себе вашего вислоухого Андрея! Зачем он мне? Шляпа! Даже Деду ничего доказать не мог!

— Нет, он ничего мне про вас не говорил! — тихо сказала Вера и грустно улыбнулась.— Он такой молчаливый...

Андрей действительно ничего не говорил ей о Даше. Он вообще никогда и ни о чем не разговаривал с нею, и она привыкла к этому. Она была даже рада, что он молчит,— она растерялась бы, если б он заговорил с нею. И тогда он увидел бы, что она дурочка... Нет, пусть молчит, только бы не хмурился и не гнал прочь от себя.

Но теперь она ревниво подумала: «А с нею, с Дашей, он не молчит. С нею он обо всем разговаривает! Она исподлобья, украдкой рассматривала Дашу.— Конечно, она умная, красивая, городская. Она в Москве учится. Он ее любит». И ей вдруг стало так горько, так горько... Ей никто не говорил о Даше и о любви Андрея к ней, но она знала, знала, давно уже знала и чувствовала это. Она и сама не понимала, откуда пришло к ней это *знание*, но именно в эту минуту кончилась юность Веры: девочка стала женщиной, женщиной, которая любит и готова постоять за свою любовь.

Но тут она опять подумала об Андрее: она так и не узнала, что с ним.

— Вы только не скрывайте, пожалуйста...— торопливо сказала она Даше.— Что случилось с Андреем?

— Да ничего с ним не случилось, ничего! — рассердилась Даша.— Шляпа ваш Андрей! — И она неожиданно для самой себя стала сбивчиво рассказывать о событиях сегодняшнего вечера — об идее рекорда и провале у Деда.

Вера молча слушала. Она не все понимала из этого растрепанного рассказа, да и техническая терминология, которой щеголяла Даша, была почти недоступна ей, но одно для нее тут же выяснилось: Андрею плохо, а эта девушка не любит его...

«Так она его не любит?» — подумала Вера, и, стран-

ное дело, это открытие ее даже не обрадовало. Оно обидело ее. Обидело за Андрея. «Но как же, как же можно его не любить?» Она всполошилась. «Боже мой, а уж он как любит! Что же теперь будет с ним?» В эту минуту она готова была отказаться от всех прав своей преданной любви.

Но в это время раздались громкие шаги за дверью, дверь распахнулась и в комнату ввалились ребята: Светличный, Андрей, Виктор, все трое в странном виде.

12

Виктор был пьян. Даже не пьян, а то, что называется «пьяненький», то есть находился в том жалком, но безобидном состоянии полной беспомощности, разнеженности и телячьего благодушия, которое свойственно не пьяному, а именно пьяненькому...

Уже давно замечено, что человек в пьяном виде ведет себя противоположно тому, каков он трезвый: веселый человек мрачнеет, молчаливый — становится болтуном. Так и Виктор, озорной и дерзкий в трезвом состоянии, в пьяном был размягченно кроток, тих, даже слезлив. Ему хотелось всех обнять, перед каждым стать на колени, в чем-то виниться, каяться, просить прощения; все люди казались ему сейчас хорошими, и только он один был плох.

«Ну что ж, не взыщите, выпил! — говорил весь его благодушно-потрепанный, виноватый вид и дурашливая, жалкая улыбка.— Выпил, извините великодушно».

Но как раз Светличный и Андрей и не склонны были прощать Виктора. Беспощадные и прямолинейные, как все молодые люди, они и не понимали и не прощали этого грехопадения. Правда, после неудачи у Деда они все были встрепанные и взъерошенные, им всем хотелось «отвести душу». Слишком неожиданным был отказ, слишком странной — мотивировка.

— Вот! — невесело сказал Светличный.— Наглядный урок истории: мертвое хватает за ноги живое.

Но ни ему, ни Андрею и в голову не пришло «отводить душу» в пивной.

— Ничего! — сказал, тряхнув лохматой головой, Светличный.— Не всюду же мертвецы!

На перекрестке они расстались с дядей Прокопом и молча пошли домой. Где-то по дороге, в сумерках, Виктор и исчез.

Только час тому назад друзья нашли его в пивной, у вокзала. Виктор уже «отвел душу». Легкий и пустенький, он сидел среди шумной компании и горланил: «Шу-ме-е-ел камыш, де-ре-е-вья гну-у-лись...» Увидев Светличного, он сразу притих. Притихла и компания — черен и страшен был в эту минуту Светличный.

— Рекорды ставишь? — прохрипел он, окинув недобрым глазом длинный ряд пустых пивных кружек, и вдруг схватил Виктора за шиворот и рванул к себе.

— Не бей! Не бей его! — вскрикнул Андрей, бросаясь к товарищу.

И Светличный не ударил.

Он только потряс что было силы Виктора, так, что у того в глазах весь мир перекосился и поплыл по диагоналям, а затем поволок из пивной на улицу. Виктор блаженно улыбался. Мир, даже перекосившийся, все равно казался ему сейчас прекрасным, а друзья, даже грубо обращавшиеся с ним, все равно самыми лучшими и самыми добрыми людьми на земле. Из всех троих он один был безмятежно счастлив, но ему никто не завидовал.

Андрей никогда еще не видел друга в таком жалком, овечьем состоянии. Они оба принадлежали к тому поколению шахтеров, которое уже не считает пьянство доблестью. Пьянство есть пьянство, то есть свинство, и больше ничего! Было противно смотреть, как раскис Виктор: розовые слюни текли по подбородку; в первый раз друг вызывал омерзение.

С этим чувством брезгливости и отвращения они и втащили Виктора в общежитие. Но здесь оказались девушки — Даша и Вера. Приходилось сдерживаться. Ребята подвели Виктора к койке и усадили.

— Сиди, черт! — строго приказал ему Светличный и, обернувшись к девушкам, хмуро буркнул: — Здравствуйте! — Ему, как и Андрею, было стыдно за товарища.

— Здравствуйте! — ледяным тоном ответила Даша. Она стояла, скрестив по-бабьи руки на груди и поджав губы, совсем как мать, когда отец возвращался под

хмельком домой.— Хороши! — прибавила она, бросив уничтожающий взгляд, но не на пьяного Виктора, а на Андрея. В ней все кипело. «А я-то, я-то дура! — думала она, кусая губы.— Я-то стремглав бежала к ним, чтобы поддержать, утешить. А они вот как быстро утешились!»

А виновник всех этих переживаний, Виктор, сидел на койке и бессмысленно улыбался. Он понимал, что сделал что-то неправильное, некрасивое, но ему было хорошо сейчас, легко и радостно, не то что три часа назад, и все люди казались ему милейшими милягами, а все в жизни — простым и незамысловатым, не стоящим огорчения, трын-травою.

— Миленькие... славные...— умиленно сказал он, глядя на девушек, и вдруг весело подмигнул им. Потом нахмурился и спросил: — А я свинья?

— Ладно уж! — поморщившись, перебил его Андрей.— Сиди!

— Нет, я свинья! — гордо объявил Виктор.— А почему?

Ему показалось, что он должен все это объяснить, выяснить, чтоб не было недоразумений и огорчений у хороших людей. Он встал и сделал шаг навстрчу девушкам, но пошатнулся и чуть не упал.

— Извиняюсь! — сказал он, уцепившись за спинку кровати.— Я никого не обидел?

— Ложись спать. Живо. Слышишь? — прикрикнул на него окончательно разозлившийся Светличный.

— А почему? — удивился Виктор.— Почему такое? Почему спать, если хорошая компания? Я ведь никого не оскорбил? Тогда — извините.

И он опять сделал движение в сторону Даши; та испуганно и брезгливо отскочила. Но Виктор не заметил этого. Ему казалось, что всем непременно хочется поскорее услышать от него, почему он выпил. Он обвел ликующим взглядом хмурые, встревоженные лица товарищей и остановился на Вере — жалостливые глаза девочки были полны слез.

— Понимаешь, выпил,— сказал он ей.— А почему? — И, словно сам удивляясь, развел руками.— Я так объясняю: стал свиньей! — Он радостно засмеялся.— А почему? А потому! Хотел, как орел, в небо, понимаешь? А Дед меня мордой в грязь.— Он опять засмеял-

ся.— И крылышки мне чик-чик и отчикал.— Он показал пальцами, как отчикали ему крылышки: чик-чик, и залился бессмысленно-веселым смехом, от которого всем стало жутко. А ему думалось, что всем очень смешно.— Мне товарищ Дед так пояснил: не бывать, мол, тебе, шахтер, орлом, будь свиньею! Ну, я и того...— Он хлопнул себя пальцем по воротнику, подмигнул и хотел опять захохотать во все пьяное горло.

Но тут вспомнилось ему все, что случилось с ним в этот вечер, все, о чем он старался забыть в пьяной, веселой компании посторонних шахте людей и что, казалось, забыл и похоронил на дне пивной кружки, а вот оно встало со дна и снова мутит его и мутит... Да что ж это такое? Что ж это такое сделали с ним, с Виктором Абросимовым, забойщиком первого класса, что нет ему теперь ни радости, ни покоя?

— Караул! — шепотом сказал он и вдруг опустился на пол и заплакал.

Это было так неожиданно, что все смутились. Андрей порывисто рванулся к нему, взял за плечи.

— Витя, что ты? Зачем? Ну, встань, встань, пожалуйста! Ну, я тебя очень прошу!

Но Виктор продолжал сидеть на полу и плакал горькими пьяными слезами.

И даже Светличный не знал, что с ним теперь делать.

Тогда Даша решительно шагнула вперед.

— А ну, вставай! — приказала она.— Дур-рак!..

Он удивленно поднял на нее глаза, но плакать перестал.

— Дур-рак!..— сказала она еще раз и прикрикнула: — Ну, вставай же!

Он послушно встал и зачем-то поднял руки вверх. Так и стоял перед нею, словно сдавался в плен.

А она уже знала, что надо делать.

— Снимай пиджак! — скомандовала она тоном, не допускающим возражений.

Ничего не понимая, но уже улыбаясь, он снял пиджак. Уронил его на пол. И опять поднял руки вверх.

— А теперь ботинки! — приказала Даша.

Ухватившись рукой за спинку кровати и подпрыги-

вая на одной ноге, он стал снимать и ботинки; теперь все это казалось ему смешной, милой игрой.

— Которая его койка? — меж тем спросила Даша и, когда ей указали, быстро раскрыла постель.

— Вот! Уже! — гордо сказал Виктор, протягивая ей башмак.

— А теперь — рубашку и штаны. Живо! — приказала Даша.

Вера, вспыхнув, отвернулась. Виктор обвел всех недоуменным, тревожным взглядом, словно спрашивая: а этой команде тоже нужно подчиняться, это тоже входит в правила игры?

— Ну! — нетерпеливо прикрикнула Даша, и он поспешно стал раздеваться.

Даша равнодушно смотрела на него. В трусах и майке он был похож на спортсмена. У него было красивое, стройное, тугое тело; даже пьяненькое оно не могло стать вялым и дряблым. Он был великолепно сложен, и всякая другая девушка, не Даша, вероятно, заметила бы это. А она только одно видела: он пьян и его нужно уложить спать.

— Ну! — притопнула она ногой.— Марш в постель!

— А почему? — заартачился вдруг Виктор.— А я не хочу!

Но он уже весь был в ее власти.

— Нет, я не хочу! — повторил он еще раз, но уже неуверенно.

И она, торжествуя, и сама восхищаясь и удивляясь своей власти, и уже все прощая Виктору за это, увидела, как он, пошатываясь, пошел к постели.

Разумеется, он подчинялся ей только потому, что был пьяненький. Ему не хотелось никого обижать. Он чувствовал себя виноватым перед всеми. Он был беспомощен и жалок. Но друзья презирали его за это, а Даша жалела.

Он послушно пошел к своей койке. Спать ему не хотелось. Еще не все успел он высказать, не все объяснил. Еще надо было поговорить о том, почему же он все-таки не орел. Но Даша... Он вдруг лукаво прищурился: вот что он сделает — он перехитрит ее. Он притворится, что спит. Он ведь никого не оскорбил? Пожалуйста, он ляжет.

И он лег и даже натянул одеяло на голову, но тотчас же высунулся из-под одеяла и крикнул:

— А я уже сплю! — и для правды зажмурил глаза.

И вдруг в самом деле уснул. Уснул, к всеобщему удивлению. Уснул, как ребенок, набегавшийся и досыта намаявшийся за день. С его лица слетело все пьяное, мужское, нечистое: младенчески полуоткрылся мягкий, влажный рот, девичьи ресницы прикрыли глаза, лицо стало бледным и милым. И только сейчас впервые увидела Даша, что Виктор красив.

— Да. Хорош, когда спит! — сказал Светличный, словно угадав мысли Даши.— А ты молодец, Даша! Ну и ну! — удивленно покрутил он головой.— Ловко ты его укротила!

Она смущенно засмеялась и с любовью почти материнской посмотрела на тихого Виктора: он так мило посапывал во сне! И губами сладко причмокивал, как ребенок.

— Я пойду. Извините, пожалуйста! — вдруг нервно сказала Вера. Она давно уже мучилась неловкостью. Теперь она заторопилась и, хотя никто ее не удерживал, не ушла, а выбежала.

— Что с ней? — удивился Светличный.

Потом посмотрел на Андрея и Дашу и нахмурил косматые брови. «Ох, пора и в это вмешаться мне!» — вздохнув, подумал он. Даже в личные дела своих друзей он не мог не вмешаться.

— Пойду и я! — сказала Даша.— Андрей! Проводишь?

Андрей молча кивнул головой.

Они вышли из общежития и пошли по улице.

— Ты не серчай на Виктора,— тихо попросил Андрей.— Он это так, он не пьяница...

— А я оправдываю его! — запальчиво ответила Даша.— Я б на его месте еще б все стекла у Деда выбила.

— К Деду мы напрасно ходили,— нехотя сказал Андрей.— Дед — отсталый человек.

— Отсталый?

— Да. Совсем отсталый.

— А ты, что ж, передовой? — насмешливо спросила она.

— Я? Да,— просто ответил он.— Я передовой. Я о государстве думаю.

Даша искоса посмотрела на него, но от насмешки удержалась. Она только удивилась про себя: полно, тот ли это Андрей, что всего полтора месяца назад робко тащил за нею чемодан с вокзала? Тогда он показался ей неуклюжим, мешковатым и, если правду сказать, туповатым парнем. Что это с ним теперь? Чего доброго, он скоро и Дашу запишет в отсталые.

— Нам надо было сразу же к Нечаенко идти, к парторгу,— сказал Андрей, словно думая вслух.

— А его сейчас нет на шахте. Он в отпуску.

— Ну, приедет.

— И ты думаешь, он поддержит вас?

— Поддержит! — уверенно сказал Андрей.— Как нас не поддержать? Мы полезное предлагаем...

— Ну-ну! — передернула плечами Даша.— Блажен, кто верует! — Теперь она возражала только ради того, чтоб возражать. Вот еще новости! Она не позволит ему взять над ней верх! Если б он утверждал, что снег — белый, а уголь — черный, она и тогда бы спорила. Он ведь влюблен в нее, это все знают. А она... она еще не решила. Значит, верх за нею!

— А ты не веришь, что парторг поддержит нас? — встревоженно спросил Андрей.— Отчего?

— Ну, мало ли! — уклончиво ответила она; ей, собственно, и нечего было отвечать.— В жизни нельзя быть легковерным. Надо всегда готовиться к худшему,— заключила она торжествуя.

— А ты в коммунизм веришь? В мировую революцию?

— Ну, при чем тут это? — рассердилась она.

— Нет! — покачал он головой.— В хорошее всегда надо верить!

Он сказал это, как мужчина,— хорошо и просто. Странно, что девушке это не понравилось. Но она сама была парень в юбке. Она терпеть не могла покровителей и утешителей, она не нуждалась в подпорках, она сама мечтала стать опорой родному человеку.

И ей вдруг вспомнился Виктор, как он лежал, бедняга, скрючившись, с детской, страдальческой улыбкой на

устах... Вот он-то всегда будет и спотыкаться и ошибаться, и ему всегда будут нужны и поддержка, и утешение, и дружеский совет.

13

В середине августа из отпуска вернулся Нечаенко, парторг «Крутой Марии». В тот же день он был на наряде второй смены. Здесь с ним и познакомился Светличный, проводивший наряд участка вместо внезапно занемогшего Прокопа Максимовича.

— А вас тут два молодых человека ждут не дождутся, товарищ Нечаенко! — широко улыбаясь, сказал он.

— Кто?

— Андрей Воронько и Виктор Абросимов.

— А-а! А что у них?

— Да есть одна идейка... Посоветоваться хотят.

— Идейка! Насчет чего? — заинтересовался парторг.— Так пусть заходят.

— Ну, сегодня-то вы будете отдыхать с дороги.

— Так давайте завтра.

Так и условились. Но в тот же вечер Нечаенко неожиданно сам пришел в общежитие. Ребята только ахнули, увидев его в дверях своей комнаты.

— Принимаете гостя, хлопцы? Нет? — весело спросил Нечаенко с порога.— Зашел на огонек. Можно?

— Та входите, входите!..— растерянно пригласил Андрей.

Нечаенко вошел в сопровождении дяди Онисима и сразу же заполнил собою всю комнату, хотя был он человек невысокого роста, худощавый, стройный и проворный.

— Давно я у вас не был! — весело сказал он.— Ну, как вы, хлопцы, не женились? Пора, пора. Женихи богатые... Э, а крыша-то у вас течет! — приметил он сырое пятнышко на потолке.— Как же это, дядя Онисим,— а? Не годится! Ох, видно, придется взяться за тебя.

— Ну и характер у тебя, товарищ Нечаенко! — покрутив головой, ответил смущенный дядя Онисим.— А кругом говорят: добрый, добрый...— Он потоптался еще немного в комнате, а затем деликатно вышел.

А Нечаенко уже стоял подле этажерки и перетряхи-

вал «библиотечку» хозяев: две-три растрепанные книжки да с десяток справочников и брошюр.

— Не густо у вас с культурой, герои, не густо! — говорил он при этом.— Удивляюсь я вам: богатые люди, забойщики, а хороших книг купить себе не можете. Или денег жалко?

Он пришел в гости, а держал себя как хозяин. Такова уж была его манера: слишком много жизненной браги клокотало у него в груди. На него было приятно глядеть. От него еще пахло морем. В своем полотняном костюме, тюбетейке и белых тапочках он совсем не был похож на парторга, тем более на парторга шахты. Сейчас он был просто артельный парень, шумный, веселый, озорной.

Таких ребят в народе называют заводилами. Такие всегда сами собой и часто против собственной воли оказываются в закоперщиках. Они всегда центр водоворота. Даже отдыхая в санатории, они невольно, но зато уж по горло влезают в общественные дела, становятся организаторами всех и всяческих экскурсий, вылазок и турниров, зачинщиками бунтов против шеф-повара и вождями всенародного движения за отмену мертвого часа. За месяц отдыха они устают больше, чем за полгода работы. Даже не умея петь и не имея голоса, они все равно первые запевалы хора...

— А я пришел послушать вас,— сказал Нечаенко, отходя от «библиотеки».— Говорят, у вас, ребята, идеи завелись...

— Та какие там идеи! — смутился Андрей.— Так, думка одна действительно есть.

— А думка есть?

— Та есть же...

— Ну, так выкладывайте свою думку! — сказал Нечаенко, подошел к столу, сел и положил на стол локти.

Все это время Светличный цепко приглядывался к нему. Парторг ему понравился, несмотря на тюбетейку и тапочки. Светличный уже знал, что Нечаенко совсем не такой простодушный, беспечный парень-рубаха, каким кажется с первого взгляда. Он много слышал о нем, особенно от Прокопа Максимовича, давнего члена горкома партии.

— Нечаенко у нас забияка! — ласково и с уважением говорил дядя Прокоп. И эта характеристика для Светличного была самой важной: работников смирненьких и добреньких он не терпел и им не верил. Ему больше по душе были зубастые. А Нечаенко, видать, и был таким. На пленумах и конференциях его выступления всегда нетерпеливо и оживленно ждали. Знали — скучно не будет. Знали, что этот парень ничего и никого не боится, и прятаться он не станет, и сбить его невозможно; не остановится он, даже если первый секретарь нахмурится, а второй обидится.

Наш народ любит смелое слово куда больше, чем острое. Нечаенко и не был остряком в том смысле, как это принято понимать. Не был он и записным оратором. Его речи не блистали ни заранее приготовленными шутками, ни картинными фразами, ни поговорками. Зато был в них огонь неугомонного забияки и искренность человека, болеющего за общее дело. Эти речи надо было не читать, а слушать.

— Думка у нас простая...— нерешительно сказал Андрей.— А как ее высказать — даже не подберу...

— Недовольны мы! — хмуро сказал Виктор.— Ходу нам нету.

— Кому вам? — спросил Нечаенко.

— А забойщикам... кому ж еще?

— В общем задумали ребята совершить небольшую революцию в лаве,— вставил Светличный.

— Надеюсь, бескровную?

— А кто его знает! Парламентский путь пробовали — не вышел.

— Ну, так рассказывайте! — решительно сказал Нечаенко.— Если надо кровь пустить — пустим! Ну? — И он всем телом подался вперед, готовый слушать.

Ребята переглянулись.

— Говори ты, Федя...— вздохнув, пробормотал Андрей.— У тебя складно выйдет.

— Хорошо! — И Светличный стал обстоятельно рассказывать идею рекорда.

— Постой, постой! — вдруг удивленно перебил его Нечаенко.— Да ведь это же очень просто!..

— Чего проще! — улыбнулся Светличный.

— Это ведь элементарное разделение труда. Так я понимаю?

— Да, так!

— Нет, в самом деле удивительно просто! — растерянно повторил Нечаенко и в волнении потер переносицу.— А с завшахтой вы толковали об этом?

— Да.

— И с главным инженером?

— Тоже.

— Ну и что же они?

Светличный только пожал плечами.

— Не поддержали нас начальники,— угрюмо сказал Виктор.

— Отчего же?

— Боятся... А чего боятся, и сами не знают.

— Да-а... Значит, мировые авторитеты против вас? А вы не покоряетесь?

— Да как же этому можно покориться, Николай Остапович? — вскричал Виктор.

— Дерзкий вы народ! — усмехнулся Нечаенко.— А ну, давайте-ка поподробнее вашу идею.— И он начал расспрашивать о подробностях, все придирчивей и придирчивей, просил повторить по нескольку раз одно и то же, доискивался смысла в мелочах. Ребята охотно отвечали ему, и опять все получалось просто, ясно и убедительно. Но именно эта простота и пугала его. «Отчего ж, если так все просто и очевидно, никто раньше этого не применил?» Значит, есть тут какая-то заковыка, и эту заковыку, вероятно, легко разглядел бы любой инженер, любой техник или даже старый, опытный шахтер. Если Нечаенко и не видит ее, так только потому, что он не специалист.

Да, он не был специалистом. Он не был ни горняком, ни инженером, ни техником. О своем образовании он обычно говаривал с грустной иронией: «У меня образование низшее, незаконченное». И это было его самое больное место.

Он был черноморец, сын балаклавского рыбака и сам рыбак; его даже крестили Николаем в честь Николая-чудотворца, покровителя моряков. Его детство пришлось на годы гражданской войны, он и начального училища окончить не успел. Правду сказать, тогда он

мало горевал об этом. Рыбачий парус на шаланде, надутый ветром, увлекал его в куда более интересные плавания!

Но вот он стал комсомольцем. Стал в те дни, когда парусом была уже путевка на рабфак, а попутным ветром — тот, что дул на север. Подхватило этим ветром и Николая Нечаенко. Он оказался в Ленинграде, на рабфаке. Где-то далеко-далеко впереди замаячила и желанная профессия — кораблестроителя.

В это время на всю страну прошумел призыв партии: послать 25 тысяч добровольцев-рабочих в деревню! Рабфаковцев это не касалось, но в студенческих общежитиях об этом говорили и много и горячо. Двадцатипятитысячникам завидовали! Мудрено ли, что встрепенулся и Николай Нечаенко, едва только услышал призыв трубы? Он сам не сознавал, что делает. Сознание тут было ни при чем. Он просто повиновался неукротимому движению сердца. Каждый день читал он в газетах о классовых боях в деревне. Уже были жертвы, уже пролилась кровь. И Нечаенко пошел добровольцем.

Он стал рядовым солдатом коллективизации — пропагандистом, избачом, сельским кооператором, наконец председателем сельсовета. Деревня сделалась для него университетом жизни, академией битв и борьбы. Ни разу не пожалел он, что ради нее бросил рабфак. Но чем дальше, тем острее чувствовал он, что учиться все-таки надо. Его уже перегоняли деревенские ребята из семилетки. Подвернулась путевка на курсы механизаторов сельского хозяйства. Он поехал. Ну что ж, решил он, кораблестроителем не буду, стану механизатором. И жадно бросился на учебу. Но на курсах оказалось гнилое руководство. Недолго думая, Нечаенко полез в драку. Драка была жестокой. Он вышел из нее победителем. Его избрали секретарем партийной организации курсов. А через два месяца он уже был инструктором горкома партии.

— Активность меня погубила! — смеясь, говорил потом Нечаенко.— Эх, надо было не обнаруживаться!..

Но когда в третий раз вырвался он на учебу — в областную партийную школу, повторилась та же история. Напрасно давал он себе «зарок» не обнаруживаться, «молчать в тряпочку», сидеть тихо, как мышь. Он не

умел «молчать в тряпочку». Нечаянно для себя он выступил на партийном собрании. Его заметили. Горкому как раз до зарезу нужен был крепкий и честный человек в местную промышленность. «Доучишься потом!» — пообещали Нечаенко. Он подчинился. При очередной перетасовке кадров его «перебросили» в политотдел на транспорт, а при следующей — в район, на уголь. Его считали крепким, способным, растущим работником, а сам Николай Нечаенко с грустью видел, что постепенно превращается он просто в профессионального функционера. Правда, у него появились хватка, опыт и талант организатора, он научился все хватать на лету; на каждом новом месте он добросовестно изучал дело, технику, по ночам сидел за книгами и справочниками. Но ему не хватало тех элементарных, систематических, именно *школьных* знаний, которых никакая интуиция и никакой талант заменить не могут. И он сам замечал это с тоской и тревогой.

Он злился на себя за эти непрошенные мысли. «Да кто я такой, чтоб жаловаться? Я рядовой солдат партии. Партии виднее, где мне стоять, где драться, где умирать!»

Но душой он уже угадывал, что партии теперь мало полезны хоть и преданные, но неграмотные солдаты. Сейчас нужны коммунисты-инженеры, коммунисты-агрономы, коммунисты-ученые. Кадры решают все. И в комитетах должны сидеть образованные люди. Нельзя руководить народом, имея «низшее, незаконченное...» Как остро он почувствовал это сейчас! Эх, если б был он инженером! Как поддержал бы он этих молодых, горячих ребят, затеявших «революцию в лаве»! Как помог бы им!

А им надо помочь! Всем своим опытом партийного работника, чуткого ко всему новому и передовому, догадывался он, что ребята правы. Главное, то было дорого, что идею свою ребята выносили и выдвинули сами. «Значит, думают по-государственному, вот что дорого! Да еще как смело думают!»

— Вот что, товарищи,— взволнованно сказал он,— чую я, что хорошее дело вы затеяли. Еще не знаю, выйдет ли, а верю... Всей душой верю.

— Спасибо вам, Николай Остапович! — обрадованно вскричал Андрей.

— Это вам спасибо,— ответил парторг.— Теперь вот что мы сделаем, хлопцы. На всякий случай потолкую я еще с Дедом и с главным инженером. А завтра вечером поеду в горком партии к товарищу Рудину. Или еще лучше — к товарищу Журавлеву. Он углем занимается. Вы мне только еще раз и подробнее расскажите суть дела, и во всех деталях.

Он просидел у ребят еще полтора часа и ушел, когда уже совсем стемнело.

14

Нечаенко не пришлось ехать в горком к товарищу Рудину. Рудин сам ранним утром появился на «Крутой Марии» и, как водится, сразу же отправился на наряд. Так было заведено с давних пор: секретарь должен побывать на наряде.

В жизни каждой шахты и каждого шахтера нарядная занимает такое особое, такое своеобразное место, что об этом нелегко рассказать. Официально «нарядная» — это помещение, где три раза в сутки начальники участков, их помощники и десятники (а когда-то штейгеры, артельщики или приказчики) «наряжают» очередную смену: выясняют, сколько людей вышло в упряжку, кто едет в шахту, назначают, где и кому работать, что, как и сколько сделать. Обычно нарядная на старой шахте — это большой, продолговатый, казенного вида зал, где стены измазаны шахтерскими спинами, на цементном полу угольная мелочь, потолок задымлен, а самым примечательным является каменная стена с прорезанными в ней маленькими окошечками: за окошками в своих конторках сидят начальники, у окошек толпятся шахтеры.

Когда-то эта стена наглухо отделяла два мира: тех, кто управляет, от тех, кто трудится; тех, кто сидит за окошечками, от тех, кто робко у окошек толчется. Здесь, у этой мрачной стены, под этими узенькими, равнодушными оконцами разыгрывались ежедневные и однообразные шахтерские драмы; здесь терпеливо маялись безработные, неделями ожидая «счастья» впрячься

в лямку; здесь уныло канючили уволенные и оштрафованные; несмело бушевала голодная «золотая рота»; плакали бабы-вдовы, умоляя взять их ребят на работу, униженно кланялись в глухую стену и ребят заставляли кланяться...

Сейчас хоть кое-где окошечки и остались, а *стены* нет. Теперь и шахтеры свободно и запросто заходят по ту сторону стенки, присаживаются к столу начальника, чтоб потолковать о делах, да и сами начальники — вчерашние шахтеры или дети шахтеров. Из нарядной навсегда, начисто выветрился старый, рабский дух, горький запах нужды и унижения, и сама старая нарядная повеселела и переменилась. И не оттого, что побелили стены в ней,— как их ни бели, все равно шахтеры быстро измажут их своими спецовками,— и не оттого, что стараниями клубных работников и жен-активисток появились в нарядной и картины, и плакаты, и стенная газета с хлесткими карикатурами, и даже цветы в кадках. А оттого, что все, решительно все и круто переменилось на шахте, и прежде всего — труд.

Наряд больше не был, как раньше, ежедневной запряжкой голодных людей в лямку; он стал своеобразным торжественным церемониалом, как развод караула или вечерняя зоря в лагере. Теперь шахтер приходил сюда не только затем, чтоб получить наряд и уйти. Сюда, соскучившись по шахте, забегали и отпускники — повидать товарищей, узнать новости. Сюда заходили давно ушедшие на покой старики-пенсионеры, по привычке или просто чтоб потолкаться среди живых людей.

Здесь единственный раз за день собиралась вместе вся смена, чтоб затем разойтись по всей шахте, по своим одиноким уступам, забоям, бремсбергам или уклонам. Здесь можно за час наговориться досыта, чтоб потом всю смену молчать в тиши забоя; накуриться вволю, чтоб потом восемь часов не курить в шахте. Здесь можно узнать все новости и слухи — от международных до местных, базарных. Можно всласть поругаться с десятником из-за неправильно записанной упряжки и тут же пожаловаться начальнику участка. Здесь можно встретить заведующего шахтой, или парторга, или председателя шахткома, или даже всех сразу и с каждым из них, если есть нужда, поговорить. Сюда обязательно

заглянут приехавшие на шахту люди из центра — инспекторы, корреспонденты, инструкторы. И нарядная нечаянно в одну минуту может превратиться в дискуссионный клуб, в майдан для митинга, в театр, где ко всеобщей потехе разыгрывают хвастуна и лодыря, или в зал собрания. Но и собрание и митинг, если уж они возникнут, будут не такими, как везде. Здесь можно выступать, не записываясь и даже просто не поднимаясь с полу, на котором сидишь по-забойщицки, на корточках, привалившись спиной к стене. Здесь говорят не речисто, без тезисов, зато и не стесняясь в выражениях. Здесь можно и вообще речи не держать, а только одно словцо бросить, и если оно меткое, то навсегда прилипнет к человеку, станет кличкой. Здесь критикуют люто, по-шахтерски, на чины не глядя и ничего не боясь. И оттого иные руководители не любят бывать на наряде, побаиваются. Но и зря тут шахтер ничего не скажет, не соврет, иначе его тут же разоблачат и засмеют товарищи.

Но нарядная все-таки не клуб. Люди приходят сюда затем, чтоб через час спуститься в шахту. Все уже в шахтерках. У каждого в руках инструмент и лампочка. Тесной кучкой сбиваются они вокруг своего бригадира, как бойцы вокруг отделенного перед боем. И над всем, что говорят, что делают и что думают люди в нарядной, властно стоит труд, ради которого они и собрались здесь.

Вот что такое нарядная. Побывать на наряде, послушать, что говорят, чего хотят, чем живут сейчас шахтеры,— неписаный закон для каждого партийного работника, приехавшего на шахту. Вот почему и секретарь горкома Рудин приехал на «Крутую Марию» так рано и сразу же отправился не в контору, не в шахтпартком и не на квартиру Нечаенко, а в нарядную. Дорогу туда он хорошо знал.

В нарядной его сразу заметили и узнали.

— Смотри, смотри! — зашептал Андрей Светличному.— Рудин приехал! Вот этот, большой такой...— Но Светличный уже сам догадался об этом.

Рудин был то, что называется видный мужчина. Был он высокого роста, гибкий и молодцеватый, с каштановой гривой волос, откинутых назад и уже седеющих на

висках. Он носил костюм военного образца и цвета хаки, но не солидный френч, а юношескую гимнастерку, галифе и высокие хромовые сапоги, а зимой — бурки. У него было незаурядное лицо — лицо оратора, вожака: орлиный нос, высокий лоб, гордо посаженная голова, всегда чуть-чуть откинутая назад. Вероятно, в молодости он был замечательно хорош собой. Сейчас все в нем чуть-чуть обрюзгло и отяжелело, зато стало еще более значительным. У него были светло-серые, цепкие глаза ястреба и капризные, пухлые губы ребенка, он надувал их и громко сопел, когда сердился или скучал. Морщин на его лице не было; только две резкие складки у рта и одна на переносице; они свидетельствовали либо о силе характера, либо о привычке к власти.

Андрей восхищенно смотрел на него. Теперь все зависело от этого человека.

Рудин легкой походкой прошел на середину нарядной. Вокруг него тотчас же собрался народ. Десятники и начальники участков выглянули из своих окошечек. «Будет-таки митинг!» — недовольно поморщился Дед, но вслух ничего не сказал.

— Ну, здравствуйте, товарищи! — громко поздоровался Рудин и привычно огляделся по сторонам.— А, Прохор Макарович! — окликнул он кого-то и помахал рукой.— Привет! Здравствуй, Трофим Егорыч! — Он знал всех почетных стариков в районе и всегда величал их по имени-отчеству.— Скрипишь еще, Петр Филиппович? — протянул он руку стоявшему подле него крепильщику Кандыбину.

— Та замажешься! — конфузливо сказал тот, показывая свои грязные от угольной пыли руки.

— Ничего, ничего! — засмеялся Рудин.— Уголек — не чернила. Чернилами я действительно мазаться не люблю. А уголек — святое дело!

Сквозь толпу к Рудину пробирался бригадир бутчиков Карнаухов. Про него на шахте говорили, что его хлебом не корми, дай только постоять подле начальства.

— Золотые твои слова, товарищ Семен! — запел он.— То есть в самую точку! Угольком не замараешься. Я так скажу: шахтер — самый чистый человек на земле, он каждый день в бане моется.

— Верно! — подхватил Рудин.— А мы, начальники, только тогда в «баню» и попадаем, когда нас в центр вызовут холку мылить! Ну, а у вас как дела, как добыча?

— А что дела! Жаловаться не приходится! — за всех ответил Карнаухов своим сладким, старческим тенорком; в детстве он певал на клиросе. — План, слава богу, выполняем, на все, как говорится, на сто...

— Жаловаться не приходится, да и хвастаться нечем! — усмехаясь, перебил его высокий, хмурый шахтер, стоявший прямо перед Рудиным.

— А что? А что? — взъерепенился Карнаухов.— Ты выполнением плана недоволен, товарищ Закорлюка?

— План! Да какой же это план? Перед соседями стыдно!.. Вон на «Софии» смеются над нашим планом...

— А-а! План тебе маловат? Тебе больше надо?

— Да мне что? — передернул плечами Закорлюка.— Отвяжись от меня, сделай милость! — сказал он, отодвигаясь от Карнаухова.

— Ему больше всего надо, он жених! — злорадно выкрикнул откуда-то из толпы Макивчук.— У них с Катькой свой госплан...

— Нам всем больше надо! — строго сказал старик Треухов.— Не на хозяина работаем. Правильно, Закорлюка! Говори все.

— Да что, товарищ секретарь,— вмешался вдруг Митя Закорко, смело поблескивая глазами,— если правду сказать: вполсилы мы работаем. То воздуха нет, то порожняка пол-упряжки ждем...

— С порожняком оттого причина, что путя у нас плохие,— сказал кто-то, судя по кнуту на плече — коногон.— Путя давно бы почистить надо...

— Грязи много, верно!

— А с воздухом отчего? — спросил Митя.

— А с лесом? Неужели в России леса мало? — крикнул кто-то и засмеялся. И все засмеялись вокруг.

— Болезней у нас много, товарищ секретарь! Беда — доктора нет.

— Постойте. Дайте мне слово сказать,— вдруг негромко произнес коренастый шахтер, до тех пор молча и солидно стоявший чуть-чуть в стороне.

Его голос услышали.

— Говори, говори, Очеретин! — зашумели вокруг.

Это и в самом деле был Сережка Очеретин. Но трудно было узнать в этом солидном, уважаемом, даже чуть-чуть раздобревшем шахтере прежнего Сережку-моргуна. Правда, он и теперь нет-нет да и подмигивал левым глазом бессознательно, по привычке, но это был уже совсем другой человек. Настя прочно женила его на себе, и он стал образцовым семьянином, жены побаивался, а новым домом гордился. Каждую получку они под руку с Настей ходили в магазин, чаще прицениваться, чем покупать. У них в новой квартире все было для тихого семейного счастья: хорошая кровать с горою подушек, славянский шкаф с зеркалом, дубовый буфет, патефон с пластинками, велосипед, радио... Теперь Очеретин подумывал о пианино. «Дети вырастут, учиться будут!» Детям, Любке и Наде, близнецам, было сейчас по два года.

Про Очеретина злые языки говорили, что он жадничает, старается в забое только ради денег. Но это была неправда. Не меньше денег нужен был ему и почет. Он привык к нему. Без почета теперь он не смог бы ни жить, ни работать. С тех самых пор как впервые увидел он свое имя — С. И. Очеретин — на красной доске у проходных ворот, он лишился покоя. Сперва он боялся, что записали его на доску «по ошибке» — ошибка выяснится и его имя с доски сотрут, потом стал бояться, что другие забойщики перегонят его в работе, а он отстанет, и имя его опять же сотрут с доски. Он и теперь еще каждый день, приходя на шахту, поглядывал: висит ли еще его портрет. Дома, на буфете, на Настиных кружевных дорожках лежал пухлый плюшевый альбом с вырезками из газет и журналов и с портретами знатного забойщика шахты «Крутая Мария» С. И. Очеретина. Нет, не только ради денег старался в забое Очеретин. Научился он и на собраниях выступать. Умел с достоинством сидеть в президиуме. Ездил на слеты ударников. Только подмигивать он не отучился, хотя Настя за это его поедом ела. Ей все казалось, что это он девчатам подмигивает из президиума.

— Ну, слушаю вас, товарищ Очеретин! — ласково сказал Рудин, всем корпусом поворачиваясь к нему.

Очеретин откашлялся и начал:

— Правильно люди говорят, товарищ секретарь, про воздух, про лес, про порожняк. Вы на это обратите ваше внимание.

— Хорошо! — улыбнулся Рудин.— Учтем. Обязательно.

— Но про главное никто не сказал,— невозмутимо продолжал Очеретин.— Про главное. Про то, что у нас на «Крутой Марии» забойщику ходу нету!

Он остановился. Все вокруг внимательно слушали.

— Ты что это имеешь в виду? — не выдержав паузы, беспокойно спросил Карнаухов.

— А то я имею в виду,— сказал Очеретин,— что устарела наша система добычи. Устарела и портит нам кровь. Какая у нас система выемки угля? Короткими уступами. Так? Вот какая система.

— А как бы ты хотел, голубь? — насмешливо спросил Карнаухов.— Долинами?

— А я б хотел,— с достоинством ответил Очеретин,— чтоб забойщику простор был. Я против уступов не спорю. Не отрицаю я уступов. Но, обратите внимание, какая же может быть добыча у забойщика, если малый уступ? Да мне повернуться там негде, не то что. Вот спросите забойщиков: правильно ли я говорю...

Андрей и Светличный переглянулись.

— Нет, ты слушай, слушай! — прошептал Светличный.— Ай да Сережка-моргун!

«Значит, не мы одни про это мечтаем!» — радостно подумал Андрей и крикнул:

— Верно, Сережа!

— Всякий скажет, что верно! — спокойно закончил Очеретин.— Дай нам уступы длинные — в два раза больше угля дадим.

— В десять раз! — раздался вдруг звонкий, сильный голос.

Это сказал Виктор. Он стоял у окошечка.

— В десять? — переспросил Рудин.— А ну-ну, послушаем!

— Да, в десять! — возбужденно повторил Виктор.— Я слово зря на ветер не брошу. Тут Серега Очеретин говорил: дайте мне длинный уступ, я в два раза больше угля дам... Так? А я говорю,— тряхнул он головой,— дайте мне всю лаву, я один ее за смену пройду!

— Один? — ахнул Очеретин, изумленно глядя на Виктора.

— Да, один! — гордо повторил Виктор. В эту минуту он был способен на все.

Старик Карнаухов повернулся в его сторону и участливо спросил:

— А ты, голубь, трохи... не того? — И он постучал пальцем по лбу.— А?

— Того, того! — злобно подхватил Макивчук.— Рятуйте его, добрые люди, окончательно парень с глузду съехал от великой гордости!

Нарядная грохнула могучим шахтерским хохотом.

— Ай да Виктор! Высказался!

— Так он же Илья Муромец, богатырь, чи вы этого, хлопцы, не знали?

— Артист!

— Иван Поддубный!

— Иди в цирк, Виктор, большие деньги огребешь! — неслось из всех углов.

Наступил как раз тот момент, когда нарядная внезапно превращается в театр. А Виктор стоял, как провалившийся, но гордый актер, и только глаза его из-под шахтерской шляпы пылали желтым пламенем.

— Надо выручать Витьку! — прошептал Светличный и крикнул: — Да дайте ж человеку до конца сказать!

Его голос услышал Рудин.

— Правильно! — снисходительно сказал он.— Пусть товарищ окончит свою мысль.

Все поутихли.

— Я говорю: в десять раз можно больше угля дать! — презрительно улыбаясь, сказал Виктор.— А мне не верите, спросите Андрея Воронька... У него и план есть.

— А-а, и Андрей!..— удивленно пронеслось по нарядной. Андрея на шахте знали. Андрей был осторожный, вдумчивый, молчаливый человек.

— Просим товарища Воронька! — сказал Петр Филиппович Кандыбин.

Андрей, смущаясь, выступил вперед, в центр круга.

— Собственно,— запинаясь, сказал он, обращаясь главным образом к Рудину,— дело еще не проверенное.

Но мысль есть. Правильно сказал Очеретин: вполсилы работаем. Называемся забойщиками, а много ли мы отбойным молотком работаем? Часа три в смену, не больше. А остальное время чего только не делаем! И лес тащим, и крепим, и убираем,— а молоток лежит, угледобычи нету. Оттого и заработки у нас небольшие. То есть обыкновенные... Как ни старайся — больше полторы нормы не дашь.

— Ох, верно! — громко вздохнул кто-то. В нарядной было тихо, этот вздох услышали. Услышал его и Андрей. Ему стало легче говорить. Тут же заметил он, как сквозь толпу осторожно, стараясь не шуметь, продирается запоздавший на наряд Нечаенко и издали улыбается ему. И Андрей в ответ тоже улыбнулся ему и уже с большей уверенностью стал продолжать свою неожиданную речь: — Вот мы и предлагаем лаву спрямить, уступы ликвидировать и дать всю лаву забойщику. Пусть он в полную силу рубает, а за ним крепильщики пускай крепят...

— То есть как это? — недоуменно перебил его старик Кандыбин.— Забойщицкую крепь препоручить крепильщикам. Так, что ль?

— Да. А отчего ж? — ответил Андрей.— Разделение труда.

— А заработок как же? Пополам али как?

— Почему ж пополам? Как же это можно забойщика равнять с крепильщиком? — обиженно сказал Сережка Очеретин.— Никак это невозможно!

— И я про то ж, что нельзя! — обиделся и Кандыбин.— Крепильщик — это, брат, первая квалификация в шахте!

— Это кто ж вам сказал такое, дедушка?

— Да постойте вы с заработками! — с досадой вскричал Митя Закорко.— Что у вас все про одно? Тут, может, человек хорошее дело для шахты предлагает, а вы «заработки»! — и тотчас же нетерпеливо обратился к Андрею: — Ты практически расскажи, Андрей, как ты это дело смыслишь. Не тяни!

Его поддержало несколько голосов:

— Поподробнее просим!

— Как-то непонятно нам...

— Больно мысль твоя, Андрей, удивительная. Ты ясней скажи!

Но Кандыбин с сомнением покачал головой.

— Э, что-то ты не то говоришь, Андрюша! — сказал он, страдальчески сморщившись, словно жалея молодого, горячего парня и сокрушаясь, что приходится его урезонивать.— Против смысла говоришь. Всю жизнь мы тут на шахте толчемся, а такого не слыхивали, чтоб крепильщик, например, забойщицкую крепь крепил...

— Так это ж одна его фантазия! — раздался резкий, насмешливый голос откуда-то от стены.— Ты б еще про синего зайца рассказал, Андрюша! — И там, у стены, засмеялись.

Но насмешки, сопротивление, отпор действовали на Андрея не так, как они обычно действуют на робкие души. Никогда они не обезоруживали его, а делали еще упрямее. И сейчас он только глубже втянул голову в плечи, словно сжался весь перед прыжком и приготовился к бою.

— Вы о заработках не беспокойтесь, дедушка Кандыбин! — сказал он.— Наш шахтерский заработок, он от угля идет. Сколько угля дадим, столько и заработаем. Так?

— Это справедливо! — согласился Кандыбин.

— Верно, верно, Андрей! — крикнул Светличный.— Ты расскажи людям, сколько угля можно дать.

— Вот и подсчитаем,— ободренный этим возгласом, продолжал Андрей.— Сейчас забойщик сколько угля рубает один? Ну, десять, ну, от силы двенадцать тонн. Верно? А тогда, на пару с крепильщиком, он и пятьдесят, а то и семьдесят тонн даст...

— Сколько?! — ахнули вокруг него.

— Семьдесят! — твердо повторил Андрей и посмотрел на Рудина. Но тот в это время о чем-то тихо говорил с Дедом. До Андрея донеслось:

— Балуются ребятки! — и понял, что это о нем и о его предложении сказал Дед.

— Семьдесят? — даже побледнев от волнения, пролепетал Сережка Очеретин.— Так как это, ты всерьез? Всерьез?

— А я так думаю, что и все сто можно взять! — возбужденно выкрикнул Виктор.

— А может, мильон? — спросил Карнаухов.— Ты уж прямо мильонами считай, парень, чего сотнями пачкаться-то...

— Ох, и фантазер народ пошел! — покачал головой Кандыбин.

— Та я ж вам говорю, хлопцы, это ж сказки про синего зайца! — донесся тот же насмешливый голос от стены, и там опять засмеялись.

Но тут раздался новый и властный голос:

— А вы, чем смеяться зря, прежде выслушали б! — И Нечаенко вступил, наконец, в круг, где стояли Андрей, Рудин и Дед.— Выслушали б, а потом и обсудили бы...— прибавил Нечаенко уже спокойно и подошел к Рудину поздороваться.

— Интересный у вас народ на «Марии»,— улыбаясь, сказал ему Рудин.— Спорят, шумят, волнуются. А главное — думают! Вот что ценно! — Он вдруг посмотрел на часы и забеспокоился.— Эх, а я еще на «Софию» хотел успеть... Как фамилия этого паренька? — указал он на Андрея.

— Андрей Воронько.

— А-а! Спасибо...— Рудин сделал шаг вперед, и все вокруг сразу стихли, поняв, что он хочет говорить.— Вот что, товарищ Воронько! — ласково сказал Рудин, кладя руку парню на плечо.— С большим интересом слушал я твое предложение. И всех вас тоже с интересом слушал, товарищи! — обратился он уже ко всем.— Хорошо, что вы об угле думаете. О том, как бы его побольше взять, как бы побольше уголька дать нашему родному государству. Хорошо! Это святые мысли! Ваша шахта у нас передовая в районе. И народ у вас передовой. Хороший народ! Сознательный. Так что я вас агитировать не буду,— улыбнулся он.— А просто пожелаю не успокаиваться на достигнутом, а давать родине побольше донецкого уголька! А меня уж извините, придется мне сейчас к вашим соседям заехать. Боюсь, там у нас совсем другой разговор будет! — засмеялся он и шутливо крикнул сразу же: — Хоть бы вы, ребята, за своих соседей взялись! Пристыдили бы их по-шахтерски, по-соседски. Или на буксир взяли.

— А мы не против! — охотно подхватил Карнаухов.

— Вот-вот. Возьмите на буксир, большое дело сделаете! — сказал Рудин, помахал на прощанье кепкой, которую все время держал в руке и почти не надевал никогда, и пошел к выходу. Шахтеры дружелюбно расступились перед ним.

— А как же...— растерянно пробормотал Андрей, но тотчас же сам остановился.

— Кончай митинг, товарищи! — зычно, на всю нарядную крикнул Дед.— Делай свое дело — да в шахту!

Шахтеры стали расходиться по бригадам. За окном рявкнула автомобильная сирена, было слышно, как тронулась машина, стуча стареньким мотором. Это уехал Рудин.

К Андрею, продолжавшему одиноко стоять посреди зала, подошли Светличный и Виктор.

И тотчас же вернулся Нечаенко, провожавший Рудина.

— Ну, вот! Дело и заварилось! — весело воскликнул он.— Обнародовали вашу идею, ребята. Теперь обсудим. А там...

— А отчего товарищ Рудин ничего не сказал?..— запинаясь, спросил Андрей.

— А как же он мог сразу, тут же и высказаться? Такие дела, брат, с кондачка не решаются! Придется еще и еще обсудить. Товарища Журавлева в это дело втянем... Вот...— возбужденно потирая руки, сказал Нечаенко...— Может, кое с кем придется и поспорить и подраться даже. Ничего-о!.. Только вы уж теперь не отступайте, ребята,— предупредил он.

— Мы не отступим! — тихо сказал Андрей.— Я, если что... Я Сталину напишу!

15

Был такой случай в истории шахты «Крутая Мария»: у нее украли... гудок.

Случилось это давно, в 1921 году. С превеликим трудом восстанавливали тогда шахтеры «Марии» свою родную шахту, назначили уж и утро пуска, а за день до торжества хватились и выяснили: гудка нет. Шахта стала безголосой.

Сначала в кражу даже не поверили. Ну кому нужен свисток? Кто и зачем полезет ради него на трубу? Решили, что его просто сбило ветром. Надо ставить другой.

Но к вечеру выяснилось: гудок действительно украли. И украли его мальчишки с «Софии», украли из хулиганства, из шахтерского озорства, из коногонского молодечества и с торжеством принесли к себе на «Софию» и вручили старикам: вот, мол, какие на «Крутой Марии» ротозеи, свой гудок прозевали.

Узнав об этом, директор «Крутой Марии» пришел в ярость: он требовал, чтобы немедленно была поднята на ноги милиция, озорники арестованы, а гудок возвращен хозяевам. Инженер-технорук, пожимая плечами, сказал, что вся эта история выеденного яйца не стоит: поставим новый — и все!

Но старики шахтеры только печально покачали головами.

— Э, нет! — говорили они.— Новый гудок — не старый! Не спорим: может, новый и лучше будет, и чище, и на звук приятнее. Да только будет он нам чужой. А мы к своему привыкли. Мы его, хрипушу нашего, бывало, поутру из всех гудков в окрестности отличим. Чужой гудок тебя и не разбудит, а свой запоет — сразу как молодой вскинешься...

— Мы ведь о чем мечтали? — прибавил от себя дядя Онисим, тогда еще не комендант общежития, а крепильщик.— Мы ведь о том мечтали, когда шахту восстанавливали, что вот придет-таки одно прекрасное утро и запоет наша кормилица на весь мир, как и раньше. А теперь как же? Торжество, а «Крутая Мария» гудит не своим голосом! Обидно будет... И не узнают люди, что это именно «Крутая Мария» ожила...

— Я ж говорю,— вскипел директор,— надо милицию на ноги поднять.

— Э, нет! — опять не согласились старики.— И так не можно. Позвольте-ка нам самим дело уладить по-своему, по-шахтерски...

И они поступили по-своему. Тем же вечером старики (а были среди них люди и сорока лет, не старше; но «стариками» на шахтах зовут не тех, кто долго жил на земле, а тех, кто много лет протрубил под землей) на-

дели свои парадные костюмы — самое лучшее, что у каждого в сундуках было: люстриновые «тройки», в которых еще под венец шли, тугие крахмальные воротнички или вышитые нежными узорами рубахи под пиджак навыпуск, а те, кто воевал,— аккуратные трофейные френчи с алым партизанским бантом над левым карманом; а сторож инвалид Мокеич даже Георгиевский крест нацепил и ни за что не согласился снять этот старорежимный знак, объясняя, что добыл его кровью,— и торжественной процессией отправились на «Софию»: кланяться соседям, просить обратно гудок, выкупать его несколькими ведрами самогона.

И ранним утром следующего дня загудел, раскатился над озябшей степью старый гудок «Марии» и поплыл над холмами, над туманами, над влажными от росы крышами, никого не разбудив,— ибо все ждали его и не спали,— и всех обрадовав. И, заслышав знакомый голос «Крутой Марии», со всех концов поселка побежали к шахте люди, счастливые и гордые. Стали собираться у ствола. Долго, хрипло и недружно, но от всей души кричали «ура». И бросали в ствол шапки и рукавицы.

А гудок все плыл и плыл над степью...

И старики крестились на звук гудка, как на звон церковного колокола, крестились не потому, что верили в бога, а потому, что не знали, как иначе выразить свои чувства. А шахтерские жены высоко поднимали ребятишек над головой и шептали им:

— Слушай, сынок, слушай!.. Это наша «Мария» гудит. Теперь хлебушко будет!..

Эту историю рассказал нашим ребятам все тот же неиссякаемый дядя Онисим, и теперь она вдруг припомнилась Федору Светличному, когда после всего, что случилось на наряде, поехал он в шахту, припомнилась неизвестно почему и в какой связи. А вспомнив, он уже невольно улыбнулся, тепло и растроганно, как улыбался и слушая рассказ дяди Онисима. И опять без всякой связи подумал: «А повезло мне, что я именно на «Крутую Марию» приехал и именно теперь!»

Казалось, разговор на наряде кончился ничем: пошумели, посмеялись и разошлись. И идее рекорда, так бессвязно и наспех изложенной Андреем в галдеже нарядной и не поддержанной никем, только и оставалось, что

бесславно и тихо, без следа дотлеть, как полуобгоревшей спичке, небрежно брошенной на сырую землю. Но так только казалось. И Федор Светличный видел это лучше всех.

В этот день он, заменяя хворавшего Прокопа Максимовича, встречался со множеством людей, и все они, кто невзначай, а кто и прямо, заговаривали с ним о том, что произошло в нарядной. Никогда еще не видел Светличный «Крутую Марию» в таком волнении. Семьдесят, семьдесят тонн — эта цифра, смело брошенная Андреем, стояла у каждого перед глазами. Никакая самая зажигательная речь не могла бы вызвать такого смятения сердец, как эта простая цифра: 70. Семьдесят тонн может дать в смену забойщик, тогда как сейчас дает десять! И об этих цифрах только и думали люди, тяжко ворочаясь в своих карликовых уступах, показавшихся им теперь еще теснее, чем прежде, и каждый уже примеривал — с руки ль ему это дело, возможно ль оно, и кто — верил, кто — сомневался, кто — посмеивался и даже злился, но беспокоились все. И одни видели в этом славу родной шахте, другие размечтались о славе для себя, третьи лихорадочно прикидывали, сколько ж в таком случае сможет заработать забойщик. Парни пограмотней подсчитывали, сколько угля даст вся шахта, если метод Андрея окажется дельным, — цифры получались грандиозные, от них голова шла кругом. А нашлись и такие, которые во всей этой шумной, беспокойной затее только одно тревожно увидели: теперь вместо десяти забойщиков в лаве останутся один-два. И мне, стало быть, придется уходить с «Крутой Марии». А я тут обжился, привык. И огород у меня и вишенье в садике, около хаты. И старый, хриплый гудок с «Крутой Марии» слаще для меня любых, самых заливистых новых гудков. Куда ж мне теперь от всего этого уходить с семьею?

В этот день десятник Макивчук специально приполз в уступ к Виктору поговорить.

— Бедовый ты парень, Виктор! — льстиво сказал он молодому забойщику. — Не сносить тебе головы!

— Ладно, ладно... — пробурчал Виктор. — Пугай робкого...

— Весь народ на вас с Андрюшкой озлился...

— Уж и весь?

— Весь! Как один! Обижаются люди: что, мол, эти двое — умней всех хотят быть, больше всех им надо? Остерегаю я тебя, Витька, потому что люблю... Неровен час... и пришьют. В шахте темных углов много.

— Ладно, не каркай!..

— Унялись бы вы, право.

— Тебе-то что?

— Мне? А мне ничего!..— засмеялся Макивчук, но непонятной злобой заблестели его глаза.— Я любя говорю.

— Катись ты отсюда, петлюровская сволота! — вдруг рассвирепел Виктор.— А не то,— замахнулся он молотком,— раньше меня свою смерть найдешь.

— Ладно, ладно...— отползая прочь, пробормотал Макивчук.— Я по-хорошему. Андрюшку все-таки предупреди...

Но сам к Андрею в уступ лезть не рискнул.

Зато явился к Андрею совсем неожиданный гость — почти незнакомый ему забойщик Сухобоков, молчаливый шахтер, недавно появившийся на участке и вообще на шахте: он вернулся из армии, со сверхсрочной службы, люто затосковав по дому. Не поздоровавшись, он присел у стойки и стал молча глядеть, как крепит Андрей. Потом спросил:

— Свободная минутка найдется?

Андрей, не сказав ни слова, отложил топор в сторону и выжидательно посмотрел на Сухобокова. Тот ближе подполз к нему. Свет лампочки скупо освещал его худое строгое лицо, узкие, острые плечи и длинные, непомерно длинные руки.

— Агитации не надо,— предупредил Сухобоков.— Я грамотный. Практически расскажи, что ты предлагаешь.— И весь застыл, ожидая ответа.

А Митя Закорко, работавший на другом участке, на западе, перехватил Светличного уже на поверхности, у технической бани.

— Слушай! — сказал он.— Я тебя специально жду. У сторожихи спрашивал. Нет, говорит, еще не мылся.

— Вот как? — посмеиваясь, отозвался Светличный.— Зачем я тебе понадобился?

— Слушай! — нетерпеливо схватил его за руку Закорко.— Ты ж в курсе этого дела. Я ж чувствую. Я голову отрубить даю, что без тебя тут не обошлось.

— Ну, возможно...

— Так ты мне одно только скажи: фантазия это или возможный факт? Только одно скажи. С точки зрения техники,— умоляюще прошептал Митя.— Я тебя как друга прошу.

— Факт,— кратко ответил Светличный.

— Значит, будете осуществлять?

— Будем.

— А почему ж они? — ревниво вскричал Закорко.— Почему Андрей и Виктор? Почему ж именно им такое дело?

— А потому, что это их идея, это они сами придумали,— ответил Светличный. Но Митя взволнованно перебил его.

— Слушай, Федя! Ведь я ж здешний, коренной. Я ж с детских лет на этой шахте. И отца моего тут убили, так и не вытащили... Где-то там, может, и сейчас его косточки тлеют... Почему ж не я, а они? Нет, ты пойми, Федя, я ж тебя как старого друга прошу. Я ж теперь покоя навеки решился...

И Сережка Очеретин, придя с работы в свой новый, аккуратный домик, тоже чувствовал, что лишился покоя. Не радовали Настины цветистые дорожки на полу, и фикус в кадке, и свежая ветка пахучего тополя над зеркалом, и эта лютая чистота парадной комнаты, называвшейся по-местному «залою», где никто не жил, но куда с гордостью любил заглядывать Сережка, вернувшись из шахты, из пыльного забоя, и где принимал он гостей, соседей и приезжих, всегда в один голос хваливших Настю за аккуратность и домовитость, а хозяина — за шахтерскую хватку и хорошие заработки. Но сейчас не обрадовала Очеретина эта «зала» и гордости не было и не было даже обычного нетерпеливого аппетита, есть совсем не хотелось, хоть из кухни и доносились раздражающие ароматы: там Настя с ожесточением варила варенье на зиму и, заслышав, что муж пришел, немедленно выглянула, крикнула: «Сейчас, сейчас!» — и опять скрылась. А через минуту с торжеством пронесла куда-

то мимо Сережки сладко дымящийся таз, вернулась и стала собирать на стол. И все это довольство, даже изобилие в собственном доме, казавшееся Очеретину особенно разительным и полным после стесненных лет житья на пайке, по карточкам, и вчера еще наполнявшее его добрым покоем и радостью, сейчас и не успокоило и не обрадовало его, как всегда, а даже почему-то еще больше встревожило, словно именно в них, в этих тазах и кадках, и была причина его сегодняшнего беспокойства.

«Семьдесят, семьдесят тонн! — думал он, шагая по дому, по двору, по садику и нигде не находя себе места.— Та невжели возможно? А как же я, выходит, в стороне от этого дела? Та невжели ж достигнут? А первый ударник Сергей Очеретин, значит, с доски долой?»

— Иди кушать, готово! — позвала Настя, и он неохотно пошел к столу, хмуро сел, рассеянно стал есть.

Глядя на его встревоженное лицо, испуганно притихла и Настя, но не посмела даже спросить хозяина, в чем дело. Она догадывалась, что думает он о шахте, значит на шахте что-то случилось.

Но и после обеда не вернулся к Сережке обычный покой. Помыкался по углам еще с часок, потом схватил кепку в кулак и выскочил на улицу.

— Ты куда? — ревниво крикнула ему вдогонку Настя, но он только с досадой махнул кепкой и побежал к ребятам в общежитие.

А там оказалось большое сборище. И весь вечер просидел Сережка в досиня накуренной комнате, слушал споры все о том же, о рекорде; сам спорил и под конец повеселел и немного успокоился.

Но, уходя, все же вызвал Светличного в коридор и стал шепотом просить, чтоб и его, Сергея Очеретина, от этого дела в стороне не оставляли, словно все это зависело от одного Светличного...

В этот вечер, как всегда, сошлись за семейным столом два брата Закорлюки — Закорлюка-старший, забойщик, и Закорлюка-младший, крепильщик. И старший Закорлюка, тот, что на наряде раздраженно говорил, что план шахты мал, перед соседями стыдно, стал выспрашивать младшего брата: пошел бы он с ним в па-

ре работать, если б позволили осуществить то, что предложил на наряде Воронько. Что осуществить это вполне возможно, Закорлюка, старый опытный забойщик, не сомневался ни минуты.

— Мы б вполне свободно управились! — убеждал он младшего брата.— Я б стал рубать, ты крепить... А? Можно и больше семидесяти тонн взять. Ты только прикинь в своем мозгу, ну? — И они беседовали так допоздна.

В эту ночь долго не мог уснуть Андрей Воронько. Он уже знал, что борьба будет яростная, и готовился к этой борьбе и знал, что отступления уже нет и что отступать он не будет... И совсем не спал в эту ночь Нечаенко. Верный своей привычке до всего доискиваться самому, он притащил к себе домой ворох книг, все, что нашел на шахте по горному делу: учебники, справочники, монографии, курсы лекций, и стал искать в них ответ. Разумеется, он ни слова, ни единого слова не нашел о методе, предложенном Андреем Воронько, но зато и возражений против этого метода не встретил и к утру вдруг окончательно уверился, что рекорд возможен, воодушевился и решил, что дело откладывать преступно, надо немедленно ехать в горком. Он понимал, что в одиночку ему с упрямым Дедом не справиться. Нужно найти сильного, властного, а главное — авторитетного в горном деле человека, который спокойно выслушал бы его, все взвесил и благословил!

Такого человека Нечаенко и надеялся найти в горкоме. Но Рудина он уже не застал — его вызвали в обком партии, зато встретил второго секретаря горкома Василия Сергеевича Журавлева, которому подробно и рассказал все.

16

Лицо человека в зрелом возрасте редко сохраняет ребячьи черты и изменяется до неузнаваемости, повторяясь потом только в детях. Но есть люди, которые и до седых волос остаются похожими на свои детские фотографии. Таким никогда не удается ни раздобреть, ни полысеть, ни надуться солидной спесью; как их ни корми, они все останутся тощими, какие чины им ни

давай, они все будут в душе своей простодушными и застенчивыми ребятами. Такие люди почти всегда — хорошие люди.

Таким был и Василий Сергеевич Журавлев, второй секретарь горкома.

Я знал его много лет, и в последний раз видел совсем недавно — в 1950 году. Он не изменился, не постарел. Все тем же тихим, лучистым светом сияли его доверчивые глаза, даже когда он сердился или распекал кого-нибудь.

Есть у меня старая фотография времен 1922 года, фотография комсомольской ячейки шахты «Крутая Мария». Я люблю смотреть на нее. Я даже уже приметил, что историю любого моего современника надо теперь непременно начинать с его комсомольской юности: все начинали свою жизнь в комсомоле.

С простительным умилением смотрю я на эту фотографию: здесь все ребята мне знакомы. Вот они сидят или лежат на траве, в своих кожаных куртках, вихрастые, глазастые, бесшабашные — первые комсомольцы-шахтеры, отважно ходившие на бой с зелено-бандитами в Гремячую Балку, в чоновский караул, на первый субботник, а затем на отчаянный приступ рабфаков и институтов — их они тоже брали с бою.

Я знал историю каждого из этих ребят. Вот этот, в стареньком отцовском пиджачке, стал инженером, заведующим шахтой; этот, озорной, в расхлястанной, настежь распахнутой куртке без единой пуговицы,— генералом авиации; этот, в черной косоворотке, с откинутыми назад волосами,— профессором политэкономии; этот, сероглазый,— почетным шахтером; а этот, что в центре, вожак, с черными пламенными глазами, скрестивший руки на груди,— первым заместителем Председателя Совета Министров республики.

Иногда мы встречаемся: все здорово изменились, трудно узнать. И только один остался таким же, как на фотографии,— худеньким слесарьком с удивленными глазами: Вася Журавлев. Внешне он почти не меняется, не стареет, словно знает секрет вечной молодости. В тысяча девятьсот пятидесятом я нашел его почти таким же, каким оставил в тысяча девятьсот тридцать пятом.

Правда, теперь, в пятидесятом году, он, пристыженный женой и товарищами, надел, наконец, галстук и даже шляпу и очень быстро привык к ним, а тогда, в тридцать пятом, был он в кепке блином, в застегнутой до горла синей с белыми пуговицами косоворотке навыпуск, под пиджак, и в брюках, заправленных в сапоги. Но и тогда под кепкой, как и теперь под шляпой, в нем с первого же взгляда угадывался старый комсомольский работник, и не агитпроп, не политпросвет, а вечный экправ [1],— то есть неугомонный защитник интересов рабочей молодежи, заступник «броне-подростков», организатор горнопромышленных училищ, постоянный представитель комсомолии в профсоюзе, деятель юношеской секции рабочего клуба — бич и язва хозяйственников, которые хоть и отмахивались от него, как от досадной мухи, а порой и гнали из своих кабинетов, но почти всегда уступали ему в его просьбах за молодых рабочих и по-своему любили его и уважали. Отказать ему было невозможно.

Глядя на его простецкое, чуть побитое рябинами, открытое и доброе лицо, сразу чувствовалось, что чужие дела и интересы для него куда важнее собственных: в сущности ему самому ничего и не надо. Если бы сказали ему: проси для себя, чего хочешь, он растерялся бы и не знал, чего попросить. Он не ведал нужды, потому что никогда не знал и благополучия. Он ел в шахтерских столовках — и был доволен; часто оставался ночевать в шахтерских общежитиях — и спал отлично. Даже обзаведясь семьей, он не обзавелся хозяйством — ни коровой, ни садом, ни огородом. И не потому, что считал это предосудительным, напротив, в других он это даже поощрял, а просто потому, что было ему недосуг заниматься этим, да и жена попалась общественница, стала председателем совета жен шахтеров.

Вся жизнь Журавлева проходила на людях; людей он любил: для него они все были разные, все интересные и, главное, все нуждающиеся в нем. У него была привычка интересоваться прежде всего заработком шахтера, входить в бытовые мелочи и нужды, или, как он

[1] Заведующий экономически-правовым отделом горкома или губкома.

сам говорил, «совать нос в шахтерский борщ». Он не был мастером произносить речи, зато никто лучше него не сумел бы провести беседу в общежитии или на наряде. Профсоюзную работу Журавлев любил и считался хорошим председателем шахткома. У него даже прическа была какая-то... «профсоюзная»: волосы не назад, а на бочок, на пробор.

Перейдя на партийную работу, Журавлев понял, что ему многому придется поучиться. Не хватало теоретических знаний. Зато люди, с которыми предстояло работать, были ему с детства известны, все тот же знакомый, шахтерский народ, тут тайн для него не было. А ведь в партийной работе главное — люди.

Как и на всяком месте, куда его ставила партия, Журавлев и в горкоме сразу же с головой ушел в работу. Он любил говорить, что второй секретарь горкома — это «лошадка, везущая хворосту воз», и он тянул свой воз старательно, любовно и незаметно.

Нечаенко это знал. Знал, что Журавлев не отмахнется от него, не отошлет к инструктору «подготовить вопрос», а во все немедленно погрузится сам, разберется как опытный горняк и решит. Но вот решит ли? Порывистому Нечаенко второй секретарь горкома представлялся все-таки слишком осторожным, медлительным, кропотливым, неспособным загореться сразу и вдруг. А тут надо именно загореться! И хотя сам Нечаенко только вчера говорил ребятам, что «такой вопрос нельзя с кондачка решить»,— сегодня, после ночи, уже проведенной им в маяте, размышлениях и сомнениях, он рассуждал совсем по-другому. Он считал, что тут больше и думать-то не о чем, все ясно, надо действовать, действовать, и как можно скорей.

С этим он и вошел в кабинет Журавлева, решив «взять секретаря штурмом».

— Большое событие произошло у нас вчера на наряде,— возбужденно сказал он, даже не поздоровавшись как следует.

— А в чем дело? — спокойно спросил Журавлев.

— Да народ наш взбунтовался против старой системы выемки угля, против коротких уступов.

— Вот как?!

— Народ требует по-новому организовать работу в лаве,— еще более горячась и досадуя на спокойствие Журавлева, вскричал Нечаенко.— Вы б только послушали, Василий Сергеевич, что говорят!

— Так-таки весь народ? — прищурился Журавлев.

Нечаенко осекся.

— А вы что,— удивленно спросил он,— уже слышали об этом?

— Так ведь сутки прошли, мил человек,— простодушно засмеялся секретарь.

— Вам товарищ Рудин рассказал?

— Нет, Семен Петрович ничего не говорил. Я и видел-то его мельком. А, как говорится, на угле живем, углем дышим, а земля, она слухом полнится.

— Ну и что ж вы думаете об этом? — упавшим голосом спросил Нечаенко.

— А ничего еще не думаю. Как раз к тебе собирался ехать.

— Ну так поедем! — привскочил Нечаенко.

— Вечерком и приеду. А пока садись да расскажи подробно, в чем самая суть дела. Я, как говорится, только понаслышке и знаю. Чайку хочешь?

Нечаенко нетерпеливо сел, от чая отказался, но суть дела изложил подробно, во всех деталях, и на самые придирчивые вопросы Журавлева ответил толково, как горняк.

— Ну? — с надеждой спросил он, когда все вопросы секретаря иссякли.— Как же теперь будет, Василий Сергеевич?

Журавлев ответил не сразу и как бы нехотя:

— А как будет? Теперь мне надо ребят твоих увидеть. Вот вечерком, как говорится, и приеду.

Вечерком он действительно приехал на «Крутую Марию», в шахтпартком.

— Слушай, Николай Остапович, как зовут того паренька, что выступал на наряде? — спросил он.

— Андрей Воронько.

— А, да, да!..— Журавлев туго запоминал имена и фамилии, зато хорошо помнил лица.— Значит, Андрей Воронько... Ну, вот мы и пойдем к нему. Где он живет, знаешь?

— Конечно. Я их предупредил. Ждут.



«ДОНБАСС»
(Книга вторая. «Крутая Мария»)



«ДОНБАСС»
(Книга вторая. «Крутая Мария»)

— Ну, веди!

И они пошли в общежитие.

Ребята ждали. Стараниями Веры и дяди Онисима в комнате был наведен порядок. Пахло полынью. Дядя Онисим утверждал, что полынь хороша от клопов, клопы ее люто боятся. На окне в большой обливной глиняной вазе пламенел алокрасный букет гвоздик: Вера принесла. «Ого! — пошутил Светличный.— Букет-то со значением! Алый цвет — цвет любви». Но и он тоже нервничал, ожидая приезда Журавлева. Виктор расставил на этажерке, на самом видном месте, только что купленные книги. Потом долго смотрел, как они выглядят на этажерке, и остался в общем доволен. Как и всем, Виктору тоже казалось, что все это: и книги, и гвоздика на окне, и приятный запах полыни, и чистые наволочки, и камчатная скатерть, которую принесла Вера,— все необыкновенно важно сейчас, и все может повлиять на то, быть рекорду или не быть.

Наконец, пришли Журавлев и Нечаенко.

Познакомились. Сели за стол. Хозяева неловко молчали. Молчал и Нечаенко.

— Ну, вот что, ребята,— сказал Журавлев.— Давайте сразу с дела. Не обидитесь, если прямо спрошу?

— Не обидимся...— за всех ответил Андрей.

— Вы всерьез свою идею выдвинули или так, брякнули сгоряча?

— Да мы ночи не спим из-за этой проклятой идеи!— пылко закричал Виктор.— Да мы... Эх! — И он махнул рукой.

Журавлев засмеялся. Эта горячность понравилась ему. Теперь надо было еще проверить твердость.

— Значит, и теперь не отступаетесь от своего? — лукаво спросил он.

— Нам отступать не приходится,— пожал плечами Андрей.

— Хорошо! — крякнул Журавлев.— Тогда выкладывайте все еще раз, во всех деталях...

Андрей переглянулся с товарищами, откашлялся в кулак и стал, торопясь и путаясь, «выкладывать» свою идею. Журавлев слушал его, чуть покачивая головой.

— Значит, лаву надо спрямить? — спросил он.

— Конечно.

— На это время надо. И потом...— он задумался.— А если попробовать так, как есть, с уступом, но труд разделить? Можно? — нерешительно спросил он.

— Можно,— сказал Светличный.— Только эффект будет не тот.

— Сколько в таком случае можно будет взять за смену?

Андрей немного подумал.

— Думаю, все-таки тонн шестьдесят — семьдесят,— осторожно сказал он.

— Все сто взять можно! — закричал Виктор.

— А сейчас десять в смену даешь? — спросил Журавлев.

— Бывает и двенадцать,— ответил Андрей.— Виктор четырнадцать дает.

— Так! — усмехнулся довольный Журавлев.— Четырнадцать и... сто!

— Так вы, значит, поддерживаете нас? — обрадованно вскричал Андрей.

— А этого я еще не сказал,— лукаво прищурился Журавлев.— Я говорю: надо попробовать, хлопцы. И попробовать в тишине. Если дело выйдет, оно само за себя скажет.

— Мы на это согласны,— подумав, ответил Андрей.

— И даже так я думаю,— прибавил Журавлев,— попробуем ночью. В ремонтную смену. А, Николай Остапович? — посмотрел он на Нечаенко.

Тот усмехнулся:

— Тайком от Деда?

— Нет, Деда я на себя беру. Он, как говорится, хозяин шахты. А без хозяина в его квартире даже ночью негоже вольничать.

— Не согласится Дед! — с отчаянием сказал Андрей.— Мы уже его просили.

— А теперь мы с Николаем Остаповичем его попросим,— засмеялся Журавлев.— Так, ребята, значит, договорились: ночью, в ремонтную смену? Рубать будете, конечно, на своем участке?

— Ну ясно!

— Кто у вас начальник?

— Лесняк, Прокоп Максимович. Он всей душой за это дело.

— А! Вот это хорошо! — просиял Журавлев.— Он, значит, и подготовит лаву...

— Как лаву? — вскричал Виктор.— Две! Нас ведь с Андреем двое...

— Э, нет! — покачал головой Василий Сергеевич.— Начинать надо с одной. Что вы, ребята, нет, нет,— замахал он руками.— Так все дело сорвете. Да и Дед ни за что две лавы не даст.

— Верно! — пробормотал Светличный.

Виктор дико взглянул на всех и опустил голову.

— Ну что ж! — сказал он через силу, еле сдерживая слезы обиды.— Иди ты один, Андрей...— Он круто повернулся и отошел к окну.

Наступило неловкое молчание. «Э-э! Некрасиво выходит! — озабоченно подумал Журавлев.— Ах, как неловко! Действительно, оба мечтали, оба имеют право. Молодые ребята, каждому обидно, каждому показать себя хочется. Ах, нехорошо!» Но он деликатно молчал, считая, что все должно быть решено самими ребятами полюбовно и между собой.

Молчал и Нечаенко. С любопытством поглядывал то на бледного Андрея, то на Виктора, вернее — на его спину: даже спина эта казалась обиженной — плечи высоко поднялись и заострились, голова совсем ушла в них.

И Андрей молчал. Смотрел в пол и думал о Даше. Ах, если б Даша была здесь! Если б она рассудила. Если б она верно поняла и не обиделась бы, не разлюбила...

Наконец, он поднял голову и медленно произнес:

— На рекорд пойдет Виктор...

— Нет, ты это брось, брось! — раздраженно закричал живо обернувшийся Виктор.— Я это не приму.

— Виктор пойдет! — снова повторил Андрей.— Он проворней меня. Он больше вырубит. А тут каждая тонна решает! — слабо улыбнувшись, закончил он.

Журавлев внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. Стали прощаться.

— Значит, в ночь на первое сентября? Так решаем?

— Мы готовы.

— Ну-ну! А я к вам приеду еще! — пообещал Журавлев и вышел вместе с Нечаенко.

Было уже темно на улице. Шофер спал в машине около шахтпарткома.

— Так как фамилия этого паренька, белявого? — спросил Журавлев, усаживаясь в машину.

— Андрей Воронько,— улыбнувшись, ответил Нечаенко.

— Да, да... Воронько,— задумчиво повторил секретарь.— Ну, теперь никогда не забуду!

17

Было окончательно решено: в ночь на первое сентября. Через два дня.

Вечером тридцатого у дяди Прокопа собрался весь, как выразился Светличный, «штаб операции»: Андрей, Виктор, Светличный, Прокоп Максимович, Даша. Ждали только Нечаенко.

Андрей успел уже сообщить Даше, что на рекорд пойдет Виктор.

— А почему не ты? — удивилась она.

— Виктор сильнее...

Даша посмотрела на него и пожала плечами. А он, трепеща, спрашивал себя, что она думала, поняла ли его?

Но он ни разу не пожалел о том, что сделал.

Вчера, едва только ушли от них Журавлев и Нечаенко, Виктор кинулся к нему. Схватил за руки.

— Друг! Друг! — пылко прошептал он.— Этого... никогда... по гроб... слышь ты? По гроб не забуду. За двоих буду рубать, за тебя и за себя... И слава нехай обоим!

А Андрей только улыбался в ответ. Что слава? Дружба дороже.

Ночью ребята почти не спали. То перебирали вновь и вновь детали послезавтрашнего «боя», спохватывались, что забыли условиться с Нечаенко, чтобы крепежный лес разложили загодя по уступам; то вдруг принимались вспоминать стародавние времена, «доисторическую эпоху», когда они впервые пришли на шахту и были еще не шахтерами, а пещерными дикарями каменного века, не умели даже инструмента в руках держать, не

справлялись с нормой, подводили всю лаву и боялись Светличного...

— Ох, как люто боялись мы тебя тогда, комсорг! — признался Виктор.— Больше, чем заведующего шахтой, боялись.

— Ладно, ладно,— проворчал Светличный.— Зато теперь совсем страху божьего лишились. Спите, я вам говорю! Спите, черти!

Но Виктор не угомонился до утра. Так и на шахту пошел. И на наряде, и в клети, и потом в забое был он взбудораженно весел, возбужден и болтлив, так что Светличный даже стал бояться, что Виктор еще задолго до рекорда израсходует всю свою нервную энергию и на дело пойдет опустошенный и вялый. Но Виктор был неистощим. Казалось, был заряжен он таким могучим запасом электричества, что своим током мог бы двигать все электровозы в шахте. От него так и разило краснощеким здоровьем и богатырской силой, сознанием этой силы и верой, что она не иссякнет и не подведет. Был он весь какой-то искристый, хмельной, счастливый, как человек, вступивший, наконец, на порог мечты. Даша загляделась на него. И, глядя, все улыбалась.

Наконец, пришел Нечаенко. Пришел не один, а с Дедом. Это было так неожиданно, что «штаб» растерялся. Забыли даже встать навстречу старику.

А Дед невозмутимо вошел в комнату, равнодушно и вяло поздоровался со всеми и только на Светличного бросил косой, враждебный взгляд: «хвостизма» он ему простить не мог.

Прокоп Максимович тотчас же кинулся на кухню.

— Дед пришел, туча-тучей...— озабоченно прошептал он Настасье Макаровне.— Ну, вари бульбу, старуха!.. Авось он от бульбы подобреет...

Когда все успокоились и уселись, Нечаенко весело спросил:

— Ну как, ребята, не передумали, не отступились?

— Николай Остапович! — вскричал Виктор.— Да что вы в самом деле? Да если теперь меня от этого дела отставить, так, ей-богу,— в шурф вниз головой!..

Все засмеялись. Был он хорош в эту минуту — кудрявый шахтерский молодец. Даже Дед невольно улыб-

нулся ему: к шахтерской удали старик не мог остаться равнодушным.

— Ну, раз так...— сказал Нечаенко, и «штаб» стал совещаться.

Было решено, что рубать Виктор будет в своей лаве. Воздух обеспечит главный инженер, а Дед проверит. Крепежный лес будет заранее разложен по уступам. Крепильщиками вслед за Виктором пойдут Закорлюка-младший и Боровой, оба коммунисты. Нечаенко с ними уже говорил.

— Хороший народ,— согласился Виктор.— Мастера.

— Теперь откатка...— сказал Светличный.

— Порожняк подготовим. Коногонов предупредим с утра, чтоб выходили в ночную смену...

— Если позволите,— сказал Светличный, осторожно взглянув на Деда,— наблюдение за откаткой я взял бы на себя...

Дед промолчал.

— Хорошо! — сказал Нечаенко.— Еще что?

— Отбойный молоток я подготовлю с утра, но чтоб его никому не отдали,— предупредил Виктор.— Я сам проверю.

— За твоим молотком мы присмотрим,— смеясь, сказал Нечаенко.— А сам ты, друг ситный, завтра днем спать будешь.

— Та ни в жизнь! — вскричал Виктор.— Я до тех пор глаз не сомкну, пока сто тонн не нарубаю.

— Будешь спать. В порядке партийной дисциплины,— сказал Нечаенко.— Товарищ Андрей, ты уж присмотри за этим.

Настасья Макаровна внесла дымящуюся бульбу, закуску, водку.

— Ну, за благополучное окончание дела! — провозгласил Прокоп Максимович, подымая рюмку.

Все шумно чокнулись и выпили.

Дед неожиданно сказал:

— Против души своей иду. Против своего сознания...— Он покачал головой и вздохнул.— Да-а... Видно, стар я стал, стар... Пора и на печку. А молодому делу я не хочу мешать,— он махнул рукой и взял стопку.

Из деликатности все промолчали. Нечаенко сказал:

— Василий Сергеевич звонил. Он завтра ночью приедет.

— Это хорошо,— оживленно подхватил дядя Прокоп.

И все опять заговорили о рекорде.

А Дед, насупившись, ел бульбу, молчал и думал о том, что он действительно стар, стар, и все состарилось вместе с ним, все, что он любил, понимал, что берег и чем наслаждался. Даже бульба стала не та, нет в ней прежней сладости и смака... А мир вокруг меняется и молодеет...

И вдруг вспомнился ему девятнадцатый год... И первые коммунистические субботники... И как он сам горел тогда необыкновенным пламенем и подымал за собой других, и бесплатно работал куда лучше и охотнее, чем за деньги, грузил уголь Москве, Ленину...

Отчего же сейчас не понимает он Андрея и Виктора? Разве они не дети его? Может, и у них в душе разгорелся огонь необыкновенной любви, того великого старания на пользу родине, которое всем рабочим людям присуще с тех самых пор, как власть в государстве принадлежит им? И он вдруг с неожиданной завистью подумал: «А вот Прокоп не намного моложе меня, а он — с ними».

А вокруг него радостно шумели люди. Сочно чокались. Пили. Пели хором. Веселились шумно и от всей души, как всегда гуляют шахтеры на свадьбах, крестинах и именинах. Между тем это была не свадьба, не именины, не крестины, не новогодняя пирушка... Люди праздновали канун трудового рекорда. Сбывалось! Труд становился праздником.

И тот, кому завтра предстояло этот подвиг совершить, веселился сейчас пуще всех. Громче всех пел. Больше всех пил не пьянея. Наконец, вышел на середину комнаты, топнул ногой и закричал:

— Эх, шахтерскую! Выходи, Даша! — и, не дождавшись ее, пустился в пляс.

На следующее утро Виктор проснулся раньше всех и сам разбудил товарищей. Великое нетерпение сжигало его. Ему все казалось, что случится неожиданное,

и дело отменят. Не позавтракав, он сразу же побежал на шахту. Взял в мастерской свой отбойный молоток, разобрал его, промыл каждую деталь керосином, а затем смазал маслом.

Вокруг него собрались слесари, рабочие, стали добродушно посмеиваться:

— Как за невестой ходишь, Виктор, за молотком... Ишь как нежно ласкает, ребята, гляди-и!..

О затевавшемся деле они ничего не знали: все держалось в тайне, как хотел того осторожный Журавлев.

— Мудришь все, Виктор,— обиженно сказал рябой Квашнин, бог механической мастерской.— Али уж мы меньше тебя в технике-то понимаем?

— Ладно, ладно,— отмахивался Виктор.— Знаем мы вас, сдельщину...

Он собрал молоток и проверил его под сжатым воздухом. Молоток работал легко и ровно. Виктор протер его паклей и отдал дежурному слесарю.

— Смотри,— строго предупредил он при этом,— никому не отдавай! Голову сыму!

Затем они с Андреем побежали на наряд. Там встретились с крепильщиками Закорлюкой-младшим и Боровым, посовещались и условились обо всем.

— Пойдем, покушаешь хоть,— предложил Андрей. Больше на шахте делать было нечего.

Виктор вздохнул и подчинился. Действительно, теперь оставалось только терпеливо ждать ночи.

После завтрака Андрей сказал:

— А теперь, Витя,— спать!

— Спать? — взмолился Виктор.— Та разве ж могу я сейчас спать, Андрюша, голубчик?

— Спать, спать! — смеясь, сказал Андрей.— В порядке партийной дисциплины.

Он привел огорченного, но послушного Виктора домой, заставил раздеться, лечь и сам заботливо накрыл его легким одеялом.

— Теперь спи! Я тоже прилягу отдохнуть...

К его удивлению, Виктор сразу же и уснул: намаялся за эти два дня. А Андрей спать не мог. Эти дни он тоже был в страшном волнении, только оно выдавалось в нем не столь шумно, как в приятеле. Напротив, волнуясь, Андрей делался еще тише, еще собранней, еще

затаенней... Он тоже тревожился: вдруг Дед передумает или еще что-нибудь нежданное стрясется... И только в одном ни на минуту не сомневался он — в том, что Виктор выйдет победителем. «Витя выдюжит, он не подведет! — с нежностью думал он о товарище.— Это правильно, что он, а не я. Он моторный. И азарта в нем больше».

Он не мог лежать. Встал, тихонько придвинул стул к койке товарища и сел подле.

«Пусть хорошенько выспится! — думал он.— Ему нынче сила нужна. Даст он сто тонн? Хорошо б сто... Если сто — сейчас же разнесется. А потом и я пойду тем же методом... Сто не сто, а восемьдесят, девяносто и я дам. А потом и Сережка Очеретин, и Митя Закорко, и Сухобоков... Может, и на других шахтах заинтересуются... Угля будем больше давать. И жить станем лучше!» — Он подумал вдруг о Даше. Да, Даша. Вздохнул. Скоро она уедет. Через три дня и уедет. В Москву. Ничего не поделаешь. Она учится. Молодец. А он здесь останется. Да... А где же?.. А они толком ни о чем и не успели переговорить. Даже не объяснились. Это он виноват. Сробел. Но это все потом, потом, после рекорда... Потом все устроится само собой. Все хорошо потом само собой и устроится...

Замечтавшись, он и не заметил, как поползли в окно сумерки. Он только увидел, как вдруг потемнело, точно потухло лицо Виктора.

«Который же теперь час? — спохватился Андрей, испуганно взглянул на ходики и успокоился.— Пусть еще поспит. Еще рано». И он опять стал думать... Но теперь даже сам Андрей не мог бы сказать, о чем он думает,— так летучи, смутны и обрывисты были его мысли.

Вдруг неожиданный стук в дверь заставил его вздрогнуть. В комнату стремглав влетела Даша и прямо с порога закричала:

— Мама велела...

— Тсс! Тише! — замахал на нее руками Андрей и показал на спящего.

Даша осеклась и в испуге даже рот закрыла ладонью. Потом осторожно, на цыпочках подошла к Андрею и прошептала:

— Мама сказала, чтоб Виктор не смел в столовку идти. Она сама ему все приготовила...

— Хорошо, хорошо...— тоже шепотом ответил Андрей.— Только пусть он еще немного поспит. Еще чуточку... Ты сядь, сядь...

Стараясь не скрипнуть табуретом, Даша тоже села подле койки и, как и Андрей, стала смотреть на Виктора.

А он безмятежно спал, и, видно, что-то очень радостное снилось ему — он улыбался... И Даша вспомнила, как несколько дней назад он так же лежал перед нею, но тогда он был пьяненький и такой беспомощный, жалкий, как дитя... А сейчас он — сильный, он — могучий, он скоро на рекорд пойдет, он один будет пласты крушить, и завтра о его славе вся шахта узнает... А он вот лежит и улыбается во сне, милый, смешной...

И она вдруг почувствовала, что нет сейчас на земле человека родней ей и дороже, чем этот парень, что она его любит, да, любит, любит... На нее накатило такое щемящее чувство радости, счастья и боли, какого она никогда еще не знала. И она догадалась, что полюбила, полюбила так, как в песнях поется и в книжках пишется...

Она сама была потрясена этим неожиданным открытием. Да полно, так ли? — тотчас же и спохватилась она. Откуда свалилась на нее нежданно-негаданно эта напасть? Просто в эти дни все только и говорят и думают, что о Викторе, все его любят, и хвалят, и берегут — и отец, и Светличный, и Нечаенко, а Андрей вот даже сон его бережет... Вот и она поддалась общему настроению, приняла восхищение и дружбу за любовь; все это сейчас же и выяснится и пройдет...

Но сердце говорило ей другое. Оно было охвачено сейчас таким мучительным восторгом, что Даша над ним уже не имела власти. Забыв обо всем на свете, жадно глядела она в дорогое лицо — лицо этого нахального, противного, вечно насмешливого Виктора. Боже, как случилось, что именно его она полюбила и не могла наглядеться. В ее глазах сияла такая откровенная, такая ликующая любовь и нежность, что Андрей, нечаянно перехватив ее взгляд, сразу все понял...

А Виктор спал, жарко разметавшись на своей постели, и даже не подозревал, какие над ним бушуют страсти.

На его влажную губу села муха; Андрей машинально согнал ее. Сердито жужжа, она заметалась над его головой.

«Вот и... и все! И все! И конец. И точка!» — механически повторял про себя Андрей слова, которые первыми пришли ему в голову; он повторял их, даже не вдумываясь в их смысл. Странно — он совсем не чувствовал боли, он словно отупел от неожиданного удара, окаменел. «Вот и все! И все! И точка!» — без конца повторял он.

Даша робко подняла на него глаза: Андрей показался ей поразительно спокойным; только лицо его посерело. И Даша поняла, что Андрей обо всем догадался.

Она не знала, что теперь делать, что говорить... Ей нечего было сказать Андрею, да он ни о чем и не спрашивал ее, сидел застыв. Но и оставаться тут Даше сейчас невозможно. «Боже, как вдруг запуталось все!» Она тайком, украдкой посмотрела на Виктора: в сумерках его лицо стало совсем темным, он все улыбался во сне. «Милый, он даже не подозревает, что я его люблю, и никогда не узнает...» Она спохватилась, что опять загляделась на него, Андрей видит это, и ему больно. Встрепенулась, вскочила и быстро выскользнула из комнаты. Андрей не шелохнулся.

И только на улице она почувствовала себя свободной и вполне, вполне счастливой. «Так я люблю, люблю, люблю! — думала она, почти бегом пересекая пустырь.— Боже, как это хорошо и как... стыдно! Но он никогда не узнает об этом. И никто не узнает. Никогда!»

«Но когда же все это случилось, когда я полюбила — сейчас или раньше? И почему я полюбила именно его? Нет, он хороший, он сильный, он веселый. И красивый. А сначала он мне казался глупым. И ни капельки не нравился мне. Я его даже презирала. А казалось, что люблю Андрея... Боже, какая же я развратная! — ужаснулась она вдруг.— Неужели я обоих люблю?»

«Но Андрея я совсем не так люблю. Я люблю его, как брата. И уважаю. А Виктора... Виктора как?»

Она была в смятении. Она любила впервые. В первый раз раскрылось ее сердце навстречу большому и новому чувству, и она сразу из озорной, смелой, самоуверенной шахтерской девчонки превратилась в робкую влюбленную девушку.

Но разве простая девушка может объяснить, почему полюбила этого, а не того, почему вообще полюбила?

Во всяком случае, она полюбила, и уже знала это, и была счастлива, и сама боялась своего счастья, и на душе было хорошо и смутно, и тревожно, и радостно... Только мысль об Андрее смущала ее новое счастье. «А как же Андрей теперь? Ведь он любит, он верил...— Но она тотчас же и успокаивала себя: — Ничего, он сильный. Он это быстро переживет. Тем более что через три дня я все равно уеду».

Бедный Андрей! Его всегда, всю жизнь будут считать сильным и поэтому не станут щадить!

«Вот и все. И точка! И не надо об этом думать! — говорил он себе, продолжая неподвижно сидеть у койки товарища.— Тут ничего не поделаешь. Не воротишь. Не поправишь! И никто не виноват. Ни Виктор, ни Даша. Просто мне не суждено счастье».

Если б кто-либо посторонний растолкал его сейчас, вырвал из оцепенения и сказал бы ему: «А ты не сдавайся! Ты борись! Дерись за свое счастье. Соревнуйся!» — он бы только удивленно и горько усмехнулся в ответ: «Зачем? Разве за это дерутся? Да и с кем стал бы я соревноваться? С Виктором? Так я и сам знаю, что он лучше меня. Я сам его люблю. И Дашу люблю. И желаю ей счастья».

«Нет, тут никто не виноват... Тут ничем дела не поправишь... не поправишь...»

«А краденого счастья я и сам не хочу!»

Он вдруг спохватился, что пора будить Виктора. Черт возьми, из-за этой несчастной любви он совсем было забыл о главном.

— Вставай, Витя! — осторожно потряс он товарища за плечо.— Вставай, пора!

Виктор сразу же вскочил как встрепанный...

— Что? Проспал?

— Нет, но пора...— ответил Андрей, зажигая свет.

— Эх, и разоспался же я! Сладко...— сказал Виктор потягиваясь. Потом нечаянно взглянул на товарища и ужаснулся: — Андрюша! Что с тобой?

— А что?

— Какое у тебя лицо!.. Что случилось?..

— Ничего...— нехотя ответил Андрей.— Давай одеваться. Да, вот еще что...— сказал он, словно вспомнив,— тут Даша забегала, они обед сделали, ждут тебя...

— А-а! — улыбнулся Виктор.— Это кстати...

Они оделись и пошли к дяде Прокопу.

— Вот и они наконец! — нетерпеливо закричал Прокоп Максимович.— К столу! К столу! Борщ, он ждать не любит. Знаменитый нам сегодня борщ Настасья Макаровна построила: с гречневой кашей.

— Борщ, это хорошо! — улыбаясь, сказал Виктор и сел к столу.

Настоящий шахтер редко ест жареное мясо, котлетки и прочие деликатные блюда; он считает их баловством и всему на свете предпочитает шахтерский борщ, который «строится» действительно фундаментально: в него кладутся помидоры, овощи, капуста, добрый килограмм мяса на человека, красный стручковый перец, и все это заправляется сметаной.

— Да-а... Знаменитый борщ! — жадно набрасываясь на еду, похвалил Виктор.— После такого борща и двести тонн вырубить можно...

— Вот и ешь на доброе здоровье! — промолвила хозяйка.

А Андрей ел неохотно: кусок не шел ему в горло. Он молча уткнулся в тарелку, стараясь не встречаться взглядами с Виктором, Дашу же он вообще не видел: за столом ее не было. Она забилась в угол и оттуда тихонько наблюдала за Виктором; ей нравилось, как он ест: смачно, шумно, с аппетитом. Впрочем, ей все теперь в нем нравилось.

В самый разгар обеда пришел Нечаенко. Все сразу заметили, что он взволнован, и всполошились.

— Что случилось? — тревожно крикнул Виктор и побледнел. Ему показалось, что рекорд отменили...

— Большое дело случилось! — ответил парторг.— Сейчас мне Василий Сергеевич звонил: пришло известие — на шахте «Центральная — Ирмино» забойщик Алексей Стаханов вырубил в смену сто две тонны.

— Ка-ак? — ахнул Виктор.

— Стаханов? Это какой же Стаханов? — растерянно пробормотал Прокоп Максимович.— И не слыхал такого...

— Он применил тот же метод: разделение труда,— продолжал Нечаенко.— Он рубил, а крепильщики шли за ним...

— Значит, опередили нас? — криво усмехаясь, сказал Виктор. Он оттолкнул от себя тарелку с знаменитым борщом, расплескав остатки на скатерть, и встал.— Все! — прохрипел он.— По домам!

— Это почему же? — спросил Нечаенко.

— Пошли домой, герои без пяти минут! — еле сдерживаясь, закричал Виктор и шумно двинулся из-за стола.

— Эй, постой, шальная голова! — остановил его Прокоп Максимович.— Постой, сядь!.. Николай Остапович,— обратился он к парторгу,— сколько тонн нарубал этот Алексей Стаханов?

— Сто две тонны. Мировой рекорд.

— А Виктор больше рубанет! — вскричал старик.— И перекроет Стаханова! И докажет, что не один есть забойщик на земле Стаханов...

— Сто пятнадцать тонн можно дать, если постараться! — взволнованно сказал Андрей.

Теперь все смотрели на Виктора. А он стоял, постепенно успокаиваясь под лучами теплых, верящих в него дружеских глаз, и чувствовал, как возвращаются к нему силы, возвращаются удаль и вера в себя.

— Ладно! — тряхнул он, наконец, кудрями.— Наш будет рекорд! Пошли!

— Вот и чудесно, друже! — обрадованно подхватил Нечаенко.— Даже не перекрывай, а только повтори рекорд Стаханова, докажи, что он не случайность, и то святое дело сделаешь! — Его глаза сияли; казалось, они сейчас дальше всех видят.— Пошли, ребята! Тронулись!..

— Нет, стой! — строго остановил всех дядя Прокоп.— Надо посидеть перед такой дорогой.

Все торопливо уселись и, как по команде, замолчали. Андрей даже закрыл глаза.

В эту неповторимую минуту пронеслись перед ним, как, вероятно, перед всеми, кто был в этой тихой комнате, странные видения, самые смелые мечты и надежды, словно каждый заглянул в грядущее.

— Ну, Виктор! — торжественно сказал дядя Прокоп.— Пусть сегодня будет твоя рука — крепкой, твой зубок — острым, а уголь — мягким. А теперь — пошли!

19

Хороша рудничная ночь в Донбассе в начале сентября: мягкая, теплая, добрая! Над копром висит молодая луна, звезд в небе не видно, зато по земле движутся звезды — это идут шахтеры с лампочками...

И все вокруг обласкано нежным, зеленоватым сиянием луны. Неправда, что свет этот неживой и холодный! Кто бродил ночью по руднику и видел, как, преображенные лунным светом, хорошеют трогательные беленькие шахтерские хаты; кто видел степь под луной — серебряную и оживленную, с шумными приливами и отливами сизых ковыльных волн; кто жадно вдыхал горячие, многоструйные запахи ночи, слушал далекие звуки гармоники — а без нее не бывает летних вечеров на шахте,— словом, кто любил, и страдал, и надеялся, и не ведал покоя, тот знает, как греет лунный свет!

В такие ночи хорошо любить и хорошо мечтать; в такие ночи легко дышится и легко верится. В такие ночи решаются свадьбы, пишутся первые стихи, даются клятвы.

В такую ночь и пошел на рекорд Виктор Абросимов.

Никто в поселке не знал об этом. Спокойно поехала в шахту ремонтная смена: костерщики, органщики, слесари, лесогоны... Разошлись по ходкам и штрекам, даже и не подозревая о событии, которое зачиналось рядом, в третьей восточной лаве...

А там собрались уже все причастные к делу. Даже главный инженер Петр Фомич пришел и беспокойно озирался по сторонам.

— Где же ты был весь день? — шепотом спросил Андрей Светличного.

— Тут! — кратко ответил тот. Потом зашептал: — Понимаешь, не верю! Все своими руками ощупал: лес, порожняк, воздушную магистраль... А все-таки и теперь не спокоен.

— Ну! — негромко сказал Нечаенко.— С богом? — Он старался скрыть волнение шуткой, это плохо удавалось ему.— Дай я тебя поцелую, Виктор! — неожиданно сказал он. Обнял забойщика, помял в своих руках и прошептал на ухо: — Верю! Будешь рубать, помни: все мы в тебя верим.

— Не подведу! — тихо ответил Виктор.

Крепильщики уже полезли в лаву. Вслед за ними поползли Виктор, Андрей и Даша. Даша чуть не на коленях выпросила у отца и Нечаенко разрешение поехать в шахту.

— За кровлей, за кровлей следите! — крикнул им вдогонку Петр Фомич.— Прислушивайтесь, когда будете рубать.

— Да чего вы трясетесь? — с досадой сказал ему Нечаенко: он терпеть не мог трусов.— Успокойтесь. Мы уже не новаторы...

— То есть как?

— А так! Вчера на «Центральной — Ирмино» с успехом провели этот эксперимент...

— Вот что! — пробормотал главный инженер.— Значит, опередили нас? Это... это обидно...— наконец, сказал он, и в его голосе было искреннее разочарование.

Нечаенко удивленно взглянул на него:

— Послушайте,— сказал он,— я вас не пойму! Вы что же, не рады?..

— Я и сам себя не понимаю...— съежился Петр Фомич. Разве мог он объяснить парторгу, что боролись в нем две души — перепуганного чиновника и инженера-новатора, когда он сам еще в этой борьбе толком не разобрался?

А Виктор уже был на месте и по-хозяйски устраивался в уступе. Даша украдкой посмотрела на него: он казался спокойным. Его движения были скупыми, даже вялыми. Осторожно зацепил лампочку за обапол, потом

подумал немного — и перенес ближе к груди забоя. Затем молча снял куртку и остался в одной майке. Майка была голубая, новая. Он, видно, впервые ее сегодня надел. Только в этом и была некоторая праздничность этой ночи, все остальное было как всегда, и это разочаровало и немного обидело Дашу. Ей подумалось, что все люди в лаве — и Андрей, и крепильщики, и даже Виктор — не понимают, не чувствуют, какое новое дело зачинается тут, в третьей восточной. Даша не знала еще, что все большие дела так и начинаются: буднично и просто.

Андрей пополз осматривать кровлю. Было слышно, как где-то в темноте постукивает он крючком лампочки о породу. Звук был добрый, хороший. Корж не висел. Скоро Андрей вернулся.

— Ничего. Крыша надежная! — негромко сказал он и, прижавшись спиной к стойке, стал молча наблюдать за Виктором.

Виктор уже проверил воздушную магистраль. Теперь он продул шланг, присоединил его к крану, потом подождал немного, согнул шланг пополам и прислушался: нет, не шипит, воздух не уходит, все в порядке. Можно и начинать. На секунду он остановился, перевел дух. Перед ним стояла сплошная стена угля, черный, нерубаный, каменный лес.

Было тихо вокруг. Необычно тихо. Никогда еще в третьей восточной лаве не было такой тишины. Ни единого звука не доносилось снизу, из черной тьмы. Там никого не было. В эту ночь вся лава, все ее восемь уступов безраздельно принадлежали Виктору. Он один был тут хозяином. Он один был тут работником. В эту ночь он один должен был сработать за восьмерых.

Ну что ж! Он стал на колени перед угольной стеной и включил молоток. По его рукам, а потом и по всему телу прокатилась знакомая, радостная дрожь. «Ну, вот! — довольно подумал он.— Совсем другое дело, когда весь воздух идет в один, а не в восемь молотков!» И то ли оттого, что воздух в молотке был хороший, упругий, сильный, то ли оттого, что мечта сбылась и вся лава покорно лежала перед ним, забойщику было где разгуляться, иль оттого, что волнующе близко придвинулась к нему стена черного, как тайга, дремучего

нерубаного леса и уже манила, заманивала,— но только вдруг почувствовал Виктор Абросимов, как удалой, дотоле незнаемой силой наливаются его мускулы, а сердце загорается дерзкой отвагой, и он поверил, что в эту ночь он все сможет, все одолеет и всего достигнет. Словно были у него не одна, а восемь пар рук, восемь сердец. Словно каким-то таинственным образом уже вошли в него опыт и сила восьми забойщиков. И он понял, что сегодня дается ему необыкновенное для человека счастье — прожить восемь жизней в одну. Тогда-то он и закричал на всю лаву, да так, что все услышали:

— Ну, теперь держись, Алексей Стаханов, друг дорогой! — и бросился вперед, держа пику наперевес.

Облако угольной пыли взлетело над ним и ударилось о низкую кровлю: посыпался уголь. Тишины больше не было — вся лава, от верхнего вентиляционного штрека до нижнего, откаточного, заполнилась рокотом отбойного молотка, сперва лихорадочным, обрывистым, нервным, а потом все более и более ровным и уже похожим на мерную песню авиационного мотора в дальнем, рекордном перелете. Это к Виктору вернулось его обычное рабочее самочувствие, не спокойствие, не равнодушие,— покоя нет там, где горит пламя подвига,— а именно рабочее хладнокровие, мудрое и расчетливое, какое является только человеку, безупречно владеющему техникой своего дела, своей машиной, конем, инструментом или оружием и понимающему свою власть над ними, а стало быть, и свою силу. Праздные мысли исчезли, даже мысль о рекорде отодвинулась куда-то на задний план. Движения стали скупыми и точными, каждая минута — полновесной, каждый из тысячи ударов молотка — верным, нацеленным.

Держась левой рукой за стойку, Виктор сделал сначала неглубокий подбой, потом разрезал верхний куток и погнал пласт вниз. Он снимал сначала верхнюю пачку угля, потом возвращался — отдирал земник. И при этом все время зорко следил за тем, не тупится ли пика, не пересыхает ли молоток; пику менял, молоток смазывал маслом через футорку и все гнал да гнал уголь вниз, метр за метром приближаясь к заданной цели... Вот так, вероятно, и Чкалов, оторвавшись от аэродрома, уже не думал о славе и рекорде, а хладно-

кровно рассчитывал высоту и скорость, следил за приборами, за маслом в маслопроводе, за расходом горючего и чувствовал свое полное слияние с машиной, крылья самолета как собственные крылья, мотор как собственное сердце, так и для Виктора отбойный молоток был сейчас только продолжением его необыкновенно сильной правой руки.

Стало жарко. Виктор снял майку — уже не голубую, а черную, обтер ею вспотевшее лицо, потом отшвырнул куда-то в сторону и снова стал рубать. Сзади лежала Даша, но он совсем не замечал ее присутствия. А она восхищенно следила за его работой, как следят с земли за полетом самолета. И видела только красоту полета.

Виктор сейчас был действительно красив. Каждое движение его большого, сильного тела, собранного в тугой узел мышц, было и красивым и умным. Все его тело, смуглое, мускулистое, трепетное, чуть покрытое легким, блестящим лаком пота, было прекрасно, как вообще прекрасно тело человека в труде — мудрое и одухотворенное. Был сейчас Виктор похож и на фехтовальщика, когда, прикусив нижнюю губу, делал он выпад за выпадом и наносил пикою меткие удары прямо в грудь забоя; и на пулеметчика, когда, нажимая на рукоятку, как на гашетку, длинными очередями расстреливал он пласт (при этом треск отбойного молотка был подобен пулеметному треску); и на матроса, когда проворно, по-обезьяньи полз он по крепи, как по реям, ловко цепляясь и руками и ногами за сосновые стойки; и на танцора — на танцора даже больше всего: его полуголое, смуглое тело все время содрогалось в бешеной, но ритмичной пляске, в такт музыке отбойного молотка. И оттого, что работал Виктор без сопения, кряхтения, легко и весело, казалось, что он не работает вовсе, а лихо по-шахтерски пляшет, и для него это не труд, а праздник.

Даша так и принимала это. Все, что происходило в эту необыкновенную сентябрьскую ночь в третьей восточной лаве, глубоко под землей, под низкими сводами, где, как факелы во тьме, блуждают огоньки лампочек, и поет, не умолкая, отбойный молоток, и с грохотом падает уголь, низвергается вниз веселым, шумным водопадом,— все казалось Даше праздником, небывалым,

сказочным праздником «Крутой Марии», где единственным героем был ее Виктор. По ее лицу текли не то слезы восторга, не то ручейки пота,— она не отирала их. Было очень жарко в уступе и душно, облако мелкого, колючего штыба почти неподвижно стояло над головой; все горло Даши было полно угольной пыли. Но она с детства привыкла к вкусу угольной мелочи на зубах и уже не замечала ее. Она вся была захвачена азартом, вероятно даже больше, чем сам Виктор. И она ползла вслед за ним по уступам и шептала:

— Ну, смелей, Виктор, смелей, милый, любимый, дорогой!

В грохоте падающего угля Виктор ничего не слышал.

— Пить! — вдруг прохрипел он, не переставая, однако, рубать. Даша торопливо подала ему бутылку — это был нарзан. Она заботливо припасла его, желая обрадовать Виктора. Но он жадно сделал три глотка и тотчас же вернул бутылку. Он даже не разобрал, что пьет, он и спасибо не сказал, снова ринулся в битву.

Андрей тоже полз рядом с Виктором, чуть впереди него. Полз молча. Он не понукал товарища, и не подбадривал, и ненужных слов ему не говорил, и не шептал. Он только освещал путь своей лампочкой, совсем близко поднося ее к углю. В забойщицкой силе и сноровке Андрей значительно уступал Виктору, зато каменную книгу умел читать лучше. И когда Виктор вдруг сбивался, терял струю, Андрей молча показывал ее лампочкой. Он, как штурман, прокладывал товарищу путь в излучинах и извилинах угольной реки, путь к победе и славе. При этом он нисколько не завидовал Виктору и ни разу не пожалел о том, что уступил ему право на рекорд. Свое Андрей уже сделал. Он не чувствовал зависти к Виктору так же, как не чувствует ее конструктор самолета к пилоту, режиссер — к актеру, архитектор — к людям, которые счастливо и спокойно будут жить в его нарядном и светлом доме.

Другие, новые, еще смутные, не изъяснимые словами мечты и надежды бродили сейчас в Андрее, внезапно родившись в эту ночь; если бы ему вдруг припомнилась его недавняя мечта о тихом счастье под собственными вербами — она показалась бы теперь Андрею и смешной и маленькой. Но он и не вспомнил эту мечту.

Приполз Прокоп Максимович. Отдуваясь, сел прямо на груду угля. Подышал в усы. В последнее время стало пошаливать сердце, сделалось труднее ползать туда-сюда по лаве, но в этом старик не признался бы никому, даже себе. Отдышавшись, он закричал:

— Хорошо рубаешь, сынок! Там, внизу, не управляются...

— Что? — тревожно переспросил Виктор, не расслышав, и выключил молоток.

— Лихо рубаешь, говорю. Ничего, давай, давай! А я за крепильщиками послежу.

— А-а! — засмеялся забойщик. Потом включил молоток и снова взялся рубать.

Лавина жирного зернистого черно-серого угля скатывалась вниз по галерее сосновых стоек. Вокруг стоек наметало угольные сугробы, но держались они недолго. С грохотом падали на них сверху все новые и новые тяжелые глыбы угля и увлекали за собою вниз. Там уже бурлил коловорот. Уголь гулко стучался в закрытый заслон печки. Он набухал и становился страшным.

Внизу, в откаточном штреке, метался Светличный.

— Давай, давай! — хрипло кричал он на люковых, отгребщиц, коногонов.— Давай, ребята, не задерживай!

А Виктор продолжал рубать... Никогда прежде не рубал он так вдохновенно, так яростно. Никогда не было перед ним такого простора, такого раздолья,— он опьянел от него. Казалось, никогда не устанет рука, никогда не пропадет охота рубать и рубать... Вот оно, счастье шахтера — разворачивать пласты, врываться в самые недра! Знают ли люди там, на-горá, как старается для них забойщик Виктор Абросимов?

Он работал уже в четвертом или пятом уступе. Он не знал, сколько часов прошло, и не спрашивал об этом. Иногда, делая минутную передышку, чтоб проверить воздухопровод, поправить шланг или залить масла в футорку, он мысленно прикидывал, сколько угля нарубал. И все выходило мало, хотя сроду еще Виктор столько угля сразу не давал. «Все равно мало! До Стаханова далеко!» И тогда с новой силой бросался он на битву, вгрызался пикой в струю, резким поворотом молотка отваливал глыбы от пласта, опять включал молоток, наваливался на него всей грудью и при этом

думал о Стаханове. Никогда не видел его Виктор. Раньше даже имени его не слышал. Какой он, этот Стаханов? Молодой или старый? Здешний или пришлый? Может быть, он богатырь, как Никита Изотов, а может вовсе щуплый, как Сережка Очеретин? Чей он ученик? Какие знает секреты, ему, Виктору, неизвестные? «Все равно я должен тебя побить, Алексей Стаханов, ты не обижайся! Должен!»

И вдруг он услышал, как, судорожно всхлипнув, замер его отбойный молоток. И тотчас же замерло и обмякло его собственное тело, дотоле беспрерывно дрожавшее в счастливой, горячей, рабочей лихорадке. Он не поверил тому, что́ случилось, с яростью стал трясти молоток, словно этим хотел вернуть его к жизни. Но молоток был мертв, он уже остывал в руках, дыхания в нем не было. И тогда Виктор почувствовал то, что чувствует летчик, когда глохнет мотор в полете...

Задыхаясь, он закричал:

— Воздуха-а! А-а! Воздуха-а, черт...

К нему испуганно бросились Андрей и Даша.

— Что, что такое? — встревожился и Прокоп Максимович, подполз ближе.

Но Виктор ничего не мог им объяснить. Он только кричал:

— Воздуха-а!..— и размахивал молотком. Потом вдруг отшвырнул его в сторону и медленно опустился наземь. Андрей бросился к шлангу — воздуха в нем не было.

— Что-то случилось с воздушной магистралью... или с компрессором,— тихо сказал Андрей дяде Прокопу, и они оба сразу поползли из лавы.

Заметалась и Даша, не зная, что делать, как помочь беде. Подползли встревоженные крепильщики... Только один Виктор лежал молча, безжизненный, как и его отбойный молоток.

Облако мелкой угольной пыли, дотоле почти неподвижно стоявшее над головой, теперь рассеялось; так рассеивается пороховой дым над полем недавнего боя. Снова было тихо в уступе, только слышно было, как еще по лаве летели последние куски отбитого угля. Даша молчала. Она понимала, что никакие слова не утешат сейчас Виктора, только расстроят. Ему сейчас

не слова нужны, ему нужен воздух, сжатый, тугой воздух в отбойном молотке. Что ж она сидит тут, вздыхает и жалобно смотрит на него? Надо немедленно поднять всех на ноги, всю шахту. И она, ничего не сказав Виктору, торопливо поползла из лавы,

В штреке она нашла всех: отца, Андрея, Нечаенко, главного инженера Петра Фомича Глушкова.

Петр Фомич оправдывался:

— Я же сам все заранее проверил. Все предусмотрел. Даже специально поручил десятнику наблюдать за воздухом.

— Какому десятнику?

— Макивчуку.

— Макивчуку? — вскричал Андрей.— Да как же вы... как же вы Макивчуку могли доверить? — Но он тотчас же взял себя в руки.— Где Макивчук? — хрипло спросил он и, не дожидаясь ответа, бросился бежать по штреку...

А Виктор продолжал неподвижно лежать. То, что случилось с ним, представлялось ему не мелкой, случайной аварией — катастрофой, гибелью, концом: разбился, не долетев до цели, потонул, не доплыв до берега, а значит, и все, что сделал в эту ночь, вложив сюда всю свою душу, не имело теперь никакой цены. Словно и груды угля, которые он уже добыл, никуда не годились. Ну, уголь был, что из того, а рекорда не было. А он шел в эту ночь на рекорд. Шел, как на праздник, как на самый великий праздник в своей жизни, и вот...

Внезапно вернулась Даша. Задыхаясь, вползла в забой и закричала:

— Сейчас... сейчас, Витенька, дорогой... Сейчас будет воздух!

— Воздух? — встрепенулся Виктор, схватил отбойный молоток и сжал его. Но молоток был мертв: воздуха в нем не было.

— Что же ты врешь! — в сердцах вскричал Виктор, тряся молотком.— Где воздух?

— Будет... Сейчас будет, Витенька... Понимаешь, Макивчук — сволочь...

— А-а! Будет! Будет! Когда же он будет? К утру?

— Что же ты на меня-то кричишь? — обиженно и чуть не плача сказала Даша.— Разве я виновата?..

Но Виктор уже не мог молчать; ему надо было найти виноватого, ему нужно было на ком-либо отвести свою горькую душу.

— Все, все хороши! — вскричал он.— Всем вам на меня наплевать!.. Вы все в сторонке, а в ответе я один...

У Даши даже горло перехватило от такой несправедливости.

— Как же... как же ты можешь?.. Да я... Я же люблю тебя, Витя-я!.— вырвалось у нее невольно.

Но тут вдруг с резким свистом зашумел воздух в шланге, словно свежий ветер в степи...

— Воздух! Воздух! — восторженно заорал Закорлюка-младший.

— Витя, воздух! — радостно вскрикнула Даша, бросаясь к Виктору.

Но тот только грубо отмахнулся от нее:

— А, не мешай! — Молоток трепетал в его руках, и он сам уже трепетал от нетерпения и счастья. И Даша не обиделась. Она знала, что в груди забойщика сейчас клокочет другая, великая любовь,— к ней она и не ревновала.

«А меня он не любит, ну и пусть! — думала она.— И пусть. Зато я люблю. И никто у меня этого не отнимет. И я счастлива, что люблю. И люблю такого, какой он есть,— грубого, неласкового, хорошего... И, может быть, когда-нибудь он это поймет и тоже полюбит...»

А Виктор, нервно врубаясь в уголь, думал о своем: «Ой, успею ли упущенное наверстать?! Надо успеть. Надо! Надо! Который теперь час? Ох, проклятый воздух, как ты меня подвел!» Но молоток работал ровно, воздуха в нем было много, и к забойщику стали возвращаться прежние спокойствие и уверенность.

«Что она такое сказала про любовь? — вдруг вспомнил он Дашу.— А! Ну да, конечно. И она и вся их семья меня, как родного, любят... даже неловко... А я обидел ее. Эх, нехорошо!..» — но ему некогда сейчас было думать об этом.

И он все рубал да рубал уголь, не ведая усталости... За его спиной появлялись в забое все новые и новые

люди — он их не видел. Они переговаривались меж собою — он их и не слышал. Явился Журавлев — он и этого не заметил. Он рубал уголь, уже позабыв и о Стаханове и о рекорде, весь оживленный азартом, счастьем и радостью привычного труда, в нем одном находя наслаждение и награду...

Он очнулся только в конце последнего уступа, когда увидел, что дальше идти некуда...

— Неужели все? — огорченно спросил он, опуская отбойный молоток.

Его тотчас же окружили люди. В темноте он многих не узнал.

— Все, все, Виктор! — радостно закричал дядя Прокоп.— Как раз и смене конец.

— А... сколько? — с тревогой спросил он.

— По моим подсчетам, сто пятнадцать, не меньше... Рекорд твой! Поздравляю!

— Ура-а! — закричала Даша, и все кинулись обнимать и целовать героя.

А он, еще хмельной от рабочего вдохновения, готовый еще и еще рубать, пожимал протянутые руки, отвечал на объятия и поцелуи и сам при этом бормотал что-то отрывистое, бессвязное и восторженное. Поцеловал он и Дашу, сам того не заметив; это был их первый поцелуй; он так и случился — в забое! — у обоих на губах и зубах поскрипывала угольная мелочь...

В откаточном штреке героя поздравил Светличный.

— Смотри! — показал он Виктору на нагруженные вагонетки и потом на люк, из которого щедрой струей падал в вагончики уголь.— Это все твой уголь! Семь железнодорожных вагонов, не меньше...

И Виктор покорно посмотрел на люк, словно в первый раз видел, и на струю угля, падающую в вагонетку. Да, хороший уголек, жирный, зернистый... Всего час назад стоял он нерушимо стеной в недрах земли, миллионы лет стоял, пока не приступился к нему Виктор... Теперь он пойдет на-гора́ — людям... И Виктор вдруг почувствовал, что нет на земле чести выше, чем быть шахтером...

— Ну, шахтеры, пошли! — громко скомандовал он, и все шумной гурьбой пошли за ним по штреку.

Начиналось триумфальное шествие Виктора Абросимова, утро его славы...

На поверхности, у клети, его первым встретил Сережка Очеретин, весь какой-то взъерошенный.

— Врут, что ты сто пятнадцать тонн вырубил? — тихо, тревожно спросил он.

— Вырубил. И еще больше вырубать можно! — ответил Виктор.

— Так это... это ж чудо! — ахнул Сережка, хватая Виктора за руки...— Ты скажи, как?

— Вон у Андрея спроси, он чудотворец...— смеясь, сказал Виктор, уже увлекаемый друзьями к выходу.

А у проходных ворот его ждала толпа... Никто не мог бы объяснить, каким неведомым путем пронеслась по поселку в раннее утро весть о рекорде, но все уже знали о нем; со всех сторон бежали к шахте люди, как бежали всегда, когда был на шахте праздник, или прибывал важный гость, или случалась катастрофа,— потому что все эти люди, и жены их, и дети жили, дышали и кормились шахтой...

— Товарищи! — закричал Нечаенко, вскочив на опрокинутую вагонетку.— Сегодня ночью у нас на шахте свершилось большое дело. Смотрите на этого человека,— показал он на Виктора.— Сегодня за смену он один вырубил больше ста пятнадцати тонн угля! Эй, Виктор! — весело крикнул он герою.— А ну-ка, покажись народу!

— Просим, просим! — раздались голоса. И вся толпа разразилась аплодисментами.

Виктор смущенно взлез на вагонетку. Отбойный молоток был еще с ним, на плече, и Виктор был похож сечас на солдата с ружьем. Таким он и стоял перед народом. На него смотрели тысячи глаз. Он видел их — они сияли лаской и любовью. Глаза народа... Даже в самых пламенных своих мечтах Виктор не мог ждать такого...

— Ура советским богатырям-шахтерам! — с силой закричал Нечаенко, и громовое шахтерское «ура» прокатилось над площадью. Откуда-то появились цветы. Щедрые, огромные осенние букеты; их было много. Они, как ливень, обрушились на Виктора, но Виктор каждый букет благодарно и бережно прижимал к серд-

цу и потом отдавал Даше и товарищам — сам он уже не мог с цветами управиться.

Его долго не отпускали с вагонетки; говорить он не мог, только низко кланялся на все стороны людям.

Наконец, толпа расступилась перед ним, и он пошел. Народ двинулся вслед. Образовалось шествие. По дороге к толпе присоединялись еще и еще люди; а те, кто идти не мог или не хотел, долго смотрели вслед процессии или торопливо бросались к себе в палисадник, срезáли с клумб цветы и бросали герою...

Рядом с Виктором весело, в ногу, как на параде, шла Даша; она держала героя под руку и всю дорогу беспричинно и радостно смеялась. Ей было хорошо сейчас, замечательно хорошо! Она уже не скрывала свою любовь; казалось — она бросает вызов всему свету. «Да, я люблю, люблю! Люблю — и не прячусь! — говорил весь ее вид.— Смотрите, люди! Смотрите, подружки, соседки, кумушки! Вот парень, которого я люблю. Вот мой любимый!» А там, пусть называют ее бесстыдницей, ей все равно! Она даже прижалась к Виктору, заглянула ему в глаза: «Ну, ты счастлив, счастлив?»

Был ли он счастлив? На это словами и ответить нельзя. Был сейчас Виктор на вершине мыслимого для человека счастья, он даже растерялся от него. Он и раньше часто мечтал о славе, но никогда не думал, что это будет так. Ему казалось раньше, что слава — это почет, деньги, награды и ордена. А сейчас почувствовал он, что самое дорогое в славе — любовь народа, признание своих товарищей по труду. Как сделалось, что стал он сейчас самым родным для всех человеком на «Марии»? Отчего так ласково улыбаются ему люди? За что любят его?

И ему вдруг вспомнилось, как когда-то, пять лет назад, шел он, опустив голову, через весь зал, на сцену, на позор, и люди провожали его недобрыми глазами, а старуха в буденовке протыкала насквозь колючим, ненавидящим взглядом... Но это воспоминание, когда-то долго и тяжко преследовавшее его, сейчас вовсе не смутило его радости. «Ну что ж! — весело подумал он.— Народ, он всегда справедлив. Тогда я плохо работал — и заслужил позор, сейчас сработал хорошо — и заслужил славу». И он поднял голову и смело посмотрел вокруг...

Через час все уже было тихо в поселке. Люди разошлись по своим местам. Андрей и Виктор спали.

В шахтпарткоме Журавлев прощался с Нечаенко.

— Значит, так и сделай! — говорил Василий Сергеевич, уже берясь за кепку.— Сегодня же соберешь шахтпартком. Надо принять специальное решение о рекорде Абросимова. Подхватить почин и двинуть новых людей...

— Я думаю митинг в нарядной провести.

— Хорошо. А главное, надо сразу же пресечь всякие попытки опорочить рекорд Абросимова. А такие попытки будут...

— Чувствую,— усмехнулся Нечаенко.— Найдутся такие, что будут трепаться, что все, мол, подстроили, рекорд — случайность...

— Вот, вот, значит, надо сразу...

Зазвонил телефон. Нечаенко взял трубку.

— Слушаю,— сказал он.— Да... Нет, это Нечаенко. Здесь. Передаю,— он протянул трубку Журавлеву.— Вас товарищ Рудин просит.

— Слушаю тебя, Семен Петрович. Здравствуй!..— сказал Журавлев, улыбаясь в трубку.— Что? Ну да... Да ты постой, погоди! — внезапно нахмурился он.— Погоди! — Потом покорно вздохнул.— Ну, хорошо. Слушаю. Да! Слушаю... Слушаю...— все печальнее и глуше повторял он.— Погоди! Как?

Нечаенко тревожно следил за ним.

— Что? Что? Я слушаю. Алло! Алло! — закричал Журавлев, потом недоуменно пожал плечами и опустил руку на рычаг.— Швырнул трубку!..

— Да что случилось-то? — спросил Нечаенко.

Журавлев медленно перевел на него глаза, помолчал немного, потом неохотно ответил:

— Рудин считает рекорд Абросимова очковтирательством...

— Что?! — закричал Нечаенко.

— Да, очковтирательством.

— Да он что, он что?..— растерянно пробормотал Нечаенко.— Может, обиделся, что без него сделали?

— Не знаю,— медленно ответил Журавлев. Подумал и повторил: — Не знаю...

Второго сентября я прилетел в Донбасс и вечером уже сидел в кабинете секретаря шахтпарткома «Крутой Марии» Нечаенко.

В этот день радио передало заметку «Правды» о рекорде Стаханова. Я удивился: почему же, в таком случае, редакция посылает меня на «Марию», а не на шахту «Центральная — Ирмино»?

Я простодушно спросил об этом Нечаенко.

Он усмехнулся:

— А у нас на шахте рекорд Стаханова уже перекрыт...

— Да? Кем?

— Забойщиком Абросимовым.

— Могу я видеть его?

— Конечно. Когда вы хотите?

— А сейчас...

— Ишь вы, какой нетерпеливый! — засмеялся секретарь.— Сразу видать — газетчик. Впрочем, можно и сейчас. Я думаю, они оба дома.

— Кто «оба»? — не понял я.

— А вы что же, только об одном Абросимове хотите писать? — удивился Нечаенко.

— Ну, а о ком же еще?

— Я думал, что и об Андрее Воронько.

— А что, Воронько уже перекрыл рекорд Абросимова?

Секретарь с досадой передернул плечами.

— Вот дались всем эти рекорды! — сказал он.— Будто в рекордах все дело! Впрочем, идемте! Ручаюсь, что Абросимов сам заговорит о Воронько. Эта пара неделимая...

Он спрятал какие-то бумаги в несгораемый шкаф, запер его и сказал:

— Ну, идемте! — потом с легкой насмешливостью, к которой, однако, нельзя было придраться, посмотрел на меня и спросил будто невзначай: — А вам прежде доводилось бывать на шахтах? — Таким тоном обычно спрашивают пассажиров летчики перед полетом: «А вы летали?»

— Я родился тут,— кратко ответил я.

— Где?!

— Здесь, на «Крутой Марии».

— Вот ка-ак! — неопределенно протянул Нечаенко. Искоса посмотрел на меня, но больше ничего не сказал.

Мы вышли на улицу. Возле шахткома, под акациями, на скамейках, прочно врытых в землю, сидели люди. Вероятно, это собиралась на свое очередное заседание какая-нибудь лавочная комиссия шахткома или комиссия по охране труда. Так собираются по вечерам колхозники подле избы-читальни, красноармейцы — у ленинского уголка, родительский комитет — в учительской... Семь часов вечера — заветный час активистов. Нечаенко поздоровался с людьми, ему негромко ответили, и мы пошли по улице.

Был час тревожного заката — багрового и косматого. Солнце медленно и устало уходило за холмы, отработав свою дневную упряжку; у него был разгоряченный лик медно-красного цвета, как у солдата после жаркого боя...

Говорят, такие закаты бывают перед ветреным днем. Но в донецкой степи всегда ветер. И закаты здесь всегда тревожны — или это только кажется мне? — в них идиллии нет, а есть беспокойное томление и жажда нового дня... И нет вечерней тишины — все продолжает звенеть и лязгать вокруг. И по небу мечутся, затеняя самое солнце, рыжие, косматые, беспокойные дымы. И вместо ленивого вечернего благовеста гремит хор нетерпеливых гудков.

Не оттого ли здесь на закате и мечтается по-другому? И мечты к тебе приходят не вечерние, не елейные, не умильные, а буйно дерзкие и отважные, и мечтаешь ты не о собственном домике под акациями, а о переделке мира и счастье для всех... И всем, что совершил в жизни, ты уже недоволен, а во все, что хочется свершить, веришь, что сделаешь непременно. Не оттого ли так щедро рождает донецкая земля революционеров и новаторов? И Стаханов не оттого ли?.. Но, впрочем, это все мои домыслы. Мы молча шли по Конторской улице. Теперь она называлась проспектом Ильича.

— А я горняк молодой! — неожиданно сказал Нечаенко. — Я черноморец. Что? Плохо? — Он вдруг остановился и угрожающе посмотрел на меня.

— Нет, отчего же! Черное море? Совсем не плохо.

Он расхохотался:

— И я так думаю. Нет, не плохо! Я, знаете ли,— уже мирно и доверчиво продолжал он,— сын, внук и правнук рыбаков. Соленый! Камбалу нашу ели? А кефаль?

— И скумбрию тоже...— в тон ему ответил я.

— Ну, то-то!.. А сейчас считаю я себя коренным донбассовцем, от скумбрии отрекаюсь и предупреждаю вас — у Донбасса нет патриота более яростного, чем я.

— Вот как!

— Да! Так и знайте! А почему? Отчего? Вот вы здешний, объясните мне, что за сила в нашем крае? Чем он берет? — Он опять остановился и посмотрел на меня. Он принадлежал к той симпатичной породе людей, которые не умеют говорить на ходу, когда волнуются.— Чем он берет? — повторил он.— Ведь коренных, прирожденных донбассовцев здесь не так-то уж много... Народ все больше курский, орловский, смоленский, гомельский, татары, мордва... А проживет здесь человек три-четыре года и считает себя коренным донбассовцем. И гордится этим. Да как гордится!

— А что же? Донбассом гордиться можно. Он весь Союз греет.

— Да-а...— задумчиво произнес Нечаенко.— Крепко берет тебя за душу этот Донбасс. Здесь действительно всесоюзная кочегарка. Здесь всегда кипение, всегда жизнь. Нет! — тряхнул он головой.— Я теперь шахтерской веры! И учиться пойду только в Горный...

Мы пришли в общежитие, но наших героев не оказалось там. Даже дверь была заперта.

— Эх! — хлопнув себя по лбу, вскричал Нечаенко.— Да как же я так опростоволосился? Ну, ясно же! Кто ж в такой вечер будет дома сидеть? Идемте! Я знаю, где они. Идемте!

— Куда?

— В летний сад! Идемте! — заторопил он меня.

Я уже понял, что он человек непоседливый и беспокойный, и бесповоротно подчинился ему. Мы поспешили на улицу.

— Они в саду, это ясно! — уже на ходу продолжал Нечаенко, нетерпеливо размахивая руками.— Вечером весь народ там... на лоне... Идемте! — прикрикнул он,

хотя я и так почти бегом следовал за ним.— Раз вы здешний — вы должны этот сад знать...

Да, я знал этот сад; некогда он назывался директорским. Там, за высоким забором, за колючей проволокой стоял двухэтажный дом нерусской архитектуры, с нерусской стрельчатой крышей и балкончиками; в нем жил директор-бельгиец с детьми — Альбертом, Эрнестом и Марией. Мы знали их имена потому, что чадолюбивый директор все новые шахты называл именами своих детей.

Никому из нас, ребятишек с «Марии», ни разу не удалось побывать в этом саду; мы только в щели заглядывали. И, может быть, именно потому, что глядели мы через щели в заборе, казался нам этот сад огромным миром чудес, сказкой Шехерезады. Все здесь для нас было невиданным чудом: и белокаменный дом с колоннами — «настоящий дворец!» — и лодки на зеркальном пруду, и цветники у фонтана, и непонятные, благородные игры, которыми забавлялись директорские дети (потом, когда сад стал нашим, рабочим, мы эти игры узнали — крокет и лаун-теннис), и сами молодые бельгийцы, немыслимо белые и нарядные, в белоснежных фланелевых брюках, натянутых, как струна... Даже эти брюки казались нам диковиной. Тогда никто у нас на шахте белых брюк не носил.

...Много лет прошло с тех пор, как я впервые — после Октября — попал, наконец, в этот сад; много чудесных садов и парков, куда более богатых, чем этот, перевидал я на своем веку; но только в этот всякий раз вхожу я с волнением и невольным трепетом — в сад моего детства, в первый сад, который предо мной, Сережкой Бажановым, мальчишкой с «Крутой Марии», распахнула революция...

Мы вошли в сад. Нечаенко не стоило большого труда отыскать нужных нам героев — их тут все знали, все видели. Через пять минут мы уже сошлись в беседке, в аллее старых лип.

Нечаенко представил меня, и ребята один за другим протянули мне руки:

— Абросимов.

— Светличный.

— Воронько.



«ДОНБАСС»
(Книга вторая. «Крутая Мария»)



«ДОНБАСС»
(Книга вторая. «Крутая Мария»)

Разумеется, накинулся я на Абросимова; мировой рекорд ведь был за ним. Впрочем, он и так прежде всех бросался в глаза: он был картинный герой. Вот такой, каким и представляешь себе богатыря-шахтера. Даже чуб был и вился колечками и лихо падал на крутую правую бровь.

Абросимов был красив той яркой, уверенной мужской красотой, какую без спора признают даже товарищи, мужчины. Мужчинам она даже больше нравится: девчат она пугает. В его лице, где все дышало силой, удалью и молодечеством, больше всего запоминались глаза и рот: глаза мечтателя, а челюсть борца. Глаза у Абросимова были черные, но не бархатистые, влажные, не масленые, а пламенные. Они не бегали, но и не таились, и не мерцали холодным, загадочным фосфором. Они пылали. Пылали золотистым пламенем. Они были сродни тому угольку с искрой, какой с такой отвагой добывал в забое шахтер Абросимов.

Но еще характерней, чем глаза, был для Абросимова рот — сильный и хищный. Он ни минуты не был в покое. Абросимов то говорил, то улыбался, то хохотал, то прикусывал нижнюю губу, будто собирался свистнуть. Рот всегда был полуоткрыт. Тонкие губы не могли полностью прикрыть его острые, разбойничьи зубы, и они хищно выдавались вперед. Казалось, что Абросимов все время скалится...

Странно, но это нисколько не портило его красивого лица, а даже придавало ему особую, дикую прелесть. Тут была хищность ястреба, а не хорька.

«Вот я таков, какой я есть! — откровенно заявляли его оскаленные зубы.— Берегись меня, но не бойся, я из-за угла не нападу».

Впрочем, сейчас трудно было судить и разбирать Абросимова. Он еще был в угаре. Еще шумел в нем хмель нечаянной славы и удачи. Мировой рекорд! Выше Стаханова! Тут было отчего закружиться бедной головушке...

И я понял, что он еще не привык к своей новой коже знаменитого героя. Ему и лестно в ней и колко. Неизвестно, что говорить, что делать, как держаться. Единственный из всех троих — он в полном параде и при галстуке. В нем было сейчас что-то жениховское,

торжественное, даже чуть-чуть напыщенное — от неловкости и напряжения. Его два скромных друга, молча сидевшие по бокам, казались ассистентами при знамени.

— Ведь вас, кажется, Виктором зовут? — нерешительно спросил я в самом начале беседы.

Одно смутное воспоминание беспокоило меня с той минуты, как я увидел героя...

— Ну да, Виктором...

— Мне кажется, мы с вами знакомы.

— Верно? — обрадовался Виктор.— А я не помню...

— Может быть, я ошибаюсь... Но пять лет назад, в ноябре... Мне кажется, что вы с товарищем возвращались со станции? — я осторожно выбирал слова.

— А-а! — пробормотал Виктор, и его праздничное лицо потемнело. Потом он тихо произнес: — Не отрицаю.

— Вас тогда двое было...— зачем-то прибавил я: мне тоже было неловко.

— Вторым был я...— негромко и спокойно признался Воронько.

Нечаенко с удивлением смотрел на нас: он был человек любопытный. Его занимали «разные человеческие истории». Все люди на земле были ему интересны.

— Вот как! — воскликнул он.— Так вы старые знакомые?

Воронько сдержанно объяснил:

— Товарищ корреспондент видел, как мы бежали с шахты...

— Нет. Я видел, как вы возвращались на шахту.

— А что? — тряхнул своим звонким чубом с колечками Виктор.— Ну, бегали... Да ведь не убежали ж?..

— И даже самого Стаханова перекрыли...

— А вы не верьте им, товарищ корреспондент! — насмешливо сказал третий из товарищей, Светличный, худой, долговязый и заросший волосами парень.— Они такие! Вы их знали дезертирами. А мы теперь узнали, что они и очковтиратели.

— То есть как... очковтиратели? — опешил я и растерянно посмотрел на Нечаенко: он улыбался.

— Ну, к чему это поминать, Федя? — недовольно поморщился Виктор.— Это все наши домашние свары! —

сказал он.— Товарищу корреспонденту это и неинтересно вовсе...

— Действительно было такое...— сказал Нечаенко и усмехнулся.— Очковтиратели.

— Да быть этого не может! — вскричал я.

— И я так считаю: не может! — усмехнулся секретарь.— И не будет!

— Теперь-то не будет, когда о рекорде Стаханова «Правда» написала...— засмеялся Светличный.

— А пока мы все-таки ходим в очковтирателях! — глухо проговорил Воронько. Он сидел, ссутулившись и глубоко втянув голову в плечи. Это были крутые, надежные, настоящие плечи друга. А его лицо было совсем другим, чем у Абросимова. В лице Воронько все было мягким, смутным, неопределенным, даже цвет волос — не русый и не рыжий... И его брови, глаза, щеки были той же неопределенной, неуловимой расцветки, а нос, подбородок, рот — неотчетливой, плывучей формы. К тому же все это было густо засыпано солнечной мелочью веснушек.

Да, ни резкостью, ни яркостью, ни подвижностью это лицо не отличалось. Оно казалось даже тусклым, серым; только когда вдруг на секунду, словно нечаянно, непрошенно, сама собой являлась улыбка,— всегда застенчивая и простодушная,— лицо Воронько странно преображалось: хорошело и воодушевлялось.

Впрочем, улыбка не была характерной для него. Он улыбался не часто. Он показался мне излишне серьезным, не по годам. Он и выглядел старше своих лет, старше Виктора, даже старше Светличного. В нем была какая-то почти стариковская солидность, основательность — и не напущенная на себя, а врожденная. Это нередко бывает у ребят, рано начавших жить своим трудом.

Но самым характерным в его лице были все-таки глаза и лоб, как в лице Виктора — глаза и рот.

Глаза Андрея Воронько не сразу привлекали к себе внимание. Они были небольшие и сидели глубоко-глубоко под надбровными дугами. Когда Андрей задумчиво насупливал брови,— а за ним водилась такая привычка,— глаз и вовсе не было видно. Они были светлые и переменчивые: то серые, то синие, то зеленые, то голубые, а иногда и вовсе бесцветные, отсутствующие...

Но они замечательно точно отражали внутреннюю работу, непрерывно совершавшуюся в нем,— и, видно, очень напряженную и сосредоточенную, тем более напряженную, чем неподвижнее были его лицо и тело.

А над глазами нависал большой лоб, крутой и бугристый, как круча над рекой, и в этих буграх угадывались великая сила убежденности и упорства, даже упрямство. Воронько и ходил лбом вперед, как молодой бычок. Чувствовалось, что этот хлопец бодаться умеет!

— Очковтиратели! — повторил он все так же глухо.

— А что ж? — беспечно засмеялся Виктор.— Справедливо! Вот этими руками я как раз очки и втирал! — И он протянул ко мне свои большие забойщицкие руки с синими от угля ногтями.

— Мы не за себя обижаемся,— сдержанно сказал Андрей.— Нам за дело обидно. Такими словами если кидаться, так и дело можно загубить.

— Ну, дела теперь не загубишь! — возразил Нечаенко.— Дело само за себя уже говорит.

— Согласен, Николай Остапович: не загубишь! А затормозить или там скривить можно. Ведь я как это дело мыслю? — неожиданно и горячо воскликнул Андрей, но тут же спохватился и густо покраснел.— Да что ж это я один говорю? Вы извините, пожалуйста...

— Говори, говори, Андрей! Ты хорошо говоришь.

— Та где там хорошо! — совсем смутился Воронько.

— Да говори, ладно!

— Все-таки я скажу, поскольку товарищ корреспондент здесь,— согласился он.— А ребята поправят. Ведь мы что имеем сейчас? — круто повернувшись ко мне, начал он.— Имеем пока единичный рекорд, вот Виктора. А перед тем рекорд товарища Стаханова. Так? Ну, а единичный рекорд дела на шахте еще не решает.

— А кто же теперь мешает всем забойщикам такие рекорды давать? — вскричал Виктор.

— А ты считаешь, что все могут? — быстро обернулся к нему Андрей.

— Та ясно ж, все!

— Каждый день?

— Та хоть каждый!

— Нет! — строго покачал головой Воронько.— Все не могут!

Я с удивлением посмотрел на него. Что он такое говорит? И все не поняли Андрея. Только Нечаенко улыбнулся.

— Да неужели ты не можешь вырубать, сколько я? — недоверчиво спросил Виктор.

— Я? Могу!

— Ну, а Митя Закорко, а Сережка, а Закорлюка?

— И Митя может, и Сережка, и Закорлюка, и Сухобоков... Любой забойщик на шахте может.

— Ну, так в чем же дело? — уже с досадой вскричал Абросимов.

— Ты что имеешь в виду, Андрей? — тихо спросил Светличный.

— А то я имею в виду, что единичный рекорд каждый может дать, если ему создать условия, как Виктору... Тут теперь хитрого нет. А нам желательно, я так думаю, чтоб рекорд, как бы это сказать? Чтоб рекорд перестал быть рекордом, что ли...— Он затруднялся с выбором нужных ему слов. Он вообще говорил скупо, медленно и, произнося слова, вслушивался: как же они звучат? И часто морщился: произнесенное слово оказывалось не тем, какое он искал. Его слова были беднее его мыслей.— Ну, скажем, так: может забойщик рекордно рубать, если, допустим, порожняка нет?

— Ну, не может.

— Значит, надо, чтоб порожняк был, чтоб коногоны и машинисты тоже работали по-новому, ударно...

— Ну, так.

— Можно рекордно рубать, если, скажем, леса на месте нет, или воздуха мало, или штрек отстал? — туго продолжал развивать свою мысль Воронько.— Значит, надо, чтобы и лесогоны, и проходчики, и слесари — все, словом, работали рекордно...

— Андрей то хочет сказать,— улыбаясь, сказал Нечаенко,— что теперь вся шахта должна подняться на новую ступень, соревнование должно охватить всех, все профессии. Так я тебя понял?

— Да. Вся шахта,— почти торжественно произнес Воронько.— Вся наша «Крутая Мария».

Теперь друзья поняли его.

— Ну-у! — смеясь, вскричал Светличный.— Этого Дед вовсе уж не переживет, чтоб вся шахта.

— Дед — отсталый человек,— сказал Воронько.— Я так считаю: если не исправится — его надо в сторону! — Он сказал это без всякого ожесточения, все тем же своим ровным, чуть глуховатым голосом.

— А главный инженер? — подхватил Виктор.— Разве ж он соответствует?

— Да, и главный инженер тоже,— спокойно согласился Андрей, но тут же сам смутился.— Вы нас извините, Николай Остапович...— запинаясь, сказал он.— Конечно, мы судить не можем. Но только мы из опыта говорим... Практически...

— Э, нет! — засмеялся Нечаенко и любовно посмотрел на молодого шахтера.— Ты брось! Ты теперь у нас, Андрей, теоретик!

Ребята засмеялись, Андрей сконфузился. Скоро они стали опять толковать и спорить о делах на шахте...

А я сидел и молча слушал...

Мне казалось раньше, что я знаю рабочих людей, знаю с детства. Знал я мастеровщину — сдельщину, забубенную, отчаянную, отпетую — золотые руки, пьяные головушки... Знал чистых пролетариев, нищих, бесправных, но родных; они жили артельно, администрация их не любила, но побаивалась. Знал «самостоятельных» — обычно то были машинисты, камеронщики, слесари,— они имели свой собственный клочок земли на шахте и свою халупку на ней — «каютку», как говорили здесь. И они гордились тем, что они собственники, хозяева, и брезгливо отгораживали себя, свой дом и свою жизнь высоким тыном или дырявым плетнем от «шантрапы». Знал я и шантрапу, золотую роту, эту серую приискательскую кобылку, которую жизнь беспощадно мела, как перекати-поле, по бесприютной земле, с шахты на шахту, с золота — на уголь, из кабака — в тюрьму, из забоя — в могилу... Знал я и одиночек, тщетно пытавшихся выбиться «в люди», в конторщики; эти ходили чисто, состояли в обществе трезвости, и единственной отрадой их скупой, одинокой, черствой жизни была гитара с голубым или алым бантом. Знал я и интеллигентных рабочих, любителей серьезных книг и хорового пения; знал стариков-начетчиков, неутоми-

мых искателей справедливого бога... Знал революционеров. И, может быть, самым ярким событием моего детства было то, когда уже накануне революции я, маленький грамотей с хорошим почерком, писал по просьбе соседей-забастовщиков и под их диктовку ультиматум дирекции...

Еще лучше узнал я рабочих людей после революции. Я видел, как, потуже затянув ремень на голодном брюхе, шли они откачивать затопленную шахту. Я видел их на строительных лесах, и в котлованах, и в батальонах энтузиастов... Я писал о них.

Но вот передо мной сидели трое молодых рабочих, и они мне были незнакомы и недоступны. Я таких раньше не знал. У них были золотые руки мастеровых, и гордость пролетариев, и энтузиазм ударников. Но они уже не были ни пролетариями, ни мастеровыми, ни вчерашними ударниками. Это были совсем новые люди.

Признаюсь, тогда для меня самого все в них было еще не ясно и смутно... Я просто видел перед собой новых рабочих, но ни понять, ни объяснить их еще не мог.

Только два месяца спустя, когда на слете стахановцев слушал я Сталина, все объяснилось, живые черточки слились, стали на место и составили картину. И, слушая Сталина, я все время думал об Андрее и Викторе,— они сидели тут же, рядом со мной, в Кремлевском дворце. Это о них говорил Сталин, что они «люди новые, особенные», «таких людей у нас не было или почти не было года три тому назад»; это «люди культурные и технически подкованные». «Они свободны от консерватизма и застойности некоторых инженеров, техников и хозяйственников, они идут смело вперед, ломая устаревшие технические нормы и создавая новые, более высокие, они вносят поправки в проектные мощности и хозяйственные планы, составленные руководителями нашей промышленности, они то и дело дополняют и поправляют инженеров и техников, они нередко учат и толкают их вперед, ибо это — люди, вполне овладевшие техникой своего дела и умеющие выжимать из техники максимум того, что можно из нее выжать».

И так же, как я, затаив дыхание, слушали Сталина и наши герои; он и им объяснил самих себя: чувства,

которые ими двигали; цели, к которым они стремились; дело, которое они сделали...

Но это было уже в ноябре 1935 года. А тогда, в сентябре, в летнем саду шахты «Крутая Мария», ребята еще только спорили о том, что может получиться из рекордов Стаханова и Абросимова, без конца говорили об угле, добыче, о шахте и шахтерских делах с той страстью, с какой говорят о работе только советские люди, и я задумчиво слушал их не вмешиваясь. И вдруг оказался совсем далеко-далеко отсюда... На Севере. В Арктике. Так бывало и на зимовке: в час самой шумной беседы в кают-компании вдруг перелетал я мысленно сюда, на «Крутую Марию», в Донбасс...

В Арктике стоят сейчас горячие дни. Навигация... «Карская» [1] в самом разгаре. Идут караваны с лесом из Игарки. Далеко в море на ледовую разведку уходят самолеты. В бухте Диксона — непрерывный сентябрьский аврал: погрузка-выгрузка. Падает дождь. Скалы черные, мокрые... Зверобои с утра уже на промысле. Радисты стоят по две-три вахты без отдыха, только изредка забегают на камбуз перекусить. В кают-компании суета: приезжают и уезжают люди... Сборы, встречи, расставания, обрывки веревок на полу...

Но в заветный час все, кто может, собираются у репродуктора, слушают Москву. Сегодня они услышат по радио заметку из «Правды» о рекорде Стаханова. Они заинтересуются этой короткой заметкой: уж я наших ребят знаю! И потом, за вечерним кофе, в кают-компании будут оживленно толковать об этом меж собой. Кто-нибудь задумчиво крякнет: «Да-а! Везет же шахтерам! Вся слава им!» И завтра за штурвалом ледокола, за баранкой в полете, на вахте, в радиорубке или на аврале ребята опять вспомнят эту заметку и даже имя донецкого забойщика Алексея Стаханова и его беспримерный рекорд... и будут долго о нем думать.

21

Я пробыл в Донбассе почти весь сентябрь 1935 года, и этих дней не забуду никогда. Было такое ощущение, будто все вокруг разом стронулось, сдвинулось с места,

[1] Карская экспедиция.

вырвалось из привычного обихода и дерзко устремилось вперед; какие-то преграды пали, какие-то плотины прорвало, а за ними вдруг распахнулись перед человеком такие безотказные дали, что дух захватывало... Все, что происходило в те дни в шахтерском Донбассе, поэт сравнил бы и с буйным весенним разливом Волги, и с ледоходом в Арктике, когда идет Енисеем большая вода, и даже с геологическим переворотом, вздымающим из неведомых пучин новые вершины и новые земли,— но все эти поэтические сравнения все-таки не объяснили бы того, что было в сентябре 1935 года в Донбассе, когда в движение пришли не льды, не воды, не горы, а люди.

Люди... В газетах их уже называли советскими богатырями. Шахтер, вырубивший за смену шесть железнодорожных вагонов угля, действительно показался сначала былинным богатырем, новым Ильей Муромцем; сперва даже не верилось, что обыкновенный человек может свершить такое. Но рекорд Стаханова был тотчас же перекрыт, и сразу на нескольких шахтах; пламя соревнования перекинулось с шахты на заводы и фабрики; стало известно о делах кузнеца Бусыгина, ткачих Виноградовых, обувщика Сметанина,—и, слушая эти вести, каждый рабочий человек почувствовал, как и в нем самом разгорается богатырский дух, как и к нему приходит радостное озарение.

На каждой шахте появились свои герои, и уже не только забойщики, но и машинисты врубовок, коногоны, проходчики, бутчики, крепильщики, слесари. Возникали все новые и новые имена и немедленно становились знаменитыми в Донбассе; славы на всех хватало! Начальникам участков, инженерам и техникам приходилось туго: их атаковали шахтеры; каждый предлагал свое, каждый в своей профессии открывал новое, каждый требовал дать ему ход... С грохотом рушились старые порядки и старые нормы,— только гул шел по Донбассу...

Человек не мог теперь покойно сидеть дома один: тянуло на люди. Подле проходных ворот, у витрин с газетами весь день толпились шахтеры, жадно читали сообщения о рекордах, прислушивались к радио, узнавали новости в шахтпарткоме... Так в дни войны ловят люди вести с фронта. И как реляции о военных победах воодушевляют самых мирных, самых тихих людей в ты-

лу и заставляют их остро завидовать фронтовикам и самим рваться на фронт,— так и эти вести о стахановских рекордах будоражили самых мирных, вызывали и у них «зуд в мозолях». Вдруг являлся в контору старичок-пенсионер, давно ушедший на покой, на огород, и требовал, чтоб и его допустили в забой. Из больницы прибежал комсомолец Рябоконь, забойщик второго участка.

— Та я же здоров, ничего у меня не болит! — горячо и напрасно убеждал он Нечаенко.— Душа болит, что от людей отстану!

Приходили к парторгу подсобные рабочие, занятые на поверхности, просили посодействовать, чтоб перевели их под землю. Подал заявление и дядя Онисим, комендант общежития, а за ним и кладовщик Булкин, тоже бывший крепильщик, и оба старика каждое утро наведывались к Нечаенко справиться, какой дан их бумаге ход.

В те дни партийный комитет на любой шахте был похож на революционный штаб; множество беспартийных людей перебывало тут за этот месяц, некоторые впервые. В маленьком помещении было тесно, и люди топтались в сенях, на крылечке, во дворе, сидели на ступеньках, на дубовых лавочках в палисаднике, курили, ждали; или собирались под багряными кленами на улице и, опершись на свои кайлы, отбойные молотки, ломы и поддиры, как красногвардейцы на ружья, негромко толковали меж собою, и все об одном — о новом движении, о революции под землей...

И о том же — о рекордах, о высоких заработках стахановцев, о переменах на шахте — говорили в любом месте поселка: в клубе, в холостяцких общежитиях, в бане, в приемной у зубного врача, в столовой, в парикмахерской, даже в старой пивнушке на базаре, впрочем, переименованной недавно в «павилион».

— Ну, кто теперь рекорд держит? — спрашивал парикмахер, намыливая мои щеки.— Уже не Абросимов?

— Забара.

— А! Знаю! Брюнет такой, правильно? Не беспокоит?

— Нет, ничего...

— Но Абросимов еще последнего слова не сказал, нет! — продолжал парикмахер.— Они с Воронько опять

что-нибудь новое придумают. Уж будьте уверены! Новинкой возьмут. Сейчас вообще в горном деле — все новшества.

— Да?

— А как же! Новым методом ствол проходят, по-новому лавы нарезают... Да вот, слышали про новую систему обрушения кровли?

— Нет.

— Как же! — И он стал рассказывать мне об этом, употребляя то горняцкие, то парикмахерские термины. Например: «ставят органную крепь, получается «как расческа», или «стригут аккуратно, как под машинку «три нуля»... Впрочем, рассказывал он с воодушевлением.

Но больше всего любил я в эти дни толкаться в нарядной. Здесь было особенно интересно. И жарко. Парикмахерская, базар, сквер, даже клуб — все это был второй эшелон, тыл. Нарядная была уже передовой позицией, здесь шахтеры брали на себя обязательства перед боем, брали, подумав. В те дни я не встречал в нарядной людей, лениво и безучастно сидевших в сторонке. Все сбивались вместе вокруг своих бригадиров.

— Егор Минаич, а Егор Минаич! — восклицал в одной такой группке молодой, лихо курносый парень в каске, судя по мотку веревок у пояса, лесогон.— Так какое же будет ваше последнее слово?

— Нет! — негромко отвечал Егор Минаич, пожилой, мрачный шахтер, с усами, совсем закрывшими губы.

— Нет?!

— Нет.

— А отчего же нет, Егор Минаич?

— А оттого, что срамиться не хочу.

— Так мы ж дадим, дадим, Егор Минаич! Вы ж только послушайте! А, Егор Минаич? — с мольбой заглядывая в лицо бригадира, жарко и нежно шептал лесогон и нетерпеливо ждал ответа.— Я ж вам, хотите, еще раз весь план поясню!.. А?

— Нет.

— Нет?!

— Нет.

— Так какое ж будет ваше последнее слово, а, Егор Минаич?

И всюду вокруг себя слышал я этот страстный шепот.

— Да неужели мы от людей отстанем? — говорил в группе забойщиков огненно-рыжий красавец Митя Закорко.— Нет, вы как хотите, а я вызов сделаю.

— Да-а... Как удастся...— нерешительно возражал ему товарищ, но и в его глазах была уже лихорадка.— Надо прикинуть.

— Говорят, Забара на «Красном партизане» полтораста тонн дал.

— Ну, это вряд ли!

— Все говорят...

— Полтораста? Сколько ж он заработал?

Кто-то тут же и подсчитал. Вышло много. Но никто не удивился. К высоким заработкам рекордсменов уже привыкли. В нарядной ежедневно вывешивались большие плакаты: шахтер такой-то дал столько-то процентов нормы, заработал столько-то. Рабочий человек вообще о своих заработках говорит охотно и не таясь.

— Вы как хотите,— с досадой сказал Закорко,— а я Виктора вызову. Не в первый раз мне его вызывать!

Я был при том, как Закорко сдержал свое слово. В нарядной состоялся митинг — они случались теперь почти ежедневно — и на нем Виктор громогласно объявил:

— Иду на новый рекорд, ребята! Наперед ничего не скажу, а мировой рекорд будет за «Крутой Марией». Все!

Он еще стоял на помосте, когда к нему с отбойным молотком на плече подошел Митя Закорко.

— А я вызываю тебя, Виктор! — дерзко сказал он и чуть приподнял молоток правой рукой.— На своем маломощном пласте берусь я перекрыть твой рекорд... Все слышат? — крикнул он оборачиваясь.— Так и запомните!

Он отойти не успел, как подошел Сергей Очеретин.

— И я тебя вызываю, Виктор! — сказал он, часто моргая мохнатыми, белыми, как бабочки-капустницы, ресницами.— Секрет нам теперь ясен. Хвастаться не стану, а тысяча процентов мои!

И тогда словно перемычку пробило. Один за другим пошли на Виктора с вызовом шахтеры, в одиночку

и бригадами,— проходчики, лесогоны, крепильщики, запальщики,— они на минуту останавливались перед помостом, объявляли свой вызов и проходили... Был здесь и лихой лесогон из бригады Егора Минаича; он шел впереди своей бригады и вызов бросил петушиным, срывающимся от волнения и гордости голосом. Егор Минаич хмуро, но с достоинством шел следом,— он подтвердил вызов молчаливым кивком.

Андрей оказался рядом со мной. Он внимательно следил за тем, что вокруг творилось. Был ли он доволен? Ничего нельзя было понять по его лицу.

— Ну, теперь-то — соревнование, по-вашему? — тихонько спросил я.

— Да. Это соревнование! — ответил Воронько.— Вся шахта двинулась! — И он застенчиво улыбнулся.

Но тотчас же и встревожился,— я не мог понять, отчего. В эту минуту бросал свой вызов Виктору Абросимову забойщик Закорлюка-старший. Андрей вдруг покинул меня, поспешно взобрался на помост и стал рядом с Абросимовым. Только потом я узнал, в чем дело: Андрей боялся, как бы самолюбивый Виктор не обиделся на дерзкие вызовы и худым словом не оскорбил бы людей.

Не понял я тогда и смысла маленького эпизода, разыгравшегося тут же, на моих глазах. У окошка третьего участка, неподалеку от меня, грузно опершись на палку, стоял заведующий шахтой Дед, а рядом с ним щуплый шахтер-белорус, с реденькой русой бороденкой и длинной, как у аиста, тощей шеей. Он все вытягивал шею вверх, подымаясь при этом на цыпочки и становясь еще более похожим на аиста. Был он в большом смятении: на его лице попеременно отражались все оттенки чувств — от робости до отваги.

Наконец, он воодушевился.

— Ан и я пойду, а? — сказал он неожиданным басом.— Благослови, Глеб Игнатович?

— Стой, Кондрат, не рыпайся! — презрительно остановил его Дед.— Куда тебе! Тоже выискался,— конь с копытом...

— А нет, пойду! — упрямо повторил Кондрат.— Авось и мы людей не хуже.

И он действительно пошел. Я видел, как, переменившись в лице, посмотрел ему вслед заведующий. В этом взгляде были и изумление, и досада, и смущение, и даже стыд. Почему стыд? Но разве я мог угадать, что творилось в душе Деда, что в ней сломалось и рухнуло в эту минуту, когда увидел он, как отсталый шахтер Кондрат,— один из тех, за чью судьбу Дед так опасался,— подошел к помосту и, задрав вверх бороденку, смело вызвал Виктора на великое соревнование?!

— Смотри! Ишь ты! — удивился Виктор.— И ты, Кондрат? — Он обернулся к Андрею и, радостно смеясь, шепнул: — Ты только гляди, Андрей, что делается! Как мы народ-то растревожили. Ай да мы! — Потом вдруг выпрямился, поднял лампочку и весело гаркнул на всю нарядную: — Принимаю! Все вызовы принимаю! — сказал он.— И желаю всем, кто меня вызвал, от чистой души желаю — побить меня! На пользу родной шахте. Ну, да и я в долгу не останусь! — хвастливо прибавил он.— Держись, ребята!.. Так, что ли, Андрей?

— Так! — засмеялся тот.— Только и ты держись! Теперь и я тебя вызываю...

22

Собственно говоря, мне уж пора было уезжать с «Крутой Марии». Срок моей командировки кончился; в редакции ждали очерка. А уезжать не хотелось. И писать было некогда. Каждое утро я говорил себе: «Ну, еще денек! Вот посмотрю, как Виктор добьется нового рекорда, тогда и поеду». Или: «Теперь дождусь рекорда Андрея. Это нужно для очерка». Но это нужно было не для очерка, а для меня, зачем — я и сам не знал. «Просто мне жаль расставаться с «Крутой Марией»,— убеждал я себя.— Я тут почти пять лет не был». Но это было правдой только наполовину; к расставаниям с «Крутой Марией», как и к разлукам с матерью, я уж давно привык. Жаль было расставаться не с шахтой, а с полюбившимися мне людьми — с Нечаенко, с Андреем и Виктором, с Светличным, с дядей Прокопом, которого я помнил с детства, с Дашей, которую сам уж не

знаю, помнил я или нет, но теперь встретил как бы заново... Грустно было покидать их на полдороге. И я говорил себе: ну, еще денек!

Но вот и Светличный уже уехал в свой институт. Уехала в Москву Даша. Виктор установил новый мировой рекорд, продержавшийся почти целый день; вечером, во вторую смену, его уже побил Митя Закорко, как и обещал. Пошел, наконец, на рекорд и Андрей Воронько.

До этого, два дня тому назад, Андрей, по предложению Нечаенко, был избран парторгом участка, на котором работал забойщиком. В партийной жизни Андрея это была первая большая выборная должность, и все понимали его волнение и робость, с какою принял он на свои плечи ответственность. Но никто из коммунистов и виду не подал, что это понимает, и никто не обидел молодого парторга словами снисходительного одобрения. Сразу же после собрания Прокоп Максимович, начальник участка, подошел к нему с делами, и они тут же углубились в них; я видел, как склонились над бумагами и чертежами (должно быть, над графиком работы в лавах) две головы — седая и русая, и опять остро почувствовал, что не хочу, не хочу уезжать отсюда...

А через два дня, ночью Андрей пошел на рекорд. Я был при этом. Кроме меня, в лаве находились еще Прокоп Максимович и Виктор; теперь Виктор своей лампочкой освещал путь товарищу.

Андрей работал спокойно, размеренно, не торопясь: казалось, ни особой силы, ни ярости, ни запала не вкладывал он в свой труд; я сказал бы даже, что он рубал уголь как-то раздумчиво и осторожно, и хотя уголь обильной струей падал вниз и отбойный молоток стрекотал ровно и почти безостановочно,— я с разочарованием подумал, что рекорда Андрей Воронько все равно не добьется, и мне стало обидно за молодого парторга, а потом и досадно: ну что Андрей силы-то бережет, что медлит?! Хотелось растормошить его, зажечь,— да чем же зажжешь бесчувственного! А Андрей все так же спокойно и молча рубал уголь, без суеты и даже без оживления переползал из уступа в уступ и все долбил да долбил молотком; под конец он стал казаться мне просто скучным дятлом. Если и была поэзия в его работе,

то моему пониманию недоступная. И эта ночная смена показалась мне бесконечно длинной...

А к утру выяснилось: Андрей нарубил 180 тонн и, значит, установил новый рекорд. Виктор первый и ото всей души поздравил товарища. Поздравил и дядя Прокоп: Андрей с давних пор был его любимцем.

В коренном штреке нас встретил Нечаенко.

— Ну, как дела? — нетерпеливо набросился он на Андрея.

— Сто восемьдесят...— ответил тот и вдруг счастливо, по-ребячьи улыбнулся.

— Вот как! — обрадовался Нечаенко.— Ну, поздравляю! Вот это парторг! А я, понимаешь,— недовольным голосом тут же прибавил он,— всю ночь на первом участке провел, в их делах разбирался. Плохие у них там дела с откаткой. И коммунистов на участке не видать и не слыхать. Да-а! — вздохнул он.— Тут рекорды, а там безобразия. Так, значит, сто восемьдесят тонн? — все-таки спросил он еще раз.

— Да...— ответил Андрей, но уже сконфуженно, словно теперь ему было неловко за свой рекорд, когда на первом участке безобразия.

— Всех перекрыл наш Андрей! — восторженно вскричал Виктор.— Всех умыл!

— И, заметьте, без всякого очковтирательства,— усмехнувшись, вставил дядя Прокоп.

Все засмеялись, поняв намек. «Дело об очковтирательстве», так несуразно затеянное Рудиным, сразу же и заглохло, как, впрочем, и предсказывал Светличный, но недобрая память о нем, видно, осталась все-таки в душе и у Андрея, и у Виктора, и у дяди Прокопа.

— Ну, очковтирателями нас теперь никто не назовет! Товарищ Рудин сам теперь загорелся движением...— сказал Нечаенко, и был какой-то неуловимый оттенок в тоне, каким он это сказал.

Мы подошли к стволу. Здесь уже знали о рекорде Андрея.

— Всю ночь, Андрюша, твой уголек качаем!..— ласково сказал Андрею начальник подземного транспорта Ланцов.— Кони заморились...

— Значит, крепко ругаете меня? — улыбнувшись, спросил Андрей.

— Не тебя,— ответил Ланцов.— Отсталость нашу ругаем. Сами посудите, Николай Остапович,— обратился он к Нечаенко.— Разве может теперь конь угнаться за такими забойщиками? Тут теперь электровозы нужны...

— Да, да...— задумчиво согласился Нечаенко.— Коняге теперь не угнаться! — Но я понял, что думал он сейчас не только о коняге.

Выехав на-гора́, мы все вместе пошли в техническую баню. На «Крутой Марии» она помещалась за проходными воротами, в переулочке. Это было маленькое, приземистое, одноэтажное здание из темно-серого камня, совсем побуревшего от времени. Когда-то, до революции, эту баню называли «штейгерской баней», и хотя штейгера и горные инженеры не часто пользовались ею, так как вообще редко бывали в шахте, но строили баню именно для них, и поэтому нарочно поставили в сторонке от шахты и шахтеров. Все, что раньше на старой «Марии» назначалось для житья и нужд администрации: «конторские» коттеджи для служащих, дом и сад директора, приемный покой и особняк доктора, даже новый трактир с биллиардом для «чистой» публики,— все строилось как можно дальше от копра, все словно пятилось прочь от шахты. Сейчас техническая баня стала уже мала для бурно растущей «Крутой Марии», и среди многочисленных проектов, которыми в те дни был полон Нечаенко, был и проект постройки нового бытового комбината на шахте — с невиданной нарядной, просторными банями, душевыми и сушилками, с парикмахерской, прачечной и медицинским пунктом и даже, кажется, с кинозалом...

Мы уже подходили к бане, когда навстречу нам из переулка неожиданно выкатила легковая машина, пронеслась мимо, но тотчас же и остановилась. Из машины легко выскочил высокий человек в светло-сером плащепыльнике и окликнул Нечаенко. Это был Рудин. Я узнал его, хоть видел только один раз мельком. До сих пор мне никак не удавалось встретиться с ним — то он был занят в горкоме и принять меня не мог, то носился по району и его нельзя было настигнуть. Сейчас, как оказалось, Рудин ехал через «Крутую Марию» в город.

— Да вот увидел хозяев,— шутливо объяснил он,— неудобно, по вашей земле еду, надо поклониться!

Он был, как всегда, без кепки. Сентябрьский ветерок раздувал его пышную шевелюру, и, может быть, от этого лицо Рудина показалось мне лицом поэта или артиста.

Нечаенко тут же представил меня.

— А-а! Хорошо, хорошо, что приехали! — торопливой скороговоркой промолвил Рудин, тряся мою руку.— Большие дела, большие дела! Вдохновенные дела, есть о чем писать! Ну, а у вас что нового? — тут же обратился он к Нечаенко.

— Да вот только что Воронько новый рекорд поставил,— указывая на Андрея, ответил парторг.

— Да? Сколько? — живо заинтересовался Рудин.

— Сто восемьдесят тонн.

Мне показалось, что эта цифра разочаровала Рудина.

— Да-а? Ну, ничего, ничего...— сказал он.— А триста тонн ты мог бы вырубить? — неожиданно спросил он у Воронько.

— Триста? — удивился Андрей.

Но Рудин уже снова обернулся ко мне, он был очень подвижен.

— Вот приглашаю вас через пару деньков на «Красный партизан»! — весело сказал он.— Будет триста тонн у Забары. А? Здорово? Стреляет? То-то! — он засмеялся, похлопал меня по плечу, сел в машину и уехал.

Некоторое время все молчали. Наконец, автомобиль скрылся за терриконом, и пыль улеглась на дороге.

— А я берусь триста тонн дать! — вдруг горячо сказал Виктор.— Вы мне только условия создайте.

— Какие же тебе условия создать? — ласково усмехнулся Нечаенко.

— А прежде всего — лаву спрямить...

— Ну, об этом еще надо подумать,— пробурчал Прокоп Максимович.

— А что тут думать! Раз сказано «триста» — надо триста дать!

— Кем сказано? — спросил Нечаенко.

— Да вот товарищем Рудиным. Разве не слышали?

— Это мы слышали...— сдержанно возразил дядя Прокоп.— Теперь подумать надо.

— Так что же, значит, так и допустим, чтоб соседи наш рекорд побили, нас в хвосте оставили? — запальчиво вскричал Виктор.— Ну, на это моего согласия нет!

— Нехай побьют! — тихо сказал Андрей.— Теперь, видать, дело не в рекордах...

Странный это был разговор для утра после победы! Рекорд еще принадлежал «Крутой Марии», а победители были уже недовольны собой. Беспокойно заглядывали они вперед: ну, а дальше, дальше что? Неужели достигли края? И они мысленно щупали — «край» ли это, и уже смутно чувствовали, что «края» теперь нет и не будет, хотя каждый из них искал «край» в своих горизонтах и пределах: Виктор в границах лавы, дядя Прокоп и Андрей в пределах участка, а может, уж и шахты, Нечаенко... Но Нечаенко, как показалось мне, смотрел совсем далеко вперед, дальше, чем я и остальные.

— Я ж не о себе забочусь,— обиженно сказал Виктор.— Ну, нехай не я. Пускай Андрей, как парторг, триста тонн вырубит. Мне только чтоб слава за нашей шахтой осталась.

— Слава?.. Слава всякая бывает,— насмешливо подхватил Нечаенко.— Видишь, вон террикоиик... Пирамида, а? Монумент! Ишь, как горделиво возвышается над всеми! Можно подумать, что именно в нем вся слава «Крутой Марии». А что он в сущности такое? Свалка пустой породы, не больше. И пользы от него никакой, только пыль по поселку... А уголь, который вырубил ночью Андрей,— неожиданно горячо, даже взволнованно продолжал Нечаенко,— не сложат в пирамиду, нет! Его завтра же в топках сожгут, без остатка. И следа не останется! Зато даст этот уголь тепло и свет людям. И люди добрым словом помянут забойщика, который этот уголь добыл. Да и Сережа в газетах об этом забойщике напишет! — вдруг весело закончил он.— Напишешь, Сергей?

— Напишу...— сказал я.

— Ну, вот и слава...

Говорят, любопытство — добродетель журналиста. Может быть, оно-то и тянуло меня к этим славным

хлопцам? Странным образом скрестились наши дороги; случилось так, что пять лет назад я встретил этих ребят в час их позора, сейчас видел в дни славы. Может быть, просто хотелось поглядеть, что же станется с ними дальше? Но я уже сам чувствовал, что тут не только любопытство, а журналистика здесь ни при чем. Из любопытства не станешь болеть душою за малознакомого человека. А я уж болел за этих ребят. Нет, это не просто любопытство; тут был кровный интерес современника к своим современникам; в таких-то ребятах, как эти, и зрело будущее родины, хоть сами герои, с головой захваченные делами сегодняшнего дня, может быть, и не думали об этом...

Они были еще в самом начале своего пути, в дороге, в походе, в движении, и заботы у них были дорожные, путевые, и цели им виднелись только самые ближние, зато, достигнув их, они тут же открывали новые цели, и, не отдохнув, устремлялись к ним. И их прямые вожаки — Нечаенки, Светличные — тоже были еще очень молоды и неопытны, они сами находились в пути, они сами росли от привала к привалу, и хотя заглядывали они за горизонт дальше, чем люди, ведомые ими, но и они, разумеется, не могли проникнуть мысленным взором в грядущее.

В те дни мы особенно близко сошлись и сдружились с Николаем Нечаенко. Мы были ровесники, люди одного поколения, схожей судьбы. У нас быстро нашлись общие знакомые, даже общие воспоминания. Оказалось, что мы не раз бывали вместе на съездах, слетах или конференциях. Странно, что мы не встретились и не подружились раньше. Впрочем, вряд ли в толчее заседаний смогли бы мы сдружиться так, как сдружились здесь, в эти горячие дни на «Крутой Марии».

Самая крепкая, надежная дружба завязывается там, где люди находятся в состоянии наивысшего напряжения своих человеческих качеств,— на фронте, на зимовке в Арктике, в далеком плавании, в острой политической борьбе или, как здесь, в дни накаленного трудового подъема. Тут весь человек виден. Ясно, кто враг и кто преданный друг. Именно сейчас Нечаенко и раскрылся передо мной во всей красоте своей души, неугомонный, нетерпеливый, верный в своем отношении к де-

лу и в своем отношении к людям — порой резком, крутом, но всегда прямом и откровенном. Как и Светличный, он был требователен, но он был гибче и мягче прямолинейного Светличного; он умел понимать человеческие слабости и даже прощать их. Он даже любил возиться с людьми проштрафившимися и отсталыми; и если вытягивал их — этим гордился больше всего. Словом, он был настоящий парторг, то есть партийный организатор масс, с врожденным талантом руководителя, и поэтому меня несказанно удивили мечты Нечаенко, которыми он как-то поделился со мной.

У нас шел разговор об учебе,— я знал, что Нечаенко рвется в институт.

— В комвуз, конечно? — понимающе спросил я. Но он ответил:

— Нет, почему же? Я хотел бы стать инженером.

— Горняком?

— Нет, не совсем...— засмеялся он.

И тут уж я ничего не понял. А он, хитро прищурившись, смотрел на меня.

— Я, видишь ли, хотел бы строить машины...— сказал он.— Потихоньку-то я готовлюсь, скрывать не буду, да вот черчение — слабость моя...

Но тут нас прервал телефонный звонок. Звонил Дед. У Нечаенко с ним были сложные и трудные взаимоотношения; они любили друг друга, а сговориться не могли.

— Хорошо, я сейчас приду,— скучным голосом сказал в трубку Нечаенко и обернулся ко мне.— Ты меня прости, Сережа, пойду к Деду. Он совсем расклеился, дома лежит,— и он торопливо вышел из шахтпарткома.

Нам не скоро довелось вернуться к этому удивившему меня разговору. И я долго еще не мог вообразить себе Нечаенко — заводилу, массовика, организатора — за тихой чертежной доской, как не мог бы вообразить Андрея или Виктора на пасеке или на огороде. В те поры все человечьи пути-дороги представлялись мне верстовыми, прямолинейными. Для каждого из полюбившихся мне ребят я уж мысленно начертил дорогу в жизни, и по этому чертежу должен был стать Нечаенко крупным партийным работником, Светличный большим инженером, Андрей в конце концов начальни-

ком шахты, и только с Виктором не знал я, что делать: он так был на месте у себя в забое, что, скажем, в стенах института я его представить не мог.

Не раз пытался я завести разговор на эту тему, почему-то всегда волнующую меня, с самими ребятами: хотелось знать, что они-то думают о своем будущем, о своей судьбе, но беспечный Виктор, видимо, просто не знал еще, чего хочет, и не думал об этом, а Андрей, как всегда, когда пытались проникнуть в его душу, отмалчивался. «Там видно будет!» — говорили они. И ближе этого я подступить не мог.

Мы часто теперь проводили вечера вместе. Иногда к нам присоединялся Нечаенко, но он тотчас же тащил всех прочь из дому — на улицу или в парк.

Стояли первые дни осени — самое лучшее время года в Донбассе: уже не жарко и ветры стали мягче, прохладнее; с деревьев сдуло пыль, делавшую зелень седой и неживою, и все помолодело вокруг, будто вновь вернулась весна; даже ранний осенний багрянец, уже тронувший листву, казался просто здоровым, молодым румянцем и не вызывал мыслей об увядании и смерти. Особенно хороши были вечера, настоенные запахом степи и шахты, чуть-чуть, по-хорошему, беспокойные и добрые...

В такие вечера всех — и стариков и молодых — невольно тянет из дому: стариков — в гости, молодых — на гулянье. Для гуляний в шахтерском поселке есть два излюбленных места: главный проспект, превращающийся вечером в «жениховский квершлаг», и парк. Здесь весь вечер течет и волнуется оживленная, радостная людская река, разливается по тихим аллеям, как по пойме, и бурлит в центре, у фонтана и цветников.

Только тот, кто в молодости сам жил в южном провинциальном городке или поселке, знает, сколько тихой радости, прелести и поэзии в этом ежевечернем кружении по аллеям парка или по главной улице; сколько здесь молодого томления, нетерпеливой жажды любви и счастья, гордых надежд и печальных разочарований, простого доброго веселья и беспричинного смеха, сколько тут завязок и развязок, горестных или счастливых...

Многое изменилось на «Крутой Марии»: и парк стал гуще,— новые клены и акации, которые я оставил под-

ростками (мы сами сажали их на воскреснике), стали теперь бравыми молодцами; и люди повеселели, выглядели довольными и счастливыми. Чувствовалось, что стали они жить лучше, богаче, вольготней; откатчицы щеголяли в новеньких шелковых платьях, коногоны выступали в шевиотовых пиджаках, белых брюках и рубашках «апаш»... Но по-прежнему на гуляньях нерушимо соблюдалась строгая традиция шахтерского «кавалерничанья»: девушки гуляли отдельно, чинно держа друг дружку под руку; парни — шумной ватагой — отдельно.

Эти два потока долго не сливались вместе. Они казались враждующими лагерями. Иногда какой-нибудь чубатый коногон в небрежно наброшенном на одно плечо пиджаке вдруг хлестким словцом задевал проходящую мимо девушку. Та оскорбленно вскидывала голову, презрительно поджимала губы и проходила мимо под заискивающий хохот ватаги. Вообще же оба лагеря делали вид, что они один другого не замечают — гуляют сами по себе...

Но они невольно искали друг друга глазами, то и дело сталкивались и тотчас же в испуге отталкивались взглядами, короткими и жадными: кружась в сладостной карусели парка, ребята только и думали, что о своих милых противницах, а девчата только об одном и шептались меж собой: «А ты заметила, Дуся, как *он* на меня посмотрел?..» Их неудержимо и властно влекло друг к другу, и в этом взаимном влечении и пугливом отталкивании, в этой любовной игре со всеми ее милыми церемониями, маленькими хитростями и простодушным лукавством и была вся прелесть этого ежевечернего токования в шахтерском парке.

А потом наступал час, когда будто нечаянно, сами собой, сливаются оба потока и, смешиваясь, тотчас же разбиваются на пары, которые уже мирно и полюбовно уходят из парка, чтобы потом еще долго бродить, обнявшись, по тихим улицам поселка и «страдать» под доброй шахтерской луной...

В такие вечера каждый молодой человек непременно думает о любви и счастье. Нас было четверо молодых людей, все четверо — неженатые. И, вероятно, каждый из нас про себя думал и о любви и о счастье, но

вслух беспечно болтал об этом один Виктор. Значит, он один и не любил.

Победоносно шел он по парку, никого в толпе не искал, но на каждый девичий взгляд охотно и дерзко откликался, затрагивал проходивших мимо знакомых девчат, «кавалерничал», громко, во все горло, хохотал, и было ясно, что для него это только игра, не больше: в нем жарко стучала молодая кровь, а сердце еще молчало...

— Эх, Виктор! — покачав головой, сказал Нечаенко.— Женить, брат, тебя пора! В срочном порядке женить. Беда! — и это прозвучало у него совсем по-стариковски.

Виктор захохотал.

— А вы что ж не женитесь, Николай Остапович? Дали бы нам пример.

Мне показалось, что Нечаенко смутился. Но только показалось, потому что он тотчас же непринужденно и шутливо огрызнулся:

— Да где уж! Пример вы с Андреем должны показывать. Вы передовики...

— Э, ни! Мы еще попарубкаем, Андрей?

Но Андрей молчал. А мне хотелось, чтобы именно он заговорил о любви. Этот странный парень все чаще и чаще ставил меня в тупик: он никак не укладывался в мои чертежи и схемы. Иногда он казался мне чуть ли не мальчиком, а иногда, напротив, очень взрослым и определенным, куда старше и определеннее меня. «Он, видно, и любит не как все, если уж любит,— фантазировал я,— и мечтает о чем-то особенном, своем, мне непонятном...»

Тогда я не знал еще о молчаливой драме, разыгравшейся между ним и Дашей. И Виктор не знал. Виктор и не подозревал даже, что именно его, Виктора, полюбила эта гордая, непокорная, насмешливая девчонка, которую он сам не любил и побаивался. И если б узнал,— он просто не поверил бы и, может быть, не обрадовался бы. Но тогда ни он, ни я ничего не знали; бродя вместе с ребятами по парку, я мог только гадать о том, какую же девушку любит или полюбит Андрей, этот скрытный, сосредоточенный в себе, своеобычный парень, с кем сможет найти свое счастье? А Виктор? Какая дев-

чина возьмет, наконец, в свои руки эту шальную, горячую головушку? А Нечаенко? А я сам?..

Впрочем, «гуляя» с Нечаенко, невозможно было о чем-либо своем долго и одиноко думать. Нечаенко везде был заводила. Вокруг него всегда бурлил людской водоворот. В парке к нам то и дело подходили люди, с ходу вступали в беседу, и скоро все становилось, как в нарядной: те же шутки, те же разговоры, те же волнения...

А мимо неспешно проплывал оживленный, пестрый, многоликий поток... В нем мелькали те же, знакомые мне лица: днем я видел их в нарядной, или у проходных ворот, или на шахтном дворе. Вот степенно под руку с женой проследовал в кинотеатр Сергей Очеретин; вот вспыхнула где-то в толпе огненная голова Мити Закорко и тотчас же исчезла; а вот еще и еще знакомые...

В дальней аллейке поют девчата, поют звонко, озорно, почти крича и все-таки не срываясь на немыслимо высоких нотах; так поют только на сортировке, под грохот падающего угля. С танцевальной площадки доносится музыка, из павильона напротив — хлопанье пробок и звон стаканов, из кегельбана — дребезжанье досок, глухой стук шаров и хохот. И все вокруг звенит счастливыми, молодыми голосами, и в этот разноголосый шум привычно вплетаются звуки шахты: лязг вагонеток на эстакаде, выкрик кукушки, пыхтение пара и еще какой-то низкий, басовитый, однообразный звук, похожий на гудение шмеля или, скорей, на завывание ветра в трубе зимой.

Это в Шубинском лесу воет новый вентилятор. Я еще не видел его, и сейчас он мне представляется просто огромным, жадно разинутым ртом шахты. Представляется, как он со свистом всасывает, хватает воздух, а с ним все: запахи трав и цветов, дыхание леса, пар, поднимающийся от земли, клочья сырого тумана над ставком, самоварный дымок, запах козьего стада, свежесть полынной степи, прохладу этого сентябрьского бодрого вечера,— и все это мчится в шахту. Этот воздух, как свежий ветер, врывается под землю, тугими струями растекается по ходкам и штрекам, омывает каждый закоулок, стучится в вентиляционные двери, хлопает, свистит, рвет-

ся и, наконец, приходит в самые отдаленные забои к людям. И люди радостно пьют его. Пьют досыта этот знакомый, крепкий, хмельной настой земли, в котором хоть и не слышатся, зато угадываются и запахи трав и цветов и дыхание степи и леса. Это тот же воздух, каким дышат и все люди, там, на-гора́,— добрый воздух родины...

23

Однажды вечером — это было уже в середине сентября — Андрей Воронько зашел в шахтпартком. Нечаенко был один, готовился к докладу на партийном собрании. Увидев несмело остановившегося на пороге Андрея, он приветливо поднялся навстречу.

— А-а! Вот это кто! Легок на помине,— сказал он, выходя из-за стола и протягивая Воронько руку.— А я как раз о тебе сейчас думал.

— По какому же случаю, Николай Остапович? — удивился Андрей.

— Да уж был случай...— засмеялся Нечаенко.

Он говорил правду. Он действительно только что думал об Андрее. И вот в какой сложной связи. Он готовился к докладу «О первых итогах применения на «Крутой Марии» стахановского метода (тогда еще говорили «стахановский метод», а не «стахановское движение») и ближайших задачах партийной организации шахты». Все было готово для доклада, все находилось под рукой: и длинные колонки цифр, вороха справок и рапортичек, и аккуратно отпечатанный на пишущей машинке список технических предложений, и решение шахтпарткома. Ясен был и общий курс: от единичных рекордов — к массовому движению, от стахановцев-одиночек — к стахановским участкам, а затем и к стахановской шахте. Оставалось только связать все это вместе, выбрать главное, подчеркнуть — и доклад готов. А Нечаенко был недоволен. Ему казалось, что он все-таки упустил что-то очень важное и непременно нужное. И не знал, что именно.

Задумчиво перелистывал он странички доклада, вороха сводок и резолюций. «Целый океан бумаги! — насмешливо думал он при этом.— Действительно, потонуть

можно!» И чтоб не потонуть, он вдруг решительно, обоими локтями отодвинул от себя все бумажное море, достал из кармана маленькую брошюрку, с которой в эти дни не расставался, и стал читать. Это была речь Сталина на выпуске академиков Красной Армии. Нечаенко знал ее почти наизусть, но, перечитывая, каждый раз открывал для себя новое и новое и каждый раз удивлялся при этом: как же раньше я не заметил, не понял, не оценил этой или вот этой мысли?

Так случилось и сейчас. На этот раз место, поразившее Нечаенко, прямо относилось к нему и его докладу: «Ценить машины и рапортовать о том, сколько у нас имеется техники на заводах и фабриках,— научились. Но я не знаю ни одного случая, где бы с такой же охотой рапортовали о том, сколько людей мы вырастили за такой-то период и как мы помогали людям в том, чтобы они росли и закалялись в работе». Нечаенко задумался, прочитав эти строки. А он как раз и собирался «рапортовать» собранию именно о росте техники и добычи угля, и только об этом. В живой жизни, в практической работе для Нечаенко за всем этим непременно стояли живые люди, он их отлично видел и понимал. Отчего же сейчас, собираясь идти на трибуну, он разом забыл о них?! По привычке, что ли? Скверная, однако, привычка! «Но я же называю имена лучших людей! — попробовал он оправдаться, но тут же сам себя и высмеял.— Да, называешь, как называешь и «имена» машин, пластов, участков. Так мог бы назвать эти имена и любой техник или администратор. А ты-то — партийный руководитель, воспитатель масс... Нет, весь доклад надо переделать! Доклад будет о людях, которых мы, партия, вырастили».

Он задумался об этих людях, и они стали проходить перед ним — забойщики, крепильщики, проходчики, коногоны,— как проходили неделю назад, третьего дня, вчера мимо помоста в нарядной, вызывая друг друга на соревнование.

Что ими двигало? Он должен объяснить это и себе и партийному собранию. Что ими двигало: жажда заработка и почета, удаль, озорство, нетерпение, сознательность? Какой интерес — личный или общественный? Конечно, тут сочеталось все — и личное и общест-

венное. В том-то и успех стахановского метода. Тут все ясно и близко рабочему человеку. «И мне хорошо и государству польза!» — как сказал вчера в нарядной обычно молчаливый забойщик Сухобоков.

Замечательно сказал! Не всякий агитатор найдет такую крепкую и яркую формулу. А Сухобоков не агитатор. И не коммунист. Почему? — вдруг спросил себя Нечаенко.— Почему же не коммунист? А почему до сих пор не стал членом партии Митя Закорко? Что ж, так и останется вечным комсомольцем? А Очеретин? А Закорлюка-старший?

Нечаенко больше не сидел за столом — взволнованно ходил по комнате. «Значит, плохо я работаю как парторг, плохо! И об этом честно надо сказать партийному собранию,— думал он.— В каждом, даже самом отсталом, самом нелюдимом человеке есть общественная искра, надо только раздуть ее. И это должны делать мы, коммунисты, и прежде всего я. Люди сами про себя могут и не знать, какие они. Вот Сухобоков... Кому придет в голову, что он агитатор? А он будет агитатором, голову даю под топор. Да разве один Сухобоков? А сколько на шахте еще не известных мне, не разбуженных, не тронутых нашей работой, а потому и записанных в «отсталые»?» — думал он, крупными шагами пересекая кабинет от окна к двери и обратно.

«Как вообще приходит рядовой человек к общественной жизни? Чаще всего — через самокритику. Соревнование тоже ведь, как учит товарищ Сталин, есть выражение деловой, революционной самокритики масс. Вот и стахановский метод... Что он такое? Он результат творческого недовольства людей старыми нормами и старыми порядками. Вот они и сломали их к чертовой бабушке!» — уже весело улыбнулся он, вспомнив свою первую беседу с Андреем и Виктором. А все-таки не кто другой, а именно он, парторг Нечаенко, поддержал тогда ребят, подхватил их идею... «Ну и что же? — тут же окрысился он на себя.— Эка, чем похвастал. И Андрей и Виктор — активные люди. Они сами пошли стучаться во все двери. А иной не пойдет,— просто отведет душу у себя в забое или в общежитии, тем и кончится... Значит, надо услышать эту самокритику в забое или в общежитии. А для этого надо жить сре-

ди людей, быть всюду, где люди. И, приметив человека, уже не забывать его. Тянуть вверх. Ход ему дать, ход!..»

«Так ведь я и раньше так делал!» — возразил Нечаенко, останавливаясь посреди комнаты. И ему сразу же припомнился добрый десяток людей на «Крутой Марии», которых именно он и приобщил к политической жизни. «Вот о них и рассказать бы партийному собранию!.. Например, об Авдотье Филипповне...» — усмехнулся он.

Нечаенко впервые заметил ее ранней весной, у булочной, в толпе баб. Авдотья Филипповна ругала пекарню. Была эта женщина средних лет, в плисовой кацавейке и белом платке, ладная и моторная, настоящая шахтерская женка. Пекарню она ругала звонко.

Нечаенко прислушался. На шахте в «сферу влияния» парторга все входит: и пекарня, и баня, и магазины, и жилищные дела поселка, и ясли, и стадион...

— Вот что, голубушка,— сказал он Авдотье Филипповне, когда та выкричалась,— критикуешь ты хорошо. А теперь возьмись-ка да пособи делу!..

— Да чем же я-то могу пособить? — удивилась она.

— А всем. Ты женщина дотошная, зубастая. Вот мы тебе и поручим смотреть за пекарней да за магазинами. Словом, введем тебя в совет жен. А?

— А что ж? — вызывающе ответила Авдотья Филипповна и оглянулась на притихших вокруг нее баб.— А не боюсь! Давай!

Теперь Авдотью Филипповну все на шахте знают, самому Нечаенко нет от нее житья: «не баба — министр!» А началось все с пекарни...

Или Макагон, десятник движения... Он давно числился сочувствующим партии, но никто не слышал его голоса ни на партийных, ни на рабочих собраниях, ни в нарядной, ни на участке. Нечаенко приметил это. И однажды, в шахте, в час, когда из-за откатки весь участок стоял, тихонько отозвал Макагона в сторонку.

—Вы, товарищ Макагон, кажется, сочувствующий партии?

— Сочувствующий,— охотно, даже гордо отозвался Макагон.

— А в чем же оно выражается, ваше сочувствие партии? А?

Десятник опешил.

— Я спрашиваю, в чем же оно, ваше сочувствие партии? — спокойно повторил Нечаенко и указал на забурившиеся вагонетки, вокруг которых, ругаясь и пыхтя, бились люди...

— Так что же я-то могу? — жалобно пробормотал Макагон.— Я тут человек махонький...

— Маленький? — воскликнул Нечаенко.— Да какой же вы маленький! Знаете что? — предложил он.— Заходите-ка ко мне завтра в шахтпартком, потолкуем...

Макагон зашел. Потом — еще и еще раз... Однажды принес какую-то тетрадку: «так, просто некоторые мысли относительно откатки»,— сконфуженно объяснил он, доставая из футляра очки. Потом с этими «мыслями» несмело выступил на собрании. А затем пришел, наконец, и день, которого Нечаенко давно ждал. Словно невзначай, в конце беседы, уже поднявшись, чтоб уйти, Макагон попросил:

— А не дашь ли мне, Николай Остапович, Устав партии почитать? А? Я верну, не сомневайся...

Устав партии можно достать в любой библиотеке; для этого не надо обращаться к парторгу. Но Нечаенко знал, зачем именно к нему отнесся с этой просьбой Макагон и что̀ эта просьба значила. Человек не брошюру просил, человек спрашивал: ну как, можно, пора? Достоин? Конфузу не будет? И брошюрку с Уставом надо вручить ему так, чтоб он понял: можно, дерзай. Надо затем поговорить с ним. Надо помочь ему поручителей найти. Может быть, самому поручиться.

У Нечаенко на «Крутой Марии» уже немало было таких «крестников». Конечно, не партийное это слово «крестник», но другого Нечаенко придумать не мог. А сколько таких крестников вообще в жизни Николая Нечаенко! И в деревне и на транспорте — всюду, где он жил и работал. Они небось и сейчас вспоминают его: поручитель, как и первый секретарь ячейки, не забывается никогда!

Эта мысль была приятна Нечаенко. На его губах появилась светлая, добрая улыбка: он думал о своих крестниках. Подошел к окну, стал смотреть на темную

улицу... Заметили ли вы, как трудно мечтать, глядя в глухую стену? Невольно тянет к окну. У окна мечтается легче, даже если за стеклами тоже глухая стена тьмы или дождя. Но в этой тьме легко угадываются поселок, дороги, жизнь да люди... И Нечаенко вдруг вспомнил Андрея Воронько. Почему-то именно его.

Андрей не был его крестником. Когда Нечаенко приехал на «Крутую Марию», Андрей уже был коммунистом. Другие Нечаенки воспитали Андрея Воронько; их было много: и первый пионервожатый Андрея в Чибиряках, и тот комсомолец-учитель, который научил его петь «Бандьера росса», и Пащенко, и беспощадный Светличный, представитель партийного ядра в комсомоле, и дядя Прокоп, старая гвардия, и Ворожцов... Все они трудились над воспитанием Андрея, как и его сверстники, а потом передали его с рук на руки Николаю Нечаенко. Когда Нечаенко принимал у прежнего секретаря дела, он не папки с бумагами принимал, не несгораемый шкаф, не эти стены — он взял на свои плечи и на свою душу заботу о людях «Крутой Марии», а стало быть, и об Андрее Воронько. «Ну и что же я сделал для него? — строго спросил себя Нечаенко.— Чем ему помог? Двинул ли дальше? А ведь это парень больших, очень больших возможностей. Это и Журавлев уже приметил. Да если с ним поработать всерьез, подучить его, так он... он очень скоро сможет и заменить меня»,— неожиданно подумал он и даже остановился.

В эту минуту и вошел, легкий на помине, Андрей Воронько.

Андрей был взволнован чем-то, но Нечаенко не сразу это заметил, радуясь, что он пришел, и именно теперь пришел, в ту минуту, когда он о нем думал.

— Что же ты на пороге-то топчешься? — говорил он.— Проходи, проходи!.. Нисколько не помешал, напротив... Садись!..

Андрей молча прошел к столу, молча, сжав кепку в кулаке, сел, и только теперь, внимательно вглядевшись в него, понял Нечаенко, что Андрей пришел к нему не зря.

— Что у тебя? — тихо спросил он.

Андрей не сразу ответил. Его глаза, как всегда, когда он бывал непокоен, совсем сузились и потухли, они

спрятались и прикрылись насупленными бровями — ничего нельзя было ни увидеть, ни тем более прочитать в них. Нечаенко не торопил с ответом.

— Николай Остапович! — наконец, негромко сказал Андрей.— Я сейчас на «Красном партизане» был...

— Вот как? Зачем?

— А так...— словно нехотя отозвался Воронько.

— Ну и что ж там хорошего, на «Красном партизане»?

— Хорошего мало...

— Зачем же ходил?

Андрей опять не сразу ответил. Мял кепку в руке. Нечаенко осторожно следил за ним, еще не понимая причин его волнения.

— Сегодня Забара триста тонн вырубил...— не сказал, а скорее выдохнул Андрей.

— А-а, слышал! Ну и что же? — улыбнулся Нечаенко.— Обидно тебе?

— Почему обидно? — удивился Андрей.

— Ну, рекорд твой побит.

— А, это? Это пускай! — махнул он рукой.

— Так в чем же дело тогда? — сдержанно спросил Нечаенко. Он был терпелив. Да и по опыту знал, что Воронько торопить не следует.

— Я там с народом толковал,— сказал Андрей,— со знакомыми. С самим Забарой, правда, поговорить не пришлось. Его товарищ Рудин сразу с собой увез.

— Ну и что ж народ говорит?

— Разно...

— А все-таки?

— А что тут говорить? — пожал плечами Андрей.— Суточный план шахты — восемьсот. Ежедневно давали семьсот тридцать—семьсот семьдесят. А по случаю рекорда вместе с Забарой угля дали всего шестьсот. Рекорд есть, а угля нет! Как же это понимать, Николай Остапович? — спросил он и, впервые за всю беседу, поднял на Нечаенко глаза — неожиданно большие и странно печальные.

— А этого я и сам не понимаю...— смущенный не столько вопросом, сколько взглядом этих огромных глаз, пробормотал Нечаенко.

— Вся шахта на этот рекорд работала,— волнуясь,

продолжал Воронько.— Один участок вовсе угля не качал: порожняка не было. Все под Забару отдали. Там, говорят, такое делалось! — он махнул кепкой в кулаке.— Я людей спрашивал: как же вы допустили? А они только в затылке чешут: товарищ Рудин, мол, приказал, чтоб было триста, хоть сдохни! — И он опять посмотрел на Нечаенко.

Но теперь Нечаенко промолчал, и Андрей, не дождавшись ответа, стал рассказывать дальше.

— Теперь товарищ Рудин требует, чтоб было пятьсот. На митинге тут же и сказал. Я сам слышал. Очень Забару хвалил, а нас срамил. Хваленая, говорит, «Мария» теперь у вас далеко в хвосте.

— А тебе, что ж, за «Крутую Марию» обидно?

— Зачем? Мне за их шахту обидно. Совсем шахту загубят.— Он помолчал немного, потом вдруг воскликнул, весь подаваясь вперед, к Нечаенко: — Николай Остапович! Что же это товарищ Рудин делает, а? — его голос задрожал.— Соревнование у нас или цирк? Как петухов стравливает... Разве ж это правильно?

— Неправильно...— не глядя на него, тусклым голосом ответил Нечаенко.

— Так что ж делать, а, Николай Остапович?

Нечаенко ответил не сразу.

— Ты говорил об этом с парторгом на «Красном партизане»? — наконец, тихо спросил он.

— Нет.

— Почему?

— Я ему человек неизвестный... Еще скажут: зачем в чужие дела мешаешься? Знай, мол, свою шахту.

— Да кто же тебе такое может сказать?

Андрей промолчал.

— Нет, мы будем вмешиваться в чужие дела! — сказал Нечаенко.— Для нас чужих дел нету.

— Так ведь товарищ Рудин!..

— Ну и что ж, что Рудин? А если б я, парторг ЦК, творил безобразия, ты что же, молчал бы? Молчал?

— Нет...— чуть слышно прошептал Андрей.

— И правильно! И я не смею молчать!.. А если надо, так и в обком партии и в ЦК напишем!..— Он вдруг встал, быстро подошел к несгораемому шкафу,

что-то взял там, вернулся и протянул Андрею какую-то бумагу.

— Читай! — приказал он.

— Что это?

— Телеграмма товарища Орджоникидзе. Сегодня получили. Читай вслух.

Андрей стал читать, но на первых же словах запнулся. В начале телеграммы перечислялись имена зачинателей нового движения. Это было и радостно и немного жутко читать... «Значит, товарищ Серго знает про нас? Знает? Может быть, и товарищ Сталин знает?!»

— Дальше читай! — сказал Нечаенко.

Андрей стал читать дальше:

— «Это замечательное движение героев угольного Донбасса, большевиков партийных и непартийных,— новое блестящее доказательство, какими огромными возможностями мы располагаем и как отстали от жизни те горе-руководители, которые только и ищут объективных причин для оправдания своей плохой работы, плохого руководства.

Теперь весь вопрос в том, чтобы... организовать работу по добыче угля и поднять на новую высоту производительность труда во всем Донбассе и во всех угольных бассейнах. Работа этих товарищей опрокидывает все старые представления о нормах выработки забойщика. Нет сомнения, что их примеру последуют машинисты врубовых машин и электровозов, а также навальщики и коногоны, а инженерно-технический персонал возглавит и организует это дело.

Надо сейчас же взяться за организацию откатки и подготовительных работ, чтобы это не сорвало работу забойщиков. Я не скрою, что сильно опасаюсь, что это движение встретит со стороны некоторых отсталых руководителей обывательский скептицизм, что на деле будет означать саботаж. Таких горе-руководителей *немедленно надо отстранять*».

— Слышишь? — крикнул Нечаенко.— Ну, что теперь скажешь?

— Тут товарищ Серго об откатке предупреждает нас,— сказал, морща лоб, Андрей.— Сколько раз уж

мы про эту откатку говорили, Николай Остапович! — прибавил он с упреком.

— Он не только об откатке нас предупреждает. Понял ты слова об обывательском скептицизме? Что такое «скептик», знаешь?

— Ну... это, которые — маловеры. Так, что ли?

— Да-а...— засмеялся Нечаенко.— Всякие бывают! Бывают даже скептики-энтузиасты. Вернее, прикидывающиеся энтузиастами. Вот мы на скептиков в бой и пойдем. Так, что ли, Андрей?..

Только через час Андрей ушел от Нечаенко. В поселке было уже совсем темно: погасли огни в окнах; луна схоронилась за тучами; собирался дождь, но собирался как-то нерешительно, нехотя, задумчиво. И ветра не было для того, чтоб вытрясти из туч влагу на землю либо вовсе тучи разогнать и очистить небо.

Андрей пошел домой. Шел он не торопясь. Надо было подумать, медленно и спокойно перетереть события дня, а их было много. Вот телеграмма Серго... Андрей больше всего о ней думал. «Значит, там подробно знают о наших делах, о каждом из нас знают... И если я завтра выступлю на партийном собрании против Рудина — там тоже узнают. А если смолчу? — вдруг спросил он себя.— Рудин уж небось отрапортовал о рекорде Забары. И обманул товарища Серго. Как же молчать? Но почему я должен выступать? Я ж свое сделал — довел до Нечаенко... Да и на «Красном партизане» свои коммунисты есть, они тоже молчать не будут». Но он уже чувствовал, как легла на его душу ответственность за соседнюю шахту, и знал, что, рассказав обо всем Нечаенко, он не сложил той ответственности с себя, а только признал, что она есть и что он сам это понимает...

Думал Андрей об этом и на следующий день. А за час до собрания чуть было не поссорился с Виктором.

В общежитие принесли сегодняшний номер районной газеты. Виктор нетерпеливо схватил его — теперь он газеты читал жадно,— прочел и скривился.

— Вот полюбуйся!—крикнул он Андрею.—Мудрите вы все с Нечаенко... А нам вже ворота дегтем мажут.

— Покажи, что там? — тихо попросил Андрей. Он брился у зеркальца.

Виктор швырнул ему развернутую газету. Сразу бросился в глаза большой заголовок: «Мировой рекорд Забары!» Дальше можно было не читать. Андрей стал спокойно намыливать щеку.

Но его спокойствие только пуще взбесило Виктора.

— Так вот не буду ж я больше молчать! — бешено закричал он.— Отчего вы мне условий не даете? Та я б... Вот сегодня прямо все и скажу на собрании.

— И неправильно сделаешь!

— А мне плевать, правильно или нет. Я передовик, я должен свою марку поддерживать. Раз вы за шахту не болеете...

— Нет, мы болеем за шахту.

— Та где же болеете? — зло захохотал Виктор.— Допускаете, чтоб соседи над нами смеялись.

— А может, соседи не смеются, а плачут от этого рекорда? Ты почем знаешь?

— Что? — удивился Виктор.— С чего бы им плакать? — потом посмотрел на товарища — тот продолжал все так же невозмутимо бриться — и печально махнул рукой.— Не пойму я тебя, Андрей!

Он действительно не понимал приятеля. Ему казалось, что Андрей — все тот же, прежний Андрей, как и он все тот же, прежний Виктор. А они оба были уже не те парни, что месяц назад. Про Андрея можно было сказать, что он растет «не по дням, а по часам». Многое уже переменилось в нем, иное еще только менялось. Но этот рост шел естественно и непрерывно, и сам Андрей его не замечал, как юноша не замечает того, что он еще на два вершка вытянулся, а в голосе появились новые, мужские нотки.

Андрей окончил бриться и пошел умываться. Он всегда собирался на партийное собрание, как на праздник, как раньше на комсомольское собрание, а еще раньше — на пионерский сбор. Может быть, с пионерского сбора это и повелось?

Сейчас, после разговора с Виктором, Андрей твердо решил, что выступит на собрании...

На собрание неожиданно приехал Рудин. Андрей видел, как появился он в президиуме, когда Нечаенко уже заканчивал свой доклад. «Ну что ж! — нахмурив брови, подумал Андрей.— Все равно».

Нечаенко сделал хороший доклад; прения обещали быть оживленными. Первым выступил Прокоп Максимович Лесняк. Чуть раскачиваясь всем своим большим и грузным телом на маленькой для него, утлой и скрипучей трибуне, он доложил собранию, что его участок — весь — переходит на стахановский метод. А для этого, по зрелому, хозяйскому размышлению, решено покончить с карликовыми уступами, вместо восьми оставить только четыре и везде ввести разделение труда. А чтоб нигде и ни в чем задержки не было, коногонов и лесогонов тоже перевести на индивидуально-прогрессивную сдельщину.

— А как же? — сказал он.— У каждого человека свой интерес должен быть. А лесогоны, что ж они, разве не человеки?

Все, что предлагал сейчас Прокоп Максимович, было обдумано им совместно с Андреем, обсуждалось и партийной группой участка и шахтпарткомом. Сейчас, слушая старика, Андрей только молча и согласно кивал головой.

— А с производительностью как будет? — вдруг перебил Лесняка Рудин.— Вот Забара уже триста тонн дал. Слышали?

— Слушок есть...— сдержанно ответил Прокоп Максимович.

— По секрету вам скажу: этот слушок верный! — засмеялся Рудин.— Ну, а вы что же?

— Обещаем удвоить добычу на участке.

— На участке? — переспросил Рудин.— Ну-ну, подождем, посмотрим.

Он был в приподнятом, радостном настроении, это все заметили. Все время добродушно улыбался, шутил, перебивая ораторов веселыми репликами, вопросами, и, увлекаясь, говорил много и долго. Есть люди, для которых процесс говорения есть самый активный, самый творческий процесс их жизни. Они верят во всемогущество слова, даже когда за ним нет ни дел, ни поступков. Для них произнесенная речь уже и есть дело. Таким был и Рудин. Он умел и любил говорить. Он говорил непременно громко, веско и вкусно, будто не слова произносил, а рубли чеканил. Он тщательно выговаривал каждую букву в слове и, видно, сам наслаждался

музыкой своих речей. А оратор, которого он перебил, в это время тоскливо маялся на трибуне, неловко улыбался, не зная, что делать, и ждал, пока Рудин выговорится.

Наконец, слово дали Андрею Воронько. Он быстро, как-то нетерпеливо даже, поднялся с места и торопливой, не своею походкой пошел через зал,— значит нервничал. Рудин приветливо, как знакомому, улыбнулся ему, а потом наклонился к Нечаенко и стал что-то шептать. Нечаенко вежливо слушал, а сам тревожно косился на Воронько. Он был непокоен за него. Как-то он выступит? Станет ли говорить о «рекорде» Забары? Затронет ли Рудина? Нечаенко давно чувствовал, как в нем самом зреет недовольство секретарем горкома. Он уже понимал, что рано или поздно столкнется с ним. Но на чем? Пока фактов было немного для настоящего боя. А личные симпатии или антипатии к делу не идут.

Странно, что, взойдя, почти взбежав на трибуну и увидев перед собой зал, Андрей вдруг успокоился. В зале сидели его товарищи. Он знал каждого из них. Он увидел, как улыбается ему дядя Прокоп. Заметил в первом ряду Ланцова, того самого, что говорил: «Коняге теперь за забойщиком не угнаться». На президиум Андрей не оглянулся. Он знал: там Рудин. Но и Нечаенко там.

Он оперся обеими руками о борт трибуны, подался лбом вперед и сказал:

— Вот тут товарищ Рудин про рекорд Забары вспоминал. Скажу и я об этом рекорде.

Заинтересованный, Рудин всем корпусом повернулся к нему.

— Ишь как Забара всех за живое задел! — довольно проговорил он и засмеялся.— Ну-ну!

Андрей никак не отозвался на эту реплику. Спокойно продолжал говорить:

— Знаю я про этот рекорд. Вчера сам был на «Красном партизане». Верно, рекорд есть, а угля нету, вот беда! — усмехнулся он.— Я не против рекордов, сами понимаете... Об этом что говорить! Но желательно нам, чтоб рекорды были честные...

— А у Забары, что ж, не честный рекорд? — ревниво вскричал Рудин.

— Я и про Забару ничего не говорю! — по-прежнему не глядя на Рудина, ответил Андрей.— Он забойщик честный. Он добросовестно рубал. Это я признаю. А вот вокруг него все делалось нечестно, неправильно...

— Ну, это уж из зависти! — сердито нахмурившись, сказал Рудин.— Нехорошо, нехорошо! — и покачал головой так, чтоб все это видели.— А ты бы нам лучше о своей работе рассказал, чем кумушек считать трудиться...— и все поняли, что Рудин всерьез рассержен на Андрея, хоть и не знали, за что и почему.

Андрей смутился. В самом деле, не подумают ли товарищи, что он просто из зависти к Забаре высунулся сюда. Он затоптался на трибуне, не зная, как теперь продолжать речь; на его крутом лбу выступила испарина.

— Да-а... Зазнались, зазнались вы тут маленько! — меж тем успокаиваясь и снова приходя в прежнее, победоносно счастливое расположение духа, продолжал Рудин.— Вчерашней славой надеетесь прожить, на соседей обижаетесь, что обгоняют... Нехорошо! Некрасиво! Ты бы лучше, товарищ Воронько,— уже примирительно, даже ласково обратился он к Андрею,— рассказал собранию, как сам думаешь свою работу организовать. Вот это дельно было бы!..

Андрей стал нервно перелистывать свой блокнот.

— Я и об этом скажу! — пробормотал он.— Тут товарищ Лесняк уже докладывал... Я, как парторг участка, со своей стороны...— он запнулся. Всем сделалось неловко за него. «Укоротили-таки парня!» — с горечью подумал Прокоп Максимович и хотел уже подыматься на помощь. Но Андрей вдруг решительным движением отодвинул блокнот в сторону и сказал глухо, но твердо: — Нет, я сперва скажу про то, что хотел. А там — судите!

— Говори, товарищ Воронько, обо всем, что находишь нужным! — громко сказал Нечаенко.— Ты на партийном собрании.

— Вот именно! — подхватил Рудин.— И помни, что ты на партийном собрании, а не на базаре...— он ожидал, что эти слова вызовут веселый смешок в зале, но собрание заворчало, задвигалось; чей-то голос недовольно произнес:

— Да дайте же человеку до конца сказать. Зачем сбиваете?

— Ничего! — сказал Андрей.— Я не собьюсь.

— Говори, Андрей.

И Андрей стал рассказывать, как всякими правдами и неправдами «организовывался» рекорд Забары. Как из-за этого рекорда был расстроен режим и порядок в шахте и как ценою срыва суточной добычи этот «рекорд» был, наконец, достигнут.

— И все это делалось по команде товарища Рудина. Товарищ Рудин всех подменил: и начальника шахты и главного инженера. Говорят, он и за диспетчера был, за начальника движения... Сам вагонетками руководил — какую куда...

В зале засмеялись, и этот непочтительный, как показалось Рудину, недостойный по отношению к нему смех оскорбил и взорвал его больше даже, чем слова Воронько.

— Но-но, поаккуратней! — вскричал он, уже теряя власть над собой.— А не молод ли ты учить меня, как руководить?! Сам-то в партии без году неделя, а...

— А для выступления с критикой стаж не установлен...— спокойно возразил Нечаенко, и коммунисты опять засмеялись.

— А это не критика! Это демагогия, мальчишество, хулиганство! — невольно вскочив с места, крикнул Рудин и тут же пожалел, что крикнул это. Невнятный гул разом прокатился по залу, словно ветер прошумел, и что-то грозное послышалось Рудину в этом ветре...

24

Рудин был недоволен собой. Пожалуй, никогда еще в жизни не был он так собой недоволен. После партийного собрания на «Крутой Марии» он приехал прямо в горком и прошел в кабинет, раздраженно бросив на ходу секретарше, чтоб она никого к нему не пускала.

— И чаю, чаю мне! — прикрикнул он уже в дверях.— Да покрепче! — затем вошел и запер за собой дверь.

Ему уже было ясно, что на «Крутой Марии» он сделал ошибку. «А-а...— досадливо морщился он.— Как

я себя глупо вел!» Как всегда, особенно болезненно припоминались мелочи и стыднее всего было именно за них. «Я, кажется, даже взвизгнул...— скривился он.— Бездарность! Истеричка!» Он сердито ткнул окурок в пепельницу и тотчас же закурил новую папиросу, стал жадно ее сосать. В последнее время он вообще много курил, это скверно! По утрам появилась тошнота, во рту все время отвратительный привкус кислого и металлического. «Вообще все расклеилось в последнее время: и сердце и нервы...— думал он, бродя по кабинету.— Все стало скрипеть, шататься, дергаться. Отсюда и ошибки. Вот теперь — зажим критики. Этого только не хватало!»

Да, это была ошибка. И все, что предшествовало ей, было тоже ошибкой, целой цепью ошибок. Сейчас Рудин уже не отмахивался от них самоуверенно и беспечно, как делал еще вчера, а с каким-то непонятным злорадством разыскивал все новые и новые и складывал их одну к другой, в ряд. «А главной ошибкой,— неожиданно подумал Рудин,— было то, что я вообще приехал в Донбасс!»

Кто-то робко не то постучался, не то зацарапался в дверь.

— Ну, кто там еще? — нервно крикнул Рудин.

Но это секретарша принесла чай. Пугливо вошла, робко поставила стакан на стол — она видела, что ее начальник сегодня не в духе. Пятясь к дверям, чтоб уйти, она все-таки пробормотала, желая смягчить его:

— Кушайте, товарищ Семен, чай крепкий, по вашему вкусу! — и он действительно несколько смягчился: он любил, когда его звали «товарищ Семен». В этом было что-то от подполья: предполагались годы конспирации, явок, тюрем, может быть, даже каторги.

Между тем Семен Рудин никогда подпольщиком не был. Правда, в девятнадцатом году он был где-то около одесского комсомольского подполья: в гимназии у него были друзья, он догадывался, что они причастны к комсомолу, и оказывал им кое-какие услуги; если б не отец, он наверняка бы в подполье втянулся. Потом он долго и горько жалел о том, что это не случилось. В комсомол он вступил только в двадцать первом году.

Впрочем, Рудин тоже не было его настоящим именем. Подлинная его фамилия была не менее звучна, чем эта, тургеневская, однако он ненавидел ее: то была фамилия отца, крупного торговца хлебом. Вплоть до последних лет нэпа ее можно было прочесть на вывесках Одессы. С семьей Рудин порвал давно и круто, тогда же, когда ушел в комсомол. Когда-то он до боли ненавидел отца-лабазника за проклятое наследство, испортившее ему биографию. Сейчас отец был тихим служащим кооперативной сети. Связи с ним Рудин не поддерживал, даже матери писал очень редко и неохотно.

В Донбасс он приехал пять лет тому назад. До той поры работал в центре, в наркоматах, около больших людей, чаще всего в качестве помощника, референта или заведующего секретариатом. Однажды это прискучило ему. Вдруг увидел он, что молодость прошла, а он еще ничего не добился. Он испугался — неужто всю жизнь так? Вечно сидеть в канцелярии, готовить рефераты да отказывать посетителям? Он отпросился в «низы». В Донбасс. Донбасс представлялся ему Клондайком неограниченных возможностей. Уж здесь-то он развернется, тут-то покажет себя! Ему казалось, что, уезжая из центра, он даже совершает героический поступок, и очень гордился своей отвагой.

Его послали на советскую работу. Уже в поезде по дороге в Донбасс прикидывал он, чем он прежде всего займется. Благоустройством города? Жилищными делами? Нет, это не годилось для Рудина. На этом громкой славы не наживешь. Нет, ему нужно было дело, о котором заговорили бы все вокруг, ему нужна была — до зарезу нужна — «светлая идея», и она счастливо явилась к нему сама собою в первый же вечер на шахте, когда он сидел в палисаднике и пил чай со своим временным квартирным хозяином, стариком камеронщиком.

В палисаднике цвели розы. Почему-то раньше Рудину представлялось, что роз на руднике не бывает. Он смотрел и умилялся. Тут его осенила «светлая идея»: розы! Да, розы на шахте — вот что он сделает, вот чем прославится. Он перевернет весь район, взбудоражит всех людей, он самого себя вывернет наизнанку, но у него будут цвести розы на руднике. И тюльпаны,

и мальвы, и астры осенью... И не только в палисадниках, где они скромно ютятся и сейчас. А именно — на шахте! У проходных ворот. На дворе перед конторой. Подле нарядной и ламповой.

И он не ошибся — об этом заговорили! Об этом должны были заговорить: цветы действительно украсили жизнь шахтера. Что-то трогательное было в этих клумбах у террикона. Рудин стал кумиром всех домохозяек. Сотни их с заступами на плече являлись в цветоводство за рассадой и затем, разбившись на отряды, высаживали ее в клумбы на площадях и вдоль улиц. Соседние районы стали перенимать опыт Рудина. Приехали корреспонденты и фотографы. Один не в меру восторженный очеркист даже назвал Рудина «шахтерским Мичуриным». В его кабинете теперь постоянно толклись цветоводы, агрономы, коммунальники...

Однажды явился к Рудину на прием и некий старичок-любитель с узелками и пакетиками. Он скромно сознался Рудину, что «давно этим делом балуется», и хоть садик у него крохотный, а вывел он-таки у себя на грядке тюльпаны необыкновенных расцветок и теперь хотел бы посоветоваться с товарищем Рудиным как со знающим и ученым человеком.

Бедный старичок ошибся, ожидая встретить в Рудине родственную душу любителя. Рудин быстро переотправил его в коммунхоз, и старичок, собрав свои пакетики, ушел смущенный и несколько обиженный тем, что «ученый человек» не захотел поделиться с ним, простым любителем-самоучкой, своими знаниями и секретами. Старичку и в голову не могло прийти, что товарищ Рудин ни аза в цветоводстве не смыслит, что он просто равнодушен к цветам, как равнодушен он и к людям. А любит он только себя, одного себя, Семена Рудина.

Целое лето не было отбоя от журналистов, экскурсантов и делегатов. Потом поток схлынул. Шум затих. И не потому, что с осенними заморозками увяли последние астры, а потому, что теперь везде, на всех шахтах, были свои цветы.

Ну что ж! Рудин не обижался. Ему самому до смерти надоела эта затея. Теперь он ждал награды. Каждое утро и каждый вечер ждал он телеграммы или звонка:

назначения на новую работу. Прикидывал варианты; заранее уже решал кое от чего отказаться, главное — не продешевить себя. И не дождался.

Да, не удалась жизнь, не удалась! Потом он еще два или три раза пытался поднять шумиху — ничего, кроме конфуза, из этого не вышло. Так однажды, в лютую прорывную зиму 1932/33 года, затеял он «штурмовые воскресенья».

— Отдадим все свои выходные дни родной шахте! — гремел он на пленуме.— Все пойдем в забой! Покажем пример! Рубанем уголек. Я первый пойду! — кричал он, зажигая всех и самого себя пламенной речью.

И в первое же воскресенье отправились в шахту работники аппарата горкома и горсовета, редактор газеты, районный прокурор, врачи из горздрава, управляющий отделением госбанка, директор пивоваренного завода и во главе всех — сам товарищ Рудин, в новенькой шахтерке, в резиновых сапогах, в каске-надзорке и с именной лампой, преподнесенной ему когда-то. На поверхности все это выглядело очень картинно — фотографы суетились,— а в забое вышло нелепо и смешно. Одно дело грузить уголь или дрова на субботнике, мостить дорогу или сажать деревья — для этого особой квалификации не надо, доброй охоты достаточно; совсем иное дело — добывать уголь в забое. Но Рудин понял это, только взяв в неумелые руки отбойный молоток.

— Вы мне только покажите, как тут управляться, а уж я сам...— неуверенно, но еще бодро сказал он забойщику. Ему показали. Он попробовал. Ничего не вышло. Он попробовал еще... Шахтеры добродушно посмеивались. К концу смены он с грехом пополам нарубил неполную вагонетку угля. На вагонетке торжественно написали мелом: «Уголь, добытый товарищем Рудиным». Он так и не понял — всерьез это сделали или в насмешку. В следующее воскресенье он в шахту уже не поехал.

Скоро он вообще отказался от затей, притих, опустился, заскучал. К технике душа у него не лежала, в повседневной будничной работе горкома не было для него ни красоты, ни радости; он еще шумел и горячил-

ся по привычке, произносил пламенные речи, но это был уже не огонь, а пепел. Рудин давно потух.

Да, Донбасс не стал для него Клондайком. Уже пять лет он здесь, пять лет передвигается из района в район, нигде долго не приживаясь. Это движение не в гору, а с холмика на холмик. А все вокруг обгоняют его. У других секретарей и удачи и победы. Они и не добиваются славы, она сама к ним приходит. «Отчего это? — завистливо думал он.— Отчего одному мне так фатально не везет?» Он не мог понять, разумеется, что ответ заключен в нем самом, что, кроме него, виноватых нету, что партийное дело нельзя творить равнодушными, барскими руками, нельзя работать с людьми, не любя людей, никого, кроме себя, не любя. Не сознавал он и того, что не только от соседей — он и от жизни уже давно отстал, что и держится-то он на своем посту непрочно, случайно, как держится на дереве последний лист — желтый, сморщившийся, мертвый — до первого крепкого ветра...

Он не сознавал этого и с унылой надеждой все ждал, все верил, что придет и к нему в конце концов «светлая идея» и выручит и возвеличит его. А когда эта идея вдруг явилась перед ним в образе Андрея Воронько в нарядной «Крутой Марии» — он ее просто не заметил, не угадал.

Этого он себе до сих пор простить не мог. «Как я с моим чутьем мог это проворонить?» — думал он. А когда рекорд Абросимова все-таки состоялся и Рудин узнал об этом — он не обрадовался, а пришел в ярость. «Как? Без меня?!» Только это и было в нем. В том, что произошло в ночь на первое сентября на «Крутой Марии», он увидел не трудовой подвиг шахтера, а только хитрую интригу против себя; за горами добытого угля разглядел не Абросимова и Воронько, а Журавлева и Нечаенко. «А-а! — негодовал он.— Карьеру делаете за моей спиной? Подсидеть меня хотите?» Иначе он и представить себе не мог смысла участия Журавлева и Нечаенко в этом деле.

Тогда-то он и обозвал рекорд Абросимова очковтирательством. Хотел даже комиссию для разбора дела создать. Но тут пришла «Правда» с известием о рекорде Стаханова, и Рудин понял, что он опять попал впро-

сак. Однако он даже не извинился перед Абросимовым, ему это и в голову не пришло, он просто сделал вид, что ничего не было, а сам судорожно заметался, забеспокоился, как бы наверстать упущенное, как бы изловчиться и на ходу вскочить в поезд, на который он было опоздал. И, как всякий отстающий человек, он стал шуметь и суетиться больше всех.

Теперь и он чуял, что на шахтах Донбасса настало необычайное время. Он говорил себе: ну, теперь уже не зевай! Теперь только греми! Сколько вырубал Стаханов? 102 тонны? Значит, надо дать 200! 300! 500! Эти цифры заплясали в его воображении; ничего, кроме них, он уже не видел. Теперь он и день и ночь носился на своем газике по району, организовывал новые рекорды (он называл их «мои бомбы»), не ел, не спал, охрип, но чувствовал себя прекрасно. Он даже помолодел, повеселел; явилась прежняя энергия, а с нею и старые надежды. Скептик стал энтузиастом. Когда Забара вырубил 300 тонн, Рудин ликовал больше всех, больше самого Забары, больше фотографов и репортеров, которых он притащил с собой на шахту.

И вот — выступление Андрея Воронько на партийном собрании. Опять Воронько. Опять Нечаенко!..

«Да, скверная, скверная история! До обкома дойдет. А может быть, и до ЦК. Кажется, на собрании газетчики были. Как же я-то не сдержался? Да, плохо... Надо поскорее выпутываться... пока не поздно... Но как? Как? Как?» — беспорядочно думал он, блуждая взглядом по знакомым стенам кабинета и дольше всего задерживаясь на телефонных аппаратах и кнопке звонка. Но кому позвонить? Кого позвать? Кто выручит?

Он машинально нажал кнопку звонка.

— Что, Василий Сергеевич здесь? — хрипло спросил он у секретарши, когда та явилась.

— Здесь. Только что пришел. Позвать?

— Нет,— подумав, сказал Рудин.— Не надо.

Но когда секретарша ушла, пожалел, что так сказал. Вскочил, быстрыми шагами выбежал из кабинета, пересек приемную и вошел к Журавлеву.

Журавлев был один. Рудин сразу же цепким взглядом впился в него: знает или не знает Журавлев о том, что произошло на «Крутой Марии»? По лицу

Журавлева этого нельзя было понять. С обычной вежливостью приподнялся он навстречу; обычный холодок в глазах... «А с другими людьми у него и лицо другое!» — неожиданно и ревниво подумал Рудин; прежде он вообще не обращал внимания на то, какое у Журавлева лицо. Дружбы между ними не было. Рудин ни с кем не дружил здесь. «Дружба бывает только между равными!» — объяснял он себе, а кто же здесь мог быть равным Рудину? А сейчас он пожалел, что дружбы не было. Неизвестно, как начать разговор. Откровенно говорить невозможно. Как вообще держаться с Журавлевым? А Журавлев молчал.

— Да-а... Веселенькие истории происходят у нас в организации...— сказал Рудин, опускаясь в кресло; он хотел это сказать как можно беспечней, натуральней, попробовал даже засмеяться, но смех не вышел, слишком много злости клокотало сейчас в Рудине.— Веселенькие, нечего сказать...

— А что? — глухо спросил Журавлев.

— Да мне сегодня на «Крутой Марии» форменную обструкцию учинили... Не постеснялись...

— Я слышал о собрании...

— Вот как! — подозрительно вскинулся Рудин.— Быстрая же у тебя информация! — скривил он рот.

Журавлев промолчал.

— Ну и что же ты думаешь об этом?

— О чем именно?

— Ну, о том, что произошло на собрании? — нетерпеливо вскричал Рудин.

Журавлев пожал плечами:

— А что ж тут думать? Человеку нельзя запретить выступать с критикой.

— Но как? Как выступать?

— А как? Говорят, неплохо выступил...— невольно улыбнулся Журавлев.

— Кто это говорит? Нечаенко? Так он первый бузотер и демагог в районе. Его давно прогнать следует.

Журавлев ничего на это не ответил, только усмехнулся уголками рта: прогони, мол, попробуй! И Рудин вдруг с тоской почувствовал свое бессилие и свое одиночество.

Но сдаваться он еще не хотел.

— Демагогия! — проворчал он.— Только, брат, не на того напали. Знаю я эти номера! Не выйдет! Рудина знают! Кто этим бабьим сплетням поверит?

— А это не сплетни! — негромко проговорил Журавлев.— Все так и было на «Красном партизане».

— А ты уж и на «Красный партизан» успел сбегать?

— Зачем? Люди оттуда приходили. Рассказывали. Как говорится: шила в мешке не утаишь.

— Да кто? Кто? Какие люди? — вскочил Рудин.— Кто они, эти шептуны? Имена требую! Имена!

— Зачем же нервничаешь? — остановил его Журавлев.— Обыкновенные люди были. Коммунисты. Напрасно ты на Воронько обижаешься, Семен Петрович! — усмехнулся он.— Не выступи Воронько — другие б выступили. Шила в мешке не утаишь,— снова повторил он.

— Ах, вот как? — закричал Рудин.— Так и ты с ними против меня? — Он уже снова потерял власть над собой.— Мой авторитет тебе глаза ест? Я вам поперек дороги встал?

Журавлев брезгливо поморщился.

— Какие у тебя все слова неподходящие: «я», «меня», «мое»...

— А ты не увиливай! Не увиливай! Прямо говори!

— А я и не увиливаю! — вдруг нахмурившись и тоже подымаясь с места, произнес Журавлев.— Хочешь мое мнение знать — изволь! Воронько прав. И выступил правильно. И Нечаенко прав. И не остановил его — правильно. А ты кругом неправ. И вел ты себя на собрании неправильно, не по-партийному...

Он произнес все это, ни разу не повысив голоса, спокойно, веско и очень рассудительно — именно рассудительно, словно приговор объявлял. И этот тон, этот глуховатый, бесстрастный голос подействовал на Рудина больше, чем иные речи. Рудин словно увидел вдруг все, что стояло за спиной Журавлева и придавало такую силу его словам,— всю громаду партии,— и он обмяк и медленно опустился в кресло.

— Возможно... Конечно...— пробормотал он.— Ну, ошибка. Признаю... Я там погорячился, на «Крутой Ма-

рии». Нехорошо! Но представь себя на моем месте...— Он приподнялся, неуверенно взглянул на Журавлева и понял, что тот не может представить себя на месте Рудина и сочувствия к Рудину в нем нет, и искать его нечего.

25

Ранним утром шестого ноября 1935 года в столицу, на Октябрьские праздники, по приглашению Московского Совета приехала большая делегация донецких шахтеров и металлургов. Были здесь и Алексей Стаханов, и Дюканов, и Константин Петров, парторг шахты «Центральная-Ирмино», и многие другие знаменитые люди Донбасса. Были тут и наши герои — Андрей Воронько и Виктор Абросимов.

В жизни Андрея Воронько за последнее время произошли большие перемены. Вскоре же после собрания, на котором он выступил против Рудина, в район прибыла комиссия обкома партии и с ней инструктор ЦК КП(б)У. Комиссия работала недолго и открыла многое, о чем и представления не имел и не мог иметь Воронько. Рудин был снят с работы и тотчас уехал из района. Первым секретарем горкома был избран Василий Сергеевич Журавлев, вторым — Нечаенко. При этом Нечаенко было дано клятвенное обещание, что через год он — уж теперь наверняка! — будет отпущен на учебу. Обязанности же секретаря шахтпарткома на «Крутой Марии» были временно возложены на Андрея.

Он не отказался — «доверием партии, сынок, надо гордиться»,— с суровой ласковостью сказал ему на собрании дядя Прокоп,— но настоящим секретарем, таким, каким был Нечаенко, Андрей себя пока не ощущал. Да он и не был утвержден как парторг ЦК, и был уверен, что его и не утвердят: слишком уж он молод и зелен. Но партийная деятельность уже полюбилась ему: она увлекала его самой заманчивой своей стороной — работой с людьми.

В дороге Андрей сразу же невольно потянулся к Петрову, как Виктор — к Стаханову. Там, в купе у Стаханова, уже шел настоящий забойщицкий разго-

вор: вызывали друг друга на соревнование, делились приемами и «секретами», ругали десятников и откатку... А Андрей потихоньку выспрашивал у знаменитого парторга, как он работает, и Петров ему охотно отвечал. Чем-то был очень похож Петров на Нечаенко — такой же молодой, шумный, веселый и тоже — заводила. В делегации его скоро все стали звать запросто Костей, без Кости не ступали и шагу. Вокруг него всегда толпился народ.

Как это всегда бывает, первую половину дороги больше всего говорили о том, что оставалось позади — о Донбассе, о доме, о горняцких делах; вторую же половину — уже где-то за Курском — больше всего о том, что лежало впереди: о Москве. Многие, как и Андрей и Виктор, ехали в Москву впервые, и у каждого были к Москве свои требования. Молодежь мечтала о театрах и развлечениях, пожилые прикидывали, какие гостинцы привезти бы семье. Но все сходились на том, что прежде всего надо побывать на Красной площади, посетить Ильича в мавзолее, отдать ему земной шахтерский поклон и, если удастся, осмотреть Кремль,— но об этом только мечтали.

В Москву приехали ранним утром, когда город еще лежал в тумане. Виднелись только крыши ближних к вокзалу домов и над ними — белые дымки из труб. Пахло углем, как всегда и на всех вокзалах,— это запах дальних дорог,— и это был самый приятный для наших делегатов запах.

— Смотри-и! — обрадованно вскричал Виктор, спрыгивая на перрон.— Нашим угольком потянуло!

Несмотря на раннюю пору, гостей встречали. Они сразу же попали в заботливые руки москвичей. Хозяева — московские стахановцы — повезли донбассовцев в гостиницу «Октябрьскую», где остановились все рабочие делегации, прибывшие на праздник в столицу. В вестибюле гостиницы толпилось много людей — делегаты, фотографы, репортеры, кинооператоры... Услышав, что это донецкие шахтеры приехали, они заволновались:

— Где, где Стаханов? Который?

Стали быстро знакомиться. Многие имена оказались известными Андрею. Слава этих мастеров уже гремела

по стране. Были тут невысокий, сухощавый, совсем не похожий на кузнеца Бусыгин, лохматый Фаустов, ткачихи Виноградовы — Дуся и Маруся. Все называли Виноградовых сестрами — хотя были они только подругами и «соперницами». Но «сестры Виноградовы» прилепились к ним, и с этим ничего уже нельзя было сделать. Так называл их народ.

Утренним же поездом приехали и ленинградцы, их было много, и на каждом из них, как показалось Андрею, лежал какой-то свой, особый, «питерский» отпечаток.

— Интеллигенты! — с некоторой завистью проговорил вслед ленинградцам Виктор и тут же решил, что сегодня обязательно купит себе джемпер и заменит им жилет, которого он никогда не носил раньше, а надел только для поездки в Москву.

Прибывали еще и еще делегаты — уральцы, сибиряки, архангельцы, бакинцы — словно вся гвардия советского рабочего класса собиралась здесь, в гостинице «Октябрьская», для какого-то чрезвычайного смотра.

Андрею и Виктору нетерпеливо хотелось поскорее пойти смотреть Москву. Наскоро позавтракав, они вышли в вестибюль и увидели, что и товарищи их уже одеты, готовы в путь. Пошли вместе. И, не сговариваясь,— прямо на Красную площадь.

По дороге Виктор с восторгом узнавал здания, известные ему по фильмам, открыткам и снимкам в журналах. Он радовался знакомым зданиям больше, чем неизвестным. С гордостью называл он их: Большой театр, Дом Союзов, гостиница «Москва», Дом Совнаркома, станция метро «Охотный ряд», Музей революции. И Москва показалась ему давно знакомым городом.

Вот и Красная площадь. Все притихли... Молча ступили на торцы мостовой и остановились на минуту, словно взобрались на гору: дух захватило от простора и ветра.

Вот такой и представлялась Андрею Красная площадь, когда он думал о ней в тиши своего забоя,— полупустынной, строгой и величавой... Кремлевские башни. Мавзолей. Часовые, словно высеченные из кам-

ня. Ели, опушенные инеем. Так они и представлялись всегда обязательно в инее. Кремлевская стена. Седые камни. И флаг, раздуваемый ветром, над куполом ВЦИКа. Вершина мира.

А теперь Андрей с товарищами как ни в чем не бывало стоит у этой вершины и не удивляется тому, что стоит здесь. Виктор улыбается. Порхает снежок над ним. Стаханов что-то говорит Дюканову... Оба в добротных новых пальто. Сразу и не скажешь, что это шахтеры.

А это шахтеры стоят на Красной площади, на вершине мира! Долгим, ох, каким долгим путем шли они к этой вершине, шли из глубин земли, со своих бессолнечных горизонтов 640, 710, 830; для них когда-то и дневное солнце было в диковину — по неделям не выезжали из шахты; для них когда-то иного привета не было, как крик надсмотрщика: «В упряжку! В лямку!»; иного имени, как «чумазые», иной радости, как в кабаке; и не было труда зазорней и горше шахтерского и жизни печальней и постылее, чем эта жизнь на четвереньках. А сейчас шахтеры стоят на Красной площади и не удивляются этому: они почетные гости Москвы; и вот перед ними Кремль, и в Кремле Сталин. Будь на месте Андрея дядя Онисим, он почувствовал бы это куда сильнее молодых! Андрею вспомнились напутственные слова дяди Онисима, с ними старик и на вокзал пришел.

— Встретишь Сталина, Андрюша, не забудь — поклонись ему от нашей «Крутой Марии».

— Да разве ж я встречусь с ним,— улыбнулся Андрей,— что вы, дядя Онисим!

— А как же? Ты ж в Москву едешь!

И сейчас, перед Кремлем, Андрей думал о том, что для него большим счастьем было бы хоть издали увидеть Сталина.

— Да-а...— задумчиво вздохнул кто-то рядом с Андреем.— А хорошо б, хлопцы, в Кремле побывать, посмотреть...— И все подхватили эти слова, видно, о том же думали.

— Конечно, интересно! Место историческое.

— Великое место...

— А еще хорошо б так...— мечтательно сказал Виктор.— Прийти, скажем, в Кремль. И идти, например, по двору. И вдруг из парадного выходит товарищ Сталин... А? А что ж тут такого? — заметив улыбки товарищей, обиженно вскричал он.— Такие встречи бывали. Я сам читал.

— А я был в Кремле,— вдруг негромко сказал шахтер из Горловки, тоже член делегации, человек пожилой и молчаливый, которого Андрей в поезде едва приметил. Все оглянулись на него.

— Бы-ыл? — недоверчиво протянул Виктор.— Когда ж это?

— А в аккурат два с половиною года тому назад.

— С экскурсией, что ли?

— Зачем? — просто и с достоинством возразил горловский шахтер.— Я у Сталина был.

— У Сталина?!

— Да-а!..— спокойно подтвердил шахтер и рассказал, как в 1933 году, весной, их, группу старых донецких шахтеров и инженеров, пригласили в Москву, в Центральный Комитет, чтоб посоветоваться с ними об одном постановлении относительно Донбасса.

— Постой! — вдруг взволнованно перебил его Виктор.— Это постановление тридцать третьего года, где об антимеханизаторах сказано?

— Оно самое.

— Так я ж это постановление прекрасно знаю! — в полном восторге вскричал Виктор.— Я ж тогда на слете ударников был. Помнишь, Андрей? — метнулся он к товарищу и тотчас же опять, жадно, к шахтеру из Горловки: — Так что ж, выходит, это ты, папаша, постановление-то вырабатывал?

— Ну, не я, конечно...— усмехнулся тот.— А мы действительно свои советы давали, это принять на себя могу...

— Да-а! — раздумчиво сказал Дюканов.— Повезло тебе, отец!

— Это я и сам чувствую,— тихо ответил шахтер из Горловки.

Москва радушно принимала дорогих гостей. Она показалась им во всей своей древней юной красе и не скупилась на ласку. Стахановцам было даже немного неловко от этого всеобщего внимания и почета. Смущенно принимали они приветствия, конфузились, когда москвичи задаривали их цветами. Но было радостно, что рабочего человека так принимают в столице. Особенный почет выпал, конечно, на долю шахтеров — то ли потому, что народ называл уже новое движение именем шахтера, то ли потому, что москвичам шахтерская профессия казалась наиболее романтической, героической даже. А Москва любила героев — летчиков, полярников, парашютистов, пограничников...

И нашим ребятам полюбилась Москва. Им все тут нравилось: и люди, и улицы, и заводы, и театры, и новые станции метро...

— Дворцы! — восхищался Виктор.— Не скажешь, что под землей... Вот у нас бы так.

— Будут и у нас шахты, как дворцы...— возражал Андрей.

— Да где там! Быть этого не может! Тут, в метро, угля нету, оттого и чисто. А у нас — уголь.

Но Андрей упрямо говорил:

— Нет, будут и у нас дворцы!

Побывали ребята и в Кремле. Оказалось, что и это для них вполне доступно. Все было возможно для них в Москве, все двери распахнуты. Об одном только жалел Виктор: времени мало. Как скупец, дрожал он над каждой минутой. Просыпался раньше всех, ложился всех позже. И все горевал, что не успеет посмотреть всего, что хочется.

Он даже с Дашей не желал встречаться, чтоб времени зря не тратить.

— Ну что она может показать нам в Москве? — недовольно ворчал он.— Только перевод времени.

Но Андрей настоял на том, чтоб встретиться. Нельзя, дядя Прокоп не простит. «И мне Даша не простит тоже!» — грустно думал он при этом.

Встретились утром, у телеграфа. И сразу же пошли покупать Виктору джемпер. Даша была обрадована

встречей и не скрывала этого. В универмаге она оживленно тормошила продавщиц, сама выбирала Виктору джемпер; вдруг спросила:

— А домой вы подарки послали?

— Кому домой?

— Ну, родным — в Чибиряки?

Эта мысль понравилась Виктору. Решили тут же все закупить и отправить посылкой.

— Вот удивятся, что из Москвы...— как ребенок, радовался Виктор.

А Андрей, шагая за Дашей по бесконечным лестницам, мучительно размышлял, можно ли, удобно ли сделать подарок Даше, не обидится ли она? И что подарить? Духи, дамскую сумочку, шелковый платок? Но все это не подходило Даше, по мнению Андрея. Вдруг он решился, купил хорошенький портфельчик и, робея, протянул ей:

— Это тебе.

Даша удивилась:

— Ну, зачем это, Андрюша?..

Но подарок понравился. Она поблагодарила. Чтоб не отстать от приятеля, сделал ей подарок и Виктор — подарил какую-то брошку. И Андрей видел, как Даша вспыхнула от радости и тут же приколола брошку к груди, а потом все время на нее поглядывала. И Андрей знал, что теперь она и не расстанется с ней...

Была еще одна встреча в Москве, тоже крепко врезавшаяся в память Андрея и Виктора, и опять по-разному. Их, вместе с другими делегатами, позвал к себе в гости Никита Изотов. Он был теперь москвич, учился в Промакадемии, но земляков принял по-донбасски; была тут и квашеная капуста, и моченые яблоки, и огуречный рассол, и перец, как динамит, хоть запаливай, и пиво — по-шахтерски — в огромном графине. В квартире было тепло и уютно, но казалось Андрею, что тесно здесь Никите Изотову, как тесно было ему и в забое. Большой, просторный это был человек, и Андрей с невольным трепетом глядел на него. «Учится в академии...— думал он.— А тоже шахтер, как и мы... И немолодой».

— А что, Никита Алексеевич, трудно учиться-то? — спросил кто-то из земляков.

— Да, уголек было легче рубать! — смеясь, ответил Изотов. Потом посмотрел на всех, вздохнул и прибавил: — А учиться надо, надо!.. Особенно вам, ребятки, советую...

Виктор удивленно глядел на него. Такой богатырь, а за школьной партой. Да если б взялся он за молоток — он всех бы перекрыл! А он учится...

Виктор задумчиво отхлебнул пиво из стакана. «А может, так оно и следует теперь шахтерам?» — пришла неожиданная мысль.

Меж тем приближался день отъезда. Уже были заказаны билеты. А уезжать не хотелось из этого доброго, гостеприимного города.

Неожиданно отъезд делегаций был отменен. Задержали всех — и донбассовцев, и ленинградцев, и бакинцев. Напротив, в Москву стали приезжать еще и еще стахановцы. Их собралось уже до трех тысяч. Чувствовалось, что предстоит что-то большое и важное...

...Вечером кто-то негромко постучался в дверь к Андрею.

— Войдите! — отозвался Воронько, думая, что пришел журналист или фотограф; свои чаще всего входили без стука.

Но дверь отворилась, и вошел человек в военной форме. Он вежливо козырнул Андрею.

— Вы товарищ Воронько, Андрей Павлович? — спросил он.

— Да, я...

Военный опять козырнул. Потом сказал:

— Андрей Павлович! Вас приглашает к себе товарищ Сталин. Машина внизу, у подъезда.

26

Нет, это был не сон. Андрей действительно был в Кремле. Еще немного, может быть, мгновение,— и он увидит Сталина... Это мгновение настало даже скорее, чем он бы хотел: Андрей еще не был готов к нему. Но

если бы даже целый день просидел он здесь, в приемной, ожидая встречи, он все равно бы не успел приготовиться к ней: к этому приготовиться нельзя.

В его волнении не было, однако, и тени страха. То новое и неизъяснимое чувство, которое испытывал сейчас Андрей, он затруднился бы передать словами. Скорей всего это было сознание незаслуженности вдруг выпавшего на его долю счастья, которое теперь никакими подвигами не окупить и не отработать.

— Прошу вас! — во второй раз сказал секретарь, приоткрывая дверь кабинета.

Сталин шел по кабинету навстречу Андрею медлительной, неторопливой походкой. В его левой руке, полусогнутой в локте, дымилась трубка. Правую он держал перед собой, словно приветствуя гостя.

А Андрей, войдя, все стоял на месте, будто прирос к полу. Потом вдруг спохватился и быстро сделал несколько шагов навстречу Сталину. Они сошлись на середине кабинета.

Разумеется, Сталин отлично понимал, что́ творится сейчас в душе шахтера, угадывал его волнение. И другой человек, не столь великий, не столь чуткий, не Сталин, чтобы ободрить Андрея, стал бы преувеличенно-ласково улыбаться ему, хлопать по плечу, а может быть, даже и обнял бы шахтера по-свойски за плечи и увлек бы за собой к столу и тем, вероятно, еще больше смутил бы и встревожил его, окончательно выбил бы из колеи.

Сталин же просто протянул Андрею руку: протянул почти без улыбки, так, словно они не в первый раз встречаются, словно Андрей тут запросто бывает каждый день, и ничего необыкновенного нет в том, что он пришел сюда сегодня.

— Здравствуйте, товарищ Воронько! — сказал Сталин негромко и добродушно.

И Андрей обрадованно и бережно пожал протянутую ему руку. В эту минуту почувствовал он, что вместе с ним руку Сталина пожимают и Виктор, и Прокоп Максимович, и Дед, и дядя Онисим, и Митя Закорко, и Даша, и все коммунисты, все шахтеры, все люди «Крутой Марии». Это от их имени он, Андрей Воронько, партийный секретарь «Марии», пожал руку ге-

неральному секретарю партии большевиков. Это от их имени он здесь, у Сталина. Он только их делегат. Это не ошибка; здесь, в этом кабинете, он на законном основании.

И он успокоился.

Только теперь он увидел, что стоит в большом, показавшемся ему пустынным кабинете светлого дерева. И Сталин смотрит на него ласково и с любопытством, с тем добрым любопытством, какое бывает только у того, кто сам любит людей. И Андрей доверчиво и без робости посмотрел Сталину прямо в лицо.

Дорогое, знакомое лицо. Оно и похоже и не похоже на портреты; оно и старше и моложавей; и добрей, еще добрей, чем на портретах... Сталин смотрит на него с любопытством, но вопросами не торопит, давая ему освоиться; они по-прежнему еще стоят посреди кабинета.

И тогда Андрей сам смело начал беседу. Он спросил о том, о чем первым делом спросили бы на его месте дядя Прокоп, и дядя Онисим, и Сережа Очеретин, и всякий советский человек. Он спросил:

— Как ваше здоровье, Иосиф Виссарионович? — его голос дрогнул искренним волнением, и Сталин это услышал.

— Хорошо,— тотчас же ответил он.— Очень хорошо. Спасибо. А ваше?..— и, получив ответ, плавным, неторопливым движением руки показал Андрею на кресло у стола.

— Курить можно,— улыбнувшись, прибавил он, когда Андрей сел, и подвинул гостю коробку папирос. Андрей взял папиросу, но закурить забыл и стал мять ее между пальцами.

— Вы первый раз в Москве? — спросил Сталин, раскуривая трубку.

— Впервые.

— Понравилась Москва?

— О! — только и мог воскликнуть Андрей.

— А приняли вас в Москве хорошо?

— Даже сверх ожидания, Иосиф Виссарионович!

— Отчего же сверх ожидания? — улыбнулся Сталин.— У нас в столице шахтеров уважают...

— Мы этого никогда не забудем, товарищ Сталин...— твердо ответил Андрей.

Сталин уже раскурил трубку и, затянувшись дымом, сел, но не за стол, а в кресло напротив Андрея.

— Я пригласил вас, товарищ Воронько,— сказал он, наклоняясь к собеседнику,— чтобы кое о чем посоветоваться с вами.

— Со мной? — невольно переспросил Андрей, которого в первую секунду слово «посоветоваться» почти ужаснуло.

— Именно с вами. Ведь вы же один из зачинателей стахановского движения. А стахановцы — это люди новые, особенные...

«Да что ж я могу посоветовать вам,— чуть не закричал Андрей.— Да я... я же сам еще, как в потемках. Я же и партработник-то молодой, без году неделя...— Он умоляюще посмотрел на Сталина.— Ах, господи боже мой, какая ошибка вышла! Не того человека позвали к Сталину! Да отправьте же вы меня прочь отсюда, не теряйте своего дорогого времени, прошу я вас...»

Сталин спокойно следил за волнением своего гостя. Потом еще ближе наклонился к нему.

— Расскажите, пожалуйста,— попросил он,— как родилось это замечательное движение у вас в шахте. Всю историю рекорда...

Андрей облегченно вздохнул.

— Это я могу,— охотно, даже с радостью сказал он.— Это — пожалуйста...

Ему показалось, что это и в самом деле будет легко. Он только затруднялся, с чего начать и как все высказать покороче.

Сталин терпеливо ждал.

— А это вот как было...— немножко спотыкаясь, начал Андрей.— Это с того пошло, что стало забойщикам в уступах тесно.— Но он тут же остановился, усомнившись: а знает ли товарищ Сталин, что такое «уступ»? Может быть, это надо объяснить? Он подумал немного и решил, что Сталин все знает.

Он стал рассказывать дальше, как родилась тогда идея сломать старую систему, а труд разделить, и эту

идею поддержала партийная организация шахты, но для пробы дали только одну лаву, и на рекорд пошел товарищ Абросимов Виктор Федорович, поскольку он самый сильный забойщик на шахте, и как за час до смены узнали они о рекорде товарища Стаханова, и это еще больше сил прибавило, и явилось желание перекрыть рекорд Стаханова, что и было сделано товарищем Абросимовым, а затем и многими другими шахтерами «Крутой Марии».

— В том числе и мною,— застеснявшись, прибавил Андрей.— Но не намного.

Сталин слушал его очень внимательно, словно каждое слово Андрея было для него драгоценно и за каждым словом он видел больше и дальше, чем сам рассказчик. Но когда Андрей кончил, он медленно покачал головой, и Андрей увидел, что Сталин его рассказом недоволен.

— Все! — упавшим голосом прошептал шахтер.

— Все? — усмехнувшись, переспросил Сталин и опять покачал головой — укоризненно, как показалось Андрею.— Отчего вы мне всей правды не рассказываете, товарищ Воронько? — вдруг с мягким упреком спросил Сталин.— Не доверяете?

У Андрея перехватило дыхание, он растерянно посмотрел на Иосифа Виссарионовича и замигал светлыми ресницами: «Да в чем же я обманул вас, товарищ Сталин? Да разве это возможно? Да что вы?» — почти с обидой мысленно спросил он Сталина.

— Отчего вы не рассказали мне, например,— спросил Сталин,— что ваше предложение работать по-новому встретило яростное сопротивление администрации шахты? Ведь это было?

— Было...

— А секретарь горкома партии. Как его имя? Рудин? Так он даже объявил вас вредителем, а рекорд Абросимова — очковтирательством. Было это?

— Но мы Рудина уже того... уже прогнали,— с неожиданной для себя решительностью сказал Андрей.

— И правильно сделали,— кивнул головой Сталин. Его лицо, впервые за всю беседу, стало жестким.— Дав-

но пора этих Рудиных... этих болтунов... барчуков... неучей... гнать со всех постов! — сказал он брезгливо.— Давно пора! Замечательно, что и в этом стахановское движение помогло партии. Но ведь не только Рудины стояли на вашем пути. Разве не было у вас противников и среди самих рабочих?

— Как не быть — были...— тихо согласился Андрей.

— Вот видите. Были и такие, которые боялись, как бы стахановские нововведения не ударили по их заработку. Так?

— Так...

— А у вас на шахте, говорят, даже такой десятник нашелся, который, когда ставили рекорд, вывел из строя воздушную магистраль...

— А вы и это знаете? — удивился Андрей и покраснел.

— Как видите,— невольно улыбнулся Сталин.— Отчего ж вы мне сразу не рассказали этого, товарищ Воронько?

В самом деле, отчего не рассказал? Отчего решил, что в этот высокий кабинет можно идти только с победными сообщениями? Зачем расхвастался? А в этом кабинете хвастаться нельзя. Тут правды хотят, всей правды.

Теперь он сидел подавленный и пристыженный. И Сталин заметил это.

— Ну, партийный секретарь,— весело сказал он,— понимаете вы теперь, что́ эти отдельные факты означают? Как руководитель, понимаете?

— Я еще руководитель молодой,— прошептал Андрей, растерявшись от той значительности, с которой это слово, обращенное к нему, прозвучало в устах Сталина.

— И все-таки — руководитель!

Сталин встал и сделал несколько шагов по ковру. Потом опять совсем близко подошел к Андрею.

— Вот что означают эти факты, товарищ Воронько,— сказал он.— Родилось стахановское движение, а вместе с ним сразу же явились и его противники, его враги. Так всегда бывает. Старое всегда становится на пути нового. Новое всегда побеждает только в борьбе

со старым,— он посмотрел на притихшего Андрея и прищурился.— Вот вы и расскажите мне подробнее о противниках стахановского движения. Кто они? Кто за ними стоит? Каковы их реальные силы? Что еще мешает движению? Какие меры помощи надо принять?

Он уже больше не садился. То ходил по кабинету легкими, неслышными шагами, то останавливался вдруг, чтобы задать новый вопрос или выслушать ответ.

Андрей старался теперь высказать все: прежде чем ответить, он взыскательно заглядывал в свою душу и в свою память. С ним словно чудо произошло: он стал зорче видеть! И то, что прежде казалось ему случайным, незначительным, простого внимания недостойным и мимо чего он, бывало, с досадой проходил, вдруг приобрело сейчас, освещенное новым светом, свое значение и свой смысл.

Сталин, видимо, был доволен его ответами.

— Вот! А вы говорите — молодой руководитель,— вдруг весело воскликнул он, останавливаясь перед Андреем.— А послушаешь — большой государственный человек!

— Что вы, Иосиф Виссарионович!..— застеснялся обрадованный, однако, Андрей.

— Небось Стаханов тоже не считал себя государственным человеком, когда шел на рекорд? — засмеялся Сталин.— Небось и вы тоже только о своей «Крутой Марии» думали?

— Ну да...— улыбнулся Андрей.

— А получилось всенародное движение. И не случайно! Созрело. Ведь вы и сами забойщик? — неожиданно спросил Сталин.

— Да...

— Какое имеете образование?

— Всего семь классов...

— Всего семь классов! — улыбнувшись, повторил Сталин.— Вряд ли до революции можно было найти хоть одного шахтера с семиклассным образованием. Вы отбойным молотком работали?

— Да... отбойным...

— Ну и как инструмент? Хорош?

— Ничего не скажешь — подходящий инструмент.

— А не устарел ли уже отбойный молоток?

— Что вы, Иосиф Виссарионович! — удивился Андрей.— Только недавно ввели и освоили...

— Ну что ж! Предположим! — смеясь, согласился Сталин.— Все-таки не обушок...

— И сравнивать нельзя! — воскликнул Андрей.— Техника!

— А как у вас врубовки работают?..

— У нас врубовки нет... Они больше на пологих пластах.

— Ну, и как они на пологих пластах работают?

— Не знаю... Не в курсе...— смутившись, признался Андрей.

— Напрасно не знаете,— сказал Сталин.— Вы человек партийный, вы всем интересоваться должны.

— Я теперь узнаю,— торопливо сказал Андрей.— И напишу вам.

— Напишете? — прищурился Сталин.— Ну-ну, смотрите, не обманывать! Буду ждать письма! — И он шутливо погрозил ему трубкой.

— Непременно напишу вам...— повторил Андрей.

— И не только о врубовках. Вообще о механизации горных работ. Мы здесь, в Центральном Комитете, этим особенно интересуемся. Именно механизация, новая техника, вместе с другими факторами и поможет нам ликвидировать различие между физическим и умственным трудом и прийти к коммунизму. Как вы думаете, товарищ Воронько,— спросил он вдруг, и в его глазах блеснули веселые искорки,— придем мы с вами к коммунизму?

— В этом весь наш рабочий класс твердо уверен! — взволнованно ответил Андрей.

— И я так думаю: придем! — улыбнулся Сталин.— Надо только, чтобы все люди в нашей стране работали по-стахановски...

Сталин, полуобернувшись к окну, зажег погашенную трубку и несколько мгновений задумчиво смотрел на кремлевские елки, казалось, осыпанные звездной изморозью.

Андрей поднялся с кресла. Он считал, что пора уходить, и в то же время уходить не хотелось. Драгоцен-

ной была каждая минута, проведенная здесь, у Сталина: этих минут теперь Андрею на всю жизнь хватит!

— Спасибо вам, Иосиф Виссарионович! — негромко и от всей души сказал он.

Сталин обернулся, подошел к Андрею.

— Это вам спасибо! — тепло сказал он и протянул руку.

— Про письмо не забудьте! — весело напомнил Сталин, когда Андрей уже подошел к двери.— Буду ждать!..

1951 г.


Перед войной
ГЛАВЫ
НЕОКОНЧЕННОГО
РОМАНА

1

Человек невысокого роста, плотный, седой, в гимнастерке, со знаками полкового комиссара на петлицах, с алой звездой на рукаве, стоял у окна вагона и, грузно опираясь обеими руками на костыли, жадно глядел, как бежали мимо него украинские степи, хотя глядеть, собственно, было еще не на что: все вокруг — черно и сыро.

Весна не успела еще явиться во всей своей красе; она была пока работницей — в небрежно подоткнутой холщовой запаске, с босыми забрызганными жидкой грязью ногами; она суетилась, хлопотала, весело выметала зимний сор с полей, ломала лед на реках, торопила ручьи талой воды, работала от зари до зари, до поздних ночных заморозков. Пройдет еще две недели, и она управится, приберется, и тогда уж и принарядится, как украинская молодица, оденется в парчу и бархат, в зелень молодых берез и сережки верб,— вот тогда и любуйтесь ею, пожалуйста!

Но на обыкновенного человека, не ценителя природы, пейзаж действует не столько своими красотами и убранством, сколько теми мыслями и чувствами, которые он неожиданно и властно будит: воспоминаниями, ассоциациями, контрастами.

Раненому комиссару до умиления приятно было видеть именно эту черновую, мирную, радостно-хлопотливую работу весны; как она расковывала реки и освобождала землю, и как, ликуя, прокидывалась от зимнего сна земля и сладко потягивалась под добрым солнцем, как очнувшийся, нет,— как выздоравливающий...

И комиссару припомнился синий лед на Тайполенйоки, мертвый лед, не дрогнувший и не растаявший даже тогда, когда его обагрила горячая кровь комиссара

и его товарищей. Вспоминалась вся эта оцепенелая в снегах, лесах и студеных болотах упрямая и злая чужая земля, где он недавно дрался и где каждый куст был ему враждебен, каждая кочка земли могла оказаться миной, каждый пень — надолбом, каждый холм — дотом, каждое дерево — гнездовьем финской «кукушки»...

А тут, за окном, мирно парили черные поля, ждали пахаря... Э, да вот уж и первый пахарь! Он возник вместе со своей сивой лошаденкой где-то далеко на косогоре и медленно проплыл перед комиссаром — торжественный и одинокий, как разведчик.

И комиссар догадался, что это и есть разведка — разведка плугом, как бывает разведка боем,— и ласково и приветно кивнул пахарю головой: «Ну-ну! Ну, с богом! Теперь можно спокойно пахать и сеять... Потому что мы победили на Тайполен-йоки и на Вуокси-вирта... И везде — победим, не бойтесь! А вы мирно трудитесь, добрые люди, покойно трудитесь, прошу я вас...».

Он проводил пахаря долгим любовным взглядом и подумал, что никогда теперь не забудет его, как не забудет ни этих мирных полей, ни теплых, утешных дней необыкновенного апреля 1940 года, ни всего, что так остро, будто заново родившись, почувствовал он на родной земле, куда вернулся выздоравливать...

— Павел Петрович! — позвал его из купе женский голос.

Комиссар оглянулся. Ему не хотелось отходить от чудес в окне, он еще не насытился. Но голос во второй раз, и уже нетерпеливо, позвал его, и он вздохнул и с покорностью больного взялся за костыли, чтобы идти...

Но как раз в эту минуту пейзаж вдруг волшебно переменился: в окно полезли трубы, трубы, трубы, и комиссар догадался, что поезд вошел в Донбасс...

Теперь уж нельзя было уходить от окна! Заводские трубы шли на комиссара, как пушки на параде — жерлами в небо,— в них было грозное, молчаливое спокойствие наведенных в цель артиллерийских стволов, но и они сейчас говорили комиссару не о войне, а о мире, ибо именно мира жаждала его душа...

«Экая мощь, экая силища, право! — восторгался он, любуясь корпусами заводов.— Кто же против такой силищи может?».

— Да что же ты с собой делаешь, Павел Петрович! — уже над самым его ухом раздался укоризненный голос, и немолодая женщина, с добрым лицом сельской учительницы, бережно, но настойчиво взяла его за плечи.

— Да ведь Донбасс, голубчик, Донбасс! — виновато отозвался Павел Петрович.— Донбасс,— повторил он так, словно бы это его оправдывало.— Ты в окошко-то взгляни, полюбуйся...

Женщина равнодушно посмотрела в окно.

— Дымно! — сказала она и решительным движением опустила стекло. Потом опять с беспокойством взглянула на мужа.

— Ты бы прилег отдохнуть, право? А?

— Ну, еще десять минут, голубчик...— жалобно попросил он.

Она засмеялась.

— Как маленький! Ну, хорошо — десять минут! — и ушла в купе.

А комиссар опять жадно припал к окну.

За этой сценой чуть-чуть насмешливо наблюдал еще один пассажир вагона — черноглазый молодой человек, лет двадцати восьми, в новеньком светло-табачном костюме и в галстуке такого же цвета, но «с искрой»...

— Да, дымно, пыльно...— сказал он, подходя к окну и лениво затягиваясь папиросой.— Вечно дымно и вечно пыльно... Таков уж этот неприютный край — Донбасс! — и он искоса, но с вызовом посмотрел на комиссара.

Тот немедленно вступился за Донбасс.

— Зато — всесоюзная кочегарка! Это если не чувствовать, то хоть понимать надо! — сказал он сухо и как бы даже обиженно.

Светло-табачный молодой человек ему сразу не понравился. «Коммивояжер какой-то! Франт! Хлыщ!» — неприязненно подумал он, разглядев не только «искру» в галстуке, но и кокетливый джемпер под пиджаком.

— Да, кочегарка! — пофыркивая, согласился черноглазый.— А вам доводилось когда-либо плавать на пароходе? — неожиданно спросил он.

— Ну? — сдвинул седые брови комиссар.

— И, конечно, всегда на верхней палубе, в первом или втором классе?

— Всяко бывало...

— Так вот, скажите по совести,— улыбнулся молодой человек,— думали ли вы, скользя по реке и любуясь, скажем, Жигулями, думали ли хоть раз о... кочегарах? Да, да — о кочегарах? О тех, кто как раз в эту минуту стоит где-то внизу, у жарких топок, ради вашего удовольствия? И испытывали ли хоть раз если не чувство благодарности, так хоть... чувство неловкости, а?..

— Такого рода неловкость может чувствовать только барчук, пижон, бездельник... хлыщ...— сердито ответил комиссар.— Так же, как и умиление... А труженик не может, нет. У нас каждый на своем месте — кочегар. Ведь не требую же я от вас,— раздраженно прибавил он,— чтобы вы кланялись и умилялись на мои костыли, хотя я воевал, а вы — нет. И нечего кланяться, нечего, нечего! Потому что, если надо будет, у нас каждый станет солдатом. Я имею в виду, конечно, настоящих советских людей, не пижонов...— и он, откровенно нахмурив брови, посмотрел на собеседника. Как все очень добрые люди, комиссар любил казаться свирепым.

К его удивлению, пижон не обиделся и не смутился, а чистосердечно расхохотался, от всей души.

— А славно вы меня отбрили, товарищ комиссар! — воскликнул он.— Ей-богу, славно! Спасибо!

— Не за что,— смешавшись, буркнул тот.

— Ведь я все это из ревности, из ревности...— смеясь, признался молодой человек.— Из проклятой донбасской гордости и ревности. Нам, донбассовцам, все кажется, что нас, черномазых, недостаточно уважают.

— А вы что же, донбассовец? — удивился комиссар.

— Ну да!..

— И где же вы там работаете? То есть по какой части? — подозрительно спросил Павел Петрович.

— А как раз по этой самой... по углю... Видите ли,— доверчиво улыбнулся светло-табачный молодой человек.— Я только что окончил Горный институт. Как

говорится,— с пылу, горячий. И сейчас возвращаюсь домой, в Донбасс, на работу.

— Инженером?

— Нет. Управляющим.

— Вот как! — удивился Павел Петрович.— Сразу управляющим шахтой?

— Даже семью шахтами, то есть трестом! — с легким, почти мальчишеским торжеством объявил черноглазый.

Комиссар недоверчиво посмотрел на него: «Врет? Хвастает?»

— Да-а...— покачал он головой.—Это как если б выпускнику военного училища вдруг сразу бы дали дивизию...

— А полагается — роту?

— Взвод,— жестко ответил комиссар.

Вновь испеченный управляющий довольно расхохотался.

— Ну, взводом-то я покомандовал, когда еще на практике был! — сказал он.— Да и угольным солдатом тоже протрубил немало. Нет,— небрежно махнул он рукой,— с шахтенкой-то с любою я бы, конечно, справился!.. Тут и говорить нечего. Но — трест! Поверите,— я сам ахнул. И даже руки поднял: помилуйте, мол! Куда мне?.. А нарком похлопал меня по плечу и говорит: «Новые кадры надо выдвигать смело! Не вечно же на стариках ездить! Ты, говорит, человек молодой, отважный, инициативный, учился отлично, вот, говорит, теперь и руководи, и учись!..». Я так это дело понимаю,— вдруг понизив голос, прибавил он,— это мне ради моей былой шахтерской славы дали, не больше,— и он скромно улыбнулся.

Поистине молодому человеку суждено было сегодня удивлять Павла Петровича! Только сейчас комиссар разглядел его руки,— руки шахтера, и тут же, как честный человек, упрекнул себя: «Вот, искру в галстуке разглядел, а рук-то и не приметил! А советского человека надо судить не по костюму, а по рукам».

Ему захотелось загладить свою ошибку.

— Простите,— предупредительно спросил он,— как ваша фамилия, товарищ?

— Виктор Абросимов,— охотно ответил черноглазый молодой человек.— Не слыхали?

— Нет... не припомню...

— А имя Стаханова слышали? — озорно усмехнулся Виктор.

— Ну, конечно!..

— А когда-то, пять лет назад, наши имена назывались рядом,— сказал Виктор и вдруг опять весело расхохотался.

Смех у него остался прежний: звонкий, смелый, чистый, озорной; управляющему трестом так смеяться, пожалуй, уж и не пристало,— не солидно.

Улыбнулся своей светлой, ребячьей улыбкой и комиссар.

— Ну что ж! — ласково сказал он.— Обижаться нечего! Ведь Стаханов теперь не столько имя человека, сколько имя движения. Человека-то, возможно б, и забыли... У нас ведь героев много. Каждый день рождаются. Да и то сказать,— легонько двинул он плечами,— слава-то не навечно дается! Только павшим в бою — вечная слава.

— Ну, а поскольку я еще не пал в бою,— подхватил Виктор,— то и объявляю вам, как комиссару: еду я теперь в Донбасс за новой славой!

— Вот как? В качестве управляющего?

— Именно!

— Да...— любуясь его молодым воодушевлением, раздумчиво сказал комиссар.— Это, пожалуй, потруднее будет... Командовать, товарищ Абросимов, куда труднее, чем геройствовать штыком.

— Согласен,— сказал Виктор.— А я — попробую! — И он тряхнул головой тем лихим, бесшабашным движением, с каким когда-то вскричал: «А я один пройду лаву!» — А я попробую! — повторил он.— Тем более что, как говорится, есть повод отличиться.

— А-а! Догадываюсь! Дело запущено, и вы...

— И я берусь его вытянуть.

— Что же, удачи вам! — тепло улыбнулся комиссар.— От всей души — удачи! Только... вы не обидитесь? — прищурился он вдруг.— Ведь это каждый юный лейтенант из училища свято уверен, что, кабы он

командовал Бородинским сражением, Москву можно было бы и не отдавать...

— А может быть, и в самом деле можно? — беря комиссара за локоток, лукаво подмигнул Виктор.— Я б, например, не отдал...— И они оба, именно как юные лейтенанты, расхохотались.

Но тут появилась жена Павла Петровича, явилась с таким суровым и решительным лицом, что комиссар тотчас же поспешно взялся за костыли.

— Иду, иду, голубчик! — крикнул он. И виновато, словно он нашкольничал и теперь боится суда, улыбнулся Виктору.— Видите, какая история! Над каждым комиссаром есть еще свой, домашний комиссар.

— Ох! — спохватился Виктор.— Так и меня ведь жена ждет...

— И идите, пока не влетело!..— посоветовал комиссар и протянул руку.— Значит, не отдадите Москвы?

— А ей-богу же, не отдам!

Они расстались, оба невольно растроганные случайной встречей.

2

Виктор вернулся в купе. Даша читала. Услышав скрип двери, она отложила книгу и потянулась навстречу мужу. Он нежно обнял ее, осторожно поцеловал. От нее пахнуло на него знакомым теплом. Ее тело было добрым, родным и покорным. Он бережно прижал ее к себе и опять поцеловал в затылок. Потом сел рядом.

— Ну, накурился? — ласково спросила она, беря мужа под руку и заглядывая ему в глаза.

— И накурился и наговорился... Ну, а ты как себя чувствуешь, Светик? — тревожно спросил он.

— Как и полчаса тому назад,— засмеялась она.— Нет, ты просто стал невыносимым, Витька! Каждую минуту ты требуешь бюллетень о моем здоровье.— Но ей было приятно, что он так тревожится о ней: это всегда приятно.

— Все-таки ты береги, береги себя, дорогая! — сказал он бессмысленно, как всякий муж.— Теперь ты должна себя беречь.

— Теперь! О, каким ужасным тоном собственника ты это сказал!

— Собственника?.. Даша! — вскричал он.

— Ну, хорошо, хорошо, мой господин! И ваша супруга, и будущий наследник вашей фирмы — оба чувствуют себя превосходно. Итак, с кем же ты там разговаривал? — спросила она, опять ласково прижимаясь к нему, словно без него ей было зябко.

— А! — оживился Виктор.— Понимаешь, встретился один комиссар. Симпатичный такой, раненый. Ну, и я... Я, кажется, немного расхвастался перед ним,— смущенно заглядывая в глаза жены, признался он, как привык уже каяться ей во всех своих больших и малых грехах.

— Расхвастался? — засмеялась Даша.— Ну, это меня не удивляет.

— Даша!

— Ты, разумеется, первым же делом сообщил ему, что назначен управляющим...

— Ну, да... Но...

— И что ты сразу же, как приедешь, перевернешь все вверх дном...

— Но послушай, Даша...

— И выложил ему все свои прожекты, планы механизации и цикличности, идею нового непрерывного потока имени Виктора Абросимова?

— А вот это как раз не успел...

— Ка-ак? — с комическим ужасом воскликнула она.— Да неужели? Ну, тогда — валяй! — она вздохнула и покорно вытянула руки по швам.— Валяй, не стесняйся! Я готова слушать в трехсотый раз...

— Так вот никогда же теперь не буду тебе ничего рассказывать! — проворчал немного обиженный муж.— Бессовестная ты...

Но она снова, насмешливой кошечкой, прильнула к нему, стала ластиться.

— Будешь, будешь... Будешь рассказывать! — зажмурилась она.— И я буду тебя слушать, лохматый мой, милый, смешной...

Но он все еще продолжал ворчать, хотя уже и укрощенно:

— Как не понять, что я просто стосковался по ра-

боте! Да осточертело мне без конца чертить учебные проекты для пополнения пыльных архивов декана. Я живого дела хочу.

— Теперь уже недолго ждать... милый, нетерпеливый!

— Я ведь не отдыха после учебы, понимаешь, не курорта хочу. Хочу — сразу в самое пекло. С головою. Хочу покоя не знать. Хочу ночей не спать. И чтоб все вокруг меня завертелось, ожило, встрепенулось...

— И чтоб все заахали: ай да Виктор Абросимов, ай, молодец!

— Ну и что ж? Да! Чтоб заахали! Что?! — бешено рявкнул он, вскакивая, великолепный в своей обиде и своем азарте.— А ради чего ж я буду тогда в огне кипеть? Чтоб капиталы копить на старости? Да чихал я на капиталы! И на автомобиль чихал! И домика себе строить не буду, не надейся! Да! — неистово крикнул он, и в его черных глазах заметались золотые искры,— да, хочу, чтоб заахали! Хочу! Гремела когда-то слава шахтера Абросимова, так пусть же теперь загремит слава об Абросимове-инженере. Что?! — И он свирепо посмотрел на Дашу.

— Мальчишка, мальчишка ты мой!..— только и смогла шепнуть она, как всегда покоренная силищей его чувств, и влюбленно притянула его к себе, сразу же и обезоруживая.

Он тотчас сел, сам сконфуженный взрывом.

— Я и в самом деле совсем мальчишка,— неуклюже улыбнулся он.— Но ты посмотри, посмотри, Даша,— обнимая ее, привлекая к окну, мягко сказал он.— Видишь?.. Вот она, наша донецкая земля... Нет, ты скажи — видишь?.. Чуешь? Бьется сердечко-то?..

— Бьется...— шепнула она.

— И у меня вот как бьется! Ведь это же не просто земля, ковыль да глина, это — поле великой битвы!

— За уголь!

— За счастье человечества,— сказал он.— Помнишь, Менделеев называл наш Донбасс «будущей силой, покоящейся на берегах Донца»?

— Ну, мы уж обеспокоили эту покоящуюся силу,— засмеялась Даша.

— Да, конечно. Но достаточно ли? Да мы только

слегка растормошили ее... Мы только легонько поцарапали ее сверху. А вглубь даже еще и не сунулись. А меж тем какие великие дела может сделать здесь человек! С нашей-то техникой! С нашими-то современными знаниями! Да в нашем-то государстве! Менделеев и мечтать об этом не мог. Нет, ты слушай, ты, пожалуйста, выслушай меня, Дашенька!..— умоляюще закричал он и, уже вновь загораясь, стал в сотый раз сбивчиво поверять ей свои мечты, горячась и волнуясь, как и в первый раз. И она, в сотый раз, вновь невольно залюбовалась им, как любовалась и в первый...

Таким она его больше всего любила.

Вот таким он был и тогда, ночью, в лаве, когда она с отчаянья призналась ему в своей любви, а он не услышал, не угадал, не понял, а даже с досадой отмахнулся и от нее и от ее любви. Как она тогда его любила!

А сейчас любит еще больше. Сейчас она любит в нем не только мужа, товарища, отца ее будущего ребенка. Она узнает и любит в нем свое творение, дело своих рук, частицу своей души. Сколько терпения и сил, сколько именно творческих мук вложила она в это беспокойное, непостоянное, милое, косматое существо,— это только она одна знает.

Только она знает, чего стоил ей первый год его учебы в институте, когда он, даже и не подозревая о ее любви, простодушно считал ее только дорогой землячкой, доброй подругой.

Да, она была ему настоящим, добрым товарищем,— тут ничего не скажешь! И товарищем, и нянькой, и наставником; кнутом — когда он ленился, уздой — когда он взвивался на дыбы, поводырем — когда он начинал спотыкаться, подушкой — в которую он мог досыта наплакаться...

Нетерпеливый, непоседливый, капризный, уже избалованный славой и легкими удачами, он готов был тридцать раз на день бросить учебу и институт и убежать обратно на шахту. «Та нехай она сказытся, ваша наука! — бесновался он.— Так я лучше буду уголь рубать, чем вот этот проклятый гранит!» Он приходил в отчаяние, что не может взять науку лихим, шахтерским рывком, и Даше приходилось напоминать ему, что у шахтеров есть еще одна великая добродетель — терпение.

— Да неужели у тебя самолюбия нет? — бесстрашно дразнила она его, в душе цепенея от страха, что он еще пуще обидится и действительно сбежит.— Неужели ты сдашься, сдрейфишь, сбежишь? Ты, герой! — И она все вечера просиживала с ним над его книгами и лекциями, учила его работать, писать конспекты, учила правильно говорить по-русски, со вкусом одеваться, держать руки в порядке, даже есть; она заставила его отказаться от глазастых галстуков и дрянных духов, отучила от разбойничьей привычки сплевывать сквозь зубы; она осторожно и бережно мяла, лепила из него настоящего человека, действуя то лаской, то окриками, но чаще всего — мягкой любовной насмешкой. Насмешка служила ей и оружием и щитом — за нею легче было скрывать свою безответную, взнузданную, но раскаленную любовь к нему.

Иногда он все-таки обижался, дулся на нее, даже бунтовал, а потом, пристыженный, сам же являлся к ней, покорно нес повинную голову и добродушно говорил:

— Ну ладно, ладно, Светик! Ты не бери всерьез. Я и сам знаю, что я — непутевый... Ты — прости!

И тогда ей хотелось броситься к нему на шею, просто, по-бабьи прижаться к его могучей груди и — забыть обо всем на свете.

А он ничего и не подозревал. Он даже женщины в ней не видел. И когда друзья говорили ему: «Какая красавица эта Даша!» — он искренно удивлялся: разве?

Для него она была только добрым товарищем. И он доверчиво, как с парнем, как когда-то с Андреем, делился с нею всеми своими холостяцкими секретами, хвастался мимолетными успехами у девушек, даже советовался, какой галстук надеть, когда шел, как он выражался, на «решительное рандеву» с какой-нибудь очередной Катей.

Однажды Даша не выдержала. Это случилось весною, когда Виктор был уже на втором курсе, а Даша — на четвертом.

Днем, за обедом, Виктор все трещал о какой-то Ларисе-медичке.— Даша слушала его сначала насмешливо, потом вдруг разобиделась и приказала замолчать. Он удивленно уставился на нее — что это с нею? — и

умолк; он уже привык подчиняться ей. А вечером, совсем забыв о ссоре, он влетел к ней и пригласил в оперу.

— Ну, прямо из горла вырвал,— ликуя, шумел он, размахивая билетами.— Собирайся, Даша, живо!

Но она даже не пошевельнулась ему навстречу. Закуталась в белый пуховый платок и чужим, черствым голосом ответила:

— Я никуда не пойду с тобою, Виктор.

— Не пойдешь? — растерялся он.— Да почему же?

— Иди со своей Ларисой! — сказала она, обиженно поджимая губы, и еще непримиримее, еще отчужденнее завернулась в платок, словно спряталась в раковину.

Он потоптался немного на пороге, ничего не понимая, не чуя вины за собой, потом вздохнул и ушел.

Он пошел в театр один. Почему-то вдруг никого не захотелось звать с собою. И в театре, помимо своей воли, думал только о Даше. Ему было без нее скучно.

Он уже привык всегда и везде бывать вместе с Дашей, и когда она была рядом — он часто забывал о ней, а сейчас ее нет — и ему без нее скучно. Скучно. Пусто. Одиноко.

«Да за что же она рассердилась на меня? — в сотый раз спрашивал он себя.— Лариса... Ну при чем тут Лариса? Да я десять Ларис отдам, только б ты, Светик, не обижалась. Да разве ж можно девчонок равнять с дружбой? Дружба ж, это... это куда дороже!».

В антракте ему стало еще горше. Как неприкаянный, слонялся он по фойе. Не находил себе места. Затосковал.

Раньше, бывало, в антрактах они с Дашей оживленно и шумно спорили о спектакле и об актерах; и все оглядывались на них и невольно им улыбались: их молодости, их румянцу, их радости. И все люди в театре казались тогда Виктору хорошими, добрыми, близко знакомыми...

А сейчас Даши нет — и он как в пустыне. И никто не смотрит на него. Он всем здесь — чужой. И Даши нет. И без нее на душе пусто. Холодно и пусто.

Он подошел к буфету, спросил пива и вдруг заметил тянучки в узенькой желтой коробочке.

Он улыбнулся этой коробочке, как воспоминанию. Потом купил и, продолжая бессмысленно и разнеженно улыбаться, стал представлять себе, как принесет Даше

подарок,— она тянучки любит,— и скажет: «Мир, Дашок, мир, мир!..»

«А она возьмет да швырнет мне эти тянучки в рожу! — тут же подумал он.— Разве ее тянучками подкупишь?» — Он хмуро сунул коробку в карман и пошел в зал, продолжая думать о Даше.

«А что, как она всерьез обиделась? Что, как навсегда?» — Он сам ужаснулся этой мысли. И — растерялся.

«Да как же я... как же я тогда? — беспомощно заморгал он своими девичьими ресницами.— Как же я без нее? Да я без нее жить не могу! — чуть не застонал он.— Все мне без нее тошно!»

Тошно! Вот и верное слово нашлось. Тошно. Не мило все. И сладкая музыка не мила. И в театре холодно и неприютно. И Лиза нехороша. За что только Герман ее любит? Вот Даша...

«Что же это выходит? — вдруг растерянно спросил он себя.— Выходит, что я... люблю Дашу? Люблю?» — и едва только произнес он про себя это колдовское слово, как сразу же и почувствовал: ну да, любит. Конечно же, любит! Всегда любил. Только слова подобрать не мог.

Он был сам потрясен этим открытием. Оно раздуло в нем такую бурю новых, неведомых чувств, что они сразу и смяли и оглушили его.

«Да нет, постой, постой! Тут разобраться надо! — попробовал он притормозить себя и тут уж совсем сорвался.— Да что разбираться! Люблю! Люблю!..»

— Люблю-у! — чуть не завыл он на весь зал.

Нет, он уже не мог больше оставаться в театре. Он не Андрей. Он должен сейчас же бежать к Даше, он должен немедля узнать свою судьбу! Жить ему или не жить, любит она или не любит.

Запыхавшись, прибежал он в общежитие.

— Даша! Даша! — нетерпеливо затараторил он в дверь ее комнаты.— Выйди на минутку, Даша!

Она не сразу появилась на пороге. Ее глаза опухли, но он не заметил этого.

— Чего тебе, Витя? — слабым, безжизненным голосом спросила она.

— Мне надо поговорить с тобой, Дашенька... Немедленно...

— Ну, что случилось? — устало сказала она.

Он вдруг рассердился.

— Да не стану же я объясняться тебе тут, в коридоре!.. Идем!

Он схватил ее за руку, и они побежали. Побежали по этажам, лестницам и коридорам так, словно крылья выросли у них за плечами.

И двери сами распахивались перед ними.

В сквере, подле общежития, Виктор и признался Даше в любви.

— А теперь — говори, говори! — дрожа от нетерпения и страха приказал он.— Не любишь? Да? Не любишь? — и он почти с ненавистью заглянул ей в глаза.

Вот когда Даше следовало бы отомстить ему за свои долгие муки, заставить помучиться и его, заметаться в любовной лихорадке!

Она так и хотела поступить. И — неожиданно пала ему на грудь и заплакала от счастья...

Они поженились летом, когда были на «Крутой Марии» на практике,— так хотела Даша.

На свадьбе в родительском доме был и Андрей.

Он подошел к Даше и улыбнулся ей своей нетерпеливой, светлой улыбкой.

— Люби его, Даша! — шепнул он ей.— Он большой любви достоин. И прощай ему. Понимаешь? Ему надо прощать.

— Я знаю...— тихо ответила она.

Они жили с Виктором дружно, хоть и не покойно. Но Виктор ни в чем спокойным быть не мог,— ни в учебе, ни в работе, ни в любви.

Он и сейчас, в поезде, не находил себе места. Метался. Поминутно бросался к окну. Ему все казалось, что поезд идет слишком медленно, неохотно, на станциях стоит слишком долго, лениво. В окно уж врывался терпкий, знакомый запах угля и колчедана и тревожил Виктора, как запах пороха тревожит боевого коня.

— Как счастливо вышло,— вдруг задумчиво заметила Даша,— что ты именно в родной район получил назначение...

Он быстро обернулся к ней.

— Ты думаешь? — с сомнением спросил он.

— А разве нет?

— Н-не знаю...— сказал он. Подошел и стал рядом. Взял ее руки в свои. Но с ответом медлил.

— Тебя что-то мучает, дорогой? — спросила она.

— Дда...— неохотно признался он.— Там, в Москве, в суматохе не думалось... А сейчас...

— Но что ж это, что? — уже с тревогой спросила она.

— Ну, понимаешь,— с трудом, словно винясь в чем-то постыдном, выдавил он,— ведь тут все... все... и инженеры и шахтеры... все помнят меня молокососом, шахтарчонком, понимаешь? Ну, какой я для них управляющий трестом?! — с отчаянием вскричал он.

Даша не выдержала и расхохоталась.

— Вот ты смеешься...— обиженно сказал он.— А стань на мое место. Вот, например, Светличный... Это особенно меня тревожит. Ведь всю жизнь Федя Светличный был у нас вожаком, старшим. А теперь... теперь, что же выходит? Ведь как завшахтой он вроде должен подчиняться мне? Понимаешь?

— Не понимаю.

— Нет, ты понимаешь, понимаешь!..— уныло сказал он.— Или Петр Фомич. Он у меня будет главным инженером треста. Даже страшно! Не я у него, а он у меня. Ну, теперь понимаешь?

— Теперь понимаю...— с намеренной лукавинкой сказала она,— ты просто трус.

— Трус. Согласен. Но я докажу им — и очень быстро, что я уже не щенок! — вскричал он.— Я с первого же дня... Нет, с первой же минуты круто возьму дело в свои руки. Я их — ошарашу!

— Вот это голос уже не отрока, а мужа...— засмеялась Даша.

— А что ты думаешь? Я покажу, что меня недаром четыре года мяли в институте! — и он уже снова затрепетал, запламенел, взвился, как скакун на дыбы: у него легки были такие переходы.— Ну, что ж, что Петр Фомич! Да если правду сказать, так старикан порядочно-таки отстал. Стал провинциалом. Дальше кровли ничего не видит. А меня вооружили последним словом науки. Да-да! — заторопился он.— Горное дело больше не ис-

кусство колдунов и знахарей... Я с первого же дня возьмусь за механизацию. Механизация всех процессов — вот тот гаечный ключ, которым я поверну все дело. Ты, как конструктор, должна меня понимать. Механизация...

Она слушала его с тихой, молчаливой завистью, с завистью, которую она тщательно прятала от него. Напрасно он помянул, что она инженер-конструктор. Она грустно усмехнулась. Она — жена. Муж едет в Донбасс работать, а она — рожать...

— Подъезжаем! — вдруг перебивая самого себя, завопил Виктор и бросился к окну. До станции оставалось еще добрых три километра.

Но в окне уже показались знакомые шахты. «Мои шахты!» — не мог не подумать он. Он узнавал их, как приятелей молодости. «Здорово, ребята!» — едва не крикнул им он.

Вот «София». Вот «Красный партизан». Вот «имени Сталина». А там, за холмами,— отсюда не видно,— должна быть и шахта «4-бис». А вон, вдалеке, закурился и древний террикон «Крутой Марии».

Но вот и перрон.

— Ого, сколько народу привалило нас встречать! Даже не ожидал! — не без удовольствия воскликнул Виктор.— Смотри, Даша!

Даша подошла к окну.

И сразу же увидела торжественно тревожное лицо отца. Вытянув шею, он следил за вагонами, искал дочку...

«Постарел он, нет? — спросила себя Даша и не могла решить; но слезы уже готовы были ринуться из глаз.— Нет, не постарел,— такой же, батя ты мой!»

— И Светличный тут... И Петр Фомич...— все восклицал Виктор.— А-а! — вдруг просиял он, завидев Андрея.— Сам секретарь горкома пожаловал, кореш ты мой дорогой! Смотри, какой он ладный стал, солидный...

— Но пришел один, без супруги...— заметила Даша.

— Одевайся же скорее, Дашенька! — сказал Виктор и подал пальто.

Она мельком взглянула на себя в зеркало. «Какая же я некрасивая стала...— безразлично подумала она.— И пятна на лице... И живот».

Поезд медленно терял ход. Последний толчок — и он остановился.

И только с этим последним толчком, только тогда, когда вдруг перестал скрипеть и качаться вагон, поняла Даша, что она приехала. Вернулась. И только теперь вдруг почувствовала настоящую, живую и полную радость.

Вот она и вернулась!..

Вернулась на родную землю, на землю отцов... На землю, где когда-то она родилась. Где ее родила мать. Где сама мать родилась от донецкой женщины, которую Даша никогда не знала и никогда не смогла назвать бабушкой.

А теперь пришел черед Даше рожать. Здесь, на этой земле. Здесь, на «Крутой Марии». И нигде больше. Иначе и быть не могло...

3

Виктор Абросимов сказал жене правду: он стосковался. Стосковался по живому, самостоятельному делу, по веселому, трудовому общению с людьми, по кипению и трепету горячей горняцкой жизни, просто по шахте стосковался. Ему не терпелось поскорее, да притом с головою, нырнуть в дела и заботы. Руки чесались.

Не отдохнув как следует с дороги и предоставив Даше устраиваться в новом директорском доме как знает, он ранним утром следующего же дня поехал в город представляться начальству.

Начальник комбината, тоже горячий, крутой и еще молодой человек, но уже прогремевший на весь Советский Союз как талантливый и смелый горняк, встретил Виктора радостно и по-товарищески; так в авиаполку встречают нового летчика, которого хоть и не знают еще лично, но зато знают, где и у кого он учился, какой он школы, с кем летал, а следовательно, и чего можно ждать от него в полете. И у Абросимова и у начальника комбината учителя были общие, а школа — одна.

Абросимов с первого взгляда понравился начальнику, он угадал его молодое нетерпение — это тоже понравилось — и немедля поехал вместе с ним в трест, собрал

аппарат, представил нового управляющего и, так сказать, ввел Виктора «во владение».

— А теперь — владей и действуй! А мы тебе, друг, поможем!

Начальник уехал, а Виктор стал осматриваться в своих «угодьях и владениях».

Еще в Москве знал он, что трест в прорыве, но это не испугало его, а даже... втайне обрадовало. Теперь никто не скажет, что он пришел на легкое, на готовенькое. Трудней задача — слаще и победа.

Впрочем, и ребенок тоже, прежде чем сложить картинку из кубиков, все кубики сам сперва смешает и разбросает. Видно, самой природе человека свойственна жажда преодоления.

Трест был в прорыве. Но это, разумеется, не означало, что шахты попятились вспять, стали работать хуже, чем они когда-либо раньше работали; тогда это был бы не прорыв, а катастрофа, впрочем почти немыслимая в нашем хозяйстве. Даже находясь в прорыве, «Крутая Мария», например, давала сейчас куда больше угля, чем в самые лучшие, стахановские дни Виктора когда-то. Раньше за такую добычу ордена бы давали. А сейчас — казнили. И это было и справедливо и понятно. Каждый день оснащались шахты новыми механизмами, входили в строй новые мощности, новые горизонты, новые стволы; по-новому работали и люди. И требования к шахтам предъявлялись новые.

Нет, трест не покатился назад, в позавчерашний день, но он топтался на месте, во вчерашнем дне, а следовательно, и отставал от общего бега и роста. Это и был прорыв.

Виктору Абросимову и предстояло вместе со своим трестом сделать прыжок из вчерашнего в сегодняшний день, догнать товарищей.

Для этого ему нужно было прежде всего осмотреться. Он поехал по шахтам.

В эти дни Даша совсем почти не видела мужа. Он редко бывал дома и в тресте. Иногда он даже ночевать оставался на шахте. В первые дни из треста сунулись было к нему с тысячью каждодневных мелочей, которые всякому работнику аппарата всегда представляются самым главным делом, но Виктор, почти физически почув-

ствовав, как двинулась на него громада «текучая», сразу же круто, даже грубо отмахнулся от нее:

— К главному инженеру! Все — к главному инженеру!

А сам продолжал изучать шахты. Он исползал все лавы, сунул нос во все «помойницы», часами просиживал в электровозных депо, в мастерских, кочегарках, без устали ходил по участкам, влезал во все щели и углы, ворошил маркшейдерские планы, подолгу беседовал с людьми. При этом он сам ничего не говорил, только спрашивал. И хмурился.

Теперь ему некогда было думать о том, как отнеслись к его назначению подчиненные, смеются над ним или трепещут. Сам собою установился и стиль его первых сношений с ними: он еще ничего не требовал от людей, но ничего и не обещал; он не кричал на них, не грозился всех и вся снять с работы, даже не хвастался, что все перевернет вверх дном. Он сам вдруг притих, увидев, какое огромное, трудное дело дали ему в руки. И все спрашивал, спрашивал, доискиваясь правды и пытаясь в ней сам разобраться.

И то, что он был немногоречив, понравилось людям. А то, что не кричал, некоторых даже испугало. Заведующие шахтами не успели еще почувствовать его руку, но уже догадались, что рука будет крутая, шахтерская...

— Слава богу! — сказал старик Горовой, заведующий шахтой «4-бис».— Кажется, наконец, дельного хлопца дождались...

Только с Андреем отводил Виктор душу. Они часто, хоть и ненароком, сталкивались где-нибудь на шахте, под землей или в конторе. А иногда, поздно ночью, возвращаясь с шахты, Виктор просто вваливался к Андрею домой, как был в пыльнике и грязных сапогах, и они засиживались до утра, беседуя...

— Ох, тяжелое, тяжелое досталось мне наследство! — ему одному жаловался Абросимов.— Плохо вы тут хозяйнували...

— Куда хуже! — соглашался Андрей, хоть к этому хозяйничанью имел касательство малое: всего месяц, как приступил он к исполнению обязанностей первого секретаря горкома. До этого все работал парторгом на «Марии».

В последнее время секретари горкома партии менялись часто. Уже давно уехал на учебу Нечаенко, давно работал в обкоме партии Харитонов. Предшественник Андрея был человек новый, плохо знающий угольное дело; его сняли вместе с управляющим трестом.

На пленум приехал секретарь обкома и, к общему удивлению, порекомендовал возложить исполнение обязанностей первого секретаря горкома не на Швыркова — второго секретаря, а на Андрея Воронько. Швырков остался вторым и сразу же сделался тайным и непримиримым врагом Андрея.

Но Андрею тоже некогда было думать об этом; он, как и Виктор, «ползал по лавам», знакомился с людьми.

— Куда хуже! — соглашался он, слушая Виктора, и в свою очередь рассказывал ему, что сам видел на шахтах, освещая неожиданным светом уголки, оставшиеся темными для Виктора, метко характеризовал людей. Он словно опять, как тогда в лаве, в ночь рекорда, светил Виктору лампочкой, чтоб легче было ему рубать, опять подбадривал:

— Давай, Виктор! Давай, родной! Давай...

Он и сейчас говорил ему, смеясь:

— Ничего, ты выдюжишь. Ты, черт, двужильный!.. Мы в тебя все верим.

Вместе с Андреем Виктор пошел в первый раз после приезда и на «Крутую Марию». Пошел не как управляющий. Как сын. И невольный трепет почувствовал он, едва переступил порог нарядной.

Шахтеры встретили его тепло. Они уже узнали его имя-отчество, но по-прежнему говорили ему «ты» — с дружбой и лаской.

В нарядной Виктор неожиданно столкнулся с дядей Онисимом. Они обнялись. У старика даже невольно слеза рванулась, он ее и не устыдился.

— Дядя Онисим, да что ты тут делаешь, в нарядной? — удивился Абросимов.— Ты что, уже не комендант?

— А я, милок, на пенсии, на пенсии...— торопливо ответил старый крепильщик.— Персональный я пенсионер, как же! — не без гордости прибавил он.

— Так зачем же в шахтерках?

— Как зачем? А в шахту еду!

— Так ты ж говоришь — на пенсии!

Все засмеялись вокруг. С хитрецой усмехнулся и сам дядя Онисим.

— А это... это, сынок, так...— ответил он.— Это, чтоб, значит, дома не скучать. Да и врачи советуют; говорят, моим легким горный воздух нужен.

— Выходит, перехитрил ты своих «выдвигателей», дядя Онисим? — улыбнулся Виктор.— Все-таки вернулся на шахту?

— Вернулся! Как не вернуться? — растроганно сказал старик.— Мне, милок, и умирать тут в шахте...

Он и не знал тогда, что слово его — вещее.

Подошли Светличный и Прокопий Максимович. Вот они снова собрались все вместе на «Крутой Марии» в нарядной, как и десять лет назад, в «день рогожи», как и пять лет назад, в ночь рекорда, как и два года назад, в утро после свадьбы Виктора... И нарядная все та же, что была. И стены, хоть, видно, и побеленные недавно, но уже в тех же знакомых пятнах... Да и измазали их, видно, все те же знакомые спины — забойщиков, крепильщиков, проходчиков, старых товарищей Виктора.

Ему захотелось узнать, кто сейчас из забойщиков гремит на шахте, кто является теперь наследником и преемником его шахтерской славы.

Он спросил об этом Светличного.

— Да все Митя Закорко,— ответил тот.— И Великанов Алексей. Этот — новый... Они и гремят...

Виктор поискал глазами Митю Закорко, своего давнего конкурента, и — не нашел... Зато в толпе, густо окружавшей его, разглядел Сергея Очеретина. И весело подмигнул ему.

— А ты что ж, Серега, позволяешь? — крикнул он ему через головы.— Допускаешь, чтоб новички тебя обгоняли?

Очеретин смущенно высунулся вперед.

— Да ведь что сделаешь? — своим певучим, комариным голосом отозвался он.— Сам знаешь, какое у меня образование? Полторы-две нормы я, конечно, даю... А за образованными угнаться где же? — и он даже лампочкой махнул.

— Кто ж это образованные? — усмехнулся Абросимов.

— А хоть бы и Великанов. Он и училище кончил. И на курсы ходит. И книжки запросто, как профессор, листает. Ну, ясно — все секреты ему и известны.

— Какие секреты? — спросил заинтересованный Виктор.— Любопытно узнать...

— А секретов никаких нет! — неожиданно сказал шахтер, стоявший совсем близко от Виктора. Это и был Великанов.

Он оказался совсем не похожим на свою фамилию молодым пареньком, белобрысым и застенчивым, похожим на девушку. Виктор угадал в нем новый и малознакомый ему еще тип шахтера — из училища, и невольно вспомнил себя, каким он был в его годы. «Нет, я, пожалуй, был покрепче и победовей»,— самодовольно подумал он.

— Никаких нет секретов,— повторил Великанов застенчиво, но не робко.— Я и Очеретину советовал... И другим... Просто интересуюсь я геологией, вот и все...

— Ну и как же вы применяете вашу геологию? — спросил Виктор, сам не заметив, что вместо обычного здесь приятельского «ты» говорит этому мальчику «вы».

— Изучаю структуру пласта, на котором мне работать, давление боковых пород... В общем, ничего особенного! — вдруг совсем застеснялся Великанов.

— Ты про свою теорию отжима расскажи, Алексей! — ласково сказал ему Светличный. Видно, Великанов был его любимцем, а может быть, и питомцем; у Светличного всегда есть питомцы.

— Это любопытно,— сказал Виктор и впервые почувствовал в своем голосе что-то непривычно начальственное, отчего вдруг сам смутился.— Нуте-ка, нуте-ка, давайте!

— Видите ли, это так...— объяснил Великанов.— Я заметил, что если сделать подбой и так оставить до завтра, то назавтра уголь становится мягче... рыхлее, что ли... Боковые породы как бы выжимают его, и тогда его совсем легко брать. Я всегда к концу упряжки подбой делаю и оставляю... И ребятам советовал...

— Вот как! — удивился Виктор и совсем внимательно посмотрел на парня. «А он тоже... бедовый, по-сво-

сму! Мне в свое время такие теории в голову не приходили. И говорит чисто, культурно. И шахтерки у него аккуратные, словно он не в угле возится, а в фруктовом саду...»

— И сколько же вы таким манером угля «выжимаете»? — спросил он Великанова.

— А когда как! — скромно отозвался забойщик.— Вот вчера триста тонн взял...

— Триста?!

Да, это втрое больше знаменитого рекорда Виктора! Выходит,— и следа и пыли не осталось от былой абросимовской славы. Триста тонн! А в газетах — никакого шума. И сам герой не шумит, стоит, скромно потупясь... как красна девица... как мимоза... «Интеллигент какой-то, черт его побери совсем! И на шахтера-то не похож!»— подумал Абросимов почему-то с неприязнью и даже с обидой.

— Ну, а водку-то ты пьешь? — грубо и для самого себя неожиданно спросил он.

Шахтеры дружно захохотали шутке начальника, а Великанов резко вскинул голову и вдруг прямо в глаза посмотрел управляющему и ничего не ответил. И Виктор смутился под этим быстрым, чистым и, как сталь, светлым взглядом, в котором даже и упрека не было, ни укоризны, ни оскорбленного юного самолюбия, а было что-то такое, что сразу переменило их роли, сделало мальчика Великанова — судьею, а Абросимова — ответчиком, заставило его смутиться и покраснеть. И он сам почувствовал, что краснеет, и рассердился на себя на это. А рассердившись на себя, тут же, как это всегда бывает, захотел сорвать свое зло на других.

— Вот видите, какие у вас на шахте орлы! — хриплым, каким-то уже совсем начальническим тоном крикнул он.— А сидите по уши в прорыве, как черти в болоте...

— Так ведь это ж — случай, случай...— обиженно зашумели шахтеры. Тут уж не Великанова, тут их общую честь задел управляющий.

— Что ж сделаешь, когда сброс случился?! — раздались изо всех углов голоса.

— На природу управы нет. Прокурору не пожалуешься.

— Шахта — она шахта и есть.

— Один третий участок и не выполняет плана. Поскольку у них сброс. А у нас — все сто, как часы, каждый день.

— Ведь тут какое дело вышло, сынок...— высунулся вперед дядя Онисим.— Стихия! Наткнулись на нечаянный сброс, что сделаешь! — он покачал головой.— Крутая наша Мария, ох, крутая! То выбухнет, то выпучит, то выбросит — страсть!

— А сбросы надо предвидеть! — нетерпеливо перебил его Абросимов.— На то карты есть...

Но тут он вспомнил, что эта шахта Светличного, вспомнил, что сам он — управляющий и ему кричать нельзя. Остановился. Передернул плечами. И сказал уже мирно:

— Ладно! И со сбросами разберемся. Давайте лучше закурим, хлопцы!

Он достал из кармана коробку папирос и, раскрыв ее, протянул.

И когда со всех сторон потянулись к коробке бесцеремонные, дружеские руки, он опять почувствовал себя сыном, вернувшимся в отчий дом. Но сыном, на плечах которого теперь лежит вся забота о семье.

4

Только в предмайские дни вызвал, наконец, Виктор Абросимов к себе в трест всех заведующих и главных инженеров шахт. Пришел на совещание и Андрей.

— Рассаживайтесь, товарищи! — хмуро пригласил Виктор, продолжая стоять за своим столом и роясь в бумагах так, как, по его мнению, должен был рыться в бумагах большой начальник.

Люди поспешно и молча расселись. Ожидалась гроза. Даже скрип стульев был какой-то тихий, подавленный.

Только старик Горовой равнодушно позевывал: он к грозам привык, а на совещаниях ему всегда было скучно.

Виктор быстрым взглядом окинул собравшихся: все в сборе. Вот они все тут, все командиры шахт, его командиры полков: Светличный, Голубев, Посвитный,

Горовой, Беловежа, Шумилов, Ангелов. Любой из них старше Виктора, мудрей и многоопытней; только русый красавец Беловежа ему ровесник. А работают они все плохо!.. Мудрецы! Ишь, сидят, в усы отдуваются... Усы завели. Побрить бы их всех!

Но он твердо решил держать себя в руках. Он и сейчас не станет кричать, брызгаться не будет. До этого он не унизится. Но будет беспощаден.

Он опять, но уже исподлобья, поглядел на всех. Потом взял какую-то бумагу со стола и поднес к глазам.

— Я думаю,— хрипло начал он,— что каждому из вас будет интересно узнать итоги вашей работы за апрель. Извольте, я оглашу.

Все шеи вытянулись. И хотя каждый заведующий знал свои итоги назубок, до ночных кошмаров, все напряженно слушали, словно надеялись услышать что-то новое.

А итоги в самом деле были печальны. Ни одна шахта не выполнила апрельского плана. И в новый месяц трест вступал с длинным хвостом долга.

— Таково зеркало вашей работы! — сказал Виктор.— Так сказать, наш первомайский подарок родине...

— Не срами! — тихо попросил Горовой, вдруг сразу и неожиданно вспотевший.— Самим стыдно...

— Стыдно? — звонко подхватил Виктор, но тотчас же взял себя в руки крутым усилием воли. Только сжатый кулак его задрожал на настольном стекле.— Хорошо хоть стыдно...— пробурчал он.— А то люди со стороны думают, что мы и вовсе стыд потеряли.

Все по-прежнему молчали. Андрей смотрел в окно. Там, на площади, перед самым трестом плотники сколачивали первомайскую трибуну. Вероятно, им самим нравилась эта веселая, почетная работа; было видно, как они, оживленно смеясь меж собою, споро и охотно постукивали молотками.

— Хорошо! — сказал Виктор, вставая.— Я не буду попрекать вас прошлым. За прошлое вы, а не я в ответе. А вот за будущее,— чуть повысил он голос,— за будущее нам уж вместе придется отвечать. И крепко отвечать!

Он вышел из-за стола и крупными шагами пошел по комнате. Его проводил не один встревоженный взгляд.

У двери Виктор остановился, потом почти бегом вернулся к столу. Но не сел. Больше он уже вообще не садился.

— Посмотрим же, с чем мы в май идем,— сказал он.— Начнем...— он обвел взглядом собравшихся, и под этим колючим, недобрым и в то же время где-то в самой глубине неуловимо робким взглядом все невольно поежились.— Ну, вот с вас, Иван Гаврилович, начнем!— сказал он Посвитному.— Поскольку вы и есть главный именинник.

Посвитный тотчас же готовно подался вперед и даже улыбнулся, словно ему было приятно, что «баня» начинается именно с него. Виктор почти с ненавистью глянул в это умильно расплывшееся лицо, на эти седые усики торчком, на волосы ежиком. «Черт его знает, какой-то у него вид... старорежимный! —уже не в первый раз удивившись, подумал он.— И как только могут сохраняться такие ихтиозавры? Заморожены они, что ли?! Уж этого-то он не будет щадить!»

— Всех хуже ваша «София» работает! —отрывисто и зло сказал он Посвитному.— Безнадежно плохо. Что у вас с горизонтом шестьсот двадцать?

— Стараемся, Виктор Федорович, изо всех сил стараемся!..— даже прижимая руки к сердцу, ответил Посвитный.

— Плохо стараетесь. Я ведь был — видел. Ковыряетесь вы на этом горизонте, а не стараетесь. Когда горизонт должен был войти в строй? — обернулся Абросимов к Петру Фомичу, главному инженеру треста.

— Около двух месяцев назад,— нахмурив брови, ответил тот.

— Не «около», а точно! — воскликнул Виктор.— Ровно два месяца фигурирует этот злополучный горизонт в плане добычи, и ровно два месяца с него ни единого грамма угля! Ну, как же тут выполнять план по тресту, скажите, пожалуйста?

— Справедливо, совершенно справедливо, Виктор Федорович! —поторопился улыбнуться и даже хихикнуть Посвитный.

— А ваш действующий горизонт? Пятьсот? Разве он дает то, что должен давать? Что ни день — аварии, простои, безобразия...

— И это совершенно точно вы заметили! — опять охотно закивал головою Посвитный. И нельзя было понять, действительно ли смиренно кается и сокрушается Посвитный, или юродствует, издевается над молодым начальником.

«Ах, верткий, верткий, скользкий какой! — невольно восхитился Горовой, наблюдая, как разнимает Посвитного по косточкам управляющий, а Посвитный все крутится, все юлит, вывертывается головой, и ускользает, и ускользает...— Да неужто опять целым уйдет? — даже взволновался старик; как и большинство заведующих, он Посвитного терпеть не мог. Неужто и сейчас не подцепят его под жабры? Да где там! У него жабер-то нет. Кожей дышит. Уйдет!» — решил он и громко, ожесточенно хмыкнул.

Виктор тотчас же, словно только этого трубного звука он и ждал, обернулся к нему.

— А теперь вы, Сидор Трофимович! — сказал он тоном, который ничего доброго не обещал.

Горовой сразу же принял свой обычный, защитный, равнодушный вид. Только чуть приосанился да ногтем большого пальца молодцевато тронул свои дремучие запорожские усы: мол, пожалуйста, критикуйте, я — готов.

И стал слушать.

— У вас, Сидор Трофимович, пласты пологие, надежные, с хорошей устойчивой кровлей. Золотые пласты! А что вы с ними делаете? — выговаривал ему молодой управляющий.— И коллектив у вас надежный, старый, золотой. Замечательный коллектив! А как работаете?

— Сам знаю — никуда! — добродушно согласился Горовой и тут же пожаловался: — Неполадки нас губят, то да се.

— Не неполадки вас губят,— строго сказал Виктор,— а вы шахту губите. Самое слабое место у вас — механизмы. Варварски вы наши золотые машины используете...

— Что-о? — взревел Горовой, разом потеряв свой равнодушно-снисходительный вид и даже приподымаясь с кресла.

— Варварски! — брезгливо повторил Виктор.

У Горового обиженно задрожали губы под усами.

— Это ты зря, зря обижаешь, Виктор Федорович! — со стариковским укором сказал он.— Это ты мне в самое дорогое попал.— Я — машину обожаю. Я с каждой новой машиной, как с дитем, нянчусь, хоть сам и не механик. Я, если хочешь знать, первый механизатор по нашим местам, это пусть все подтвердят.

— Вот ты и живешь этой старой славой первого механизатора,— усмехнувшись, ответил Абросимов.— А от славы-то уже одни лохмотья остались... Одни дыры... Ну, какие у тебя сейчас лавы, в каком они виде? Ведь все, как на подбор,— скособочены, покривлены...

— Это верно...— шумно вздохнул Горовой.— Лавы — это я согласный...

— А отчего лавы покривлены?

— Ну, причин много...— развел руками Горовой.

— Одна причина: плохая работа врубовых машин! — строго сказал Абросимов.— Не берут твои врубовки верхний куток, оставляют... То есть полной цикличности нет. А косая лава — косой и конвейер. А где косо — там и рвется. Вот и рвутся конвейерные рештаки... вот тебе и твои неполадки...

— Так главная причина — напряжение низкое в моторах... Что тут сделаешь? Оттого и врубовки не доходят... не берут верхний куток...

— А отчего напряжение низкое? — охотно подхватил Виктор.

— Я так мыслю, что моторы старые,— нерешительно объяснил Горовой.

— Не верно! Я видел ваши моторы. Им еще, как солдатскому котелку, служить да служить. А напряжение низкое у вас оттого, что трансформаторные камеры отстают...

— Не поспевают, это верно...— крякнул Горовой.— Так ведь не намного...— И он уже, как школьник на учителя, робко посмотрел на бедового управляющего.

— «Не намного»! — зло передразнил Абросимов.— Всего на десять — двадцать метров... Так? А ты знаешь ли, первый механизатор, сколько ты на каждом метре теряешь? Считал? А я у тебя на шахте подсчитал. Ты тридцать процентов напряжения теряешь на зажимах мотора из-за отставания трансформаторных камер.

Горовой беспомощно взглянул на него и вдруг густо-густо покраснел,

— Пристыдил! — тихо сознался он.— Пристыдил старого дурака! Постой-ка! — он кряхтя полез в карман и извлек оттуда клеенчатую записную книжку и толстый карандаш.— Дай-ка я запишу себе на память. Скажи, пожалуйста! — удивился он.— Такую простую вещь, а упустил.

— Запиши, запиши! — улыбнулся Виктор, следя за стариком повеселевшими глазами. Но потом вдруг круто повернулся, чтоб обрушиться уже на следующего завшахтой,— на этот раз на Голубева, человека с простодушным, добрым, приятным и каким-то точно всегда обрадованным лицом, жизнелюба и хлебосола.

Ругать его было невозможно,— такое у него было лицо.

— Вот и у вас, Яков Афанасьевич,— тоже невольно улыбнувшись ему, сказал управляющий мягко,— все лавы искривлены. Не лавы, а балерины какие-то! На носочках стоят! «Лебединое озеро»!

— Мазурка...— неопределенно вставил Петр Фомич.

— А с чего бы вам плясать? — насмешливо спросил Абросимов.— С какой-такой радости? Что план не выполняете? Так тут пляски печальные... Нет, лавы надо выправить! — уже без улыбки сказал он.— Выправить!

— Слушаю, Виктор Федорович,— пробормотал Голубев.

— Вот у вас, кажется на «Куцем Западе», лаву просто положили веером, почти по простиранию. Ну, куда это годится? Нет, выправить, выправить!..— отрывисто повторил он.— В первую очередь — выправить. Тогда и уголек пойдет!

— Будет исполнено, Виктор Федорович...

— А чего ж раньше не было исполнено? И с механизмами у вас тоже, как здесь выражались некоторые руководители, неполадки. А отчего неполадки, отчего аварии? — вдруг рассердился Абросимов, глядя уже не на Голубева, а на всех.— Оттого, что нормальное понятие, которое в наши дни каждому колхознику ведомо, что механизмам нужен планово-предупредительный ремонт,— будто выветрилось у всех из головы. Предупреждаю: за ремонтом буду следить лично! — сказал он,

все так же сердито и исподлобья глядя на всех. Достал папиросу и строго постучал ею по коробке. Потом — закурил.

— Неполадки! Мелочи! — зло пыхнул он дымом.— А каждая такая неполадка тысячи тонн угля стоит. Об этом не вредно бы помнить. Вот вас, товарищ Беловежа, что вас тормозит? — неожиданно обратился он к голубоглазому гиганту с русой окладистой бородой, более похожему на полярника-медвежатника, чем на донецкого инженера. Во время совещания он старательно все записывал себе в блокнот, как еще недавно записывал в тетрадь лекции в институте.

Вопрос управляющего застал его врасплох; он смутился, вспыхнул, зарумянился, и теперь никакая, даже самая густая борода не могла скрыть его желторотой молодости.

Впрочем, управляющий уже сам ответил на свой вопрос:

— Ваша главная болячка — нижний штрек на втором участке, и вы это отлично знаете. Знаете — и терпите. А нужно всеми силами, сколько есть, навалиться на этот растреклятый штрек, дать настоящее опережение и расширить, к черту, узкое место. Так? Так! Отчего же вы этого не сделаете?

— Так ведь добыча, товарищ управляющий...— пролепетал сконфуженный, но самолюбивый, как все молодые инженеры, Беловежа.

— А добычу надо давать! А как же? Нам с вами не за то зарплату платят, что мы породу на-гора̀ даем, да на террикон ее вышвыриваем. Уголь надо давать! И столько — сколько страна требует. Вот я и спрашиваю вас: когда будем настоящий уголь давать?

Но смотрел он теперь не на Беловежу, а на Светличного, и тот понял, что этот вопрос ему, и тотчас же почтительно встал.

— Как у вас на «Крутой Марии» дела, товарищ Светличный? — сухо и даже как бы намеренно официально спросил Виктор.

— Как вам известно, Виктор Федорович, мы в прорыве из-за неожиданного сброса на третьем участке,— спокойно, но тоже с подчеркнутым вниманием к вопросу начальника доложил Светличный.

— Ну, а когда же вы этот сброс пройдете?

— Обещаю, что через десять дней «Крутая Мария» будет давать план, Виктор Федорович.

— Через десять дней? — вздохнул Виктор.— Долго, долго...— но подумал он сейчас не о «Крутой Марии», а об остальных шахтах, которые и через десять дней плана выполнять не будут, и ему стало вдруг тоскливо и тошно, как уже часто бывало в последние дни, словно он попал в липкую, тянучую трясину, а выкарабкаться ему оттуда не дают, барахтаться же в тине — противно.

— Ну, а остальные когда обещают? — хрипло спросил он и посмотрел при этом в окно, словно оттуда, а не от заведующих, должен был прийти правдивый ответ.

— Да ведь вы, Виктор Федорович, такую программу нам начертали, такую программу-максимум,— разведя руками, а потом с хихиканьем потерев ими, ответил Посвитный,— что для ее реализации время, время надобно! Но приложим. Все усердие приложим. И в кратчайший же срок.

— А между тем,— поморщившись, перебил его Петр Фомич,— управляющий требует, и в этом я его целиком поддерживаю, только одного: наведения элементарного, обязательного порядка на шахте. Для этого никаких особенных подвигов не надо.

— Ну,— улыбнулся Андрей,— чтоб теперь да быстро навести порядок — как раз подвиг нужен. И, как на подвиг, надо поднять людей на это дело. Так прямо и сказать им: от каждого требуется подвиг.

А Виктор все смотрел в окно.

«Долго, ох, долго!» — думал он, и только одно это тоскливое слово и дребезжало в его ушах. Вот и деревья зазеленеют, и акации зацветут, и весна в срок выполнит свой радостный план, а Виктор все еще будет барахтаться в трясине... А долг будет расти да расти...

После совещания, когда они остались втроем — Виктор, Андрей и Светличный,— Андрей сказал молодому управляющему:

— Ну, брат, ты прямо как художник нарисовал картину состояния шахт.

— Да, но картина-то невеселая...— вздохнул Виктор.

— Зато, зная болезнь, ее лечить легче.

— Долго, ох, долго!

— Ничего. Мы тебе все поможем. Обещаю, что два месяца никто тебя клевать не будет. Не дадим! А ты спокойно выправляй дело.

— Тем более что курс ты наметил верный,— прибавил Светличный.

— Ты думаешь? — рассеянно пробормотал Виктор.

Как на совещании, так и сейчас, он избегал встречаться взглядом со Светличным: ему казалось, что тот смотрит на своего молодого начальника чуть-чуть насмешливо. Виктора давно уже мучило, что так и не удалось ему поговорить со Светличным откровенно и по душам. Не пора ли все-таки это сделать?

— Ты извини меня, Федя,— хрипло и опять не глядя на Светличного, сказал Абросимов.— Мне перед тобой, ей-богу, неловко...

— Почему? — изумился тот.

— Ведь если по правде, по справедливости, так тебе бы здесь руководить, а мне бы тебе подчиняться...

— Вот ты о чем! — чистосердечно расхохотался Светличный, но потом, увидев, что для Виктора это слишком серьезно, придвинулся ближе к нему и сказал, свирепо нахмурив свои косматые брови: — Ты это выбрось, выбрось из головы. Партия лучше знает, кого из нас куда ставить. А я к тебе дорогою душою,— слышишь? — дорогою душою готов и подчиняться и помогать,— и он протянул Виктору руку.

Тот растроганно схватил ее.

— Ну, спасибо! Слушайте, хлопцы! — вдруг, сразу повеселев, вскричал он.— А давайте-ка все ко мне в гости. Ведь мы за этими чертовыми делами так ни разу по-человечески и не встречались.

Друзья охотно согласились, и они шумной, ребячьей ватагой ворвались в новый директорский дом.

Даша обрадовалась им. Обрадовалась гостям, обрадовалась тому, что Виктор рано пришел домой,— не часто она теперь его видела. Она сразу же засуетилась, захлопотала, забегала.

— Сейчас, сейчас буду вас кормить! — посулила она на бегу.— Ведь вы же, как черти, голодные?..

А Виктор стал показывать гостям свой новый дом.

Ему самому здесь не все было знакомо. Каждая картина на стене, каждая безделушка на буфете были для него самого открытием. «И когда только Даша успела? — восхитился он.— Она наладила дом быстрее, чем я — трест...»

— В этом доме жить можно! — изрек Светличный, когда, осмотрев все закоулки, вплоть до веранды и сада, гости вернулись в кабинет.

— И хорошо можно жить,— прибавил Андрей, но тотчас же и заметил: — Э, а книг-то у тебя маловато!..

— Ну, совсем как Нечаенко! — расхохотался хозяин.— Помнишь, как он раз перетряхнул нашу библиотечку?

И они, словно сговорившись, в этот вечер предались роскоши воспоминаний.

5

Только тот, кто, как добрый хозяин, знает настоящую цену каждому рабочему дню, кто в итогах трудового месяца коллектива привык видеть и свое, личное счастье или несчастье, для кого мертвые цифры в сводке не мертвы, а исполнены жизни, борьбы и треволнений,— тот знает, как круто даются последние дни месячного плана и как у иных ротозеев легко, вскачь, словно мелочь из дырявого кошелька, сыплются первые дни: не успеет оглянуться,— а уж рассорил, растерял добрую половину...

Вприпрыжку, медяками, легкими гривенничками покатились первые майские дни, и хотя Виктор старался каждый пятак поставить ребром, из каждого дня выжать все капли,— он и сам не заметил, как растаяла первая неделя. А сделал он, как ему казалось, мало, совсем мало, почти ничего.

Но ночью пятого, точнее — ранним утром шестого мая его разбудил телефонный звонок. Виктор тотчас же схватил трубку. Он все еще никак не мог привыкнуть к этим тревожным ночным звонкам; за каждым из них ему мерещилась катастрофа.

Звонил Посвитный. Каким-то незнакомым, не своим — спокойным, деловым голосом, без обычного хихиканья, он извинился за то, что так рано потревожил на-

чальника, и Виктор, холодея, догадался, что стряслось нечто необыкновенное.

— Да что, что случилось-то? — нетерпеливо крикнул он в трубку.

— Докладываю,— медленно и с достоинством отвечал голос, совсем не похожий на голос Посвитного.— Только что мы выдали на-гора последние вагончики угля и тем самым выполнили суточный план на сто три процента...

— Что? Что? — ушам своим не поверил Виктор.

— Выполнили суточный план на сто три процента,— повторил Посвитный.

— Да как же это... как же ты, дорогой ты мой! — откидывая прочь одеяло и касаясь босыми ногами пола, закричал потрясенный Абросимов.— Да быть этого не может!

— Приглашаю приехать, убедиться...

— Приеду! Дорогой ты мой! Да немедленно же приеду! Да уж не обсчитались ли вы? — вдруг встревожился он.

— Нет,— успокоил Посвитный.— Точно. Как в аптеке. Не извольте сомневаться...— и больше уж не выдержал: захихикал.

Через полчаса Абросимов катил по дороге на «Софию». Ему не терпелось самому удостовериться в правде слов Посвитного, он готов был сам пересчитать все вагонетки с углем.

Сомнения не оставили его. Он до деталей знал все свои шахты, знал, чем каждая дышит; то было дыхание тяжелобольного. И вдруг ему говорят, что больной лихо вскочил с постели, взял одр свой под мышку и поскакал на майскую лужайку играть в футбол. Да быть этого не может!

«Но, с другой стороны, не станет же Посвитный меня разыгрывать? Такими вещами с управляющим не шутят! Не первое апреля. Значит, правда, правда!..— ликовал он.— Началось, сдвинулось... Вот тебе и Посвитный! Ну, молодец, ну, одарил сюрпризом... Вот это подарок так подарок!»

— Что вы сказали, Виктор Федорович? — обернулся к нему шофер.

Оказывается, Виктор, сам того не замечая, уже вслух воскликнул: «Сюрпризец, да, сюрпризец!»

Он засмеялся:

— Погодка, говорю, отличная!

— Да уж чистая благодать! — охотно отозвался шофер, щурясь от нестерпимого солнца.

А утро и в самом деле было необыкновенное. Во всяком случае, таким оно казалось Виктору сейчас. Да кто это выдумал, будто в Донбассе небо низкое, дымное, серое? Оно — вот оно какое: и дна в нем нет! И не голубое оно, не синее, в какое-то нежно-светлое, чистое и озаренное: в природе и колера к нему не подберешь! И кажется, что оно все время подымается, подымается куда-то еще выше, словно улетает... И вслед за ним с земли тоже тянется ввысь все живое: и юные всходы, и первая зелень озимых, и тополиные ветки с трепетными листочками, и даже сама дорога, круто взвивающаяся ввысь...

«Да-а, весна лихо выполняет свой план! — усмехнулся Виктор.— Ну, да и мы, кажется, начинаем!»

Посвитный встретил его на крыльце конторы: вероятно, увидел машину из окна. Абросимов нетерпеливо рванулся к нему, схватил руку.

— Значит, правда? Точно?

— А вы все не верите? Не доверяете нам? — укоризненно сказал Посвитный и, ласково взяв начальника за локоток, ввел его в свой кабинет.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте же, как достигли, как добились? — жадно потребовал Абросимов, плюхаясь без разбору на первый попавшийся стул.

— А поднатужились! Поднатужились, Виктор Федорович! — жидким тенорком ответил Посвитный и потер руки.— По совести сказать, отношу я наш первый успех в ваш адрес. Уж не сочтите за подхалимство, сроду этим не грешил, да и стар, а прошибли вы меня тогда на совещании, да как прошибли, прямо вам скажу! — проговорил он, придвигаясь вместе со своим стулом ближе к Абросимову.

— А-а! — довольно ухмыльнулся Виктор,— значит, дошло.

— И еще как дошло-то! — с каким-то рьяным восторгом подхватил Посвитный и, схватив обеими рука-

ми коленки управляющего, тихонько и нежно потиснул их.— Как дошло! До самого нутра. Тогда-то и пригляделся я к вам,— прибавил он, подвигаясь еще ближе.— Вижу: дерзкой отваги человек! Смелый, находчивый, нетерпеливый. Рискованный человек, а такие мне всегда по душе. Я ведь, голубчик Виктор Федорович,— уже захлебываясь от избытка чувств и дыша Абросимову в лицо, шептал он,— я на своем веку много начальников перевидал! Начальники-то надо мной часто меняются! Они, как тучки, приходят и уходят... А я все — сижу. Даже сам чувствую: засиделся на шахте! — прибавил он, конфузливо улыбаясь и пожимая плечами. При этом он бросил косой, осторожный взгляд на Виктора.

Почему-то вдруг стало Виктору неловко. «Действительно, старый, опытный человек,— подумал он,— а я мальчишка... И несправедлив я к нему был, нехорошо даже...»

Он спросил как можно ласковее и предупредительнее:

— Как же вы все-таки успеха добились, Иван Гаврилович? Мне это интересно.

— А единственно в подарочек вам,— радостно отозвался Посвитный.— В подарочек! Знал ведъ, чем вас обрадовать можно! — захихикал он и опять нежно коснулся рукою коленки начальника.

— Да что же вы — маг, чародей? Добрый гений?

— А как видите...— скромно улыбнулся Посвитный, но тотчас же и встрепенулся.— Конечно, наш успех — это только первая ласточка, не больше. И, разумеется, одна ласточка весны не делает, но...— многозначительно потряс он рапортичкой, в самом деле похожей на ласточку в полете,— но весну предвещает!

— А завтра, значит, опять девяносто три? — нахмурился Абросимов.— Или и того меньше?

— А это уж как вы прикажете...— тихо ответил Посвитный.

Виктор недоуменно вскинул на него глаза.

— То есть как это: как я прикажу? — вскричал он.— У нас с вами, Иван Гаврилович, один приказ, приказ Родины: добычу давать!

Что-то нехорошее начиналось между ними, и Виктор вдруг это почувствовал. Он в упор посмотрел на По-

свитного, словно хотел дознаться, да что ж у этого человека на дне, что он меня мутит? Но Посвитный молчал.

Потом, после нестерпимо долгой паузы, наконец, проговорил глухо:

— А это на свою совесть... я один взять не могу... Не смею...

И Виктору все стало ясно.

— А-а, так вот оно что! — разочарованно протянул он. И сразу померкла для него вся его радость этого необыкновенного утра, небо упало на землю.

А ведь он это предчувствовал, предчувствовал! И когда мчался сюда, на шахту,— предчувствовал, не верил. Ласточка-то оказалась куцехвостой.

— А ну, давайте-ка мне рапортичку! — отрывисто приказал он и почти вырвал ее из рук Посвитного.— Та-ак...— пробурчал он, привычно разбираясь в колонке цифр.— И ни одного вагончика породы на-гора.

— А ведь вы сами, сами, Виктор Федорович,— заглядывая через плечо, заискивающе сказал Посвитный,— сами изволили высказаться, что нам зарплату не за породу дают!..— и он захихикал, но уже опасливо.

— А вы со мной шутки шутить бросьте! Слышите? — разозлился Абросимов.— Вы что ж, совсем прекратили подготовительные работы на горизонте шестьсот двадцать?

— Только на сутки... На одни суточки... Ради ласточки. Единственно с тем, чтобы шахтерам перспективу показать. Чтоб, так сказать, весну материально обозначить...

— Ну, а дальше как?

— А дальше? А это уж, как вы прикажете. Видите ли, Виктор Федорович, я ведь своим местом не дорожу.

Но управляющий продолжал хмуро рассматривать рапортичку.

— Ни местом, ни службой, ни состоянием, поскольку такового и не имею. Чистый пролетарий. Даже коровкой и той не обзавелся.

— К чему вы мне это говорите? — тихо спросил Виктор.

— А единственно к тому,— оживился Посвитный,— что как ничем, кроме чести своей, не дорожа,— я и рис-

ка не боюсь. И всегда самый смелый маневр предпочитаю позиционной канители.

— Где ж тут маневр?

— А у умного человека маневр всегда под рукой. Вот, изволите ли видеть мой замысел,— наклонился Посвитный над столом, как военачальник над картой, и стал пальцем водить по пыльному настольному стеклу.— Где у меня сейчас слабое, так сказать, самое уязвимое, место? План добычи! Так? Вот я сюда все силы и бросаю. На направление главного удара. И выполняю план, и выигрываю время. А тем временем входит в строй и мой новый горизонт, так сказать, подтягиваются резервы...

— Как же «тем временем» войдет в строй ваш новый горизонт, когда вы его забросите. Чудом, что ли?

— Справедливо, справедливо... Увлекся,— засмеялся Посвитный и даже головой виновато покрутил.— Так ведь у меня и поле-то для маневра узенькое: одна шахта. И то, как видите, сманеврировал. Положено мне из трех смен одну иметь ремонтную. А я вчера все три смены сделал добычными, а ремонтик на сутки и отложил. И выиграл! Не скрою от вас, снял я вчера проходчиков с горизонта шестьсот двадцать и всех на добычу бросил. На сутки. Единственно на одни сутки. Ради маневра. И вот обрадовал вас подарочком,— выполнил план. И время выиграл. Сманеврировал в моих тесных обстоятельствах. А ведь у вас-то, Виктор Федорович,— вкрадчиво прошептал он,— у вас-то для маневра— плацдарм! Трест. Ватерлоо!

Виктор вздрогнул. А ведь эта мысль уже пришла ему и самому в голову! Уже сам подумал он о том, что в масштабах треста действительно можно маневрировать... Маневр, риск, выигрыш времени — какие заманчивые, какие соблазнительные и опасные слова! Нет, надо подумать, подумать, взвесить...

А Посвитный, словно разнюхав, словно угадав, что творится сейчас в душе Виктора, продолжал шептать да шептать. Он уже, как червяк, вполз в мозги управляющего, и точил, и точил, и точил...

— Удивляюсь, как Петр Фомич раньше не подсказал вам! Опытный горняк. Ходы-выходы знает. Да что греха таить — куцой, куцой, трусливой души человек!

Не такой бы вам главный инженер нужен. Он ведь все норовит, чтоб осторожненько, да аккуратненько, да по инструкции! Конечно, чего бы лучше! — снисходительно засмеялся он.— Починить бы все полегоньку, да подвинтить, да наладить, а уж тогда, с божьей помощью, и план выполнять. Не спорю — хорошо-о! Благодать! — и вдруг угрожающе надвинулся на Виктора.— Да только нам-то, грешным, никто такой воли не дает. Нет! Нет-с!..— с каким-то злорадством, даже с присвистом произнес он.— Нет, не дает!.. На ремонт-то нас не остановили. Обязательства-то с нас не сняли! А время-то идет! А долг-то растет! А худая слава-то не лежит — по дорожке бежит, на весь свет. Глядь,— ан тебя уж и сняли за невыполнение плана добычи. И все твои плоды, и надежды, все, что ты от саженцев своих ждал, от росточков — все не тебе, а уж твоему преемнику достанется, а он, подлец, и спасибо не скажет!

Он видел, какое смятение раздул в душе начальника, какой переполох там поднял, и — обрадовался. Он и сам еще не знал, что за корысть ему, Ивану Посвитному, в этом душевном переполохе, но уже наслаждался им, наслаждался, как мелкий пакостник, который в любой кутерьме видит свою радость. «Теперь только подогревать да подогревать. Накаливать!»

Но Абросимов вдруг встал и одним властным, нетерпеливым жестом сразу осадил Посвитного на место.

— Хорошо, хорошо! — небрежно и не глядя на него, сказал управляющий.— Об этом — в другой раз, в свободное время...

— Как вам угодно, Виктор Федорович.

6

Иван Гаврилович Посвитный сам любил называть себя «последним из могикан»: молоточки на фуражке он носил еще до революции. Его однокашники, птенцы Лисичанского училища горных штейгеров, давно уже стали солидными, важными, даже облезлыми птицами, свили себе гнезда — уютные и долговечные. Иные из них прогремели как крупные специалисты, другие покойно доживали свой век во всяких инспекциях и технических отделах.

Только он один, Иван Посвитный, едва ли не самый жаждущий, самый честолюбивый из всех, прозябал на шахте. Он и сам не понимал, почему так вышло. Уж он ли не алкал, он ли не вожделел, он ли не продирался? Нет, себя он ни в чем не мог винить. Виноваты были люди, обстоятельства, судьба.

Иногда он сам вопрошал себя: да где же я ошибся, когда прозевал, когда упустил свое? Начало карьеры было многообещающим: сразу же после училища он стал заведовать шахтой, правда, маленькой, купца Харченко, но все же шахтой. Об этом безветренном житье он и теперь вспоминал часто, рассказывал охотно, но всегда по-разному. Иногда так: «Да, погнул-таки и я выю на хозяина-самодура!» А иногда иначе: «Мой купчишка-то простой был человек, малограмотный. В дело не входил, проживал в Харькове и только одного от меня требовал: «Давай, говорит, мне рубль прибыли на каждого шахтера, а больше от тебя ничего и не требуется». И Посвитный аккуратно отсылал хозяину его рублики, при этом не забывал и себя.

Революцию Иван Посвитный встретил со смешанным чувством страха и надежды. Несмотря на молоточки, он белой костью не был; дед его еще пахал землю. Он вспомнил о деде кстати. Революция сдула с шахт баричей и иноземцев; курские однокашники Посвитного круто пошли в гору. Он увязался за ними, но с оглядкой; а вдруг да Харченки еще вернутся!

На первых порах он затесался в толпу горных чиновников ЦПКП [1]— стал служить в каком-то секторе какого-то подотдела. Он долго считал это место временным,— никто ведь не будет полагать жилищем случайный шалаш во время грозы,— и он жил в своем подотделе, как в шалаше, отсиживался, чистил перышки для грядущих полетов да изредка тревожно высовывал на волю свой птичий клюв: не прояснилось ли уже, не успокоилось ли?..

Он и сам не заметил, как привык к своему убежищу. И все вокруг привыкли, что он занимает именно это место, а другого занимать и не может. Однажды Посвитный спохватился, да было поздно. Его однокашники дав-

[1] Центральное правление каменноугольной промышленности.

но уж ушли вперед, стали инженерами, иные даже доцентами и профессорами; он один оставался штейгером-недоучкой.

Все-таки он предпринял судорожную попытку взлететь и для этого приложил все свои таланты особого рода. Но они одни уже не могли помочь ему: к ним надо было бы еще диплом инженера или по крайней мере опыт долголетней работы на шахтах. Ни того, ни другого у Посвитного не было. У постаревшего птенца не оказалось крыльев.

Даже шахтинское дело, в котором Посвитный запачкан не был, не послужило ему для выдвижения. Вредителей быстро заменили новые люди. Страна уже имела свою молодую техническую интеллигенцию. Посвитный, разумеется, не принадлежал к ней. Не принадлежал он и к старой интеллигенции. Он был просто маленький служащий вечно реорганизующегося главка. От долголетнего прозябания в канцеляриях из него окончательно выветрились черты горняка. Теперь он был только конторщик — в длинной толстовке и потертых штанах.

— Не повезло, ах как обидно, не повезло! — оскорбленно сокрушался он. Но и тут себя не винил. Опять виноваты были люди, обстоятельства, время.

Как все неудачники, он был суеверен, верил в везение и невезение, в чет-нечет; в случай — счастливый или несчастный; и, как все завистники, ни в ком, кроме себя, ни талантов, ни знаний не признавал. Тогда-то и появилась у него манера, хихикая, издеваться над всем и вся, юродствовать, кривляться. Никогда нельзя было угадать, шутит он или обижает всерьез, и, ловко пользуясь этим камуфляжем, Посвитный осторожно, но едко язвил удачникам, сплетничал, наушничал, даже клеветал. Его стали избегать и побаиваться.

Но только, жаля других, больше всего мучился он сам. Никто и не подозревал, какие скорпионы копошатся в душе этого маленького Бонапарта из подотдела шахтного оборудования. Он сам тиранил себя зрелищем триумфа счастливчиков, ночей не спал из-за каждого нового назначения, во всяком удачнике видел личного своего врага. И все доискивался: да отчего же это, отчего на одних так и льется золотой дождь удачи, а его, Посвитного, обходят стороной?

— Да как же ты, голубчик мой, из грязи да прямо в князи? — зло хихикая и приятельски подмигивая и даже ласково трепля ладошкой по коленке, спрашивал он кого-нибудь из своих однокашников, спрашивал в той увертливой своей манере, за которую можно было и не обижаться на него, а можно — и дать по роже.

— Да ведь не прямо, не прямо, не сразу! — простодушно отвечал удачник.— Я ведь с сединой в висках, да с кучей детей на руках сел за институтскую парту. Стал инженером. Потом долго работал на шахте. Как видишь, не сразу. И ты бы мог!..

Но Посвитный только недоверчиво и ехидно посмеивался.

— Тетушка тебе ворожит, что ли? Или жена красавица? Ну, не завидую, не завидую — поздравляю!..— а сам готов был лопнуть от зависти.

Размышляя над своей незадавшейся судьбой, он решил однажды, что все могло бы быть иначе, будь он коммунистом. Эта мысль сначала ошарашила, а потом восхитила его. «Ну, конечно, конечно же, вот она где закавыка! — воскликнул он, словно Архимед, нашедший, наконец, точку опоры.— Будь я партийным — ого-го!»

Эта мысль, явившись негаданно, теперь уже не оставляла его. Он обсасывал ее медленно, исподволь, на все лады. Принюхивался, приглядывался. И хотя большинство однокашников-удачников коммунистами не были, и хотя ливень удачи и славы равно падал и на партийных и на беспартийных,— Посвитный твердо уверил себя, что без партийного билета ходу в гору нет!

Стало быть, следовало обзавестись партийным билетом, раз уж инженерным дипломом не обзавелся.

Посвитный сознавал, что для этого ему придется круто переменить всю свою жизнь. И прежде всего — уйти из главка. В главке ему ни за что в партию не пролезть. Здесь его знали и не любили. Этого он не скрывал от себя. Он даже гордился этой нелюбовью. «Не любят потому, что боятся! Меня — маленького, безоружного, безвластного человечка — боятся! А кабы мне да власть в руки!»

Значит, надо уйти из главка. Сперва это показалось невероятным! «Как! Покинуть насиженный шалаш, свое, пусть маленькое, но нагретое и надежное местеч-

ко?». Наконец, он решился. Кстати, и благородный повод подвернулся. Уже по всем отделам главка шумел клич: «Специалисты, из канцелярий — на шахту!» — и Посвитный вызвался добровольцем.

Этот поступок всех в главке изумил. Многие просто не поверили, ждали очередного фокуса. Но когда торжественно-грустный, томный и уже как бы отрешенный от всего земного Посвитный и в самом деле пришел прощаться с сослуживцами,— все искренно пожелали ему счастливого пути. И невольно подумали вслед: «А может быть, он и впрямь неплохой человек?»

Очутившись на шахте, Посвитный действительно стал другим человеком: добрым, ласковым, обходительным. Он умел очаровывать людей, когда хотел этого. А теперь он хотел, страстно, нетерпеливо, хотел, чтобы его полюбили, чтобы все ему поверили. И, однако, ему пришлось много истратить времени, прежде чем далась в руки желанная цель. Нет, он даже не вступил — он примазался к партии; примазался так ловко, так искусно и незаметно, что даже его начальники удивились, узнав о свершившемся факте. Впрочем, тут же и доверчиво одобрили: «Это хорошо, что старый специалист накрепко связал свою судьбу с партией». Теперь это редкостью не было.

Получив заветный партийный билет, Иван Посвитный стал ждать и чудесной награды: продвижения вверх! Тут он уже не мог быть терпеливым. Он и дня не хотел больше ждать. Он и так ждал слишком долго.

И — опять не дождался.

Не дождался! Тут было от чего прийти в отчаяние.

Оказалось, что принадлежность к партии, не дав ему никаких перед другими особых прав, только наложила на него новые обязанности и обязательства. Со страхом узнал он, что быть коммунистом совсем не легко: теперь с него спрашивали втрое. Но пятиться назад было уже поздно. Оставалось втихомолку роптать на проклятую судьбу, да зло юродствовать и хихикать, да надеяться на счастливый случай, на чет-нечет...

Таким и застал Виктор Посвитного, когда впервые приехал на шахту: постаревшим, съежившимся, провинциальным Бонапартом, с усиками торчком и сединой ежиком...

«Старорежимный» вид, так поразивший Абросимова, не был, разумеется, сознательной манифестацией Посвитного против незадавшейся судьбы; он и сам не подозревал, что у него такой вид, а если б узнал — первый же и испугался б.

Он отрастил усики торчком просто потому, что они показались ему самыми милыми, самыми подходящими к его толстогубому лицу из всех усиков в мире; а прическу ежиком он позаимствовал у старичка инженера, крупного шахтостроителя и ворчуна, перед которым даже в наркомате трепетали; а очки завел потому, что стал слаб глазами, но роговая оправа представилась ему несолидной для горняка, слишком модной, и он разыскал где-то старинную оправу для узких стекол, металлическую и тусклую, каких теперь нигде и не носят; а привычка ехидно потирать сухие ладошки взялась черт его знает откуда, он и сам ее не замечал...

Человек, особенно мужчина, вообще редко лепит свой внешний облик сознательно. Тут действуют иные силы: время, воспитание, вкус, среда, и те, часто самому человеку неведомые, потаенные, закоулочные черты его характера, о существовании которых он сам может и не подозревать.

Оттого-то внешний вид и является верным зеркалом человеческой души,— если уметь в это зеркало вглядеться. В нем вдруг неожиданно, как прыщи, проступают даже те черты характера, которые сам их владелец не прочь бы и спрятать. Но ему не дано замечать их, он к ним давно-давно привык и чаще всего своим внешним обликом доволен.

Так и странный, «старорежимный» вид Посвитного являлся только точным зеркалом его уязвленной души, души озлобленной и взъерошенной, заблудившейся на перекрестке двух эпох: души маленького человека с большими претензиями, с гремучей амбицией и худой амуницией, неудачника и завистника.

Назначение молодого Виктора Абросимова, еще пять лет назад бывшего простым шахтером, на должность управляющего трестом Посвитный принял как прямое и личное оскорбление себе, как, впрочем, принимал и все новые назначения. Но еще больней ужалило его душу неожиданное назначение Петра Фомича Глушкова глав-

ным инженером треста. Это уже был удар под ложечку...

Как, беспартийный Петр Фомич, тихий, не прыткий Петр Фомич, тоже бывший штейгер, тоже, как казалось, «неудачник», становится трестовским начальством, а он, Иван Посвитный, опять в дураках?! Да как проглотить все это, как такое пережить?! Воистину, вынослив человек, если после такого удара Посвитный мог еще улыбаться!

А он именно улыбочкой, не то льстивой, не то издевательской, но во всяком случае — бесстрашной, встретил впервые приехавшего на шахту Абросимова, прикинулся замысловатым старикандом чудаком, пытаясь заинтересовать, а если удастся, то и запугать собою молодого человека, а сам цепко приглядывался к нему, пробовал пронизать до дна, раскусить, выведать, разгадать. Все заведующие шахтами увидели в Викторе молодость, иные догадались и о крутом нраве молодца. Но только один Посвитный разглядел главное в новом управляющем — нетерпение. Нетерпение, тоскливую жажду скорой славы.

В расчете на эти качества и построил Иван Посвитный свой первый «психологический эффект», потому что только психологическим эффектом и ничем больше было неожиданное перевыполнение суточного плана тяжелобольной «Софией».

Этим эффектом Иван Посвитный хотел сразу же заявить о себе новому управляющему: вот я какой! Я всякое могу! Хотел удивить, поразить, заинтриговать Абросимова, а себе придать веса и таинственного значения. Назвал ведь уже Виктор его магом и чародеем! Именно на свое знание «магии сводок и алхимии руководства» и намекал Посвитный своим сюрпризцем.

Это был тонкий и точный расчет. И он оправдался. Прискакал же Абросимов стремглав ни свет ни заря на шахту! Кинулся же он Посвитному на шею! Даже разочарование управляющего тонко предугадал ловкий алхимик, даже это входило в «игру»: разочаруется — значит, еще больше возжаждет!

Нет, все-таки он растревожил, растревожил молодца! Растревожил почти бескорыстно, не строя для себя никаких расчетов и иллюзий, просто играючи эффектами, как жонглер цветными шарами. И только когда по-

чувствовал, как, сверх ожидания, забился, затрепетал Виктор в его руках — как юный перепел в тенетах,— зародились в нем смутные, но уже дерзновенные замыслы и надежды... Недаром же обронил он предательское словечко: «Эх, Виктор Федорович, не такой бы главный инженер нужен вам в тресте!». Не зря же попенял на то, что «засиделся на шахте». Не напрасно же так откровенно предложил самого себя в опекуны и советчики.

Правда, Абросимов не сказал в ответ: «да». Но и «нет» не сказал же. Как принято говорить: вопрос остался открытым. Ну что ж, Посвитный подождет. Он уже привык ждать. Встреча еще состоится.

Глядя, как клубилась на дороге пыль, встревоженная голубым автомобилем, он уже предчувствовал, уже воочию видел надвигающийся на него сладостный вихрь страстей, тревог и треволнений, знакомую бурю хитросплетенных интриг, смакование которых, даже независимо от результатов, само по себе было для Посвитного неизъяснимым наслаждением...

7

Посвитный угадал верно: душу Виктора он встревожил.

Правда, и до этого Виктор покоя не знал. Не знал с той самой минуты, как увидел, сколь плохи дела в тресте. Но то было беспокойство капитана, отправляющегося в дальнее плавание; сейчас же Посвитный искушал его надеждами и сомнениями игрока над картой: рискнуть или не рисковать?

Еще вчера смирился Виктор Абросимов перед мыслью, что до заветной цели надо идти долгим, каменистым, трудным путем. Правда, он при этом ворчал, порой даже беспокоился: «Ох, долго, долго, противно!» Но был готов, зубы стиснув, пройти весь путь до конца.

И вдруг Посвитный указал ему дорожку куда более короткую: тропинку. Напрямик. Или, как говорят на Украине, «навпростец».

«Маневр» — одно только это магическое слово и произнес Посвитный,— и перевернул им всю душу Виктора.

Конечно, то, что предлагал Посвитный, любому горняку сперва показалось бы чудовищным. Предлагалось «отодвинуть» на второй план подготовительные работы и все силы бросить только на добычу. Никаких добрых плодов от этой затеи и нельзя было ожидать, как нельзя ждать урожая осенью, не засеяв поля весной.

Подготовительные работы и предшествуют, и сопутствуют работам очистным, то есть добыче. Чтобы приступиться к углю, надо прежде всего убрать с пути породу; чтобы взять в свои руки пласт, надо сперва его вскрыть, разрезать; прежде чем дать сжатый воздух отбойным молоткам, надо дать свежий воздух людям, вентиляцию; чтобы добытый уголь доставить на-гора,— надо пробить углю дороги — штреки. А чтоб откаточные штреки были действительно дорогами, а не мышеловками, надо, чтоб они все время опережали движение лавы... И так далее, и так далее.

Есть строгий порядок горных работ, законы плавания по каменным подземным рекам, куда более строгие, чем даже правила судоходства по морям и океанам. Безнаказанно нарушать эти законы еще не удавалось никому.

«Но ведь в данном случае,— так размышлял Виктор, катя в своем голубом экспрессе по знакомым пыльным дорогам,— речь идет только о временном маневре. Только о маневре!» — заклинал он сам себя. Маневр и морякам известен. Никто и не предполагает отменить подготовительные работы, глупо даже подозревать Виктора в этом. Речь идет только о том, чтобы сейчас, в горькие дни прорыва, все основные силы бросить на добычу. На штурм угля! Разумно сманеврировать средствами и резервами.

А такие резервы есть, есть! Вот у Светличного скоро новый горизонт войдет в строй — выручит. Можно и поторопить Светличного: ввести горизонт досрочно. Найдутся и другие резервы. Надо лишь поискать! Надо только ловко маневрировать. Выигрывать время! Время! Время!

Пусть сейчас одна группа шахт, поднатужившись и даже сократив временно подготовительные работы — временно, только временно! — станет перевыполнять план и этим прикроет отстающие шахты и даст желан-

ную Виктору среднюю по тресту — сто процентов. А тем временем подтянутся отстающие шахты, выйдут на линию огня и в свою очередь заслонят собою тех, кто отойдет зализывать раны. И опять будет желанная средняя — сто. Что ж тут плохого, преступного? Сочетание огня и маневра — этому Виктора еще на допризывной подготовке учили.

«Ведь не для себя, не себе же я угля хочу! — беспокойно метался он на кожаной подушке сиденья.— Мне углем не торговать. Уголь нужен родине».

А родина властно требует от Виктора Абросимова этого угля не завтра, не послезавтра, а сейчас, сейчас, сию минуту. Какое дело пароходным котлам, паровозным топкам, кочегаркам и доменным печам бесчисленных советских заводов до того, что на шахтах Абросимова нет порядка, искривлены лавы и отстали штреки? Топкам нужен уголь, а Абросимов должен его дать. Любой ценой. И — сегодня!

«И я дам его, будь я трижды проклят,— дам! — зло клялся он себе,— выверну себя наизнанку, а дам! И теперь никому от меня покоя не будет. Пусть и не ждут!».

— К Горовому! Живо! — закричал он шоферу вдруг.

Шофер удивленно посмотрел на него: они уже подъезжали к тресту.

Машина отразила колебания своего водителя: замедлила ход, неуверенно вильнула из стороны в сторону и, наконец, вовсе остановилась, словно спрашивая: ну, а дальше что?

— Ты что же, не слышал? — нетерпеливо рявкнул на шофера Виктор.— К Горовому! Давай! — и чуть ли не сам схватился за баранку.

К Горовому! А потом к Голубеву, к Беловеже, к Шумилову! Он всех возьмет за глотку! Он из них душу вытряхнет! Он им усы-бороды сбреет!..

Машина сделала крутой разворот со свистом и опять покатилась прочь из города.

В конторе на «4-бис» Абросимову сказали, что заведующий под землей.

— Прикажете вызвать?

— Нет, я сам поеду в шахту!..

Он нашел Горового в откаточном штреке на старом

участке. Старик просиял, увидев управляющего,— он Виктора полюбил.

— А, милости просим, милости просим! — радушно сказал он, словно приглашал Абросимова к столу.

Виктор поздоровался.

— Ну, как дела?

— Да вот, воюю с моими барбосами! — бодро ответил Горовой и метнул лампочкой в сторону молодого кучерявого десятника с выбившимся из-под «надзорки» лихим чубом.— Доложу я тебе, Виктор Федорович, не люди, а турки...— Ей-богу! Русского языка не понимают.

Но «турок» мало смутился, только зубы оскалил.

— Зря вы ругаетесь, Сидор Трофимович! — весело и без обиды отозвался он.— Мы ведь тоже крещеные: сами в бой рвемся...

И в том, как он молодцевато это сказал, как сдвинул на затылок свою каску-надзорку, и в том, как охотно заулыбались вокруг люди и как сам Горовой загрохотал своим гулким, могучим басом,— почувствовал Виктор, что в этой шахте уже воцарилось то приподнятое, радостно-раздраженное настроение, какое всегда охватывает людей, твердо положивших сокрушить преграду.

Он и сам невольно заулыбался.

— А ну, ведите, показывайте, какие у вас тут чудеса-перемены! — сказал он и пошел по штреку.

Однако видимых перемен оказалось мало; было только предчувствие перемен, как в слабом, но ровном дыхании очнувшегося после кризиса больного уже есть надежда на выздоровление. Главные же перемены произошли пока только в людях, и прежде всего — в самом Горовом. Он — помолодел!

Сидора Трофимовича Горового уже много лет, к полному его удовольствию и, как кажется, не без его инициативы, все величали «стариком», хотя едва ли было ему больше пятидесяти двух лет. Но он давно, очень давно заведовал шахтой — все одной и той же,— рано поседел, рано обзавелся пышными белыми усами, рано оброс солидным жирком и, главное, рано приобрел ту равнодушно-важную, горделиво-спокойную, мудрую стариковскую осанку, которая дается только годами, прожитыми с пользой и со вкусом.

Просуетившись без толку всю свою жизнь, Посвит-

ный, и постарев, остался таким же суетливым и вертлявым. А Горовой в свою раннюю серебряную старость вошел так же покойно, уверенно и осанисто, как и всегда жил: высоко подняв красивую седую голову, ни перед кем не сгибаясь и никому не кланяясь.

Он считался хорошим заведующим шахтой, хотя тоже инженерского диплома не имел, выдвинулся из забойщиков.

Какие качества необходимы хорошему заведующему шахтой? На это сам Горовой любил отвечать так: три — знание дела, знание людей, трудолюбие.

Он имел эти качества. Он отлично знал дело. Знал и любил людей. Умел трудиться, когда хотел.

Да, когда хотел. К сожалению, хотел-то он не всегда. Он любил-таки полеживать на лаврах и часто залеживал эти лавры до дыр. В его жизни всякое бывало: и взлеты, и падения, и дни громкой славы, и недели жестоких «проработок». Во всех этих перипетиях он, как истый хохол, неизменно сохранял свой равнодушный, даже скучающий вид: мне, мол, все едино, хвалят меня или ругают. Всякое видели!

Незнакомый человек и не догадался бы, что под этой вечно ленивой флегмой бьется неукротимое, гордое, беспокойное сердце. «Горового надо только почаще дразнить. Обижать его надо почаще! — говаривал, бывало, Василий Сергеевич Харитонов.— Ему не канифоль, ему — скипидар нужен. Его хвалить вредно, а ругать просто даже необходимо. Главное, в покое его нельзя оставлять. Нельзя давать старику обрастать жиром».

А Горовой как раз очень любил, чтоб его хвалили. Он был большой и добродушный хитрец, лукавый до... наивности. Когда его шахта прочно покоилась на вершине славы, он с охотой, хоть и небрежной, ленивой походкой шел в президиум любого слета, садился в первый ряд и, прикрывшись своей обычной маской сонного, безразличного ко всему человека, с удовольствием слушал, как его хвалят. А когда шахта по уши сидела в прорыве, он даже и в зал заседаний не являлся.

Однажды на слете ударников его долго и со смаком, на все корки критиковал секретарь обкома партии и вдруг заметил, что виновника торжества нет ни в президиуме, ни в зале. Это совсем уже возмутило секретаря.

— Вот! — сказал он.— Горовой даже на слет не соизволил явиться. Не удостоил.

— Нет, я тут, Леонид Петрович! — вдруг откуда-то сверху, с галерки, отозвался неохотный басок. И все увидели Горового и — расхохотались.

— А-а! Вот ты куда забрался! — улыбнулся и секретарь.— Что, стыдно?

— Стыдно, Леонид Петрович...

— А коли стыдно, так спускайся с небес, иди в президиум, садись и слушай, как тебя люди критикуют...

Виктор, сам того не подозревая, в самую точку угодил, когда на совещании круто высмеял Горового, «первого механизатора здешних мест». Больше ничего и не надо было старику. Прямо с заседания, весь в мыле прискакал он домой на шахту и тотчас же вызвал к себе всех «барбосов» — так, любя, величал он своих помощников: техников, десятников, горных мастеров. Давно уже не видели они старика таким: он повеселел и помолодел. И люди сразу смекнули, в чем дело. И тоже повеселели, хотя в этот вечер всем им солоно пришлось.

— Ну, теперь держись, хлопцы! — радостно говорили они друг другу после совещания.— Теперь старик никому жизни не даст!

— Ну, и слава богу! Самим осточертело в грязи сидеть. Бабы и те смеются.

Этот счастливый ветер всеобщего, радостного ожесточения и пахнул на Виктора в шахте Горового. Пахнул, но не увлек, не подхватил самого Абросимова. «Ох, долго еще, долго, долго до победы!» — тоскливо думал он, бродя по штрекам и ползая по все еще искривленным лавам.

— А когда ж вы все-таки думаете план выполнять? — наконец спросил он у Горового.

Тот только руками неопределенно развел:

— Да вот, стараемся...

— Стараетесь! — раздраженно проворчал Абросимов.— А Посвитный вчера уже дал суточный план. Слыхали?

— Как же не слыхать — наслышаны! — ухмыльнулся Горовой.— Иван Гаврилович — фокусник известный... Куда уж мне за ним!

— А ты присмотрись, присмотрись... Перейми опыт.

— Да к чему присматриваться-то, Виктор Федорович, дорогой ты мой! У нас ведь тоже своя информация есть — друг о дружке знаем. Фокус-то не новый, известный! Нет! — махнул он рукой.— Я на эти штуки не пойду, не сомневайся! — и он опять потащил управляющего показывать ему перемены.

И все, что он показывал, было разумным, верным, мудрым, именно тем, чего сам Виктор требовал на совещании от Горового. И вчера все это, вероятно, обрадовало бы Виктора и даже наполнило бы его доброй надеждой... А сейчас он только хмурился и думал свое: «Ох, долго, долго, долго!»

Горовой заметил, наконец, состояние своего молодого начальника и тоже — обиженно — приумолк.

Из шахты на-гора выехали молча.

На шахтном дворе у фонтана работал садовник: охаживал клумбы, высаживал рассаду. Вокруг стояли и сидели — прямо на земле — шахтеры второй смены. Молча следили за тем, как трудится садовник, и на всех лицах тихим радостным светом брезжила та немного застенчивая, удивленная и счастливая улыбка, которая невольно является каждому человеку, когда он смотрит на все новорожденное: на травку ли или на ребенка.

Загляделся на садовника, заулыбался и Горовой: даже остановился на секунду. Но Виктор быстро прошел мимо фонтана, зло уронив на ходу:

— Фонтанчики... цветочки...— И Горовой, потушив улыбку, прошел за ним.

Прямо в шахтерках, измазанных углем, ввалился Виктор в кабинет Горового. В баню идти не хотелось. К черту баню, фонтанчики, цветочки! Он раздраженно опустился в кресло и, сняв с головы тяжелую каску, швырнул ее на стол.

На столе лежал свежий номер областной газеты. Виктору сразу же бросилась в глаза собственная фамилия, хотя упоминалась она всего один раз, в скобках и обычным шрифтом. В статье трест Виктора назывался самым отстающим.

«Ну вот, и начинается! — невольно комкая газету, словно желая расправиться с нею, как с укусившим комаром, подумал Виктор.— Теперь каждый день будут благословлять!».

Он сердито швырнул газету Горовому.

— На! Любуйся! Читай!

— А что, ругают? — полюбопытствовал старик и, бережно расправив смятый лист, стал медленно и, как показалось Виктору, со смаком читать статью.— Ну, ну! — добродушно усмехнулся он, прочитав до конца.— Пускай! Мы к этому привычны.

— А я непривычен. Нет! — вдруг каким-то петушиным голосом закричал Виктор.— И привыкать не хочу! Слышишь? Когда будешь план давать, ну? — Уже не чувствуя всего безобразия этой сцены, набросился он на старика, словно хотел взять его за горло.

Горовой невольно попятился от него.

— Так ведь ты же сам видел, Виктор Федорович? — почти умоляюще, стыдясь за начальника, пробормотал он.— Раньше месяца ну никак невозможно.

— А почему Посвитный может? — взвизгнул Виктор, потеряв последние остатки дорого дававшегося ему в последние дни спокойствия. Но тут уж статья в газете была виновата. Это она выбила Виктора из колеи. Его ругали в печати впервые в жизни.— Посвитный может, а ты не можешь? Или не хочешь? Не хочешь, да?

Горовой выпрямился во весь свой богатырский рост и высоко поднял седую голову.

— Нет! — с гордой обидой, прямо в лицо управляющему ответил он.— Как Посвитный — не хочу!..

Он был оскорблен. Оскорблен в самых дорогих своих чувствах. И кем же? Человеком, полюбившимся ему с первого взгляда, полюбившимся именно за то, что он, мальчишка, пристыдил его, старика, и, пристыдив, вдохнул в его жилы новую молодость.

Горовой не обиделся на Виктора, когда тот срамил его при всех на совещании: этим обидеть нельзя. А сейчас, в уединенном кабинете, один на один, управляющий кровно оскорбил его; и не безобразным криком своим — он и это простил бы молодому, горячему человеку, хоть и не привык, чтобы на него кричали,— обидел, предложив ему, старому горняку, вместо трудного, но верного пути, на который он добровольно встал,— путь легкий и бесчестный...

— Нет! — упрямо повторил он.— Я на это не пойду!

И официально прошу вас, Виктор Федорович, вы меня к этому и не понуждайте!

Что-то такое было в тоне, каким сказал он эти слова, что сразу остановило и даже смяло Виктора. Он отступил. Устало опустился в кресло и ничего не ответил.

Теперь они оба молчали: Горовой — непримиримо, Виктор — устало. В тишине было слышно, как за окном шумит и живет шахта. Особенно явственно доносилось сиплое всхлипывание пара. И откуда-то, совсем издалека — песня. Это, вероятно, девчата на сортировке поют. Они всегда или поют, или озорно ругаются: так веселее работать.

Виктору опять попалась газета на глаза. Назойливо выползла вперед строчка с фамилией... Каждая буква в этой строке казалась колючей. Каждая — жалила. И Виктору вдруг вспомнились жирные, добрые заголовки, которыми когда-то ласкали и баловали его газеты: «Рекорд Виктора Абросимова», «Славный почин Виктора Абросимова», «Работать по-абросимовски!». Он невесело усмехнулся и вздохнул.

Отчего не остался он шахтером-забойщиком?

Забойщику — легче!

Он вспомнил Алексея Великанова. «А пожалуй, и я б теперь какую-нибудь теорию отжима выдумал бы. И опять бы гремел!». Он грустно задумался, и Горовому стало жаль его, жаль по-человечески.

«А ведь ему небось тяжелей, чем мне! — великодушно подумал он.— Он один за всех в ответе!».

— Эй, Виктор Федорович, не обижайся на старика,— ласково сказал он, склоняя непокорную голову и уже все прощая хорошему хлопцу.— Ты ведь сам шахтер — понимаешь! Не знаю, как там у металлистов водится,— засмеялся он,— а для нас, горняков, шахта существо живое, родственное... Кому — мать, кому — сестра, а мне, старику,— дочка. Так-то! И он осторожно, именно по-отцовски, погладил ладонью плечо молодого начальника.— Потому и обязан, как отец о дочке, о ней свое попечение иметь! — продолжал он, стараясь как можно деликатнее, притчами, на которые он был великий мастер, до конца и без обиды выяснить щекотливую тему.— Должен я об ее будущем думать, приданое ей богатое приуготовить. И за ее девичьей честью обязан

я строго, ой, как строго наблюдать! Как же ты хочешь,— мягко улыбнулся он,— чтобы я по примеру Посвитного дочку свою на панель, на улицу вытолкнул бы своею рукою, за-ради легкого хлеба... Э, нет! — покачал он головой.— Не стану я дочкой-то торговать, Виктор Федорович, пойми ты меня, старика... Не дам я ее поганить...

Но Виктор, казалось, его и не слушал; думал о своем. Вдруг он слабо усмехнулся.

— А ведь меня не за свои, за ваши грехи ругают! — сказал он, опять придвигая к себе газету.— А отвечать приходится мне.

— Так разве ж мы не понимаем, не сочувствуем? — с жаром подхватил Горовой.— Да, Виктор Федорович, да мы же дорогой душой...

— Ну, ну! — равнодушно сказал Виктор и пошел к двери.— Где у тебя баня?

8

Снова, как и пять лет назад, жил Виктор Абросимов, повинуясь главному канону шахтерской веры: дай до́бычь! Дай уголь на-гора̀! Вся жизнь Виктора теперь была в этом.

В Донбассе говорят «до́бычь», «до́быча», а не добыча. И хотя слово «добыча» точно определяет производственный процесс — каменный уголь не производят, не плавят, не выжигают, его именно добывают из недр земли,— все же есть в этом словце нечто промысловое, охотничье, что-то от фарта, от случайной удачи, от приискательского счастья...

И в глазах Виктора Абросимова уже тоже появилось это тоскливо-охотничье выражение, ищущее и голодное. Как сокол на добычу, хищно бросался он каждый день на рапортички и потрошил их; но добыча была тщедушной, худосочной, он разочарованно утягивал когти.

Даша с беспокойством наблюдала мужа в те редкие минуты, когда он бывал дома; Виктор похудел, осунулся, был вечно озабочен и расстроен, ел тревожно и на ходу, плохо спал... Но Даша не решалась приступиться к нему с расспросами, боялась.

Однажды только спросила она в тоне своей обычной, доброй, товарищеской насмешки:

— Ну, как дела, дорогой Менделеев? Не легко, видно, осуществлять грандиозные замыслы?

— Какие там замыслы? — в досаде отмахнулся Виктор.— Не до жиру,— быть бы живу!

И Даша больше не трогала его.

Виктор и сам не успел заметить, как и когда он отступился от своих планов внедрения новой механизации, полной цикличности и непрерывного потока. Да он и не отказался — он только временно отодвинул мечты в сторону. Мечты — мечтами, жизнь — вот она!

Текучка, от которой так успешно отбивался он в первые дни, все-таки, наконец, настигла его и раздавила. Целый день вертелся теперь Виктор в суете мелких дел, подписывая какие-то бумаги, накладывая какие-то резолюции, отдавая какие-то распоряжения по пустякам. Но жил он — всей душой жил — только одним — суточным планом. Не квартальным, не месячным, только — суточным.

— Как добычь? Как добычь? — беспрерывно звонил он по телефону Посвитному, Горовому, Беловеже... и Посвитный — ехидно, Беловежа — виновато, Голубев — добродушно, а Горовой — даже бодро докладывали начальнику, что «дело понемногу улучшается, сегодня дали на три — пять — восемь десятых процента больше, чем вчера».

— Да разве это добычь? — взрывался Абросимов.— Это ж температура больного гриппом! — и он в ярости швырял телефонную трубку, проклиная упрямого Горового, ленивого Голубева, юного Беловежу. А больше всех — Посвитного: зачем раздразнил, зачем поманил «сюрпризцем», зачем шепнул в ухо ядовитое словечко «маневр»? Оно-то и лишило Виктора покоя.

Часто по вечерам, оставшись один в своем большом и пустынном кабинете, принимался он вновь и вновь изучать рапортички. До боли в глазах вглядывался он в колонки цифр, словно пытаясь что-то разглядеть за ними. Но если в первые дни за цифрами еще виднелись ему живые коллективы людей, знакомые лица шахтеров, бригадиров, забойщиков, то сейчас каждая цифра озна-

чала только одно лицо: заведующего шахтой. Семь было шахт, семь цифр и семь лиц.

И все семеро нарочно, назло Виктору не выполняли плана!

Иногда он всерьез так думал. В самом деле, отчего они плохо работают? Оттого, что не хотят. Не хотят! Все в их руках — шахты, машины, люди, уголь. Но они сговорились погубить молодого начальника и не дают добычи. А он бессилен против них. Он может только рычать да брызгаться слюной в телефонную трубку!

Как он ненавидел их всех в эти вечера, когда сидел за рапортичками! Каждый, кто не выполнял суточного плана, уже был его, Виктора Абросимова, личный враг. А тот, кто дал бы желанные сто процентов — сразу же стал бы разлюбезнейшим другом. И выходило, что врагами были все, даже Светличный, а дорогим другом оказывался иногда один Посвитный.

К Посвитному после «сюрпризца» Виктор больше ни разу не ездил: он словно бежал искушения. В ушах еще звучали гневные слова Горового: «Нет, я на это не пойду!».

Но зато Посвитный сам каждый день напоминал о себе цифрами. В покое Виктора он не оставлял.

На другой день после сюрприза — седьмого мая — он, как и следовало ожидать, дал совсем низкую добычу. Зато восьмого опять выдал сто три процента, словно спрашивал: ну, как, пойдем на маневр? Потом два дня ждал — план не выполнялся. А одиннадцатого мая Посвитный опять высунулся, показал язык — сто четыре процента.

Он словно дразнился. А у Виктора не находилось сил ни запретить баловаться фокусами, ни протянуть руку — на риск и на грех! И он все сидел да сидел по вечерам за бумагами, не ведая покоя и не находя решения...

Кто сказал, что Виктор перестал мечтать? Нет, он мечтал. Даже, задумавшись, чертил какие-то расчеты, делал выкладки. Но мечтал он теперь не о непрерывном потоке, а о... ста процентах суточного плана.

«Вот, если б Беловежа да дал бы еще двести тонн, всего двести тонн, да Светличный, пройдя сброс, прибавил бы свои триста, да Голубев подкинул бы еще двести

пятьдесят, да кабы выполнил бы опять план Посвитный... вот тогда бы!..» — И он чертил да чертил цифирки на листе. А из-за них уже выглядывало, уже высовывалось знакомое лицо, с усиками торчком, и подмигивало: ну как, рискнем на маневр?

А посоветоваться было не с кем!

С Петром Фомичем? Но какой же он советчик? Робкой души человек, Посвитный прав. Да и отношения между управляющим и его главным инженером сразу склеились как-то кособоко. Нетерпеливый, горячий Виктор просто ошеломил старого инженера своей быстротой и скоропалительностью. Петр Фомич растерялся. Нет, это не советчик!

С Дашей? «Милая женушка, она и не подозревает даже, как ее нелепый муж мучается! И пусть не подозревает. Пусть спокойно моего ребенка носит,— незачем ее тревожить, впутывать!». Да и что же может присоветовать Даша? Это не институт — это жизнь! Даша и нынешнего состояния-то шахт не знает!

С Андреем? Эта мысль тоже часто приходила Виктору — каждый раз он тут же ее и отшвыривал. Он знает, что скажет Андрей. И спрашивать нечего. Андрей всегда был человеком осторожным, верных дорожек; ни фантазии в нем, ни риска. Он скажет то, чего не хотел бы слышать Виктор, что он и сам отлично знает. Довольно с него и обидных слов старика Горового! «Они все только одно и умеют: подрезать крылья! — с несправедливостью, столь свойственной ему в горькие минуты, думал Виктор.— Окрылять человека не их дело!».

Оставался один Светличный — вечный советчик, вечный учитель.

«Да, надо, надо потолковать со Светличным!» — часто говорил себе Виктор и все откладывал да откладывал беседу.

Он сам злился на себя за это. «Да что я, боюсь его, что ли? С какой стати? Не о разбое же хочу потолковать с ним?». Но тут же, как всегда, немедленно себя и оправдывал. «А зачем мне к нему на поклон идти? Что он мне может сказать? Сам по уши в прорыве сидит, не знает, как выбраться!».

Виктор принадлежал к той счастливой и одновременно несчастной породе людей, которые легко, без вся-

ких усилий со своей стороны, приобретают друзей и так же легко их и теряют. Люди охотно брали Виктора в приятели, полюбив с первого взгляда — его нельзя было не полюбить! — и с первого же взгляда угадав в нем душу честную, прямую, открытую, на подлость и лукавство не способную.

Терял же друзей он сам из-за нетерпеливости и шершавости своего характера.

Чтобы ладно жить в коллективе, надо уметь притерпеться друг к дружке, как притираются в спорой работе одна к другой все части сложной машины. Как раз этого Виктор и не умел! Он не умел быть снисходительным к товарищу, не умел уступать, не терпел руки над собою; был вспыльчив, переменчив, заносчив, ершист, порою даже просто несправедлив. Правда, как никто другой, умел он сам, по доброй воле, прийти к обиженному и, глядя прямо в лицо, сказать: «Бей! Я — виноват!» — но для таких порывов ему всегда нужно было время.

Сейчас оно еще не настало. Виктор и сам не почувствовал, как отстранился от своих старых товарищей, как легко и беспечно, хоть и на время, потерял их и оказался совсем одиноким. Один — в своем пустынном кабинете, один — в своем «голубом экспрессе», один — в шумной и вчера еще родной шахтерской семье. Но ему недосуг было даже замечать это одиночество; он, как шкив на ободе, был вечно в движении...

Пятнадцатого мая произошло новое событие в жизни Виктора Абросимова и его треста: «Крутая Мария» выполнила суточный план. Светличный сдержал слово.

Он сам же первый и доложил об этом управляющему.

— А-а! Вот это — хорошо! — обрадовался Виктор, но тотчас же и постарался скрыть свою радость. Не мальчишка же он, в самом деле! Выполнили план, ну и правильно! И должны выполнять. Закон службы. Он ворчливо спросил: — А завтра что будет?

— И завтра, и послезавтра будет то же,— не обижаясь, ответил Светличный.

— Это — твердо?

— Твердо.

— Ну-ну! — притворяясь равнодушным, сказал Виктор.— Поживем — увидим!

Он хотел на этот раз выдержать характер, который сам себе задал: характер крутого и скупого на похвалу начальника. Он даже на шахту к Светличному не поехал.

Но дома, за обедом, не утерпел и похвастался:

— Сегодня «Крутая Мария» выполнила суточный план. Найдется у нас рюмка водки, Дашенька?

В первый раз за весь тревожный май видела Даша мужа улыбающимся.

— Найдется! — ответила она. Потом вдруг прижалась к Виктору и чуть не заплакала.

Это был маленький, нечаянный праздник в семье Абросимовых. Праздник не только Виктора, но и его жены. И хотя Даша сама и не работала сейчас на шахте, и этот уголь, вокруг которого так много было и хлопот и тревог, ни ей, ни ее мужу лично и не принадлежал, и хотя то, что «Крутая Мария» выполнила суточный план, ни единой копейки не прибавляло к доходам семьи Абросимовых — Даша была счастлива, потому что счастье наших женщин прежде всего в успехе того дела, которому служит муж.

Только на третий день Виктор приехал, наконец, на «Крутую Марию». Нашел Светличного на наряде и при всех обнял его и поздравил.

Затем перешли в контору.

— Теперь тебе, Федя, надо свой долг погашать! — нетерпеливо потирая руки, сказал Абросимов, когда они оказались одни.

— К концу квартала обещаю долг полностью ликвидировать.

— А — больше? — осторожно спросил Виктор.

— Что — больше?

— На большее у тебя охоты нет?

— Не понимаю я тебя, Виктор Федорович! — откровенно сознался Светличный.— Объяснись!

В этом кабинете когда-то шел Виктор Абросимов с товарищами в дружную атаку на Деда. Шел, упоенный верой в свои богатырские силы, и казалось ему: все легко, все достижимо. Один лаву пройду, один горы сворочу!

В этом кабинете все так и осталось по-старому, как было в патриархальные времена. Тот же простой, не-

крашеный стол. Стулья и лавки вдоль стен. Несгораемый шкаф почему-то буро-зеленого цвета. Телефон. Да большая сиреневая калька на стене: план горных работ. Впрочем, калька новая...

Итак, пришло время для откровенного разговора со Светличным.

— Плохи мои дела, Федя! — садясь за стол и устало опуская руки, сказал Виктор.— Очень, очень плохи! — и он печально покачал головой.

Эта неожиданная и горькая откровенность сразу озадачила и даже встревожила Светличного, знавшего гордый норов приятеля. «Да что это с ним? — удивился он и только сейчас заметил, как осунулся, как подался Виктор.— Неужто так быстро укатали нашу сивку крутые горки! Надо Андрею сказать...»

Сам, однако, он слов утешения не нашел: на такие слова он мастером не был.

Он ничего не сказал.

А Виктор продолжал медленно и грустно качать головою. Он, видимо, сочувствия ждал: оно дало бы ему возможность тотчас же и прямо заговорить о «маневре» и потребовать от друга поддержки. Не дождавшись, он обиженно встал и зашагал по кабинету. Пол был цементный — шаги отдавались гулко, сердито...

— Завидую я тебе, Федя Светличный! — криво усмехнувшись, сказал он на ходу.— Ты теперь чистенький. Сброс прошел — и чист перед государством. А я?..— вдруг остановился он перед Светличным.— Как мне-то чистеньким стать? — язвительно спросил он.— Ты дошлый, научи! Как мне сброс-то пройти, который вы во главе с моим предшественником мне в наследие подкинули? Как? Как? — зарычал он с болью.

— А ты сам знаешь как! — спокойно пожал плечами Светличный.— Ты сам на совещании курс наметил.

Он говорил теперь не как подчиненный с руководителем, а как товарищ с товарищем.

Но Абросимов остался начальником.

— Курс! Курс! — с злым хохотком подхватил он.— Вот вы и обрадовались и плететесь по курсу. А мне не курс надо было взять, а... дубину! И шкуру, шкуру с вас, подлецов, спустить!

Светличный невольно улыбнулся, но Виктор не заме-

тил этого: он снова метался по комнате. И все, что переполняло его в эти тошнотно-тоскливые дни и — невысказанное — мутило и мучало,— сейчас поднималось и с раздражением и болью выплескивалось, выхаркивалось им, словно он не говорил, а исходил желчью и кровью. А облегчения не было.

— Горовой тоже скоро чистеньким станет! Даст свои сто и сложит ручки на брюхе. Все вы такие! А я... Я! Я! Я один грязный. Я один виноват. Меня одного в газетах бьют. И вам всем на мою честь плевать! Что мне в твоем успехе? Тебе — слава, а мне — новый укор. Почему, мол, остальные мои шахты так не могут? Я один за все в ответе. Один! Один! Один!..— и, выкрикивая это, он продолжал бегать по кабинету.

«Я! Я! Мои шахты! Моя честь! — поморщился Светличный, будто попало ему на зуб что-то несъедобное — неприятное и кислое.— Не те слова. Не те...».

Но он продолжал молчать. Оскорблять товарища не хотел, а чем успокоить — не знал.

И это молчание еще пуще обидело Виктора. Оно показалось равнодушием.

— Э! — с горечью махнул он, наконец, рукой.— И что я в самом-то деле распинаюсь перед тобой? Сытый голодного не разумеет. Только вот что я тебе скажу, Федор: рано ты в кулаки записался. Рано мещанином стал. Рано!

Светличный удивленно вскинул на него глаза.

— Постой, постой...— растерялся он.— Да ты о чем? Не понимаю я...— Он действительно не понимал ни обиды товарища, ни его туманных, неожиданных обвинений.

— Ах, не понимаешь? Моя шахта с краю — ничего не знаю? Сам сыт — до других дела нет? Ну, как же не мещанин? — И Виктор захохотал каким-то деланным, деревянным смехом.

— Нет, ты объяснись, пожалуйста! — сдвигая лохматые брови, попросил Светличный.— Ругаться будем потом.

Странно складывалась их беседа в этот день удачи на «Крутой Марии» — удачи, которая радовала обоих и вот приводила к ссоре.

— Ты объяснись! — сдерживаясь, но уже темнея лицом, тихо потребовал Федор.

— Изволь!

Они стояли друг против друга: товарищи? враги? Или просто начальник и подчиненный? Они сшиблись в этом споре не из-за денег, не из-за бабы, не из-за теплого местечка на службе, даже не из-за взглядов на жизнь; они оба были люди одной веры, члены одной партии, и оба хотели только одного: дать больше угля, и не себе — родине. Но уже говорили они на разных языках, друг друга не понимая, и им суждено было после этого разговора разойтись надолго, может быть навсегда.

— Изволь! — резко повторил Абросимов и властным жестом указал Светличному на стул. Тот сел. Сел и Виктор. Разговор начался.

— Ты сброс прошел?

— Ну?

— Что тебя еще жмет?

— Больше ничего.

— Значит, можешь уголь давать?

— Я и даю.

— Сколько? — вскричал Виктор и нетерпеливо пристукнул кулаком по столу.

— Сколько план требует,— спокойно ответил Светличный.— Мы в плановом государстве живем.

— А-а! План! Вот ты какое словцо вытащил! — точно обрадовавшись находке, воскликнул Абросимов и хитро прищурился.— А ведь я уж слыхивал это словечко когда-то, здесь, в этом же кабинете! Помнишь? Дед от нас этим словцом оборонялся. Помнишь? — зло торжествуя, спросил он.

— Помню.

— А мы словца-то не убоялись да к чертовой бабушке и опрокинули вверх тормашками весь старый план и старые нормы! Было это? Ну, говори — было?

— Было! — невольно улыбнулся Светличный.

— Было! — повторил Виктор с волнением. И им обоим вдруг стало тепло от этого воспоминания. Было, да, это было — дни молодой отваги, беспечного задора, горения без корысти и оглядки...

— Вот я и говорю,— отходчиво, уже другим, добрым голосом и с доброю же улыбкой сказал Виктор,— что рано ты, Федя, в Деды записался! Ведь я чего от тебя

хочу? — прибавил он, придвигаясь ближе и заглядывая другу в глаза.— Одного хочу! Дай больше плана! Выручи! Помоги мне вытащить остальные шахты! Помоги сманеврировать! — Теперь он готов был просить, а не требовать, взывать к дружбе, к воспоминаниям.— Только дай больше угля, друже!

Но Светличный, казалось, не тронулся ни воспоминаниями, ни смирением товарища.

— За счет чего? — сухо спросил он голосом не горняка, а бухгалтера, как с новой обидой отметил про себя Виктор. Но прямолинейному Светличному всегда недоставало чуткости. Став старше — он снисходительнее не стал. При всех его отличных качествах доброго товарища, в нем оставалось нечто сектантское: он был, как и прежде, беспощаден и нетерпим, ничего не прощал ни себе, ни людям, этакий комсомольский Савонарола, с рано поседевшей, лохматой, не покорной гребенке головой.

Глядя бесстрашными, темными глазами прямо в лицо Виктора, он стал сурово его отчитывать.

— Ты не зря напомнил о Деде, Виктор,— сказал он.— Вспомню и я. С чем ты пришел тогда к Деду, чем его опрокинул? Ты пришел к нему с новым, революционным методом труда, со стахановским методом, и именно этим, а не криком, не руганью опрокинул его, и старый план, и старые нормы. А с чем ты пришел ко мне? Где твой новый, революционный метод? Давай! Я — жду. Опрокидывай меня!

— Да ты что — шутишь, издеваешься? — даже побагровел от ярости Абросимов, сразу вспомнивший, что худой ли, хороший, но он, а не Федор тут начальник.

— Нет, не шучу. Я — жду,— бесстрастно ответил Светличный, продолжая глядеть на начальника-друга своими строгими, немигающими глазами.— Давай! Давай свой новый, революционный метод труда! Давай новую машину, которая заменила бы устаревший отбойный молоток и дала бы более высокую производительность. Давай новую систему крепления, проходки, откатки... Одним словом, давай новое, новаторское, и тогда — требуй! И бей меня, как бил Деда. А без этого,— брезгливо махнул он рукою,— все твои требования — чепуха. Авантюра. Ребячья игра. А мы не мальчишки,— нам государство шахты доверило.

Светличный никогда не обладал искусством выбирать слова... поаккуратнее. Именно этих двух слов — «авантюра» и «мальчишки» — и не надо было говорить Виктору. После этих слов никакая добрая беседа уже состояться не могла.

Оскорбленный Виктор круто поднялся на ноги. Он уже не слышал, что говорил ему Светличный. Он уже ничего не понимал. «А! Авантюра! Вот вы как! — в этом «вы» объединяя всех — и Светличного, и Горового, и почему-то даже Андрея, горячечно думал он.— Вот вы теперь каким словцом стращаете!.. Да я-то не из пугливых!.. А что как «авантюра» да удастся? А? Что вы тогда-то?.. Трусы! Трусы! Жалкие душонки!» — и в эту минуту он вдруг и окончательно решил для себя, что рискнет, пойдет на маневры. Всем назло пойдет! И победит! И пристыдит критиканов! Всех пристыдит. Всех поставит на колени.

Странно, что не набросился сейчас он на Светличного с бранью и угрозами! Странно, что сдержался. Его трясло. Его всего корежило, как в лихоманке. А он только скривился и презрительно бросил Светличному в лицо:

— Спокойной жизни хочешь, Федька?

— Со спокойной совестью жить хочу! — пожав плечами, возразил Светличный.

— Ну, живи! Жирей! — и, не попрощавшись, руки не подав, выбежал из конторы.

Светличный его провожать не пошел.

«Победить! Победить! Любой ценой победить! — только одно это слово, как заклинание, как молитву, и твердил Виктор, трясясь в машине. Победить, а там... победителей не судят!»

Но в тресте Виктора ждал еще один неприятный разговор. Прибежал встревоженный Петр Фомич и сразу же кинулся к управляющему:

— Виктор Федорович! Да что же это Посвитный творит!

— А что? — отрывисто спросил Абросимов.

— Я только что был у него. Помилуйте,— за весь день ни единой вагонетки породы на-гора́!

— А что ж он на-гора́ выдает?

— Как что? — даже опешил главный инженер.— Уголь!

— Ну, и что ж в том худого, что человек уголь дает? — попробовал отшутиться Виктор, хотя сердце его сжалось новой тревогой: вот и еще один противник! Да что они, сговорились, что ли, сегодня?

— То есть как — что в том худого? — обиделся Петр Фомич.— Не мне ж вас учить... Даже странно! Вы сами — инженер... Должны же понимать...

— И понимаю, понимаю! — устало отмахнулся Виктор.— Завтра же и разберемся.

Он чувствовал, как вновь находит, накатывает на него, словно туча, тупое, остервенелое бешенство, желание рвать и метать, ломать и крушить... Он уже устал бороться с этим! Пощадите его! Он не хочет сейчас ни рвать, ни метать — не дразнитесь же и вы, не искушайте! Оставьте его в покое, старики. Завтра, завтра...

— Завтра, завтра...— бессознательно повторил он.

— Обязательно надо разобраться,— проворчал все еще не успокоившийся главный инженер.— И чем скорей, тем лучше. Мой долг — честно предупредить.

«Честно!» — вот то слово, которое требовалось, чтоб туча разразилась градом.

— Честно! Честно! Да что вы все своей честностью кичитесь! — исступленно заорал Абросимов.— Ну, да, вы все — честные! Один я — жулик. Жулик! Государственный план не выполняю. Угля не даю! Жулик! Да? Да? — кричал он, наступая на инженера.

Петр Фомич в испуге попятился от него, даже руками прикрылся. Он еще никогда не видел управляющего в такой истерике.

Но Виктор уже овладел собою. Бешенство не прошло, но оно стало холодным, как осеннее небо после дождя. С ненавистью глядел он теперь на своего главного инженера: ну, кто за ним следующий? Давай! Какие еще противники встанут на многотрудном абросимовском пути? Какие еще ежи и рогатки натащат? Но он уже упрямо прикусил свою губу, и теперь никакая сила не заставит его отступить.

Он должен победить! А победителей не судят...

Победителей не судят! Как много горя принесла людям эта крылатая фраза...

9

И опять — один в знойной пустыне кабинета — сидел Виктор Абросимов над сводками, как игрок над картами, беспрерывно пил сельтерскую воду из большого железного сифона и все гадал, гадал, гадал...

Семь карт было в его пасьянсе: Светличный, Посвитный, Горовой, Беловежа, Голубев, Шумилов, Ангелов. Из всех карт только одна, с точки зрения Абросимова, была вполне надежной — да и та с роковой усмешкой дамы пик на устах: Посвитный. Горовой и Светличный наотрез отказались участвовать в игре. Остальные карты были темные. Виктор еще не раскрывал их, трусил...

Неожиданно одна карта сама первая улыбнулась ему, правда карта мелкая, незначительная, даже не семерка — двойка: Ангелов. Третий день подряд без всякого нажима со стороны Абросимова шахта Ангелова выполняла суточный план.

Эта шахта была самой маленькой в тресте. Виктор и был-то на ней всего один раз, вскоре же после своего приезда. В его пасьянсе она почти не принималась в расчет — она ничего не решала.

Она и называлась как-то странно, по-птичьи: «Чигири». Даже «Чигири-Вторые», потому что где-то, в другом районе были еще одни Чигири — первые и настоящие.

И вот эта-то шахтенка-недомерок, для которой даже новое, революционное имя подобрать забыли,— третий день кряду выполняла план!

Это заинтересовало Виктора. Заинтересовало как симптом. Внутренно твердо решившись на риск, на смелый маневр, он все-таки игры еще не начинал; просто не знал, как к ней приступиться. Не объявить же во всеуслышание: давайте на время отложим подготовительные работы в сторону и навалимся на добычу! Такое ни приказать, ни даже вслух произнести нельзя. Оставалось ждать, пока заведующие шахтами сами поймут нетерпение начальника, сами догадаются, что делать.

Неужто этот тихий, нешустрый Ангелов, эта «божья коровка с тараканьими усами», как при первой же встрече мысленно окрестил его Виктор,— неужто он первый

и догадался? Виктор решил тотчас же поехать к нему, проверить.

«Чигири-Вторые» стояли в стороне от больших шахтерских дорог. Они ютились где-то на окраине великого угольного поля и совсем затерялись среди густых балок, холмов и хуторов, забытые, как никому не надобный сторожевой инвалидный пост на вечно мирной границе. Дальше за «Чигирями» уже начинались могутные массивы колхозного чернозема; считалось, что угля под ним нет.

Когда-то «Чигири-Вторые» были крестьянской шахтой; окрестные мужики артельно, бадейкой тягали из шурфа уголь и с подвод продавали его в городе, на базаре. Затем за бесценок шахта досталась купцу, человеку нетерпеливо хищному и скупому. Он, как червь, жадно пополз вглубь земли и стал глотать, глотать, хватать уголь, но конный привод оставил. И весь день, от зари до зари, одурело бродила по кругу полуслепая и унылая, как сама судьба, кляча, вертела скрипучий деревянный барабан и то наматывала, то разматывала канат, бесконечный и однообразный, как жизнь шахтера.

После революции конный привод заменили машиной, барабан — копром; но ни углублять, ни расширять шахту не стали; она перспективной не считалась.

— Вот тут-то и кроется ошибка! Ах, какая обидная, какая нелепая ошибка! — восклицал Ангелов всякий раз, когда случался к тому повод. И всякому новому начальнику, всякому приезжему человеку с жаром доказывал, что «Чигири» вовсе не конец, а только начало Донбасса, нового, большого Донбасса будущего, что свиты угольных пластов тянутся и тянутся далеко на север, до Дона, а может быть, и до самой Волги! И Ангелов голову готов положить под копер на том, что это правда.

Он был родом грек, но грек мариупольский, то есть здешний. И о том, что он грек, он вспоминал редко, только тогда, когда писал анкеты. А о том, что он — коренной донбассовец, помнил всегда. И гордился этим по праву. Здесь он родился, здесь вырос, работал шахтером, потом много лет маркшейдером; здесь же, в Донбассе, закончил и институт. «Чигири» были первой шахтой, которой он самостоятельно заведовал.

Существует давний спор о том, какой заведующий

шахтой лучше: тот ли, кто вышел из маркшейдеров, или тот, кто прежде был механиком, как металлурги спорят, какой доменный мастер лучше — из бывших горняков или из газовщиков, а авиаторы — какой пилот надежнее: из штурманов или бортмехаников. Чаще всего спор этот беспредметен: хорош пилот тот, кто знает и ремесло механика и искусство штурмана; хороший доменный мастер должен понимать и печь и газовое хозяйство. Заведующий же шахтой должен знать тысячи разнообразных вещей: слишком сложный это механизм — шахта.

Как старый маркшейдер, Ангелов, разумеется, питал особую слабость к разнюхиванию пластов; когда он говорил, что угольные реки текут дальше, на север, к Волге,— его носу можно было верить. Но теперь он был не только маркшейдером — он был начальником шахты! И многие люди считали Ангелова отличным заведующим, несмотря на его действительно тараканьи усы. Андрей Воронько, например, уже говорил в горкоме, что Ангелова пора выдвинуть на более крупную шахту.

Но о другой шахте сам Ангелов вовсе и не мечтал! У него были иные мечты, куда более смелые и бескорыстные. Далекий потомок аргонавтов, он и не мог не мечтать о золотом руне! Это золотое руно лежало в степи, за «Чигирями». В будущности «Чигирей» была и судьба самого Константина Ангелова.

Странной любовью полюбил он эту маленькую, несправедливо обиженную наукой и людьми шахтенку с птичьим именем: то была нежность наседки к гадкому утенку.

Но Ангелов свято верил в лебединую судьбу «Чигирей».

— Придет, придет время, и скоро! — не уставал твердить он.— Геологи пожалуют и сюда!

И тогда все преобразится вокруг. И «Чигири-Вторые» из забытой сторожевой вышки в степи превратятся в форпост великого наступления угольных шахт на север. Тогда-то и обретет шахта настоящее, достойное имя. Может быть, даже имя Сталина.

Пока же «Чигири-Вторые» оставались «Чигирями», и Виктор Абросимов, брезгливо морщась, глядел, как по улице, более похожей на деревенскую, чем на руднич-

ную, метались встревоженные автомобильным гудком куры, собаки, козлята и поросята; как из-за плетней удивленно выглядывали казачки, а мужики останавливались и с патриархальным добродушием и старинной вежливостью снимали шапки и здоровались с незнакомым человеком в автомобиле.

И все вокруг казалось мирной сельской идиллией. Подле одной хаты две молодые девки, подняв подолы, месили босыми ногами кизяк. Заслышав сирену «голубого дьявола», они разом, как гусыни, повернули голову и работу оставили — загляделись. Но подолов не опустили, так и стояли,— ноги у них были загорелые, обожженные крутым степным солнцем; у шахтерок такого загара не бывает.

Здесь и запахи были не рудничные. Пахло кизяком, стадом, парным молоком и сушеным сеном, а привычных запахов угля и дыма не было. И сама шахта выглянула из-за купы деревьев как-то нечаянно и сконфуженно, словно сознавая, что она тут некстати, невпопад в этом краю хлеборобов. И копер-то у нее низкорослый, и кочегарка — старая пыхтелка, и террикон — не более как рыжий бугор.

— Ну, как дела у вас на хуторе? — с насмешливой бесцеремонностью начальника спросил Виктор, едва только поздоровался с Ангеловым.

— А ничего, ничего, тянемся! — как всегда, уже робея перед начальством, ответил тот.— Тянемся! — повторил он и незаметно подкрутил усы.

Это был маленький, тщедушный человек в синей спецовке и резиновых сапогах, с бледно-матовым лицом и светлыми, негреческими глазами. Усы у него тоже были светлые, тощие, жиденькие, но зато лихо, по-чапаевски, закрученные вверх. Очевидно, этим усам придавался специальный смысл: им назначено было рекомендовать Ангелова человеком забубенным, бравым, независимым, то есть таким, каким он вовсе не был. Но усы никого и не обманывали. Люди верили глазам Ангелова.

— Тянемся, как же, тянемся! — еще несколько раз повторил он, не то потому, что это словцо ему полюбилось, не то оттого, что не находилось другого. Нежданное явление Абросимова застало его врасплох.

— Сколько думаете сегодня дать? — спросил Абросимов, по-хозяйски усаживаясь в кресло.

— Предполагаем сто процентов, никак не меньше.

— Не меньше? — зачем-то нашел нужным усомниться Виктор.

— Уверенно сто, не меньше! — заволновался Ангелов.— Как же? Нет, нет, непременно сто, непременно...— И он, как бы за поддержкой, обернулся к людям, толпившимся тут же у стола. Тут были главный инженер шахты, механик, и какой-то мрачный чернобородый мужик в шахтерках и с лампочкой. Этого Виктор принял за десятника.

— Ну-ну! — добродушно усмехнулся Виктор. Он знал, что на следующий его вопрос им будет уже труднее ответить.

И он задал его прямо и грубо, давая понять, что для него в горном деле нет тайн и он насквозь всех их видит, со всей их чигиревской, хуторской хитростью, видит — и не осуждает.

— Значит, оставили подготовительные работы, забросили? Так, что ли?

Ангелов испуганно взглянул на него.

— Нет, почему же? — пробормотал он, и его лицо сделалось по-детски обиженным; теперь еще более маскарадными, приклеенными казались усы.

Всполошились и его помощники. Виктор задел честь шахты, стало быть и их честь. Горячо и наперебой стали они доказывать начальнику, что это напраслина, что шахту просто оклеветали в его глазах, вот и рапортички, можно документально доказать... Только один чернобородый молчал и глядел на Виктора исподлобья — укоризненно и недружелюбно. И Виктор почувствовал себя неловко, как человек, зря обозвавший честных людей ворами.

— Ну, ладно, ладно! — проворчал он, стараясь все обернуть в шутку.— Ишь как всполошился ваш курятник! Верю! Верю! — замахал он руками, точно отбиваясь от рассерженной квочки.— Слушаю! Рассказывайте-ка про ваши подвиги! Хвастайтесь!

— А подвигов тоже нет. И хвастаться нечем!..— простодушно и как бы извиняясь за то, что подвигов нету, ответил Ангелов и посмотрел на своих товарищей:

что, не так я говорю? Чувствовалось, что на этом «хуторе» люди живут ладно, одной семьей, все полюбовно деля меж собою — и славу и огорчения.

— Подвигов, конечно, нет, а порядочек маленько навели! — подхватил механик, человек рыхлый, рябой, по всем приметам весельчак, балагур и матершинник. Он собрался тут же и отмочить очередную шутку, но вовремя, хоть и с неохотой, удержался; только узкие веселые его глаза заблестели хитро и нетерпеливо.

— Не навели — наводим! — поправил его Ангелов.— Согласно вашим указаниям, Виктор Федорович,— прибавил он.— Красиво вы тогда сказали: за каждой мелочью — тонны угля! — без всякого оттенка лести, а просто как зритель артисту-виртуозу сказал он.— Действительно, «мелочи»: то лес вовремя не согнали в лаву, то конвейер косо положили, то пути не почистили,— вот и простои, вот и пропали тонны... Ну, мы и взялись за эти неполадки!

— То есть объявили форменную войну мелочам! — вставил главный инженер.

— Впрочем, об этом Степан Алексеевич лучше нас расскажет, право, если уж вам любопытно. Он народ подымал,— сказал Ангелов и уважительно указал на чернобородого, который, к великому удивлению Виктора, оказался не десятником, а секретарем шахтпарткома.

— Прошу. Пожалуйста,— пробормотал Абросимов, и Степан Алексеевич неохотно выдвинулся вперед.

Секретарем шахтпарткома он стал совсем недавно и в этой новой должности еще чувствовал себя стеснительно и неловко. Суровая шахтерская простота, какая раньше всегда отличала его, за что люди его и любили, теперь вдруг отлетела, исчезла сама собою, а иная простота — мудрого, доброжелательного партийного руководителя — еще не явилась, и Степан Алексеевич все время чувствовал себя неуверенно и неестественно. Ему казалось, что и ходит он, и говорит, и кашляет, и держится не так, как должен бы ходить, говорить, кашлять, держаться настоящий партийный секретарь; и он мучился сознанием того, что и люди это видят. За последние дни он прочел всякой всячины больше, чем за всю свою жизнь; он читал все подряд, нужное и ненужное — газеты, брошюры, «блокноты агитатора», спра-

вочники, даже календари — и ходил, обремененный непереваренными цитатами и облепленный шелухой газетных слов и выражений, как старый корабль — ракушками. Такой стала и его речь. Он изъяснялся косно, туманно, витиевато, порой даже вовсе непонятно, но за всем этим — наносным и временным — чуялась в его словах верная, живая мысль, а в нем самом — могучая и упрямая сила.

— По мере того,— стал объяснять он Виктору,— как информировал меня Константин Никитич, то есть товарищ Ангелов, об установках, каковые, то есть, будем так говорить, директивно дали вы на известном совещании. А также, поскольку на сегодняшний день товарищ Воронько, со своей стороны, будем так говорить, именно потребовал того же. То мы искренно и от всей души откликнулись на зов партии. И мобилизовав силы. А также расставив людей. Во главу угла поставили вопрос о борьбе с неполадками...

Но, видно, не этими закоченевшими словами подымал он народ в шахте, раз сумел зажечь и действительно поднять. И Виктор отлично понимал это. Бородатый секретарь не казался ему ни косноязычным, ни смешным, а Ангелов больше не был «божьей коровкой с тараканьими усами». Виктор... оробел перед ними! Да, оробел! Они не кричали ему в лицо, как Петр Фомич и Горовой, что они честные, чистые люди. Они и без крика, в самом деле, были чистые и честные. Они свято верили новому управляющему и с усердием следовали его «установкам», даже не подозревая, что сам он в душе уже отрекся от них и стал вероотступником. Доверчиво и простодушно рассказывали они ему о своих делах, и каждое слово их больно хлестало его. Он чувствовал себя... как... как... как... должна чувствовать себя мать-игуменья, долго наставлявшая молодых послушниц в суровой вере и вдруг неожиданно сама впавшая в смертный блуд.

В великом смятении уехал он с «Чигирей». На прощанье долго тряс всем руки — Ангелову, Степану Алексеевичу, механику, главному инженеру — и бессвязно восклицал:

— Ну, молодцы! Ну, спасибо!.. Значит, договорились — так держать!..

И, приехав в трест, прямо прошел к Петру Фомичу.
— А что, Посвитный все фокусничает? — спросил он и, не дожидаясь ответа, взялся за телефонную трубку.

10

Но на следующее утро он уже пожалел о том, что обидел старика. Весь день это его мучило. «А в конце концов не ради себя же хлопочет Посвитный. Старается по-своему, за дело болеет душой... А я его... Ах, нехорошо!»

В полдень он заехал к нему на шахту.

— А я к вам обедать, Иван Гаврилович! — сказал он как мог добрей и веселей.— Накормите?

— За честь почту! — удивился и обрадовался Посвитный и тотчас же забегал, засуетился, стал куда-то звонить по телефону, хлопотать.

В одном, во всяком случае, он не обманул управляющего: никакого хозяйства он не имел, ни коровы, ни козы, ни курицы, ни просто приличной мебели в доме. Его казенная квартира так и осталась казенной. Чувствовалось, что человек тут жить не хочет, задерживаться здесь не собирается. Не было ни гардин на окнах, ни ковров на полу, ни кружевных дорожек на буфете, ни картин на стене, ни фотографий, ни горшка с геранью на подоконнике, ни безделушек — ничего, что обычно придает дому вид человеческого жилья, а не случайного привала. Только тяжелые сундуки да чемоданы — очень много чемоданов! — громоздились вдоль голых стен. Хозяева давно уж собрались в дорогу,— кареты не было!

И жена у Посвитного была какая-то... неуютная, костлявая. Захлопотавшись с обедом, она так и не успела причесаться. Ее седые космы и клыки во рту сперва даже испугали Виктора, потом он привык.

И, вероятно, и она когда-то была хороша собой, и любила наряжаться, и мечтала о детях, о доме, о тихом человеческом счастье... Но дети не появлялись (раньше благоразумно откладывали: «Вот окончательно устроимся, тогда и дети!» — теперь было поздно), и дома не было, и отрезы, грудой скопившиеся в сундуках,

так и не превратились в наряды, и вся жизнь прошла — прошла в ожидании жизни.

Это ожидание продолжалось и сейчас, оно давно уже стало самою жизнью для этой неуютной четы.

Но Виктору в том виноватом настроении, в каком он сюда приехал, это неустройство даже понравилось, оно показалось ему свидетельством бескорыстия Посвитного. «Значит, не жулик, не хапуга, не себялюб; вся жизнь у него — в шахте...»

К удивлению Виктора, обед, однако, оказался и вкусным и обильным; видно, в этом чета не отказывала себе. Впрочем, все дорожные люди любят хорошо поесть.

За обедом Виктор не хотел подымать разговора о вчерашнем. Он решил только извиниться перед Посвитным за то, что давеча нашумел, но хозяин перебил его на первом же слове:

— И, Виктор Федорович, голубчик! — вскричал он.— Да вы меня именно этим извинением и обижаете-то!.. Да ругайте, ругайте, прошу вас, ругайте меня, старого дурака, сделайте милость!.. Разве ж обижусь на вас? Разве я не понимаю? Да я всей душой изболелся за вас... Все голову ломаю, как бы вам подсобить... А там — хоть ругайте, хоть сымайте, хоть в тюрьму сажайте,— я ничем не дорожусь! — И он показал на голые стены.

Виктор был растроган.

— Спасибо! — сказал он с чувством и чокнулся с хозяином и хозяйкой.— От всей души спасибо! Не привык я плакаться, а трудно, трудно мне! Вам прямо скажу — трудно!

— Да разве ж я не чувствую? — подхватил Посвитный.— Знаете, кого вы мне напоминаете, Виктор Федорович,— только не поймите превратно,— орла-подранка, с перебитым крылом...

— Обстоятельства такие, Иван Гаврилович!

— Отлично я соображаю ваши обстоятельства. Оттого и болею за вас. Иная птица клетке даже рада, канарейка, например,— а другая в неволе и не поет. Так-то, дорогой вы мой!

Оттого ли, что Посвитный был у себя дома, хозяин, и кормил гостя — начальника — обедом, по другой ли причине, но в этот раз он не был похож на обычного

Посвитного в конторе, казался совсем другим человеком. Он держался с грустным достоинством, не хихикал, не ерзал, не лебезил, был серьезен и даже сердечен и хотя, как всегда, говорил много, но тоже как-то по-другому — не велеречиво, а искренно, с «душой».

— Я ведь вас с первого же взгляда ощутил,— признался он Абросимову.— С первого, так сказать, полета. Хоть крыло-то и подранено, а орел всегда остается орлом. Я так и Клавдии Пантелеевне свое впечатление объявил. Так, Клава? — обратился он к жене.

Хозяйка улыбнулась Виктору былой улыбкой.

— Возьмите еще кусочек курочки, Виктор Федорович, умоляю вас!

— И полюбил я вас тоже с первого взгляда! — продолжал Посвитный.— Не как начальника. Хоть мы и обязаны всех начальников непременно обожать,— усмехнулся он с горечью старого и несчастливого служаки,— я в вас свою дерзкую молодость вспомнил. Свою былую отвагу. Да! — вздохнул он.— Не удалась мне жизнь, не удалась! Теперь в этом пора уже признаться. Маленького счастья я и сам не пожелал, а большое — не выпало. Замыслы были грандиозные, наполеоновские, а обстоятельства жизни — мизерабельные. Все заморозки, да суховеи, да непреклонные ветра... Вот и засох. Э! Да не обо мне речь! — вдруг перебил он себя с досадой.— О вас речь, дорогой вы мой! Вы еще только начинаете свой полет. И все у вас есть: молодость, образование, диплом, характер, талант, положение... Сверх меры одарила вас природа! Смотрите же — не продешевите себя! Великий грех на душу возьмете!

Он был похож в эту минуту на проповедника из штунды «ловца человеков»: его лицо воодушевилось, голос стал вдохновенным, в нем появились крикливо страстные, сектантские ноты; словно он не говорил, а «радел». Виктор слушал его тревожно, ковыряя вилкой в салате. Эти речи ему было и приятно и почему-то жутко слушать. Это был уже не застольный разговор. Виктор чувствовал себя у прорицателя на сеансе.

— Не давайте же себя запугать! Остерегайтесь! — гремел меж тем хозяин.— Будут и у вас завистники, недруги, клеветники, даже враги... Воспарите же выше их! Великому все позволено. Наполеон через трупы шагал

ради единой цели бессмертной. Петра Первого при жизни проклинали, как антихриста, а по смерти нарекли Великим. Так-то! Не блохам же в самом-то деле критиковать парение орла.

— Но блохи кусаются! — хрипло засмеялась хозяйка.— И больно!

— А блох надо давить, давить! — вскричал Посвитный.— Кто станет жалеть о блохах? Даже из миллиона блох не слепить одного орла.

Было жарко и тревожно за этим столом, в этой комнате без мебели, но с горою чемоданов на полу, в этой компании честолюбцев, сгорающих от неоправдавшихся надежд и несбывшихся мечтаний... Виктор заметил, как странно переменилась хозяйка дома: пятна желтого, больного румянца проступили на ее скулах, скулы заострились, а глаза заблестели лихорадочными огнями. Разумеется, она не похорошела, но что-то сильное, дьявольское, волевое вдруг обнаружилось в ней. Впрочем, она пила водку наравне с мужчинами и тоже захмелела. Костлявая и взъерошенная, с носом, как клюв, с колючими ключицами вместо крыльев, она была очень похожа сейчас на старую птицу — общипанную, но все еще хищную. Ее короткий, хриплый, гортанный смех напоминал птичий клекот. Так выпь хохочет на болотах ночью...

Странно, но ни за обедом, ни после него и Посвитный и Виктор совсем не говорили о шахте, о делах, о «маневре». Они так и расстались, не поговорив на эту щекотливую тему, но у обоих было ощущение, что они условились обо всем.

Этот разговор имел великое значение для Абросимова,— он вернул ему энтузиазм.

Светличный, Горовой, Петр Фомич и особенно давеча Ангелов совсем обескуражили Виктора. Они, сами того не желая, запугали его. Они лишили его самого главного — веры в себя и в свою правоту. Виктор сделался нерешительным, вялым, неуверенным, непохожим на себя. В этом состоянии он уж ничего не мог свершить — ни хорошего, ни худого.

Посвитный вернул ему самоуверенность. Что греха таить,— Виктор Абросимов любил лесть. Он не стал долго раздумывать над тем, сколько правды было в восторгах Посвитного. Он просто снова пришел в кураж,

в то единственно необходимое ему восторженно-хмельное состояние духа, в котором он только и мог творить чудеса, не зная ни усталости, ни сомнений...

Возвращаясь от Посвитного с хмельною — не столько от вина, сколько от речей хозяина,— головою, Виктор чувствовал, что теперь он горы может своротить!

Теперь уже он откладывать не будет! И спрашивать никого не станет! И жалеть никого не надо! Теперь он покажет всем!

Он не станет больше мучительно гадать над тем, какой технической политики ему держаться, как маневрировать искуснее и хитрей, как сделать так, чтоб и волки были сыты и овцы целы... Он просто всей грудью, всеми средствами, что есть у него, навалится сейчас на добычу. Он все мобилизует, все подымет на ноги. Он всех, как карасей на сковородке, заставит завертеться. Он из каждого работника «пустит юшку»... Он никого не пощадит и прежде всего — самого себя.

Любой ценой, любыми способами, а он добьется выполнения плана добычи. Да он просто возьмет этот план — грудью, натиском, штурмом! Вот как. Как берут крепость.

А на блошиную критику ему наплевать!..

В этом настроении он и приехал в трест, и оно его больше уже не покидало.

Настроение командира в бою — великая сила: это любой солдат знает. С начальником нерешительным, робким, сомневающимся в успехе трудно идти в стану: ноги не идут, веры нет, смерть мерещится всюду. Зато какая радость бежать на штурм вслед за отважным, уверенным, удачливым, *счастливым* командиром — с ним и смерти нет, и преград нет, и неуспех невозможен!

Каким путем узнается солдатами настроение самых высших военачальников перед боем — трудно сказать! Но оно узнается. Оно чувствуется. Оно в том, как движутся на марше колонны, машины, орудия, в том, как скачут адьютанты, как поют зуммеры, каким голосом отдаются команды,— во всем воля командира или его сомнения, его вера или его неверие, его сила или бессилие.

Так и в великой битве за уголь, которую под командованием Абросимова ежечасно вели угольные солдаты в недрах земли, новое настроение Виктора немедленно

докатилось до самых дальних выработок, до самых глухих забоев и тотчас же привело в движение всю пятнадцатитысячную шахтерскую «дивизию». И в тресте, и в рудничных конторах, и в складах, и в мастерских люди забегали быстрей и проворней, засуетились, задвигались, словно какой-то новый ток, внезапно пробежавший по их жилам, подхлестывал и подбрасывал их теперь.

Возвращаясь от Посвитного, Виктор поклялся, что больше никому не даст покоя. И он свое слово сдержал. Теперь он не щадил ни себя, ни других. В абросимовском тресте больше не существовало мирного деления суток на день и ночь, больше не было выходных дней, обеденных часов, пауз и «перекуров». Виктор мог нагрянуть на шахту в любое время — и ночью и на рассвете. Он безжалостно будил нетерпеливым звонком любого работника в самые сладкие часы предутреннего сна. При этом он даже не извинялся. Он всех своих помощников затормошил, задергал. Он сам не знал отдыха — и им его не давал.

Он без конца собирал в тресте оперативные совещания — «летучки», как любил он их называть, и здесь задавал головомойку всем и каждому. Он охотно выступал на рабочих собраниях, на производственных совещаниях, на наряде. Для них у него была одна речь, одна песня: «Дай добычь!» Он даже не варьировал ее.

— Добыча! Дать добычу во что бы то ни стало! Любой ценой!— гремел он.— Хоть умри — дай! Любыми способами!

При этом, разумеется, он не говорил, что надо отставить или запустить подготовительные работы,— о подготовительных работах он вообще редко вспоминал. Он даже слово «штурм» не употреблял; оно годилось для тридцатых годов, в 1940 году оно уже стало запретным.

Но он так напористо, так страстно требовал «выполнить план добычи любыми средствами», что все отлично понимали, чего он хочет от них.

Посвитный не слишком переборщил, сказав своему гостю, что природа его одарила щедро. Да, у Виктора Абросимова все было: и талант, и характер, и умение управлять людьми, и даже знания, бóльшие, чем можно было предположить у столь молодого горного инженера.

Часто он приводил в восхищение самого Петра Фомича: отдавал распоряжения верные и тонкие, брал меры мудрые, дальновидные. Но тут же, ради лишней тонны угля сегодня, нетерпеливо отшвыривал прочь то, что могло дать сотни тонн только через месяц.

Дать до́бычу сегодня, сегодня, сейчас, сию минуту! — вот куда был направлен теперь весь неукротимый темперамент Абросимова, все его недюжинные душевные силы, весь его энтузиазм.

Это был энтузиазм слепой, нерасчетливый, даже безрассудный, но, как всякий энтузиазм, он был заразителен. И он действительно воспламенил всех вокруг.

Первой жертвой этого энтузиазма пал молодой заведующий шахтой имени Сталина Вячеслав Беловежа, узкоплечий гигант с русой бородой и застенчивыми глазами.

Этого и следовало ожидать.

Беловежа сам был энтузиаст, правда несколько иного толка, чем Абросимов, и иного темперамента. Горел он торжественно тихим, святым пламенем и людьми командовать не умел. Ему суждены были подвиги солдата, а не военачальника. Но зато его энтузиазм был еще чище абросимовского: в нем и тени не было корысти или даже честолюбия. Он был — романтик.

С детских лет мечтал Вячеслав Беловежа о героической профессии, и, родись он в Севастополе,— он был бы моряком, в Архангельске — полярником, в Ташкенте — покорителем пустынь, в Сибири — золотоискателем. Но он умудрился родиться в тихих Лубнах, в семье землемера: старого земского интеллигента, человека строгих житейских правил и деспота, причем самого страшного деспота для своей семьи — деспота любящего и поэтому несправедливого.

Юному Беловеже пришлось выдержать жестокий бой с отцом за свое будущее. Отец хотел, чтоб Вячеслав пошел в Межевой институт, стал землемером; сын собирался в академию, мечтал стать штурманом дальней авиации. Они долго спорили, наконец, сын уступил небо, выбрал море; пошел на уступки и отец — предложил лес.

Помирились на горном институте; Беловежа-сын потому, что и в профессии горняка видел героическое; Бе-

ловежа-отец — оттого, что положение горного инженера всегда казалось ему солидным и обеспеченным.

Учился молодой Беловежа в Сталино, и учился хорошо. Профессия горняка ему полюбилась. Он с нетерпением ждал месяцев летней практики,— каждый раз встреча с шахтой была для него тихим и светлым праздником.

Но в нем, однако, совсем не было административной струнки, ни следа ее. Перед людьми он робел, подчиненных стеснялся. Его приказания всегда звучали как просьбы. Там, где следовало рассердиться, даже прийти в ярость, он только обижался. Упрекая виновного, он краснел сам. Шахтеры звали его меж собою «красной девицей». Его никто не боялся...

Ему с руки было бы место технического советника при администраторе, но уж никак не начальника. Собственно, на эту скромную роль он и был прислан сюда после института, но вскоре заведующий шахтой тяжко заболел, и Беловеже волей-неволей пришлось исполнять его обязанности. Исполнял он их и сейчас, к своему искреннему горю...

Меж тем шахта ему досталась трудная — старая. От ствола очистные линии ушли далеко, на восемь километров, и для поддержания выработок надо было много сил и средств. Все время приходилось крепить, крепить, крепить, тревожиться о кровле... Уголь здесь был хороший, коксующийся, длиннопламенный, но лежал он в слабых боковых породах. В нескольких лавах почва была «дующей». И это тоже делало ночи Беловежи бессонными. Каждый час можно было ждать несчастья.

Однако с горными стихиями он бы еще справился, перед ними он не робел. Он умел понимать молчаливые речи пластов, стоны, скрипы штреков, лав, знал повадки, капризы, характер этих каменных рек... Тут он был — дома.

Труднее было с людьми — в них Беловежа разбирался плохо.

Так обстояло дело, когда в трест был назначен Виктор Абросимов.

Вячеслав Беловежа был, может быть, единственным из всех заведующих шахтами, который встретил это назначение с безоговорочным восторгом.

Имя Виктора Абросимова слишком много говорило его душе.

Впервые он услышал это имя среди имен других прославленных стахановцев еще в те дни, когда сам он сидел на студенческой скамье.

Сразу же явилось искушение бросить институт и идти к Стаханову или Абросимову проситься в их бригаду.

«К чему учиться по устаревшим уже учебникам,— взъерошенно думал он,— когда там, в лаве, а не тут, в институте, настоящая теория, настоящая жизнь, настоящая слава?»

А к славе юный Беловежа был очень и очень неравнодушен.

Есть глубокая разница между честолюбцем и искателем славы. Честолюбец добивается почета и высокого места на лестнице единственно ради удобств и наслаждений жизни. Бескорыстный же искатель славы, каким был и остался Беловежа, ни о каких удобствах и не думает; он жаждет только подвига. Он охотно и не задумываясь пойдет на смерть ради бессмертия. Он готов даже на безыменный подвиг, на подвиг, которому заведомо суждено остаться неизвестным. Ему нужно славное дело, а не звон славы; ему слава нужна не для мира, а для самого себя; не затем, чтоб восхищать толпы, а затем, чтоб спокойно сказать одному себе: я свершил!

Разумеется, Беловежа не оставил института: эти ребячьи мечты ему самому скоро показались смешными. Но имя Виктора Абросимова навсегда осталось в душе одним из самых дорогих имен.

И вдруг этот Виктор Абросимов оказывается его прямым и непосредственным начальником! Какая удача! С робостью и волнением влюбленного ждал Вячеслав Беловежа первой встречи. Она состоялась, и Вячеслав был окончательно покорен.

Все в герое импонировало ему: властность Абросимова, его умение командовать людьми, его решительность, его крутой нрав, даже его грубость, которую для себя Вячеслав тут же наименовал мужественностью,— всего этого в самом Беловеже ни капли не было, несмотря на его густую бороду и гигантский рост. После этой встречи герой стал кумиром.

Для мечтательного Беловежи ничего не стоило со-

здать из Виктора живой идеал горняка. Ведь Абросимов не только учился, он и сам уголь рубал! Да, он был простым шахтером, а стал управляющим трестом. Не каждому же выпускнику дают сразу трест. Значит, Виктор — человек особенный! Он сумел прославиться, рубая уголь,— один среди миллиона шахтеров. Какая же слава ждет его теперь? Это даже предсказать трудно... И скромный Беловежа только об одном и мечтал сейчас: стать верным оруженосцем при этом славном рыцаре.

Указания, которые дал ему на первом совещании управляющий трестом, немедленно стали для Беловежи законом. Он старательно записал их в свою ученическую тетрадь. Вернувшись на шахту, он рьяно начал их выполнять. Подражая Виктору, он даже прикрикнул несколько раз на нерасторопных и ленивых десятников и при этом не смутился, не покраснел! Он взялся за продвигание штреков так горячо, что даже проходчики изумились — такого они еще не видывали! Он вложил в эти штреки всю свою душу. Ведь сам Абросимов указал на них как на главное звено.

С добычей на шахте между тем стало еще хуже, чем было. Но и это не привело Беловежу в панику. Главное — штреки! Главное — навести порядок в шахте! И он наладил этот порядок с такой любовью, словно готовил гнездышко для новобрачных. При этом он втайне мечтал: вот заглянет на шахту Виктор, посмотрит и — может быть — похвалит. Он этой встречи нетерпеливо ждал.

Но Абросимов приехал, посмотрел и — ничего не сказал. А когда выехали на-гора̀, свирепо напустился на бедного Беловежу:

— А до́бычь? До́бычь где?

— Вот наведем порядок...— пролепетал Беловежа.— И тогда...

— Порядок? А что мне в твоем порядке? — взревел управляющий.— Мы не милиционеры, мы — горняки. Мы не порядок должны на улицах наводить, а уголь давать. Где уголь?

Беловежа только руками испуганно развел. Он был совершенно сбит с толку.

— А вот я научу тебя, как уголь брать! — внезапно успокоившись, сказал Виктор.— Садись! — и он откро-

венно выложил, каких мер от него ждет: штурма, натиска!

Что-то тревожно екнуло в эту минуту в инженерской душе Беловежи, на секунду явилось даже сомнение. Но он тут же и подавил его. Кумир не может быть не прав. Он знает, что делает.

И он преданными, влюбленными глазами посмотрел на Виктора. За ним он готов был и в огонь и в воду.

Виктор заметил эту влюбленность и — оценил ее. Они расстались друзьями.

Скоро Беловежа сделался ему необходим, как и Посвитный. В минуты тревожных сомнений и треволнений,— а они все-таки случались у Виктора, и даже еще чаще, чем прежде,— он приезжал то к одному, то к другому на шахту. И Посвитный тотчас же угощал его тонким букетом льстивых слов, ахал, пророчил, ворожил... А Беловежа не говорил ничего. Он только смотрел на Виктора восхищенно и преданно. И Виктор возвращался к себе в трест успокоенным.

— Ничего-о! — говорил он себе в эти минуты.— Ничего-о!.. Победителей не судят! А я,— я должен победить!..

11

Наконец, суточные сводки начали улыбаться Виктору.

Ежедневно и уверенно выполняли план Светличный и Ангелов. Из кожи лезли вон Посвитный и Беловежа. Глядя на них, смекнул обстановку и Шумилов, дал сто процентов и он. Только Горовой упрямо держался своей линии; казалось, он даже гордился тем, что не выполняет плана, не идет на фокусы. И в хвосте всех уныло плелся Голубев.

Этот Голубев долго оставался загадкой для Виктора.

— Черт его знает! — злился управляющий.— Круглый он какой-то — не ущипнешь!

Действительно, Голубева ничто не могло растормошить или встревожить — ни упреки, ни угрозы, ни выговоры. Он только добродушно-виновато улыбался в ответ да покорно складывал на животе пухлые пальцы,—

это была его любимая поза. Мол, воля ваша,— делайте со мной, что хотите!

Этого безобидного толстяка с рыхлым, добрым, бабьим лицом было и невозможно и бесполезно ругать: все тотчас же и скатывалось с него, как с жирного гуся вода.

— Да когда же ты план будешь выполнять? — в отчаянии спрашивал его Абросимов.

— А скоро, скоро! — неизменно отвечал Голубев; он был щедр на обещания и посулы — они ему ничего не стоили.— Вот увидите: скоро сяду на план.

— Сядешь? — взрывался Виктор.— Ляжешь ты на план — это возможно! Окончательно ляжешь, этого от тебя еще можно ждать...

Существовало три ходячих выражения, образно, но совершенно точно характеризующих состояние дел: «сидеть на плане », «стоять на плане» и «лежать на плане».

«Лежать на плане» — было выражение насмешливое. Оно означало долгое, хроническое прозябание на мертвой точке, без всякого просвета впереди...

«Стоять на плане» — это уже лучше. Это значит с превеликими усилиями вскарабкаться на пик плана и стоять там, судорожно балансируя: может, устоишь, а может, и опять свалишься в пропасть.

«Сидеть на плане» — это твердо сидеть в седле.

Голубев именно «лежал на плане», лежал дохлой, громоздкой тушей, но в этом плачевном состоянии — к великой ярости Виктора — чувствовал себя превосходно: с аппетитом ел, спокойно спал и даже ласково зазывал к себе в гости управляющего отобедать... Обеды Голубева славились на весь район.

Однажды совершенно распаленный Абросимов нагрянул на Голубева в предобеденный час. В это утро трестовская сводка была особенно обнадеживающей. Если бы не Голубев, желанные сто процентов по тресту уже были бы, даже несмотря на упрямство Горового.

Виктор решил на этот раз круто обойтись с Голубевым.

— Я этому ресторатору задам обед! Сыт будет.

Он нашел Голубева в конторе. Голубев был в каске, в шахтерках и с лампочкой, словно он или только что выехал из шахты, или собирался туда. Но на его румя-

ном лице угольной пыли не было и шахтерки были чистые...

— Что, в шахту собираетесь? — спросил Виктор, проходя вперед и с усилием сдерживая себя, осаживая, как наездник чуть осаживает горячего скакуна перед тем, как взять барьер.

К тому же и людей в кабинете было слишком много.

Голубев радостно поднялся к нему навстречу.

— Да вот, собирался... Все утро собирался... Да все дела, дела, мелочи... А теперь уж и время обеденное. Здравствуйте, Виктор Федорович! Душевно рад, что заехали,— он действительно был рад ему, как и каждому гостю,— он гостей любил.— Как здоровьице супруги? Н-ну! А у меня сейчас как раз поросеночек к обеду и свежая рыбка... Так не отобедаем ли, а? — и он с надеждой посмотрел на управляющего.

На него положительно нельзя было рассердиться всерьез. Виктор даже улыбнулся невольно, но тотчас же спохватился и, вспомнив утреннюю сводку, насупил брови.

— А мы еще с вами не заработали на обед! — хмуро сказал он, разглядывая слишком чистые шахтерки Голубева.— Вы когда в последний раз в лаве были?

— Да когда же? — забеспокоился Голубев.— Часто бываю... Да вот... Ну, разве упомнишь?

Но Виктор продолжал настойчиво добиваться точного ответа и заметил, что в кабинете все исподтишка и деликатно заулыбались.

— Якову Афанасьевичу трудно в лаве поворачиваться. Как бегемоту в проруби...— шутливо заметил кто-то.

В общем выяснилось, что Голубев не был в шахте давно, две — или даже три недели.

Но шахтерки надевал каждое утро. И каждое утро брал лампу. А затем весь день крутился в конторе, будто важные и неотложные дела задерживали его, и, наконец, шел завтракать или обедать. Завтракал он всегда дома. Он не терпел есть на ходу.

— Да как же можно шахтой руководить, не бывая в шахте? — даже не возмутился, а удивился Абросимов. Пристально посмотрел на внезапно смутившегося и покрасневшего Голубева и все понял: этот человек не лю-

бил шахту. Это не Горовой, не Ангелов, не Светличный.

Зачем же он тогда стал горняком?..

В самом деле, зачем?

Это вышло совершенно случайно, по инерции — отец был горняк, братья — горняки, стал горняком и Яков Голубев. Стал, не думая, не выбирая. В институте он учился средне, не худо и не хорошо. Ни в чем дурном замечен не был. И диплом получил. А по окончании института на шахту не поехал, а устроился в комбинат, в один из его многочисленных отделов. И зажил припеваючи. Сослуживцы и начальники скоро полюбили его за веселый, общительный характер, часто ходили к нему в гости обедать и хвалили эти обеды; слава хлебосола быстро утвердилась за Голубевым, об инженерской славе и помину не было.

В эти поры Яков Афанасьевич и раздобрел. Он округлился, зарумянился, стал тяжел на подъем, появилась одышка от ожирения и изжоги по утрам.

И, однако, когда нечаянно-негаданно, просто подвернувшись под горячую руку нового начальника комбината, угодил Яков Афанасьевич на шахту — он протестовать и биться не стал. Только поморщился, словно нечто кислое проглотил, крякнул и — поехал.

Впрочем, он и на шахте устроился недурно — такой уж счастливый характер был у него. Появился собственный домик с садом, наладилось хозяйство, а с ним и знаменитые голубевские обеды. «От Голубева еще никто голодным не уходил!» — любил с гордостью повторять Яков Афанасьевич. И он был прав. Шахту же он с легкой душой передоверил главному инженеру, человеку тощему и честолюбивому. Сам Яков Афанасьевич в шахте действительно бывал редко.

Он не то, чтобы боялся шахты,— он на ней родился и вырос,— а ему было просто скучно в ней, неинтересно, тяжко, душа к углю не лежала.

Душа Якова Афанасьевича Голубева тянулась совсем к иному. В этом рыхлом и с виду ленивом человеке таилась великая страсть, она одна только могла сделать его и деятельным, и подвижным, и даже азартным. Он любил скот.

Ради того, чтоб добыть или даже только поглазеть на прославившуюся новую племенную породу, он мог

пешком исходить десяток ярмарок или воскресных базаров. Он мог без устали вертеться подле полюбившейся ему пегой или пестрой красавицы, любоваться могучим выменем и до хрипоты в глотке уговаривать хозяина поменяться с ним коровами — с приплатой, разумеется.

Меняться он любил. Он барышничал бескорыстно — чаще всего себе же в ущерб,— менял ярославку на горбатовку, горбатовку на костромчанку, находя радость именно в этих переменах.

— Вот какая красавица, а! — совсем по-детски восторгался он, вводя к себе во двор новую корову.— Рекордистка! Фантастические удои, ей-богу, не вру!

Сам он, впрочем, пил только козье молоко, уверяя, что оно умножает мужскую силу.

Он любил и держал у себя всякую животину: бугая, коров, коз, свиней, птицу... Были у него и собаки, у крыльца всегда вертелись щенки, с визгом гонялись за курами... На дворе Голубева вечно стоял птичий и собачий гам. А Яков Афанасьевич с наслаждением глядел на все это мычащее, блеющее и кудахтающее добро и с восторгом похлопывал себя по животу: он был счастлив!

И, однако, не инстинкты собственника двигали им. С еще большим усердием пестовал бы он и умножал общественное стадо. Он просто ошибся призванием. Ему бы не заведующим шахтой быть, а начальником ОРСа или директором совхоза. Отличный, заботливый был бы директор!

Но, разумеется, никому и в голову не могло бы прийти назначить горного инженера в совхоз.

А горняк он был плохой. И Виктор теперь это ясно увидел. Больше не хотелось ни кричать на Голубева, ни ругаться, ни злиться — бесполезно. «Что ж теперь делать? — думал Абросимов, с истинно шахтерским презрением глядя на потного толстяка в каске.— Снимать его, что ли?.. Да, надо бы снять! Надо. А пока? Пока кто? Кто на самом-то деле управляет шахтой?» — Он обвел взором всех людей в кабинете и остановился на главном инженере. Тот встрепенулся, заметив этот взгляд. Они молча смотрели друг на друга.

— А что же поросеночек? С кашей? — неуверенно пробормотал Голубев.— А? — он снял каску, вытер

вспотевшую лысину и с надеждой посмотрел на управляющего.— И рыбка свежая, мариупольская...— прибавил он.

Абросимов резким движением встал из-за стола...

— Хорошо! — сказал он, усмехнувшись уголком рта.— Отведаем и рыбки! Надеюсь, вы с нами? — обратился он к главному инженеру.

— А как же, как же! — подхватил обрадованный Голубев.— Милости прошу!

Теперь он был в своей роли. Да и каска больше не мешала. Торжественно повел он гостей к себе домой, предвкушая обеденные радости. Он не хвастал: и поросеночек с кашей, и свежая рыбка имелись налицо. Обед был на славу хорош.

Но управляющий и тут расстроил хлебосольного хозяина: он ел оскорбительно. Не глядя, брал все, что ему предлагали, торопливо жевал, без вкуса и без смака, и разговаривал только с главным инженером шахты, Арсением Ивановичем, и все на угольные темы. Поросеночка же так и не похвалил.

За обедом не следует говорить на неприятные, колючие темы,— в этом отношении Яков Афанасьевич Голубев, сам того не зная, придерживался этикета японской чайной церемонии. Но тщетно пытался он направить беседу в доброе, обывательское русло. Виктор круто поворачивал ее по-своему.

— Какие вы угольщики! — с презрением фыркал он, тыкая вилкой в поросенка.—Угольщики должны уголь давать. А вы?

— Приходится согласиться с вами, Виктор Федорович! — уклончиво отвечал инженер.— Прорыв!

— А почему прорыв? Почему? И до каких пор? Ваша шахта весь трест в болото тянет. Если бы не вы...

— Сознаем. Да что поделаешь! — печально кивал головою Арсений Иванович.— Как говорится, выше головы не прыгнешь,— а сам с тревожным интересом все время смотрел на управляющего, словно ожидал услышать главное и сокровенное.

Наконец, Абросимов упомянул имя Посвитного. Стал расхваливать его.

— Вот с кого вам бы пример взять! — с упреком сказал он.

Арсений Иванович осторожно усмехнулся.

— Отважный человек Иван Гаврилович! — сказал он и пытливо посмотрел на Абросимова.— Где уж нам!

— А я трусов не терплю! — круто отрезал Виктор.

И они поняли друг друга.

Собственно, этим и был исчерпан весь разговор между управляющим трестом и главным инженером шахты. Но через два дня шахта Голубева выполнила суточный план.

Это была великая минута в жизни Виктора-управляющего. Впервые в трестовской сводке появились желанные сто процентов. Даже сто и три десятых.

Он смотрел на эту круглую, пузатую, чем-то похожую на Голубева, благодушную цифру и насмотреться не мог. Потом вдруг поднял рапортичку над головой и тихо, торжественно потряс ею. И — засмеялся. Он был один в кабинете.

Что он чувствовал сейчас, в эту минуту? Вероятно, то же, что чувствует альпинист, взобравшись на недоступный людям пик,— счастье и усталость. Но зато какое могучее счастье! Пусть продлится оно одну минуту, всего одну минуту, пока стоишь на сияющей снегами вершине и смотришь вниз,— ради этой минуты стоило карабкаться!

Но альпинист, взяв пик, уже обеспечил себе вечную славу, его имя навсегда останется на географической карте. А для Виктора это в лучшем случае слава на один день. Каждый день должен он карабкаться и брать пик.

Каждый день, всю свою жизнь. И если он, наконец, прочно укрепится на завоеванном пике,— ему тотчас же пришлют новый план. Зададут новые высоты... Ну и пусть! И пусть! В этом и есть скромное, бескорыстное счастье хозяйственника. В чем же еще? Он не капиталист, не акционер, не биржевой маклер...

Сейчас не хотелось ему вспоминать, какими способами и маневрами добился он этого торжества. Все равно! Он дал уголь. Не себе — родине. Металлургическим заводам, паровозным топкам, электрическим стан-

циям. Семь с половиной тысяч тонн угля в сутки. Кто упрекнет его за это!

Он спохватился вдруг: надо немедленно же позвонить начальнику комбината, доложить о первой победе. Доложить тихо, скромно, даже сухо. По-деловому. Он знал, что начальник комбината обрадуется. Обрадуется именно за него, за Виктора. Начальник питает к нему слабость, это он уже знал. Знал и о том, что давно уже отдал он команду своему аппарату не тормошить, не дергать молодого управляющего-выдвиженца, дать ему возможность самостоятельно похозяйничать, показать себя. Да, начальник любит его. И все его любят. Все ласково и с надеждой смотрят на молодого хозяйственника, ждут, что он и в тресте покажет себя, как когда-то в лаве...

Ну что ж, вот он начинает показывать. Не будем преувеличивать,— это только первая ласточка, как говорит Посвитный. Виктор отлично понимает это...

Он снял трубку и позвонил... Андрею. Он сам не знал, почему именно Андрею первому позвонил. Хотел ведь начальнику комбината?..

— Да! — услышал он негромкий голос товарища.— Кто говорит?

— Послушай, Андрей,— сказал Абросимов,— у тебя из окна вид хороший?

— Что? — не понял тот.

— Вид, говорю, хороший? Кругозор большой?

— Ну, по занимаемой должности...— улыбнулся Андрей.

— Звезды видно?

— А-а! Вот ты о чем?..— засмеялся секретарь.— Хвастаешься?

— А что — нельзя?

— Да как тебе сказать! Не рановато ли?

— Да ты в окно погляди! Погляди! — вскричал Виктор.— На всех шахтах звезды горят. Сто процентов по тресту!

— А-а, тогда поздравляю! От всей души поздравляю, дорогой.

— Спасибо,— растроганно ответил Виктор.— Под вашим, так сказать, идейным руководством...

— Да, кстати! — спохватился Андрей.— Хорошо,

что ты мне позвонил. Слушай, что там у Посвитного творится?

— А что?

— Да есть тут у меня сигнал от парторга. Говорят, вовсе Посвитный забросил проходку нового горизонта...

— Ну, уж и вовсе! — темнея лицом, пробурчал Абросимов.— Ты, будь добр, не очень-то доверяйся подобным сигналам.

— А ты разберись, разберись...— добродушно посоветовал Воронько.— Вообще подозрительны мне успехи Посвитного. Уж не Сакко и Ванцетти помогают ему?

— Какие Сакко и Ванцетти?

— А карандаши есть такие, неужели не знаешь? — засмеялся секретарь.— Фабрики имени «Сакко и Ванцетти»?

— Хорошо, я разберусь,— сказал Виктор и положил трубку.

Но праздник был уже испорчен.

Праздник был окончательно испорчен. И кем же? Андреем!

12

Постоянным корреспондентом областной газеты в Первомайском (бывшем Круто-Марьинском) районе с давних пор являлся Гриша Мальцев. Без Гриши Мальцева трудно было бы представить себе Первомайский район, как, впрочем, и Гришу Мальцева вне Первомайского района.

Здесь, на «Софии», Гриша родился. Здесь некогда работал коногоном. Здесь написал свои первые рабкоровские заметки. По существовавшей тогда моде он подписал их псевдонимом, но тайны не сберег, сам же ее с гордостью и выдал.

Его излюбленными псевдонимами долго были «Жало» и «Скорпион», и Гришу так и звали тогда на шахте — «Гриша Скорпион», хоть во всем районе вряд ли сыскался б человек добродушней и безобидней его. Потом псевдоним он отбросил, подписывался: Г. Мальцев, и в поселке его стали звать просто Гришей. Звали так и сейчас, когда Грише уже стукнуло добрых пятьдесят лет...

Есть в шахтерских поселках люди, которые как бы целиком, безраздельно принадлежат всему обществу, являются его достоянием и его славой. Обычно это местные поэты, футболисты, актеры и музыканты самодеятельности. Даже незнакомые люди называют их просто по имени — Саша, Вася, Петя — и не из фамильярности, а из особой ласки. Так когда-то на всех аренах России знаменитого борца Поддубного Ивана звали просто дядей Ваней. Это — флаг популярности.

Пожалуй, Гриша Мальцев и был самым популярным человеком в Первомайском районе. Его знали все. Без него не было торжества в лаве, свадьбы в казарме, вечера в клубе. Он был всеобщим другом, сватом и кумом. С ним советовались, его охотно приглашали на «стопку чая», к нему вечно обращались с просьбами. Он готов был услужить всем.

Он сочинял жалобы в суд, заявления и другие бумаги: вступающим в партию помогал составить биографию; солдатам писал письма; для самодеятельности делал райки и частушки на местные темы, и даже песни — корявые, но с «душой». Если где-либо на шахте случалось происшествие, об этом первым долгом звонили Грише. Бабы, возмущаясь очередью у магазина, непременно вспоминали Гришу: «Надо Гришу позвать, уж он их всех прохватит!» Его всегда теребили, всегда куда-то тащили и звали...

И он немедленно являлся — встрепанный, встревоженный, расхристанный, с пухлым блокнотом в руке и карандашом за ухом и с таким видом, словно он примчался на пожар, а не на дружескую вечеринку.

С годами он не менялся, только седел. Он оставался большим, добрым ребенком, беспечным к себе и своим нуждам, отзывчивым к нуждам чужим. Он ходил летом в парусиновой куртке, похожей на спецовку, и в сандалиях на босу ногу, а зимой — в длиннополом пальто с вельветовым воротником и глубоких калошах; пестрый, косматый шарф болтался на его шее, как веревка на удавленнике...

И летом и зимой он носил шляпу — единственный во всем поселке. С этим была связана целая история. Первый гонорар — нежданный, непрошенный — привел Гришу в великое смятение. Он... обиделся.

— Что ж они там, в редакции, полагают, что я из-за денег пишу и без денег писать не стану?

Он даже поехал в город, в редакцию, объясняться. Ему разъяснили, что так принято, ничего не поделаешь. Пришлось деньги взять. Но он не знал, что делать с этими шальными «литературными» деньгами. Подумал-подумал и вдруг купил себе шляпу. Все писатели носят шляпы. А Гриша Мальцев теперь чувствовал себя приверженным литературе навеки и до последнего вздоха.

Впрочем, к гонорару он так привыкнуть и не смог — брал его, всегда конфузясь. Другое дело зарплата. У него навсегда осталось рабкоровское отношение к газете. Он свято верил во всемогущество и таинство печатного слова и трепетал перед ним. Появление собственной заметки в газете каждый раз приводило его в удивление и восторг: «Смотрите! Напечатали! Да неужто напечатали?» Он глядел на черные рядки и наглядеться не мог: собственные слова казались ему чужими и многозначительными.

Профессионалом он так и не стал. Он писал слишком много, длинно и во всех жанрах. Когда редакция безжалостно сокращала его сочинения, он не обижался, а только вздыхал...

Несмотря на то, что некогда его любимым псевдонимом был «Скорпион», он к желчному племени разоблачителей не принадлежал. В нем не было злорадного восторга разоблачителя. Узнав о безобразиях в районе, он сам же первый и огорчался. Он знал, что об этом надо написать в газету. Нельзя не написать. И он писал — добросовестно и кропотливо — об отставании района, о прорыве на шахте и непорядках на севе или уборке... Но в этот день он сам был не свой. «Словно родному отцу в бороду наплевал!..» — вздыхал он.

Зато какая радость, когда можно выхвалить свой район перед другими! Гриша Мальцев был пламенный патриот. Его донбассовский патриотизм был неистовым, непримиримым, яростным и... чуть-чуть наивным, трогательно смешным. По мнению Гриши Мальцева, Донбасс никому и ни в чем не уступал. Ни в каком отношении! Донецкие курганы не ниже Уральских гор, Азовское море не хуже Черного. А Северный Донец!

А степь! А недра! А люди! Традиция! История! Революция!

В Донбассе, в годы гражданской войны, бывал Сталин. Гриша может показать дом, где вождь останавливался. В Донбассе жил Артем. Отсюда вышел легендарный Пархоменко. Здесь родились Ворошилов, Жданов, Хрущев, секретарем Донецкого губкома партии работал Молотов. Здесь часто бывали Орджоникидзе и Каганович,— их вообще с легкой душой можно считать коренными донбассовцами.

В Бахмутском уезде родился писатель Гаршин, в Мариуполе — художник Куинджи. Под Мариуполем же, в рыбацком селе,— Седов, отважный исследователь Северного полюса. В Донбассе работали знаменитые горняки-геологи Летучих и Горлов. От последнего и пошла Горловка. В Донбассе прославился легендарный доменщик Курако. Тут явились и Изотов, и Стаханов, и Кривонос, и Паша Ангелина. А сколько наркомов, академиков, певцов, артистов дала земля донецкая!.. Стоило назвать при Грише Мальцеве любое имя, как он тут же объявлял: наш!

Он насиловал для этого и историю, и географию. Он отторгал Таганрог от РСФСР и беззаботно присваивал его для того только, чтоб Антон Павлович Чехов оказался земляком. Он уверял, что речушка Кальмиус, протекающая в наших пределах, и есть та самая Калка, на берегах которой некогда разыгралась историческая битва русских с татарами. Из-за Стеньки Разина еще можно было спорить — донской он казак или донецкий, но зато Кондратий Булавин уж доподлинно был бахмутским станичным атаманом!

А скифские каменные бабы? Их и сейчас сколько угодно в донецкой степи. Разве не доказывают они, сколь эта земля древня? Гриша Мальцев не прочь был объявить и скифов, и хазаров, и даже половцев-кинчаков прямыми и непосредственными предками современных донбассцев.

Но тут же он спохватывался. Он вспоминал украинских казаков, бежавших сюда, в степь, из Запорожской Сечи.

— Нет, мы потомки сечевиков! — гордо восклицал он.

— Вот откуда у нас характер! Мы — казаки. Мы — дети вольницы. К нам всегда приходили люди «шукать свою долю и волю»,— повествовал он.— Бежали сюда хлопы с Днепра и Припяти, от проклятой шляхты. Бежали крепостные люди с окраинных русских земель. Спасались здесь от турецкого ига болгаре, валахи, венгерцы... Донецкая степь всем стала родиной. Прибежали греки из Крыма — заложили Мариуполь. С Балкан пришли сюда целые полки сербов — отсюда и Славяносербск. Они так и селились поротно. До сих пор в народе эти села зовут «ротами». Да вот, например, село Верхнее, где «Донсода» — 3-я рота, Калиновское — 13-я рота... Ротные командиры скоро стали помещиками, и от Штерича пошла Штеровка, от полковника Голуба — Голубовка... А потом, когда началась «угольная лихорадка»,— кого-кого только не приютила, не обнадежила мать донецкая земля! Даже китайцев. И все эти разноплеменные элементы оседали тут. Приживались и, как крупинки, вплавлялись в основную массу коренного украинского населения и растворялись в ней. Своим потомкам они передавали уже только одни фамилии да глаза. Я заметил, что глаза дольше всего сохраняются... Вот мы какой народ! — хвастливо заканчивал он.— Особенный! Ну, где вы еще такой встретите?

Я уверен, что если б хорошенько раздразнить Гришу, «загнать его в бутылку»,— он мог бы договориться и до того, что донбассовцы вообще — особая нация, только ученые все не могут это открыть. Гриша был способен и не такое еще брякнуть сгоряча, так далеко заходил его необузданный областной патриотизм.

Его корреспонденции всегда пестрели выражениями: «единственный в мире», «самый крупный в Европе», «впервые в истории»; в редакции уже привыкли почти механически выметать все эти излишества из Гришиных статей. Но Гриша не унимался. Впрочем, иначе он и не умел писать. Он тоже был энтузиаст, как и Виктор Абросимов.

По роду своей работы Грише чаще приходилось иметь дело с Андреем Воронько, чем с Виктором. Андрея он уважал, но побаивался, в Виктора же влюбился сразу. Все в этом человеке было ему мило-дорого. И то, что он был здешний, круто-марьинский, коренной (Чи-

биряки не шли в счет — это предыстория человека!), и то, что вышел он из шахтеров, и его истинно шахтерский отчаянный нрав, и его стать, и рост, и пламенные глаза... Втайне Гриша уже мечтал о том, что напишет целую книгу о Викторе. Какой провинциальный журналист не мечтает о своем «Тихом Доне»! А Гриша Мальцев был просто рожден для того, чтобы стать летописцем своего района.

Но пока трест прозябал в прорыве, об этом нечего было и думать. Гриша даже в газету ни строки не писал. И редакция его не понукала. Вокруг Виктора както сам собою установился всеобщий и дружеский заговор молчания. Все понимали, что управляющий он молодой, а трест ему достался трудный. Все терпеливо ждали, что он вытянет дело. Его берегли и немного баловали.

Ждал и Гриша, может быть, только нетерпеливее всех. И, наконец, дождался! Третий день подряд трест Виктора выполнял суточный план. На четвертый день Гриша взялся писать статью.

В этот день перо его летало по бумаге быстрее молнии. «Крутой перелом!» — так называлась эта статья. Редакция напечатала ее немедленно. В этот день Гриша чувствовал себя именинником больше даже, чем его герой. Первомайский район снова гремел на весь Донбасс!

Бедный Гриша-Скорпион! Он даже не подозревал, какую статью написал!

13

По тому, как встретила его Даша, когда он пришел обедать домой, Виктор сразу понял, что она уже прочла статью Гриши Мальцева. В Даше все дышало сейчас счастьем и гордостью, гордостью за мужа. Она прямо с порога порывисто рванулась к нему и протянула руки навстречу. Потрясенный и благодарный, он обнял ее и расцеловал.

Так они и стояли в передней, обнявшись, словно после долгой разлуки. Потом, рука об руку, тихо и торжественно пошли в столовую.

И Даша вспомнила, что вот так же, под руку шла

она с Виктором и пять лет назад, в утро его первого триумфа. Так же влюбленно и покорно прижималась она к нему, так же заглядывала в глаза. И все подруги ей завидовали!.. В то утро она впервые узнала, как сладко быть спутницей героя,— и только потом — как это тревожно. Она так и осталась на всю жизнь просто спутницей.

Но сейчас ей не хотелось думать ни о себе, ни о своей судьбе. Сейчас она была счастлива счастьем мужа-товарища.

— Ну, хвастайся, хвастайся! — сказала она, едва сели за стол.— Теперь ты можешь дать себе волю...

— Да нечем еще хвастаться, Светик...

— Нечем? Тебе-то и нечем? — удивилась она.

— Право же, нечем. Я пока халиф на час.

— Нет, ты не увиливай! Ты хвастайся, хвастайся. Ну, я очень прошу тебя — хвастайся! И ешь,— сказала она, бережно подвигая к нему полную тарелку.

— А что же сначала: есть или хвастаться? — лукаво спросил он.

Она засмеялась.

— Сначала — есть.

— А-а! Пожалела все-таки! — засмеялся и он.— Значит, можно кидаться?

— Кидайся!..

Он взял стопку, подмигнул Даше, как приятелю, выпил, крякнул и жадно накинулся на еду,— он проголодался.

— Ух! Отличной варки борщ! — тотчас же с удовольствием воскликнул он, обжигаясь горячим и круто наперченным варевом.— Сердитый! Коксующийся,— он любил, чтоб борщ был горяч, как кипяток.

А Даша ничего не могла есть, только ухаживала за мужем. Ей нравилось, как он ест: грубо, по-мужски, нетерпеливо. Правда, он вовсе не разбирался в деликатностях кухни и не ценил их. Но и сама Даша в этом не шибко понимала. Слишком долго они оба были на студенческих харчах. Они оба привыкли к еде всухомятку и на ходу; оба были работники, кочевники, холостяки по натуре...

Только сейчас, ожидая ребенка, Даша впервые начинала чувствовать себя матерью и хозяйкой. Ребенок,

еще не родившись, уже наполнил ее новой, неведомой жизнью, незнакомыми и острыми переживаниями, радостями и тревогами. И, однако, он не мог еще завладеть ею целиком, безраздельно. Она все еще оставалась горняком. По крайней мере половина ее души была там, на шахтах мужа.

— Знаешь,— сказала она, когда обед уже подходил к концу,— эта статья была для меня полной неожиданностью. Ведь ты ж ничего, ничегошеньки не рассказывал мне! — прибавила она с легкой обидой.— Ты совсем меня забросил.

— Ах, Дашенька, да когда же мне? — вскричал он виновато.

— Нет, нет, я не упрекаю...

— И потом я не хотел зря волновать тебя. В твоем положении всякая, даже пустая тревога — опасна.

Он говорил сейчас правду. Он действительно боялся ее тревожить. С тех пор как она забеременела, он стал ей еще ближе как муж, но зато дальше как товарищ...

Она грустно покачала головой.

— А я так люблю твои тревоги! — вздохнув, сказала она. Но тут же и спохватилась: — Ну, не буду, не буду! Ты прости меня, дорогой! Видно, правду говорят, что все брюхатые бабы ужасные эгоистки,— виновато засмеялась она.— Больше не будет никаких упреков! Сегодня — твой, твой день! День твоего первого успеха!

— Нашего успеха, Дашенька! — великодушно поправил он.

— Да. И знаешь, что надо сделать, милый? — оживилась она.— Надо устроить кутеж! Пир на весь мир! А? Правда? Позовем друзей, Андрея, Федю Светличного, они что-то давно у нас не были... И этого, Гришу Мальцева, тоже позовем. А?..— И она посмотрела на Виктора вдруг заблестевшими и помолодевшими глазами. Она знала: ему понравится это предложение.

Но муж весь окутался папиросным дымом и ответил не сразу.

— Что же? Это чудесно...— наконец, сказал он, однако без всякого воодушевления. И тут же торопливо прибавил: — Но, разумеется, не сегодня. Сегодня я хотел бы побыть с тобою вдвоем, Светик!..

Но только сказав это, почувствовал, что действительно этого хочет. В конце концов одна Даша его настоящий, верный друг — и в беде, и в радости. Все остальные умеют только критиковать да поучать.

— Хочешь, проведем этот вечер одни, вдвоем? — сказал он, ласково и бережно обнимая жену и заглядывая ей в глаза.— Я никуда не поеду — ни в трест, ни на шахты...

— Правда? — воскликнула она.

— Правда. Сегодня я не управляющий — хватит! Сегодня я только муж и... отец. Где мой халат и стоптанные туфли?

...Это был чудесный вечер. Только телефонные звонки изредка нарушали их добровольное и радостное уединение. Но и звонки были приятные: все поздравления. Статью Гриши Мальцева уже прочитали все.

В конце концов Виктор все-таки расхвастался.

— Если бы ты знала, Дашенька,— сказал он, смеясь,— сколько воронья каркало над бедной головушкой твоего мужа! Сколько пророков предрекало ему полный провал!

Но он не сказал, кто это «воронье».

Он ходил по кабинету в своей пижаме, похожий на милого, прилежного мальчика-отличника, много курил, роняя повсюду пепел, и все говорил, говорил, говорил... И от его слов вдруг пахнуло на Дашу знакомым дыханием шахты, ее влажным и теплым воздухом, ее запахами угля и газа, грибной плесени и сырости, всей той поэзией каменного леса, которую только горняк понимает и любит и по которой только он один способен тосковать.

Уже давно не была Даша в шахте. Даже в погреб за квасом спускается не она, а работница. Дашу все берегут. Она много гуляет. Знакомый доктор-старичок, поклонник натуральной медицины, советует ей «набирать побольше озона в легкие» — и на себя, и на ребенка.

— Дышите! Больше дышите свежим воздухом! — твердит он.

Но ни он, ни Виктор, ни отец, никто не знает, как стосковалась она по «свежей струе», с каким восторгом и жадностью глотнула б оттуда. И, вероятно, сразу же

захмелела б от крепкого настоя. В этом глотке было бы куда больше озона, чем здесь, во всей атмосфере.

А слабые, полузадушенные запахи степи и леса, трав и даже цветов, вдруг неожиданно проникающие — или это только чудится? — по трубам вентиляции в шахту, разве они не слаще всех ароматов Дашиного сада?! Эти запахи так дороги там, под землей! А здесь их и не ценишь вовсе, здесь они приторны.

Она неожиданно сказала:

— Если у нас родится сын, он, конечно, тоже будет горняком. Непременно! Но если дочь...— она не докончила и задумалась.

Но Виктор не понял ни ее тона, ни горькой улыбки. Он был слишком полон собою в этот вечер.

— Конечно, будет сын! — сказал он так, словно и это зависело от него.— В честь его рождения я устрою небывалый день повышенной добычи. Грандиозный сабантуй!

— Дни повышенной добычи не рекомендуются,— улыбнулась Даша.— Это — штурмовщина.

— Кто тебе это сказал? — засмеялся он.— Мне все позволено!..

Поздно вечером, перед тем как идти на покой, он позвонил в трест и потребовал последнюю сводку. Тут же, присев на краешке стола, он и записал ее. Все шахты — кроме Горового — шли отлично.

— Сто процентов будет! — сказал он, внимательно изучая сводку.— Ну, женушка, кажется, я твердо сел на план.

— Да? — обрадовалась она.— И прочно?

— Кажется, прочно! — ответил он и опять склонился над сводкой.

Отчего ж все-таки не чувствовал он себя так покойно-уверенно, как настоящий кавалерист в седле? Дорога была в ухабах, конь ли с норовом, или сам наездник слишком горяч?

Он сказал жене:

— Завтра я уеду чуть свет, Дашенька! Ты завтракай без меня...

Рано утром — по гудку — он уехал из дому: хотелось побывать на нарядах.

Снова заметался его «голубой экспресс» по угольным дорогам, с шахты на шахту. Но теперь Виктора везде ждали добрые вести. Даже на шахте Голубева все оживилось и повеселело. Непрерывно качал ствол; казалось, неистощимый угольный фонтан бьет из недр земли и конца ему нет и не будет!

Виктор не поехал в шахту — пошел на эстакаду. Как раз подали эшелон под погрузку, и Виктор стал с удовольствием наблюдать, как потекли, побежали в вагоны угольные реки...

— Хороший уголек! — сказал оказавшийся рядом десятник,— исключительный!

Утренняя заря играла на грудах — уголь искрился и казался золотым, словно он уже пылал в топках.

«Девять таких эшелонов каждые сутки,— подумал Виктор,— и можно смело смотреть людям в глаза!»

В полдень он добрался до Посвитного. Ивана Гавриловича в конторе не оказалось. Вообще не было никого из администрации, кроме старика бухгалтера, страдающего астмой. Задыхаясь, он торопливо выбежал навстречу Виктору и объявил, что все в шахте.

— Что у вас — авария? — встревожился Абросимов.

— Нет. Гость у нас.

— Кто?

— Андрей Павлович.

— А-а!

— Он на горизонте шестьсот двадцать,— почему-то шепотом прибавил старик.

Виктор нахмурился. Вот как? Ревизия? Но он ни о чем больше не спросил, молча пошел в баню, переоделся и пошел на шахту.

Ему показалось, что рабочие на шахтном дворе проводили его насмешливыми взглядами, что даже рукоятчица как-то по-особенному усмехнулась, когда он приказал дать в машинное отделение сигнал, что едет на горизонт шестьсот двадцать. Вероятно, все это только мерещилось ему. Просто он был очень рассержен — рассержен на Андрея. «Зачем он так демонстративно поехал именно на горизонт шестьсот двадцать? Зачем приехал вообще? Это уж не по-товарищески! Мог бы позвонить мне,— поехали б вместе...»

Он отлично знал, что делается, или, вернее, что не делается, на горизонте шестьсот двадцать, но даже его неприятно поразила тишина здесь, какая-то особенно тоскливая, нерабочая тишина — тишина запустения. Ни людей, ни огонька, ни стука, ни шороха... Только где-то в темноте попискивали напуганные крысы да булькала вода.

«Что же, Посвитный совсем забросил горизонт? Ну, это действительно черт его знает что! Хоть бы выработки поддерживал, старый дурак! — выругался он, сгибаясь в три четверти под свесившейся балкой.— Совсем горизонт завалит! Нечего сказать, хорошо я буду выглядеть сейчас перед Андреем».

Он до боли прикусил нижнюю губу. А, черт! Легко представить себе все, что скажет Андрей! Да он просто ткнет его, как щенка, мордой в блевотину,— и в ответ ему ничего не тявкнешь. Теперь Виктор уже жалел, что поехал в шахту. Лучше было бы встретиться с Андреем в конторе, а не здесь, «на месте преступления».

Наконец, он увидел огоньки — они медленно двигались ему навстречу. Но голосов он не услышал: люди шли молча. Было что-то тоскливое и пристыженное в этих обычно веселых огоньках. Казалось, они мигают... вороватo, как глаза нашкодившей кошки. Который из них огонек Посвитного? Андрей там, вероятно, идет впереди. И — молчит. И все вокруг него молчат тоже. И Виктор вдруг понял, что он боится этой встречи.

Да, просто боится встречи с Андреем. Боится.

Но он тут же рассердился на себя. «Да что это со мной? Вот глупости! Да чего мне бояться?» Некстати вспомнились слова Посвитного: «Я ничем не дорожусь — ни местом, ни службой, ни состоянием, поскольку такового и не имею!» — «А я, я-то чем дорожу? — злобно подумал Виктор.— Я — шахтер! Мне ничего не страшно. Меня в Донбассе знают! Обо мне газеты трубят! Зря, что ли?!» Он нетерпеливо замахал лампой, и какой-то один огонек весело ответил ему. Чей?

Он ускорил шаги.

— А-а! Вот это кто! — приветливо встретил его секретарь горкома.— Сам хозяин! — Подозрительное ухо Виктора не смогло уловить и тени насмешки в его голосе.

Все же он поздоровался с Андреем сдержанно и сухо:

— Здравствуй, Андрей Павлович! —и тут же набросился на Посвитного.— Что у вас тут за мертвое царство? Крепильщики где?

— Да день такой неудачный, Виктор Федорович! Прямо как нарочно!..— жалобно ответил Посвитный, поеживаясь, даже в темноте было видно, какая у него виноватая, встревоженная спина.— Невыходов много. Грипп. Ну, просто повальная эпидемия гриппа!

— Ладно уж! — брезгливо перебил его Виктор.— Эпидемия! Молчали б лучше!

Посвитный обиженно смолк.

Андрей не сказал ни слова.

Некоторое время стояли молча.

— Прикажете вернуться, Виктор Федорович? — нерешительно спросил главный инженер шахты.— Осмотрите работы?..

— А зачем? И так все ясно! — махнул рукой Абросимов.— Поехали уж на-гора́!

Андрей опять ничего не сказал, и все молча пошли квершлагом к стволу.

Молча выехали и на-гора́.

Здесь Посвитный приободрился. Он успел бросить осторожный взгляд Виктору, и тот прочел его: «Что же это вы, Виктор Федорович, а?.. Грешили-то вместе...» — и отвернулся.

Только один Андрей Воронько был невозмутимо спокоен. Выйдя из клети, он с удовольствием выпрямился и потянулся всем телом, отводя руки назад и с силой сводя лопатки, и Виктор узнал это ребячье, благодушное движение. Оно слишком много напомнило ему: молодость, дружбу, прошлое... Но даже оно не успокоило, не примирило его с Андреем, а разозлило еще больше. «Да что он играет со мною, как кошка с мышью? Лучше б сразу, прямо и поскорей!» Главное — поскорей!

Ему захотелось, чтоб разговор с Андреем состоялся немедленно, раз уж он неизбежен.

— В шахтоуправление пойдем? — спросил он хрипло, нетерпеливо.

— Нет, зачем же? — улыбаясь, ответил Андрей.— В баню,— и они пошли в баню. Техническая баня у Посвитного была хорошая, новая.

Старуха уборщица принесла свежие березовые веники, тазы с парной мыльной водой, мочалки и, примолвив: «На доброе здоровье!» — вышла. Андрей тотчас же бросился под горячий душ, за ним — остальные. Скоро вокруг раздавалось только довольное кряканье, фырканье да сопение, и у всех — даже у Посвитного — само собой появилось то возбужденно-счастливое и немного дурашливое настроение, какое всегда бывает у человека в бане, когда вместе с одеждой сбрасывает он с себя и свои чины, и звания, и все мирские заботы и когда кажется, что вместе с потоками грязной от угля и пыли воды скатывается с тебя все нечистое, случайное, бог весть где и когда к тебе приставшее, и ты становишься юным и невинным, как новорожденный...

— А ну, Виктор, дай-ка я тебе спину потру! — закричал Андрей и, намылив мочалку, весело подошел к товарищу... Тот молча подставил спину, а Андрей стал усердно ее тереть.

— А ты не жиреешь, черт! — говорил он, крепко похлопывая ладонью по разгоряченному телу приятеля.— Красив!

— А это что ж: хорошо или плохо?

— Сверхъестественно.

Потом Виктор тер спину Андрею, тоже хлопал по ней, яростно мылил шею, а затем вдруг окатывал приятеля горячей водой из шайки, и при этом оба беззаботно ржали и дурачились, словно они все еще были ребятами из комсомольской лавы, забойщиками и товарищами...

Разопревшие и благодушные, вышли они, наконец, из бани, и Андрей предложил Виктору ехать домой вместе.

— Хочешь — в моей машине, а хочешь — в твоей.

— Лучше в моей.

— Ну, что ж! — согласился Андрей.— Твоя, директорская,— богаче!

Они попрощались с Посвитным — Андрей так ничего и не сказал ему о горизонте шестьсот двадцать — и поехали.

Виктор понял, что неприятный разговор состоится в дороге, в машине.

И он состоялся.

14

— Слушай, Виктор, как ты относишься к статье Мальцева? — неожиданно спросил Андрей, всем корпусом поворачиваясь к товарищу.

Как раз этого вопроса Виктор и не ждал. Он думал, что разговор пойдет о горизонте шестьсот двадцать. На всякий случай он неопределенно пожал плечами:

— Ну что ж, статья как статья...

— А по-моему, плохая статья, вредная.

— Почему? — встревожился Виктор, словно он сам был автором этой статьи.— Разве в ней смазана роль горкома партии?

— Нет, не смазана! — усмехнулся Андрей.— Даже напротив.

— Так чего же ты хочешь? — уже с досадой спросил Виктор.

— Правды.

— А в статье что же?

— А в статье — фальшь...— спокойно ответил Андрей.

Виктор нервно заерзал на сиденье. Разговор принимал еще более неприятный оборот, чем он ожидал. Все же он сдержался.

— В чем же ты видишь фальшь, Андрей? — хмуро и недружелюбно спросил он.

— А в том, что в статье написано: в тресте — крутой перелом...

— А это неверно?

— Нет. Неверно.

— Но ведь трест же стал выполнять план.

— Какой? И как?

— А у меня один план — государственный! — рассердился Виктор.— А как я его выполняю — это уж мое дело. Главное — выполняю.— Он отодвинулся в угол и нервно закурил.

— Ну, это как сказать! — покрутил головой Андрей.— Допустим, дало тебе правительство план заго-

товки дров. А ты, вместо того чтоб идти в лес, взял бы да спокойненько и вырубил все деревья в нашем городском парке. И рапортуешь: план выполнил, дрова заготовил, а как — мое дело!

— Нелепое сравнение! — фыркнул Виктор.

— Хорошо! — послушно согласился Андрей.— Возьмем другое. Из военной области. Скажем, приказали тебе форсировать реку, взять высоту и создать предмостное укрепление. Ну, ты высоту взял! Штурмом! Ты это словечко любишь. А укрепления не создал, не окопался, резервов не подтянул, мер должных не принял — и наутро противник преспокойно вытряхнул тебя с твоей высоты...

Виктор нетерпеливо подскочил на месте.

— Послушай, Андрей! — вскричал он, ломая папиросу и вышвыривая ее за окно.— К черту художественные сравнения! Ты зачем приезжал на шахту к Посвитному? Проверять меня, да?

— И тебя и себя... Мы оба за уголь отвечаем.

— Ты прямо говори, не хитри! Не доверяешь мне?

— Не то! — поморщился Воронько.— Боюсь я за тебя.

— А за меня не надо бояться! Я не мальчишка! Когда вы это, наконец, поймете? — в отчаянье заметался Виктор.— Ведь ты же обещал меня два-три месяца не трогать! Обещал? Ну?

— Ну, обещал...

— Так зачем же ты ко мне в душу лезешь? Ну, потерпи, погоди еще немного, дай мне время, чтоб доказать...

Андрей только слабо пожал плечами. Этот разговор был нелегким и для него.

Но он сам его захотел.

— Я б и не трогал тебя, Витя, если б ты верной дорогой шел...— задушевно и как-то очень грустно сказал он, медленно покачивая ногой, и в его словах вдруг невольно вылилась вся его обида за Виктора, за товарища, которого он так любил и в славную судьбу которого так верил — больше, чем в самого себя.

Он и сейчас хотел говорить с ним, как с товарищем.

В любой дружбе, даже в дружбе равных, один всегда ведущий, другой — ведомый. Долгие годы ведомым

был Андрей. Даже ошибки и сбои Виктора не меняли положения: Андрей их тут же оправдывал и прощал. Он считал Виктора человеком особенным, может быть, даже исключительным, заранее отмеченным судьбою, и он относился к нему так, как относится покорно-влюбленная мать к своему странно гениальному сыну,— трепеща от любви и страха за него, благоговея и не понимая.

Себя же Андрей всегда считал обыкновенным человеком, дюжинным, как все: ему увлечения и ошибки не положены. Не по чину.

Он и сейчас продолжает считать себя заурядчеловеком, просто притертым рабочим винтиком машины, не больше. Но зато и Виктора в гении уже не производил. Что-то изменилось, сдвинулось в их отношениях: он и сам не знал, когда и как. Старше он стал, что ли? Он по-прежнему нежно любил товарища, часто думал о нем (и всегда с теплой, доброй улыбкой), но теперь его любовь стала горче и придирчивей. Это была любовь, которая уже видит пятна и морщинки и знает их происхождение. В этой любви стало больше боли и тревоги, меньше восхищения...

Андрей и раньше сознавал слабости приятеля, но прежде они... умиляли, да, умиляли его, как слабости великого человека; сейчас они стали его раздражать и даже злить. Главное, тогда это были просто слабости Виктора, хорошего, но трудного — парня-героя, и страдал от них он один да еще, пожалуй, Андрей или Даша; сейчас это были уж слабости управляющего трестом, от них зависела судьба тысяч людей под землей и на земле. То, что мог простить товарищ товарищу, уже не мог простить управляющему трестом секретарь горкома партии.

Разговор должен был произойти.

Но Виктор не услышал в словах товарища ни любви, ни боли; он заметил только: «неверной дорогой» — и обиделся.

— А кто ж тебе сказал, что я неверной дорогой иду?

— Я был на горизонте шестьсот двадцать,— кратко ответил Андрей.

— Ну, и что же? И что же?

— А вчера я всю ночь анализировал твои сводки.
— Зачем? Думаешь — вру? Очки втираю?
— Нет. Просто хочу твою техническую политику понять.
— А моя техническая политика проста: дать уголь!
— Сегодня?
— Да. Сегодня!
— А завтра?
Но Виктор только с досадой махнул рукой.
— Нет, ты не отмахивайся! — вдруг рассердился Воронько.— Не отмахивайся! Ты отвечай: а завтра? Или о завтрашнем дне пусть уж будущий управляющий думает?
— Что-о? — резко отпрянув от него, прошептал Виктор и обеими руками вцепился в подушку сиденья.— Ах, вот как! Пугаешь?
— Нет!..
— Снимать меня хочешь? Ну, рано, брат, да и руки коротки, вот что я тебе скажу!
— А я и не думаю, что тебя надо снимать! — улыбнулся Андрей.— Это ты сам об этом думаешь. А ты б лучше не о своей судьбе думал, а о шахтах, которые тебе доверили... Что завтра с этими шахтами будет?
— Завтра, может быть, будет война!..— неожиданно сказал Виктор.
— Может быть...— согласился Воронько.— Ну, и что же? Угля потребуется меньше?
— Не меньше...
— А где ж ты тогда уголь возьмешь? Ведь ты, как хищник, съедаешь сегодня всю готовую линию забоев, а о новой линии и не печалишься! После меня хоть потоп! Ишь какой Людовик выискался! Заготовитель дров в городском парке!
Виктор промолчал.
— А наши люди думают о завтрашнем дне! — взволнованно продолжал Андрей.— Им на этих шахтах и жить и работать! И они верят в наш завтрашний день. Пусть даже война. Они в коммунизм верят. А ты у них этот завтрашний день воруешь...
Никогда еще Андрей Воронько не разговаривал так резко с товарищем. Но Виктор опять промолчал.
Он хмуро смотрел в окно, на дорогу. Мимо бежали,

зеленея, поля, бахчи, огороды, но и в них покоя не было, несмотря на безветренный, знойный день. Была тревога материнства, душная жажда жизни и какая-то злая, исступленная тоска по влаге. «Пить! Пить! — казалось, шептали растрескавшиеся губы подсолнухов.— Пить, не то пропадем!» И Виктору вспомнилось весеннее, майское утро, когда он этой же дорогой ехал к Посвитному любоваться «ласточкой». Тогда поля только-только зазеленели; они утопали в росе, и легкий холодок шел от них, как от реки... В то утро Виктор верил в свой завтрашний день.

Верит и сейчас. Что, в самом деле, пугает его секретарь горкома!

Сейчас зеленое море вокруг чуть побурело и запылилось. В нем нет уже весенней, беспечной свежести,— есть нетерпение и тревога. Кое-где проглядывает желтый лист, как ранний седой волос у человека. Картофель уже цветет фиолетовыми беспокойными огоньками. Кукурузные початки выбросили наружу свои султаны, еще нежные и зеленые, но и они быстро грубеют под нестерпимым солнцем. Подсолнухи с сухим, нервным хрустом тянутся вверх и протягивают к небу золотые блюдца: дай, дай, дай!.. А беспощадно-щедрое небо вместо дождевой мелочи швыряет им пригоршни солнечных червонцев.

В волнении и заботах зреет завтрашний день земледельца. Ведь не ради же цветов картофеля трудится он весной? Нужно терпеливо ждать, ждать, ждать... Ждать, пока в назначенные сроки поспеет все, и нежные кукурузные султаны станут рыжими и жесткими, как конские хвосты, с подсолнухов облетит ненужное золотое оперенье, и поля станут некрасивыми, но тучными, а семена нальются маслом, клубни — крахмалом, и соки земли станут земными плодами...

Но ведь от земледельца никто и не требует урожая сейчас, в июне. Все согласны терпеливо ждать осени. А от Виктора сбора урожая требуют ежечасно, ежеминутно, каждый день и в любую погоду. Его урожай созрел миллионы лет назад.

— Чего же ты хочешь от меня, Андрей? — тихо и устало спросил он.

Андрей встрепенулся.

— Перелома хочу! — сказал он, невольно хватая своими руками руки товарища.— Настоящего, действительного перелома, а не крутого надлома, как сейчас...

— То есть ты хочешь, чтоб во имя завтрашнего дня я отказался от выполнения плана сегодня? Ты на это меня ориентируешь?

— Нет, зачем же? — отнял руки свои Андрей.— План надо выполнять и сегодня.

— Как? — спросил Виктор.— Как? — и с тоской посмотрел в окно. Вдоль дороги по-прежнему бежали сухие, шершавые подсолнухи и, как нищие, протягивали к Виктору свои расписные блюдца: дай, дай, дай!

Андрей жестко усмехнулся.

— А ты, оказывается, неверующий! — насмешливо сказал он.— Вот никогда бы не подумал! Значит, ты считаешь, что сегодняшний план невозможно выполнить, не воруя у завтрашнего?

— Послушай, Андрей Павлович! — обиженно вскричал Виктор.

— Нет, постой! — остановил его Воронько.— Ты в душе считаешь, что план невозможно, но нужно выполнить. Так? А я считаю, что его не только нужно, но и возможно выполнить. В этом — вся разница...

— Но как? Как? Научи, сделай милость, в ножки поклонюсь!

— Научу. Изволь. Вот как: мобилизовав все резервы и наведя порядок. Так нас партия учит.

— Да какие ж у меня резервы? — нетерпеливо воскликнул Виктор.— Где они?

— Люди! — строго ответил Андрей.— Наши люди. Вот где твои резервы, Виктор.

— А-а! — разочарованно протянул Абросимов и захохотал тоскливо.— Наглядная агитация, соцсоревнование, массовая работа! Ну, это по твоей части!

— По моей,— спокойно согласился Воронько. Он любил соглашаться, чтоб потом еще увереннй напасть.— А разве и не по твоей? Что же ты, Форд какой-нибудь, для которого человек — только деталь конвейера? Ты — коммунист, хозяйственник... И люди...

Но Виктор со злостью перебил его:

— А, знаю, знаю, слышал! Надоело! — и отвернулся к окну.

Скоро ли кончится эта проклятая дорога? Ему только одного хотелось теперь: чтоб дорога скорей кончилась, а с нею и этот разговор.

А Андрей, сказав «люди», этим словом, будто заветным ключом, вдруг отворил какие-то двери у себя в мозгу, и оттуда пестрой, возбужденной толпой хлынули на него знакомые шахтерские лица и тотчас же обступили его, взяв в тесный и душный круг, как всегда обступали на наряде, на улице, в лаве, на разминовке — всюду, где появлялся Воронько. И как всегда, были они все — раздраженные, недовольные и строгие, как хозяева.

Откуда они взялись, откуда пришли? Где были сейчас? А тут же, с ним, на дороге, в машине. Они все время были тут — невидимые. Они слушали его спор с Виктором. И властно, беззвучно вмешивались. Они подсказали Андрею слова и факты. Они всегда были с ним и никогда его не покидали. Они жили в нем. И это от их имени он говорил. А они, молча кивая головой, придавали вес каждому его слову.

Они были все время тут — под этими полями и кукурузниками, на глубине шестисот — восьмисот метров, под этой дорогой и этой сухой балкой — границей между шахтными полями Посвитного и Голубева — под этими скифскими курганами и голубым небом, которого они днем никогда не видели... И Андрей мог почти точно указать, где, под каким кукурузником какая лава, кто в ней лежит, что делает и что думает. Он их всех знал, всех любил и помнил.

Но сейчас они теснились в его памяти все вместе, гурьбою, заслоняя друг друга и мешаясь, все одинаковые в своем черном рваном шахтерском «бархате», и каждый — особенный, и Андрей сначала никак не мог задержаться на ком-либо одном из них, единственном,— его тут же вытеснял новый, другой...

Но вот, словно растолкав всех, выдвинулся вперед невысокий, приземистый черный человек — черный и глазастый, с усами и бородой — и стал перед Андреем глыбой. Андрей сразу узнал его — Иван Конев, врубмашинист. Таким он видел его вчера, в лаве на «Куцем Западе».

Он стоял на коленях, головой упираясь в кровлю, молча и недружелюбно смотрел на Андрея, ничего не говорил, а только тяжело дышал, и нижняя губа у него была влажная и нестерпимо красная, она отвисла и дрожала мелкой, лихорадочной дрожью, как у гончей, которую нелепый охотник вдруг остановил и вернул на самом удачливом гоне.

И гаечный ключ нетерпеливо вздрагивал в его тугом кулаке.

— Он с знаменитым Кретовым соревнуется, вот что! — тихонько шепнул Андрею парторг шахты и показал на мертвую лаву, не готовую к зарубке.— Обидно ему!

А Конев... молчал...

Но Андрей и без слов понял его рабочую ярость, его обиду и то, отчего так нетерпеливо дрожит в его кулаке случайный гаечный ключ. Человек хотел работать! Работать, резать уголь, а кто-то чужой и злой не давал ходу ни ему, ни его машине.

Нет ничего подлее, как схватить и остановить руку работающего с азартом и вдохновением человека: лесоруба, когда он замахнулся, чтоб ударить; солдата, когда он прицелился, чтоб стрелять; летчика, когда он уже взялся за ручку и дал газ, чтобы лететь...

И Андрей понял также, что Конев именно его, Андрея Воронько, начальника, считает тем чужим и подлым человеком, что остановил его жадную к работе руку. И остро ненавидит его.

Ну, что ж! Так оно и есть! Когда-то и сам Андрей Воронько, ворочаясь в карликовом уступе, винил одного Рудина. Когда-то и Виктор, задыхаясь без воздуха, проклинал весь свет. Неужели Виктор забыл это? Сейчас Андрею часто приходится слышать в уступах это отчаяние: «Воздуха-а!», «Лета-а!», «Тока-а!». Он то и дело встречает в шахтах Абросимова стреноженных людей, орлов со связанными крыльями, добытчиков, изнемогающих в тоскливом простое из-за бесчисленных и беспричинных аварий, давно ставших уже не чрезвычайными происшествиями, а унылым бытом.

Эти люди, беспокойно мечущиеся в безделье на прохладных плитах, как на смятых в бессоннице простынях, казались Андрею похожими на здоровяков, которых

кто-то безумный и ненавидящий насильно швырнул на больничную койку. И связал, чтоб не убежали. А они здоровы! Они не хотят лежать! Они работать хотят. Им не манную кашку — им кровавое мясо надо рвать зубами. Им не на простынях, а на угле лежать в забое да брюхом чувствовать, как ползет под тобою уголь... А их привязали к койке — и держат. И они бьются, рвутся, мечутся, скрипя зубами, и, обессилев, плачут оттого, что равнодушные сиделки не хотят их выслушать и понять.

А Виктор еще спрашивает: где резервы?

Вспомнился навалоотбойщик Леша Замковой и вся их бригада. Это было третьего дня на шахтном дворе, у фонтана. Андрей сам напросился на беседу, и навалоотбойщики откровенно и охотно взялись говорить с ним, как всегда говорят шахтеры: без опаски, не жалуясь, а критикуя всех и вся, по-хозяйски. И только самый молодой из всех, как девчонка хорошенький, Леша Замковой все время тоскливо и невпопад канючил:

— И не заработаешь вовсе. Какие тут заработки? Заработка нет...

— Да тебе-то что заработки? — наконец, в сердцах прикрикнул на него пожилой бригадир, депутат райсовета.— Ты ж одинокий, холостой! Тебе-то деньги зачем?

Леша смущенно смолк и больше уж в беседу не вмешивался. А Андрею вдруг захотелось непременно узнать: зачем же этому мальчику деньги? А они были ему очень нужны — это читалось в его жадно-тоскливых, ищущих, даже алчных глазах. И Воронько не поленился — нашел вечером Лешу в общежитии и все выяснил.

Хотел Леша Замковой купить себе аккордеон. Он и играть-то на нем еще не умел и никогда раньше о нем и не думал. Но увидел однажды, случайно, в окне магазина — новенький, нарядный, праздничный, и солнечные зайчики на перламутре — и покоя лишился.

— Понимаете, замечательный такой аккордеон! Ну — сказка! И недорого. Мне вполне по силе,— и вздохнул уже как взрослый.— Если б, конечно, заработки были, как раньше, когда выполняли план...

И ради этой перламутровой мечты готов был Леша Замковой самозабвенно работать в лаве — сколько

угодно, вы не смотрите, я сильный! — как и его сосед по койке, тоже холостяк, Всеволод Нечаенко — ради мотоцикла.

— Как мотоциклетку куплю — сейчас же в выходной день на Азовское море! Факт! Купаться!

Еще вспомнился Андрею крепильщик Коля, в танкистской бархатной фуражке со звездой и в гимнастерке без петлиц и пояса,— шахтеры поясов не любят, без них просторнее...

Этот сам подошел к Андрею на улице. Сам и представился:

— Николай Зубков. По жилищному вопросу.

— Давно из армии? — заинтересовался Андрей.

— Линию Маннергейма брал. Самолично три дота,— браво доложил Зубков.— А сейчас наметил себе для жизни долговременный дот получить. Имею право? — с вызовом спросил он: видно, уже долго ходил по жилищному вопросу.— А может, я жениться хочу? Имею право?

— Имеете...— улыбнулся Андрей.

— А если домов у вас нету — так дайте лес. Я себе сам для свово семейного счастья блиндаж оборудую,— сказал он, чуть дотрагиваясь рукой до топора на плече. Видно, этим крепильщицким топором он и надеялся вырубить себе счастье.

— А что, Виктор,— усмехнувшись, спросил Андрей,— к тебе не приходил крепильщик Зубков по жилищному вопросу?

— Зубков? Н-нет... Не помню! — отозвался Виктор, отмахиваясь от пчелы, вдруг залетевшей в машину.

— Ну, придет! Я ему записку дал. Ну, а переносчика конвейера Родиона Савчука, с шахты «Четыре-бис», помнишь? Встречался с ним?

— Савчук? Это какой же Савчук? — настороженно следя за пчелой, ответил Виктор.— Впрочем, нет... Не помню...

— Жаль! Он предлагает новый метод переноски конвейера. Очень любопытно!.. Следовало бы поддержать. Захара Ильича Гайдученко ты, конечно, знаешь?

— Гайдученко? Постой... Это у Голубева?

— Нет. У Беловежи. Да, действительно, люди не по твоей части! — насмешливо заметил Андрей.— А Гай-

дученко следовало бы знать. Известный на шахте человек. Мужик — умный! Группарторг. Вот посмотри-ка, что он мне тут дал.— Андрей вытащил из кармана узенькую записную книжку в черном коленкоре; когда-то у артельщиков были такие книжечки.— Это его дневник. Сам он, впрочем, называет это метеосводками. Вот слушай! «11 июня: вышла из строя врубовка. Простой — 8 часов. 12 июня: сгорел мотор на врубовке. Простой — 8 часов. 13 июня: из-за неполадок на бремсберговой лебедке стояли 2 часа. 15 июня: сгорели розетки контроллера. Простой — 3 часа. Порвалась цепь транспортера. Простой — полтора часа. 16 июня: сорван редуктор. Простой 2 часа...». Да, плохие метеосводки! Пасмурно, пасмурно, слякоть, грязь...

Пчела, обезумев, металась по кабине, встревоженно и тоненько жужжала. Она заблудилась, потерялась в этом незнакомом мире. То кидалась вверх, в простор, в небо — небом оказывалась крыша кабины; то, спасаясь, бросалась к знакомой земле, к цветам и травам — землей оказалась подушка сиденья. Она уже несколько раз больно ударялась о стекла: ее дважды чуть не прихлопнул с досады водитель... С помятыми крылышками и совсем одурев, металась она, не находя выхода; она уже обессилела, а жужжание становилось все жалобней и тоньше.

Виктор рассеянно следил за ее судорогами. Зачем она залетела сюда, в «голубой экспресс»? Здесь цветов нет, здесь только бензиновые запахи, да жаркий стук мотора, да два рассерженных, желчных гражданина, с них сейчас меду не соберешь!

— У тебя под землей сотни коммунистов работают,— продолжал между тем Андрей.— Ты прислушивался к ним? А ты послушай, о чем в партгруппах на участках говорят. Слишком много безобразий, неполадок, мелких, ежедневных аварий... Там — сломался вал на лебедке. Там — вышла из строя роторная шестерня привода. Там — рештаки дырявые...

— Да-а! — промолвил Виктор.— Это верно! — Он сказал это равнодушно, вяло, не для того, чтоб согласиться, не для того, чтоб поспорить, а просто чтоб сказать что-нибудь. Скорей бы уж кончилась эта дорога, а с нею и разговор!

Зачем-то он все-таки прибавил:

— Что поделаешь? Механизмы изношены...

— Чепуха! — немедленно возразил Андрей. — У нас и новые механизмы в три счета выходят из строя. Просто отменили повсеместно планово-предупредительный ремонт, вот и аварии. Все штурмуем! В три смены добычу рвем! А от ремонтной смены и следа не осталось...

— Да-а... — промычал Абросимов. — Квалифицированных рабочих мало. На лебедках — девчонки, слесаря — мальчишки... Что сделаешь?

— А девчонок и мальчишек надо учить. Учить! Как у тебя с производственным обучением? Ты интересовался? Нет? А я заглянул. Вот материалы. Слушай!

Теперь пчела вилась у самого носа Виктора. Он отмахнулся от нее — она не улетела: сил не было. Так и жужжала над головой, как муха.

А Андрей все продолжал говорить. И все, что он говорил, было справедливо и... нудно, как жужжание пчелы. И на это нечего было возразить, — Андрей кругом прав. Виктор кругом виноват, гол и пуст. И оттого, что ответить было нечего, от сознания голой нищеты своей и унижения стал еще более злиться Виктор. Теперь его раздражали не только слова Андрея, но и тон, и насмешливый — так казалось — прищур его глаз, и брезгливая, прокурорская складка у губ, точно Виктор уже стоял перед парткосреди партколлегией, а Андрей его судил.

— Как видишь, о крутом переломе к лучшему говорить еще рано! — сказал Андрей. — Поспешил Гриша Мальцев.

— Ну, и что же? — раздраженно спросил Виктор.

— Мне кажется, — строго сказал Андрей, — что следовало бы честно обсудить эту статью на бюро горкома и признать ее неверной, дезориентирующей...

— Вот как! И для чего это тебе?

— Мне? — удивился Андрей, но все-таки улыбнулся. — Мне — для того, чтоб знать, как правильно помочь делу. Тебе — для того, чтоб не упиваться мнимыми успехами...

— А ты не тревожься, не тревожься за меня! — враждебно вскричал Виктор. — Сделай милость, не тревожься!

— Как же мне не тревожиться, Витя? — мягко сказал Андрей.

Но этот мягкий и добрый тон только пуще распалил Виктора. А-а! Знаем эти «дружеские», чуткие, нежные лапки! Знаем эту заботу, эти благочестивые, елейные слова! Не на статью Мальцева — что статья! — на успех, на славу, на триумф Виктора Абросимова, вот на что замахнулся его бывший товарищ! Завидует! Хочет триумф обернуть позором.

— А я не нуждаюсь, слышите, не нуждаюсь ни в вашей помощи, ни в ваших наставлениях! — каким-то самому себе противным, срывающимся, визгливым голосом закричал он и вдруг яростно прихлопнул пчелу — уже беспомощную и молчаливую, но некстати подвернувшуюся под руку.— Не нуждаюсь! Я сам! Сам! Слышите, сам! Один!

— Что ты, Виктор? — изумленно и испуганно посмотрел на него Андрей.

Но Виктор уже сорвался со всех якорей.

— Это зависть, зависть,— не помня себя, кричал он, а машина меж тем уже въезжала в город.— Ты всегда завидовал мне! Всегда! За все! И за то, что я удачливей тебя! И за то, что я, а не ты, учился в Москве! И за то, что я, а не ты — управляющий! И за то, что Даша — моя, а не твоя...— но тут он уже сам осекся.

Андрей молча и неподвижно смотрел на него, и взгляд его становился все холодней и холодней...

Машина остановилась.

Они приехали.

Андрей молча взял кепку с сиденья и — вышел.

...Когда Виктор, смятенный и взъерошенный и так странно не похожий на счастливого, утреннего Виктора, пришел домой,— Даша в ужасе отшатнулась от него. И тотчас же бросилась к нему тревожно:

— Витя! Ради бога! Да что же случилось?

Он глухо ответил:

— Я, кажется, навеки поссорился с Андреем...

ПРОЩАНИЕ

1

На шахте «Крутая Мария» выдавали лошадей на-гора́. Лошадей было семь, все с участка «Дальний Запад»,— последние кони шахты: Стрепет, Маркиз, Маруся, Барышня, Купчик, Шалун и седая, старая Чайка. Сейчас все они в последний раз стояли в подземной конюшне, а коногоны собирали их в путь: чистили, убирали, даже прихорашивали, словно снаряжали их не для конного двора, а для свадебного поезда.

— Ну вот, Чайка,— говорил немолодой, рябоватый коногон Никифор Бубнов, по прозванию Бобыль, вплетая алую шелковую ленту в седую гриву своей любимицы,— вот и кончилась твоя подземная служба!.. Совсем кончилась, вот оно как, умница ты моя!.. А поедешь ты теперь, Чайка, на-гора́, да под самое красно солнышко, да на чисту волюшку, на зелену травушку...— продолжал он нараспев и шепотом, так, словно рассказывал Чайке сказку.— Э! Да ты небось и не помнишь, бедолага, какое оно и есть-то, это самое красно солнышко? А?.. Не помнишь, где тебе!.. Вот дела-то какие у нас с тобой, Чайка, милая ты моя!..— ласково приговаривал он, уже начесывая на лоб лошади сивую челку, которую тоже собирался украсить бантом.

Рядом негромко и согласно пели ребята. Пели коногонскую:

Гудки тревожно прогуде-е-ели.
Шахтеры с лампочками идут...
А молодо-о-ого коного-о-она
С разбитой головой несут...

В конюшню незаметно вошел Прокоп Максимович Лесняк, начальник участка «Дальний Запад». Задержавшись на пороге и подняв лампу-надзорку, он привычно придирчивым, десятницким взглядом окинул все

пред собою. В подземной конюшне, где раньше стояло до пятидесяти лошадей, сейчас было пустынно и прохладно. Конюшня доживала свой последний час. От нее отлетал уже теплый, жилой, домовитый дух. Вот уведут коней, выметут сор и гнилую солому, сломают переборки и денники, переделают все,— и будет уже не конюшня, а депо электровозов. Только запах останется, запах старой рудничной конюшни: прелого сена, конского пота, навоза, крысиного помета и ременной кожи. Запахи живут неистребимо долго.

Прощай, проходка коренна-а-ая!..
Прощайте, Запад и Восток!
И ты, Маруся-лампова-а-ая,
И ты, буланый мой конек!..—

пели ребята.

Песня была старинная, жалостливая, со слезой, но коногоны пели ее равнодушно, бесчувственно и даже, как показалось Прокопу Максимовичу, чуть-чуть насмешливо. Старая песня не шла сейчас ни к месту, ни к настроению. Ее пели просто потому, что другой, подходящей случаю не оказалось. «Вот банты нашлись, а песни нету!» — огорченно подумал старик.

Он подошел к лошади.

— А это вы правильно догадались, хлопцы! — сказал он коногонам вместо приветствия.— И ленты, гляди, припасли? Ну и ну! Молодцы! Красивая ваша инициатива.

— Так ведь как же, товарищ начальник? — отозвался кучерявый смешливый Вася Плетнев, водитель Стрепета.— Ведь это ж какие кони? Это ж кони заслуженные. Им хоть сейчас медали давай али пенсию...— Он звонко захохотал, и резвый Стрепет тотчас же и охотно ответил ему коротким веселым ржанием.— Ишь ты, понимает! — удивился Вася.

— Ну, а ты, Никифор, как с собой порешил? — спросил начальник, подходя к Бубнову.

— Да все то же...— нехотя отозвался тот.

— Значит, на конный двор?

— Куда ж еще, Прокоп Максимович?

— Как это куда? — вдруг рассердился старик.— Что ж, в шахте и делов больше нет без твоей Чайки?

Ну, своего ума нет — у молодежи займи. Эй, хлопцы! — зычно крикнул он, обернувшись.— Определились, что ль, на новую службу?

— Определились, Прокоп Максимович! — опять впереди всех весело откликнулся Вася.— Сменили соху на трактор.

— Вот видишь? А тоже ваш брат — коногоны...

— Да какие ж они коногоны, Прокоп Максимович? — незлобливо возразил Бубнов. Потом вздохнул и, как бы оправдываясь, прибавил: — Да и Чайка без меня скучать будет.

Прокоп Максимович сердито покосился на Чайку.

— Ну, недолго-то ей и скучать осталось! — проворчал он.

— Я и похороню,— тихо сказал коногон.

А Чайка по-прежнему стояла, понурив голову, равнодушная и к лентам, и к бантам, и к своей судьбе, и что-то бесконечно унылое и горькое было в этой заморенной работой кляче, в том, как она стояла, покорно расставив ноги, готовая ко всему, в том, как неподвижно висел ее жалкий, обтрепанный, обкусанный рудничными крысами хвост. Ее подслеповатые глаза, много лет не видевшие солнца, слезились; губы чуть слышно двигались, должно быть жевали. Прокоп Максимович положил ладонь на потную холку Чайки — она и не вздрогнула. Только минуту спустя подняла вверх свою печальную умную морду, тяжко вздохнула или зевнула и опять безучастно понурилась.

— Да-а...— задумчиво произнес Лесняк.— Лошадиный век — недолгий. А какой конь был, а?.. Сатана!

— Значит, помните, Прокоп Максимович? — благодарно шепнул Бубнов.

— Как не помнить! — усмехнулся старик.— Сатана!

Он действительно помнил Чайку Сатаною, как помнил всех лошадей на «Крутой Марии», и этих, что стояли сейчас в конюшне, и тех, что были до них, и даже тех, что некогда, лет сорок пять тому назад, когда сам он был мальчишкой-тормозным, ходили в упряжке по коренным и продольным старой шахты; а особенно того чубарого жеребчика, на котором Прошка Лесняк выехал в свой первый самостоятельный рейс. Прокоп прозвал его Земляком: чубарый был орловец.

Земляк погиб той же осенью, на уклоне. Его задавила разорвавшаяся «партия» вагонов. Страшно умирал этот добрый, работящий коняга, умирал, как шахтер, не крича и не жалуясь, и только белая слеза дрожала в его скорбных, почти человеческих глазах,— а Прокоп ничем не мог помочь товарищу. Он сам лежал полуживой в мрачном, пустынном штреке среди вздыбившихся и опрокинутых вагонеток.

Земляка пристрелили, а Прошку уволокли на-гора́, в больницу, умирать, как в песне о коногоне поется. Но он не умер. Выжил. И опять вернулся на шахту,— куда ж еще было деваться? И опять сел на «партию», и не на второй, а на первый вагончик. Это запрещала инструкция, но этого непременно требовал обычай — закон коногонского молодечества. А когда выехал на знакомый подъем, свистнул, что было духу — думал, будет, как прежде, лихо и весело, а вышло тоскливо...

Незнакомым, чужим, каким-то скучным голосом отозвался новый конь и подъема не взял. Прокоп зло вытянул его кнутом раз, другой, третий... А Земляка он никогда не бил. Земляк слово понимал. И, вспомнив о Земляке, вдруг заплакал пятнадцатилетний Прошка, и плакал долго и сладко, один в глухом штреке. Потом он привык к новому коню. Назвал его Лодырем.

Лодыря сменил Буян, Буяна — Ласточка, Ласточку — Куцый; много коней протрусило по темным штрекам шахты под его кнутом, пока не стал Прошка Прокопом Максимовичем и не перешел в забой. И теперь старику казалось, что это молодость его пронеслась вскачь, на перекладных, пронеслась и — растаяла... Пять — семь коней,— вот и вся молодость.

Ах, Ваня, Ваня, бедный Ва-а-аня,
Зачем лошадку шибко гнал?
Аль ты штегера боя-а-ался,
Али в контору задолжал? —

пели ребята, и, как это всегда бывает, песня невольно вела и направляла думы Прокопа Максимовича. Может быть, хлопцы и не зря завели сегодня, на прощанье, эту старинную песню?

Нет, не обычай требовал от коногонов ухарства и молодечества, а копейка. Копейка-то и родила обычаи.

Ради окаянной лишней копейки гнали, что было мочи, лошадей. Нещадно били их батогами и даже на уклоне не останавливались, а, рискуя собственной шкурой, на ходу вставляли ручной тормоз в колеса (для того и сидели на переднем вагончике) и при этом часто калечились сами и калечили лошадей. В те поры штреки были узкие, низкие, «зажатые», как говорят шахтеры; крепление было худое; пути — неисправные, нечищеные, мокрые; разминовок мало; в колесах вечно хлюпала жидкая грязь, и каждый день что-нибудь да случалось на откатке. То вдруг на полном ходу забуривался вагончик, сходил с рельсов, корежа партию; то срывался «орел», все давя на своем пути; то приключалась «свадьба на уклоне»; вагонетки налетали одна на другую, все путалось, ломалось, вздыбливалось; ругались коногоны, проклиная и шахту, и бога, и весь белый свет; на рельсах, в судорогах, гремя цепями и обарками, бились искалеченные кони; предсмертно хрипели раздавленные люди,— «свадьба» часто кончалась похоронами.

Хоронили тут же, неподалеку от шахты, в Сухой балке. И отпевать не нужно: коногона уже при жизни отпели.

«Ох, и окаянное ж это было время, и должность эта была самая что ни на есть окаянная, отчаянная. Нынешние коногоны об этом только понаслышке и знают».

А теперь уходят кони из шахты. Наконец, уходят. В последний раз сегодня простучат лошадиные копыта под сводами квершлага, в последний раз донесется из тьмы пронзительный коногонский свист и — стихнет. Навсегда. Идет тысяча девятьсот сороковой год. И в бывшей конюшне на «Крутой Марии» будет депо электровозов. «А важное выйдет депо, богатое!» — вдруг подумал Прокоп Максимович Лесняк.

2

Уходят кони из шахты... Навсегда уходят. И что-то неощутимое, невидимое, но живое, сущее и страшное уходит вместе с ними. Навсегда. На веки веков.

— Удивительно,— сказал Прокоп Максимович, ероша рукой шерстку на костлявой спине Чайки.— Нет,

прямо удивления достойно: как же это ты Чайку свою сберег, Бобыль, а?..

Бубнов только застенчиво потупился.

— Ведь она небось лет десять в упряжке ходит? — снова спросил Лесняк.

— Ровно десять.

— Вот я и говорю: удивительно! — И старик с любопытством посмотрел на коногона: ему вспомнилась нашумевшая когда-то на шахте история Чайки-Сатаны. В той истории было три главных действующих лица: сама Чайка, коногон Савка Кугут да Бобыль.

Бобылем Никифора прозвали в первый же день его появления на «Крутой Марии», лет пятнадцать тому назад. Вот как это случилось. «Ты кто? — строго спросил десятник Сиромаха, гроза новичков, заприметив на наряде рыжую домотканую свитку и лапти Никифора.— Ты кто-о?». Бубнов растерялся. «Я-то? — пробормотал он.— А я... я бобыль». Это было его официальное деревенское звание, он и сказал его. С тех пор иначе как Бобылем его уж и не звали.

Он и вправду был бобыль, может быть самый горький, самый сирый на всей Брянщине. У него никогда не было ни кола, ни двора, ни семьи, ни хаты. Всю молодость свою прожил он в людях, в солдатах, в батраках, всегда подле чужих коней — хозяйских, казенных или обозных. Ничего так не желал Бобыль, как иметь своего коня. Будет конь, мечтал он, будет и хата, и хозяйство, и жена-молодуха, и дети. За безлошадного кто же пойдет? Чтоб добыть себе коня, он и поехал на шахты: земляк, бывалый человек, присоветовал.

Но на шахте Бобыля определили не в забой, а в конюшню, конюхом: тут много не заработаешь. Бубнов был тихий, боязливый, законопослушный человек, он не возроптал. Что ж, знать такая судьба — вечно ходить за чужими конями. Все-таки за зиму он справил себе хороший пиджак и сапоги, но шахту не полюбил и тосковал под землею. Весной он внезапно, никому слова не сказав, ушел с «Крутой Марии», а осенью, сконфуженный и еще более отощавший, вернулся. Мечта о собственном коне не покидала его.

Так и повелось: с теплым ветром уходил с шахты, с первым снегом возвращался.

На шахте Бобыля узнали и даже полюбили за голубиную кротость его души, за смирный характер, а всего более за то, что он бобыль, человек одинокий и несчастливый. Каждую осень, когда после отлучки появлялся он на шахте, загорелый, тощий, беспокойный, весь пропахший ветром, лесом и лошадиным потом, шахтеры спрашивали его шутя: «Ну как, Бобыль, женился?». Он научился отшучиваться: «Да нет! Все невесты достойной не найду, одни щербатые попадаются».— «Эх, ты, Бобыль, Бобыль!».

Так и текла жизнь Никифора Бубнова между деревней и шахтой, пока не явилась Чайка.

Чайку привезли на «Крутую Марию» в девятьсот тридцатом году. Тогда это была резвая, веселая трехлетка, такая веселая, что все, кто тут был при спуске в шахту, невольно заулыбались, глядя на нее. Она охотно пошла в клеть, а войдя, радостно заржала. «С солнышком прощается!» — жалостливо примолвила рукоятчица, задвигая деревянные щиты, специально припасенные для спуска лошадей. Но Чайка и не подозревала даже, что надолго, может быть навсегда, прощается с дневным светом. Она простодушно ржала, потому что ей было всего три года, ей было весело, хотелось скакать и прыгать, задравши хвост, а никакой беды себе она и не чаяла.

Темень в шахте сначала только удивила ее, не испугала. Она знала, что бывает на свете ночь и терпеливо ждала утра. Но ночь тянулась слишком долго, утро не приходило, и Чайка — бог весть, как ее звали тогда — вдруг встревожилась, заметалась, затосковала. Дикими, обезумевшими глазами глядела она на людей, загнавших ее в это мрачное подземелье. Она не понимала, зачем они это сделали. Вытянув свою длинную, журавлиную шею, она беспрестанно ржала, нет, даже не ржала — вопила, и невозможно было спокойно слушать эти вопли — мольбы о воле и солнце...

А когда Чайку попытались поставить в упряжку, она и вовсе взбесилась. Словно догадывалась, что, раз покорившись, она уж навсегда останется тут. Она отчаянно рвалась, лягалась, кусалась; одного коногона так ударила в грудь копытом, что тот, только легонько ох-

нув, упал замертво на рельсы, другого прижала к паре так, что еле оттащили...

— Сатана! Чисто Сатана! — чертыхались коногоны и один за другим стали открещиваться от проклятой кобылы.

Тогда-то и приступился к ней Савка Кугут.

Савка поклялся, что или выучит Сатану, или запорет до смерти. «Ты — Сатана,— похвалялся он,— ну а я, брат, сам антихрист!».

Темная слава гуляла по шахте о Савке Кугуте. Никто толком не знал, кто он и откуда родом. Одни врали, что он из цыган, другие, что из донских казаков, третьи уверяли, будто он сын каторжанина-конокрада; в былое время много беглых каторжников спасалось на донецких шахтах, благо паспортов тут не спрашивали. Сам Савка Кугут о себе ничего не говорил. Это был темноусый и чернобровый красавец, богатырь и щеголь, причем щегольство его было особого рода — босяцкое. Он гордо, хоть и небрежно, носил всякую пеструю, цветастую рвань — большей частью бабьи подарки,— носил так, словно то были шелка и бархат, но ничем в своем нарядс не дорожил: мог и пропить и подарить любое. Он вообще ничем на свете не дорожил.

Его без памяти любили девчата с откатки и сортировки, и он снисходительно позволял им любить себя, сам же не любил никого и под пьяную руку частенько бивал своих подруг, холодно, молча, равнодушно-жестоко, как бил лошадей. Щедр он бывал только с товарищами, и для приятеля мог последнюю копейку поставить ребром, но делал это не из дружбы, а из хвастовства. Бахвалиться он был горазд. Хвалился своей богатырской силищей, бесшабашностью, непокорностью начальству, а особенно тем, что он последний настоящий коногон на шахте, не то что нынешние: не коногоны — интеллигенты...

Он всегда таскал за собой свой коногонский кнут с коротким кнутовищем и длинной плетью. Кнут этот тоже был щегольской, особенный, весь в насечках и зарубках; пучок тоненьких, узорно нарезанных кожаных ремешков болтался у ручки, словно темляк на офицерской шашке.

Этот кнут и должен был привести Сатану к смирению.

Савка ретиво принялся за дело. Он пришел в конюшню в рабочую пору, когда лошадей там было мало. Обратав Сатану недоуздком и деловито поплевав на руки, Савка взял кнут и молча, даже не гикнув при этом, хлестнул кобылу. Сатана сначала недоуменно, а потом гневно заржала, рванулась, взвилась на дыбы, но Савка железной рукой держал повод и, не дав лошади опомниться, снова ожег ее кнутом.

Так началось укрощение Сатаны. Савка молча делал свое дело: отхлещет кобылу, потом притянет за повод, станет перед нею и долго смотрит — глаза в глаза — своими страшными, черными, цыганскими очами, потом опять нещадно и молча бьет, и опять, притянув к себе, стоит перед Сатаной, чтоб навсегда запомнила дрожащая от ужаса животина лицо, очи и кнут своего хозяина.

Бобыль из своего угла равнодушно следил за тем, как метались в полумраке конюшни человек и лошадь; их длинные, безобразные тени прыгали по стенам и ломались на полу; иногда тени сливались, и тогда казалось, что это гигантский всадник мчится на обезумевшей лошади, яростно размахивает кнутом, а все остается на месте, в конюшне, под землей... Бобыля нисколько не трогали вопли Чайки. Сызмальства привык он к тому, что скотину бьют, и бьют жестоко, вымещая на ней свое мужицкое горе и обиду. Бывало, и сам Бобыль в сердцах колотил худобу и после этого никогда не чувствовал ни раскаяния, ни смущения. Побьет, а потом покормит — вот и все расчеты.

Любил ли он лошадей? Он и сам не знал да никогда и не думал об этом. Кони-то ведь были чужие. И он одобрительно наблюдал сейчас за тем, как старается бедняга Савка, и только об одном тревожился, чтоб другие кони в конюшне не смутились воплями Чайки, не стали беситься. А когда Савка Кугут вывел Сатану из конюшни и повел на рудничный двор приучать к упряжке, Бобыль и вовсе забыл о проклятой кобыле.

Часа через два Савка вернулся вместе с Сатаною. С первого взгляда Бобыль понял, что мир между ними

не наступил: Савка не победил, Сатана не покорилась. Оба были утомленные и злые. От Сатаны валил густой пар, вся спина ее была иссечена и сочилась кровью.

— Эк ты ее! — не то удивленно, не то укоризненно сказал Никифор, принимая кобылу.

— Убью,— мрачно ответил Савка. Заправил под каску взмокший чуб, сердито сплюнул на пол и вышел из конюшни.

Бобыль повел Сатану на место.

— А ты сама, голубушка, виновата...— благодушно начал было он, но тотчас же и осекся. Ему почудилось, что в скошенных на него налитых кровью глазах Сатаны вдруг блеснул огонек лютой ненависти. Это озадачило Бобыля. «А я ж тут при чем? — словно оправдываясь, пробормотал он,— не я ведь тебя учил. Ну, да бог с тобою!» — И он обиженно отошел прочь.

Однако в назначенное время он задал ей овса. К его удивлению, Сатана немедленно и с жадностью накинулась на еду. Она торопливо и даже как-то ожесточенно хрупала овес (другие кони обычно жевали медленно, задумчиво), и Бобылю невольно подумалось, что Сатана оттого так ест, что хочет набраться новых сил для завтрашней схватки с Кугутом. Эта неожиданная мысль удивила и почему-то испугала Бобыля. «Вот чертова кобыла! — растерянно пробурчал он.— Ну и ну!».

А наутро все началось сызнова: опять пришел Савка с кнутом, опять нещадно полосовал непокорную лошадь, потом увел. На этот раз Бобыль проводил их неспокойным взглядом и затем весь день был не в себе: чертова кобыла все не выходила из головы.

В полдень Савка привел Сатану обратно в конюшню. На кобылу страшно было смотреть: клочья окровавленной шерсти свисали с ее спины, боков и даже с бабок. Сатана прерывисто и трудно дышала, но уже не ржала, только время от времени как-то странно икала. А в глазах ее — так по крайней мере показалось Бобылю — по-прежнему горел желтый огонек ненависти.

— Ну и черт! — устало сказал Савка Кугут, размазывая рукавицей грязный пот на лбу.— В первый раз попадается мне такая анафема.— И он вдруг со злостью, из всей силы, ударил Сатану кулаком по морде.

Бобыль и тут ничего не сказал. Торопливо взял Сатану за недоуздок и увел на место.

В этот вечер он вовсе не выехал на-гора́: остался подле Сатаны. Мальчишка — конюх ночной смены — потом, смеясь, рассказывал ребятам, что Бобыль всю ночь «беседовал» с Сатаною. «По душам беседовали, уж так-то ладно...».

Это была правда. Как и все одинокие, робкие люди, Бобыль любил разговаривать про себя; он и сам не замечал за собой этой привычки.

«Отчего ж ты работать не хочешь, а, милая ты моя? — говорил он, осторожно, бережно смывая примочками кровь со спины Сатаны.— Так, брат, нельзя... Не годится! Как же так?.. Работать каждый должен — и человек, и скотина. Как же, чтобы, например, не работать? Э, нет, нехорошо!..»

Сатана слушала, понурив голову.

«Ну и что ж, что шахта? — продолжал возиться подле нее Бобыль.— Шахта — она шахта и есть. Такое заведение... да... подземное... Оно и в шахте, что ж, ничего, можно... Я, брат, тоже сперва сомутился... А привык. Работать, брат, везде можно... Ничего... А ты вот пожуй-ка сахарок, на-ка!.. Бери, бери, ты меня не бойся. Я, брат, сам человек смирный, я тебя не обижу... Вот и славно!.. Ах ты умница моя!..— умилился он, глядя, как Сатана доверчиво слизывает сахар с его черной ладони.— Вот и распрекрасно!..»

Когда на следующее утро Савка Кугут вновь пришел за Сатаною в конюшню, Бобыль нерешительно обратился к нему:

— Слушай, Савелий, а?.. А может, того... будет, а?..

— Что? — не понял тот.

— Говорю: будет, мол! А? Хватит?..

Но Савка, уже не слушая его, направился к Сатане. Та всем телом задрожала, почуяв приближение своего мучителя.

Бобыль торопливо забежал вперед и снова встал перед Савкой.

— Слышь, Савелий, а? Отступись, прошу я тебя!..— забормотал он, складывая руки на груди и часто-часто

мигая рыжими ресницами.— Ведь насмерть запорешь, что хорошего? Все-таки — живое создание...

— Отойди! — вяло сказал Савка.

— Прошу я тебя... Имей снисхождение...

— Отойди! — вдруг, разъяряясь, закричал Савка и взмахнул кнутом.

Тогда-то и случилось неожиданное, то, о чем долго потом говорили на «Крутой Марии». С криком «ратуйте!» Бобыль выбежал из конюшни и побежал по рельсам.

На крик сбежались шахтеры. Был среди них и Прокоп Максимович Лесняк, в те поры мастер-забойщик. Бобыль, беспорядочно размахивая руками и ничего не умея толком объяснить, повел всех в конюшню. Тут все и выяснилось.

Некоторые сразу же взяли сторону Савки, припомнили коногонов, покусанных Сатаною; кто-то сказал даже: «Да разве ж это лошадь? Это ж — Чемберлен! Ее не то что кнутом, ее штыком надо!». Но большинство вступилось за кобылу.

— Нет, не могу я тебя одобрить, Савелий! — сказал Прокоп Максимович Лесняк.— Не по-шахтерски с конем поступаешь. Конь шахтеру — первый друг.

— Ты бей, да с понятием бей, с сожалением...— подхватили шахтеры.

— Совсем замордовал кобылу. Живого места на ней нет. И где только совесть у человека?

— Да это ж вредительство, ребята, чистое вредительство! — запальчиво крикнул кто-то из молодых шахтеров-комсомольцев.

Савка не принимал участия в общем споре, словно это его и не касалось. Он не защищался, не оправдывался, даже не огрызался — молчал да небрежно играл кнутом. Но словцо «вредительство», видно, задело его. Он презрительно усмехнулся. Потом медленно обмотал плеть вокруг кнутовища, сунул кнут за пояс и сказал:

— Ладно, конец базару! Отрекаюсь я от вашей треклятой кобылы. Эх вы, интеллигенция! — Он двинулся к двери и уже на ходу насмешливо прибавил: — А коняку татарам продайте. Лошадь из нее не получится,— и вышел.

Пошумев еще немного, разошлись и остальные. Последним ушел десятник движения Сиромаха. «Эх, Бобыль,— сказал он с досадой,— заварил ты кашу, кому теперь только расхлебывать? Уж если Савка с этой тварью не совладал, куда ж ее теперь? — и горестно махнул рукою.— Ну ладно, опосля разберемся!»

Так Сатана очутилась на полном попечении Бобыля. Он стал, как нянька, ходить за нею, лечил ее раны, баловал сахарком да морковкой и часто ради нее оставался на всю ночь в конюшне. Незаметно для самого себя он всей душою прилепился к этой забитой и гордой лошади. Тут уж была не только жалость, как прежде; явилось совсем новое, смутное, самому Бобылю еще неясное чувство — странное чувство собственности, что ли... Сатана *его* лошадь. Он отвоевал ее у Савки, у десятника, у коногонов. От нее все отказались. Она была бы ничья, ее продали бы на мясо татарам, кабы не Бобыль. И теперь это был его, по праву его, Бобыля, конь, давно желанный, вымечтанный, пусть еще не вполне свой, не собственный, но и не чужой ведь, не такой, как иные кони...

— Эх, милая ты моя,— говаривал он, бывало, между делом,— нам бы с тобой в деревню. Вот куда. В деревню, на чисто полюшко... А? И стали бы мы с тобою землю пахать... Да. Хозяйничать! Вот здесь морковка — купленная, дорогая... А у нас была бы своя! И овес — свой. Хорошо-о!..

Он все чаще возвращался к этой мечте.

— Ты погоди, милая умница ты моя, потерпи: вот разживусь деньжатами — и выкуплю тебя. Да... А как же? И уедем мы с тобой в деревню да на чисто полюшко, на зелену травушку...

Он и сам толком не знал, как все это сделается; да и можно ли покупать у шахты лошадей. Но что это непременно сделается, в том он был крепко уверен. Только бы деньжатами разжиться. А другого коня себе Бобыль теперь и не желал.

Наконец, Сатана поправилась, успокоилась, повеселела. Бобыль решил, что настало время попробовать ее в упряжке. «Сомневаюсь!» — покачал головой десятник Сиромаха, к которому несмело обратился Бобыль, но возражать не стал. Весть о новом испытании Сатаны

тотчас же разнеслась по штрекам. У рудничного двора собрались коногоны. Всем было любопытно поглядеть, как теперь поведет себя проклятая кобыла. Савка не пришел.

Ко всеобщему изумлению Сатана послушно стала в упряжку. Бобыль что-то ласково шепнул ей на ухо, она раздумчиво помахала хвостом, потом стронула «партию» с крепежным лесом и пошла, сопровождаемая веселыми криками шахтеров...

В тот же день навсегда исчез с «Крутой Марии» Савка Кугут, последний «настоящий» коногон старого закала. Куда он ушел, никто не знал. На соседних шахтах он не объявился.

А на «Крутой Марии» родился новый коногон — Никифор Бубнов. И его лошадь называлась по-новому: Чайка.

3

С давних пор утвердился на «Крутой Марии» неписаный обычай: коногоны сами крестили своих коней. Иногда имя давалось сразу, на первой же проводке, чаще же являлось на второй-третий день, когда коногону становился ясным характер его четвероногого товарища. Да и меткие же бывали клички! Этот гнедой Купчик действительно напоминал загулявшего, вихлястого купеческого сынка, Маркиз был лодырем и симулянтом, а Барышня — жеманницей...

Отчего лесной человек, мужик с Брянщины, Бобыль назвал свою любимицу Чайкой, он и сам бы не сумел объяснить. Но это ласковое имя нравилось ему, он настоял на нем, и скоро на шахте все стали звать строптивую кобылу Чайкой. История Сатаны мало-помалу забывалась...

Между тем незаметно пришла весна. Под землей ее приметы чуялись слабо, и Чайка оставалась спокойной в своей темной конюшне. Забеспокоился Бобыль. Пришло его время. Дул теплый азовский ветер, манил домой, на Брянщину... «А Чайка?». Побежали по балкам вешние ручьи. Открылись холмы, зазеленела ольха в буераках... Бобыль помаялся-помаялся и — остался на шахте.

А на следующую весну азовский ветер даже не потревожил его. Большие перемены произошли в жизни Бобыля за этот год. Бобыль женился.

Он взял себе в жены не бобылку, не артельную стряпку, не вдову, как можно было ожидать, а голосистую красавицу, откатчицу Зинку, огонь-девку, из хорошей, коренной шахтерской семьи. Встретил он ее ранней весной, в парке, куда сам пришел в первый раз, с приятелями. До той поры жил Бобыль на шахте уединенно и неприкаянно, как живет всякий временный человек на нелюбимом месте, ни с кем компании не водил, берег каждый рубль и все мечтал о том счастливом часе, когда, выкупив Чайку, уведет ее прочь отсюда в свои брянские леса и там заживет хозяином на всей своей воле. Про него в те поры можно было смело сказать, что и живет-то он вовсе не здесь, на «Крутой Марии», а где-то там, на Брянщине, в угодьях, созданных его мечтой.

Коногоны знали за ним эту слабость. «Ну что, Бобыль,— пошучивали они,— много деньжат скопил? На кобылий хвост уже есть?».

Но Бобыль никому не сказывал, сколько скопил, и не из жадности, а от растерянности. Он сам удивлялся и даже пугался тех заработков, которые вдруг достались ему; никогда дотоле не получал он столько денег сразу. А все — Чайка! Она оказалась на редкость выносливой и работящей конягой. Ее не надо было понукать кнутом,— Бобыль так кнутом и не обзавелся! — она сама тянула изо всех сил. Она словно угадывала, что надо делать. «Примись!» — только скажет, бывало, Бобыль, и она уже вышла из упряжки. «Грудью!» — промолвит коногон, а Чайка уж двигает грудью вагонетку... Никакой груз не был тяжким для нее, никакой рейс не был долгим; она трудилась радостно-ожесточенно, охотно, ревностно, только б ее хозяин был подле нее. Она следила за движениями Бобыля осмысленно любящими, по-собачьи преданными глазами и тосковала, когда он выезжал на-гора́...

Да и Бобыль был работник старательный, от дела не бегал. При этом он, разумеется, думал только о лишнем рубле, не больше, но жизнь оказалась мудрее его: она припасла Бобылю куда более ценные подарки.

В прежние годы старательного коногона вряд ли приметило бы рудничное начальство; разве только артельщик да десятник. В этом случае десятник потребовал бы магарыча, а артельщик стал бы еще искуснее обсчитывать коногона... Теперь же отлично работающий шахтер не мог долго оставаться в тени. Его заметили. Объявили ударником. Стали называть в докладах и рапортах. Повесили портрет на доске почета. Упомянули в районной газете.

Все это делалось само собою, как всегда делается у нас, когда человек отличается в труде. Незаметно для Бобыля он вдруг оказался втянутым в самый круговорот жизни шахты. Теперь у всех были дела к нему. Пришел комсомольский секретарь, попросил взять двух ребят в ученики. Явился Несчеретный, председатель шахткома, стал, как невесту, сватать Бобыля в разные профсоюзные комиссии; поладили на комиссии по охране труда. Приглашали Бобыля и в партийный комитет посоветоваться о порядках на откатке. А однажды посетил Бобыля специальный корреспондент областной газеты, парень расторопный и, видать, запасливый; во всяком случае, в карманах его шахтерок нашелся кусок сахару для Чайки. Корреспондент долго расспрашивал коновода, и все о том, что, как Бобылю казалось, не шло к делу: о том, откуда он родом, да почему прозван Бобыль, да отчего не женится, о чем мечтает, чего ищет на шахте. Бобыль, разумеется, своих заветных мечтаний корреспонденту не открыл, но вдруг, неожиданно для себя, подумал в самый разгар беседы: «А может, никуда и не надо ехать?». Эта мысль, впервые пришедшая к нему, смутила Бобыля. Он поспешно отбросил ее и вечером, на свободе, стал особенно ожесточенно мечтать о деревне, о том, как купит Чайку и уведет к себе, в Клетню, и там поставит хату, да распашет свой надел, да... Но почему-то на этот раз припоминались не деревенское богатство и раздолье, а все кочки, не выкорчеванные пни да лесные болота Брянщины...

В эту-то беспокойную для Бобыля пору он и увидел Зинаиду в парке, среди рудничных девчат. Он заметил и выделил именно ее, одну из всех, не только потому, что Зинаида была девка красивая и голосистая, а и потому, что это вообще была первая девушка на руднике,

на которую он посмотрел внимательнее, чем на дерево у дороги. До этого он на все рудничное глядел равнодушным, пустым взглядом: меня это не касается, мне тут не жить! Шахтерок он сторонился; они казались ему слишком бойкими, даже охальными, а ему нужна была девушка тихая, смиренная, работящая — словом, деревенская.

Зинаида все смешала. Эта сероглазая, крутолобая откатчица властно вошла в душу Бобыля и поселилась там хозяйкой. Бобыль стал искать встреч с нею. Он ухаживал робко, неумело, не по правилам: не писал, как то делали молодые коногоны, нежных приветов мелом на вагонетке; не ходил под окнами с гармошкою, не тащил девку в степь гулять... Зато он часто бывал у Зины дома, пил со стариком чай и водку, степенно беседовал о делах на шахте. Впрочем, несколько раз он ходил с Зиной в клуб и там терпеливо наблюдал, как она танцует с ребятами; сам он танцевать не решался.

Зинаида охотно пошла за Бобыля. «Что ж, девоньки,— объяснила она подружкам,— я не танцора себе ищу, а мужа. Ухажер, как мотылек,— один только день и живет. А с мужем жизнь прожить надо». Да и на шахте не очень удивились, когда дело сладилось. «Бобыль Сатану укротил, а уж с бедовой-то девкой справится!» — смеясь, говорили шахтеры.

Женитьба спутала все планы и мечты Бобыля и, кроме того, расшатала его сбережения. Но он не жалел об этом. Он знал теперь, что в деревню ему дороги нет. Зинаиду в деревню не увезешь, не для деревенской жизни эта молодуха!.. Да и самого Бобыля что-то перестало вдруг тянуть к земле. Он привык к шахте; здесь стал он уважаемым человеком, здесь нашел свою Зинаиду, свою судьбу. Чего ж еще ему? Только мысль о Чайке сперва смущала его. Ему все казалось, будто он обманул ее, предал. «Вот, Чайка,— женился я. Такое дело!» — признался он, придя в конюшню в понедельник, на другое утро после свадьбы. Но Чайка только радостно заржала в ответ: она была рада, что ее хозяин снова с нею. Так все и уладилось. Деньги, которые копил Бобыль на покупку коня, пошли теперь на постройку дома.

Только года через два, как-то летом, в отпускное время, поехал Бобыль вместе с женою в родные, клетнянские леса. Просто захотелось ему погордиться перед односельчанами, показать им красавицу-жену; пусть все увидят, что Бобыль теперь не бобыль, а семейный, богатый шахтер и к тому же ударник.

Ни своей хаты, ни родни не было у Бобыля в деревне. Остановился он у соседа, у того самого, что некогда присоветовал ему ехать на шахты, зарабатывать на коня. Сосед был рад гостю, но за ужином все-таки не утерпел, сказал:

— Что ж, Никифор, жену ты привез. Видим. Одобряем. А что ж конь-то? Конем-то, видать, не разжился?

— Нет,— спокойно ответил Бобыль,— есть у меня и конь.

— Да ну?! Свой?

— Свой.

— Собственный?

— Больше чем собственный. Закрепленный.

— Это как же такое? — недоверчиво удивился сосед.— Не слыхивали...

— А — такое! — и глазом не сморгнув, ответствовал Бобыль.— Закрепленный. Сам товарищ Сталин за мною коня закрепил. А имя тому коню — Чайка.

Ошеломленный сосед только глаза выпучил.

— Пояснение требуется...—наконец, пробормотал он.

И Бобыль пояснил: товарищ Сталин приказал искоренить «обезличку» на шахтах, и по его слову за Бобылем теперь закреплен конь, Чайка; никакой другой коногон к нему касаться не смеет.

— А-а! — обрадованно засмеялся сосед и даже головой покрутил в восторге.— Ишь как подвел!.. Есть, есть и у нас такое!.. Как же! Чать, и мы тоже теперь не по-старому живем!..— И он стал рассказывать гостю о деревенских делах.

Из этих рассказов Бобыль понял, что не только у него перемены в жизни; большие перемены произошли за эти годы у односельчан; и тут все сдвинулось со старой межи, все тронулось в новую дорогу. Маленькие заскорузлые крестьянские мечтания о собственном клочке земли, о своей лошаденке, о хороших семенах по весне и добром урожае к осени теперь слились и преврати-

лись в одну большую и всеобщую мечту о богатом и сильном коллективном хозяйстве.

Бобыль радостно слушал эти вести. «Значит, и я не отстал, не просчитался,— при этом думал он.— Все, вишь, на земле к одному идет — к социализму». С этим он и вернулся из отпуска домой, на шахту.

А когда в сентябрьскую ночь тысяча девятьсот тридцать пятого года забойщики Виктор Абросимов и Андрей Воронько пошли на свой знаменитый рекорд — вывозить небывалую добычу из-под лавы был наряжен именно Бобыль со своею Чайкой, как лучший и самый надежный коногон на «Крутой Марии». В те дни имя Никифора Бубнова прошумело на всю страну в ряду славных имен первых стахановцев. Правда, в Москву, на стахановское совещание, Бобылю не довелось поехать, но коногона не забыли — вместе с другими был награжден орденом и он.

Указ был объявлен... 1935 года.

Бобыль шел в ночную смену. Перед сменой, в нарядной, на летучем митинге, зачитали указ правительства. Виктор Абросимов и Андрей Воронько награждались орденами Ленина, Прокоп Максимович Лесняк, начальник участка, и Митя Закорко, забойщик,— орденами Трудового Красного Знамени, Никифор Бубнов — орденом «Знак Почета».

Героям пришлось взойти на помост. Прокоп Максимович, Андрей и Виктор сказали краткие речи. Бобыль молчал и только низко кланялся на все стороны, как на деревенском сходе. Вид у него был смущенный и виноватый.

— Ну, поздравляю тебя, Никифор Алексеевич! — сказал ему присутствующий на митинге секретарь горкома партии Василий Сергеевич Журавлев.— С высокой наградой!

— А я отслужу, отслужу...— торопливо пробормотал Бобыль, зачем-то прижимая шахтерскую лампочку к груди.— Не сомневайтесь... Я отслужу...

Он и Чайке поведал радостную весть как-то этак смущенно, нерешительно, словно сам еще не верил в награду:

— Вот, Чайка, вишь, какое дело случилось: наградили нас...— а потом вдруг обнял шею верного своего друга и — заплакал...

Награда, однако, не сделала больших перемен в жизни Бобыля; да он никаких перемен и не желал. Он был вполне доволен своею долей. По-прежнему работал он коногоном, хоть парторг шахты, Андрей Воронько, не раз предлагал ему пойти «на выдвижение» или на курсы десятников, поучиться. Бобыль всякий раз вежливо отнекивался. Советовали Бобылю по крайней мере хоть лошадь переменить, взять другую,— не гоже, мол, первому коногону на шахте ездить на такой старой кляче, как Чайка — но он и тут заупрямился.

— Нет,— отвечал он тихо, но твердо,— Чайку я не оставлю! — а когда уж особенно сильно докучали ему, прибавлял: — Вы то поймите, как же я могу от Чайки-то отступиться? Ведь я ж из этой кобылы настоящую шахтерскую лошадь сделал. Да и сам я, если правду сказать, при ней человеком стал.

В конце концов от Бобыля отстали, и он спокойно дожил со своей Чайкой до того часа, когда последних коней на «Крутой Марии» стали выдавать на-горá, на волю...

4

— Ну, пошли, что ли? — нетерпеливо вскричал Вася Плетнев, с досадой оглядываясь на Прокопа Максимовича и Бобыля, которые, увлекшись своей тихой стариковской беседой, казалось, совсем забыли, что пора уж вести лошадей к стволу. А Вася спокойным быть не мог; слишком долго ждал он этой счастливой минуты. Сегодня Василий Плетнев наконец-то навсегда развязывался с конем.

Когда-то отчаянная профессия коногона казалась Васе венцом мечтаний. Был коногоном отец, коногонил и дед. Каждый, кто хотел стать заправским шахтером, должен был сызмальства пройти все ступени лестницы: сперва — выборщик породы на сортировке, потом — дверовой или лампонос, затем — тормозной, наконец — коногон, и уж после всего — забойщик или проходчик. Впрочем, для рудничной детворы вершиной этой лестницы все равно оставался коногон — молодец, первый в шахте, в драке и на гулянке. И Вася, прежде чем выучиться писать, научился лихо свистать по-коногонски, пугая соседских девчонок и старух.

Но вот исполнилось Васе Плетневу восемнадцать лет, он достиг высокой должности коногона, а на шахте все и вдруг переменилось. Сперва Вася даже не заметил этого. Ему достался веселый, дурашливый конь Стрепет, с ним было много забавы да потехи, и Вася, по-своему, этим очень гордился: такого утешного коня ни у кого не было!

А на главных магистральных дорогах шахты меж тем появились мощные электровозы: с каждым днем их становилось все больше и больше. Скоро они вовсе оттеснили Васю и его Стрепета на самые глухие участки.

Теперь почетное место в шахтерской среде заняли не коногоны, не органщики, даже не крепильщики, а механики, машинисты, забойщики на отбойных молотках, электрослесари, ремонтные слесари, смазчики... Среди этих людей, вооруженных отбойными и бурильными молотками, перфораторами, электросверлами, гаечными ключами, пассатижами, кожаными сумками с металлическим инструментом, Вася со своим кнутом был словно ямщик на аэродроме. И он скоро почувствовал это. Теперь он уж не гордился, а стыдился того, что он при коне, а не при машине, что от него пахнет конским потом и навозом, а не машинным маслом.

То были дни Хасана, Халхин-Гола и Карельского перешейка. Танкисты — вот кто стал теперь идеалом шахтерской молодежи; самой популярной песенкой на рудничной улице теперь была песня «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой...». Ребята пели ее с таким же восторгом и с такой же завистью, с какими детвора двадцатых годов распевала: «Мы — красные кавалеристы, и про нас...».

Вася много раз слезно умолял Прокопа Максимовича освободить его от коня, перевести, наконец, из «кавалерии» на электровоз, но начальник участка только кивал сочувственно головою да просил потерпеть еще немного.

— Ты потерпи, хлопец, потерпи! — говорил он.— Скоро конной откатке — конец! Где ж я теперь коногона-то найду? Ты, брат, можно сказать, последний извозчик на шахте.

Но каково-то парню в двадцать лет быть последним извозчиком?! Только надежда на скорое вызволение да

вечерние занятия на курсах машинистов и удерживали Васю от бунта или даже от бегства с «Крутой Марии». Он учился, нетерпеливо ждал своего часа, и вот — дождался, и больше уж ни одной лишней минуты ждать не желал.

— Прокоп Максимович! — умоляюще повторил он.— Да что же это такое? Ведь пора! — и, взяв за повод Стрепета, решительно двинулся к выходу.

Но в эту минуту в дверях конюшни появились новые люди. Их было много. От света их лампочек в конюшне сразу стало светлее и праздничней. Вася узнал гостей: то было начальство. Большой, грузный, тяжко опирающийся на палку старик был заведующий шахтой, Глеб Игнатович Дедок, в своем знаменитом ватнике, который он надевал и зимой, когда в шахте было тепло, и летом, когда под землей было прохладно; человек с веселыми, мальчишескими глазами и реденькой бородкой был Петр Фомич Глушков, инженер из треста; а с лампочкой на каске, молодцеватый, юный, в своем комбинезоне с многочисленными карманами более похожий на дежурного слесаря по ремонту, чем на начальство,— парторг шахты, Сергей Пастушенко. Вместе с ними был еще тут старичок из редакции местной газеты, которого Вася тоже знал, как знали его все из «Крутой Марии» от мала и до велика.

Старичок этот сразу же кинулся к лошадям.

— Гляди-ка, гляди! — восхищенно воскликнул он, немедленно заметив алые, голубые и синие ленты и банты в конских гривах.— Да это что ж? Это же свадьба, настоящая свадьба! — и, торопливо вытащив откуда-то из-за пазухи свой блокнот, весь измазанный угольной пылью, стал, не глядя в него, что-то быстро записывать; он давно научился писать в шахте, вслепую, в темноте. Вася понял, что все эти дорогие гости пришли сегодня в конюшню единственно для того, чтобы с честью проводить к стволу последних коногонов,— это было лестно.

— Ну, свадьба не свадьба,— сказал тоже очень довольный Прокоп Максимович,— а все ж таки торжество!

— И какое! — подхватил Пастушенко.— Знаменитое торжество! Что, не правда разве? — Он весело потре-

пал Стрепета ладонью по холке, потом почесал у него за ушами и таки добился того, что жеребчик громко и радостно заржал.— А-а! Ну, вот! — засмеялся Пастушенко.— Чуешь волю-то?..

— Он все чувствует,— сказал Вася.— Такой жулик-конь, даже удивительно!

— А ты небось больше всех рад?

— Само собою! — скромно признался Вася, и все засмеялись.

Только один Дед не улыбнулся. Он стоял, грузно опираясь на палку, и с каким-то непонятно угрюмым видом смотрел на все. На его широкой груди чуть колыхалась шахтерская лампочка, зацепленная крючком за верхнюю пуговицу ватника, и ярко освещала большой живот Деда и его ноги, обутые в короткие, резиновые, похожие на старушечьи боты сапоги.

— А что, Прокоп,— вдруг громко сказал он,— а помнишь ли ты газожогов? Газожогов, говорю, помнишь ли?

— А как же! — охотно откликнулся старик.— Меня потому и Прокопом зовут, что много в шахте ходов прокопал, все тут знаю...

— Это что же такое газожог? — спросил Пастушенко.— Не помню, не слыхивал...

— И помнить не можешь. Не при тебе дело было.

— Видите ли, Сергей Петрович,— вмешался Глушков.— Газожог — это... это... нет, это даже не профессия! Это — как бы точнее сказать? — это подвиг.

— Одначе за подвиг этот деньги платили,— насмешливо перебил инженера Дед.— Ради денег только и шли.

— Э, нет! Не только ради денег! — горячо возразил Прокоп Максимович и даже обиделся.— Зачем зря говорить!

— А даром на смерть никто не пойдет!..

— Да что ж это за газожог такой? — нетерпеливо вскричал Пастушенко.— Расскажите толком, что ли...

— Придется уж, видно, мне...— посмеиваясь, вступился старичок из редакции.— Тем более, что единожды довелось и мне сойти за газожога. Что страху натерпелся,— боже ж ты мой!

— Так вы были газожогом, Иван Терентьевич? — изумился Глушков.

— А что ж? Был. Я ведь — шахтер! — не без гордости сказал маленький старичок и выпрямился.

А Вася удивился не тому, что старичок из редакции был шахтером, а тому, что зовут его, оказывается, Иваном Терентьевичем: на «Крутой Марии» все звали его не иначе как Тарасом Занозой,— так с давних времен подписывал свои заметки, райки и фельетоны старый рабкор.

— Газожог... ишь ты, какую старину колыхнули! — тепло усмехнувшись, проговорил Иван Терентьевич.— А суть дела в том, Сергей Петрович, что в те времена не умели еще по-научному бороться с газом. Да и дорого! Капиталисту не выгодно было тратиться на хорошую вентиляцию или там иное прочее. А мужик тогда дешев был! Чертовски дешев был тогда голодный орловский или там курский мужик! Ну и... вот и появился газожог. Бывало, кончится работа, все люди из шахты выедут, а газожог один и пойдет на свое страшное дело...

— Овчинный тулуп надевали. Шерстью вверх. И водой шерсть густо смачивали...— глухо сказал Дед, и всем стало ясно, что и он некогда ходил газожогом.

— Да... и тулуп,— продолжал Тарас Заноза.— А в руке — зажженный факел. Ползешь с этим факелом по выработкам, ищешь газ, а факел, факел-то вперед вытягиваешь... Жутко! Словно сам, добровольно смерти в хайло лезешь да еще дразнишься... Ну, найдешь газ и сразу — взрыв, гром, глыбы летят... Ух! Вспомнить и то страшно. Зато утром в шахте чисто. И людям уж не так опасно работать.

— Ради товарищества шел человек на такое дело,— строго и даже как-то сумрачно-торжественно проговорил Прокоп Максимович.— Исключительно ради други своя...

— Да. И ради товарищества.

— И случалось — погибали? — спросил Вася, весь захваченный рассказом.

— И погибали. Обыкновенное дело,— ответил Иван Терентьевич.— Вот о севастопольском солдате Кошке,

который бомбу руками отшвырнул, сколько прекрасного написано! А тут сотни таких героев были... А погибали — и креста не оставалось.

Все помолчали.

Потом Пастушенко с сожалением сказал:

— Нет, газожога я не помню. А саночника застал. Самому еще довелось санки потягивать на пологом падении. Тоже не сахар была работа.

— Каторжная.

— Даже не в том дело, что тяжелая,— сказал Пастушенко.— А какая-то она... обидная. Словно тебя, че-ло-ве-ка, вдруг в собаку превратили и на четвереньки поставили.

— Да-а...— постукивая палкой оземь, сказал Дед.— Газожоги, санки, обушок... А теперь вот — коногоны... А там, глядишь, скоро и нам на покой.

— Ну, начальники-то всегда на шахтах будут! Даже при коммунизме,— засмеялся парторг.

— Только, видать, другие тогда будут начальники...— хмуро пробурчал Дед, но тотчас же спохватившись, словно сам устыдившись своей слабости, закричал властно и по-хозяйски: — Ну, чего, чего стоим? А ну, давай веди коней к стволу! — и, сердито махнув рукой, пошел к выходу.

5

В конюшне все сразу пришло в движение. Радостно рванулся с места Вася. «Ну, наконец-то!». Схватил своего жеребца за повод и повел к дверям. Встрепенулись застоявшиеся кони, задвигались, заржали на разные голоса: жеребцы — трубно, молодо, как в былые годы, старые клячи — хрипло, с дребезгом, похожим на кашель, но все одинаково весело и нетерпеливо, словно вдруг догадались и они, зачем убирали их лентами и бантами коногоны, зачем с утра щедро кормили овсом и о чем шептали на прощанье... Вслед за Васей и его Стрепетом тронулись в дорогу коногон Семен Нечитайло с гнедым Маркизом, за ними пошла тихая, кроткая, полуслепая Маруся, затем каурый Шалун и хромая, трясущаяся от старости Барышня. Как всегда, забаловал у двери Купчик, встал на дыбки, но его водитель,

молчаливый, хмурый Загоруйко, на этот раз не огрел его, как обычно, ладонью по шее, а только досадливо потянул повод, и Купчик сразу успокоился. Пошел, наконец, и Бобыль с Чайкой. Бобылю не требовалось вести в поводу свою лошадь: он просто сказал ей чуть слышно и почему-то грустно: «Пошли, что ль, Чайка?» — и лошадь послушно потянулась за ним, пошла, как всегда, низко опустив морду, словно что-то разыскивая или вынюхивая на мокрой земле.

Последними вышли из конюшни Прокоп Максимович Лесняк и Сергей Пастушенко. Они как бы замыкали это необыкновенное шествие.

А оно и в самом деле было похоже на шествие. И кони и люди шли гуськом, как всегда ходят в шахте, не быстрым, сторожним, каким-то напруженным шагом, который теперь выглядел торжественным, почти церемониальным. И, может быть, потому, что очень уж необычной была эта процессия,— и все в ней было необычно, небуднично; даже простые шахтерские лампочки казались сейчас лампадами, нарочито зажженными для этого случая; они колыхались как-то особенно таинственно и величаво. И по-особенному звонко падала капель со свода; и по-особенному цокали о рельсы кованые копыта... Люди шли молча, и в тишине штрека было слышно, как они дышат, как посапывают кони, как журчит в канавках подземная вода, и где-то далеко впереди, во тьме, ржет неугомонный Стрепет...

— А Дед наш совсем плох стал...— вдруг негромко сказал Прокопу Максимовичу Пастушенко.— Совсем, совсем плох...

— Старое старится...— уклончиво отозвался Прокоп Максимович; он Деда не любил.

— Ты-то вот не стареешь, дядя Прокоп!

— Старею и я. Только виду не показываю.

— Вот то-то и есть. Я так приметил: одинокий человек и стареет рано. Молодеют — на людях...

— Что ж? Это верно...

— А не любит меня Дед... Ох, не любит!..

— Он никого не любит.

— А Андрея Павловича уважал. Даже боялся...

— Тоже не сразу, не вдруг...

— Эх, жаль Андрея Павловича нет!..— вздохнул

Пастушенко.— Вот бы посмотрел — порадовался. Давно он об этом часе мечтал...

— Что-то ты больно часто Андрюшу-то вспоминаешь,— усмехнулся старик.

— Да как же не вспоминать, Прокоп Максимович?! — пылко воскликнул Пастушенко.— Ведь он мой «крестный» — он меня в партию рекомендовал. Разве это забудешь?

— Он тебя, а я его в партию рекомендовал. Значит, выходит, ты мне внуком доводишься...

— Я это признаю, Прокоп Максимович!

— Да? Это хорошо, что ты родством не гнушаешься...

Некоторое время шли молча.

— Я ведь так понимаю, Прокоп Максимович,— снова начал парторг.— Я на этом месте временно сижу, пока Андрея Павловича нет. (Он всегда называл своего «крестного» по имени-отчеству, хоть и был лет на пять старше его.) А вот Андрей Павлович вернется...

— А вернется ли?

— Да отчего ж нет?

— Оттуда не все возвращаются...

— Ну, а наш Андрей Павлович непременно вернется!

— Тут слух прошел... нехороший...— вдруг шепотом сказал старик.— Будто уж и в живых Андрея нету...

— А ты не верь, не верь слухам!.. Я от Андрея Павловича вчера письмецо получил.

— Да-а? Ишь ты! — ревниво протянул Прокоп Максимович.— А мне не пишет...

— Не до писем ему сейчас, ты то пойми, Прокоп Максимович. Он и мне всего три строчки написал.

— Ну, и что ж пишет он? — ворчливо спросил Лесняк.— Как он там? Вояка!..

Пастушенко с охотой стал рассказывать о письме Андрея. Прокоп Максимович слушал его, не перебивая, но вспоминался ему сейчас не товарищ Воронько, не Андрей Павлович, бывший парторг «Крутой Марии», а тихий сероглазый мальчуган Андрюшка, хлопчик из неведомых Чибиряк, вот такой, каким он десять лет назад впервые пришел с товарищем в дом Лесняка: в отцовском пиджаке и, видно, в отцовских же брюках, за-

правленных с напуском в хромовые сапоги, в косоворотке, вышитой голубыми васильками и подпоясанной крученым пояском с кистями, в старенькой клетчатой кепке. Каким робким, пугливым хлопчиком был он тогда! Как конфузился за столом! А потом вдруг отважился, храбро встал и попросил всех выпить за здоровье шахтерской бабушки и — смутился. А Прокоп тогда бросился к нему, схватил его в свои лапы, жарко обнял, прижал к сердцу и крикнул дрогнувшим голосом: «А что, мамо, берете этого шахтарчонка себе во внуки?». Всем показалось тогда, что это застольная шутка гораздого на шутки старого Прокопа, не больше, а вот поди ж ты!.. Десятки шахтарчат прошли через крутые руки мастера, наставника, но только эти двое — Андрей и Виктор — так прочно вошли в его душу и чуть не вошли в его семью. Что греха таить, он хотел Андрея, но дочка, Даша, выбрала Виктора. А сейчас нет ни Виктора, ни Андрея. Нет их в семье Лесняка. Нет их в Донбассе. И Даша вернулась домой одна...

Между тем нетерпеливый Вася со своим Стрепетом уже вышли на рудничный двор. Было десять часов вечера — самое людное время у ствола. Менялись смены. Подъемник то и дело выбрасывал в шахту новые партии рабочих. Шахтеры проворно выпрыгивали из клети, попадали под ливень, отряхивались и спешили дальше.

Обычно люди тут не задерживались. Но сейчас, заметив подходивших к стволу коней с алыми лентами в гривах и разузнав, в чем дело, они не стали расходиться по своим забоям и штрекам, столпились на рудничном дворе. Рабочие дневной смены тоже не торопились на-гора́. Всем было любопытно посмотреть, как будут выдавать последних лошадей из шахты. Захотелось проводить их. Явилось чувство праздника.

Так часто бывает в шахте. Тяжек труд под землей, но есть и у горняка свои радости, свои часы торжества. Так бывает у проходчиков на сбойке штреков, когда после долгих месяцев войны с каменной громадой, которую они взрывали, долбили, откалывали по куску, наконец, пробиваются они навстречу друг другу; наступает чудесный миг: руки, одни только руки протискиваются в узкую щель и ищут во тьме другую пару рук,

чтобы схватиться с нею в жарком, шахтерском рукопожатье. Так бывает у забойщиков, когда выдают они на-гора́ первую вагонетку угля из новой проходки или последнюю вагонетку в счет годового плана — последний сноп на дожинках. Так бывает, когда спускают в шахту первый образец новой горной машины: волнуется конструктор, суетятся механики и слесаря, а шахтеры молча и почтительно расступаются, дают дорогу умной машине, которая никого из них не лишит заработка и всем облегчит труд. Так было и сейчас, когда провожали шахтеры последних коней из шахты...

Старому рабкору, Тарасу Занозе, были знакомы и дороги эти минуты шахтерского торжества. Присев на опрокинутую вагонетку, он стал жадно приглядываться к тому, что происходило у ствола, стараясь не пропустить ни одной подробности и все записать в свой блокнот; зачем — он и сам не знал. Заметка все равно должна быть короткой.

На рудничном дворе в ожидании порожняка стыли два электровоза: один — мощный, тяжелый, другой — маленький, марки «Лилипут», бегающий в промежуточных штреках. Эта юркая, пронырливая машина и доконала конную откатку на «Крутой Марии». Подле «Лилипута», сложив по-бабьи руки на животе, стояла его молодая хозяйка, которую все, однако, уважительно называли Катериной Афанасьевной, худенькая женщина в замасленном комбинезоне; ее легко можно было бы принять за мальчугана, если б не большой шерстяной платок, которым она, как и все женщины в шахте, плотно закутывала голову, чтобы угольная пыль не набилась в волосы.

Вася Плетнев немедленно направился к ней: завтра Катерина Афанасьевна уходит в отпуск, и Вася заступал ее место. Вслед за Васей потянулся и верный Стрепет; подошел, ткнулся мордой в железное брюхо машины, понюхал, полизал шершавым языком железо и — недовольно, обиженно заржал.

— Что? — сказала Катерина Афанасьевна.— Силен конкурент? Не укусишь?

Все засмеялись. Улыбнулся и Иван Терентьевич и записал в блокнот и этот эпизод.

Появились Бобыль с Чайкой. Их тотчас же окружи-

ли шахтеры. Чайку все знали. Старики еще помнили ее историю. Теперь каждому захотелось проститься с Чайкой, погладить, потрепать ласковой рукою ее холку, сказать доброе слово на прощанье. Некоторые знали, что вместе с лошадью уходит на конный двор и Бобыль.

— А и много же ты, Чайка, моего уголька из-под лавы повытаскала! — сказал сильно постаревший за последние годы Матвей Закорлюка — старший забойщик с «Дальнего Запада».— Ну, спасибо тебе, работница, спасибо тебе, труженица!

— Вам спасибо, добрые люди! — отвечал за Чайку растроганный Бобыль.— Не поминайте лихом! — прибавлял он, словно уходил не на конный двор, а куда-то прочь с шахты.

Только сама Чайка равнодушно принимала все эти ласки и приветы; она уж давно и навсегда притихла и угомонилась, давно погас свет в ее очах, давно пропала резвость; Чайка даже хвостом отучилась помахивать: в шахте ни мух, ни слепней нету.

Прокоп Максимович добродушно похлопал ее ладонью по спине, словно товарища по плечу:

— Ничего, ничего, Чайка! Теперь отдохнешь на воле, поправишься!

— Глаза-то не воротишь! — тихо сказал кто-то.

— Эх, молодость бы воротить! — проговорил Матвей Закорлюка.— Теперь в шахте только и работать! — Он произнес эти слова не с грустью, а с завистью, и Тарас Заноза понял его. Он сам порою чувствовал похожее. Вся молодость, вся шахтерская силушка ушли на обушок, на санки, на «лимонадку», а теперь шахта иная, теперь — машины, теперь только бы и работать, а уж молодости нет, и ее не воротишь...

Несмотря на свой язвительный псевдоним, взятый еще в двадцатых годах, по моде, существовавшей тогда у рабкоров, Тарас Заноза был человек добрый и сентиментальный. С годами он стал даже слезливым. Со слезами умиления наблюдал он перемены, совершавшиеся вокруг него: немолодой человек, он знал им настоящую цену. У него появилась стариковская привычка по каждому случаю припоминать былое. Но таково уж свойство современных стариков — былое припоминалось не

со вздохом сожаления, а с горькой укоризной; оно и вспоминалось-то только для того, чтобы прославить век нынешний и проклясть век минувший.

«Молодежь этого не понимает, не чувствует. Молодежь все берет как должное: ей сравнивать не с чем. Она даже ворчит порою на «неполадки». И — права!». Но даже воздух, которым она дышит в шахте, сейчас уж не тот, каким дышали Тарас Заноза и его товарищи. Теперь не скупятся на вентиляцию.

Много раз в тайне от всех, даже от товарищей по редакции, принимался Тарас Заноза за повесть из шахтерской жизни. Запирался в своей одинокой, холостяцкой келье, раскладывал блокноты на столе, истово чинил карандаши (по стародавней рабкоровской привычке он любил писать карандашом и в блокнотах), закуривал трубочку.

И тотчас же знакомый холодок пробегал по его спине, словно Тарас выходил на «свежую струю». Он слышал шорохи, давно забытые голоса, потрескиванье крепежных стоек. Лава играла, пела на все лады, он узнавал эту песню. Пахло углем, пылью, гниющей сосной, ржавой подземной водой, плесенью, пороховым дымом... Возникала в памяти старая шахта: ее мрачные галереи, ее узкие ходки, крутые уклоны, все ее глухие, слепые и далекие закоулки... Здесь, в старых выработках, бродил, пугая людей, шахтерский леший Шубин. Здесь «глазоедка» ела глаза. Здесь полз в вывороченном овчинном тулупе газожог и зажженным факелом дразнил саму смерть... Картины, одна другой ярче, теснясь, толпились в памяти старого рабкора, набегали, заслоняя друг дружку, а слова не являлись, слов не было!

Напрасно выкуривал Тарас трубку за трубкой, напрасно до боли тер виски и шагал по комнате, тычась в углы — картины приходили, а слова — нет. Он мучительно искал, призывал их, ему нужны были слова задушевные, верные, точные, но он не находил их и злился на себя: «Я, как та лошадь — все чувствую, а высказать не могу». У старика была широкая, большая душа, а таланта не было. Но он не знал этого.

Между тем коногоны уже завязали лошадям глаза. Делалось это затем, чтоб кони не ослепли, вдруг попав на свет, на дневную поверхность. Для того же и выда-

вали их из шахты ночью. Только Чайка да Барышня не нуждались в шорах — бедняги были слепые.

И опять горько посетовал на себя, на свое косноязычие старый Тарас Заноза: «Нет у меня, нет настоящих слов, чтоб все это описать! А какая картина! Рудничный двор весь залит ярким электрическим светом... Красные, зеленые, желтые сигнальные огни... Светофоры... Электровозы... Подземные поезда... Ну, чем не столичный вокзал? И тут же кони. А? Слепые, последние кони... Обломки империи. А? Ведь это что ж? Ведь это символ! Ведь это у меня на глазах, вот тут, у ствола, кончается один век и сразу же начинается другой, новый... И все это глубоко под землей. В недрах!.. А наверху сейчас зима. Снег. Много в эту лютую зиму пало снега... Снег, снег, снег... И где-то, далеко-далеко отсюда, в снегах Карельского перешейка, кипит война... И в Европе — война. Где-то — Гитлер... Где-то — Чемберлен... И все это прямо относится к тому, что происходит сейчас здесь, на рудничном дворе. А я не могу, не умею описать это человеческими словами!». И он морщился от сознания своего косноязычия, как от зубной боли.

Наконец, выдача лошадей на-гора́ началась. Первым повел коня в клеть Вася Плетнев. Стрепет шел послушно, не шалил, не дурачился, словно тряпка на глазах сразу укротила и даже припугнула его. Шахтеры следили за ним и его движениями с той доброй улыбкой умиления и жалости, с какой взрослый человек всегда смотрит на слабое, бессловное существо — на ребенка, птицу или комнатную собачонку.

Вася ввел коня в клеть. Все! Теперь как раз время прощаться. Дальше на-гора́ Стрепет уж поедет один.

— Ну, бывай здоров, Стрепет! Гуляй! — чуть дрогнувшим голосом сказал Вася. Потрепал в последний раз лохматую гриву коня, погладил, а потом вдруг обнял и поцеловал Стрепета прямо в мокрые губы. И сам, смутившись, поспешно выпрыгнул из клети.

Однако никто не засмеялся.

Молоденькая стволовая, похожая в своем мокром, блестящем от воды резиновом плаще с капюшоном на моряка в шторм, стала устанавливать деревянные щиты в клети. К ней подошел Дед.

— Ты вот что, Фрося! — негромко сказал он.— Просигналь-ка в машинное отделение: пусть осторожно качают. Поняла? Как людей...— прибавил он и невольно подумал при этом: «Вот так и меня скоро... как старую лошадь...». Но тут же испугался: не вслух ли подумал? В последнее время с ним это случалось. Он оглянулся: рядом никого не было. Неподалеку, в группе шахтеров, стоял Бобыль. Тяжко опираясь на свою суковатую палку, Дед подошел к нему.

— Слыхал я, на конный двор уходишь? — спросил он, чтоб спросить что-нибудь.

— Да выходит так...— виновато отозвался Бобыль.

— А может, в шахте останешься? Работу найдем.

— Нет, Глеб Игнатович. Не приходится...

— Заработки на конном дворе не те, что в шахте...

— За этим я не постою.

— Вот как? — покосился на него Дед.— Ну-ну! Так я скажу, чтоб тебя с Чайкой поставили на подвозку крепежного леса. Там — ничего, там — заработаешь...

— За это спасибо вам, Глеб Игнатович!

Фрося отбила сигналы в машинное отделение: четыре удара — люди! Двухэтажная клеть вздрогнула, дернулась, сначала опустилась вниз, а потом плавно пошла вверх. В последний раз мелькнула морда Стрепета и исчезла. Стрепет уехал на-гора́...

— Гуляй, Стрепет! — тихо проговорил Вася вслед. Больше никто ничего не сказал — молчание лучше и полнее всего выражает чувства мужчин.

Через несколько минут клеть вернулась. Теперь была очередь Чайки. Бобыль ехал на-гора́ вместе с нею. Ему это было разрешено в виде исключения; Чайка — лошадь смирная, послушная коногону, она в клети не заскандалит.

КАК Я ПИСАЛ «ДОНБАСС»

Один из героев моей книги, Сергей Бажанов, так говорит о Донбассе — суровом и нежном друге своего детства:

«Там я родился и вырос. Там съел первый кусок хлеба, заработанный собственными руками. Там, неожиданно для себя, сложил первые стихи и убежал с ними далеко в степь и на кургане, плача от гордости и счастья, читал их сам себе, а ветер уносил слова».

Эти слова Сергея Бажанова могу повторить и я. Я тоже родился и вырос в Донбассе. Там стал комсомольцем, а потом и коммунистом. Там сложил свои первые рассказы...

Это правда: я люблю наш родной донецкий край, нашу холмистую степь, наше небо, запах угля и дыма над шахтами и заводами... А больше всего люблю людей Донбасса — гордый, непокоренный, золотой наш народ! И хочется писать об этих людях с той любовью и уважением, каких заслуживает их самоотверженный труд под землей на благо людям, для счастья родины.

Книгу о Донбассе я начал писать еще до Великой Отечественной войны, и как только война окончилась, снова вернулся к ней. Сперва думалось, что это будет небольшая повесть — просто история двух товарищей. Сейчас уже ясно, что получится многотомное произведение. Ничего не поделаешь! Нельзя рассказать историю двух донецких ребят, не рассказав истории Донбасса. А история Донбасса — славной всесоюзной кочегарки — это огромная и прекрасная часть истории нашей дорогой родины.

В старой, дореволюционной литературе жизнь шахтеров, шахта писались самыми мрачными, самыми чер-

ными красками. И это была правда, потому что из всех капиталистических каторг шахта была самой страшной каторгой. Каторжным был труд шахтера, собачьей была его жизнь. Даже на официальном, техническом языке рабочий день в шахте назывался «упряжкой». Людей запрягали в работу, как собак в лямку. Люди рождались, чтоб скорее стать в упряжку, и жили, пока не падали, задавленные лямкой. Они спали, где придется, и ели, что случится. И, полюбив друг друга, сходились в семью, чтоб родить новых людей для «упряжки».

Шахтер считался каторжником, последним человеком, отпетым уже при жизни. У него даже паспорта не спрашивали при поступлении на работу: так и хоронили беспаспортных, безыменных. На шахтах тогда работал кочевой народ, голь бессчастная, которую жизнь беспощадно мела по бесприютной земле, с шахты на шахту, с угля — на золото, из кабака — в тюрьму, из забоя — в могилу...

Великая Октябрьская революция круто переменила все: и жизнь шахтера и условия его труда. И сама шахта стала другою. Что ни возьмете — во всем великие, невиданные перемены! Ну вот, например, история освещения в шахте. Когда-то мрачную нору забоя освещала керосиновая лампочка, которую с горькой иронией называли «бог в помощь»,— кроме бога, тут уж не на кого было надеяться. Потом появились бензиновые взрывоопасные лампы, потом безопасные с сеткой. Потом, наконец, аккумуляторные... А сейчас наши шахты залиты сиянием ламп дневного света. В шахтах стало светлее и радостнее. Этого нигде в мире нет.

В шахтах стало легче дышать. Нигде в мире нет такой совершенной подземной вентиляции, как в наших шахтах. Это буквально поражает иностранных гостей-горняков. Нигде в мире нет таких мудрых подземных машин, несказанно облегчивших труд горняка, как наши угольные комбайны, горнопроходческие и погрузочные машины. Рука шахтера уже не прикасается к углю, она только управляет механизмами. Нигде в мире нет такой подземной механизации. И нигде в мире звание шахтера не окружено таким почетом, такой всенародной любовью, как у нас в Советской стране.

Обо всем этом нельзя спокойно рассказывать и невозможно спокойно писать. Петь, петь хочется о нашей жизни!

И мне мечтается, чтоб книга моя была песней о родном Донбассе.

Сейчас написан только первый том. Это — тридцатые годы, славные дни первых пятилеток, заря стахановского движения, родившегося именно у нас, в Донбассе.

Это только начало истории дорогих мне людей, моих ребят — Андрея, Виктора, Светличного, Даши, Мити Закорко.

В первом томе все они шахтеры. Они будут в следующих частях романа инженерами, конструкторами, партийными и хозяйственными руководителями, может быть, даже министрами. А те из них, кто останется работать в забое, будут почетными шахтерами и свое счастье найдут в радостном и свободном труде советского горняка.

Все они будут расти вместе с ростом родного Донбасса. В последующих частях надо показать Донбасс перед войной. Это время крутого подъема, время смелых дерзаний и мечтаний о шахтерском счастье. Потом — война. Испытания. Надо показать непокоренный донбасский народ. Рассказать о шахтерских дивизиях, о борьбе за свободу и независимость нашей родины. Затем — освобождение Донбасса и величественные дни восстановления разрушенных врагом донецких шахт.

Я помню эти дни. Вместе с войсками входил я в освобожденные города и поселки Донбасса. И видел руины. Пепелища. Разорение. И видел наших людей, а отчаяния у них не видел. Шахты были затоплены. Подземный океан бушевал в штреках и лазах. Вода доходила до горла стволов. Все это надо было откачать, восстановить, возродить. Американские политики подсчитывали, что на это понадобятся многие десятки лет. А советские люди возродили Донбасс в три-четыре года.

Вся страна пришла на помощь Донбассу. И Донбасс встал из руин еще краше, еще могучей, чем был раньше. И об этом надо написать со всей страстностью.

Наконец, наши дни. Время невиданного трудового подъема в Донбассе. Золотое время для донецких шахтеров! На глазах уничтожаются грани между физическим и умственным трудом. Преобразуется жизнь горняка. Сами горняки стали другими. И уже зримо видны близкие дали коммунизма.

Хочется написать и об этом. Хочется заглянуть в завтрашний день Донбасса, тем более что он уже живет в сегодняшнем дне. Хочется увидеть новый Большой и Глубокий Донбасс. Увидеть полностью автоматизированные шахты... Шахты-парки, шахты-сады... Обо всем хочется написать!

Скажу по правде: я невольно робею и теряюсь перед огромностью и величием того, о чем надо бы написать. Хватит ли умения? Хватит ли сил? Но я никаких сил не пожалею — никаких сил! — чтоб во весь голос сказать в своей книге светлую правду о Донбассе.

1950 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ДОНБАСС

Впервые опубликован в журнале «Новый мир» за 1951 г., №№ 1—3.

Отдельной книгой роман вышел в том же году в издательстве «Молодая гвардия».

В романе «Донбасс», над которым писатель начал работать еще до войны, отражены события первой половины 30-х годов. Писатель смотрит на жизнь глазами человека своего времени. Сегодня отдельные сцены в романе выглядят неубедительными, однако изображение трудового подъема, творческой инициативы советских людей созвучно нашему времени и является бесспорным достоинством книги Б. Горбатова.

«Донбасс»— первый том задуманной Б. Горбатовым трехтомной эпопеи о донецких шахтерах. Второй том должен был состоять из двух частей —«Перед войной» и «Война». Третий том — «Большой Донбасс»— о послевоенных годах.

Роман «Донбасс» можно рассматривать как завершенное, самостоятельное произведение. Поэтому автор посчитал возможным снять в последнем прижизненном издании слова «конец первого тома», которые были в предшествующих изданиях.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

Главы неоконченного романа

Главы (1—14) из первой части второго тома незавершенной трехтомной эпопеи о Донбассе. Впервые опубликованы в журнале «Новый мир» за 1954 г., № 12. Название публикации дано Комиссией по литературному наследству Б. Горбатова.

Глава «Прощание» впервые опубликована в журнале «Новый мир» за 1954 г., № 7. Название публикации дано редакцией «Нового мира».

КАК Я ПИСАЛ «ДОНБАСС»

Текст выступления Б. Горбатова по радио в 1950 году. Название дано комиссией по литературному наследству Б. Горбатова.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Леонтьевич
ГОРБАТОВ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том IV

Редактор тома
Н. А. Самохвалова

Оформление художника
Н. Н. Каминского

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1728

Сдано в набор 27.04.88.
Подписано к печати 29.07.88.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 28,98. Усл. кр.-отт. 30,24. Уч.-изд. л. 29,29.
Тираж 1 700 000 экз. (4-й завод: 600 001—850 000).
Заказ № 6778. Цена 2 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
типографии издательства «Звезда». 614600, г. Пермь,
ГСП-131, ул. Дружбы , 34.

Индекс 70658

2 р. 70 к.